

# ЕВРОПА ПЕРЕД КАТАСТРОФой

Барбара ТАКМАН



Последние десятилетия перед Великой войной...



## Annotation

Последние десятилетия перед Великой войной, которая станет Первой мировой... Европа на пороге одной из глобальных катастроф XX века, повлекшей страшные жертвы, в очередной раз перекроившей границы государств и судьбы целых народов.

Медленный упадок Великобритании, пытающейся удержать остатки недавнего викторианского величия, – и борьба Германской империи за место под солнцем. Позорное «дело Дрейфуса», всколыхнувшее все цивилизованные страны, – и небывалый подъем международного анархистского движения.

Аристократия еще сильна и могущественна, народ все еще беден и обездолен, но уже раздаются первые подземные толчки – предвестники чудовищного землетрясения, которое погубит вековые империи и навсегда изменит сам ход мировой истории.

Таков мир, который открывает читателю знаменитая писательница Барбара Такман, дважды лауреат Пулитцеровской премии и автор «Августовских пушек»!

- 
- [Барбара Такман](#)
    - 
    - [От автора](#)
    - [Предисловие](#)
    - [1. Патриции. Англия: 1895—1902](#)
    - [2. Идеи и деяния. Анархисты: 1890—1914](#)
    - [3. Конец мечте. Соединенные Штаты: 1890—1902](#)
    - [4. «Дайте мне битву!». Франция: 1894—1899](#)
    - [5. Бой барабанов. Гаага: 1899 и 1907](#)
    - [6. «Неронство витает в воздухе». Германия: 1890—1914](#)
    - [7. Смена власти. Англия: 1902—1911](#)
    - [8. Смерть Жореса. Социалисты: 1890—1914](#)
    - [Послесловие](#)
    - [Примечания](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)

- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)

- [150](#)
  - [151](#)
  - [152](#)
  - [153](#)
  - [154](#)
-

# **Барбара Такман**

## **Европа перед катастрофой. 1890—1914**

*А с башни гордыни города Гигантская смотрит  
смерть.*

*Из поэмы «Город в море» Эдгара Аллана  
По*

Barbara W. Tuchman  
THE PROUD TOWER A PORTRAIT OF THE WORLD BEFORE  
THE WAR 1890–1914

Перевод с английского *И. В. Лобанова*  
Компьютерный дизайн *В. А. Воронина*

Печатается с разрешения автора, Russell & Volkening, c/o  
Lippincott Massie McQuilkin и литературного агентства Synopsis.



## От автора

Глубочайшую авторскую признательность я выражаю прежде всего господину Сесилу Скотту из компании «Макмиллан», принимавшему участие в создании книги с самого начала и до конца, за постоянное и чуткое содействие, конструктивную критику и моральную поддержку.

За советы, предложения и готовность отвечать на мои вопросы я благодарна очень многим людям, в частности:

Роджеру Баттерфилду, автору исследования «Американское прошлое» (The American Past); профессору Фрицу Эпштейну Университета Индианы; Луису Фишеру, автору биографии «Жизнь Ленина»; профессору Эдварду Фоксу из Корнехльского университета, К. А. Голдингу из Международной федерации транспортных рабочих в Лондоне; Джею Гаррисону из компании «Коламбия рекордс»; Джону Гатману из театра «Метрополитен-опера»; Джорджу Лихтгейму, Институт коммунистических исследований Колумбийского университета; Уильяму Манчестеру, автору исследования «Дом Круппа» (The House of Krupp); профессору Артуру Мардеру, редактору писем сэра Джона Фишера; Джону Пейнтеру, биографу Пруста; А. Л. Раусу, автору предисловия к труду Грэхема Уоллеса; мисс Хелен Раскелл и всем сотрудникам Нью-Йоркской общественной библиотеки; Томасу К. Шерману, директору «Литтл оркестра сосайети»; госпоже Джейнис Шей за информацию о цирке в Германии; профессору Ребе Софферу из колледжа Сан-Фернандо Вали – за информацию об Уилфреде Троттере; Джозефу Суидлеру, президенту Федеральной энергетической комиссии; Луису Антермейеру, редактору сборника «Современной британской поэзии» (Modern British Poetry).

За помощь в подборе иллюстраций я особенно благодарна А. Дж. Юбелсу из Королевских архивов Гааги, сотрудникам залов искусства и печати Нью-Йоркской публичной библиотеки, а также господину и госпоже Гарри Коллинз из компании «Браун бразерс».

Отдельную благодарность я хотела бы выразить двум неустанным читчикам текста госпоже Джессике Такман и господину Тимоти Дикинсону, а также госпоже Эстер Букман – за безукоризненную

перепечатку рукописей и этой книги, и предыдущего сочинения «Августовские пушки».

## Предисловие

Эпоха, заключительные годы которой описаны в этой книге, погибла не вследствие одряхления или несчастного стечения обстоятельств, а в результате взрывоподобного фатального кризиса, ставшего теперь одним из кардинальных факторов истории. Этот кризис не упоминается автором в дальнейшем по той простой причине, что он еще не произошел и не затронул жизнь людей, о которых рассказывается в книге. Я старалась не выходить за рамки того, что было известно к тому времени.

Великая война 1914–1918 годов словно необъятная полоса выжженной земли отделяет наше время от той эпохи. Уничтожив столь много людей, которые могли еще творить и созидать, разрушив верования, поломав убеждения, оставив незаживающие раны, нанесенные иллюзиям и надеждам, она создала материально и психологически осязаемую пропасть между двумя эпохами. В этой книге предпринята попытка понять особенности образа жизни перед Первой мировой войной.

Эта книга совсем не та, которую я намеревалась написать вначале. В процессе исследования предрассудки рассыпались один за другим. Тот период нельзя назвать ни Золотым веком, ни *Belle Epoque*, если не принимать во внимание одну общую черту – наличие узкой прослойки привилегированного класса. Его нельзя назвать и временем людей, исключительно уверенных в своих силах, чистосердечных, привыкших жить в условиях комфорта, стабильности и безопасности. Безусловно, все эти качества жизни присутствовали. Люди больше верили в ценности и стандарты, чем сейчас, отличались большей наивностью в надеждах на лучшее будущее, хотя их жизнь, исключая верхушку общества, не была слишком умиротворенной и комфортной. Но мы заблуждаемся, полагая, что той жизни не были присущи сомнения, страхи, озлобленность, недовольство, насилие и ненависть. Нас ввели в заблуждение люди того времени, оглядывавшиеся назад через пропасть войны и вспоминаявшие первую половину своей жизни как озаренную светлыми лучами покоя и обеспеченности. Конечно, до войны она не казалась им столь лучезарной, какой представляется нам.

Романтические воспоминания и ностальгические чувства людей из прошлого повлияли на формирование наших представлений о довоенной эпохе. На основе исследований я вывела правило: все утверждения современников о том, как прекрасно жилось в ту пору, сделаны после 1914 года.

Такие страшные явления, как Великая война, не могут происходить из Золотого века. Возможно, мне следовало это уяснить с самого начала. Тем не менее я хорошо сознавала, что причины войны заключались не в *Grosse Politik*, хотя именно о ней говорил Извольский Эренталю и сэр Эдуард Грей – Пуанкаре, не в перестраховочных, двухсторонних и трехсторонних альянсах, марокканских кризисах и балканских запутанных проблемах, досконально изученных историками в поисках истоков мирового пожара. Исследовать эти события и обстоятельства было необходимо, и мы, появившиеся позднее, признательны нашим предшественникам за проделанную работу. Но они свое дело сделали. Я согласна с Сергеем Сазоновым, тогда министром иностранных дел России, сказавшим после изучения цепочки факторов: «Хватит хронологии!» Тема *Grosse Politik* исчерпана. Кроме того, она обманчива, создавая иллюзию, будто ответственные «они, высокомерные государственные деятели, всегда причастные к войнам», тогда как «мы», наивные и простодушные, поддаемся на их уловки. Это впечатление в корне неверное.

Дипломатические объяснения войны можно сравнить с показаниями температуры пациента: они ровным счетом ничего не говорят о действительных причинах заболевания. Чтобы найти истинные истоки и глубинные силы, надо вести исследование в рамках всего общества и выяснять, что именно побудило людей к войне. Я постаралась сосредоточиться на «обществе», а не на государстве. Политика с позиции силы, экономическое соперничество, какими бы наиважнейшими они ни были, – не мой предмет.

Эта книга охватывает кульминацию столетия, период самых ускоренных темпов развития человечества. Со времени последнего взрыва воинственности в наполеоновских баталиях промышленная и научно-техническая революция преобразовала мир. Человек вступал в XIX век, опираясь лишь на собственную силу и силы животных, энергию ветра и воды, как это происходило в начале XIII и даже I столетия. В XX век он вступил, имея в своем распоряжении средства

производства, транспорта, коммуникаций, а также вооружения, мощность которых увеличилась в тысячи раз благодаря энергии машин. Индустриальное общество наделило человека новыми силами и новыми возможностями, но и создало для него новые проблемы, связанные с бедностью и богатством, ростом населения и перенаселенности городов, обострением антагонизма между классами и социальными группами, отчуждением от природы и неудовлетворенностью своей работой. Наука повысила благосостояние человека, открыла перед ним новые горизонты познания, но отняла у него веру в Бога и незыблемость окружающего мира. К тому времени, когда он распрощался с XIX веком, перед ним возникли новые вызовы и трудности. Хотя *fin de siècle* обычно связывают с декадентством, в действительности общество в начале нового века не загнивало, а, напротив, бурлило и разрывалось от накопленных новых сил и энергий. Стефан Цвейг, которому в 1914 году было тридцать три года, считал, что война началась «не из-за идей и даже не из-за границ»: «У меня нет другого объяснения, кроме этого переизбытка сил, трагического следствия внутреннего динамизма, накопившегося за сорок лет мирной жизни и теперь бешено рвущегося наружу».

Понятно, что мои попытки изобразить то, каким мир мог быть перед войной, субъективны и избирательны. Я осознавала, заканчивая книгу, что она могла быть повторно написана под тем же заглавием, но с иным содержанием, что можно написать и третий вариант книги без каких-либо повторов. Можно было бы написать главу о литературе того периода, о войнах – Японо-Китайской, Испано-Американской, Англо-бурской, Русско-Японской, Балканской, об империализме, о науке и технике, о бизнесе и торговле, о женщинах, монархиях и медицине, о живописи, по множеству других тем, представляющих интерес для индивидуального историка. Можно было бы написать отдельные главы о короле Бельгии Леопольде II, о Чехове, о Сардженте, о коннице или компании «Юнайтед стейтс стил» – все они фигурировали в моих первоначальных планах. Можно было бы написать главу о простых лавочниках или чиновниках, представлявших несчастный средний класс, но мне не удалось найти их.

Думаю, что мне следует рассказать о моем методе отбора. Я ограничила себя рамками англо-американского и западноевропейского

мира – основы нашего жизненного опыта и культуры – и не касалась Восточной Европы, которая, несмотря на всю важность, относится к другой традиции. В выборе у меня был единственный критерий. Тема книги должна реально отражать описываемый период и оказывать влияние на цивилизацию до 1914 года, а не после. Такой подход исключал из детального описания автомобили и аэропланы, Фрейда и Эйнштейна и их учения. Я сознательно не включала эксцентричные сюжеты, несмотря на их завлекательность.

Я понимала, что не предлагаю всеобъемлющего заключения, поскольку любые обобщения могут оказаться спорными. Знаю также, что не даю полной картины. Это не проявление напускной скромности, а признание неизбежности упущений. Лица и голоса тех, о ком не рассказала, мелькают и стонут вокруг меня, пока я дописываю последние страницы.

*Барбара У. Такман*

## 1. Патриции. Англия: 1895—1902

Последнее правительство на Западе, сохранявшее дееспособность всех атрибутов аристократии, сформировалось в Англии в июне 1895 года. Великобритания находилась в зените имперского могущества, и когда консерваторы в этом году победили на всеобщих выборах, их кабинет казался выдающимся и блистательным отображением нации. Он состоял из крупнейших землевладельцев страны, чьи привычки властвовать передавались из поколения в поколение. Как самые совершеннейшие граждане, они были преисполнены чувством долга перед государством, убежденные в том, что призваны защищать его интересы и управлять им. Эту святую обязанность они исполняли по наследству, по давно заведенному обычаю и, как им думалось, по праву.

Премьер-министром был маркиз и наследный потомок отца и сына, служивших в свое время первыми министрами при королеве Елизавете и Якове I. Военным министром был еще один маркиз, в роду которого менее знатный титул барона наследовался с 1181 года. Его прадед был премьер-министром при Георге III, а дед служил в шести кабинетах при трех монархах. Лорд председатель Тайного совета был герцогом. Он имел 186 000 акров земли в одиннадцати графствах. Его предки входили в правительство с XIV века, и сам он уже тридцать четыре года трудился в палате общин и трижды отказывался от поста премьер-министра. Министром по делам Индии был сын герцога, чье родовое место в парламенте пожаловал еще Роберт Брюс в 1315 году и чьи четверо сыновей тоже служили в парламенте. Совет местного самоуправления возглавлял выдающийся сельский помещик. Шурином у него был герцог, зятем – маркиз, а предком – лорд-мэр Лондона при Карле II, да и сам сквайр уже двадцать семь лет заседал в парламенте. Лорд-канцлер унаследовал родовое имя, привезенное в Англию норманнским сподвижником Вильгельма Завоевателя и сохранявшееся более семи веков, правда, без титулов. Лордом-наместником Ирландии был граф, внучатый племянник герцога Веллингтона и потомственный попечитель Британского музея. В кабинет также входили виконт, три барона и два баронета. В числе шести коммонеров<sup>[1]</sup> были директор

Банка Англии, а также сквайр, чье семейство представляло в парламенте одно и то же графство с XVI века, лидер палаты общин, приходившийся премьер-министру племянником и оказавшийся наследником огромного состояния в Шотландии – 4 000 000 фунтов стерлингов, и загадочная личность из Бирмингема, считавшаяся самым успешным промышленником в Англии.

Помимо состояний, титулов, земель и вековых родословных, новый кабинет, удручая оппозицию, обладал, как сетовал один из ее представителей, «пугающим изобилием талантов и способностей»<sup>1</sup>. Прочно утвердившись во власти, опираясь на электоральное большинство в палате общин и перманентное большинство в палате лордов, где четыре пятых пэров были консерваторами, это правительство, по словам того же оппозиционера, могло диктовать свою политику «с позиций непреодолимой силы».

К тому же ряды консерваторов пополнили виги-аристократы, в 1886 году отделившиеся от партии либералов, не желая соглашаться с гомрулем самоуправления Гладстона для Ирландии. Это были преимущественно крупные землевладельцы, которые, подобно своим собратьям-тори, считали унию с Ирландией несокрушимой и священной. Вначале отщепенцы, возглавлявшиеся герцогом Девонширским, маркизом Лансдауном и Джозефом Чемберленом, сохраняли независимость, но в 1895 году присоединились к консервативной партии, и две группировки образовали юнионистскую партию, имея в виду проводить единую политику. Исключая Чемберлена, это была коалиция людей, взращенных и воспитанных на вековых представлениях о неразрывности землевладения и властвования. Начиная с того времени, когда саксонские вожди созвали первую ассамблею, чтобы давать советы королю, лендлорды Англии посылали своих представителей в парламент и исполняли обязанности шерифов, мировых судей и наместников в своих графствах. Они приучились управлять, владея огромными поместьями, и верили в свое предназначение распоряжаться государственными делами с такой же твердой убежденностью, с какой бобры строят плотины. Для них управление государством было столь же предопределенной и естественной миссией.

Но над этой идиллией нависли угрозы. Они надвигались со всех сторон. Радикалы в оппозиции заговорили о необходимости облагать



налогами приращение стоимости земельной собственности. Гомрулеры настаивали на отделении Ирландии, приносившей Англии немалый доход. Тред-юнионы требовали представительства в парламенте, узаконивания прав на забастовки и других мер участия в экономической жизни. Социалисты призывали национализировать собственность, анархисты – ликвидировать ее. Малопонятные опасности вызревали за рубежом, в том числе от новых наций. Ропот был пока отдаленный, однако те, кто призван заниматься государственными делами, не могли не слышать его, а в нем заключалось одно и то же послание – требование перемен.

Не желал никаких перемен и ревностно оберегал существующий порядок потомственный пэр, умный и расчетливый политик, пожизненный канцлер Оксфордского университета, дважды занимавший пост министра по делам Индии и в третий раз ставший премьер-министром. Этим незаурядным человеком был Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил, лорд Солсбери, 9-й граф и 3-й маркиз в роду.

Лорд Солсбери был типичным и в то же время необычным представителем своего класса, если, конечно, не считать отличительность тоже характерной особенностью людей определенного социального слоя. Он всегда выделялся высоким ростом, шесть футов и четыре дюйма, страдал близорукостью, а в молодости был тощий, сутулый, нескладный и, редкость для англичанина, черноволосый. Теперь ему стукнуло шестьдесят пять, лорд раздобрел, плечи его отяжелели, усиливая впечатление сутулости, они, казалось, прогибались под грузом массивной, полысевшей головы, обрамленной окладистой, курчавой и седой бородой. Его, меланхоличного, наделенного высочайшим интеллектом, но склонного к лунатизму и приступам депрессии, которые он называл «нервными бурями»<sup>2</sup>, едкого, бестактного, рассеянного, уставшего от общества и полюбившего уединение, обладавшего пронизательным, скептическим и критическим складом ума, называли Гамлетом политического истеблишмента Англии. Он был выше условностей, отказавшись жить в резиденции на Даунинг-стрит. Он был набожным человеком и питал глубокий интерес к науке. Дома он каждое утро перед завтраком посещал семейную часовенку и в свободное время проводил эксперименты в собственной химической лаборатории. На речке в своем поместье Хатфилд он построил электростанцию и первым в

Англии провел в дом электрическое освещение. Когда провода начинали искрить или шипеть, домочадцы привычно забрасывали их подушками<sup>3</sup>, продолжая в то же время беседовать и спорить, что было присуще образу жизни всех Сесилов.

Лорда Сесила совершенно не интересовал спорт, еще меньше – жизнь людей. Его индифферентность усугублялась близорукостью до такой степени, что однажды он не узнал члена собственного правительства, а в другом случае – своего дворецкого. На завершающем этапе Англо-бурской войны он взял в руки подписанную фотографию короля Эдуарда, посмотрел на нее задумчиво и сказал: «Бедняга Буллер (имея в виду главнокомандующего, начинавшего войну), ну и натворил ты дел!»<sup>4</sup> В другой раз видели, как он долго разговаривал на военные темы с кем-то из младших пэров в полной уверенности, что беседует с фельдмаршалом лордом Робертсом.

Ничего не значили для него и лошади, эти непеременные компаньоны и друзья англичанина из высшего общества. Верховую езду он считал всего лишь одним из способов передвижения, в котором лошадь была «необходимой, но крайне неудобной принадлежностью»<sup>5</sup>. Не любил лорд и охоту. Когда сессии парламента закрывались, он не уезжал на север отстреливать куропаток в торфяниках или выслеживать оленей в шотландских лесах, а если протокол обязывал нанести визит в королевскую резиденцию в Балморале, то лорд уклонялся от прогулок и, как писал Генри Понсонби, личный секретарь королевы Виктории, «категорически отказывался от удовольствия полюбоваться пейзажем или оленем». Понсонби давали указания поддерживать «тепло» в комнате лорда в мрачном и холодном замке, не ниже шестидесяти градусов<sup>[2]</sup>. Каникулы Сесил проводил во Франции, где у него была вилла в Больё на Ривьере и где лорд мог употребить превосходное знание французского языка и предаться чтению «Графа Монте-Кристо», единственной книги, позволявшей, как он сказал однажды Дюма-сыну<sup>6</sup>, забыть о политике.

Из всех игр лорд Сесил предпочитал теннис, но, постарев, придумал собственный способ физических упражнений. Ранним утром он разъезжал на трехколесном велосипеде в парке Сент-Джеймс или по длинным дорожкам в своем поместье Хатфилд, специально забетонированным для этой цели. Он надевал шляпу в виде сомбреро и

короткий безрукавный плащ с дырой посередине и выглядел в этом одеянии как монах. Его сопровождал юный кучер, толкавший сзади в спину на подъемах. На спусках молодой человек получал команду «запрыгивать»<sup>7</sup>, и премьер-министр с кучером за спиной неслись вниз, плащ его развевался, и педали неистово крутились.

Поместье Хатфилд находилось в двадцати милях к северу от Лондона в Хартфордшире и принадлежало Сесилам почти три века, с того времени, когда Яков I отдал его в 1607 году своему премьер-министру Роберту Сесилу, 1-му графу Солсбери, в обмен на дом Сесила, полюбившийся королю. Здесь была королевская резиденция, где прошло детство королевы Елизаветы и где она, узнав о восхождении на трон, созвала первый совет, на котором привела к присяге Уильяма Сесила, лорда Берли на посту главного министра – государственного секретаря. Длинная галерея со стенами в узорчатых резных панелях и потолком из сусального золота имела протяженность 180 футов. Мраморный зал, названный так из-за черно-белого мрамора на полу, сиял как ювелирная шкатулка: его потолок сверкал позолотой, а стены были завешаны брюссельскими гобеленами. Красную гостиную короля Якова украшали семейные портреты кисти Ромни, Рейнолдса и Лоуренса. Библиотека была уставлена от пола до потолка рядами книг – 10 000 томов, переплетенных кожей и веленом. В других комнатах хранились «Письма из ларца» Марии, королевы Шотландии, доспехи, снятые с воинов Испанской армады, колыбель обезглавленного короля Карла I, парадные портреты Якова I и Георга III. За окнами зеленели живые изгороди тиса, подстриженные в виде зубчатых крепостных стен, и сад, столь необыкновенный, что Пипс написал о нем: ему никогда еще не приходилось видеть «такие красивые цветы и ягоды крыжовника, крупные, как мускатный орех»<sup>8</sup>. У входа висели флаги, захваченные в битве при Ватерлоо и подаренные герцогом Веллингтоном, страстным поклонником матери премьер-министра, 2-й маркизы, часто навещавшим замок. Ради нее он облачался в охотничье обмундирование «Гончих Хатфилда» во время полевания. Портрет 1-й маркизы написал сэр Джошуа Рейнолдс, она выезжала на охоту до последних дней, скончавшись в возрасте восьмидесяти пяти лет. Полуслепую и привязанную к седлу, престарелую маркизу сопровождал конюх, кричавший, когда она

приближалась к изгороди: «Прыгайте, черт возьми, миледи, прыгайте!»<sup>9</sup>

Именно эта незаурядная женщина придала новые силы роду Сесилов, который после Берли и его сына, правда, более не произвел на свет божий иные примеры высокого интеллекта. Скорее, посредственность последующих поколений характеризовалась, по словам одного из поздних Сесилов, «различной степенью исключительной глупости»<sup>10</sup>. Однако 2-й маркиз оказался деятельным и даровитым человеком, наделенным к тому же обостренным чувством долга перед нацией: ему довелось служить в нескольких кабинетах тори середины века. Его второй сын, тоже Роберт Сесил, в третий раз занял кресло премьер-министра в 1895 году. Он, в свою очередь, дал жизнь пятерым сыновьям, также ставшим выдающимися людьми. Один был генералом, другой – епископом, третий – государственным министром, четвертый – членом парламента от Оксфорда, пятый – самостоятельно добился пэрства на государственной службе. Имея в виду Сесилов, лорд Биркенхед заметил: «В судьбе людей, как и лошадей, большую роль играет то, что мы называем породой»<sup>11</sup>.

Еще в 1850 году в Оксфорде юному Роберту Сесилу предсказывали, что благодаря неуступчивому характеру он непременно будет премьер-министром. Действительно, всю жизнь он отличался бескомпромиссностью. Уже в молодые годы его выступления были язвительными и оскорбительно дерзкими. По словам Дизраэли, он «не принадлежал к числу людей, выбирающих выражения»<sup>12</sup>. Имя «Солсбери» стало синонимом «политической наглости». Роберт Сесил как-то сравнил ирландцев с готтентотами по неспособности к самоуправлению, а индийского кандидата в члены парламента назвал «черномазым»<sup>13</sup>. По мнению лорда Морли, читать его речи было одно удовольствие, поскольку в них «всегда содержалась какая-нибудь резкость, которую потом с восторгом вспоминаешь»<sup>14</sup>. Случайно ли произносились колкости – об этом никто не знает. Хотя лорд Солсбери, выступая, никогда не пользовался заметками, его речи были продуманными, осмысленными, совершенными и логически выстроенными. В те времена ораторское искусство было неотъемлемой частью экипировки государственного деятеля, и человек, зачитывавший текст, вызывал жалость. Когда же

говорил лорд Солсбери, по словам коллеги, «каждая фраза играла и производила впечатление, как мускулы на теле атлета»<sup>15</sup>.

Перед аудиторией, которая не представляла для него никакого интереса, он испытывал неловкость. В верхней палате, где ему внимали люди, равные по положению и званию, он чувствовал себя как дома. Солсбери говорил зычно и жестко, перемежая ледяные и издевательские насмешки и сарказм. Когда недавно титулованный виг взял слово и начал поучать палату лордов в привычном для вигов высокопарном стиле, Солсбери, поинтересовавшись у соседа именем оратора и услышав ответ, произнесенный шепотом, умышленно громко сказал: «А я думал, что он уже умер»<sup>16</sup>. Слушая других, лорд быстро уставал и изображал скуку, демонстративно покачивая ногой, что, по замечанию одного очевидца, должно было означать: «Когда же все это закончится?»<sup>17</sup> Иногда он, отрывая каблуки от пола, начинал подрагивать ногами и мог продолжать это занятие по тридцать минут без перерыва. Дома, если ему надоедали гости, он тарабанил ногами так, что сотрясал пол и мебель. В палате лордов коллеги на передней скамье жаловались<sup>18</sup> на возникновение ощущений морской болезни. Если же бездействовали ноги, то приходили в движение его длинные пальцы: он непрестанно вертел в руках канцелярский нож или выбивал дробь на коленках или подлокотниках.

Он никогда не ел вне дома и крайне редко, один – два раза, устраивал приемы в своей городской резиденции на Арлингтон-стрит и от случая к случаю – званые ужины в саду Хатфилда. Лорд Солсбери избегал бывать в «Карлтоне», официальном клубе консерваторов, предпочитая ему «Джуниор Карлтон», где у него был отдельный столик, а в библиотеке таблички призывали к «тишине». Он работал от завтрака до часу ночи и появлялся в кабинете после обеда, будто начинался новый рабочий день. Одевался лорд неброско и даже неопрятно. Он носил брюки и жилет невзрачного серого цвета, а сюртук из черного тонкого сукна давно вытерся до блеска. Непритязательный в одежде, лорд Солсбери особенно следил за состоянием своей бороды, регулярно подстригал ее, надзирая за действиями парикмахера и время от времени давая указания «немного подравнять здесь и здесь», после чего «мастер и объект его творчества глядели в зеркало, оценивая результаты»<sup>19</sup>.

Несмотря на острый язык и саркастичность, лорда Солсбери обожали коллеги, что, по словам одного из них, «немало способствовало достижению согласия»<sup>20</sup>. Он непритворно радел за интересы партии и жертвовал ради ее блага своей неприступностью. Рассказывали, как он однажды удивил всех, приняв приглашение на традиционный званый обед, устраиваемый для сторонников партии лидером палаты общин. Солсбери попросил дать ему заранее биографические сведения о каждом участнике мероприятия. На обеде премьер-министр оживленно говорил с соседом по столу, известным агрономом, о севообороте и скотоводстве, затем уделил внимание каждому гостю и перед уходом, подозвав личного секретаря, сказал ему: «Думаю, я их всех положил на лопатки»<sup>21</sup>. Но одного я так и не вычислил, того, который, как ты говорил, за словом в карман не лезет».

Гладстон, ярый противник в политической философии, отзывался о нем как о «джентльмене – душе частного общества»<sup>22</sup>. В частной жизни Солсбери был приятным и благожелательным человеком, полной противоположностью тому представлению, которое сложилось о нем как о государственном деятеле. Мнение публики или так называемого простого народа, который, по его понятиям, был неотесанным, для Солсбери не имело никакого значения. Можно сказать, он игнорировал народные массы и ничего не делал для того, чтобы приобрести популярность, благодаря которой политического лидера узнают на улицах и присваивают прозвища вроде «Пама», «Диззи» или «Великого старца». Даже в прессе, в том числе и в журнале «Панч», лорда Солсбери называли не иначе как «лордом Солсбери». Он никогда не скрывал своей нелюбви к толпе, к любой стадности, «включая и палату общин»<sup>23</sup>. Перебравшись к лордам, он больше не появлялся в палате общин для того, чтобы во время дебатов посидеть в галерее пэров или побеседовать с депутатами в лобби, а если ему приходилось упоминать ее в речах перед лордами, то он говорил с пренебрежением, уничижительно, удивляя бывших коллег, пришедших послушать его выступление. В этой нарочитой позе выражалось глубоко засевшее самомнение патриция. Ему были безразличны ранги, почести и другие формы общественного признания. Просто Сесил, великий лорд Сесил, от рождения испытывал чувство превосходства и предназначение властвовать и не желал делиться с кем-либо наследственными правами.

Сесил стал членом парламента в возрасте двадцати трех лет обычным для пэрских отпрысков путем, получив мандат от «семейного» избирательного округа, в котором исключалось какое-либо соперничество. Пять раз он переизбирался в том же округе, пятнадцать лет держал речи в палате общин, последние двадцать семь лет заседал в палате лордов и не имел ни малейшего представления о борьбе за голоса избирателей. Сесил не считал, что несет ответственность перед народом, а видел себя в роли благодетеля, ответственного за его судьбу. Он – не слуга, а отец народа. Если он и почитал кого-либо или что-либо, то лишь монархов и монархию. Он уважал королеву Викторию, которая была старше его лет на десять, и как верноподданный, и как джентльмен, всегда готовый преклониться перед дамой. В ее присутствии он не позволял резких и грубых выражений, если даже не мог скрыть скуку в Балморале.

Королева навещала его в Хатфилде, всецело доверяла ему, называла, как она сама говорила епископу Карпентеру, «если не достойнейшим, то одним из самых достойных среди своих министров»<sup>24</sup>, включая и Дизраэли. Только лорду Солсбери, которому «всегда было тяжело стоять на ногах»<sup>25</sup>, она предлагала присесть. Крошечная престарелая королева и высокий, громоздкий премьер-министр испытывали друг к другу неподдельные чувства симпатии и пиетета.

В маловажных делах Солсбери проявлял такую же обыденную отрешенность, как и в одежде. Когда на вакантное место епископа были предложены два священнослужителя с одинаковыми именами, он назначил того из них, которого не поддерживал архиепископ Кентерберийский. Выслушав сожаления иерарха, премьер-министр сказал: «О-о! Думаю, он справится с обязанностями не хуже»<sup>26</sup>. Со всей серьезностью он относился только к проблемам действительно серьезным, а самой серьезной для него была проблема поддержания влияния и всевластия аристократии. И стремился он к этому не из прихоти, а из глубокого убеждения в том, что лишь аристократия сможет уберечь единство нации от нарастающей угрозы демократии, которая, как он считал, «развалит ее и превратит в месиво из недружественных и вздорных фрагментов»<sup>27</sup>.

Величайшим злом для него были классовая война и безбожие, и он ненавидел социализм не столько из-за его угрозы собственности,

сколько из-за проповеди классовых войн и материализма, опасных для духовных ценностей. Он не отвергал реформы, но считал, что их надо проводить на основе взаимодействия и прессинга всех существующих социальных сил. В 1897 году при его поддержке был принят закон о материальных компенсациях рабочим, возлагавший ответственность за производственный травматизм на фабрикантов, хотя некоторые члены его же партии выступали против билля, усматривая в нем посягательство на свободу частного предпринимательства.

Премьер-министр отклонял любые предложения, нацеленные на повышение политической роли народных масс. Пребывая еще в положении младшего сына и не имея титула, лорд Роберт Сесил, как его тогда величали, в начале шестидесятих годов, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, изложил свои политические взгляды в серии статей, опубликованных в журнале «Куотерли ревью»<sup>28</sup>. Полемизируя с модными в то время призывами к реформе и расширению избирательного права, он заявил, что консервативная партия обязана всемерно защищать привилегии имущего класса как «единственного бастиона», противостоящего толпе. Расширить избирательное право, по его мнению, означало бы не только предоставить рабочему классу доступ в парламент, но и наделить «заурядную массу людей властью, которой они не должны обладать». Сесил корил либералов за угодничество перед рабочим классом, будто рабочие чем-то отличаются от других англичан, тогда как все их отличие состоит в том, что они малообразованные и малоимущие, а «когда собственности мало, велик риск злоупотребления правом голоса». Он доказывал: демократия опасна для свободы, поскольку в условиях демократии «господствуют страсти, а не правила» и «совершенно невозможно» доверять дальновидную и бесстрастную политику «людям, чьи умы не приучены мыслить и приобретать знания». Если предоставить право голоса бедным слоям населения, писал лорд, и повысить налогообложение богатых, то это приведет к полному отчуждению власти от ответственности и «богатые будут платить все налоги, а бедные – принимать все законы».

Он не верил в возможность политического равенства. В его миропонимании существовали массы и «естественные» лидеры. «Всегда богатство, в некоторых странах родовитость, во всех странах интеллект и просвещение выделяют того человека, которому



община в здравом состоянии чувств и ума поручает управлять ею». У таких людей есть и свободное время, и достаточное состояние, и «их амбиции не запачканы низменными пристрастиями к алчности». «Существует аристократия государства, в подлинном и самом высоком значении этого слова... Важно, чтобы правители страны избирались из ее рядов» и сохранялось ее классовое «политическое превосходство, обладать которым она имеет полное право, какое может дать только наивысшая пригодность».

Настолько искренней и твердой была его вера в «наивысшую пригодность» аристократии, что в 1867 году, после того как правительство тори одобрило билль о второй реформе, удвоивший электорат и давший право голоса рабочим городов, 37-летний Солсбери демонстративно покинул министерский пост, не прослужив и года, в знак протеста против предательства принципов партии консерваторов. Отступление партии, ловко инициированное Дизраэли ради «ублажения вигов», но в большей мере учитывавшее политические реалии, возмутило до глубины души лорда Кранборна (как тогда уже называли лорда Роберта Сесила после смерти старшего брата в 1865 году). Хотя это и могло навредить карьере, он ушел с поста министра по делам Индии и выступил с резкой и обличительной речью в палате общин, осуждая политику лидеров партии лорда Дерби и господина Дизраэли<sup>29</sup>. Он призвал коллег по партии не обольщать себя надеждами заработать политические дивиденды на том, что может привести к их исчезновению как класса: «Богатства, интеллект, энергия, все, что придает вам силы и вселяет гордость за нацию, вся значимость обсуждений в палате общин, все это потеряет смысл». Возникнут проблемы, столкнутся интересы наемных рабочих и нанимателей, и их можно будет разрешить только силой. «В этом конфликте политических сил вы сталкиваете подавляющее большинство наемных рабочих с беспомощным меньшинством нанимателей». В результате вы добьетесь «политического уничтожения и искоренения классов, которые до сего времени вносили основной вклад в величие и процветание страны».

Через год после смерти отца он стал членом палаты лордов как 3-й маркиз Солсбери. Но и в 1895 году, по прошествии почти тридцати лет, его политические принципы нисколько не изменились. Не веря в то, что перемены только к лучшему, а будущее лучше настоящего, он

«жестко и въедливо»<sup>30</sup> старался сохранить существующий порядок. Для него титул, лишенный реальной власти<sup>31</sup>, которую прежде символизировал, был всего лишь бутафорией, и Солсбери ревностно подавлял посягательства на власть того класса, наглядными символами которого служили дворянские звания. Он осознавал опасность и пытался остановить процесс обновления эпох. Демократия надвигалась, напирала со всех сторон, но еще не могла одолеть сопротивление человека, которого лорд Керзон назвал «эдаким странным, могущественным, непостижимым и блистательным заградительным дедвейтом»<sup>32</sup>.

Заурядного представителя правящего класса, не обремененного чересчур аналитическим и чересчур проницательным умом лорда Солсбери, мало волновало будущее; он наслаждался великолепными благами настоящего. Эра благоденствия привилегированного класса, хотя его образ жизни и подвергался нападкам, и местами давал трещины, на исходе XIX века и Викторианской эпохи, казалось, установилась навечно. Он чувствовал себя «комфортно и в полной безопасности»<sup>33</sup>, по всей стране «царил покой». Конечно, многих покоробил бюджет сэра Уильяма Харкорта на 1894 год, принятый либералами во время премьерства лорда Роузбери, неудачливого преемника Гладстона. Вводились налоги на наследство. Мало того, они варьировались от 1 процента на имение стоимостью 500 фунтов до 8 процентов на имения стоимостью более миллиона фунтов. Повысился подоходный налог – на один пенни с каждых восьми пенсов в одном фунте. Дабы смягчить удар и разделить бремя, правительство ввело акциз на пиво и алкоголь с тем, чтобы рабочий класс, не плативший подоходный налог, тоже участвовал в пополнении бюджета. Однако эта мера не помогла сгладить тяжелое впечатление, произведенное «покойническими пошлинами». 8-й герцог Девонширский мрачно предсказал, что «доживет до того времени», когда великие поместья, подобные его Чатсуорту, исчезнут «под гнетом несносных демократических финансовых претензий»<sup>34</sup>.

Но в 1894 году случилось и радостное для консерваторов событие, компенсировавшее бюджетные тревоги. Парламент и вообще политику покинул господин Гладстон. Его последняя попытка провести закон о гомруле потерпела сокрушительное поражение в палате лордов от

гневной ассамблеи пэров, сформированной специально для этой цели небывалой до сего времени численностью. Он безнадежно расколол партию, ему уже исполнилось восемьдесят пять лет, карьера его закончилась. В следующем году консерваторы одержали победу, и создавалась политическая атмосфера, в которой, по оценке «Таймс», превалировало убеждение, что с гомрулем, «этим вирусом, занесенным господином Гладстоном в нашу политическую жизнь и угрожавшим заразить весь организм»<sup>35</sup>, покончено, по крайней мере на какое-то время, и Англия может спокойно заняться текущими делами. Прочно утвердились «доминирующие факторы влияния»<sup>36</sup>.

Формулировку «доминирующие факторы влияния» придумала не консервативная «Таймс». Ее автор – сам господин Гладстон, представитель помещичьего сословия, никогда не забывавший об этом и свято веривший в то, что собственность означает ответственность. Он владел 7000 акрами земли в Гавардене и получал от 2500 арендаторов ежегодно ренту в размере от 10 000 до 12 000 фунтов стерлингов. В письме внуку, будущему наследнику, «великий радикал» завещал вернуть земли, потерянные из-за долгов предыдущими поколениями, и восстановить поместье Гаварден до прежних размеров и значимости «ключевого фактора влияния» в стране, поскольку общество не может существовать без своих «доминирующих факторов влияния». Ни один герцог не смог бы выразиться яснее по этой животрепещущей проблеме. Однако именно такой образ мыслей был присущ и консерваторам, его заклтым оппонентам, с которыми он, несмотря на политические раздоры, был солидарен, исповедуя ту же веру в «наивысшую пригодность» класса землевладельцев, обусловленную наследственной земельной собственностью, и крайнюю нужду в нем всей нации. Это кредо было полной противоположностью идеям, культивировавшимся в недавно родившихся Соединенных Штатах: особое достоинство заложено и в незнатном происхождении; добывается всего лишь тот, кто опирается на собственные силы; в легких и комфортных жизненных обстоятельствах человек скорее может стать тупоумным или порочным или тем и другим одновременно. У англичан, привыкших из поколения в поколение к власти имущего класса, выработалась иная жизненная позиция: долговременное сохранение одной семьей определенного

уровня образованности, комфорта и социальной ответственности обеспечивает ей естественную основу «наивысшей пригодности».

В первую очередь, речь идет о «пригодности» для деятельности в правительстве, считавшейся в Англии, как ни в какой другой стране, наиболее адекватным занятием для джентльмена. Секретарская должность при министерском дяде или каком-нибудь ином родственнике могла быть подготовительным этапом на пути к посту члена кабинета или же перманентным призванием для джентльмена вроде сэра Шомберга Макдоннелла, личного секретаря лорда Солсбери и родного брата графа Антрима. Дипломатия сулила неплохую карьеру, особенно людям даровитым. Маркиз Дафферин-Ава, пребывая в 1895 году британским послом в Париже, выучил персидский язык<sup>37</sup> и отметил в дневнике, что, помимо прочтения одиннадцати пьес Аристофана на греческом языке, наизусть запомнил 24 000 слов из персидского словаря, «8000 в совершенстве, 12 000 – достаточно хорошо и 4000 – удовлетворительно». Служба в одном из элитных гвардейских, гусарских или уланских полков тоже вполне подходила для отпрысков из богатых и знатных семей, хотя она больше привлекала молодежь с менее ярко выраженными умственными способностями. Не очень состоятельные наследники становились священниками или шли служить на флот. Адвокатура и журналистика притягивали тех, кто стремился приобрести общественное влияние и попасть во власть. Самым же подходящим и желанным местом для демонстрации «наивысшей пригодности» был, конечно, парламент. Оттуда открывалась дорога в кабинет министров, где можно было добиться и влияния, и власти, и членства в Тайном совете, и пэрства при выходе в отставку. Тайный совет, состоявший из 235 лидеров всякого рода деятельности, хотя и исполнял в большей мере формальные и церемониальные функции, имел тем не менее репутацию необычайно важного для нации государственного органа. Пэрство обладало магической способностью возвышать обладателей титула над всеми остальными людьми. Министерские посты были чрезвычайно соблазнительны и всегда служили предметом горячих дебатов и закулисных интриг. Когда происходила смена правительства, ничто так не занимало британское общество, как перипетии формирования кабинета. В клубах и салонах разгорались жаркие дискуссии, организовывались и реорганизовывались союзы и альянсы,

победители сразу же приобретали сановный вид. От победителей требовалось прилагать максимум усилий, готовность трудиться, не считаясь со временем, и минимум профессиональных знаний. Сам министр делами мог не заниматься, он должен был следить за тем, как они исполняются подчиненными, управляя министерством как своим именем. Детали, наподобие точек в десятичных дробях, которые лорд Рэндольф Черчилль, будучи канцлером казначейства, назвал «этими чертовыми козявками»<sup>38</sup>, его не касались.

Члены кабинета лорда Солсбери, в большинстве своем, хотя и не все, имевшие земли, состояния и титулы, вошли в правительство не ради каких-то материальных благ. Они понимали свою миссию как единственно верное и необходимое предназначение: государственными делами должны заниматься люди, не подверженные, согласно лорду Солсбери, «приступам алчности». В парламентской карьере, естественно, не оплачиваемой, видели не источник дохода, а средство обрести общественное признание. Палата общин была политической штаб-квартирой страны, всей империи, британского общества, здесь собрались лучшие люди королевства. Они пришли сюда, движимые амбициями, но и по зову долга; собственно, для многих это было столь же естественно и неизбежно, как и родиться аристократом. Отцов в парламенте сменяли сыновья, нередко те и другие служили в нем одновременно. Джеймс Лоутер, заместитель спикера с 1895 по 1905 год, а затем и спикер, происходил из семьи, представлявшей электорат Уэстморленда более или менее непрерывно в продолжение шести столетий. Его прадед и дед заседали в парламенте по полвека каждый, а отец посвятил палате общин двадцать пять лет. Представителем графства в парламенте обыкновенно был человек, чей дом все в округе почитали на расстоянии семидесяти миль, его семью знали несколько сот лет, а его самого – со дня рождения. Поскольку расходы на выборы и ублажение электората нес сам кандидат, то роскошь представлять избирателей в парламенте могли позволить себе люди определенного класса. Из 670 членов палаты общин в 1895 году 420 были помещиками, офицерами, адвокатами и лицами без определенных занятий. Среди них насчитывалось двадцать три старших сына пэров, помимо множества их младших сыновей, братьев, кузенов, племянников и дядьев, включая лорда Стэнли, наследника 16-го графа Дерби, который, после герцогов, считался самым богатым пэром в

Англии. Как младшему правительственному «кнуту», Стэнли надлежало стоять у дверей лобби и собирать непослушных депутатов для голосования, хотя ему самому не разрешалось входить в палату во время исполнения обязанностей надзирателя. Он был вроде «прислужника высшего класса»<sup>39</sup>, писал один из знатоков британской парламентской жизни. По его мнению, то, что «наследник величайшего исторического рода и огромного состояния фактически исполнял функции лакея», свидетельствовало и о высоком чувстве долга, и о горячем стремлении к политической карьере.

Правящий класс поставлял стране не только правителей. В равной пропорции, как и другие классы, он порождал и балласт, людей никчемных, бесполезных, неудачников, шарлатанов, негодяев и обыкновенных недоумков. Помимо премьер-министров и создателей империи, у нации были свои клубные пустомели и зануды, избалованные, карикатурные «Реджи» и «Алджи», обсуждающие в журнале «Панч» жилеты, воротнички и галстуки, длинноногие гвардейцы, умеющие глубокомысленно изрекать лишь «м-да» и «гм», горемыки, изнуряющие себя алкоголем, скачками и картами, и свои бездари, ничем не примечательные, не делающие ничего хорошего и ничего плохого. Даже в Итоне учились «скаги»<sup>40</sup>, юнцы, по словам одного итонца, «необязательно дефективные, но явные болваны и, вероятно, дегенераты». И хотя «скаг» из Итона – не путать с «суотами» или «зубрилами» – мог лет через тридцать оказаться членом Тайного совета, некоторые выпускники оставались «скагами» всю жизнь. Сесил Бальфур, один из племянников лорда Солсбери, пропал в Австралии, сбежав туда из-за поддельного чека<sup>41</sup>, и умер там, как говорили, от пьянства.

Подобные отдельные инциденты нисколько не подрывали убежденность правящих семей в своем врожденном предназначении властвовать, не сомневалась в этом в значительной мере и остальная часть населения страны. Стать лордом, писал один особенно яркий представитель этого класса лорд Рибблсдейл в 1895 году, для многих – «по-прежнему очень заманчивая перспектива». Рибблсдейла прозвали «прародителем» благодаря внешности человека эпохи Регентства, и во всем его облике воплощался образ истинного патриция до такой степени, что Джон Сингер Сарджент, прославлявший класс и типажи аристократов, не устоял и написал его портрет<sup>42</sup>. Он изображен в

полный рост, как главный королевский распорядитель по охоте и содержанию своры гончих, в длинном пальто для верховой езды и высоких сверкающих сапогах, с цилиндром на голове и плетеным арапником в руке. Лорд Рибблсдейл портретиста Сарджента смотрит на мир с такой прирожденной надменностью, самоуверенностью и элегантностью, с какой на нас не взирал больше со стен галерей ни один другой аристократ. Картину показали на ежегодной выставке изобразительного искусства в Париже, Рибблсдейл пришел посмотреть на нее, и за ним по пятам из зала в зал ходили потрясенные французы, говоря друг другу шепотом: *“Ce grand diable de milord anglais”*<sup>43</sup>[\[3\]](#).

Когда на открытии «Аскотской недели скачек» лорд Рибблсдейл вел королевскую процессию по зеленой дорожке ипподрома, восседая на светло-каштановом жеребце, от его точеной фигуры в темно-зеленом мундире с золотым поясом на фоне голубизны июньского неба невозможно было оторвать глаз. В роли «кнута» либералов в палате лордов, члена совета Лондонского графства и главного попечителя Национальной галереи он тоже участвовал в управлении государственными делами. Подобно многим другим особам с голубой кровью, лорд не чурался простого люда, обеспечивавшего досуг и содержавшего имения помещиков. Когда королева наградила медалью за пятьдесят лет добросовестной службы Дж. Майлза, холившего собак, Рибблсдейл прискакал из Виндзора, поздравил его и остался «выпить чаю и потолковать» с миссис Майлз. Лорд писал о себе и других дворянах: «Беззаботная жизнь с малых лет обыкновенно приучает к добродушию... Испытывать довольство собой, возможно, эгоистично, и это, возможно, даже дурно, но редко бывает неприятно, а скорее наоборот – очень даже славно». Несмотря на попытки либеральной прессы изображать пэров «вялыми меланхоликами с покатыми лбами и сходящимися коленями», они в представлении Рибблсдейла по-прежнему пользовались уважением и авторитетом. Можно сказать, он не отделял себя от интересов и забот своего графства, поддерживал дружеские отношения с арендаторами, крестьянами и торговцами и никогда не позволил бы себе сделать что-либо «порочащее доброе имя и испытанное временем добрососедство». И все же, несмотря на комфортное существование, Рибблсдейл не мог не ощущать приближения грозы, взяв через тридцать лет девизом для своих мемуаров слова Шатобриана: «Я

сохранял сильную любовь к свободе, присущей только аристократии, последний час которой пробил».

Середина лета – пора неги, и лондонское общество в полной мере предавалось удовольствиям и забавам. Титулованному гостю из Парижа показалось, будто «в июне и июле боги и богини покинули свой Олимп и хлынули в Англию»<sup>44</sup>. Аристократы и аристократки, «витая в золотых облаках, роскошествовали с такой же пылкостью и естественностью, с какой цветы распускаются в саду». Вслед за принцем Уэльским шла «флотилия белых лебедей, чьи грациозные длинные шеи венчались прелестными головками, украшенными изумительными драгоценностями»: экипажи леди Гленконнер, герцогини Ленстер и леди Уорик. Герцогиня, умершая юной в восьмидесятых годах, по словам лорда Эрнеста Гамильтона, была «божественно высокой и статной женщиной и... красоты дивной, почти невыносимой»<sup>45</sup>. Ее преемница, графиня Уорик, «самая прелестная замужняя женщина в Лондоне», была любовницей принца Уэльского, спровоцировав громкий скандал, когда лорд Чарльз Бересфорд чуть было не ударил своего будущего сюзерена. Она представлялась светскому журналу «богиней с округлыми формами, просвечивавшими сквозь прозрачные одеяния, ослепительно прекрасным и надменным выражением лица и известностью, проникшей в самые отдаленные и глухие окраины безмятежной страны». Она была воплощением Красоты, магического символа, придающего его владельцу общественную значимость. «Вставай, Дейси! – говорила мать дочери, измученной качкой, когда судно причалило к пирсу после штормового перехода через Ирландское море. – Люди собрались взглянуть на тебя».

Фешенебельные площади Беркли и Белгрейв заполнились толпами народа. Дома оставались, наверное, лишь те, кто готовился отправиться в мир иной. День начинался в десять утра с галопа в парке и заканчивался балами в три ночи. На особом месте между воротами Альберта и Гросвенор в Гайд-парке непременно можно было встретить кого-нибудь из узкого круга избранного общества во время утренней верховой езды или послеобеденной прогулки между чаем и ужином. В Лондоне еще не исчез дух Георгинской эпохи. В окнах домов стояли цветы, в особняках на площадях жили семьи, в честь которых они



названы: Девоншир-хаус, Лансдаун-хаус, Гросвенор-сквер, Кадоган-плейс. По улицам разъезжали роскошные экипажи. Дамы в двухместных колясках, подгоняя своих коренастых и горделивых кобов, театрально щелкали кнутом, чувствуя на себе заинтересованные взгляды джентльменов, посматривающих на них из окон клубов. Джентльмены, вздыхая, говорили друг другу<sup>46</sup>: «Как это мило, когда очаровательная женщина управляет парой великолепных лошадей». Неподалеку гарцевали королевские конные гвардейцы в алых мундирах и белых панталонах, покачиваясь в седлах на черных скакунах с позвякивавшими и сверкавшими на солнце уздечками. Время от времени появлялись грациозные силуэты кебов и профили их седоков, известных государственных деятелей и клубных светил, ехавших с визитами или в свои клубы на Пэлл-Мэлл и Пиккадилли: «Карлтон» и «Уайтс» – для консерваторов, «Реформ» или «Брукс» – для либералов, «Атенеум» – для ученых, писателей и других талантов, «Терф» – для спортсменов, «Будлз» – для любителей верховой езды, «Травеллерз» – для бизнесменов и дипломатов, где они могли пообщаться с людьми, подобными себе. Проблемы правительства и империи обсуждались в самом главном «клубе» Лондона – палате общин. Ее библиотека, курительная комната, столовая, слуги, официанты и винные погреба вполне удовлетворяли запросам джентльмена. Дамы в широкополых шляпах и длинных платьях пили чай с депутатами и министрами, уточняя политические сплетни, на террасе, откуда открывался чудесный вид на Ламбетский дворец архиепископов на другом берегу Темзы.

За частными обеденными столиками, завешанными ветвями смилакса и окруженными официантами, стоявшими у каждого кресла, джентльмены во фраках и белых галстуках галантно беседовали с дамами, обольщавшими их обнаженными плечами, едва закрытыми облачком тюли, сиянием звезд и диадем в волосах. Разговор велся не обыденный, и тем и другим надлежало продемонстрировать определенный уровень «компетентности и престижа». В оперном театре, ставшем очень модным благодаря стараниям его деятельной патронессы леди де Грей, Нелли Мельба исполняла любовные арии, очаровывая всех своим ангельским сопрано, на пару с обаятельным тенором Яном де Решке. В королевской ложе притягивала одобрителные мужские и завистливые женские взгляды пленительная

леди Уорик в алом мефистофельском бархатном платье с просторным вырезом на груди, «всего лишь несколькими бриллиантами» и алым султаном на голове. Мириады лорнетов устремились в сторону леди де Грей, соперницы леди Уорик в состязании на титул самой стильной женщины в Лондоне, дабы оценить ее одеяние. Как-никак, на званых обедах у леди Грей, прозванных «богемами тиар»<sup>47</sup>, среди гостей бывали сама мадемуазель Мельба, принц Уэльский и до рокового 1895 года – Оскар Уайльд. Каждый вечер у нее превращался в политические дебаты, продолжавшиеся до полуночи, и завершался танцами до утра. Верхнюю строчку в рейтинге лондонского Олимпа богинь занимали герцогиня Девонширская и леди Лондондерри, арбитры общества. Сверкая бриллиантами, они принимали, пожалуй, самую многочисленную череду именитых гостей, и дворецкий без усталости объявлял громовым голосом: «его милость...», «его высочество...», «достопочтенный...», «лорд и леди...», «его превосходительство...», а у подъезда лакей в ливрее провожал отъезжавшие кареты.

Общество разделялось на сегменты, неформальные содружества, связанные определенными интересами: они держались особняком, но иногда соприкасались и даже смешивались. Символами «резвого» или «шалопутного» дома Мальборо были сигара и пунш, ганноверская наружность с выпирающим носом и подбородком, коротко подстриженная седая борода и располневшая, но все еще царственная фигура принца Уэльского. Эклектичный, общительный и смертельно уставший от монотонности придворного режима, предписанного вдовой матерью, принц с радостью допускал в свой узкий круг аристократов и посторонних лиц при условии, если они ему показались внешне привлекательными, богатыми или занимательными. В числе таких людей могли быть и американцы, и евреи, и биржевые маклеры, и отдельные фабриканты, путешественники или какие-нибудь сиюминутные знаменитости. Среди его личных друзей было немало выдающихся деятелей, к примеру, адмирал сэра Джон Фишер, и следовало бы осудить как недружественный навет слух о том, будто он не прочел ни одной книги. Действительно, из всех современных писателей он предпочитал Марию Корелли, но проштудировал и первую книгу лейтенанта Уинстона Черчилля «История Малакандской действующей армии» с «превеликим интересом», великодушно отметив в записке автору «в

целом превосходность описания и языка»<sup>48</sup>. Однако в его окружении к интеллектуалам и литераторам относились нелестно и умственные способности не приветствовались, поскольку, согласно леди Уоррик, в обществе или по крайней мере в этом его сегменте «не желали утруждать себя размышлениями». Эти люди хотели жить себе в удовольствие, беззаботно, бездумно и экстравагантно. Пришельцы, особенно евреи, воспринимались неприязненно, «не потому, что они были неприятны нам индивидуально, а потому что были слишком умны и сметливы в финансах». Данное обстоятельство имело особое значение, ибо общество желало думать не о том, как зарабатывать деньги, а о том, как их тратить.

Строгими нравами отличались «неподкупные», стародавние, реакционные и особенно дорожившие своей классовой исключительностью семьи, считавшие пошлым и вульгарным окружение принца и лишь себя – столпами общества. Каждое семейство имело уйму бедных сельских родственников, время от времени привозивших в Лондон дочь, созревшую для замужества, но так и продолжавших жить понятиями XVIII века. Другой противоположностью фривольному содружеству принца были «интеллектуалы» или «духи», концентрировавшиеся вокруг Артура Бальфура, племянника лорда Солсбери, одаренного, блистательного и самого популярного человека в Лондоне. Они особенно выделялись образованностью, умом, осознанием интеллектуального превосходства и непомерным самолюбованием. Они получали удовольствие от общения друг с другом подобно тому, как необычайно красивая женщина наслаждается, глядя на себя в зеркало. «Вы любите долго сидеть и копаться в душах друг друга, – сказал как-то лорд Чарльз Бересфорд на званом обеде в 1888 году. – Поэтому я буду называть вас духами»<sup>49</sup>. С тех пор их так и называли. Сам лорд Чарльз, адмирал и яркий представитель содружества принца Уэльского, не относился к числу «духов», хотя и женился на женщине, любившей надевать тиару с вечерним платьем и изображенной Сарджентом с двойным комплектом бровей<sup>50</sup>, поскольку, как объяснял художник, на ней всегда двойные брови – одни натуральные, а другие – подведенные карандашом.

У всех «духов» прекрасно сложились политические карьеры, и почти все они занимали министерские посты в правительстве лорда

Солсбери. Самым примечательным из них оказался Джордж Уиндем, написавший книгу о французских поэтах и предисловие к труду Норта о Плутархе, а после службы ставший парламентским секретарем Бальфура, назначенного в 1898 году заместителем военного министра, несмотря на комментарий лорда Солсбери: «Я не люблю поэтов»<sup>51</sup>. «Духами» были и Джордж Керзон, заместитель министра иностранных дел, а затем вице-король Индии, и Сент-Джон Бродрик, военный министр. Оба были наследниками пэрства и оба тщетно протестовали против неизбежного перевода в палату лордов. Другие «духи» так или иначе имели прямое отношение к семейству Теннант. Альфред Литтелтон, чемпион в крикете, будущий министр по делам колоний, был женат на Лауре Теннант. Лорд Рибблсдейл женился на Шарлотте Теннант. На бракосочетании третьей сестры, Марго, с Асквитом, уходившим с поста министра внутренних дел, присутствовали два бывших премьер-министра Гладстон и лорд Роузбери и два будущих – Бальфур и сам жених. Особенно все обожали Гарри Каста, наследника баронского титула Браунлоу, мыслителя и атлета, остряка, благодаря лишь одной репутации получившего за обеденным столом предложение стать редактором «Пэлл-Мэлл газетт», не имея никакого опыта, согласившегося принять его и исполнявшего эту роль четыре года. Он был подвержен одному серьезному пороку – «фатальному потворству своим слабостям»<sup>52</sup> – прежде всего в отношениях с женщинами, которым казался «неудержимо притягательным». В результате его карьера пострадала и многообещающие возможности так и не реализовались.

Аристократическая корпорация была невелика, и ее *sine qua non* <sup>[4]</sup> была земля. Чужак мог оказаться в ней только лишь посредством приобретения имения, в котором надлежало жить, и даже этот способ не всегда приводил к нужному результату. Когда Джон Морли, в то время министр, посетил Скибо, где Эндрю Карнеги построил бассейн, и попросил сопровождающего высказать свое мнение <sup>53</sup>, тот рассудительно сказал: «Что ж, сэр, по-моему, это стиль парвеню».

В этом, по определению Уинстона Черчилля, «блистательном и могущественном сообществе»<sup>54</sup>, состоявшем из двухсот знатных семей, поколениями правивших Англией, все знали друг друга или были связаны родственными или иными узами. Осознание превосходства и благоприятные условия жизни стимулировали

активное самовоспроизведение титулованного и нетитулованного дворянства: аристократы и помещики, как правило, обзаводились большими семьями, иметь пять или шесть детей считалось нормой, семь или восемь – желательным, девять и даже более – вполне вероятным достижением родителей. У герцога Аберкорна, отца лорда Джорджа Гамильтона, министра в правительстве Солсбери, было шесть сыновей и семь дочерей, 4-й барон Литтелтон, свояк Гладстона и отец Альфреда Литтелтона, воспитывал восемь сыновей и четырех дочерей, герцог Аргайлл, министр по делам Индии в правительстве Гладстона, тоже имел двенадцать детей. В результате бракосочетаний между семьями устанавливались родственные связи. На домашних приемах, на скачках и на охоте, на регате в Каусе, в академии, при дворе или в парламенте нередко можно было встретить троюродного брата, дядю шурина, сестру отчима или племянника тети. Когда премьер-министр формировал правительство, то никто не обвинял его в кумовстве, если некоторые члены кабинета оказывались в родственных связях с ним самим или друг с другом. Лорд Лансдаун, военный министр в кабинете 1895 года, был женат на сестре лорда Джорджа Гамильтона, министра по делам Индии, а дочь Лансдауна вышла замуж за племянника и наследника герцога Девонширского, лорда председателя Тайного совета.

Властители страны, по замечанию одного автора, «близко знали друг друга не только по Вестминстеру»<sup>55</sup>. Они учились вместе в одном из самых престижных колледжей – Крайст-Черче в Оксфорде или Тринити в Кембридже. В Крайст-Черче получили образование премьер-министры лорды Роузбери и Солсбери, в Тринити – их преемники мистер Бальфур и сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман. Подлинным питомником государственных деятелей, однако, был Баллиоль в Оксфорде, где заслуженный ректор Бенджамин Джоуэтт весь свой недюжинный талант направлял на то, чтобы выпускники, «используя социальный статус, заняли достойное место на государственной службе»<sup>56</sup>. Наиболее подходящей «средой обитания» для отпрысков из богатых землевладельческих семей считался колледж Крайст-Черч, называвшийся обыкновенно «Хаусом». Когда в нем учились люди, правившие страной в девяностые годы, его деканом был Лидделл, человек исключительно приятной внешности, элегантный, представительный и имевший дочь Алису, которую

обожал безызвестный лектор-математик по имени Чарльз Доджсон. Излюбленными занятиями обитателей «Хауса» были охота на лис, бега, крикет и «нескончаемые обеды в компании лучших парней в мире»<sup>57</sup>.

Когда эти «парни» в старости писали мемуары, они, упоминая Чарльзов, Артуров, Уильямов и Фрэнсисов студенческих лет, указывали в сносках: «впоследствии начальник имперского генштаба», «впоследствии епископ Саутгемптона», «впоследствии спикер палаты или посланник в Афинах». За годы близкого знакомства они хорошо узнали сильные и слабые стороны друг друга и могли в случае необходимости попросить о небольшом одолжении. Когда 23-летний Уинстон Черчилль пожелал участвовать в 1898 году в суданской экспедиции, несмотря на возражения главнокомандующего сэра Герберта Китченера, он добился своей цели без особого труда. Дед Черчилля 7-й герцог Мальборо служил вместе с лордом Солсбери в правительстве Дизраэли, и лорд Солсбери уже сам в роли премьер-министра доброжелательно выслушал просьбу молодого человека и пообещал помочь. Когда потребовалось ускорить процесс принятия решения, Уинстон переговорил с личным секретарем, сэром Шомбергом Макдоннеллом, «с которым я встречался в обществе с малолетства». Уинстон застал его, когда тот одевался, готовясь уехать на званый обед, и объяснил неотложность дела. «Я займусь этим незамедлительно», – сказал галантный секретарь, отменив поездку на важное мероприятие. И в таком ключе решались многие проблемы.

Воспитание они получали одинаковое, но главным его назначением было не научное познание или развитие научного мышления, а оттачивание чувства собственного достоинства, наделявшего человека правом на статус английского джентльмена и непоколебимой верой в то, что этот статус является наивысшим благом. Его обладателю следовало никогда не забывать о своей исключительности. В каждой комнате Итона висела знаменитая картина леди Батлер, изображавшая катастрофу при Маджуба-Хилл, на которой офицер, подняв саблю, шел в атаку с криком “*Floreat Etona!*”

[5] Этот возглас некоторые могли расценить как свидетельство приоритетности отваги, а не стратегии в британской военной кампании. Все же для истинного итонца важнее всего было «впитывать дух естественного превосходства и внушать себе

осознание непререкаемого первенства»<sup>58</sup>. Вооруженные этими принципами, джентльмены гордились своим миром избранных и с жалостью относились к тем, кто к нему не принадлежал. Когда сэру Чарльзу Теннанту и его партнеру, игравшим в гольф, помешал чужак, положив свой мяч в метку, сэр Чарльз спокойно сказал разгневанному напарнику: «Не сердитесь на него. Скорее всего, он не джентльмен, бедняга»<sup>59</sup>.

Этому магическому образу завидовала и пыталась его имитировать континентальная аристократия (за исключением, может быть, русских дворян, которые любили говорить по-французски и никому не подражали). Немцы женились на англичанках и носили твид и пальто-реглан, а во Франции вся жизнь *haut monde*<sup>[6]</sup> проходила вокруг «Жокейского клуба», завсегдатаи которого играли в поло, пили виски, а портреты знати в красных охотничьих камзолах писал Поль Сезар Эллё, французский Сарджент.

Неслучайно аристократов изображали в облике всадников. Лошадь была неотъемлемым атрибутом английского джентльмена. С тех пор как человек оседлал коня, приобретя особую статью, скорость передвижения (и силу удара после изобретения стремян), лошадь отделяла властелина от подвластного ему смерда. Всадник стал символом владычества, и нигде в мире столь свято, как в Англии, лошадь не считалась обязательной принадлежностью класса аристократов. Буцефал удостоверял их избранность и могущество. Когда одному литератору потребовалось описать менталитет дворянства, он прибег к наезднической терминологии: в их представлении общество состояло из «узкого круга аристократов, рожденных в сапогах со шпорами, чтобы ездить, и огромной темной массы простонародья, оседланного и взнузданного, чтобы возить»<sup>60</sup>.

В 1895 году лошадь все еще оставалась не только повсеместным, неотъемлемым, но и даже более ценным аксессуаром жизнедеятельности высшего общества. Она обеспечивала передвижение, занятия, давала пищу для душевных бесед, воспламеняла любовь и отвагу, вдохновляла поэтов, помогала поддерживать и укреплять физические и духовные силы. Без нее не существовало бы ни скачек, спорта королей, ни кавалерии, элитных войск любой армии. Один английский патриций с ностальгией

вспоминал о своей юности как о времени, когда «я смотрел на жизнь из седла и чувствовал себя на седьмом небе»<sup>61</sup>.

Посетить в воскресенье галерею «Таттерсоллз» и посмотреть лошадей накануне аукциона в понедельник считалось не менее модным, чем сходить в оперу. Для аристократов было зазорно ездить на скачки в Ньюмаркет, они либо уже владели там домами, либо снимали особняки и жили в них в продолжение всего праздничного мероприятия. Скачками руководили три стюарда из «Жокейского клуба», и никто не имел права оспорить их решения. Три министра в правительстве лорда Солсбери – мистер Генри Чаплин, граф Кадоган и герцог Девонширский побывали в роли стюардов «Жокейского клуба». Надо было обладать немалым состоянием для того, чтобы иметь конюшню и разводить скаковых лошадей. Когда лорд Роузбери, женившийся на дочери Ротшильда, выиграл дерби будучи в 1894 году премьер-министром, он получил поздравительную телеграмму из Америки от Чонси Депью: «Верх блаженства!»<sup>62</sup> Господин Депью недооценил потенциал лорда Роузбери: он выиграл дерби дважды – в 1895 и 1905 годах. В 1896 году на скачках пришел первым длинноногий гнедой принца Уэльского Персиммон, выращенный в его собственных конюшнях, в 1900 году победил Даймонд Джубили, брат Персиммона, в третий раз принц Уэльский выиграл дерби в 1909 году уже будучи королем, выпустив на дорожку Майнору. Победа на скачках действующего монарха вошла в историю Эпсوما как величайшее событие. Когда королевские пурпур, алый и золотистый цвета появились первыми на Таттенемском повороте, толпа взревела; когда Майнору мчался вровень с соперником к финишу вдоль ограды, болельщики неистово кричали и плакали от радости, когда лошадь короля на целую голову обошла конкурента. Они прорывались через канаты, хлопали короля по спине, пожимали руки, и «даже полицейские, размахивая шлемами, орали до хрипоты»<sup>63</sup>.

Завоевать известность можно было, следуя и примеру лорда Лондесборо, президента клуба «Фор-ин-хэнд», прозванного «франтом» за элегантность и изысканность одеяний, щегольские выезды и кичившегося своими «великолепными, быстроногими и стильными» росинантами<sup>64</sup>. Ездовая лошадь не была лишь предметом гордости владельца, она служила главным транспортным средством, превращаясь иногда в тирана. Когда племянница Чарльза Дарвина в



1900 году приехала проводить лорда Робертса, отправлявшегося в Южную Африку, она увидела корабль, отплывавший без лорда Робертса по причине того, что «карету пришлось вернуть домой, ибо лошади устали»<sup>65</sup>. Когда ее тетя Сара, миссис Уильям Дарвин, уезжала в Кембридж за покупками, она обычно шла позади кареты даже на небольших подъемах, а если цель ее путешествия находилась на расстоянии более десяти миль, то карета и лошади оставались дома и она нанимала экипаж.

Подлинное удовольствие от верховой езды всадник получал во время охоты с гончими. Уилфрид Скоуэн Блант ощущал в себе «Бога, оседлавшего крылатого коня», когда галопом мчался по склонам холмов за сворой гончих<sup>66</sup>. Охота на лис была особенно волнующей, обострявшей томительное предвкушение опасности и удачи: возбужденный лай собак, стенания охотничьих рогов, стремительная лавина красных камзолов джентльменов и черных одеяний дам, перелеты через бугры, загороди, канавы и каменные стенки, переломы, растяжения и даже обмороженные носы, щеки и пальцы зимой. Жить и осознавать себя частью привилегированного и праздного класса было благостно, охота же пробуждала чувства радости и восторга. Приверженцы этого досуга выезжали полевать с гончими пять и даже шесть раз в неделю. О мистере Ноксе, священнике герцога Ратленда, говорили, будто на нем под сутаной всегда были сапоги со шпорами и он «думал о лошадях» даже тогда, когда читал проповедь<sup>67</sup>. В семье герцога по темпу утренней молитвы определяли, уезжает мистер Нокс сегодня на охоту или нет.

Мистер Генри Чаплин, самый известный «сквайр» в кабинете лорда Солсбери и архетип английского сельского помещика, в равной мере ответственно исполнял обязанности и парламентского представителя интересов сельского хозяйства, и председателя охотничьего общества «Бланкни хаундз». Во время дебатов или заседаний кабинета он рисовал лошадей на официальных бумагах. Когда ему приходилось в роли министра отвечать на вопросы, специальный поезд ожидал его, чтобы наутро к назначенному времени отвезти на охоту. Состав останавливался где-нибудь между станциями, и мистер Чаплин выходил в алом камзоле и белых бриджах, взбирался по насыпи, где его встречал конюх с лошадьми. Он весил 250 фунтов, с трудом находил подходящую животину и нередко «за один день мог

загонять до упаду несколько коней». «Дух захватывало, когда он штурмовал ограду на одном из таких тяжеловесов». Рассказывали такой случай. Охотникам надо было перебраться на другое поле, но путь преграждала огромная и густая живая изгородь с единственным просветом, в котором росло деревце, обнесенное железной клеткой высотой 4 фута 6 дюймов. «Требовался топор или хороший нож. Но тут появился могучий сквайр, мчавшийся со скоростью сорок миль в час и в свой монокль видевший только просвет в изгороди. Ничто не могло остановить его; он проскочил со своей лошадью через прогалину, даже не заметив ни дерева, ни клетки»<sup>68</sup>.

Немалых денег стоило исполнение обязанностей председателя охотничьего общества, содержание собственной конюшни и своры гончих. Вдобавок ко всему, мистер Чаплин содержал две своры гончих, одновременно устраивал две охоты, разводил скаковых лошадей, имел оленьи охотничьи угодья в Шотландии и очень дорогого друга принца Уэльского. В результате он разорился и потерял семейные усадьбы. Во время своей последней охоты в 1911 году, когда ему уже перевалило за семьдесят, его сбросила лошадь, но когда его везли домой с двумя сломанными ребрами и пробитым легким, он попросил остановиться в ближайшей деревне и отправил телеграмму «кнуту» консерваторов в палате общин о том, что его не будет на вечернем голосовании.

Джордж Уиндем, главный секретарь по делам Ирландии в 1902 году, тоже разрывался между охотой и служебными обязанностями. Правда, в отличие от мистера Чаплина, к его чувству долга примешивались амбиции: он намеревался стать премьер-министром. Кроме того, он писал стихи, тянулся к искусствам и литературе, и ему всю жизнь приходилось делать трудный выбор. Приятель-охотник советовал «не растрчивать жизненные силы на политику и доказать Генри Чаплину, кто наилучшим образом способен реализовать свои возможности». Трудно было не согласиться с ним. Конечно, для джентльменов предпочтительнее собраться всем вместе за завтраком в красных камзолах и с повязанными вокруг шеи фартуками, чтобы ненароком не запачкать белоснежные бриджи, или встретить Рождество за праздничным столом, накрытым для тридцати девяти персон, тридцать из которых все еще в состоянии охотиться на следующий день. «Сегодня мы снова в поле, – описывал свои ощущения Уиндем. – Трое из нас вырвались вперед (на пять корпусов

от ближайших наездников). Остальные безнадежно отстали. Мы распластались по всему полю. Аллур бешеный. Мы палили, не переставая. Гончие заливались восторженным лаем. Никто не смог обогнать нас. Какие моменты... какое наслаждение. Нет ничего более упоительного, чем охота».

Помимо охоты на лис, другим древнейшим занятием для английского конного джентльмена была война. Офицеры-кавалеристы были армейской элитой и выделялись не столько умом или воображением, сколько своим статусом. Они «отличались самоуверенностью»<sup>69</sup>, писал один бывший кавалерист, в той «наивысшей степени, какая была присуща молодым людям того времени, гордившимся своим классом и страной». В первый же год службы в полку муштра и рутинные падения вниз головой с лошади приучали их пребывать «в состоянии онемения и помраченности сознания, необходимого кавалеристам». Поло, зародившееся в полках, расквартированных в Индии, было их страстью, а кавалерийская атака – квинтэссенцией и верхом совершенства тактики и стратегии. Из их рядов выдвигались военачальники, и они верили в превосходство кавалерийского натиска так же непоколебимо, как в непогрешимость англиканской церкви. Классическим кавалерийским офицером был ладный красавец, близкий друг принца Уэльского, «блиставший и при дворе, и в клубах, и на скачках, и на охоте... и всегда вызывавший особое восхищение и обожание в лондонском обществе», полковник Брабазон из 10-го гусарского полка<sup>70</sup>. Рослый, шесть футов, сероглазый, хорошо сложенный гусар-полковник обладал волевым подбородком, закрученными вверх усами, которым позавидовал бы сам кайзер, и аналогичными идеями. Докладывая в 1902 году комитету по имперской обороне об уроках Англо-бурской войны, во время которой он командовал конницей, генерал Брабазон (теперь уже в этом звании) «взволновал присутствующих ярким описанием рукопашных схваток и теориями, доказывавшими эффективность применения кавалерии в военных действиях». Как сообщал затем королю лорд Эшер, особый интерес вызвали замечания генерала по поводу «недоверия к оружию, которым обеспечивается кавалерия, и действительности шоковых налетов конницы, вооруженной томагавками». Приводя свои доводы в «манере, присущей этому галантному офицеру... он столь наглядно изобразил кавалерийскую атаку, что она

в воображении членов комитета показалась им абсолютно парализующей противника». Затем они выслушали полковника Дугласа Хейга, впоследствии штабного кавалерийского офицера в Южно-Африканской войне, осудившего предложение отказаться от использования копий и утверждавшего, что самое эффективное средство на поле боя – *arme blanche*<sup>[7]</sup>, то есть кавалерийская сабля, шашка.

У себя дома, в имении, главной достопримечательности всей округи, где его «хаус» казался очень большим, а деревня маленькой, в окружении крестьян, арендаторов, коров и овец, на земле, которой его семья поколениями владела, возделывая, сдавая в аренду и получая гарантированный доход, английский патриций вел привычный и привольный образ жизни, нисколько не сомневаясь в его естественной предопределенности. Здесь он обитал с детства в полном единении с природой среди деревьев, над которыми синело небо или сгущались облака, слушал по утрам пение птиц и прогуливался в лесу, где всегда можно было повстречать оленя. «Мы ни в чем не нуждались, когда росли», – писала леди Франс Бальфур. Величественные дворцы – Бленхейм герцогов Мальборо, Чатсуорт – герцогов Девонширских, Уилтон – графов Пембрук, Уорик – графов Уорик, Ноул – семейства Саквиллов, Хатфилд – Солсбери – имели по триста – четыреста комнат, до сотни каминов и крыши, измерявшиеся акрами. Другие чертоги были, возможно, менее грандиозные, но в них семьи жили с более давних времен: например, усадьба Ренишоу принадлежала Ситуэллам по крайней мере семь столетий. Владельцы и больших и малых поместий непрерывно их усовершенствовали, перестраивали особняки, преобразовывали ландшафты. Они срезали или, наоборот, наращивали холмы, рыли пруды и озера, изменяли русла рек и ручьев, прорубали в лесах аллеи, завершая их беседками и павильонами для создания перспективы.

Их владения приумножались. Усадьба, сельский особняк, дом в городе, охотничий домик на севере графства, другой – в Шотландии, возможно, и замок в Ирландии – иметь все это было в порядке вещей. Помимо Хатфилда и особняка в Лондоне на Арлингтон-стрит, лорд Солсбери владел Уолмерским замком в Диле, помещичьим домом Кранборн в Дорсетшире, виллой во Франции, а если бы увлекался

охотой и скачками, то непременно обладал бы обиталищем в Шотландии и/или конюшнями возле Эпсума или Ньюмаркета. В Великобритании насчитывалось 115 индивидуумов, каждый из которых имел более 50 000 акров земли, а сорок пять человек в этой блистательной компании владели угодьями по 100 000 акров, хотя земли чаще всего располагались в Шотландии, где доходы были невелики. Шестьдесят или шестьдесят пять человек, все пэры, имели и более 50 000 акров земли, и более 50 000 фунтов стерлингов дохода, а пятнадцать патрициев – семеро герцогов, три маркиза, три графа, один барон и один баронет – получали земельный доход, превышавший 100 000 фунтов стерлингов. В Великобритании с населением 44 500 000 человек на 2500 землевладельцев приходилось по 3000 акров земли и по 3000 фунтов земельного дохода<sup>71</sup>.

Налог не взимался с доходов менее 160 фунтов, и к этой категории населения относились примерно восемнадцать – двадцать миллионов человек. Из этого числа около трех миллионов были «белые воротнички» и представители профессий, имевших какое-либо отношение к сфере услуг: клерки, продавцы, торговцы, содержатели гостиниц и постоялых дворов, фермеры, учителя, зарабатывавшие в среднем 75 фунтов стерлингов в год. Из пятнадцати с половиной миллионов человек состояла «армия» работников физического труда, в том числе солдат, моряков, полицейских, почтальонов, батраков и домашних слуг: им платили менее 50 фунтов в год. «Черта бедности»<sup>72</sup>, таким образом, измерялась 55 фунтами годового дохода семьи из пяти человек или 21 шиллингом 8 пенсами в неделю. Домашняя челядь спала на чердаках или в подвалах. Батраки снимали жилье за один шиллинг в неделю и с пяти утра, пробуждаясь по сигналу горна, и до наступления темноты трудились в поле – с косой, серпом или за плугом. Они полностью зависели от милости лендлорда, особенно когда требовался ремонт хижин, прогнивших от воды, затекавшей в дождь, и если милосердие хозяина истощалось, нужда заставляла их уходить в работные дома и там доживать последние дни. Семьи обслуги поместья – конюхов, садовников, кузнецов, скотоводов и егерей, – жившие из поколения в поколение на землях хозяина, работали на него «охотно и преданно... и гордились принадлежностью к знатному роду».

В августе открывалась охота на куропаток, и с этого времени до первой сессии парламента в январе лендлорды устраивали друг для друга домашние приемы, продолжавшиеся целую неделю, накрывая столы для двадцати и пятидесяти гостей. Каждый гость приезжал со слугой, и хозяину приходилось потчевать до ста человек, а однажды в Чатсуорте у герцога гостевали сразу четыреста персон. Самым излюбленным занятием была безостановочная пальба на меткость и выдержку из трех-четырех ружей, подававшихся заряжающим, по дичи, вспугнутой ордой загонщиков. Все тропы, ведущие из графства в графство и в Шотландию, были усеяны трупами птиц и зайцев. Поместное дворянство постоянно передвигалось: упражнения в стрельбе с принцем в Сандрингеме; охота (в сине-желтых, а не красных камзолах) с герцогом Бофортом в Уилтшире; погоня за оленями в непроходимых лесах, среди озер и скал Шотландии («Пригнитесь, сквайр, пригнитесь, – шепотом говорил «гилли»<sup>[8]</sup> мистеру Чаплину, подкрадывавшемуся к могучему самцу-оленью. – Вам лучше оставаться на корточках, а то, боюсь, олень увидит вас»); рождественские и юбилейные пиршества и периодические тайм-ауты в Хомбурге или Мариенбаде, чтобы очистить организм для новых раундов.

Утром джентльмены уже на охоте. Дамы спускались на завтрак в шляпках, а к послеобеденному чаю в изысканных и томных чайных платьях из атласа *eau de Nil*<sup>[9]</sup> с отделкой из *mousseline de soie*<sup>[10]</sup>, золотыми блестками и соболиным обрамлением по швам и вокруг шеи<sup>73</sup>. К ужинам они приходили в торжественных вечерних платьях. Весь день по комнатам молча кружились рафинированные слуги, приносили чай, газету «Таймс», воду для ванн, уголь для каминов, ставили свежие букеты цветов в вазы, ударяли в гонг, призывая откусать, шепотом предупреждали – «его милость в библиотеке» и ждали того времени, когда надо помочь ее светлости освободиться от корсета перед сном.

На карточке, вставленной в бронзовую рамку на двери каждой спальни, указывалось имя обосновавшегося в ней гостя, аналогичная карточка имела в буфетной у дворецкого. Учитывалось и то, что в отведенных комнатах могли располагаться и лица, вовлеченные в уже всем известную, но не признававшуюся ими любовную связь. Пока партнеры в совершении супружеской неверности не становились

объектом публичного скандала в результате спонтанного поведения возмущенной жены или рогоносца-мужа, они могли поступать так, как им заблагорассудится сколь угодно долго. Крайне важно было лишь не допустить того, чтобы о прелюбодеянии узнали низшие сословия. В этом отношении действовал строгий кодекс правил. В правящем классе предательство собрата по социальной исключительности считалось непростительным грехом. Не одобрялись ни обращения в бракоразводный суд, ни оглашение сомнительных деяний. Если все-таки оскорбленный супруг не пожелает смириться и пригрозит принять меры, то все главные арбитры общества, включая в случае необходимости и самого принца Уэльского, попытаются его переубедить. Они напоят ему: не надо пятнать репутацию класса перед простонародьем, его долг – блюсти благопристойность, пусть даже внешнюю. Он повинется и, как свидетельствует пример одной супружеской пары, может не разговаривать с женой дома двадцать лет, обращаясь с ней обходительно и любезно в обществе.

В мире роскоши и неумеренного расточительства потакание своим слабостям было естественной и общепринятой нормой поведения. Типичными представителями класса аристократов, чьи странности принимали самые экстремальные формы, были полуночник герцог Портлендский и злобные автократы сэр Джордж Ситуэлл и сэр Уильям Иден. Для большинства же дворян было проще и легче жить в согласии с обстоятельствами, позволявшими сохранять благосостояние и бесперебойно получать от жизни удовольствия, доставляемые богатством и социальным статусом.

Гораздо чаще проявлялись обыкновенная барственность и высокомерие. Когда полковник Брабазон, с трудом произносивший букву «р», приехал на железнодорожную станцию с опозданием и узнал, что поезд в Лондон уже ушел, он повелел начальнику вокзала: «Отп-вавьте д-вугой»<sup>74</sup>. Джентльмены, не желавшие томиться на холодном сельском полустанке или медленно добираться другими средствами, заказывали специальный поезд, тратя на это обычно 25 фунтов. Среди них было немало и таких, кто, подобно королеве Виктории, ни разу не видел железнодорожного билета. Леди надевали только лишь эксклюзивные платья, сшитые специально для них Уэртом или Дусетом, относившимися к своей работе с таким же творческим пылом и любовью, с какой художники пишут портреты.

Для того чтобы «отличаться от других дам», лондонская красотка Дейзи, княгиня Плесс, «украсила настоящими фиалками шлейф придворного платья», сшитого из кружев на голубом шифоне и усеянного золотыми блестками.

Взращенные на привилегиях, английские патриции демонстрировали и превосходство в здоровье. По крайней мере пятеро ведущих министров в правительстве лорда Солсбери были ростом более шести футов, намного выше среднего британца. Из девятнадцати членов кабинета все, кроме двух, перешагнули через семидесятилетний рубеж, семеро преодолели восьмидесятилетнюю планку, а двое отметили и девяностолетие – и это в те времена, когда ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчины при рождении составляла сорок четыре года, а при достижении возраста двадцать один год – шестьдесят два года. Привилегированность вырабатывала в патрициях некое отличительное качество, которое леди Уорик смогла описать лишь такими словами: «У них есть особая стать!»

Отдаленные раскаты приближающейся грозы вызывали у аристократов смутные тревожные ожидания если не конца света, то конца их праздного и беззаботного существования. За портвейном после обеда джентльмены говорили о нарастании демократических настроений и угрозы социализма. Газетным карикатуристам понравилось изображать Джона Буля, с опаской посматривающего на быка по кличке «Труд». Для большинства законопослушных граждан наличие проблем вовсе не предвещало возможность смены существующего порядка, но более просвещенные умы забеспокоились. Молодой Артур Понсонби, видя каждый вечер на набережной от Вестминстера до моста Ватерлоо «жалкое сборище бездомных и опустившихся бедолаг, спящих на скамейках»<sup>75</sup>, порвал с придворными привычками отца и брата, став социалистом. Леди Уорик, борясь с душевными терзаниями, находила успокоение в «периодически возникавшей у нее тяге к филантропии», которой она занялась, испытывая «сильное желание помочь устроить все так, как надо, и глубокое убеждение в том, что сейчас все устроено не так, как надо». В 1895 году, прочитав статью редактора-социалиста газеты «Кларион» Роберта Блатчфорда, осуждавшего грандиозный бал в Уорикском замке по случаю титулования ее супруга, она в гневе



помчалась в Лондон, оставив гостей, посмотреть в лицо врагу. Леди попыталась объяснить ему, как торжества в Уорикском замке помогли дать работу людям в тяжелую зимнюю пору, когда очень трудно найти себе занятие. Мистер Блатчфорд, в свою очередь, объяснил очаровательной гостье характер производительного труда и азы социалистической теории. Она возвратилась в замок с грузом новых идей, направив затем всю свою энергию, деньги и влияние на их пропаганду и огорчая родных, близких и друзей.

Происшествие, случившееся с леди Уорик, – всего лишь эпизод, а не свидетельство формирования тенденции. Британия в 1895 году упивалась осознанием безмятежного превосходства, раздражавшего соседей. Состояние «славной изоляции» отражало как умонастроения, так и реальную политическую обстановку. Британия не задумывалась о потенциальных противниках, не нуждалась в союзниках и обходилась без друзей. Во времена, когда мир будоражили взрывы национальных энергий в других странах, такая блаженная беспечность неминуемо должна была уступить место иным эмоциям и чувствам. 20 июля, менее чем через месяц после вступления в должность членов правительства Солсбери, ему бросили вызов неожиданно и к великому удивлению англичан набравшие силу Соединенные Штаты Америки. Предлогом послужил застарелый спор из-за границы между Британской Гвианой и Венесуэлой. Обвинив британцев в территориальной экспансии и нарушении доктрины Монро, Венесуэла попросила Америку выступить в роли арбитра. Хотя сам американский президент Гровер Кливленд отличался здравомыслием, его соотечественниками овладела эйфория самоутверждения. И поскольку для раздувания шовинистических настроений<sup>76</sup>, как указывал Редьярд Киплинг, Франция уже использовала Германию, а Британия – Россию, то «американскому публичному деятелю оставалось лишь топтать ногами Британию».

20 июля Ричард Олни, госсекретарь президента Кливленда, отправил ноту британцам, заявив, что пренебрежение доктриной Монро будет расценено как «недружественный акт по отношению к Соединенным Штатам», о которых он высказался в неприкрыто воинственном тоне, назвав их «хозяином положения, практически неуязвимом для любых пришельцев». Язык послания был совершенно не дипломатический, но Олни прибег к нему умышленно, ибо, как он

объяснял, «Соединенные Штаты казались англичанам столь ничтожными и малозначительными», что «на них могли подействовать только слова, равноценные боксерским ударам». Но на лорда Солсбери, взявшего на себя и роль министра иностранных дел, они не подействовали. Для него отвечать на такие выпады было бы равнозначно вызову на дуэль собственного портняжки. Внешней политикой он занимался уже двадцать лет. Он вместе с Дизраэли присутствовал на Берлинском конгрессе в 1878 году и участвовал во всех хитросплетениях разрешения вековой Восточной проблемы. Его метод отличался от тактики лорда Пальмерстона, который, по словам принца Уэльского, «всегда знал, чего хочет, и решения принимал моментально»<sup>77</sup>. Внешнеполитические проблемы теперь не были столь прямолинейны и прозрачны, как во времена лорда Пальмерстона, и лорд Солсбери не стремился завоевывать популярность блестящими дипломатическими успехами. Победы в дипломатии, в его представлении, достигались «микроскопическими выигрышами»<sup>78</sup>, в одном случае здравым предложением или разумной уступкой, в другом – оказанием любезности или проявлением дальновидного упрямства, тактичностью, хладнокровием, терпением и выдержкой, которую не могут поколебать никакие нелепости, провокации и просчеты». Однако он считал бессмысленным применять тонкости дипломатической игры в отношении демократии Соединенных Штатов, подобно тому, как, по его мнению, было бы глупо предоставлять право голоса рабочему классу. Он просто-напросто четыре месяца не отвечал на ноту Олни.

Когда же лорд Солсбери 26 ноября, наконец, ответил американцам, он написал, что «проблема границы Венесуэлы не имеет никакого отношения к вопросам, поставленным президентом Монро», недвусмысленно отказавшись обсуждать «границы британских владений, принадлежащих английской короне с тех времен, когда еще не существовало Республики Венесуэлы». Он даже не соизволил подчиниться неукоснительному дипломатическому правилу сохранить возможность для продолжения переговоров. Такой наглой отповеди не мог снести даже учтивый Кливленд. В послании конгрессу 17 декабря он провозгласил: после того как комитет по расследованиям определил пограничную линию, любые попытки Великобритании перейти эту линию будут рассматриваться как «злонамеренные агрессивные

действия», ущемляющие права и интересы Соединенных Штатов. Кливленд моментально стал национальным героем, страну охватила лихорадка ура-патриотизма. «Если надо, будем воевать», – заявила нью-йоркская газета «Сан». Слово «война» звучало столь же привычно, словно речь шла об экспедиции против ирокезов или пиратов.

Британия была в шоке, мнения разделились согласно партийной принадлежности. Либералов ужаснула надменность лорда Солсбери, тори возмутила дерзость американцев. «Ни один англичанин, преданный империи, – написал в газете «Таймс» журналист-тори и новеллист Морли Робертс<sup>79</sup>, – не может без отвращения относиться к доктрине Монро. Англичане, а не обитатели Соединенных Штатов, господствуют в обеих Америках. Ни одна собака в республике не откроет рта, чтобы гавкнуть, без нашего позволения». Негодование было искреннее, хотя и явно преувеличенное. Абсурдность повода для перебранки понимали по обе стороны Атлантики, тем не менее страсти распалялись, у горячих голов кровь закипала в жилах. Внутренняя агрессивность, питавшаяся силой и благосостоянием, вот-вот могла выплеснуться наружу. Конфликт разгорался, и прекратить его становилось все труднее, если бы не вмешались отвлекающие обстоятельства.

Вряд ли можно было найти более полезного человека для того, чтобы отвлечь враждебность в отношениях между другими странами, чем главный смутьян эпохи германский кайзер Вильгельм II. Он никогда не упускал возможности обратить внимание и на себя, и на свою нацию, сыграть выдающуюся роль, принять соответствующую позу, попытаться изменить ход истории. Он страстно желал оказывать влияние, и ему это удавалось.

29 декабря 1895 года подлил масла в огонь застарелого конфликта между Трансваалем, республикой буров, и британской Капской колонией рейд Джеймсона. Номинально под британским сюзеренитетом, но фактически независимая, республика буров препятствовала экспансии Великобритании в Африке и угнетала уитлендеров. Ими считались и британцы, и другие иностранцы, привлеченные в Трансвааль блеском золота и осевшие здесь навсегда. Теперь «чужеземцев» стало больше, чем буров, но те притесняли их, лишая избирательных и других гражданских прав и вызывая

недовольство. Полковник Джеймсон, воодушевленный устремлениями гения-империалиста Сесила Родса, с отрядом из шестисот всадников вторгся в Трансвааль, замыслив поднять восстание уитлендеров, свергнуть правительство буров и подчинить республику британцам. За три дня его всадники были окружены и взяты в плен, но миссия имела далеко идущие последствия, проявившиеся уже через четыре года.

Пока же он дал повод кайзеру еще раз напомнить о себе. Вильгельм телеграммой поздравил президента Англо-бурской республики Крюгера с успешным разгромом интервентов, не прибегая «к помощи дружественных держав». Трудно было не заметить в поздравлении ясный намек на то, что такая помощь по запросу может быть оказана в будущем. Естественно, внимание британцев, как взгляды зрителей на теннисном матче, сразу же переключилось с Америки на Германию, а ненависть – с президента Кливленда, которому всегда меньше всего подходила роль пугала, на кайзера, исполнявшего эту роль со знанием дела. Телеграмма Крюгеру произвела эффект, которого, наверное, не ожидал и сам кайзер. Она открыла британцам глаза на подлинный источник угрозы их помыслам и интересам. С той поры политическим стратегам Великобритании изоляция казалась в большей мере злом, а не благом.

1895 год был насыщен шокирующими событиями, и одно из них, крайне неприятное, произошло за два месяца до прихода к власти консерваторов. Осуждение Оскара Уайльда по статье 11 поправки к уголовному законодательству за непристойное поведение в отношениях с лицами мужского пола погубило и карьеру талантливого литератора, и репутацию декадентства, ярким представителем и символом которого он был.

Об упадке морали заговорили во весь голос два года назад, после выхода в свет нашумевшей книги Макса Нордау «Вырождение». На шестистах страницах истеричного повествования он скрупулезно и повсюду отыскивает свидетельства морального разложения. Он находит их в реализме Золя, символизме Малларме, мистицизме Метерлинка, в музыке Вагнера, драмах Ибсена, картинах Мане, романах Толстого, философии Ницше, шерстяных одеяниях Йегера, в анархизме, социализме, дамских платьях, в безумии, суициде, психических заболеваниях, наркомании, танцах, сексуальной

вольности — во всем, что лишает общество самоконтроля, самодисциплины, стыда и способствует «сползанию к распаду, поскольку оно теряет силы и способности решать великие задачи».

Как истинный декадент, Уайльд последовательно и сознательно подвергал себя саморазрушению. Эстета, сластолюбца и остряка какое-то время спасали от полного краха успехи. Искрометные высказывания завораживали друзей, а пьесы — публику. Но самомнение и чревоугодие превысили все разумные пределы, он располнел и обрюзг, у него появился обвислый второй подбородок, и все пороки, по выражению одного из друзей, «зримо отобразились на лице»<sup>80</sup>. Успехи уже не удовлетворяли его, пресыщение подталкивало к тому, чтобы вкусить ощущения окончательного падения. «Я столкнулся с проблемой, — признавался с грустью Уайльд, — для разрешения которой не существовало известных средств»<sup>81</sup>. Он ускорил свой арест, обвинив в клевете маркиза Куинсберри. Судебный процесс потряс общество, заставил содрогнуться от детальных описаний порочных связей: сводничества, мужской проституции, любовных свиданий в гостиничных номерах со слугой, конюхом, лодочником с пляжа, шантажа. Никаких обвинений не было выдвинуто против лорда Альфреда Дугласа, сына маркиза Куинсберри, пригожего и обольстительного молодого человека, уличенного в непристойных сношениях, в том числе и с Уайльдом. Избежал судебных обвинений и лорд Артур Сомерсет, сын герцога Бофорта и приятель принца Уэльского, пойманный полицией в борделе гомосексуалистов во время рейда в 1889 году<sup>82</sup>. Ему разрешили уехать и вести привычный комфортный образ жизни на континенте, а принц уговорил лорда Солсбери позволить молодому человеку время от времени навещать родителей «без опасения подвергнуться аресту на основании ужасных обвинений».

Фрэнк Харрис, тогда редактор «Фортнайтли ревью», надеялся, что правящий класс проявит солидарность и защитит его друга Оскара. Он исходил из предположения, будто аристократия, умеющая отделять исключительных людей от простонародья, способна опекать не только лордов и миллионеров, но и «гениев». Редактор прискорбно ошибался. Уайльд совершил непростительное деяние, предал гласности свой порок. Интеллектуал-литератор, избалованный в гнусном разврате, возмутил целомудренных филистеров и вызвал у британской

общественности очередной прилив озабоченности моралью. Приговор был суровый, публика злорадствовала и злословила, общество, которое еще недавно восторгалось им, повернулось к нему спиной, кебы и мальчишки – разносчики газет обменивались оскорбительными шутками об «Оскаре», пресса его поносила, книги изымались из продаж, его имя вымарывалось из театральных афиш, рекламировавших «Как важно быть серьезным», его шедевр, исполнявшийся на сцене для просвещенной аудитории. Его падение, говорил джентльмен-социалист Г. М. Гайндман, было «самым печальным событием в литературном мире». После морального низложения Уайльда если не на континенте, то по крайней мере в Англии, рассеялось бледно-желтое марево декадентства *fin de siècle* <sup>[11]</sup>.

Ничто не могло так заострить проблему контрастов, престижа и респектабельности в среде литераторов, как назначение лордом Солсбери на исходе года поэта-лауреата. После кончины Теннисона в 1892 году этот пост оставался вакантным, поскольку ни мистер Гладстон, ни лорд Роузбери, относившиеся со всей серьезностью к литературному творчеству, не могли найти достойной кандидатуры. Суинборн «не годился абсолютно»<sup>83</sup> из-за дурных привычек (хотя мистер Гладстон и «восхищался его гениальностью»), Уильям Моррис был социалистом, Харди знали только по новеллам, а молодые поэтические дарования страдали всеми недугами «Желтой книги» и «Сиреневого десятилетия». Молодой англо-индеец Редьярд Киплинг в «Песнях казармы» (1892 год), безусловно, продемонстрировал зрелость таланта и имперские склонности, но в несколько грубоватом стиле, и ни он, ни У. Э. Хенли, ни Роберт Бриджес не удостоились почетного титула. Другие кандидаты были посредственностями, хотя дебют одного из них, сэра Льюиса Морриса, его современник назвал «самым непринужденным и остроумным творением, когда-либо издававшимся в Англии». Моррис, написавший словесную эффузию под названием «Эпическая поэма о Гадесе» и страстно желавший стать поэтом-лауреатом, посетовал Оскару Уайльду еще до скандала: «Против меня заговор молчания, настоящий заговор молчания. Что мне делать, Оскар?» «Присоединяйтесь к нему», – ответил Уайльд<sup>84</sup>.

Полагая, видимо, что лауреатом, как и епископом, может быть кто угодно, лорд Солсбери, став премьер-министром, назначил на этот пост Альфреда Остина. Журналист консервативного толка, основатель

и редактор журнала «Национальное обозрение», Остин также сочинял пламенные вирши на злобу дня, к примеру, посвятив оду Дизраэли в связи с его кончиной. Когда приятель указал на грамматические ошибки в поэмах, Остин невозмутимо ответил: «Я и не подумаю их исправлять. Они даны мне свыше»<sup>85</sup>. Он был маленького роста, всего пять футов, с круглым лицом, опрятными, седыми усами, регулярно писал статьи, разъясняющие внешнюю политику консерваторов, подписывая их псевдонимом «Дипломатикус», являлся с премьер-министром и частенько бывал в Хатфилде. Остин начинал свою карьеру корреспондентом на войне в 1870 году, брал интервью у Бисмарка в Версале, а через тридцать лет пришел к печальному выводу: Германия в войнах 1859–1870 годов, «без сомнения, прибегала к таким методам, которые не смогли бы позволить себе ни Альфред Великий, ни кто-либо из современных английских министров»<sup>86</sup>. Самым известным его сочинением была книга об английских садах, но за две недели до назначения лауреатом он прославился, опубликовав в «Таймс» балладу о подвиге Джеймсона:

Там в городе золота девы.  
Там матери и дети малые.  
Они молят о помощи. Где ж вы?  
Молодцы смелые, brave?  
И мы, оседлав коней,  
Мчимся во весь опор.  
На север, восток, скорей!  
Сотрясая саванн простор.

Об излишней веселости оды донесли королеве, и она потребовала разъяснений. Солсбери пришлось признать, что произведение нового лауреата ее величества «к сожалению, исполнено в соответствии со вкусами театральной галерки, которая с энтузиазмом распевает эти вирши»<sup>87</sup>. Солсбери так и не объяснил, почему он избрал именно Остину, сказав лишь однажды, что ему «так захотелось». Хотя выбор не имел никакого отношения к достижениям английской поэзии, он соответствовал британским традициям.

Англичанин, как отмечал один американец, искренне верит в то, что им управляют самым достойным и наилучшим образом в мире, и даже в оппозиции убежден: страну губят чиновники<sup>88</sup>. Больше всего он «гордится английской формой правительства» и «непоколебимо верит в личную порядочность государственных деятелей». История лауреата Остина вполне укладывалась в рамки этого комфортного мироощущения. В солнечный летний день юбилейного 1897 года он принимал гостей в парусиновом костюме и панаме, сидя в плетеном кресле на лужайке своего загородного дома и мило беседуя с леди Паджет и леди Уиндзор. Они договорились, что каждый изложит свое видение счастья. Идея Остина оказалась самой благородной. Он пожелал, находясь в саду, получать телеграммы о победах Британии и на море, и на суше<sup>89</sup>.

Легче всего было поднимать на смех Альфреда Остина, его малый рост, напыщенность и банальные стихи. Но в его незатейливом желании выражалась целая гамма простых чувств – преданность, обожание и любовь к своей стране, простодушное неприятие зла, отражавшие состояние души, которое, как и благородная внешность лорда Рибблсдейла, присуще далеко не каждому человеку.

Палата лордов, после того как либералов сменили консерваторы, могла расслабиться и вернуться к своему привычному и естественному образу жизнедеятельности, а именно – употреблять как можно меньше умственных усилий. В последние годы властвования либералов она смогла воодушевиться до такой степени, что ей удалось «остановить разложение», вызванное законотворчеством радикалов, отвергнуть билли об ответственности работодателей и приходских советах, придуманных для демократизации местных органов власти, а затем и билль о гомруле. В последнем своем выступлении 1 марта 1894 года Гладстон предупреждал о расхождении «фундаментальной значимости» между двумя палатами и призывал к поиску путей разрешения «грандиозных противоречий и непреходящего конфликта по принципиальным вопросам первостепенной важности». Когда правительство либералов было у руля, выдвигалось немало предложений о реформировании верхней палаты для сбалансирования властных полномочий и снижения остроты критики. Теперь, когда вновь установилась атмосфера гармонии и необходимость в



чрезвычайных мерах отпала, все позабыли о предупреждениях Гладстона и лорды по обыкновению сибаритствовали.

Из 560 членов палаты многие «бэквуды», как называли пэров, редко появлявшихся на заседаниях, вообще не бывали на них, другие посещали сессии от случая к случаю, и только около пятидесяти лордов регулярно и добросовестно исполняли свои обязанности. Это было «самое благодушное собрание людей, какое только можно себе представить», говорил лорд Ньютон, внимательно слушавший оратора, которого в палате общин заставили бы замолчать через пять минут<sup>90</sup>. «Дебаты велись всегда в исключительно вежливых выражениях» и с такой невозмутимой сдержанностью, которая больше напоминала «отрешенность на грани безразличия». Партийная неприязнь скрывалась под маской «нарочитой учтивости». И для ораторов палата лордов была, пожалуй, самой неинтересной аудиторией. Лорд Роузбери, лидер либералов, жаловался, что на лицах его слушателей всегда было выражение «совершеннейшей усталости и скуки»<sup>91</sup>.

Когда лорд Солсбери возглавлял правительство, палата лордов была полностью в его власти, хотя ее официальным лидером считался лорд-канцлер, спикер. Эту должность занимал лорд Холсбери – выходец из нетитулованной знати по имени Хардинг Гиффард, представлявший одну из древнейших семей в Англии. Ее родоначальник сражался при Гастингсе и был произведен в графа Бакингема Вильгельмом Руфусом. Хотя в следующем поколении титул был утрачен, семья проявила жизнестойкость, добилась если не богатства, то многих заслуг, и 72-летний тогда весельчак лорд-канцлер дожил до девяноста восьми лет. Похожий на персонажа из Пиквикского клуба, коренастый, коротконогий, краснощекий, с пучками волос над ушами и смешливым выражением на лице, лорд Холсбери, несмотря на добродушие, был жестким оппонентом, несокрушимым и обладавшим феноменальной памятью. На нем всегда был фрак, шляпа дерби с квадратным верхом, «настоящий синий» галстук тори, и он, по словам одного молодого члена палаты лордов, «из принципа противился любым переменам в одеянии». Вследствие скромного достатка он получил домашнее образование, и обучал его всему отец, барристер и редактор ежедневной газеты тори «Стандард», заставлявший зубрить греческий язык, латынь и иврит до четырех часов утра и дороживший своей честью до такой степени, что

отказался от предложения герцога Ньюкасла, восхищавшегося его газетой, устроить трех сыновей в Оксфорд. Все же младший сын сумел окончить Мертон-колледж и быстро поднялся на самую вершину юридической профессии, обрастая по пути богатствами и друзьями и обвинениями в склонности к «развеселому цинизму» и бессовестному использованию судейской скамьи в политических целях. Тем не менее когда среди многих претендентов именно его назначали лорд-канцлером, на пост, уступавший по значимости только королевской семье и архиепископу Кентерберийскому, «Карлтонский клуб» поддержал его, «все, до единого человека», а лорд Коулридж, главный судья и либерал, написал: «Ваши политические убеждения, конечно, для меня малопонятны, но во всем остальном вы, как ученый, юрист и джентльмен, лучше всего подходите для того, чтобы быть нашим руководителем»<sup>92</sup>.

Двое высокопоставленных пэров в кабинете лорда Солсбери, 5-й маркиз Лансдаун и 8-й герцог Девонширский, в прошлом виги, были новообращенными консерваторами. Лорд Лансдаун, военный министр, имел классическую внешность аристократа, идеальную для выдвижения на высокий церемониальный пост, и в тридцать восемь лет уже был генерал-губернатором Канады, а в сорок три года – вице-королем Индии. Его древний род назывался Фицморисами. Родоначальник обосновался в ирландском графстве Керри еще в XII веке, и нынешний маркиз был 28-м лордом Керри по прямой мужской линии. Он был одним из тех англо-ирландцев, отмечала газета «Спектейтор», давая оценку кабинету лорда Солсбери, «от рождения одаренных инстинктом управления»<sup>93</sup>. Этим инстинктом обладал прадед, 1-й маркиз, с титулом графа Шелберн служивший государственным секретарем у Георга III и премьер-министром в первый год войны с американскими колониями. Такой же предрасположенностью к властвованию отличался дед, 3-й маркиз, занимавший пост министра внутренних дел и другие высокие должности в шести правительствах в 1827–1857 годах, отклонивший затем предложение стать премьер-министром и отказавшийся от титула герцога. Нынешний маркиз казался шурину лорду Эрнесту Гамильтону «самым первостатейным джентльменом эпохи»<sup>94</sup>, и на международном конкурсе джентльменов он, безусловно, представлял бы Великобританию.

Но второй из упомянутых нами пэров был еще знатнее и имел еще более импозантную аристократическую внешность. Спенсер Комптон Кавендиш, 8-й герцог Девонширский, наверно, был единственным человеком во всей Англии, который вследствие и самоуверенности и беспечности мог позволить себе забыть о намеченной встрече с сюзереном. Эдуард VII, информировав предварительно герцога о намерении отобедать с ним в Девоншир-хаусе в определенный день, прибыл к назначенному времени, смутив и ошелобив домочадцев, поскольку герцога не оказалось дома и его пришлось спешно изымать из клуба «Терф».

В 1895 году ему было шестьдесят два года. Он был высок и статен, его вытянутое габсбургское лицо украшали пушистая борода и античный прямой нос. Прежде он был лордом Хартингтоном и тридцать четыре года членом палаты общин, а теперь занимал пост лорда председателя Тайного совета в кабинете Солсбери. Герцог имел 186 000 акров земли и 180 000 фунтов стерлингов только земельного дохода, то есть без учета инвестиций. Несмотря на пресловутую апатию, он сменил столько государственных постов и кабинетов, сколько не было на счету ни у одного другого сановника. Он был первым лордом адмиралтейства при лорде Пальмерстоне, военным министром при лорде Джоне Расселе, генералом-почтмейстером, министром по делам Ирландии, министром по делам Индии и военным министром в правительствах Гладстона. Привычной деталью Уайтхолла давно стал проезжающий по улице фаэтон с лордом Хартингтоном, направлявшимся в палату общин: поводья отпущены, во рту сигара и рядом колли.

Он сыграл ведущую роль в формировании оппозиции мистеру Гладстону во время двух кризисов восьмидесятых годов, расколовших либеральную партию: по поводу «империалистической» экспедиции генерала Гордона в Судан и гомруля для Ирландии. Хотя лорд и не относился к числу искусных и страстных ораторов, его речь в 1886 году, когда он фактически порвал с Гладстоном, произвела огромное впечатление. Заявив во всеуслышание, что человек не должен поддерживать правительство, даже собственной партии, если не согласен с его политикой, он «вооружил сотни людей по всей стране, как сказал один из консерваторов, новым осознанием долга перед государством и новым способом практического действия»<sup>95</sup>. Генри

Чаплин тогда заметил: «Вы должны стать премьер-министром». Несколькими годами раньше королева, желая освободиться от Гладстона, предложила лорду Хартингтону сформировать правительство. Он отказался в пользу Гладстона, зная, что тот привык быть на первых ролях.

Мистер Бальфур, эксперт в таких делах, считал, что лорд Хартингтон «лучше всех из известных мне государственных деятелей» воздействовал на людей не столько словами, сколько силой убеждения, которая в них заключалась. Только он мог «затронуть все аспекты проблемы, следуя железной логике, прийти к нужным выводам, не замалчивая аргументы ни одной из сторон»: «У нас не было более честного и объективного советчика». Именно благодаря этому качеству, которым Хартингтон обладал «в значительно большей мере, чем кто-либо еще», в нем нуждались правительства, и он доминировал на любом форуме, будь то заседание правительства, сессия парламента или собрание общественности.

Конечно, герцог предпочел бы заняться чем-нибудь другим, поскольку исполнял свои тяжелые служебные обязанности больше из чувства долга, а не по страстному желанию. Он ощущал себя одним из столпов государства. Королева не могла закончить послание к нему в 1892 году без того, чтобы не сказать герцогу о том, как она «полагается на его помощь в обеспечении безопасности и сохранении достоинства ее огромной империи». «Все должны подключиться к этой великой и важной миссии», – такими словами она выразила свою веру в него.

Однако герцог особым рвением не отличался. По словам одного приятеля, он «никогда не сердился, но частенько изнывал от скуки», по мнению другого – «слишком спокойно ко всему относился»<sup>96</sup>. Некоторые объясняли летаргию ленью, другие – намеренным нежеланием поспешать. В любом случае, ему было свойственно засыпать в самый неподходящий момент. Даже собственные речи его утомляли. Однажды, прокомментировав бюджет для Индии, он повернулся к соседу рядом на скамье и, зевнув, сказал: «Как все это чертовски скучно»<sup>97</sup>.

Единственным его настоящим увлечением было содержание конюшни скаковых лошадей и поддержание в течение тридцати лет в силу страсти, привычки или лени связи с «одной из самых очаровательных женщин Европы»<sup>98</sup>, властной и амбициозной

уроженкой Германии Луизой, герцогиней Манчестер. Первый герцог разочаровал ее, обеднев, но, проявляя кастовую солидарность, не предпринимал никаких действий и позволял супруге и лорду Хартингтону наслаждаться обществом друг друга, сохраняя при этом внешнюю нравственную благопристойность. Когда Манчестер умер, вдова вышла замуж за герцога Девонширского в 1892 году, сразу же после его титулования. Затем «двукратная герцогиня», как ее называли, направила все свои усилия и таланты на то, чтобы сделать супруга премьер-министром.

Герцог не помогал ей в этом предприятии. Он не был тем человеком, в котором горячее стремление занять высокий пост убивает все другие желания. После того как он увел либерал-юнионистов из партии, лорд Солсбери дважды предлагал поработать под его началом, но герцог отказывался, не чувствуя еще себя готовым к коалиции. К 1895 году разрыв между умеренными и радикальными вигами углубился, голосование в унисон с тори вошло в привычку, и герцог вместе с четырьмя либерал-юнионистами перешел к консерваторам в лагерь лорда Солсбери.

Консервативное, а теперь и юнионистское правительство сменило либералов в июне 1895 года. Щекотливая ситуация возникала в Виндзоре, куда новоиспеченным консерваторам предстояло явиться на церемонию вступления в должность и пройти мимо своих бывших коллег по партии, сдававших полномочия. Понимая это, личный секретарь королевы организовал церемонию таким образом, чтобы либералы слагали с себя полномочия в 11.00, а новые министры ожидали в это время в другой гостиной. Все и должно было произойти без каких-либо недоразумений, если бы герцог, имевший привычку задерживаться, не опоздал на мероприятие, миновав «комнату ожидания» и встретив своих бывших соратников, которые не преминули осыпать его язвительными шутками. «На его лице не было даже намека на замешательство, — вспоминал очевидец. — Он шел, позевывая, с полузакрытыми глазами»<sup>99</sup>.

Предком Кавендишей был главный судья суда Королевской скамьи во время крестьянского восстания в 1381 году. Сын судьи Джон убил Уота Тайлера, за что Ричард II посвятил его в рыцари, хотя толпа изловила отца и обезглавила. Возможно, без особого энтузиазма, но исполнительно они столетиями помогали монархам править страной.

4-й герцог в 1756–1757 годах некоторое время возглавлял правительство, пока вздорили между собой Питт и Ньюкасл, и ушел в отставку, как только подыскал себе замену. Его брат лорд Джон Кавендиш дважды был канцлером казначейства, «исключительную честность и бескорыстность которого» отметил Эдмунд Бёрк, пожелав, правда, что лорду Джону все-таки следовало бы побольше внимания уделять делам и поменьше – охоте на лис.

5-го герцога прославила женитьба на восхитительной Джорджине, герцогине Девонширской, которую Гейнсборо изобразил на фоне грозowych облаков, а Рейнолдс – с ребенком на коленях. Она одарила супруга не только неотразимой красотой и очарованием, но и не менее дивными игорными долгами, измерявшимися 1 000 000 фунтов стерлингов. К счастью, Кавендиши входили в число трех самых богатых семейств королевства. Когда стюард с сожалением сообщил 5-му герцогу о том, что его сын и наследник лорд Хартингтон «готовится потратить огромную сумму денег», герцог ответил: «Чем больше, тем лучше. У лорда Хартингтона много денег».

И в 1895 году ни богатство, ни положение старшего сына, ни нежелание перенапрягаться, ни ипподром не истребили в герцоге «наследственную инстинктивную тягу к управлению делами государственной важности». Ему было присуще особенно «обостренное чувство долга перед государством»<sup>100</sup>. И это чувство долга перед государством, которое отмечали все, кто знал его, внушалось не столько наследственной состоятельностью семьи, сколько осознанием интеллектуального превосходства. Отец, знаток математики и античности, прозванный «ученым герцогом», дал ему домашнее образование. Позднее в Тринити-колледже Кембриджа, несмотря на светский, вольный и праздный образ жизни «тафтов», «золотых кисточек», как называли титулованных студентов, лорд Хартингтон сдал «трайпос», экзамен на степень бакалавра с отличием. Он стал членом палаты общин в возрасте двадцати четырех лет, а в тридцать лет получил первый правительственный пост. Политическая карьера его брата, лорда Фредерика Кавендиша, тоже начиналась успешно, но в 1882 году в первый день пребывания на посту главного секретаря по делам Ирландии на него напали и убили в парке Феникс в Дублине. Убийство министра английской короны ирландскими бузотерами произвело такую же сенсацию, как и гибель генерала

Гордона в Хартуме. Вследствие убийства брата или по какой-то иной причине герцог приобрел привычку всегда иметь при себе заряженный револьвер, чем возбуждал беспокойство в семье. «Он всегда терял их и покупал новые, – писал племянник. – После его смерти в Девоншир-хаусе нашли не меньше двадцати штук»<sup>101</sup>.

С пришествием во дворец герцогини, неутомимой салонной труженицы, Девоншир-хаус стал самым притягательным для лондонского общества. Каждый год герцог и герцогиня устраивали пышный прием по случаю открытия парламентского сезона. Каждый год в «День Дерби», первый день скачек на ипподроме Эпсوما, в Девоншир-хаус, наполненный запахами роз и других цветов из сада герцога, съезжались толпы разодетых леди и джентльменов на грандиозный бал. Перед балом король давал обед для членов «Жокейского клуба» в Букингемском дворце, а королева приезжала отобедать с герцогиней. Костюмированный бал в Девоншир-хаусе в юбилейном 1897 году был самым знаменательным светским событием эпохи. Домашние приемы в Чатсуорте в Дербишире, семейном имении Кавендишей в продолжение четырех столетий, приобрели особую популярность, когда на них стали бывать принц и принцесса Уэльские, ставшие затем королем и королевой. Принимались во внимание и удовлетворялись все королевские привычки и прихоти, включая обязательное присутствие любовницы, осыпанной бриллиантами миссис Кеппел, с которой, по свидетельству княгини Дейзи Плесс, «король обыкновенно играл в бридж в отдельной комнате, а в это время в других комнатах гости, конечно, тоже играли в бридж».

Построенный из местного золотистого камня, Чатсуорт был окружен живописным парком в стиле XVIII века, созданным по проекту ландшафтного архитектора Брауна, «Умельца», как его тогда окрестили. Главной его особенностью была слепящая глаза роскошь. Каскады воды струились по каменным ступеням длиной шестьсот футов – явное подражание итальянскому ренессансному ландшафту. Каждый лист медной ивы при помощи особого механизма истекал каплями воды. Стены были украшены гирляндами цветов и фруктов, искусно вырезанных из дерева. Библиотека и собрание картин и скульптур не уступали по богатству и уникальности коллекциям Медичи и имели почти общественно-благотворительное назначение. Кураторы, нанятые герцогом, допускали к ним ученых и специалистов,

делали новые приобретения, предоставляли шедевры устроителям выставок. Мемлинг, например, совершил путешествие в Брюгге, а Ван Дейк – в Антверпен. Весь год дворец был открыт для публики, и народ блуждал по залам толпами. Герцогу нравилось наблюдать за зеваками, он, уверенный в том, что никто не знает его в лицо, обычно стоял молча в сторонке и смотрел на проходящих мимо людей, и его страшно удивило, когда «горничная, исполнявшая роль экскурсовода, и вся ее группа визитеров вдруг остановились и во все глаза начали его рассматривать». Скаковые лошади, конечно, интересовали герцога больше, чем книги, но однажды он поразил своего библиотекаря, показавшего ему первое издание «Потерянного рая»: герцог уселся и начал громко и с видимым удовольствием читать поэму. Вошла герцогиня и, ткнув в герцога зонтиком от солнца, сказала: «Если он дорвется до поэзии, то его не вытащишь на прогулку».

А вообще-то герцогу претила помпезность. Когда король решил наградить его новым орденом королевы Виктории, герцог «в своей обычной сонной манере» попросил личного секретаря монарха сэра Фредерика Понсонби объяснить, что ему надлежит делать с «этой штуковиной». «Я никогда не видел человека, столь безразличного к награде. Его больше беспокоило, казалось, то, что она внесет излишнюю и неудобную деталь в одеяние». Во время репетиции коронации короля Эдуарда в 1902 году<sup>102</sup>, на которой пэры в парадных серо-черных брюках и с коронами на голове выглядели особенно комично, герцог, как всегда появившийся с опозданием, бродил со скучающим видом, засунув правую руку в карман и раздражая граф-маршала. Он одевался всегда мешковато и прозаично, не баловал гостей своим вниманием, откровенно игнорировал тех, кто мог утомить его, и однажды, когда оратор в палате лордов с пафосом начал вспоминать об «одном из величайших моментов в жизни», повернулся к соседу и сказал довольно громко: «Величайший момент в моей жизни я испытал, когда мой поросенок получил первый приз на выставке в Скиптоне». Помимо «Терфа», герцог любил также бывать в клубе «Травеллерз», славившемся своей эксклюзивностью и атмосферой «сосредоточенной умиротворенности», в которой предпочтение отдавалось не разговорам, а чтению, раздумьям и дреме. К тягостным выступлениям перед аудиторией он готовил себя, используя очень простой психологический прием, которым герцог как-



то поделился и с молодым Уинстоном Черчиллем на встрече фритредеров в Манчестере, где им пришлось обоим держать речь. «Уинстон, вы нервничаете? – спросил герцог и, получив утвердительный ответ, сказал <sup>103</sup>: – Когда-то я тоже тушевался. А теперь всякий раз, когда мне надо выступать, я внимательно осматриваю публику и, сев на свое место, говорю себе: “За всю свою жизнь я еще не видел столько тупиц”, и мне становится гораздо лучше».

Когда надо, он мог быть «душой компании... приятным собеседником»<sup>104</sup>, то есть при соответствующих внешних обстоятельствах. На званый обед в 1885 году лорд пришел усталый и голодный, проведя целый день на заседании комитета, и еще больше помрачнел и молчал в дурном настроении, когда вначале подали причудливые, но легкие французские блюда, а не что-нибудь посущественнее. Когда наконец принесли ростбиф, он воскликнул: «Ура, теперь можно и поесть!», подключившись сразу же к застольной беседе. Писатель Уилфред Уорд, другой участник этого званого обеда, отмечал, что лорд Хартингтон в отличие от мистера Гладстона, сидевшего за тем же столом, «всегда умел ткнуть пальцем в недостатки, которые обычно пропадали в риторике мистера Гладстона». Спустя восемнадцать лет Уорд снова повстречался с герцогом в британском посольстве в Риме и напомнил о званом обеде. Герцог с чувством воскликнул: «Конечно, как не помнить. Это когда нам нечего было поесть». Уорд заключил: прошло почти двадцать лет, а неадекватность французской снеди все еще не забылась.

Наследовав титул в 1891 году, герцог, не в пример Солсбери, продолжал посещать палату общин и «по обыкновению сидел, позевывая от скуки, в первом ряду галереи пэров» даже во время жарких вечерних дебатов. Титул герцога добавил ему забот. Он теперь владел поместьями в Дербишире, Йоркшире, Ланкашире, Линкольншире, Камберленде, Суссексе, Миддлсексе и в Ирландии, и ему приходилось просматривать всю материально-финансовую отчетность и решать все проблемы с агентами по недвижимости. К тому же он был одновременно еще лордом-наместником Дербишира, канцлером Кембриджского университета, президентом Британской имперской лиги и патроном различных церковных приходов, в которых надо было делать назначения. К этому перечню следует добавить

должности директора или председателя компаний, в которых у него имелись инвестиции: в их числе – две железные дороги, сталелитейный завод, водопроводы, морская строительная фирма. Хотя герцог и не полагался на свои познания в бизнесе, но «когда вникал в суть дела», то, по мнению одного из сотрудников, «никто лучше его не мог констатировать и опровергнуть ложную посылку и найти верное решение». Его умственные способности не отличались быстротой мышления, и если он не мог понять какую-то проблему сразу, то требовал растолковывать ее до тех пор, пока она не становилась для него предельно ясной. Герцог занимался делами прилежно, однако истинную радость, по-видимому, испытывал, посещая свою конюшню скаковых лошадей в Ньюмаркете. Однажды в Э-ле-Бене он встретил У. Смита, лидера консерваторов в палате общин, проговорил с ним о политике полчаса, а потом сказал: «Как приятно в таком месте уделить немножко времени работе». Возможно, на отдыхе его одолевала скука даже больше, чем при исполнении служебных обязанностей.

Консервативное правительство в 1895 году герцог облагодетельствовал не только своим родовым именем и титулом, но и бесценным ресурсом общественного доверия, приобретенного за сорок лет деятельности на благо страны. Его честное служение государству было вне сомнений. Своекорыстие ему было настолько чуждо, отмечал редактор «Спектейтор»<sup>105</sup>, что «никто и никогда даже не помышлял приписать ему недостойные мотивы или заподозрить в том, что он действует в своих интересах»: «Если бы даже кто-то и попытался сделать нечто подобное, то в стране такого злопыхателя просто-напросто объявили бы сумасшедшим». Если герцог выражал свою точку зрения по какой-то проблеме, то для многих людей она служила ориентиром. Он так и не стал премьер-министром и ни разу не выиграл дерби, но, как писала «Таймс», «был главным авторитетом в формировании политических убеждений соотечественников». А сам он не осознавал степень своего общественного влияния: «Не понимаю, почему я должен говорить людям, что им делать. Они будут поступать так, как считают нужным, и я поступаю так, как считаю нужным. Они не любят, чтобы кто-то вмешивался в их жизнь». И когда принц, который тоже полагался на мнение герцога о людях и проблемах, обращался к нему за деликатным советом, герцог жаловался: «Я не знаю, как это получается, но всякий раз, когда вскрывается обман в

картежной игре, в судьи призывают меня». Он стал, можно сказать, хранителем национального самосознания. Респектабельная и слегка меланхоличная наружность герцога привлекала внимание на любом торжестве или церемонии. Он был поистине «достоянием нации», говорил лорд Роузбери.

Среди министров лорда Солсбери, занявших отведенные им места на передней правительственной скамье в палате общин в 1895 году, были и два баронета, 9-й и 6-й, сэр Майкл Хикс-Бич, канцлер казначейства и сэр Мэттью Уайт Ридли, министр внутренних дел. Министра финансов считали ультраконсерватором и ярким поборником англиканской церкви, он представлял землевладельческий класс и обладал столь зловредным характером, что его прозвали «Черным Майклом». Рассказывали, как однажды, прочитав замечания депутата-либерала по бюджету, министр сказал секретарю: «Пойдите и передайте ему, что он свинья»<sup>106</sup>. Рядом с ними сидели два сквайра – мистер Генри Чаплин и мистер Уолтер Лонг, представители помещичьего сословия, нетитулованного дворянства, «презиравшего пэров, но посчитавшего своим долгом отстаивать интересы графств на первых всеобщих выборах»<sup>107</sup>. Мистер Лонг, самый молодой член правительства, ему исполнился всего лишь сорок один год, отвечал за сельское хозяйство, и о нем потом говорили, будто «за всю жизнь он не сказал ничего такого, что могло бы запомниться». Он «любил подремать, сложив руки крест-накрест и закинув голову на спинку сиденья, и на общем сером фоне особенно выделялось его красное, как листва в октябре, лицо». В то же время старший по возрасту мистер Чаплин запомнился тем, что «энергично, неусыпно и бдительно оберегал империю от мошеннических проделок оппозиции»<sup>108</sup>.

Мистеру Чаплину было тогда пятьдесят четыре года. Этот статный господин с большой и красивой головой, длинным носом, выпирающим подбородком, бакенбардами и моноклем был человеком «известным, легко узнаваемым» и одним из самых популярных политиков своего времени: «Все его хорошо знали». Он зримо олицетворял образ английского сельского джентльмена. Мистер Чаплин возглавлял департамент местного самоуправления, который занимался беднотой, жильем, городским планированием, здравоохранением и муниципальными проблемами. Характер его

деятельности лучше всего описал Уинстон Черчилль, которому этот пост предлагали в 1908 году: «Я отказался, не желая, чтобы меня заперли в кухне, пропахшей супом, с миссис Вебб». Чаплин же относился к обязанностям и главы департамента, и члена парламента с чрезвычайной серьезностью и ответственностью. Он считал себя, как и избиратели, заступником драгоценной Британии и репетировал свои речи за живыми изгородями, дабы эффективнее исполнять эту роль. В его жестах и громоподобных заявлениях с передней скамьи в парламенте, по мнению одного из очевидцев, выражалась не тщеславность, а «спокойная и неистребимая убежденность в превосходстве правящего класса»<sup>109</sup>. В своих речах он разрешал самые затруднительные проблемы, будь то тарифы или система образования, с такой же легкостью и бесстрашием, с каким преодолевал канавы на охоте, и даже предлагал использовать биметаллизм для исцеления экономических недугов. Однажды после двухчасовых заумных рассуждений он, нахмурившись, склонился к мистеру Бальфуру и спросил:

- Как я выступил, Артур? <sup>110</sup>
- Великолепно, Гарри, великолепно.
- Вы меня поняли, Артур?
- Ни одного слова, Гарри, ни одного слова.

Артур Бальфур, принадлежавший к роду Сесилов, племянник премьер-министра и его политический наследник, искусный полемист и кумир общества, был образцовым консерватором и партийным лидером в палате общин. В 1895 году ему было сорок семь лет, в 1902 году, когда дядя ушел в отставку, он стал премьер-министром. Рост более шести футов, голубые глаза, вьющиеся каштановые волосы, усы, рыхлое, невыразительное лицо – все это могло указывать на ранимость характера, если бы не неизменно спокойный, безмятежный, почти неподвижный взгляд. По его доброжелательно-бесстрастному лицу невозможно было понять, какие чувства испытывает этот человек и испытывает ли он их вообще.

Его редко видели сидящим прямо: он обычно принимал ленивую позу, откидываясь назад почти до горизонтального положения, словно пытаясь проверить, как писал парламентский корреспондент «Панча», «можно ли сидеть на лопатках»<sup>111</sup>. Он обладал всеми атрибутами привилегированности: приличным состоянием, голубой кровью,

приятной наружностью, обаянием и «необычайно острым умом, какой нечасто обнаруживается в современной политике»<sup>112</sup>. Бальфур был философом на вполне достойном уровне, и его второй труд «Основания веры» американский мыслитель Уильям Джеймс прочел с «огромным интересом»<sup>113</sup>. В этой книге, писал он брату Генри, «больше истинной философии, чем в пятидесяти немецких трактатах, напичканных подзаголовками и мудреными терминами».

По обыкновению отрешенный и бесстрастный, мистер Бальфур тем не менее притягивал к себе людей. Сила его обаяния проявлялась хотя бы в том, что у любого человека, поговорившего с ним, оставалось о самом себе самое благоприятное впечатление. «Хотя он и отличался словоохотливостью, — отмечал Джон Бакан, — все же никогда не главенствовал в беседе, а, напротив, поддерживая оживленный разговор, позволял и другим показать себя с самой лучшей стороны». Проведя вечер в его обществе, писал Остен Чемберлен, «все уходило с чувством глубокого удовлетворения своим красноречием и поведением». Он умел обаять даже политических оппонентов. Он был единственным консерватором, кого Гладстон во время дебатов называл «моим достопочтенным другом», удостаивая этим уважительным эпитетом обычно лишь соратников. Женщины тоже не могли устоять перед его чарами. «Боже мой»<sup>114</sup>, — с придыханием говорила леди Констанс Баттерси, побывав у него дома в 1895 году, — «какая же пропасть между ним и большинством других мужчин!» Марго Асквит понравились «утонченное обхождение» и «неотразимо очаровательный наклон головы»<sup>115</sup> во время душевного разговора с ней, а когда она еще была Марго Теннант и салонной звездой первой величины, то, по словам леди Джебб, могла «свернуть горы» ради того, чтобы выйти за него замуж. Когда же Бальфура спросили о возможности такого брака, он ответил: «Нет, это исключено. Я предпочитаю сам добиваться всего»<sup>116</sup>.

Старший сын леди Бланш Бальфур, сестры лорда Солсбери, был назван Артуром в честь герцога Веллингтона, выступившего в роли крестного отца. По мужской линии Бальфуры имели древнюю шотландскую родословную и своим немалым состоянием были обязаны прадеду Джеймсу Бальфуру, набобу Ост-Индской компании, нажившему его в конце XVIII века. Джеймс заимел в Шотландии поместье площадью 10 000 акров в Уиттинхеме у залива Ферт-оф-

Форт, лес с оленями, речку с лососями, охотничий домик, получил место в парламенте и в жены дочь 8-го графа Лодердейла. Дочь от этого брака, тетя Бальфура, вышла замуж за герцога Графтона, так что Бальфур с учетом связей Солсбери, как говорил его друг, «мог называть своими родственниками половину дворян Англии». Его младший брат Юстас женился на леди Франс Кемпбелл, дочери герцога Аргайла, внучке герцога Сатерленд, племяннице герцога Вестминстерского, приходившейся золовкой принцессе Луизе, дочери королевы Виктории.

Отец Бальфура, тоже член парламента, умер в возрасте тридцати пяти лет, когда Артуру было семь лет, оставив на попечении леди Бланш, которая особенно отличалась религиозностью, свойственной всем Сесилам, пятерых сыновей и трех дочерей. Приучая Артура восхищаться Джейн Остин и «Графом Монте-Кристо», любимым чтивом брата, она воспитала в нем и чувство долга, тоже присущее всем Сесилам. Когда сын в Кембридже увлекся философией и пожелал передать брату наследственные права, а самому заняться наукой, мать пожурила его за слабоволие и стремление увильнуть от ответственности.

В Тринити-колледже Бальфур постигал науку о нравственности, этику. Он не смог получить степень бакалавра 1-го класса, но это никак не отразилось на его доброжелательной натуре и безмятежности душевного состояния. Он был дуайеном кембриджского общества, писала леди Джебб, «настоящим принцем в собственном исполнении и почти столь же избалованным». Фрэнк, один из его четырех братьев, был профессором эмбриологии и, согласно Дарвину, мог занять первое место среди английских биологов, если бы не погиб в Швейцарских Альпах в возрасте тридцати одного года<sup>117</sup>. «Писаного красавца» Джеральда леди Джебб считала «превосходнейшим человеком», хотя ее племяннице он показался «слишком самодовольным». Юстас ничем не выделялся среди других посредственностей, а Сесил оказался «паршивой овцой в стаде» и, обесчещенный, умер в Австралии. Артур, по мнению леди Джебб, был «самым умным в семье, в которой все были неглупые... и почти все его обожали». Правда, леди Джебб отмечала в нем «эмоциональную холодность», и его единственное увлечение Мей Литтелтон, сестрой кембриджского приятеля и племянницей Гладстона, умершей, когда ей было двадцать пять лет, а

ему — двадцать семь, «истощило все силы, имевшиеся у него в этом направлении». Этим обстоятельством, в частности, объяснялась холостяцкая жизнь Бальфура. Однако причиной тому скорее всего была не эмоциональная холодность, а желание иметь полную свободу и ни от кого не зависеть.

В числе его друзей были двое выдающихся ученых — его преподаватель Генри Сиджуик, профессор этики, и физик Джон Стратт, впоследствии 3-й барон Рейли, нобелевский лауреат и канцлер университета. Оба женились на сестрах Бальфура. В те времена интеллигент отождествлялся с агностиком, и кембриджские друзья<sup>118</sup>, знавшие о наследственной религиозности Бальфура, считали его «реликтом мышления старых поколений». Светские же приятели после опубликования в 1879 году его первой книги «Защита философского сомнения» решили, что он отстаивает агностицизм, и при упоминании его имени «принимали важный вид». В действительности, выражая сомнения в материальной реальности, автор утверждал право на духовную веру, изложив эту концепцию во второй книге — «Основания веры». Каждый воскресный вечер он устраивал семейный молебен в Уиттинхеме, где жили его незамужняя сестра Алиса и женатые братья с многочисленными детьми. Его заворожили иудаизм Ветхого Завета и судьба «библейского народа», и он был крайне озабочен положением евреев в современном мире<sup>119</sup>. Племянница и биограф Бальфура еще в детстве переняла от него идею о том, что «христианская вера и цивилизация в неоплатном долгу перед иудаизмом».

В Лондоне никого так часто и охотно не приглашали на званые обеды и вечерние посиделки, как Бальфура. Пренебрегая неукоснительным правилом, обязывавшим лидера палаты находиться на своем месте и участвовать в заседаниях, он исчезал в обеденное время и появлялся через пару часов в вечернем костюме. Во всех дневниковых записях отмечается его присутствие на домашних приемах и званых обедах. «У Ротшильдов, — писал Джон Морли, — только Бальфур, *partie carrée*<sup>[12]</sup>, всегда желанный гость». Он был среди двадцати гостей Гарри Каста, когда в доме наверху начался пожар, но обед и оживленные беседы продолжались, а лакеи, стоя навтыжку, держали ваннные полотенца и оберегали дам и господ от воды, лившейся из брандспойтов<sup>120</sup>. Его видели в Бленхеймском дворце у Мальборо на званом вечере вместе с принцем и принцессой

Уэльскими, Керзонами, четой Лондондерри, Гренфеллами и Гарри Чаплином. Он был на пиршестве в Чатсуорте у Девонширов, где также присутствовали герцог и герцогиня Коннот, граф Менсдорфф, австрийский посол, уродливый, скабрёзный и забавный маркиз де Севераль, посол Португалии, де Греи, Рибблсдейлы и Гренфеллы. Он был замечен в Хатфилде на приеме у Солсбери, где были также герцог Аргайл, мистер спикер Пил с дочерью, мистер Бакл из «Таймс», Джордж Керзон и генерал лорд Метуэн. Его заприметили и в Кассиобери, усадьбе лорда Эссекса, куда в воскресный день, завершавший лондонский светский сезон, заглянула на чай Эдит Уортон. Она увидела там «на лужайке под могучими кедрами цвет лондонского общества: мистера Бальфура, леди Дезборо, леди Эльхо, Джона Сарджента, Генри Джеймса и других представителей блистательного мира избранных, которых настолько утомили неустанные светские заботы последних недель... что они едва находили в себе силы для великодушной улыбки».

Но чаще всего Бальфура видели в Клаудзе, усадьбе баронета сэра Перси Уиндема, излюбленном сельском пристанище для «духов». В этой компании родственных душ его особенно интересовала леди Эльхо, одна из трех сестер-красавиц Уиндем. С ней, хотя она и была женой друга, Бальфур уже лет двенадцать благоразумно и осмотрительно поддерживал любовную связь, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма. Сарджента, писавшего портрет сестер в 1899 году, не взволновали какие-либо реалистические детали вроде бровей леди Чарльз Бересфорд. Леди Эльхо, миссис Теннант и миссис Адин изображены на софе в фарфорово-белых одеяниях и надменно-грациозных позах – олицетворение аристократической женственности.

Дамы общества «духов», противясь викторианскому идеалу женщин, хотели быть и грациозными, и интеллектуальными, и достаточно свободными для того, чтобы самим распоряжаться своей нравственностью. Единственную американку среди них, очаровательную Дейси Уайт, жену первого секретаря американского посольства, однажды приятель поздравил с тем, что она не позволяет себе измениться под влиянием «всех тех, кто имеет любовников»<sup>121</sup>. В этом отношении «духи» ничем не отличались от филистеров клуба принца Уэльского. Все они так или иначе были вовлечены в конспирацию, позволявшую отступать от викторианской морали и



сохранять благопристойность. Связь Бальфура с леди Эльхо одно время приняла столь серьезный характер, что обеспокоила друзей. Какие чувства испытывал супруг Хьюго, лорд Эльхо, наследник графа Уимиз и член сообщества «духов», хотя и молчаливый, нам не известно. Подобные отношения, как и роман герцога Devonshire, были нормой для тех, кого надежно оберегали от попреков и сильная натура, и высокое положение.

Бальфур стал членом парламента от семейного округа не столько по желанию, сколько по наследственному праву старшего сына и Сесила. К тому времени, когда в 1895 году он занял кабинет на Даунинг-стрит в качестве первого лорда казначейства и лидера палаты общин, сменив дядю, пожелавшего вести домашний образ жизни, его врожденная предрасположенность к политике переросла в страсть по мере приумножения опыта и власти. Но от этого бесстрастности и отрешенности в нем не приуменьшилось. На критику он реагировал беззлобно, как на забавного жучка, которого надо не ругать, а повнимательнее рассмотреть. «Неплохой малый, – говорил он об оппоненте. – У него любопытный взгляд на вещи. Небезынтересный»<sup>122</sup>. В душе Бальфур был и консерватором, стремившимся сохранить все лучшее в том мире, который знал, и либералом, по словам невестки, «тянувшимся к прогрессу». В нем чувствовалась «природная упругость юности»<sup>123</sup>, как говорил один из его приятелей, и «свежесть, ясность и оптимизм» умонастроения, по мнению другого. Позднее, уже в роли премьер-министра, он первым из глав правительств приехал в Букингемский дворец на автомобиле, а в палату общин в шляпе «хомбург».

Сам Бальфур относил себя к числу консерваторов, осознававших необходимость отвечать на вызовы рабочего класса. Однако вскормленные на привилегиях, они не могли ни на йоту поступиться своими интересами. Уже в первые годы парламентской деятельности Бальфур присоединился к четверым «радикальным» тори так называемой Четвертой партии лорда Рэндольфа Черчилля<sup>124</sup>. Они занимали места на передней скамье, и Бальфур сидел вместе с ними, поскольку, как он объяснял, там было больше пространства для его ног, но скорее всего по причине общности взглядов. Четвертая партия играла роль овода в политике, получившей название «демократии тори», суть которой сводилась к вере в то, что политическую силу

рабочего класса может обуздать партнерство с тори. Если рабочие поймут, заявлял лорд Рэндольф Черчилль в 1892 году, что «добьются своих целей и выгод» при существующем порядке, о сохранении которого должны печься все тори, то все будет хорошо. Если же консерваторы будут упорно отвергать их требования, «неразумно и недальновидно защищая существующие права собственности», то рабочий класс ополчится против них. Тори были в меньшинстве, и для них было крайне важно завоевать «голоса трудящихся масс».

В действительности Бальфур никогда не испытывал влечения к этой довольно разумной концепции, как, впрочем, и лорд Рэндольф, позабывший о ней, когда дело дошло до ее практического применения. Абстрактно Бальфуру нравилась демократия, и он допускал возможность расширения электората, прав рабочих и улучшения условий их труда, но не путем разрушения стен, ограждавших привилегии правящего класса<sup>125</sup>. В этом и заключались и главная проблема, и главная уловка «демократии тори». Ее проповедники хотели одновременно и удовлетворить требования рабочего класса, и сохранить в неприкосновенности цитадель привилегий. Бальфур разглядел горькую правду истории человечества: прогресса и улучшений в жизни одних людей невозможно достичь без потерь для других. Но он продолжал абстрактно верить в то, что социализм никогда не завладеет рабочим классом, если «те, кто держит в своих руках коллективную силу сообщества, будут демонстрировать желание... устранять поводы для обид и недовольства». Когда же действительно возникала необходимость в практических мерах по улучшению условий жизни рабочих, он не проявлял ни энтузиазма, ни озабоченности их положением. «Что это такое “профсоюз”?» – спросил он как-то друга-либерала<sup>126</sup>. Марго Асквит однажды сравнила его с дядей по чувству юмора, литературному стилю и пристрастию к науке и религии. Есть ли какая-нибудь разница между ними? «Мой дядя был тори, а я – либерал», – ответил Бальфур<sup>127</sup>. Однако, судя по молчаливому согласию дяди с прежними шашнями племянника с «радикальными» тори и доверительным отношениям дяди с племянником, в их мировоззрении было больше единства, нежели разногласий.

Для современников Бальфур, безусловно, был загадочной личностью. Многих озадачивали парадоксальность его натуры,

противоречивость мнений и нестандартность отношения к жизни и политике: и то и другое он никогда не воспринимал лишь в чернотонах. В результате его нередко обвиняли в цинизме, а либералы – даже в порочности. Герберт Уэллс, изобразив его Ившемом в «Новом Макиавелли», написал: «Набирая очки в игре за партийные преимущества, Ившем иногда самым безнравственным и бессовестным образом использовал свой проницательный ум... Разве его это смущало? Разве для него хоть что-то имело какое-то значение?» Уинстон Черчилль тоже однажды употребил слово «безнравственность» в разговоре о нем с миссис Асквит<sup>128</sup>. Она усматривала секрет невозмутимости Бальфура во времена кризисов в его «безразличном отношении к самым серьезным вещам и неверии в то, что счастье человечества зависит от того, как будут развиваться те или иные события». В действительности у Бальфура имелись базовые убеждения, но он обладал и способностью услышать аргументы всех сторон – бич мыслящего человека. Однажды, прибыв на званый ужин в очень знатный дом, где парадная лестница разделялась надвое, он минут двадцать стоял внизу, решая непростую логическую задачу – пойти по левой или правой стороне.

Когда в 1887 году Солсбери назначил племянника на трудный и опасный пост главного секретаря по Ирландии, Бальфуру пророчили фиаско. Его считали томным и апатичным интеллектуалом, а в прессе называли «принцем обаяния» и даже «мисс Бальфур». Ирландию терзала хроническая война между лендлордами и арендаторами, подстегиваемая агитаторами гомруля. Полиция ежедневно выселяла должников, а в ответ разъяренные толпы забрасывали ее камнями и поливали кипятком. Память об участии, постигшей пять лет назад лорда Фредерика Кавендиша, еще не выветрилась, и «все снизу доверху дрожало от страха». Бальфур, пренебрегая угрозами, совершил деяние, изумившее обитателей обоих островов. Он заявил, что намерен быть столь же «непреклонным, как Кромвель»<sup>129</sup> в наведении законопослушания и таким же «радикалом, как любой реформатор» в искоренении несправедливости в земельных отношениях. Его решительность «врагов застала врасплох»<sup>130</sup>, – писал Джон Морли, – а друзей привела в восторг, какого еще не наблюдалось в политической жизни нашего времени». Он сразу прославился, в Ирландии его прозвали «кровавым Бальфуром», а в Англии избрали лидером партии.

После отставки У. Г. Смита в 1891 году Бальфур стал и лидером палаты общин. Полное пренебрежение опасностями, проявленное на посту секретаря по Ирландии, открыло в нем неизвестное доселе современникам качество – мужество или отсутствие в характере такого распространенного свойства, как подверженность страху. Джордж Уиндем, личный секретарь Бальфура, писал из Дублина о «почти комедийном» восхищении ирландских лоялистов своим шефом, объясняя это тем, что «подлинное мужество столь редкий дар, а страх причиняет столько страданий и несчастий, что люди готовы пасть ниц перед любым человеком, лишенным чувства страха». Отсутствие какой-либо нервозности и пугливости в характере Бальфура Уинстон Черчилль связывал с «прирожденной холодностью натуры», но признавал, что «еще не встречал более мужественного человека»<sup>131</sup>: «Если приставить к его лицу пистолет, то, думаю, даже это его не испугает».

Бесстрашие помогало ему и в дебатах. Бальфур никогда не тушевался ни перед оппонентами, ни в затруднительных ситуациях. По словам Морли, он руководствовался принципом д-ра Джонсона: «Надо демонстрировать уважительное отношение к противнику, то есть наделять его достоинствами, которых он не заслуживает». Говорил он по обыкновению «изобретательно и хитроумно, добродушно подшучивая над оппонентами»<sup>132</sup>. Хотя на публике Бальфур редко допускал обидные выражения, в частном порядке мог высказаться не только резко, но и оскорбительно. Однажды он сказал о коллеге буквально следующее: «Если бы у него было побольше мозгов, то он стал бы полоумным»<sup>133</sup>. В палате общин Бальфур обходился с оппонентами почтительно и любезно, но, когда на него нападали ирландские депутаты, он, выслушав их с безмятежной улыбкой, поднимался и отвечал им такими словами, которые имели эффект «шрапнели»<sup>134</sup>. Конечно, все это ему давалось не без душевного напряжения. Он признавался другу, что «очень плохо засыпает после тяжелых вечерних дебатов в палате общин»: «Я никогда не теряю самообладания. Но когда нервы на пределе, мне необходимо время, чтобы их остудить»<sup>135</sup>. Он восхищался Маколи, его манерой изложения фактов и стилем выступления. Речи самого Бальфура, которые он произносил не по заранее написанному тексту, всегда были спонтанными, непринужденными и тем не менее совершенными. Лорд

Виллоби де Брук, молодой и активный член другой палаты, специально приходил послушать выступления Бальфура. Ему нравилось наблюдать за тем, как «идеи и аргументы излагаются в логической последовательности без каких-либо признаков их предварительной компоновки, как искусно, совершенно и легко протекает весь процесс мышления и выстраивания фраз и доказательств, и испытывать восторг от ораторского мастерства».

В действительности Бальфур весьма вольно обращался с фактами, чурался статистики, и память у него была далеко не идеальная, но его всегда выручали артистичность и находчивость. Когда предстояло обсуждение сложного законопроекта, он предусмотрительно брал с собой эксперта – министра внутренних дел или генерального прокурора, если вдруг начинал путаться в деталях, кто-нибудь из коллег шепотом давал подсказку. По описанию сэра Генри Луси, парламентского корреспондента журнала «Панч», мистер Бальфур делал паузу, одарял коллегу дружелюбным взглядом, в котором содержалась и определенная доза укоризны, и говорил весомо: «Именно так». После очередной заминки и подсказки сцена повторялась, но «именно так» звучало строже и коллеге давалось понять, что терпение не беспредельно, его простят и на этот раз, но лучше не допускать более таких промашек.

Он никогда не спешил и нередко вразвалку и с барственным видом появлялся в парламенте, когда уже практически истекало время, отведенное для ответов на запросы депутатов. Бальфур совершил настоящую революцию, когда перенес короткие заседания в палате общин со среды на пятницу, желая, видимо, нарастить уик-энд, который сам и придумал для того, чтобы предаваться любимой игре в гольф. «Эта чертова шотландская забава», – с отвращением говорил один англичанин о спортивном увлечении, ставшем чрезвычайно популярным благодаря Бальфуру<sup>136</sup>. Сам Бальфур, пренебрегая всеми обычаями, играл в гольф даже по воскресеньям, делая исключение для Шотландии, и от него исходила такая магия, что общество с легкостью перенимало его вкусы и предпочтения, усвоив в том числе и привычку проводить в загородном доме уик-энд. Он не увлекался ни стрельбой из ружей, ни охотой, но, помимо гольфа, с азартом играл в теннис, разъезжал, когда позволяло время, на велосипеде, иногда преодолевая за один заезд по двадцать миль, и пристрастился к автомобилям. Его

представление о том, как надо отвлекаться от дел, тоже было нестандартным. Когда сестра, леди Рейли<sup>137</sup>, спросила приехавшего к ней в гости брата, какой вид развлечения для него предпочтительнее, Бальфур ответил: «О, что-нибудь интересное. Например, поговорить о науке с умными людьми из Кембриджа». Любил он и музыку. Его эссе о Генделе опубликовал литературно-публицистический журнал «Эдинборо ревью», и Бальфур совершил музыкальный тур по Германии, во время которого обаял знаменитую и малообщительную реликвию фрау Вагнер.

Но под кажущейся апатичностью и бесстрастностью скрывалась невероятная трудоспособность. Он не только представлял правительство в палате общин, ему нередко приходилось дублировать дядю в министерстве иностранных дел. Когда в 1902 году Солсбери вышел в отставку, у лорда Эшера не было никаких сомнений в том, что его отсутствие с лихвой компенсируется «кипучей энергией Артура»<sup>138</sup>. Для сохранения этой кипучей энергии Бальфур старался по возможности заниматься делами в постели и крайне редко поднимался из нее до полудня.

Он много читал: одеваясь, заглядывал в научный труд, лежавший на камине; на ночном столике у него всегда имелся детектив; полки гостиной были заполнены философскими и теологическими трактатами; книгами была завалена софа, журналами – столы и кресла; губкой он перелистывал страницы французских новелл, принимая ванну. Бальфур не любил газеты. Он не подписывался на них, о чем презрительно написал мистер Бакл, редактор «Таймс». Однажды журналист У. Т. Стед в разговоре с принцем Уэльским заметил, что Бальфур замечательный человек, из тех, на кого можно положиться в драке, но чересчур индифферентный. «О да, – ответил принц, соглашаясь, – он не читает даже газет, вы же знаете»<sup>139</sup>.

Принц не достаивал Бальфура своим вниманием<sup>140</sup>. Королева Виктория, напротив, обожала его<sup>141</sup>. Приезжая в замок Балморал, как сообщал сэр Генри Понсонби, Бальфур «обсуждал с королевой текущие дела и указывал на расхождения с ней таким элегантным образом, что заставлял ее задуматься»: «Полагаю, что королева относилась к нему с симпатией, но немножко побаивалась его». По мнению Понсонби, Бальфур покорила королеву, «хотя сам, похоже, никогда не воспринимал ее всерьез». Королева выразила свое мнение о

нем в 1896 году после беседы о Крите, турецких ужасах, Судане и законе об образовании. На нее произвели большое впечатление <sup>142</sup> «искренность мистера Бальфура, беспристрастность и широта суждений, способность всесторонне рассмотреть проблему, ко всем чудесное доброжелательное отношение и приятная мягкость характера».

Этому блаженному времени покоя, стабильности, ощущений безопасности и превосходства между тем близился конец. У Бальфура имелись свои слабости и червоточины, и когда столетие закончилось и наступили менее благостные годы, они дали о себе знать. По своему характеру и свойствам натуры, включая и все изъяны, он был, можно сказать, последним истинным патрицием, к кому применимы слова Селесты, горничной Пруста<sup>143</sup>, сказанные ею о своем хозяине после его смерти: «Когда познаешься с месье Прустом, все другие господа кажутся плебеями».

После Рима только Британия располагала столь огромной империей. Она занимала более четверти земной суши, и этот факт был красочно засвидетельствован ее подданными во время шествия на благодарственный молебен в собор Святого Павла 22 июня 1897 года, в день бриллиантового юбилея королевы. В отличие от золотого юбилея 1887 года на этот раз в торжествах не принимали участие иностранные монархи. На празднество съехались премьеры Канады, Новой Зеландии, Капской колонии, Наталя, Ньюфаундленда и шести штатов Австралии. В парадном строю шла многонациональная кавалерия: капские конные стрелки, канадские гусары, уланы из Нового Южного Уэльса, конники Тринидада, бородатые всадники в тюрбанах из Капуртхалы, Баднагара и других штатов Индии, заптихи из Кипра, украшенные фесками и гордо восседавшие на низкорослых и черногривых пони. Улицы заполнили полки темнокожих воинов в причудливом обмундировании, «и грозных, и в то же время прелестных», как писала восторженная пресса: даяки из Борнео, пушкари Ямайки, полицейские Нигерии, гиганты-сикхи из Индии, хауса – обитатели Золотого Берега, китайцы из Гонконга, малайцы Сингапура, негры из Вест-Индии, Британской Гвианы и Сьерра-Леоне; рота за ротой проходили перед глазами изумленной публики. Процессию завершала четырехместная карета с открытым верхом,

запряженная восьмеркой кремовых лошадей: в ней сидело хрупкое и миниатюрное существо в черной шляпке с колыхавшимися кремовыми перьями. В небе ярко сияло солнце, легкий ветерок развевал флаги, притягивали взгляд цветы на фонарных столбах, на шесть миль по улицам города растянулись многотысячные толпы ликующих людей, размахивавших руками и бурно выражавших свои чувства любви и гордости. «Никого и никогда, я полагаю, не удостоивали таких оваций, как меня, – записала королева в дневнике. – Казалось, передо мною не было ни одного лица, которое не светилося бы искренней радостью. Я была очень растрогана и благодарна»<sup>144</sup>.

Несколько месяцев продолжалась эйфория самолюбования, пронизанная, как заметил Редьярд Киплинг, «оптимизмом, который меня напугал»<sup>145</sup>. Он взялся за перо, и на следующее утро после парада в газете «Таймс» появилось суровое предупреждение – «Отпустительная молитва»<sup>[13]</sup>. Публикация оказала огромное воздействие на общественное сознание. «Самая выдающаяся поэма современности», – провозгласил известный юрист сэр Эдвард Кларк<sup>146</sup>. Но могли ли простые люди серьезно отнестись к предостережению, могли ли они, видя праздничные церемонии, салюты и сановных персонажей в цилиндрах, ехавших на Имперскую конференцию в Уайтхолл, поверить в то, что все это кажущееся величие так же эфемерно, как «Ниневия и Тир»?

11 октября 1899 года отдаленная угроза, неуклонно нараставшая после рейда Джеймсона, превратилась в реальную Англо-бурскую войну. «Война Джо»<sup>147</sup> – назвал ее лорд Солсбери, отдавая должное агрессивной роли, сыгранной в развязывании конфликта мистером Джозефом Чемберленом, министром колоний. Начав общественно-политическую деятельность радикалом-либералом, в принципе противившимся империализму, мистер Чемберлен со временем, как он сам говорил, научился «мыслить имперскими категориями»<sup>148</sup>. Это перевоплощение человека, обладавшего незаурядной интуицией и предвидением возможностей, понять нетрудно: лишь за последние двенадцать лет империя дополнилась землями, в двадцать четыре раза превышавшими территорию Великобритании. Становясь членом правительства в 1895 году, Чемберлен сознательно избрал для себя министерство колоний, убежденный в том, что именно там должны коваться успехи и «определяться судьба» империи – императив,



заставлявший американцев обратить свои взоры на Кубу и Гавайи, а немцев, бельгийцев, французов и даже итальянцев проявить живой интерес к делу Африки.

Чемберлен отличался неумолимой энергией, недюжинными способностями и беспредельными амбициями. Он не принадлежал к классу земельной аристократии, но имел внушительный и осанистый облик. Черты его лица были довольно ясные и элегантные, глаза практически ничего не выражали, а черно-смоляные волосы всегда гладко зачесаны. На лице постоянно сохранялась некая маска, декорированная моноклем с черной лентой. Одевался он безукоризненно, ежедневно меняя орхидею в петлице. Сколотив немалое состояние на производстве болтов, винтов и шурупов в Бирмингеме, мистер Чемберлен в тридцать восемь лет бросил заниматься бизнесом, стал мэром города и на ниве образования и социальных реформ приобрел национальную известность. В сорок лет он уже был членом парламента от Бирмингема, рупором радикалов, поносившим аристократов и плутократов не хуже социалиста, и довольно быстро занял пост министра торговли в правительстве Гладстона 1880 года. Твердохарактерный, хладнокровный и властный Джозеф Чемберлен завоевал широкую популярность во всем Мидлендсе, представляя собой уже такую политическую силу, с которой нельзя было не считаться, и намереваясь стать преемником Гладстона. Но «великий старец» не спешил, и Чемберлен, горя от нетерпения, воспользовался гомрулем для того, чтобы выйти из партии вместе с большой группой единомышленников. В преддверии выборов 1895 года консерваторы с радостью приняли его в свои ряды. Он не разделял безразличное отношение патрициев к общественному мнению и всеми манерами и одеянием обращал на себя внимание, превратившись в самую заметную и запоминающуюся личность. Для широкой публики он стал «пробивным Джо», «министром империи» и самым известным персонажем в новом правительстве.

Однако на лорда Солсбери он не произвел впечатления. «Он не доказал мне, что у него есть убеждения, – написал лорд Бальфуру еще в 1886 году, – и в этом Гладстон беспредельно превосходит его». Оценка Бальфура была помягче, но прямолинейнее. «Джо, хотя мы все и любим его, – писал он леди Эльхо, – абсолютно или совершенно не сходится, не смешивается в химическую комбинацию с нами»<sup>149</sup>. И это

неудивительно. Чемберлен не учился в школе или университете (в Оксфорде или Кембридже), где, согласно лорду Эшеру, «человек со способностями приобретает навыки сдержанности и бесстрастности». Мало того, он не принадлежал и к англиканской церкви. Тем не менее Джозеф Чемберлен с легкостью поддерживал отношения с новыми друзьями, видели даже, как на террасе палаты общин он угощал чаем большую группу дам и господ, включая трех герцогинь<sup>150</sup>. Безусловно, его никоим образом нельзя было обвинить в излишней индифферентности, как Бальфура. Он всегда был одержим той или иной страстной идеей и стремился воплотить ее в жизнь. Но ему не хватало постоянства, прочных и стабильных убеждений. Он был всего лишь на пять лет моложе Солсбери и на двенадцать лет старше Бальфура, но представлял силы и методы действия, присущие новому времени, приходу которого правительство Солсбери упорно сопротивлялось. «Разница между Джо и мною, – говорил Бальфур, – такая же, как между молодостью и старостью. Я олицетворяю старость»<sup>151</sup>. Бальфур имел за собой долгие годы безмятежного существования в условиях, доступных с рождения только для привилегированного высшего общества. Джо был магнатом нового времени, спешившим жить. Причины, по которым они «не смешивались», были фундаментальные.

Какое-то время поддерживались взаимно корректные отношения между Чемберленом и его новыми коллегами. Когда его заподозрили в причастности к рейду Джеймсона и либералы выступили с обвинениями, правительство поддержало его и парламентский комитет по расследованию не обнаружил ничего такого, что могло бы указывать на вовлеченность министерства колоний. Джо вышел не только сухим из воды, но и стал еще более агрессивным. «Я не знаю, кому из наших многочисленных врагов мы должны бросить вызов, – писал он Солсбери после телеграммы Крюгера. – И с этим нам надо определиться»<sup>152</sup>. Министерство Чемберлена вело все более неприязненные переговоры с Бурской республикой, и, как сообщал Бальфур Солсбери, его излюбленным методом было «применять различные раздражители». Пока шли переговоры, Британия отомстила за понесенное прежде поражение: в 1898 году Китченер взял Хартум и водрузил британский флаг над могилой генерала Гордона. Выше по Нилу возле Фашоды французская военная экспедиция, войдя в Судан,

столкнулась с британцами и после некоторого замешательства отступила без единого выстрела. Престиж Британии возрастал одновременно с непопулярностью.

Потом разразилась Англо-бурская война. Британская армия, продемонстрировавшая полную боеготовность в Крымской войне, за годы «славной изоляции» потеряла ее и сразу же понесла ряд тяжелых поражений. Буры, как оказалось, уже заимели орудия оружейных заводов «Крупп» и «Крезо» и собственных пушкарей, которыми зачастую были немцы или французы. Президент Крюгер употребил репарации, полученные за рейд Джеймсона, на закупку артиллерии, пулеметов «максим», винтовок и боеприпасов для решающих боев. За одну «черную неделю» в декабре 1899 года лорд Метуэн потерпел поражение при Магерсфонтейне, генерал Гатакр у Стормберга, а главнокомандующий сэр Редверс Буллер под Коленсо, лишившись одиннадцати орудий и сдав Кимберли и Ледисмит. Дома соотечественники изумлялись и недоумевали. Герцог Аргайл <sup>153</sup>, тяжело болевший, так и не оправившись от шока, умер, шепча слова Теннисона о герцоге Веллингтоне, «никогда не терявшем английских пушек».

«Черной неделей» завершилась эпоха бесспорного господства британцев в мире. Последнюю точку в этом процессе поставил вскоре кайзер Вильгельм, успешно настоявший на том, чтобы немецкий командующий возглавил экспедиционные силы, отправлявшиеся в Пекин наказывать «боксеров»<sup>[14]</sup>. Конечно, закоперщиками были немцы, но на месте уже находились значительные британские войска. Возражения Солсбери носили принципиальный характер. Он объяснил германскому послу: «Для британцев недопустимо, чтобы ими командовал иностранец»<sup>154</sup>. Однако он не мог позволить себе создать новую конфликтную ситуацию, в которой буры могли рассчитывать на внешнюю помощь, и уступил.

В новом году с приходом нового командующего, сменившего бедолагу Буллера, и прибытием свежих подкреплений постепенно удалось внести коррективы в ход военных действий. В мае 1900 года был освобожден Мафекинг, в июне под истеричный аккомпанемент дома лорд Робертс вошел в Преторию, а 1 сентября британцы аннексировали Трансвааль в полной уверенности, что там осталось лишь провести зачистку. На волне возрожденного оптимизма и

морального духа консерваторы призвали провести в октябре выборы, получившие название «хаки». Используя лозунг «каждое место, выигранное либералами, это место, выигранное бурами», они вернули бразды правления в свои руки. Хотя преобладал ярый патриотизм, выражались и антивоенные настроения. Они исходили не только от «сторонников Малой Англии», придерживавшихся ортодоксальных традиций Гладстона, но и от людей, зараженных низменными интересами, ослепленных блеском золота рудников Рэнда и перспективами легкой наживы, открывавшимися с пришествием грабительского капитализма и торгашества. Оппозиция войне помогла молодому члену парламента Дэвиду Ллойд-Джорджу обрести известность, хотя он и не выступал против аннексий, а лишь предлагал вести переговоры о прекращении военных действий.

Кто-то ожидал наступление XX века с надеждами, а кто-то испытывал ностальгию по прошлому. Леди Солсбери<sup>155</sup> перед смертью в ноябре 1899 года говорила юному родственнику: «Молодое поколение может критиковать нас сколько угодно, но сможет ли оно дать людям все то хорошее, что видели мы?»

Королевский астроном, взвесив все «за» и «против», избрал 1900-й, а не 1899-й сотым и последним годом XIX века. Момент исхода самого насыщенного надеждами и переменами столетия в истории человечества наступил быстро. Через три недели, 24 января 1901 года, умерла королева Виктория, своей кончиной подчеркнув завершение целой эпохи. Лорд Солсбери, уставший от премьерства, тоже был готов последовать за ней, но не мог сделать этого до окончательной победы в Южной Африке. Она пришла в июне 1902 года, а 14 июля лорд Солсбери подал в отставку. Вновь возникала ассоциация с уходом в прошлое чего-то чрезвычайно важного: авторитета, родовитости, традиции. Парижская газета «Тан»<sup>156</sup>, продолжая смаковать унижающее поражение британцев в Фашоде, написала: «С отставкой лорда Солсбери завершается целая историческая эпоха. По иронии судьбы он оставляет в наследство демократизированную, империалистическую, колониальную и вульгаризированную Англию – антипод модели тори, аристократической традиции и высокой церкви, за сохранение которых он ратовал. Это Англия мистера Чемберлена, а не мистера Бальфура, хотя он и остается номинальным главой».

Королева Виктория, лорд Солсбери и XIX век канули в прошлое. За год до смерти королева возвращалась из Ирландии на яхте по бурному морю. После того как на судно накатилась особенно сильная волна, она позвала доктора и попросила его: «Немедля сходите, сэр Джеймс, к адмиралу, передайте мои комплименты и скажите, чтобы такие вещи больше не повторялись»<sup>157</sup>.

Но разве кто-нибудь в состоянии остановить волны?

## 2. Идеи и деяния. Анархисты: 1890—1914

Настолько притягательной была идея общества без государственности, закона и частной собственности, в котором исчезнет коррупция и человек обретет свободу, предназначенную ему Богом, что за двадцать лет, предшествовавших Первой мировой войне, начавшейся в 1914 году, были принесены в жертву жизни шестерых глав государств. Во имя этой идеи были убиты президент Франции Карно (1894 год), премьер-министр Испании Кановас (1897), императрица Елизавета Австрийская (1898), король Италии Умберто (1900), президент Соединенных Штатов Мак-Кинли (1901) и еще один испанский премьер Каналехас (1912). Никто из них не был тираном. Их убили анархисты.

Ни один из этих убийц не был героем движения, осуждавшего на смерть других людей. Их идолом была идея, по выражению историка идейного бунта, «иллюзорная мечта разувверившихся романтиков»<sup>1</sup>. У бунта были свои теоретики и идеологи, интеллектуалы, искренние и честные в своих убеждениях и крайне озабоченные судьбами человечества. Движение взрастило и своих «рыцарей». Как правило, ими оказывались горемыки, в силу разных причин — злосчастия, безысходности, озлобленности, моральной деградации или беспросветной нищеты — поначалу заинтересовавшиеся идеей, а потом фанатично поверившие в нее и почувствовавшие в себе потребность в практическом действии. Они-то и становились убийцами. Между этими двумя группами не было непосредственных контактов. Теоретики в памфлетах и газетных статьях выстраивали заманчивые модели общества анархического тысячелетия, возбуждали ненависть к правящему классу и его презренному союзнику — буржуазии, призывали действовать и свергнуть врага. К кому они обращались? Какие методы борьбы с врагом имелись в виду? Конкретных указаний они не давали. Но где-то неведомое им одинокое и несчастное существо, задавленное невзгодами, прислушивалось к голосам мыслителей и начинало грезить о светлом будущем без страданий от

голода и унижений хозяина. В конце концов, кто-нибудь, проникнувшись осознанием несправедливости и чувством долга, восставал и совершал убийство, принося в жертву и свою жизнь во имя идеи.

Эти существа росли в постоянной нужде, голоде и грязи, ютятся в кроличьих каморках и задыхаясь от кашля чахоточных больных, смрада нечистот, вареной капусты и протухшего пива. Там не переставая орали дети, вопили поссорившиеся супруги, с потолка текла вода, а в зимнее время из разбитых окон сквозила стужа. В одной комнате обитали мужчины и женщины, родители и дети, старики и старухи, здесь они и ели, и испражнялись, и болели, и умирали. Старые ящики служили им стульями, постелью – кипы вонючей соломы, столами – доски, положенные на ящики. Детям не хватало одежды, и иногда их отправляли в школу по очереди. В соседях могли оказаться пьянчуги, злодеи, избивавшие жен, воры и проститутки. Над этими людьми постоянно висел дамоклов меч безработицы. Чтобы выжить, им надо было трудиться семнадцать часов в день семь дней в неделю и получать 13 центов за час закручивания сигар на содержание семьи из пяти человек. Единственным спасением для них была смерть, и единственное расточительство они позволяли себе, тратя все сбережения на похоронную карету с цветами и процессию плакальщиц, дабы избежать позорного погребения в «земле горшечника».

Согласно верованиям анархистов, лишь после искоренения собственности, этой первопричины всех бед, человек не будет жить за счет труда другого человека и возродятся подлинно справедливые отношения между людьми. Государство надо заменить добровольным объединением индивидов, а законность – стремлением к всеобщему благоденствию. Этих целей нельзя достичь реформированием существующих порядков, голосованиями и разного рода увещеваниями, поскольку правящий класс никогда не откажется от собственности или власти и законов, оберегающих права собственности. Необходимо применить насилие. Только революционным свержением существующей злостной системы можно добиться желаемого результата. Лишь после разрушения старой структуры можно построить новый социальный порядок, при котором все равны, всем всего хватает и никто никем не повелевает. Столь

привлекательным и разумным казалось такое будущее устройство, что оно не могло не вызвать положительной реакции угнетаемых классов. Их надо было лишь пробудить пропагандой и самой идеей, и деяний, совершаемых во имя идеи и побуждающих к восстанию.

В начальный период становления анархизма, зародившегося в революционном 1848 году, его главными глашатаями были француз Пьер Прудон и Михаил Бакунин, русский изгнанник, ученик Прудона, ставший активным лидером движения.

«Всякий, кто пытается возложить на меня руку и управлять мною, – провозгласил Прудон, – узурпатор и тиран, и я объявляю его своим врагом... Управление человека человеком есть рабство». Законы, поддерживающие такие отношения, суть «паутина богатеев» и «железные цепи для бедных». «Самая совершенная форма» свободного общества – никакого управления, и Прудон же первым дал определение этой модели человеческого общежития – «анархия»<sup>[15]</sup>. Он писал презрительно: «Управляться – это значит подвергаться надзору, инспектированию, слежке, регулированию, внушению, поучениям, контролю, нотациям и цензуре со стороны лиц, не обладающих ни умом, ни добродетелями. Это значит, что каждое ваше действие или сделка обречены на регистрацию, наложение печати, налогообложение, патентование, лицензирование, оценку, замер, взыскание, корректировку или крах. Под предлогом заботы об общественном благе вы подлежите эксплуатации, монополизации, экспроприации, ограблению, и при малейшем протесте или сетовании вас могут оштрафовать, известить гонениями, очернить, избить, поколотить дубинками, разоружить, арестовать, осудить, посадить в тюрьму, пристрелить, задушить в гарроте, депортировать, продать, предать, надуть, оболгать, оскорбить, обесчестить. В этом и заключается суть правления, его справедливости, его морали! А теперь представьте себе, что среди нас есть демократы, верящие в хорошее правительство, социалисты, поддерживающие эту подлость во имя свободы, равенства и братства, пролетарии, предлагающие своих кандидатов в президенты республики! Какое ханжество!»<sup>2</sup>

Прудон полагал, что «абстрактная идея правоты»<sup>3</sup> устранил необходимость в революции и человека можно убедить в целесообразности общества без государства, взывая к его разуму. Бакунин, натерпевшись от режима Николая I, надеялся только на



насильственную революцию. Его соперник Карл Маркс утверждал, будто революцию способен совершить лишь индустриальный пролетариат, организованный и подготовленный для этой цели. Бакунин же был убежден в том, что революция произойдет в одной или нескольких экономически отсталых странах – Италии, Испании или России, где рабочие, хотя и неподготовленные, неорганизованные, неграмотные и не осознающие своих подлинных интересов, восстанут охотнее, так как им нечего терять. Задача революционера – популяризировать идею восстания в массах, невежественных и оболваненных правящим классом. Надо помочь им понять свои интересы, «пробудить» в них импульсы и мысли о восстании. Когда это произойдет, «их сила будет несокрушимой»<sup>4</sup>. Но Бакунин утерял руководство Первым интернационалом, которое перешло к Марксу, полагавшемуся на организацию масс.

Парадоксально, но влиять на массы анархистам мешали собственные принципиальные установки. Анархизм отвергал необходимость в политических партиях, которые Прудон считал «разновидностью абсолютизма», хотя готовить и совершать революцию вряд ли было возможно без подчинения авторитету, организованности и дисциплины. Всякий раз, когда анархисты брались за подготовку программы, перед ними остро вставала эта проблема. Но они отмахивались от нее. Революция должна вспыхнуть спонтанно. Нужна идея и искра, которая ее воспламенит.

Такой искрой, на что надеялись анархисты и чего боялись капиталисты, могли стать забастовка, хлебный бунт или сельский мятеж. Мадам Энбо, жене управляющего в романе Золя «Жерминаль», наблюдавшей за маршем бастующих шахтеров, окрашенных кровавыми бликами заходящего солнца, привиделось «красное зарево революции, которая однажды вечером на исходе века все уничтожит. Да, в тот вечер народ, освободившись от узды, пустит кровь среднему классу... под грохот башмаков эта ужасная толпа с грязными лицами и зловонным дыханием снесет старый мир... Заполыхают пожары, они не оставят ничего, ни единого су от богатств, ни крохи благоприобретенной собственности»<sup>[16]</sup>.

Каждый раз, когда шахтеры Золя наталкивались на ружья жандармерии, искра гасла. Магический момент, когда массы должны были осознать свои интересы и почувствовать силу, так и не наступил.

Парижская коммуна возродилась и тут же умерла в 1871 году, не успев воспламенить всеобщее неповиновение. «Мы остались без масс, которые не желают восставать ради собственной свободы, – писал жене разочарованный Бакунин. – Если у них нет такого желания, то какой толк от нашей теоретической правоты? Мы бессильны»<sup>5</sup>. Разуверившись в возможности спасти мир, в 1876 году Бакунин умер, Колумб, как писал Александр Герцен, без Америки.

Тем временем на его родине идеи анархизма подхватили народники или популисты, иными словами активисты партии «Народная воля», основанной в 1879 году. В силу общинного характера землепользования в России реформаторы боготворили крестьянина как естественного социалиста, которому недостает лишь Мессии для пробуждения от спячки и революционного восстания. Этим Мессией должна стать бомба. «Террористская деятельность, – заявлялось в программе народников, – состоящая из уничтожения самых вредоносных лиц в правительстве, нацелена на подрыв престижа правительства и подъем революционного духа в народе и уверенности в успехе нашего дела».

В 1881 году народники совершили акт, потрясший весь мир: они убили царя Александра II. Свой триумф по значимости они сравнивали с падением Бастилии, положившим начало Великой Французской революции. Этим актом они выразили свой протест, призвали к единению всех угнетенных против угнетателей. Однако реакция была совершенно иная. Убиенного царя, хотя его корона, возможно, и символизировала автократию, прозвали «Освободителем» крепостных крестьян, и крестьяне оплакивали его, веря в то, что монарха убили «помещики, желая вернуть свои земли»<sup>6</sup>. Министры начали кампанию жестоких репрессий, общественность, позабыв о реформах, притихла, а революционное движение, «раздавленное и деморализованное, ушло в подполье». Так печально закончился первый этап деятельности анархизма.

Прежде чем анархизм вновь громко заявил о себе в Европе в девяностых годах, страшное событие произошло в Америке, в Чикаго. В августе 1886 года судья Джозеф Гэри приговорил к повешению восьмерых анархистов за убийство семерых полицейских, погибших 4 мая от бомбы, брошенной в вооруженную полицию, пытавшуюся разогнать манифестацию забастовщиков на площади Хеймаркет.

Трагедией завершилась мирная демонстрация с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. Но она была лишь частью десятилетней войны между рабочими и их хозяевами, основные баталии которой происходили в Чикаго. При каждом столкновении предприниматели использовали силы правопорядка – полицию, милицию, суды – своих союзников. На требования рабочих отвечали реальным применением оружия, локаутами и вербовкой штрейкбрехеров, охраняемых пинкертонами, вооруженными и присягнувшими в роли помощников шерифов. В классовой войне государство не занимало позицию нейтралитета. Рабочие, возмущенные нищетой и несправедливостью, все больше озлоблялись, усиливались и страхи капиталистов, осознание угрозы и желание ее подавить. Даже такой далекий от этих проблем человек, как Генри Джеймс, ощутил «зловещее нарастание боли, силы и ненависти анархического подполья»<sup>7</sup>.

Анархизм не имел никакого отношения к борьбе рабочего класса за свои права, он был всего лишь одним из проявлений общего недовольства низших сословий. Но анархисты видели в нем горячий материал для революции. «Фунт динамита равноценен бушелю пуль, – доказывал Август Шпис, редактор анархистской немецкоязычной газеты в Чикаго «Арбайтер цайтунг». – Полиция и милиция, эти сторожевые псы капитализма, приготовились убивать!» И он был прав. Во время столкновения между рабочими и штрейкбрехерами полиция открыла огонь и убила двух человек. «Мщение! Мщение! Рабочие, к оружию!» – листовки с такими призывами Шпис в тот же вечер напечатал и распространил по всему городу. Он призывал всех прийти на митинг протеста. На следующий день народ действительно собрался на площади Хеймаркет, полиция начала разгонять демонстрантов, и неожиданно раздался взрыв бомбы. Кто ее бросил, неизвестно до сих пор.

Речи обвиняемых на суде, пронизанные решимостью и праведностью мучеников, получили широкую известность по всей Европе и Америке и создали анархизму такую рекламу, какой он никогда прежде не удостаивался. Пользуясь отсутствием прямых улик, они громогласно утверждали, что их судят не за преступление и не за убийство, а за анархистские убеждения. «Пусть же знает весь мир, – восклицал Август Шпис, – что в 1886 году в штате Иллинойс

восьмерых граждан приговорили к смерти за веру в лучшее будущее!»<sup>8</sup> Реализация их веры предполагала применение динамита, и месть общества измерялась степенью его испуга. Позднее смертные приговоры троем осужденным были заменены на тюремное заключение. Луис Линг, самый молодой, обаятельный и пылкий из осужденных, в отношении которого имелись свидетельства о причастности к изготовлению бомб, подорвал себя капсулой гремучей ртути накануне казни, написав своей кровью: «Да здравствует анархия!» Многие расценили самоубийство как признание вины. Остальные четверо, включая Шписа, были повешены 11 ноября 1887 года.

Многие годы силуэтами виселиц с четырьмя повешенными телами иллюстрировалась анархистская литература, а день 11 ноября отмечался как революционная памятная дата всеми анархистами Европы и Америки. В общественном сознании виселица тоже стала символом злосчастия, недовольства и протеста рабочего класса.

Человека, испытывавшего анархистские настроения и не знавшего об этом, можно было встретить где угодно. Якоб Риис, нью-йоркский полицейский репортер, описал в 1890 году, как ему повстречался такой персонаж на углу Пятой авеню и Четырнадцатой улицы. Странная фигура, стоявшая неподалеку, вдруг метнулась к карете, проезжавшей мимо с двумя разодетыми дамами, совершавшими послеобеденные покупки, и начала полосовать ножом ни в чем не повинных, но откормленных и гладких лошадей. Когда его задержали и посадили в кутузку, он сказал: «Им не приходится думать о завтрашнем дне. Они могут потратить за один час столько, сколько мне с детьми хватило бы на целый год». Это был один из тех индивидов, которые становились анархистами прямого действия.

В большинстве эти люди чувствовали себя изгоями, лишенными даже возможности во всеуслышание заявить о своем несчастном существовании. Они могли выразить протест лишь какому-нибудь прохожему или заезжему гостю, как это сделал, например, ирландский крестьянин, у которого отобрали землю. Когда его спросили, чего же он хочет, крестьянин, сжав кулак, ответил: «Чего я хочу? Судного дня!»<sup>9</sup>

Бедняка окружало общество, в котором властолюбие, роскошь и расточительство не знали границ. Там богатеям подавали на обед сразу

рыбу, дичь и говядину, они жили в домах с мраморными полами и камчатными стенами, где можно было насчитать тридцать, сорок и даже пятьдесят комнат. Зимой они облачались в меха. Вокруг них всегда суежилась прислуга, чистившая сапоги, расчесывавшая волосы, заливавшая воду в ванну и поддерживавшая огонь в камине. В этом мире было принято устраивать званые завтраки наподобие утреннего застолья у мадам Нелли Мельбы в Савойе, во время которого гостям на десерт подавали «изумительные благоухающие пушистые персики», а пресыщенные гости прицельно метали их в прохожих под окнами.

Таков был образ жизни сильных мира сего, надменных собственников, обладателей фантастических состояний, которые, казалось, можно занять только нещадной эксплуатацией и обворовыванием трудящихся масс. «Что есть собственность?» – спрашивал Прудон современников и сам же отвечал на этот ставший знаменитым вопрос: «Собственность есть кража»<sup>10</sup>. «Знаете ли вы, – говорил один из собеседников в памфлете Энрико Малатесты «Разговор двух рабочих», классическом манифесте анархизма девяностых годов, – что каждый кусок хлеба, который они едят, отнят у ваших детей и каждый подарок, который они преподносят своим женам, для вас означает нищету, голод, холод и, может быть, даже проституцию?»

Анархисты плохо разбирались в экономических отношениях, но люто ненавидели правящий класс. Они ненавидели «всех мучителей человечества»<sup>11</sup>, как писал Бакунин, «попов, самодержцев, сановников, солдат, чиновников, банкиров, капиталистов, ростовщиков, законников». Для трудящихся врагом был не абстрактный и далекий богач, а близкий и зримый помещик, фабрикант, босс, полицейский.

Ненависть питали все, но лишь немногие становились бунтовщиками. Большинство пребывало в апатичном состоянии, отупев от бедности. Некоторые не выдерживали. Одна работница спичечной фабрики, растившая четверых детей, выбросилась из окна. Ей платили четыре с половиной цента за один гросс спичечных коробков (двенадцать дюжин), и она собирала эти коробки, не разгибая спины, по четырнадцать часов в день, получая в общей сложности тридцать один с половиной цент. Одного молодого человека, потерявшего работу и выхаживавшего больную мать, мировой судья

обвинил в попытке самоубийства. Жена начальника шлюза, вытянувшая его из реки, рассказывала на суде, как она «вытаскивала его, а он уползал обратно»<sup>12</sup>, пока какой-то рабочий не подоспел к ней на помощь. Когда мировой судья похвалил женщину за проявленное мужество и силу, аудитория расхохоталась, но очевидец по имени Джек Лондон написал потом: «Я же видел только юношу, упорно пытавшегося переползти порог между жизнью и смертью».

После провалов, постигших анархизм эпохи Бакунина, анархистская теория и практика еще больше оторвались от реальности. В девяностые годы его цели, всегда идеалистические, стали поистине утопическими, а призывы – призрачными. Анархисты пренебрежительно относились к лозунгам социалистов и тред-юнионистов, добивавшихся восьмичасового рабочего дня. «Восемь часов работы на хозяина – это тоже слишком много, – заявляла анархистская газета «Револют»<sup>13</sup>. – В нашем обществе плохо не то, что рабочий трудится десять, двенадцать или четырнадцать часов, а то, что у него есть хозяин».

Среди нового поколения вожakov анархизма самым выдающимся был князь Петр Кропоткин, по рождению аристократ, по профессии географ, а по призванию революционер. Сенсационный побег князя в 1876 году из мрачной Петропавловской крепости после двух лет заключения создал ему образ героя, который он поддерживал, живя в изгнании в Швейцарии, Франции и Англии и неустанно пропагандируя бунт.

Кропоткин верил в то, что все люди должны быть в равной мере свободны и счастливы. Как писал английский журналист Генри Невинсон, хорошо его знавший, князя настолько тревожило людское горе, что казалось, будто он «страстно желает прижать к груди все человечество и согреть его своим теплом»<sup>14</sup>. Все его лицо, обрамленное лысиной и густой бородой, светилось добротой. У него было приземистое телосложение, «явно недостаточное для ношения крупной и массивной головы». Он происходил из древнего рода князей Смоленских, потомков Рюриковичей, правивших Россией до Романовых, и принадлежал к той части российского дворянства, которая стыдилась своей причастности к классу, веками угнетавшему народ.

Он родился в 1842 году. После службы в Сибири, где князь интенсивно занимался географическими исследованиями, Кропоткин стал секретарем географического общества и в 1871 году изучал ледники Финляндии и Швеции. В 1872 году он вступил в тайный революционный кружок, вел активную пропагандистскую деятельность среди рабочих, за что был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В 1876 году (год смерти Бакунина) Кропоткин совершил побег и уехал в Швейцарию, где вместе с Элизе Реклю, французским географом и анархистом, работал над составлением монументальной географии мира, написав раздел о Сибири. Вместе с Реклю он основал и три года редактировал «Револьтэ» («Бунтарь»), переименованную затем в Париже после гонений в «Револьт» («Бунт»), самую известную и жизнестойкую анархическую газету. Благодаря убедительным и страстным полемическим выступлениям, ореолу героя, бежавшего из заточения, активному сотрудничеству с анархистами Юрской федерации, из-за чего его выслали из Швейцарии, и княжескому титулу он стал признанным преемником Бакунина.

Во Франции, куда Кропоткин приехал в 1882 году, на традициях Коммуны выросло воинственное анархистское движение, в котором наибольшую активность проявляла его организация в Лионе. На рейд полиции анархисты ответили взрывом бомбы. Погиб один человек. Последовали арест и суд над пятьюдесятью двумя анархистами, среди которых оказался и Кропоткин. Их обвинили в принадлежности к международному союзу, поставившему себе цель уничтожить собственность, семью, государство и религию. Кропоткина приговорили к пяти годам лишения свободы, но он провел в тюрьме три года. Его помиловал президент Жюль Греви, и он с женой и дочерью эмигрировал в Англию, прибежище для всех политических изгнанников того времени.

Поселившись в Хаммерсмите, «спальном пригороде» Лондона, Кропоткин продолжал печатать пламенные призывы к насильственному бунту в газете «Револьт» и писать научные статьи для географических изданий и журнала «Девятнадцатый век». Он охотно принимал у себя дома радикалов, изъясняясь с ними на пяти языках, писал картины и играл для гостей на фортепьяно, очаровывая всех добродушием и благородными манерами, выступал с речами в

анархистском клубе в подвале на Тоттенхэм-Корт-роуд. «Своим мягкосердечием и ласковостью он напоминал святого, – писал Джордж Бернард Шоу<sup>15</sup>, – или добродушного бородатого пастуха в Усладительных Горах»<sup>[17]</sup>. Единственным его недостатком была нетерпеливость: он предсказывал, что война начнется чуть ли не завтра-послезавтра. В некотором роде он был прав. В этом пророчестве проявлялся его оптимизм. Война классов для него означала разрушение старого мира и триумф анархии. «Галопирующий распад» государств<sup>16</sup> ускорял приближение триумфа. «Он не за горами, – писал Кропоткин. – Все способствует его приближению».

Этот приятный господин, одетый в черный сюртук викторианского джентльмена, был апостолом насилия. Стремление человека к совершенству, писал он, «сдерживается теми, кто заинтересован в сохранении существующих порядков»<sup>17</sup>. Прогресс невозможен без насильственного действия, благодаря которому «человечество свернет со старой колеи и пойдет вперед новыми дорогами... революция – безотлагательная необходимость». Бунтарский дух должна пробуждать в массах «пропаганда действием». Эту фразу, ставшую девизом анархистского насилия, впервые употребил французский социалист Поль Брусс в 1878 году, когда были совершены четыре покушения на жизнь коронованных особ: два на Вильгельма I, германского императора, и по одному на королей Испании и Италии. «Идея вдохновляет<sup>18</sup>, – писал он, – и для этого нам нужна пропаганда действием. Грудь самодержца откроет нам дорогу к революции!»

На конгрессе анархистов, проходившем на следующий год в швейцарских горах, Кропоткин тоже говорил о пропаганде действием, правда, не столь прямолинейно. Он никогда не призывал к убийствам, но на протяжении восьмидесятих годов постоянно указывал на необходимость «пропаганды устным и письменным словом, кинжалом, ружьем и динамитом»<sup>19</sup>. Его статьи на страницах «Револьт» адресовались прежде всего «людям мужественным, готовым не только выступать с речами, но и действовать, честным натурам, предпочитающим тюрьму, ссылку и смерть существованию, противоречащему принципам, и знающим, что победа дается только тем, кто способен проявить отвагу»<sup>20</sup>. Эти люди должны сформировать



передовой отряд революции еще до того, как к ней будут подготовлены массы, и, не обращая внимания на «разговоры, сетования и дискуссии», совершать практические «революционные действия».

«Одно практическое деяние, – писал Кропоткин, – дает больше пропагандистского эффекта, чем тысяча памфлетов»<sup>21</sup>. Слова «растворяются и пропадают в воздухе, как звон колоколов». Нужны конкретные действия, «возбуждающие ненависть к эксплуататорам, осмеивающие правителей и показывающие их слабость и всегда и в первую очередь пробуждающие дух восстания». Эти действия, к которым он призывал в теории, совершались, но не автором.

В девяностые годы Кропоткин, которому уже перевалило за пятьдесят, продолжал настаивать на необходимости бунта, но уже не верил с прежним энтузиазмом в эффективность индивидуального действия. Хотя «революционный дух возрастает в результате проявлений индивидуального героизма, – писал он в мартовском выпуске «Револьт» 1891 года<sup>22</sup>, «революции совершаются не героическими поступками отдельных лиц, а массами»: «Вековые институты власти нельзя уничтожить несколькими фунтами взрывчатки. Время для таких действий прошло, теперь надо заниматься распространением анархистских и коммунистических идей в массах».

В Лондоне, в одном из ресторанчиков Холборна во время забастовки шахтеров в 1893 году состоялся примечательный спор между Кропоткиным и двумя тред-юнионистами, Беном Тиллетом и Томом Манном. «Мы должны разрушать! Мы должны все снести! Мы должны избавиться от тиранов!» – кричал Том Манн.

«Нет, – отвечал ему Кропоткин, посматривая на собеседника сквозь очки профессорским взглядом, – мы должны созидать. Мы должны созидать в сердцах людей. Мы должны создавать царство Бога»<sup>23</sup>.

У него уже имелся проект создания такого царства<sup>24</sup>. После революции – на свержение правительств, уничтожение тюрем, крепостей и трущоб, экспроприацию земли, промышленности и всех форм собственности потребуется от трех до пяти лет – волонтеры проведут инвентаризацию всех продовольственных ресурсов, жилья и средств производства. Отпечатанные инвентарные ведомости будут розданы населению. Каждый получит то, что ему нужно, из ресурсов и

средств, имеющихся в изобилии, остальное будет распределяться согласно нормированию. Собственность будет только общественная. Каждый может брать из общественного склада продукты и товары согласно потребностям и имеет право «самому решать, сколько еды и товаров ему необходимо для комфортной жизни». Поскольку исчезнет такой пережиток прошлого, как наследование, то исчезнет и жадность. Все трудоспособные мужчины в возрасте от двадцати одного года до сорока пяти – пятидесяти лет будут заключать «контракты» с обществом и работать пять часов в день, выбрав себе занятие по своему усмотрению. Общество будет обеспечивать их «жилем, магазинами, удобствами, коммунальными услугами, школами, музеями и пр.». Не будет никакой надобности в судах и наказаниях, поскольку люди будут исполнять свои обязательства, испытывая потребность в «сотрудничестве, поддержке и симпатии» со стороны соседей. Система окажется действенной в силу ее разумности, хотя Кропоткин и сам, наверное, понимал, что разумность редко встречается в человеческих отношениях.

Бернард Шоу с присущим ему чувством здравого смысла обратил внимание на эту проблему в фабианском трактате «Невозможность анархизма» (*The Impossibilities of Anarchism*), опубликованном в 1893 году и несколько раз переиздававшимся в последующие десять лет <sup>25</sup>. Если человек хороший, а институты, его подавляющие, плохие, и он остается хорошим после исчезновения коррумпированной системы, его угнетавшей, то «откуда же появляются коррупционеры и угнетатели?»

Анархистский проект нового человеческого общежития страдал многими изъянами, но один из них досаждал анархистам больше всего: проблема оценки стоимости товаров и услуг и отчетности. Согласно теориям Прудона и Бакунина, каждый будет получать за свой труд в соответствии с объемом и качеством произведенной продукции. Но это предполагает создание оценочного органа, атрибута власти, неприемлемого для «чистого» анархизма. Кропоткин и Малатеста нашли выход из этого щекотливого положения, объяснив, что каждый будет работать ради всеобщего блага, а поскольку всякий труд будет считаться приятным и достойным, то все будут трудиться добровольно и удовлетворять свои потребности из общего склада, для чего не понадобится ни оценка стоимости, ни отчетность.

Кропоткин выдвинул теорию «взаимопомощи», желая доказать научную обоснованность анархизма законами природы. Он считал, что буржуазные теоретики извратили концепцию Дарвина. В природе главенствуют не клыки и когти и не борьба за выживание, а инстинкты самосохранения на основе «взаимопомощи». Он приводил в пример термитов и пчел, а также диких животных, спланивающих, когда возникает опасность, ссылаясь на общинный характер жизни людей в Средневековье. Кропоткин восхищался кроликами, беззащитными, но живучими и плодовитыми. Кролики символизировали жизнестойкость кротости, которая, согласно Экклезиасту, наследует землю.

Хотя Кропоткин желал гибели буржуазному миру, этот мир почитал его. Как-никак он был выдающимся ученым и к тому же аристократом. Князь отказался от членства Королевского географического общества, поскольку его патроном был король, но общество тем не менее приглашало его на званые обеды<sup>26</sup>. Кропоткин продолжал сидеть, когда председатель провозгласил тост «За короля!» и все вскочили как по команде. Тогда председатель снова встал, объявив «Да здравствует князь Кропоткин!», и вся компания поднялась, чествуя именитого гостя. Когда он в 1901 году ездил в Соединенные Штаты и выступал с лекциями в бостонском Институте Лоуэлла, с ним жаждала пообщаться вся интеллектуальная элита и его даже принимала у себя дома миссис Поттер Палмер в Чикаго. Журнал «Атлантик мансли» взялся опубликовать мемуары Кропоткина, его книги печатались крупнейшими издательствами. Когда вышла в свет его «Взаимопомощь как фактор эволюции», журнал «Ревью оф ревьюз» назвал книгу «поучительно жизнелюбивым и светлым произведением, читать которое одно удовольствие».

Помимо русского князя Кропоткина, большую активность проявляли теоретики анархизма во Франции. Среди них были и серьезные, и довольно легкомысленные идеологи, но признанными лидерами считались Элизе Реклю и Жан Грав. Темноволосый, бородатый и меланхоличный Реклю, чье иконописное лицо напоминало византийского Иисуса Христа, исполнял роль оракула и пророка. Он сражался на баррикадах Коммуны и хорошо запомнил пыльную и политую кровью дорогу, по которой его вели в тюрьму Версаля. Реклю происходил из блистательной академической семьи, сам стал выдающимся географом и географические исследования

успешно совмещал с распространением идей анархизма в книгах, журналах и газетах, совместно издававшихся в разное время и с Кропоткиным, и с Гравом. Он читал лекции в Новом университете Брюсселя, одно время возглавлял кафедру географии и, по отзывам, производил на слушателей неизгладимое впечатление, «завораживая неотразимым магнетизмом»<sup>27</sup>. Возможно, изучая Землю, он и задумался над судьбой человека, веря, подобно Руссо, в его «природную добродетельность, которая высвободится, как только общество избавится от пороков и насилия».

Грав же родился в рабочей семье, трудился сапожником, а затем, подобно Прудону, наборщиком и печатником в типографии, а в восьмидесятые годы занимался изготовлением гремучей ртути для того, чтобы взорвать префектуру полиции или Бурбонский дворец, где заседал французский парламент. За книгу «Умиращее общество и анархия», в которой содержались призывы к свержению государственного строя и конкретные зловердные предложения, он провел два года в тюрьме. В заключении он написал вторую книгу – «Общество после революции» – и сам отпечатал и издал ее после освобождения. Она была настолько утопической, что власти не усмотрели в ней серьезной угрозы. На чердаке пятого этажа дома на пролетарской улице Муффетар он редактировал, писал статьи и печатал на ручном станке газету «Револьт» и сочинял фундаментальный труд «Освободительное движение в Третьей республике» (*Le Mouvement libertaire sous la troisième république*). В этой комнате с одним столом и двумя стульями и жил Жан Грав, неизменно одетый в черную рабочую блузу, в окружении памфлетов и газет, «неприметный, молчаливый, но неугомонный» человек<sup>28</sup>, настолько поглощенный своими мыслями и делами, что «походил на отшельника из Средневековья, забывшего помереть восемьсот лет назад».

Последователи анархизма не объединялись в организованную партию, они создавали небольшие местные клубы и группы. Они обычно обменивались записками, информирующими, например, о том, что «анархисты Марсея сформировали группу под названием «Мстители и голодающие», которая будет собираться каждое воскресенье по такому-то адресу: «Товарищи и их надежные друзья приглашаются участвовать в дискуссии». Такие группы действовали не

только в Париже, но и в большинстве крупных городов и во многих малых городках. Среди них были, к примеру, такие организации, как «Непокорные» в Арментьере, «Подневольный труд» в Лилле, «Всегда готовы» – в Блуа, «Земля и воля» – в Нанте, «Динамит» – в Лионе, «Антипатриоты» – в Шарлевиле. Объединяясь с аналогичными группами в других странах, они иногда проводили конгрессы – например, в Чикаго в 1893 году, во время Всемирной выставки, но никогда не вступали в союзы или ассоциации.

Главным подстрекателем и заводилой в анархистском движении был Энрико Малатеста, итальянец<sup>29</sup>. Он оказывал воспламеняющее воздействие на анархистов всюду, куда бы ни приезжал. Малатеста был на десять лет моложе Кропоткина и выглядел как романтик-бандит, подружившийся с графом Монте-Кристо. Он родился в состоятельной буржуазной семье и получал медицинское образование в Неаполитанском университете, но был отчислен за участие в студенческом бунте во время Парижской коммуны. Впоследствии он освоил профессию электрика, вступил в итальянскую секцию Интернационала, заняв сторону Бакунина в борьбе с Марксом, возглавил неудавшееся крестьянское восстание в Апулии, за что оказался в тюрьме, а потом в изгнании. Затем Малатеста безуспешно пытался изменить цели всеобщей забастовки в Бельгии в 1891 году, которая проводилась под лозунгом борьбы за избирательное право для всех взрослых мужчин: он считал, что выборы являются всего лишь очередной миной-ловушкой буржуазного государства. Его изгоняли за революционную деятельность то из одной страны, то из другой и наконец заточили на пять лет на тюремном острове Лампедуза, откуда он сбежал на гребной лодке во время шторма. Из заключения в Италии Малатеста бежал в ящике для «швейных машин», который погрузили на пароход, уходивший в Аргентину. Там он надеялся добыть золото в Патагонии для революции. Он действительно нашел золото, но его заявку конфисковало аргентинское правительство.

Малатесту иногда обвиняли в отступлении от «чистого» анархизма и даже в марксистских наклонностях. Из-за этого в него стрелял итальянский коллега-анархист, представитель радикального крыла *anti-organizzatori*. Но вне зависимости от того, сколько неудач ему пришлось пережить, Малатеста всегда был в деле, в тюрьме или в бегах из тюрьмы, в изгнании, без дома и собственной крыши над

головой, всегда, как говорил Кропоткин, готовый «возобновить борьбу с той же любовью к человеку, с тем же презрением к врагам и тюремщикам»<sup>30</sup>.

Этим людям был присущ незаурядный оптимизм. Они были убеждены в том, что анархизм в силу своей правоты восторжествует над загнивающей капиталистической системой, и мистически связывали это событие с концом столетия. «Все ждут рождения нового порядка вещей»<sup>31</sup>, – писал Реклю. – Столетие, принесшее столь много величайших открытий в мире науки, не может закончиться без еще более грандиозных достижений. Познав вражду и ненависть, мы должны научиться любить друга и для этого уничтожить частную собственность и всевластие закона».

Мудрый Кропоткин повсюду видел признаки нарождающегося нового мира. Увеличение числа бесплатных музеев, библиотек, парков, по его мнению, свидетельствовало о приближении торжества анархизма, когда вся частная собственность станет общественной. Действительно, разве нельзя обойтись без платных дорожных застав и шлагбаумов? Разве не могут муниципалитеты бесплатно подавать воду и освещать улицы? Доказательством правоты анархической идеи общества, в котором руководящей силой является не правительство, а «свободная ассоциация людей», служит пример деятельности Международного Красного Креста, профсоюзов и даже судостроительных и железнодорожных картелей (осуждавшихся как «трасты» реформаторами другого типа в Америке).

По замыслу Кропоткина, Малатесты, Жана Грера и Реклю, анархизм в конце столетия «засияет в своем нравственном величии»<sup>32</sup>, но для этого потребуются оторваться от действительности. Все они прошли через тюрьмы за свои убеждения. Кропоткин лишился зубов из-за цинги в тюрьме. О них не скажешь, что они жили в «башне из слоновой кости», хотя в их головах и складывались иллюзорные представления. Они могли создавать в воображении проекты государства всеобщей гармонии, сознательно игнорируя реальности человеческого поведения и уроки истории. Их настойчивое стремление к революции основывалось на вере в природное добронравие человека, которого надо только увлечь примером и подтолкнуть к тому, чтобы пойти по дороге, ведущей в «золотой век». Они заявляли о своей вере

громко и упорно. Последствия зачастую были плачевные и трагические.

Анархизм эры насилия начался во Франции сразу же после празднования столетия Французской революции. Два года длился террор, насаждавшийся динамитом, ножом и пистолетом, убивавший людей и простых и знатных, уничтожавший собственность и порождавший страх. Сигнал подал в 1892 году человек, чье имя, Равашоль, казалось, символизировало «бунт и ненависть»<sup>33</sup>. Акт, совершенный им, как и другие подобные деяния, был вызван мщением за товарищей, пострадавших от государства.

В день 1 мая 1891 года на демонстрацию рабочих в Клиши, пролетарском пригороде Парижа, возглавлявшуюся *les anarchos* с красными флагами и революционными лозунгами, напала конная полиция. В завязавшейся схватке пятеро полицейских получили легкие и трое анархистских вожаков – тяжелые ранения. Анархистов арестовали и истекавших кровью подвергли *passage à tabac*, зверскому избиванию между двумя рядами полицейских, наносивших им удары чем попало, в том числе и револьверами. На суде обвинитель Бюло утверждал, что один из них накануне призывал рабочих вооружаться и наставлял: «Если появится полиция, не бойтесь и убивайте их как собак! Долой правительство! *Vive la révolution!*» Бюло потребовал смертной казни для всей троицы, чего ему, очевидно, не следовало делать, поскольку убийств не было. Месье Бенуа, председатель суда, одного обвиняемого оправдал, а двоих приговорил к пяти и трем годам тюремного заключения, максимально возможным срокам в подобных обстоятельствах.

Через шесть месяцев после суда бомбой был взорван дом месье Бенуа на бульваре Сен-Жермен. Спустя две недели, 27 марта, взорвалась бомба, подложенная в дом Бюло, обвинителя, на улице Клиши. Полиция распространила описание подозреваемого преступника: худощавый, но мускулистый молодой человек в возрасте чуть более двадцати лет, скуластый, бородатый, имеющий нездоровый желтый цвет лица и шрам между большим и указательным пальцем левой руки. В день второго взрыва мужчина с такой внешностью обедал в ресторанчике «Вери» на бульваре Мажента и обсуждал с официантом по имени Жюль Леро происшествие, о котором еще никто

не знал. К тому же он высказывал антивоенные и анархистские взгляды. Леро насторожился, но не предпринял никаких действий. Через два дня мужчина пришел снова, и на этот раз официант, заметив шрам на руке, вызвал полицию. Когда полицейские прибыли, худощавый молодой человек вдруг превратился в гиганта, обладавшего огромной силой, и потребовалось десять человек и немало времени для того, чтобы его скрутить и арестовать.

Это и был Равашоль. Он взял себе имя матери, а не отца Кенигштейна, который бросил жену и четверых детей, оставив семью на попечении восьмилетнего Равашоля. В возрасте восемнадцати лет, начитавшись «Вечного жида» Эжена Сю, он разуверился в религии, увлекся анархическими сантиментами, посещал собрания анархистов, и в результате его вместе с младшим братом уволили с работы в мастерской красильщика. Тем временем умерла младшая сестра, а другая сестра родила внебрачного ребенка. Хотя Равашолю удавалось находить работу, денег не хватало для того, чтобы вызволить семью из нищеты. Ему пришлось прибегать к дополнительным, по обыкновению противозаконным источникам дохода и находить для этого моральные обоснования. Бедный вправе грабить богатого, чтобы не «вести животный образ жизни, – говорил он в тюрьме. – Умирать с голода – позор и трусость. Я предпочитаю воровать, мошенничать и убивать». Он действительно делал и то, и другое, и третье и к тому же стал первоклассным грабителем.

На суде 26 апреля 1892 года Равашоль заявил, что им двигало желание отомстить за анархистов Клиши, которых полицейские не просто избили, но даже «не дали воды, чтобы обмыть раны», а Бюло и Бенуа вынесли им максимальное наказание, хотя присяжные настаивали на минимуме. Он держался стойко, и в его взгляде сквозила глубокая внутренняя убежденность. «Я поставил себе цель прибегнуть к террору, чтобы заставить общество обратить внимание на тех, кто страдает», – говорил Равашоль. Хотя пресса изображала его отъявленным и коварным злодеем, «зверем, наделенным колоссальной силой», свидетели подтверждали, что он дал деньги жене одного из осужденных анархистов Клиши и купил одежду для ее детей. Суд длился всего лишь один день, и его приговорили к пожизненной каторге. Но у Равашоля появились последователи.



Официант Леро приобрел героическую известность, услаждал посетителей и журналистов историями о «шраме, узнавании и аресте». В результате он привлек к себе внимание анонимного мстителя, взорвавшего в ресторане «Вери» бомбу, убившую, правда, не Леро, а его шурина месье Вери, владельца заведения. Анархистский журнал «Пер-Пенар», сообщая об этом происшествии, сопровождал текст дьявольским каламбуром – *Verification!* («Проверка!»)

К тому времени полиция раскрыла целую серию преступлений Равашоля, включая жуткое ограбление трупа (снял с него драгоценности) и несколько убийств: 92-летнего скряги и его экономки, двух старух, содержавших лавку скобяных изделий (он раздобыл у них сорок су), и еще одного лавочника (не нашел ни одного су). «Видите эту руку? – будто бы говорил он. – Ею убито столько буржуев, сколько на ней пальцев». Убивая и грабя, в остальном он вел обывательский образ жизни, учил читать маленькую дочь своего хозяина.

Судебный процесс в отношении этих убийств открылся 21 июня в атмосфере страха, посеянного взрывом бомбы мстителя в ресторане «Вери». Все ждали, что террористы взорвут Дворец правосудия. Он был окружен войсками, у дверей стояли стражники, судей, присяжных и советников сопровождали полицейские. Выслушав приговор к смертной казни, Равашоль заявил, что он совершил свои деяния во имя «идей анархизма», добавив: «Я знаю, что буду отомщен».

Столкнувшись с незаурядным случаем, в котором смешались действия криминального монстра и мстителя – защитника обездоленного и несчастного человека, анархистская пресса разделилась во мнениях. Кропоткин в газете «Револьт» осудил поступок Равашоля как «не подлинно, не истинно революционный» и занес его в разряд *opéra-bouffe*. Такие поступки, писал он, не имеют никакого отношения к «неустанным повседневным приготовлениям, незаметным, но исключительно важным для революции»: «Ей нужны другие люди, не Равашоли. Подобные деяния пусть вершит буржуазия *fin de siècle*, из которой они и произрастают». Малатеста в литературном журнале анархистов «л'Ан Деор» («Наружу») тоже отмежевался от поступка Равашоля<sup>34</sup>.

Трудность заключалась в том, что Равашоль принадлежал к классу эго-анархистов, состоявшему из одного серьезного теоретика – немца

Макса Штирнера и сотни энтузиастов, практикующих *culte de moi* («культ собственного я»). Они пренебрегали буржуазными ценностями и общественными регламентами, признавая лишь право индивида «вести анархистский образ жизни», включая грабеж и любое другое правонарушение, отвечающее потребностям момента. Их интересовала лишь собственная персона, а не революция. Необузданная вольная деятельность этих «Борджей в миниатюре»<sup>35</sup> обычно заканчивалась вооруженными схватками с полицией, украшалась лозунгами «анархии» и вызывала страх и злость публики, которая не могла различить, где подлинник, а где суррогат. Равашоль олицетворял и то и другое. Он испытывал и подлинные чувства жалости и сочувствия к угнетенным собратьям своего класса, потому одна анархистская газета осмелилась сравнить его с Иисусом Христом.

11 июля Равашоль, хладнокровный и нисколько не раскаявшийся, пошел на гильотину, крикнув на прощание *Vive l'anarchie!* Все сомнения были сняты. В одночасье он стал анархистом-мучеником, а для низших классов – народным героем. Газета «Револют» переменяла свое мнение, воскликнув: «Он будет отомщен!» Журнал «л'Ан Деор» объявил сбор средств для детей сообщника, осужденного вместе с Равашолем. Среди тех, кто внес пожертвования, были художник Камиль Писсаро, драматург Тристан Бернар, бельгийский социалист и поэт Эмиль Верхарн и Бернар Лазар (который вскоре станет одним из действующих лиц в драме Дрейфуса). Вошло в обиход выражение «равашоллизировать», то есть «уничтожить врага», а на улицах начали распевать песню «Равашола» на мотив «Карманьолы»:

День придет, день придет,  
И каждый буржуй свою бомбу найдет [\[18\]](#).

Равашоля сделала знаменитым не бомба, а казнь. Между тем террор перекинулся через Атлантику.

В сексе анархисты отвергали любые формы власти так же, как и в других сферах человеческой жизни. Это наглядно иллюстрирует история любви в Америке, в Нью-Йорке, оказавшая непреходящее влияние на движение. Она началась в 1890 году на митинге,

посвященном памяти жертв Хеймаркета, на котором выступал немецкий изгнанник Иоганн Мост с изуродованным лицом и деформированным телом, редактор анархистского еженедельника «Фрайхайт».

Несчастливое детство, трагический случай, обезобразивший лицо, нищенская юность, когда ему приходилось мыкаться в поисках заработка и голодать, – все это породило озлобленность и ненависть к обществу. В нем эти качества нарастали с ожесточенностью и цепкостью сорняков. В Германии он приобрел профессию переплетчика, писал гневные статьи для революционной прессы и даже прослужил один срок депутатом рейхстага в семидесятых годах. Изгнанный из страны за революционные призывы, Иоганн Мост вначале обосновался в Англии, где пристрастился к анархизму, основал журнал, в котором изливал желчь и приветствовал царубийство в России в 1881 году с таким энтузиазмом, что его заключили в тюрьму на восемнадцать месяцев. Пребывая все еще в узилище, он так же горячо аплодировал убийцам лорда Фредерика Кавендиша в Дублине, что традиционное терпение английских властей наконец лопнуло. «Фрайхайт» закрыли, а Мост после освобождения вместе с газетой и страстями переместился в Соединенные Штаты.

Но и в Америке Мост продолжал печатать бунтарские воззвания. Публикации в газете «Фрайхайт» один читатель сравнил с «потоками лавы, извергающими сарказм, злобу, ненависть... и возбуждающими дух мятежа и неповиновения». Поработав какое-то время на заводе взрывчатки в Джерси, Мост опубликовал руководство по изготовлению бомб, а на страницах «Фрайхайт» разъяснял, как пользоваться динамитом и нитроглицерином. Его целью, как он сам говорил, по-прежнему было готовить человека к разрушению «существующего порядка» неустанным революционным действием. Большинство людей не придают никакого значения восьмичасовому рабочему дню. Если же проблема восьмичасового рабочего дня, эта, по его выражению, «чертова канитель», будет решена, то нововведение послужит ширмой, отвлекающей массы от главной задачи: борьбы против капитализма за построение справедливого общества.

В 1890 году Мосту исполнилось сорок четыре года. Он был среднего роста, густая и уже седеющая шевелюра венчала массивную голову, нижнюю часть которой уродовала смещенная влево челюсть.

Он говорил настолько резко, злобно и страстно, что люди забывали о его безобразной внешности. Одной женщине на митинге его голубые глаза показались «привлекательными», и она почувствовала, как от него «исходит не только ненависть, но и любовь».

Эмме Гольдман, еврейке, недавно эмигрировавшей из России, шел тогда двадцать второй год. Она отличалась бунтарством и легко возбудимой натурой, и Мост ей очень понравился. Ее сопровождал Александр Беркман, тоже русский еврей, но живший в Соединенных Штатах уже почти три года. Гонения в России и бедность в Соединенных Штатах пробудили в них горячие революционные чувства. Анархизм стал их кредо. В Америке Эмма вначале работала швеей на фабрике, трудилась по десять с половиной часов в день и получала за это два с половиной доллара в неделю. Комнату она снимала за три доллара в месяц. Беркман происходил из более зажиточной семьи, которая могла платить слугам и отправить его в гимназию. Но на них навалились экономические невзгоды; любимого дядю с революционными наклонностями арестовали жандармы, и они его больше никогда не видели; Сашу (Александра) исключили из школы за нигилистские и атеистические сочинения. Теперь ему было двадцать лет, он обладал «шеей и грудью гиганта», высоким умным лбом, интеллигентной внешностью и суровым взглядом. После «страшных переживаний» от грозных речей Моста Эмма нашла «успокоение» в объятиях Саши, а впоследствии повышенная возбудимость привела ее и в объятия Моста. Их мирное сосуществование ничем не отличалось от аналогичных буржуазных тройственных альянсов.

В июне 1892 года забастовал профсоюз сталелитейщиков в Хомстеде штата Пенсильвания, протестуя против снижения зарплат владельцами сталелитейного завода Карнеги. Компания урезала зарплаты, стремясь задавить профсоюз, и, предвидя неизбежные схватки, распорядилась соорудить крепостной забор с колючей проволокой, ограждавший цеха, где должны были работать штрейкбрехеры, нанятые агентством Пинкертон. Филантроп Эндрю Карнеги благоразумно уехал на лето ловить лосося в Шотландии, поручив управляющему Генри Клею Фрику бороться с союзом рабочих. Трудно было найти менее компетентного и подходящего для этого человека. Необычайно благовидный мужчина сорока трех лет с

черными усами и такой же черной бородкой, сдержанными манерами и взглядом, который мог внезапно приобрести «стальное выражение», происходил из весьма состоятельной пенсильванской семьи. На нем всегда был дорогой темно-синий костюм в полоску, он не признавал украшений и однажды, страшно возмущившись карикатурой, напечатанной в питсбургской газете «Лидер», приказал секретарю: «Это недопустимо. Это совершенно непозволительно. Узнайте, кто владеет газетой, и купите ее».

5 июля предстояло привезти штрейкбрехеров, нанятых Фриком. Когда их на бронированных баржах доставили через реку Мононгахела и уже собрались высаживать, забастовщики напали на них, обстреливая из самодельной пушки, ружей, взрывая динамит и поливая горячей смолой. В схватке погибли десять человек, несколько человек получили ранения, но истекающим кровью и одержавшим победу рабочим удалось прогнать из завода пинкертонов. Губернатор Пенсильвании выслал восьмитысячное войско милиции, вся округа была взбудоражена, а Фрик, пренебрегая смертями и протестами, выпустил ультиматум, заявив об отказе вести переговоры с профсоюзом и пригрозив уволить и выселить из домов всех, кто не вернется к своим рабочим местам.

«Хомстед! Я должен быть в Хомстеде!» – вскричал Беркман, когда Эмма пришла с газетой в руке. Наступил долгожданный «психологический момент для действия... Вся страна поднялась против Фрика, и удар, нанесенный ему, привлечет внимание всего мира». Рабочие бастуют не только ради себя, но и «во имя будущего, свободы, торжества анархизма», хотя сами сталелитейщики, конечно, даже и не догадывались об этом. Пока они действуют «в мятежном ослеплении», но Беркман придаст их борьбе новый смысл, «обогатит идеями анархизма, которые привнесут в мятеж революционное содержание». Избавление от тирана – оправданный акт борьбы «за свободу, лучшую жизнь и новые возможности для угнетенного народа». «Величайший долг» и «испытание для каждого революционера» – умереть за эти благородные цели.

Беркман поездом приедет в Питсбург и убьет Фрика, но доживет до того времени, когда «докажет на суде правоту своего деяния». А потом, уже в тюрьме, он «умрет по своей воле, как Лингг».

23 июля он действительно появился в офисе Фрика, предъявив визитную карточку, на которой значилось: «Агент по занятости. Нью-Йорк». Фрик в это время разговаривал с вице-президентом Джоном Лейшманом. Беркман вынул револьвер и выстрелил. Первая пуля ранила Фрика в шею с левой стороны. Он выстрелил снова и ранил управляющего в шею с правой стороны. Когда Беркман стрелял в третий раз, Лейшман успел ударить по руке, и тот промахнулся. Фрик, истекая кровью, поднялся и накинулся на Беркмана вместе с Лейшманом, анархист упал, увлекая за собой обоих. Он все же смог освободить одну руку, вынуть из кармана кинжал и семь раз ударить Фрика, прежде чем его оттащили подоспевшие полицейские с помощником шерифа<sup>36</sup>.

«Дайте мне взглянуть на его лицо», – шепотом попросил Фрик, побледневший и окровавленный. Шериф вздернул голову Беркмана за волосы, и Фрик посмотрел в глаза своему палачу. В полицейском участке на теле Беркмана (по другим сведениям, во рту) нашли две капсулы гремучей ртути, точно такие же, какие использовал Лингг, чтобы подорвать себя. Фрик выжил, милиция подавила забастовку, а Беркмана отправили в тюрьму на шестнадцать лет.

Страна долго не могла успокоиться. Шокирована была не только общественность. Анархистов хватил столбняк, когда Иоганн Мост, проповедник насилия, порвав с прошлыми убеждениями, 27 августа опубликовал в газете «Фрайхайт» статью, осуждавшую попытку Беркмана совершить тираноубийство. Он заявил, что эффективность террористического действия преувеличена, что оно не в состоянии возбудить восстание в стране, где отсутствует пролетарское классовое самосознание, и с пренебрежением отозвался о поступке Беркмана, которого анархисты теперь считали героем. Когда Иоганн Мост повторил те же слова на собрании, в публике поднялась разъяренная женская фигура. Это была Эмма Гольдман. С кнутом в руках она взошла на трибуну и отхлестала своего бывшего любовника. Скандал был грандиозный.

Без сомнения, в поведении Иоганна Моста и Эммы сыграли свою роль эмоции. Мост последовал примеру Кропоткина и Малатесты, которые после акций Равашоля разуверились в эффективности насилия. Но верный долгу идеалист Беркман радикально отличался от разбойника Равашоля, и желчный Мост завидовал сопернику, более

молодому и страстному как в любви, так и в революционном движении. Его нападки на коллегу-анархиста, готового отдать жизнь за дело революции, означали предательство, которое негативно сказалось на дальнейшей судьбе анархизма в Америке.

Об этом, естественно, ничего не знала общественность: она следила лишь за акциями анархистов, *attentats*<sup>[19]</sup>, как называли их французы. С каждой новой акцией в обществе нарастал страх перед таинственной убийственной силой, таящейся в его недрах. Через год после событий в Хомстеде этот страх снова дал о себе знать, когда губернатор Джон П. Альтгельд из Иллинойса помиловал троих узников Хеймаркета<sup>37</sup>. Жесткий и вспыльчивый политик, Альтгельд, рожденный в Германии и привезенный в Соединенные Штаты трехмесячным ребенком, прожил тяжелую жизнь и познал тяготы физического труда. Он сражался в гражданской войне, когда ему было шестнадцать лет, изучал право, занимал должности атторнея штата, судьи, стал губернатором, разбогател на продаже недвижимости, но всегда оставался убежденным либералом. Сразу же после вступления в должность губернатор пообещал восстановить справедливость. Возможно, им отчасти руководила и неприязнь к судье Гэри. Став губернатором, Альтгельд поручил проверить материалы судебного процесса и 26 июня 1893 года вынес решение о помиловании, сопроводив его документом из 18 000 слов, подтверждавшим противозаконность приговора. В нем доказывалось, что состав присяжных был специально подобран для вынесения обвинительного приговора, судья предубежденно относился к обвиняемым и не мог беспристрастно вести процесс и атторней штата признал, что по крайней мере против одного обвиняемого не имелось достаточных улик. Все эти факты, безусловно, были известны, в период между вынесением приговора и повешением многие видные граждане Чикаго, обеспокоенные суровостью приговора, настойчиво пытались добиться помилования, и благодаря их усилиям была спасена жизнь троим обвиняемым. Но когда Альтгельд публично продемонстрировал дьявольский характер существующей системы правосудия, он поколебал веру людей в фундаментальные институты – столпы общества. Если бы он помиловал анархистов, простив их за содеянное, то это не вызвало бы никаких претензий. Но он сделал это таким образом, что вызвал на себя гнев прессы, священников и очень важных

персон различного толка. Торонтская газета «Блейд» заявила, что он «низвергает цивилизацию». А нью-йоркская «Сан» изложила свое возмущение в стихах:

О дикий Чикаго...  
Воздень виновные, слабые руки  
Из развалин штатов, повергнутых в прах,  
И средь павших города башен  
Напиши АЛЬТГЕЛЬД на воротах! [\[20\]](#)

Альтгельд потерпел поражение на очередных выборах. И хотя наверняка были и иные причины, он никогда больше не занимал высокий пост и умер в возрасте пятидесяти пяти лет в 1902 году.

Одновременно с этими событиями эра динамита началась и в Испании. Она возгоралась с еще большей жестокостью и свирепостью, характеризовалась еще более жуткими эксцессами и длилась дольше, чем в других странах. Испанцы всегда отличались склонностью к проявлению безумной отваги и пристрастием к трагическому образу жизни. Их горы обнажены, соборы погружены во мрак, реки летом пересыхают, а один из великих испанских королей еще при жизни построил для себя мавзоль. Самый любимый спорт у них – не игра и не состязание, а опасный и кровавый ритуал. Особое свойство испанской души передала низложенная королева Изабелла II. Посетив родину в 1890 году, она написала дочери: «Мадрид печален, и все здесь кажется еще более странным, чем прежде»<sup>38</sup>.

Для Испании было естественным то, что борьба титанов Маркса и Бакунина за руководство рабочим классом закончилась победой анархизма. В Испании, однако, где все приобретает более серьезный характер, анархисты проявили больше организованности и продержались дольше, чем в какой-либо другой стране. Как и Россия, Испания была котлом, в котором революция закипала под тяжелой крышкой гнета. Церковь, лендлорды, *Guardia Civil*, все стражи государства не давали этой крышке сорваться с места. Хотя в Испании действовали кортесы и существовала видимость демократического процесса, рабочий класс не располагал легальными средствами для



навязывания реформ и каких-либо перемен, как во Франции или в Англии. В результате анархистские настроения были сильнее и взрывоопаснее. В отличие от «чистого» анархизма, его испанская разновидность была коллективистской и никакой другой она просто не могла быть в силу обстоятельств. Гнет был слишком тяжелый и исключал малейшую возможность для индивидуальных акций.

В январе 1892 года вспыхнул бунт, вызвавший, как и первомайское восстание в Клиши, цепную реакцию возмездия. Аграрный мятеж всегда назревал на юге, где огромные латифундии отсутствующих лендлордов обрабатывались крестьянами, трудившимися целый день за буханку хлеба. Теперь четыреста крестьян, взяв в руки вилы, косы и кустарное огнестрельное оружие, двинулись в деревню Херес-де-Фронтера в Андалусии. Они требовали освободить пятерых товарищей, приговоренных к пожизненному заключению в кандалах за участие в трудовом конфликте десять лет назад. Армия подавила восстание, и четверых вожаков казнили на гарроте – чисто испанским способом умерщвления, когда жертву привязывают спиной к столбу, а палач душит его удавкой, стоя позади и затягивая ее деревянной рукояткой. Сарсуэла, один из казненных, успел перед смертью крикнуть: «Отомстите за нас!»

Опорой испанского правительства был генерал Мартинес де Кампос, железной рукой восстановивший монархию в 1874 году. После этого он нанес поражение карлистам, подавил восстание на Кубе, исполнял обязанности премьер-министра и военного министра. 24 сентября 1893 года генерал принимал парад войск в Барселоне. Из переднего ряда вдруг в него полетела одна бомба, а потом и вторая. Их бросил анархист по имени Пальяс, помогавший Малатесте в Аргентине <sup>39</sup>. От взрыва бомб погибли пятеро зевак, один солдат и лошадь генерала, но жертва покушения отделалась синяками, оказавшись под лошадьё. Пальяс говорил с гордостью, что собирался убить генерала и «весь его штаб». Когда военный трибунал приговорил его к смертной казни, он воскликнул: «Замечательно! Тысячи людей продолжают начатое мною дело». Ему разрешили попрощаться с детьми, но почему-то запретили увидеться с женой и матерью. Его расстреливали в спину, тоже сугубо испанский обычай, и он тоже успел крикнуть: «Мсть будет ужасной!»

И возмездие вскоре свершилось, в столице Каталонии, самое страшное и кровавое деяние анархистов. 8 ноября 1893 года, почти в годовщину со дня повешения жертв Хеймаркета, открывался оперный сезон в «Театро Лисео», и публика в вечерних нарядах слушала «Вильгельма Телля». Внезапно с балкона в партер полетели две бомбы. Одна сразу же взорвалась, убив пятнадцать человек, другая – лежала на полу, готовая взорваться в любой момент. Поднялась невероятная паника, люди в ужасе ринулись к выходам, пихая и расталкивая друг друга, «как дикие звери», подминая и стариков и женщин. Когда раненых унесли, на улице собралась толпа, согласно описанию репортера, осыпавшая ругательствами как анархистов, так и полицию. От ран умерли еще семь человек. Общий итог жертв: двадцать два убитых и пятьдесят раненых<sup>40</sup>.

Правительство ответило свирепыми репрессиями. Полиция устроила обыски во всех известных клубах, домах и местах собраний оппозиционеров. Тысячи людей были арестованы и заточены в камерах тюрьмы-крепости Монжуик, мрачный силуэт которой постоянно темнел на высоте семисот футов над уровнем моря на виду у всего города. Ее пушки всегда были направлены в сторону вечно мятежной Барселоны. Крепостных темниц не хватало, и многих узников разместили на военных кораблях, стоявших внизу на якорях. Поскольку трудно было найти виновных в гибели столь многих людей, то пытали всех, чтобы добиться признаний. Узников жгли раскаленными прутьями, стегали кнутами, заставляя идти без отдыха тридцать, сорок и пятьдесят часов подряд, применяли другие изощренные методы пыток, которыми славилась страна великой инквизиции. Власти все-таки при помощи пыток получили необходимую информацию и в январе 1894 года арестовали анархиста по имени Сантьяго Сальвадор, который признал, что бросил бомбы в Оперном театре, мстя за Пальяса. На его арест анархисты Барселоны ответили взрывом бомбы, убившей двоих ни в чем не повинных людей. Правительство, в свою очередь, в апреле приговорило к смертной казни семерых узников крепости Монжуик, добившись от них под пытками неких признаний<sup>41</sup>. Сальвадора, безуспешно пытавшегося покончить с собой при помощи револьвера и яда, судили в июле и казнили в ноябре.

Жуткая расправа в Оперном театре в Испании напугала власти в других странах. В Англии наконец засомневались в том, что надо позволять анархистам свободно толковать и распространять свои доктрины. Когда анархисты собрались на традиционный митинг в память о жертвах Хеймаркета, в парламенте подвергли критике поведение либерала министра внутренних дел Асквита, разрешившего проведение этого мероприятия. Мистер Асквит сослался на незначительный характер сблища, но его, по описанию репортера, «сокрушил» лидер оппозиции мистер Бальфур, который в своей обычной вялой манере разъяснил, что применение бомб против людей не может быть предметом обсуждения на собраниях и оправдываться ссылками на неправильное общественное устройство. То ли вняв аргументам Бальфура, то ли переосмыслив последствия терактов в Испании, Асквит спустя пару дней заявил, что «пропаганда анархистской доктрины опасна для общества» и открытые собрания анархистов более не будут разрешаться<sup>42</sup>.

Анархистами в Лондоне в то время были в основном русские, поляки, итальянцы и другие эмигранты, группировавшиеся вокруг «Автономии», анархистского клуба; другая группа эмигрантов-евреев, обитавшая в бедняцком Ист-Энде, издавала на идише газету «Арбайтер-Фрайнт» и собиралась в клубе под названием «Интернационал» в Уайтчепеле. Английский рабочий класс, для которого индивидуальное насильственное действие было менее естественно, чем для славян, итальянцев и испанцев, анархизмом не интересовался. Некоторые интеллектуалы вроде Уильяма Морриса могли взять на себя роль «светочей», но и Уильям Моррис занимался главным образом разработкой собственной утопической версии государства, утерьял влияние к концу восьмидесятих годов и уступил журнал «Общее благо» (*Commonweal*), который основал и редактировал, более воинственным, плебейским и ортодоксальным анархистам. Существовали и другие журналы: «Воля» (*Freedom*) – издавался группой активистов, чьим учителем был Кропоткин; «Факел» (*The Torch*) – редактировался двумя дочерьми Уильяма Россетти и публиковал взгляды Малатесты, Фора и других французских и итальянских анархистов.

В 1891 году Оскар Уайльд опубликовал необычное эссе под заголовком «Душа человека при социализме». Его заинтересовала

личность Кропоткина, и он действительно поверил в то, что художник может быть свободным только в обществе, в котором «отсутствуют власть и принуждение». Несмотря на заглавие, Уайльд отвергал социализм подобно ортодоксальному анархисту на том основании, что он «авторитарен». Если правительство наделить экономической властью, то есть если «у нас по-прежнему останутся индустриальные тираны, то последнее государство человека будет даже хуже первого». Уайльд предпочитал социализм, основанный на индивидуализме. Именно при таком социализме высвободится истинная душа человека и художник тоже станет самым собой.

Во Франции не прекращалась террористическая активность анархистов. 8 ноября 1892 года, во время забастовки шахтеров «Сосьете де мин де Кармо», в парижском офисе компании на улице Оперы была подложена бомба. Ее обнаружил консьерж, бомбу осторожно вынесли и доставили в ближайший полицейский участок на улице Бонз-Анфан. Когда полицейский вносил ее в помещение, она взорвалась, убив и его, и еще пятерых служителей порядка. Их разорвало в клочья, кровью залило окна и стены, повсюду были раскиданы окровавленные фрагменты тел, рук и ног. Полиция заподозрила Эмиля Анри, младшего брата известного радикал-оратора и сына Фортюни Анри, приговоренного к смертной казни и бежавшего в Испанию. Но когда проследили его передвижения в этот день, то оказалось, что он не мог находиться в момент взрыва на улице Оперы, и Анри не арестовали.

Взрыв бомбы в полицейском участке вызвал в городе панику. Все ждали новых взрывов, которые могли произойти где угодно. Любого, кто был связан с законниками и полицейскими – поскольку парижане жили преимущественно в апартаментах, – соседи остерегались как чумного, и нередко такому человеку домовладелец предписывал переселиться в другое место. Город, писал один приезжий англичанин, был «буквально парализован страхом»<sup>43</sup>. Привилегированные классы «вновь заволновались, как в дни Парижской коммуны». Они боялись пойти в театр, ресторан, перестали посещать модные магазинчики на улице Мира и прогуливаться верхом на лошадях в Буа, где «за каждым деревом мог прятаться анархист». Распространялись ужасные слухи: анархисты заминировали церкви, вылили синильную кислоту в городское водоснабжение, они затаились под сиденьями карет, чтобы

накинуться на пассажира и задушить или ограбить его. В пригородах расположились войска, иностранные туристы уехали, отели опустели, автобусы разъезжали без пассажиров, театры и музеи забаррикадировались.

Но и в самом высшем обществе не было тогда мира и согласия. Еще не утихли страсти после попытки переворота Буланже, как разразился скандал в связи с разоблачениями коррупции в Панаме и государственных структурах. Изо дня в день на протяжении 1890–1892 годов в парламенте вскрывались все новые детали нелегальных финансовых схем, взяточничества, использования «грязных денег», торговли полномочиями и лоббизма, пока не выяснилась причастность к коррупции 104 депутатов. Запятнали даже Жоржа Клемансо, из-за чего он лишился депутатского мандата на следующих выборах.

Падение престижа государственной власти благоприятствует нарастанию анархистских настроений. Интеллектуалы начинают заигрывать с анархизмом. Большинству людей в глубине души свойственно испытывать неприязнь к правительству, и в таких условиях это скрытое чувство выходит наружу. Подобно тому, как всякому толстяку присуще тайное желание похудеть, и в человеке солидном и респектабельном иногда можно обнаружить подспудные анархистские помыслы. Это качество особенно характерно для натур творческих, художников, писателей, поэтов и других людей аналогичных занятий. Новеллист Морис Баррес, пытавшийся применить свой талант в самых разных сферах политической мысли, посвятил анархистской философии два сочинения – «Враг закона» (*l'Ennemi des Lois*) и «Свободный человек» (*Un Homme Libre*). Поэт Лоран Тайад писал о пришествии анархистского общества как о «блаженных временах»<sup>44</sup>, когда аристократами будут сплошь одни интеллектуалы, а «простой человек будет целовать отпечатки ног служителей муз». Литературный анархизм стал особенно популярен среди символистов, таких как Малларме и Поль Валери. Октав Мирбо увлекся анархизмом вследствие нелюбви к власти<sup>45</sup>. Ему досаждал любой человек в форменной одежде: полицейские, билетеры, курьеры, консьержи, лакеи. По словам приятеля Леона Доде, лендлордов он считал извращенцами, министров – ворами, адвокатов и банкиров – мошенниками, и ему нравились только дети, нищие, собаки, некоторые художники и скульпторы и очень молодые женщины. «Его идеей фикс

было построение мира без нищеты<sup>46</sup>, – говорил приятель. – И у него всегда находился повод или объект для ненависти». В среде художников Писсаро предоставил свой рисунок журналу «Пер-Пенар», некоторые другие обозленные парижские иллюстраторы вроде Теофиля Стейнлена пользовались анархистскими изданиями для выражения своего недовольства социальной несправедливостью, иногда, как в случае с карикатурой на президента Франции в грязной пижаме<sup>47</sup>, совершенно непозволительными в иные времена приемами.

Распространялось множество эфемерных журналов, газет и бюллетеней. Достаточно привести лишь несколько названий, чтобы понять их назначение: «Антихрист», «Новая заря», «Черный флаг», «Враг народа», «Вопль народа», «Факел», «Кнут», «Новое человечество», «Неподкупные», «Санкюлот», «Земля и воля», «Возмездие». Члены клубов и кружков с названиями типа «Лига антипатриотов» или «Либертарианцы» собирались в полутемных помещениях, сидели на деревянных скамьях и слушали речи друг друга о тлетворности государства и необходимости революции. Но они никогда не объединялись в организации и ассоциации, не выбирали лидера, не разрабатывали планы и не подчинялись ничьим указаниям. В их представлении государство, как это подтверждалось паникой, вызванной Равашолем, и панамскими разоблачениями, уже рушилось.

В марте 1893 года во Францию вернулся тридцатидвухлетний Огюст Вайян, пытавшийся начать новую жизнь в Аргентине, но так и не преуспевший в этом. Он был внебрачным ребенком, и ему было всего десять месяцев, когда мать вышла замуж за человека, отказавшегося его содержать. Его отдали приемным родителям. С двенадцати лет ему пришлось самому себя обеспечивать, перебиваться случайными заработками, воровать и попрошайничать. Каким-то образом он все-таки окончил школу, устраивался на должности служащего, одно время редактировал еженедельник «Социалистический союз» (*l'Union Socialiste*), но, подобно другим бедолагам, вскоре оказался в окружении анархистов. В роли секретаря «Федерации независимых групп» (*Fédération des groupes indépendants*) он встречался с анархистскими ораторами, в числе которых был и Себастьян Фор, умевший своим «благозвучным и ласковым» голосом<sup>48</sup>, красивыми фразами и элегантными манерами убедить любого человека, слушавшего его речь, в неизбежном пришествии «золотого

века». Вайян женился, разошелся с женой, но оставил при себе дочь Сидонию и обзавелся любовницей. Он не был развратником или либертарианцем и заботился о своей крошечной семье изо всех сил. После неудачной экспедиции в Аргентину Вайян попробовал преуспеть в Париже. Однако подобно своему современнику Кнуту Гамсуну, скитавшемуся тогда по улицам Христиании, он тоже наталкивался лишь на унижения, «половинчатые обещания, грубые и вежливые отказы», испытывал «разочарования, горечь от несбывшихся надежд и безуспешных попыток вырваться из нищеты», и наконец оказался в таком бедственном положении, что у него уже не было приличной одежды для поиска работы. Он даже не мог купить себе новую пару обуви и ходил в старых галошах, подобранных на улице. Вайяну все-таки удалось получить работу на сахарорафинадном заводе, где ему платили всего лишь три франка в день – очень мало даже для семьи из трех человек.

Стыдясь своего нищенства и не в силах больше видеть, как голодают домочадцы, Вайян решил расстаться с жизнью. Но он не хотел уходить из жизни молча и незаметно, а замыслил сделать это громко, «выразив протест всего класса», написал Вайян накануне вечером, который «заявит о своих правах и слова дополнит практическими действиями»: «По крайней мере я умру с чувством удовлетворения, зная, что помог ускорить наступление новой эры».

Вайян не был убийцей и спланировал акцию, в которой содержалась определенная логика. Он сделал бомбу из кастрюли, наполнив ее гвоздями и зарядом взрывчатки, не смертельным для человека. Во второй половине дня 9 декабря 1893 года он пришел с бомбой на галерею для публики в палате депутатов. Очевидец видел, как высокий сухопарый мужчина с бледным лицом встал и бросил что-то вниз в самом разгаре дебатов. Бомба Вайяна взорвалась, как пушечный снаряд, осыпав депутатов металлическими фрагментами, ранив несколько человек, но никого не убив.

Взрыв в палате депутатов вызвал огромный общественный резонанс, а один предприимчивый журналист придал ему значимость памятного исторического события. На званом обеде, устроенном журналом «Плюм», он попросил прокомментировать происшествие именитых гостей, а среди них были Золя, Верлен, Малларме, Роден и Лоран Тайад. Лоран ответил на поставленный вопрос величественно и

почти в стихотворном стиле: “*Qu’importe les victimes si le geste est beau?*” («Разве имеют значение жертвы, если совершается прекрасный поступок?») <sup>49</sup>. Об этих словах, опубликованных на следующее утро в газете «Журналь», скоро вспомнят при гораздо более ужасных обстоятельствах. В то же утро Вайян сам пришел с повинной.

Вся Франция отнеслась с пониманием, а некоторые французы, не анархисты, даже с сочувствием к его действиям. Среди сострадателей были и представители крайне правых кругов, противники республики – роялисты, иезуиты, антисемиты и некоторые аристократы, имевшие свои резоны для того, чтобы ненавидеть буржуазное государство. Эдуард Дрюмон, автор памфлета «Еврейская Франция» и редактор газеты «Либр пароль», рьяно обличавший евреев, причастных к панамскому скандалу, сочинил эссе под многозначительным названием «О грязи, крови и золоте – от Панамы к анархизму». «Грязь Панамы породила кровь», – написал он. Герцогиня д’Юзес<sup>50</sup>, которая вышла замуж за представителя одного из трех первых герцогских родов, предложила приютить и дать образование дочери Вайяна (сам же Вайян предпочел оставить ее на попечение Себастьяна Фора).

Правительство решило раз и навсегда покончить с анархизмом и запретить его пропаганду. Через два дня после взрыва палата депутатов единогласно приняла два закона, объявлявшие преступлением публикацию любых прямых и не прямых призывов, провоцирующих террористические акции или ассоциирующихся с намерениями совершить такие акты. Хотя эти законы называли *les lois scélérates* («злодейскими»), их вряд ли можно было посчитать излишними, поскольку проповедь деяниями была главным побудительным средством распространения анархизма. Полиция провела рейды по всем кафе и местам собраний анархистов, были выписаны две тысячи суровых предписаний и предупреждений, разогнаны все клубы и дискуссионные кружки, закрыты «Револьт» и «Пер-Пенар», и ведущие анархисты покинули страну.

10 января Вайян предстал перед судом – пятью судьями в красных мантиях и черных с позолотой шапочках. Его обвиняли в убийстве, но он утверждал, что намеревался лишь нанести ранения: «Если бы я хотел убивать, то применил бы гораздо более мощный заряд и наполнил бы контейнер пулями, а я использовал гвозди». Его адвокат месье Лабори, которому было предопределено участвовать в еще более



драматическом и крупном деле, защищал своего подопечного, ссылаясь на *un exaspéré de la misère*<sup>[21]</sup>. Во всем виновен парламент, говорил Лабори, который ничего не сделал для того, чтобы «ликвидировать бедность одной трети населения страны». Несмотря на аргументы Лабори, Вайяна приговорили к смертной казни – первый случай в XIX веке, когда приговорили к смерти обвиняемого, не совершившего убийство. Судебный процесс и вынесение приговора заняли один день. Почти сразу же президент Сади Карно начал получать петиции о прощении, в их числе было и послание, подписанное шестьюдесятью депутатами во главе с аббатом Лемиром, раненным бомбой Вайяна. Социалист Жюль Бретон предрек: если Карно «хладнокровно одобрит смертную казнь, то ни один человек во Франции не будет сожалеть, если однажды и он станет жертвой бомбы». Из-за этого заявления, по сути подстрекавшего к убийству, социалист провел два года в тюрьме, и оно тоже войдет в историю странных и зловещих совпадений.

Правительство не простило наглой агрессии одиночки-анархиста против государства. Карно отказался смягчить наказание, и 5 февраля 1894 года Вайяна казнили после того, как он успел крикнуть: «Смерть буржуазному обществу! Да здравствует анархия!»

Последовала череда новых убийств. Через семь дней после казни Вайяна на гильотине он был отомщен, и эта месть была самой безумной и злодейской. На этот раз бомба предназначалась не для служителя закона, государства или частной собственности, от взрыва пострадали простые люди. Она взорвалась в кафе «Терминус» на вокзале Сен-Лазар посреди, как написала газета «Журналь», «мирных, обыкновенных граждан, пришедших выпить пива перед сном». Один человек погиб и двадцать получили ранения разной степени тяжести. Как потом выяснилось, преступник действовал, руководствуясь логикой сумасшедшего. Но прежде чем он предстал перед судом, на улицах Парижа взорвалось еще несколько бомб. Взрывом на улице Сен-Жак был убит прохожий, бомба, взорвавшаяся на улице Фобур Сен-Жермен, никому не причинила вреда, а третья бомба взорвалась в кармане Жана Повеля, бельгийского анархиста, когда он входил в церковь Мадлен. Он погиб, детонировав еще две бомбы. 4 апреля 1894 года четвертая бомба взорвалась в фешенебельном кафе «Фуайо». Никто не был убит, но один из посетителей лишился глаза: им оказался

Лоран Тайад, тот самый Тайад, который четыре месяца назад пренебрежительно говорил о жертвах «прекрасного поступка».

Страхи в городе нарастали. Когда в театре во время спектакля что-то грохнуло за кулисами, половина зрителей вскочили с мест и помчались к выходам, крича: “*Les Anarchistes! Une bombe!*” Газеты дружно печатали ежедневные сводки под рубрикой “*La Dynamite*”. Когда 27 апреля начался процесс по поводу взрыва бомбы в кафе «Терминус», многие поняли, как легко анархистская идея абстрактной любви к человечеству трансформируется в ненависть к людям.

Обвиняемым оказался тот самый Эмиль Анри, которого подозревали в подбрасывании бомбы в офис компании «Сосьете де мин де Кармо», от взрыва которой погибли шестеро полицейских. Теперь он признался в причастности и к другим убийствам, хотя доказательств найти уже было невозможно. Он утверждал, что взорвал бомбу в кафе «Терминус», мстя за Вайяна и намереваясь «совершить как можно больше убийств»: «Я насчитал пятнадцать убитых и двадцать раненых». Действительно, полиция нашла в его комнате материалов, достаточных для изготовления двенадцати и даже пятнадцати бомб. Бесстрастность, интеллектуальность и презрительное отношение к человеку кое-кому дали повод назвать Анри «святым Юстом анархизма». Он был блистательным студентом, учась в престижном институте Эколь Политекник, откуда его отчислили за оскорбление профессора, и ему пришлось зарабатывать на жизнь, помогая торговцу мануфактурой и получая за это 120 франков в месяц. В двадцать два года он, подобно Беркману, был и самым образованным и знающим теорию анархизма террористом, и самым искренним.

В тюрьме Анри пространно описал цинизм и несправедливость буржуазного общества, свое отношение к анархизму, объяснив, что «приверженность к ценностям индивидуальной инициативы» не позволяла ему примкнуть к «стадным социалистам». Он продемонстрировал превосходное знание доктрин анархизма, сочинений Кропоткина, Реклю, Грера, Фора и других теоретиков, но особо отметил, что анархисты не должны быть «слепыми последователями», бездумно принимающими на веру их концепции.

Зловеще он объяснил, почему избрал для взрыва бомбы именно кафе «Терминус». Там находились, заявил Анри, «все те, кто доволен

существующим порядком, все сообщники и слуги Собственности и Государства... вся масса добропорядочных мелких буржуев, зарабатывающих 300–500 франков в месяц, еще более реакционных, чем их хозяева, ненавидящих бедного человека и всегда занимающих сторону сильного». «Они – клиентура «Терминуса» и других заведений такого рода. Теперь вы знаете, почему я нанес удар именно там».

На процессе, когда судья попрекнул его тем, что он подвергал опасности жизни ни в чем не повинных людей, Анри надменно произнес фразу, которую можно было бы начертать на знамени анархизма: «Не бывает невинных буржуев».

О лидерах анархизма он говорил примерно следующее: те, кто «чурается пропаганды действием», подобно Кропоткину и Малатесте в случае с Равашолем, и «пытается размежевать теорию и террористов, расписываются в своей трусости... Мы, приговаривающие к смерти, знаем, как это делать... Моя отрубленная вами голова не будет последней. Вы вешали в Чикаго, отрубали головы в Германии, душили на гарrote в Хересе, расстреливали в Барселоне, отправляли людей на гильотину в Париже, но есть одна вещь, которую вы не сможете убить. Это анархизм... Это силовое восстание против существующего порядка. Оно убьет вас».

Сам Анри принял смерть стойко. Даже язвительный Клемансо, присутствовавший на казни 21 мая 1894 года, был потрясен и даже встревожен<sup>51</sup>. Ему показалось, что «выражение лица Анри было как у страдающего Иисуса Христа, ужасно бледное, непреклонное, стремящееся придать интеллектуальную горделивость своей детской фигуре». Осужденный шел быстро и, несмотря на кандалы, легко поднялся по ступеням эшафота, посмотрел вокруг и крикнул хриплым и сдавленным голосом: «Мужайтесь, товарищи! *Vive l'anarchie!*» Обращение общества с Анри казалось Клемансо в тот момент «свирепо жестоким».

После небольшого перерыва анархизм нанес новый удар, последний во Франции, но самый серьезный, если судить по рангу его жертвы, хотя исполнителем была мелкая сошка. 24 июня 1894 года в Лионе президента Сади Карно во время визита на выставку заколол ножом молодой итальянский рабочий с фанатичным криком "*Vive la révolution! Vive l'anarchie!*" Президент ехал в открытом экипаже сквозь

толпы людей, выстроившихся вдоль улиц, и дал указание эскорту не запрещать народу подходить к карете. Когда молодой человек, держа в руке свернутую газету, выскочил из переднего ряда, охрана не остановила его, думая, что в газете завернут букет цветов для президента. Но в ней был скрыт кинжал, которым молодой человек поразил Карно, воткнув его на шесть дюймов в брюшную полость. Президент скончался через три часа. Жена на следующий день получила письмо, отправленное до покушения и адресованное «вдове Карно» и содержавшее фотографию Равашоля с надписью «Он отомщен».

Убийцей оказался подмастерье пекаря, его звали Санто Касерио, и ему еще не исполнился двадцать один год. Он родился в Италии и познакомился с анархистами в Милане, рассаднике политического неповиновения. В восемнадцать лет он уже был осужден за распространение анархистской литературы среди солдат. Следуя примеру других смутьянов, Касерио отправился в Швейцарию, а затем в Сет на юге Франции, где нашел работу и сблизился с группой местных анархистов, называвших себя *Les Coeurs de Chêne* («Сердца дуба»). Он долго размышлял над судьбой Вайяна и прочитал в газетах об отказе президента смягчить приговор и его предстоящей поездке в Лион. Касерио сразу же решил совершить «великое деяние». Он попросил дать ему отпуск и двадцать франков, которые ему причитались, купил кинжал и поездом отправился в Лион. Затем он смешался с толпой и стал поджидать свою жертву.

Оказавшись в руках правосудия, Касерио вел себя послушно, спокойно и все время улыбался. Его бледное, простоватое и доброе лицо показалось одному журналисту «белой маской мучного Пьеро с двумя маленькими светло-голубыми, неподвижными, словно приклеенными глазами. Над верхней губой виднелась тонкая полоска усов, которые, казалось, появились лишь недавно». И на допросах, и на суде он сохранял безмятежность, рационально рассуждал о принципах анархизма, которым, по всей видимости, был одержим. Свой поступок охарактеризовал как преднамеренный акт «пропаганды деянием». Эмоции отражались на его лице только тогда, когда речь заходила о матери, к которой он, очевидно, испытывал искреннюю привязанность и регулярно писал ей письма. Когда тюремщик пришел будить его 15 августа, в день казни, он всплакнул, но потом не издал

ни одного звука, пока его вели на гильотину. Когда его голову положили на плаху, он прошептал несколько слов. Одни считают, что он произнес традиционные “*Vive l’anarchie*”, другие перевели его слова как *A voeni nen*, что на ломбардском диалекте означает «Я не хочу этого».

После убийства главы государства анархизм во Франции, столкнувшись с новой политической реальностью и не имея опоры в рабочем классе, капитулировал. Вначале могло показаться, что у анархистов появились благоприятные возможности для пропаганды или притязаний на звание мучеников. Правительство пошло в наступление и 6 августа устроило массовый судебный процесс над тридцатью наиболее известными анархистами<sup>52</sup>, чтобы доказать связь между террористами и теоретиками. Поскольку самые одиозные террористы уже были казнены, у правительства оставались трое малозначительных персонажей, которых можно было представить самое большее «грабителями», но никак не «равашолями». Из лидеров Элизе Реклю покинул страну, но на скамью подсудимых удалось посадить его племянника Поля Реклю, Жана Грава, Себастьяна Фора и еще несколько человек. Поскольку у анархистов не имелось партии или организации, перед обвинением встала проблема, аналогичная отсутствию *corpus delicti*<sup>[22]</sup>. Оно нашло выход из положения, придумав «секту», ставившую своей целью низвержение государства посредством пропаганды, поощрявшей кражи, грабеж, поджоги и убийства, «в чем каждый член секты принимал участие согласно темпераменту и возможностям». Опасаясь ораторского мастерства Фора, суд предоставлял слово в основном обвинению, а когда позволял высказаться подсудимым, то сожалел об этом. Обращаясь к Феликсу Фенеону, одному из подсудимых, известному критику и поборнику импрессионизма, председательствующий судья сказал: «Вас видели, как вы беседовали с анархистом у фонарного столба».

«Ваша честь, – ответил Фенеон, – не могли бы вы уточнить, у какого фонарного столба?»

Обвинение не представило убедительных доказательств, и присяжные оправдали всех подсудимых, кроме троих «грабителей», которым дали различные тюремные сроки. Французский здравый смысл вновь оказался на высоте.

Вердикт присяжных лишил анархизм *cause célèbre*<sup>[23]</sup>, но главной причиной упадка стало нежелание французского рабочего класса поддержать движение, не приносящее ему никаких дивидендов. Бесплодность террора уже поняли такие вожди анархизма, как Кропоткин, Малатеста, Реклю и даже Иоганн Мост. В поисках путей свержения государства они спотыкались об один и тот же парадокс: революция невозможна без организации, дисциплины и управления, анархизм же отвергал все это.

Анархистам не разрешили участвовать во Втором социалистическом интернационале в Лондоне в 1896 году из-за отказа признавать необходимость в политическом действии, и они созвали свой конгресс в Париже в 1900 году. Они попытались найти приемлемую для всех форму объединения, но все предложения отвергались Жаном Гравом. На конгрессе в Амстердаме в 1907 году было создано международное бюро, вскоре захиревшее и прекратившее свое существование.

В непризнании анархистами любых форм власти все же содержался определенный здравый смысл и понимание реальности. Как сказал однажды Себастьян Фор, получивший иезуитское образование, «всякая революция заканчивается порождением нового правящего класса»<sup>53</sup>.

Реалисты другого толка поняли действительные потребности рабочего класса. Ему был нужен восьмичасовой рабочий день, а не взрыв бомбы в парламенте и не покушение на президента. Анархисты пропагандой деяниями помогли рабочим осознать необходимость борьбы за свои права. Вот почему Равашоль стал народным героем, о котором пели песни на улицах. После расправы над коммунарами французский пролетариат был в прострации, и акции анархистов вывели его из состояния апатии. Пролетарии осознали, что их сила в коллективном действии, и уже в 1895 году была создана *Confédération Générale du Travail*, Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) – объединение французских трудящихся.

Анархисты тоже все больше вовлекались в профсоюзы, привнося в рабочее движение свои доктрины. В результате слияния анархистской теории и тред-юнионистской практики возник синдикализм (*syndicat* – французский профсоюз). Именно в этом формате французский анархизм продолжал действовать в 1895–1914

годах, хотя сторонники «чистого» анархизма вроде Жана Грера от него отмежевались.

Главным средством борьбы стала всеобщая забастовка, а лидером и пророком – Жорж Сорель. Пропаганду деянием сменил лозунг всеобщей забастовки. Для свержения капитализма, доказывал Сорель, рабочий класс должен развить в себе силу воли. Насилие – необходимое средство воспитания и упрочения революционного духа. Синдикалисты по-прежнему ненавидели государство и всех, кто, подобно социалистам, демонстрировал готовность сотрудничать с ним. Они, как и предшественники-анархисты, не признавали половинчатых реформаторских мер. Стачка, всеобщая забастовка, саботаж – только такими методами «прямого действия» можно добиться своих целей. Дух насилия сохранился, но оно приобрело другие формы.

В Испании в то же время кровавая вакханалия продолжалась. 7 июня 1896 года, в день празднования Тела Христова, кто-то бросил бомбу в процессию<sup>54</sup>, возглавлявшуюся епископом и командующим гарнизоном Барселоны, когда она входила в церковь. Представители церкви и армии, для которых и предназначалась бомба, уцелели, но погибли одиннадцать прихожан и сорок получили ранения, а по жестокости и кровавости эта акция была сравнима с массовым убийством в Оперном театре три года назад. Анархисты преуспели в том, чтобы посеять панику в городе, хотя им вряд ли удалось застрашать премьера Антонио Кановаса дель Кастильо, который был человеком непугливым.

В 1895 году Кановас в пятый раз стал премьер-министром<sup>55</sup>, и он был, как писали тогда, «простого происхождения», сам всего достиг, занимался инженерией, журналистикой, дипломатией, избирался в кортесы, возглавив затем консервативную партию. Он был вдохновителем реставрации монархии в 1874 году. Помимо политики, Кановас увлекался сочинением стихов, писал литературные критические эссе, составил жизнеописание Кальдерона, десяти томную историю Испании и был еще президентом Королевской академии истории. Он коллекционировал живопись, редкий фарфор, трости и старые монеты, жил в роскошном дворце в Мадриде, одевался только во все черное и, подобно Фрику, презирал украшения, которые «опошляют индивидуальность». Одни считали его реакционером,

другие – способным государственным деятелем, но все признавали, что только он мог сохранять единство консервативной партии и удерживать Кубу для Испании. Хотя Кановас уже сформулировал план кубинской автономии, он же отправил генерала Вейлера подавлять *insurrectos*, и его твердость и решительность, в отличие от либеральных предшественников, давали свои плоды. К анархистам он был беспощаден.

По его указанию начались массовые аресты. В тюрьму заточили более четырехсот человек, правительство сажало в темницу всех врагов режима, будь то анархисты, антиклерикалы или каталонские республиканцы. Снова заполнились камеры крепости Монжуик. Генеральный прокурор потребовал смертной казни для двадцати восьми из восьмидесяти четырех обвиняемых в совершении преступления, и они должны были предстать перед военным трибуналом. Это предусматривалось законом, принятым кортесами после взрыва в Оперном театре. В соответствии с этим законом все преступления, совершенные с применением взрывчатки, подлежали рассмотрению военным трибуналом, а лица, совершившие их, приговаривались к смертной казни. Пожизненным тюремным заключением наказывалась любая пропаганда насилия – устная, письменная или графическая. Суд проходил за крепостными стенами тюрьмы Монжуик, и присутствовать на нем разрешалось только военному персоналу. Восемьерых осужденных приговорили к смертной казни, четверо из них получили отсрочку, а остальных казнили сразу же. Семьдесят шесть человек осудили на различные тюремные сроки – от восьми до девятнадцати лет, из них шестьдесят одного заключенного отправили в исправительную колонию Рио-де-Оро, испанский Девилз-Айленд <sup>[24]</sup>.

Тем временем об истязаниях заключенных в тюрьме Монжуик, осужденных в 1893 году, стало известно за пределами Испании. О них рассказал в статье, опубликованной во Франции в 1897 году под заголовком *Les Inquisiteurs de l'Espagne* <sup>[25]</sup>, Таррида дель Мармол, представитель знатного каталонского рода, либерал, директор Политехнической академии в Барселоне, сам подвергшийся арестам. Ужаснула общественность и приведенная им посмертная мольба о помощи, содержащаяся в записке заключенного и адресованная «Всем людям доброй воли на земле»<sup>56</sup>. В ней рассказывалось о том,



как узника ночью выводили на скалу, нависшую над морем, где стражники заряжали ружья и лейтенант угрожал расстрелять его, если он не скажет то, что от него требуют. Когда он отказывался, ему выворачивали гениталии, и эта пытка повторялась в камере, где его подвешивали на дверь на десять часов. Его также заставляли безостановочно ходить по пять дней: «В конце концов я не выдержал, ослаб, смалодушничал и подписал признание, которое они от меня требовали».

В августе 1897 года премьер Кановас отправился на отдых в Санта-Агуэду, бальнеологический курорт в горах басков. Там он обратил внимание на белокурого и благовоспитанного парня, остановившегося в том же отеле, говорившего по-испански с итальянским акцентом и несколько раз вежливо его поприветствовавшего. Заинтересовавшись, Кановас попросил секретаря выяснить, кто этот молодой человек. Оказалось, что в отеле он зарегистрирован как корреспондент итальянской газеты «Иль пополо». Однажды утром, когда премьер-министр сидел с супругой на террасе, читая газету, внезапно появился итальянец, вынул из кармана револьвер и с расстояния трех ярдов трижды выстрелил в Кановаса, убив его наповал. Мадам Кановас в гневе вскочила и ударила веером по лицу молодого человека, все еще державшего в руке револьвер, вскричав: «Убийца! Душегуб!»

«Я не убийца, – ответил итальянец суровым тоном. – Я мститель и мщу за своих товарищей-анархистов. От вас мне ничего не надо, мадам».

На допросах выяснилось, что его настоящее имя Микеле Анджиоллило<sup>57</sup>. В итальянской армии его трижды направляли в штрафной батальон за неповиновение. После армии он стал печатником; эта профессия традиционно ассоциировалась с анархизмом в силу двух обстоятельств: либо анархисты нуждались в печатном слове, либо печатное слово пробуждало анархистские помыслы. Вскоре Анджиоллило посадили в тюрьму на восемнадцать месяцев за печатание подрывной литературы. В 1895 году, предприняв с друзьями-анархистами безуспешную попытку наладить подпольную типографию в Марселе, он отправился в Барселону и уехал оттуда после взрыва в день празднования Тела Христова. Микеле побывал в Брюсселе и съездил в Лондон, где купил револьвер, уже поставив себе

цель убить испанского премьера «за массовые пытки и казни анархистов». Он вернулся в Испанию, безрезультатно выслеживал Кановаса в Мадриде и последовал за ним в Санта-Агуэду, где и настиг свою жертву. Через неделю его судил военный трибунал. Он хотел воспользоваться судебным процессом для пропаганды анархизма и кричал «Дайте мне высказаться!», но ему так и не позволили выступить даже с последним словом. Его казнили на гарроте, он отказался от религиозного обряда и до конца сохранял исключительное хладнокровие.

В Европе пресса истерически призывала задушить «бешеных собак» анархизма. Об утрате Кановаса писали как о национальной трагедии для Испании, а журнал «Нейшн» в Нью-Йорке предрек ей «национальную катастрофу». В действительности его смерть стала лишь одним из тех политических факторов, которые влияют на ход событий. После его ухода из жизни власть перешла к либералам, которые вскоре стушевались перед грозными предупреждениями по поводу действий «мясника» Вейлера, инициированными Херстом и раздававшимися из Соединенных Штатов. Генерала Вейлера убрали, когда он уже почти навел порядок, и на Кубе вновь вспыхнул мятеж, предоставивший американским империалистам предлог для развязывания самой сфабрикованной войны столетия. Если бы Кановас был жив, то такой предлог вряд ли бы появился.

Его смерть не была беспричинной, но для двух из трех, случившихся позже, невозможно найти разумных объяснений. Их можно объяснить лишь влиянием отчасти анархистской пропаганды, давшей подсказку, и отчасти повышенной эмоциональной реакции общественности на деяния анархистов, действующей возбуждающе на неуравновешенных людей.

Первая жертва встретила свою смерть 10 сентября 1898 года на набережной Монблан в Женеве. Здесь столкнулись лицом к лицу два человека, настолько разные и настолько далекие друг от друга в реальном мире, что их могла свести вместе только сверхъестественная, фатальная случайность, подобная молнии, в грозу убивающей ребенка. По воле рока на набережной встретились Елизавета, императрица Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Луиджи Лукени, итальянский рабочий<sup>58</sup>.

Самое прелестное и меланхоличное существо королевских кровей, вышедшее замуж и коронованное в шестнадцать лет, в возрасте шестидесяти одного года все еще не могло найти свое место в жизни, тщетно пытаясь убежать от самой себя. Елизавета покоряла всех своей необыкновенной красотой, чудесными золотисто-каштановыми волосами, искрометностью и грациозной, плавной походкой, но это «олицетворение женского очарования» страдало головной болью, из-за чего она никогда не появлялась на публике без веера. «Сказочной феей, – называла ее Кармен Сильва<sup>[26]</sup>, королева Румынии, – стремящейся улететь на невидимых крыльях всякий раз, когда мир для нее становится невыносимым». Она писала грустные романтические стихи и видела, как ее сын покончил жизнь самоубийством. Ее двоюродный брат король Баварский Людвиг утонул в безумии; Максимилиана, брата мужа, расстреляли в Мексике; сестра погибла при пожаре на благотворительном базаре в Париже. «Мне так тягостно жить, – писала она дочери, – что иногда я испытываю от этого физическую боль и мне хочется поскорее умереть». Она уезжала в Англию или Ирландию, неделями пропадая на охоте и умышленно выбирая во время погони на лошадях за дичью самые высокие изгороди. В Вене Елизавета брала уроки самого рискованного циркового наездничества. Иногда она пыталась заморить себя полуголодной диетой, ограничиваясь одним апельсином или стаканом молока в день. Когда здоровье уже не позволяло выезжать на охоту, она изводила себя пешими прогулками, продолжавшимися шесть-восемь часов и в таком темпе, что никто не выдерживал и сходил с дистанции. Ясно, чего она добивалась: «Я жажду смерти», – писала она дочери за четыре месяца до поездки в Женеву.

9 сентября Елизавета побывала на вилле баронессы Адольф де Ротшильд, располагавшейся у озера, в волшебном мире с парком, где росли ливанские кедры и обитали прирученные дикобразы с острова Явы и яркие разноцветные птицы. Утром следующего дня, когда она выходила из отеля, намереваясь совершить прогулку на пароходе по озеру, на улице ее поджидал итальянец Лукени.

Он приехал из Лозанны, где им уже интересовалась полиция. Санитар больницы, куда его привезли с травмой, полученной на стройке, обнаружил среди вещей блокнот с анархистскими песнями, рисунком дубинки и надписями «Анархия» и «Для Умберто I».

Швейцарская полиция, привыкшая иметь дело с изгоями, радикалами и эмигрантами разного рода, не придавала особого значения этим уликам, не арестовала его и не начала расследование.

Лукени рассказал санитару, что его мать, забеременев в восемнадцать лет от хозяина, уехала рожать в многомиллионный Париж, где никто не обращал никакого внимания на подобные эксцессы. Затем она вернулась в Италию, отдала ребенка в богадельню Пармы и скрылась в Америке.

В девять лет мальчишка устроился чернорабочим на железной дороге. Позднее, когда его призвали в кавалерию итальянской армии, он неплохо проявил себя и дослужился до чина капрала. После армии, не имея ни денег, ни перспектив, он поступил слугой к своему бывшему командиру, принцу д'Арагона. Когда хозяин отказался повысить жалованье, он ушел от него. Впоследствии Лукени попросился обратно, но князь, помня о непослушании, не взял его на службу. Разобиженный и безработный, Лукени принялся читать *L'Agitatore*, *Il Socialista*, *Avanti* и другие революционные газеты и памфлеты, в то время дружно поносившие прогнившее буржуазное общество на примере дела Дрейфуса. Не хватает Самсона, утверждали агитаторы, который бы смел это государство одним ударом. Лукени, уже перебравшийся в Лозанну, посылал вырезки друзьям по бывшему кавалерийскому полку. Однажды в связи с убийством рабочего, погибшего в драке, он сказал приятелю: «О, как бы я хотел убить кого-нибудь. Но это должна быть очень важная персона, чтобы написали газеты». Он посещал собрания итальянских анархистов, горячо обсуждавших планы свержения государства, символом которого был Умберто, король Италии.

Швейцарские газеты сообщили о предстоящем визите в Женеву императрицы Елизаветы. Лукени попытался купить стилет, но не мог собрать для этого двенадцать франков. Он заточил старый напильник и насадил на ручку, сделанную из полена. Когда императрица и ее фрейлина графиня Стараи шли по набережной Монблан, на их пути уже стоял Лукени. Он подскочил к ним с поднятой рукой, заглянул под зонтик, чтобы посмотреть в лицо императрицы, и ударил ее заточкой прямо в сердце. Елизавета скончалась через четыре часа. Лукени, схваченного двумя жандармами, сфотографировал какой-то прохожий. На снимке он выглядит веселым, самодовольным и даже

ухмыляющимся. В полицейском участке он охотно рассказал обо всех деталях подготовки покушения, а узнав о смерти императрицы, выразил «восторг». Лукени настойчиво твердил, что он анархист, действовал по своей воле и не принадлежит ни к какой организации или партии. Когда его спросили, почему он убил именно императрицу, Лукени ответил: «Это война против богатых и знатных... Следующим будет Умберто».

Из тюрьмы он посылал письма президенту Швейцарии и в газеты, предупреждая о неминуемом крахе государства и подписывая их: «Луиджи Лукени, анархист и самый опасный из них». Принцессе д'Арагона он сообщил: «Мое дело такое же важное, как и суд над Дрейфусом». Но за дурацкой мегаломанией скрывалась и идейность анархиста. Лукени писал принцессе: за двадцать пять лет жизни в этом мире он «никогда еще не чувствовал в себе такую готовность, как сейчас, доказать, что недалеко то время, когда новое солнце засияет над всеми людьми, равными и свободными».

В Женеве не осуждали на смертную казнь, и Лукени приговорили к пожизненному тюремному заключению. Через двенадцать лет после ссоры с надзирателем его посадили в одиночную камеру, где он повесился на ремне.

После убийства австрийской императрицы очередной жертвой мог стать кайзер Вильгельм II, самая заметная монаршая фигура того времени, совершавшая к тому же широко разрекламированное путешествие в Иерусалим. Полиция отловила всех известных анархистов на этом маршруте, и вся международная общественность взволновалась, когда в Александрии арестовали итальянского анархиста, имевшего при себе две бомбы, билет до Хайфы и явно затевавшего покушение на кайзера<sup>59</sup>. Германских анархистов Вильгельм мог не опасаться. Двое террористов, попытавшихся убить его деда, были единственными и последними персонажами такого рода. Другие анархисты были преимущественно теоретиками, исключая, конечно, тех, кто уехал в Америку. Немцы не годились в анархисты, как презрительно писал Бакунин<sup>60</sup>, поскольку «они хотели быть одновременно и господами и рабами, а анархизм не признавал ни то, ни другое».

Убийцы и президента Франции, и премьера Испании, и австрийской императрицы, и несостоявшийся убийца кайзера – все

они были итальянцами. В самой Италии кузнец по имени Пьетро Аччарито в 1897 году попытался лишить жизни короля Умберто, кинувшись к его карете с кинжалом по примеру Касерио, напавшего на президента Карно. Король, более искушенный в таких делах, отскочил, увернувшись от удара, сказал эскорту *“Sono gli incerti del mestiere”* («Таковы издержки профессии») и повелел кучеру ехать дальше. Аччарито сообщил потом полиции, что предпочел бы «заколоть эту старую обезьяну» папу Льва XIII, но не мог проникнуть в Ватикан, и ему ничего не оставалось, как напасть на монархию, являющуюся не меньшим злом, чем папство.

Ненависть низших классов к законопослушному обществу явно нарастала, и его беззащитность становилась все более очевидной. Полиция, всегда подозревавшая «заговор», арестовала полдюжины предполагаемых сообщников Аччарито, но не нашла никаких доказательств их связи с ним. Легче раскрыть заговор группы или партии, для этого и существуют информаторы. Но как предотвратить внезапные нападения террористов-одиночек?

Настолько насущной оказалась проблема, что итальянское правительство в ноябре 1898 года созвало международную конференцию полиции и сотрудников министерств внутренних дел<sup>61</sup>. Секретные заседания длились целый месяц, и они дали лишь один приятный результат: Бельгия, Швейцария и Англия согласились выдавать подозреваемых анархистов странам, гражданами которых они являются.

В следующем, 1899 году в Италии вспыхнули хлебные бунты, вызванные недовольством налогами и пошлинами на зерно. Анархисты получили в руки еще одно доказательство войны государства против бедноты. Мятежи охватили и север и юг страны, несмотря на жесткие репрессии и кровавые стычки с войсками. В Милане народ опрокидывал трамваи, строил баррикады, забрасывал полицию камнями, женщины преграждали путь поездам с войсками, в Тоскане было введено военное положение. Откликаясь на призыв к революции, вернулись тысячи итальянских рабочих из Испании, Швейцарии и Юга Франции. Взять ситуацию под контроль удалось только после введения в Милан половины армейских корпусов. Власти закрыли все социалистические и революционные газеты, временно

приостановили деятельность парламента. Порядок был восстановлен, но лишь кажущийся.

Безобидный в общем-то монарх, которому пришлось заниматься наведением порядка, обладал внушительными белыми усами, незаурядной отвагой и добронравием, но не очень подходил для царствования, как и все представители Савойского дома. Умберто увлекался лошадьми, охотой, совершенно не интересовался искусствами, предоставив жене заботиться о них, и строго придерживался регламента. Он поднимался в шесть утра, осматривал владения (приносившие немалый доход, который помещался в Английский банк), обходил конюшни и после обеда в одно и то же время садился в карету и ехал по одному и тому же пути через сады Боргезе. Каждый вечер в одно и то же время он навещал леди, к которой сохранял привязанность уже тридцать лет. 29 июля 1900 года Умберто, сидя в карете, вручал призы атлетам в Монце, летней резиденции неподалеку от Милана, когда к нему неожиданно подошел незнакомец и трижды выстрелил с расстояния двух ярдов. Король посмотрел на него укоризненно, склонил голову на плечо адъютанта, прошептал возничему *“Avanti!”* и испустил дух.

Убийцу, «все еще державшего в руке дымящийся револьвер и не скрывавшего своего ликования», задержали. Им оказался Гаэтано Бреши, тридцатилетний анархист, ткач, приехавший из Патерсона штата Нью-Джерси в Италию специально для того, чтобы застрелить короля. Его акцию можно считать единственным примером пропаганды деянием, совершенным в результате заговора, хотя и не доказанного<sup>62</sup>.

Патерсон был центром сосредоточения итальянцев и анархистов. Конечно, они устраивали сходки, на которых обсуждали «деяния» с целью свержения угнетателей. Без сомнения, рассматривалась и кандидатура короля Италии, однако нет подтверждений появившимся после покушения домыслам, будто его приговорили к смерти, как и догадкам, будто дискуссии подтолкнули Бреши на преступление. Образ заговорщиков, бросающих в подвале жребий, кому вершить акт правосудия или возмездия, будоражил воображение журналистов.

Один из таких репортеров написал, что Бреши подпал под влияние Малатесты, «вожака и вдохновителя всех заговоров, которые потрясли и ужаснули мир». Он утверждал, будто видели, как

Малатеста спокойно сидел и что-то пил в итальянском баре в Патерсоне. Однако полиция не нашла свидетельств, которые доказывали бы, что Бреши когда-либо встречался с Малатестой. Но кто-то же ему дал или он сам приобрел револьвер и тренировался в стрельбе в лесу, пока жена с трехлетней дочкой собирала поблизости цветы. И кто-то снабдил его или он сам раздобыл деньги для покупки билета третьего класса на пароход компании «Френч лайн» до Гавра и на поездку из Гавра в Италию.

«Он был не настолько безумным, чтобы думать, будто после его акции сменится власть, – говорил репортеру Педро Эстев, редактор анархистского журнала в Патерсоне. – Но как еще вы дадите народу Италии знать о существовании такой силы, как анархизм?» Эстев, дружелюбный и интеллигентный человек, у которого на полках рядом стояли сочинения Эмерсона и Жана Грера, охотно согласился с предположением о том, что кто-нибудь из его читателей все же может подняться и пойти выражать протест «прямым действием».

Товарищи Бреши послали ему в тюрьму поздравительную телеграмму и носили значки с его изображением на отворотах пиджаков. На собрании в Патерсоне, в котором участвовало более тысячи человек, они утверждали, что не было никакого заговора. «Нам нет нужды устраивать заговоры или заниматься болтовней, – заявил Эстев, основной оратор. – Если ты анархист, то знаешь, что надо делать, и поступаешь так, как считаешь нужным».

Бреши постигла участь всех других приверженцев и исполнителей идеи. В Италии запретили смертную казнь, и его приговорили к пожизненному заключению с пребыванием первых семи лет в одиночной камере. Он не выдержал и года, покончив жизнь самоубийством.

В Соединенных Штатах газетные описания убийства короля Умберто читал и перечитывал американец польского происхождения по имени Леон Чолгош. Газетную вырезку он берег как драгоценность и брал с собой в постель каждый вечер, ложась спать. Ему было двадцать восемь лет, он был небольшого роста, хрупкого телосложения, и его светло-голубые глаза обладали какой-то особенной неподвижностью. Он родился в Соединенных Штатах вскоре после приезда в Америку отца с матерью, у него было еще пять братьев и две сестры, и все они жили на маленькой ферме в Огайо. По



словам отца, он «выглядел более задумчивым, чем большинство детей», много читал, и в семье его считали интеллектуалом. В 1893 году, когда ему исполнилось двадцать лет, во время забастовки его уволили с работы на проволочной фабрике, и после этого, по словам брата, он «стал тихим и безрадостным». Молитвы и проповеди местного приходского священника не действовали, он порвал с католической церковью, предался чтению памфлетов, издававшихся «Вольнодумцами» (*Free Thinkers*), и пристрастился к политическому радикализму. Чолгош примкнул к кружку польских рабочих, принимал участие в обсуждении социализма и анархизма, говорили они, как он потом признавал, и «о президентах, отзываясь о них не очень хорошо».

В 1898 году его поразил какой-то недуг, и Чолгош ходил унылый и мрачный. Он забросил дела, замкнулся дома, брал с собой еду наверх в спальню, читал чикагскую анархистскую газету «Свободное общество» и утопию Беллами «Оглядываясь назад» и все время о чем-то думал. Иногда он выезжал в Чикаго и Кливленд на собрания анархистов, слушал речи Эммы Гольдман, беседовал с анархистом Эмилем Шиллингом, рассказав ему, что его беспокоит поведение американской армии, которая освободила Филиппины от испанцев и теперь воюет с филиппинцами. «Это не согласуется с тем, что нам толковали в школе о роли нашего флага», – сказал он Шиллингу.

Поскольку флаги анархистами не почитались, Шиллинг заподозрил неладное и опубликовал в газете «Свободное общество» предостережение: странный поляк может быть *agent provocateur*. Предупреждение появилось 1 сентября 1901 года, и оно оказалось ложным. Через пять дней Чолгош возник в Буффало и, стоя в очереди за рукопожатием на Панамериканской выставке, застрелил президента Мак-Кинли. Президент умер через восемь дней, и его место занял Теодор Рузвельт. Таким образом, анархист с наименьшим уровнем идейной подготовки совершил самое громкое деяние.

«Я убил президента Мак-Кинли, – написал Чолгош в признании, – выполнив свой долг. Он был врагом хороших людей, трудящихся». Чолгош рассказал репортерам, что слушал лекцию Эммы Гольдман, которая говорила, что «надо истребить всех правителей... и у меня голова разрывалась от боли, когда я думал об этом». И потом добавил: «Я не считаю, что нам нужны правители. Их надо убивать... Я знаю других людей, которые думают точно так же, что правильно убить

президента и не иметь никаких правителей... Я не верю в выборы, они противоречат моим принципам. Я анархист. Я не верю в браки. Я верю в свободную любовь».

Анархистская идея лучшей жизни отсутствовала в миропонимании Чолгоша. Как и учеником пекаря Касерио, заколовшим президента Франции, им тоже завладела бредовая иллюзия, будто и на него возложена миссия убить главу государства. После суда и казни Чолгоша 29 октября на электрическом стуле к такому выводу пришел Уолтер Чэннинг, профессор-психиатр из Тафтса, сын поэта Уильяма Эллери Чэннинга<sup>63</sup>. Его не удовлетворил официальный отчет, и он провел собственное исследование, заключив, что у Чолгоша «неуклонно развивалась *dementia praecox*<sup>[27]</sup>, психическое расстройство, описанное французским психиатром Эммануэлем Режи в 1890 году. Согласно теории доктора Режи, психическому поведению цареубийцы свойственны «обдуманность и одиночество»: «Какими бы разумными доводами он ни руководствуется, они уступают место болезненной одержимости мыслью о призвании совершить великое деяние, отдать жизнь за справедливое дело и убить монарха или иную высочайшую особу во имя Бога, страны, свободы, анархии или какой-нибудь другой аналогичной идеи». Он действует предумышленно и вдохновенно. Он действует не внезапно и слепо, а готовится к акции тщательно и исполняет ее в полном одиночестве. Он – солист. Гордящийся и собой, и своей миссией, он всегда действует днем и при скоплении народа и никогда не применяет незаметные средства вроде яда, а использует оружие, демонстрирующее акт насилия. И совершив его, он не прячется и не убегает, а выказывает гордость содеянным, жаждет известности и смерти посредством казни или самоубийства и статуса мученика.

Описание верное, но для реализации даже бредовых иллюзий необходимы побудительные мотивы, атмосфера протеста и примеры. Все это в избытке предоставлял анархизм. Могли существовать сотни потенциальных Чолгошей, серия акций, совершенных анархистами от Равашолья до Бреши, подготовила и покушение на президента Соединенных Штатов.

Возмутилась вся общественность, а она состояла не только из богатых особ, но и тех, кто имитировал состоятельность или

стремился к ней. Простой человек – мелкий буржуа, служащий, получающий зарплату, – не отделял себя от работодателей, что и рассердило Эмиля Анри, бросившего бомбу в кафе «Терминус». Он верил в то, что сама его жизнь и благосостояние зависят от собственников. Если угрожают им, значит, угрожают и ему. Его ужасает стремление анархистов уничтожить основы, на которых зиждется повседневное существование человека: государственный флаг, семья, брак, церковь, выборы, законы. Анархист превратился во всеобщего врага. Его злобный образ стал символом всего порочного и разрушительного в жизни, олицетворением, как написал профессор политологии в журнале «Харперс уикли», «царя всех анархистов, архибунтовщика Сатаны». Доктрина анархизма, предупреждал журнал «Сенчури мэгэзин», «предвещает людям больше зла, чем какая-либо другая концепция межчеловеческих отношений»<sup>64</sup>.

Новый президент, способный и проявлять понимание, и предпринимать решительные действия, и изрекать банальности, назвал анархистов обыкновенными преступниками, только более «извращенными» и «опасными». В послании конгрессу 3 декабря 1901 года Теодор Рузвельт заявил: «Анархизм – преступление против всего человечества, и все человечество должно сплотиться для борьбы против анархизма»<sup>65</sup>. Он не является продуктом социальной и политической несправедливости, и его претензии на защиту трудящихся «возмутительны». В Соединенных Штатах уважительно относятся к «честному и добросовестному труду», и перед рабочими открыты все возможности для того, чтобы проявить себя. Он потребовал расценивать собрания, устные и письменные выступления анархистов подрывными, запретить им въезд в страну, а тех, кто уже находится в Соединенных Штатах, – депортировать. Конгресс должен «изолировать всех, кто разделяет анархистские убеждения или является членом анархистских обществ», и проповедь убийства должна считаться таким же нарушением международного права, как пиратство, с тем чтобы федеральное правительство наделить полномочиями для борьбы с анархистами.

После острых дебатов и не без протеста со стороны тех, кто возражал против посягательств на традиционное право свободного въезда в страну, конгресс в 1903 году принял поправку к иммиграционному законодательству, предусматривающую лишение

этих прав лиц, проповедующих недоверие или оппозицию правительству. Поправка вызвала недовольство либералов и язвительные упоминания статуи Свободы.

Анархизм обычно предстает двуликим Янусом: с одной стороны, он ненавидит общество и государство, с другой – печется о судьбе человечества. Но широкой общественности известна лишь одна сторона медали: бомбы, взрывы, выстрелы, кинжалы. Она ничего не знает о заявке анархизма на то, чтобы вести человечество через спазмы насилия к Сладким Чертогам. Пресса, например, изобразила Малатесту злым гением анархизма, «молча и хладнокровно составляющим заговоры». Но он же, исходя из альтруистских принципов своей философии, передал по акту жильцам два дома, доставшихся ему в наследство от родителей. Публике неведомо было и о значении «пропаганды действием», поэтому ее удивляла бессмысленная жестокость акций. Они казались ей безумными, сатанинскими, совершавшимися ради удовлетворения своих прихотей. Пресса привычно называла анархистов «зверьем», «подвальными лунатиками», дегенератами, уголовниками, трусами, «фанатиками с извращенной психикой и патологическими отклонениями». «Бешеная собака – этот эпитет лучше всего подходит для характеристики анархиста», – писал «Блэквуд», солидный британский журнал <sup>66</sup>. «Как можно уберечь общество от страшного сборища безумцев и преступников?!» – восклицал Карл Шурц <sup>[28]</sup> после убийства Кановаса.

Невозможно было ответить на этот вопрос. Выдвигались самые разные предложения, включая учреждение международной исправительной колонии для анархистов, насильственную изоляцию их в психлечебницы и депортацию, правда, не объяснялось, в какую страну.

Нашелся все-таки человек, попытавшийся понять анархизм. В разгар истерии, поднявшейся в связи с убийством президента Мак-Кинли, Лиман Аббот <sup>67</sup>, редактор журнала «Аутлук» и поборник традиций Новой Англии, породивших аболиционизм, осмелился заявить: разве ненависть анархистов к правительству и закону не вызвана несправедливостью этого правительства и его законов? Пока законодатели будут обслуживать особые классы, «поощрять ограбление большинства во благо меньшинства, защищать богатых и игнорировать бедных», и анархизм будет требовать «искоренения всех

законов, видя в них инструмент несправедливости». Выступая перед приятной компанией джентльменов клуба «Девятнадцатый век», он предложил, что «атаковать анархизм надо там, где находятся источники обид». Аббот отражал уже назревавшие в обществе настроения в пользу реформ, которые проявлялись и в благотворительных инициативах Джейн Аддамс, открывшей ночлежку Халл-хаус, и в социальных разоблачениях макрейкеров.

Убийством Мак-Кинли завершилась эра анархистского насилия в западных демократиях. Даже Александр Беркман в письме Эмме Гольдман из тюремной камеры признал бесплодность индивидуальных актов насилия, когда у пролетариата отсутствует революционное сознание. Эти слова у Гольдман, которая все еще верила в правое дело анархизма, «вызвали поток слез», она была «расстроена до глубины души» и, «чувствуя себя совершенно больной», легла в постель, взяв с собой его послание. Она по-прежнему оставалась убежденной анархисткой, пресса называла ее «королевой анархии», но анархизм лишился страстности, трансформируясь, как это произошло во Франции, в более реалистическое движение – синдикализм. В Соединенных Штатах он растворился в союзе Индустриальных рабочих мира, созданном в 1905 году. Хотя, конечно, в некоторых других странах анархизм оказался более жизнестойким.

В двух странах, расположенных на обочине Европы, – в Испании и России – взрывы бомб и убийства продолжались. В 1906 году террорист бросил бомбу в короля Альфонсо и его молодую английскую невесту, когда они справляли свадьбу: от взрыва погибли двадцать человек. Общественность ужаснулась от мысли о том, сколько же накопилось в стране злобы и ненависти, чтобы совершить такой чудовищный акт. В 1909 году правящий класс доказал, что он тоже умеет ненавидеть. После неудачного бунта в Барселоне, получившего название «Кровавой недели»<sup>[29]</sup>, правительство казнило Франсиско Ферреру, радикала и антиклерикального просветителя, хотя он и не был истинным анархистом. Расправа вызвала бурные протесты во всей остальной Европе: произвол в Испании, как обычно, дал повод для шумного выражения либеральных настроений. В 1912 году испанский анархист по имени Мануэль Пардиньяс шел по пятам за премьером Хосе Каналехасом по улицам Мадрида и застрелил его,

когда тот остановился у окна книжного магазина на площади Пуэрта-дель-Соль<sup>68</sup>. Почему он это сделал? Ведь после казни Ферреры премьер-министр Каналехас уже пытался реформировать неограниченное всецеление церкви и лендлордов. Очевидно, ненависть испанских анархистов к своему обществу и государству тоже, как писал Шоу, «перехлестывала через край»<sup>69</sup>.

В России революционная традиция была давней и сильной, впитав недовольство масс безысходностью и несбыточными надеждами. Каждое новое поколение порождало бойцов для войны между мятежниками и деспотами. В 1887 году, когда были повешены анархисты Хеймаркета, в России на виселице вздернули пятерых студентов Петербургского университета за попытку покушения на царя Александра III. Их вожак Александр Ульянов утверждал на суде, что только террором можно бороться в полицейском государстве. В его семье было трое братьев и три сестры, все революционеры, и младший брат Владимир Ильич поклялся отомстить и, взяв себе имя Ленин, начал готовить революцию.

Нараставшие в девяностые годы народные волнения вселили в революционеров веру в то, что вот-вот поднимется восстание. Новый царь Николай II, оказавшийся и слабым и опасным автократом, категорически отверг призывы к конституции, назвав их «бесплодными мечтаниями», чем огорчил демократов и разозлил экстремистов. Повсеместно рабочие объявляли забастовки. Приближалось окончание столетия, и оно предвещало прощание с прошлым и пришествие «лучших времен».

Все группы протеста готовились к этому историческому моменту, крепили свои силы, разрабатывали программы. Однако между ними не было согласия, разгорался конфликт между приверженцами марксизма, настаивавшими на тщательной организации и подготовке, и сторонниками стратегии народников, полагавшихся на спонтанную революцию, которая вспыхнет в результате террористического акта. В 1897 и 1898 годах образовались два лагеря – марксистская социал-демократическая партия и народнические группы социалистов-революционеров, объединившихся в 1901 году в единую партию.

Признав необходимость организованной партии, социалисты-революционеры не были анархистами в чистом виде, но разделяли анархистские убеждения в том, что террор пробудит революцию<sup>70</sup>.

Они исходили из того, что революция вспыхнет подобно солнечным лучам, внезапно появляющимся из-за тучи, а дальше все получится само собой. Ассоциирование анархистов с выходцами из России объясняется отчасти пристрастием русских революционеров к бомбам, которые со времени убийства царя в 1881 году стали главным средством борьбы, и отчасти бессознательной силлогистикой: русские – революционеры; анархисты – революционеры; значит, анархисты – русские. Ортодоксальные анархисты, издававшие русскоязычные журналы в Женеве и Париже и придерживавшиеся концепций Кропоткина, не составляли сколько-нибудь значительную силу в самой России.

В 1902 году Максим Горький в пьесе «На дне» отразил все несчастья и горести России. «Человек рожден для лучшего!» – восклицает пьяница-шулер и, поискав иные слова для того, чтобы передать состояние своей души, повторяет: «Для лучшего». В 1901–1903 годах боевики социалистов-революционеров убили министра просвещения Боголепова, министра внутренних дел Сипягина, руководившего тайной полицией, и губернатора Уфы Богдановича, подавившего восстание горняков на Урале с чудовищной жестокостью. 15 июля 1904 года, в разгар Русско-японской войны, они лишили жизни второго министра внутренних дел Венцеля фон Плеве<sup>[30]</sup>, самого ненавистного человека в стране. Ультрареакционер Плеве затмевал самого царя в стремлении сохранить самодержавие и не идти ни на малейшие уступки демократам. Для него важнее всего было уничтожить любые реальные и потенциальные очаги и источники распространения антипатии к режиму. Он подвергал массовым арестам революционеров, преследовал «староверов», препятствовал деятельности земств, местных органов самоуправления, устраивал гонения на евреев, насильственно русифицировал поляков, финнов и армян, лишь увеличивая численность врагов царизма и убеждая их в необходимости его свержения.

Один из методов отвлечения народного недовольства режимом он описал коллеге такими словами: «Мы должны утопить революцию в еврейской крови»<sup>71</sup>. В 1903 году на Пасху в Кишиневе был устроен погром. Подстрекаемые агентами, толпы русских жителей города на глазах безмолвных жандармов обрушились на извечных супостатов, избивая их, поджигая и грабя дома и лавки, оскверняя синагоги и



раздирая в клочья священную Тору. Один раввин, пытавшийся уберечь драгоценное Пятикнижие, погиб под дубинками и сапогами. Кишиневский погром вызвал гневное осуждение во всем мире. В том же 1903 году террористов партии эсеров возглавил Евно Азеф, еврей, который был одновременно и агентом тайной полиции. Он организовывал и террористические акты, и информировал охранку, но не предупредил о готовящемся покушении на своего шефа. Убийство главного жандарма произвело фурор в России: удар был нанесен по шефу полиции, оплоту всей системы. Предупреждение было настолько зловещим, что преемник Плеве князь Святополк-Мирский приговорил убийцу к пожизненной каторге в Сибири, а не к смертной казни, надеясь, что эта мера менее способна спровоцировать месть.

Через полгода, в январе 1905 года, на площади перед Зимним дворцом войска расстреляли мирную демонстрацию петербургских рабочих, пришедших к царю с петицией о конституции. В Кровавое воскресенье погибло более тысячи человек. Террористы начали готовить акты возмездия, убийство царя и его дядей великого князя Владимира Александровича, которого обвиняли в расправе, и великого князя Сергея Александровича, оказывавшего большое влияние на царя. Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, и его особенно ненавидели за свирепую жестокость<sup>72</sup>, капризность и одержимость всевластием, граничившую с безумием. Согласно одному английскому обозревателю, он отличался «специфической немилосердностью» и даже среди русских аристократов прославился своей «порочностью». Хотя Азеф и был платным агентом полиции, он помогал и боевым отрядам добиваться успехов, без которых он стал бы менее ценен для охранки. В феврале 1905 года Сергея Александровича разорвало на куски бомбой, брошенной молодым революционером по имени Каляев, который продолжал стоять посреди месива в старом синем пальто с красным шарфом, забрызганный кровью, но невредимый. От великого князя, его кареты и лошадей остались лишь «бесформенные груды частей тела и обломков размером восемь-десять дюймов»<sup>73</sup>. В тот вечер царь, узнав страшные вести, пришел к ужину домой, ничего не сказал об убийстве, отужинал и, по описанию одного из гостей, «забавлялся, пытаясь сдвинуть мужа сестры<sup>74</sup> с узкой софы»<sup>[31]</sup>.



На суде в апреле 1905 года Каляев, худой, осунувшийся, с запавшими глазами, сказал: «Мы два воюющих лагеря... два яростно противоборствующих мира. Вы представляете капитал и угнетателей; я – один из народных мстителей». Россия воевала на два фронта: с японцами и собственным народом, неповинуящимся и открыто восстающим. «Что все это означает? История вынесла вам приговор». Осужденный на казнь, Каляев выразил пожелание, чтобы палачи совершили ее открыто и публично. «Учитесь смотреть надвигающейся революции прямо в глаза», – сказал он судьям. Однако его повесили в черном балахоне после полуночи в тюремном дворе и захоронили возле стены.

В октябре революция свершилась. Пропаганда деянием, убийством фон Плеве и великого князя Сергея Александровича помогла побудить массы к восстанию. Ее организовали не эсеры, не социал-демократы, не анархисты, она вспыхнула спонтанно, как и предполагал Бакунин, не доживший до этих дней. В соответствии с концепцией синдикализма она проросла из всеобщей забастовки рабочих и, перепугав режим, добилась от него конституции и учреждения Думы. Все эти новшества были впоследствии отменены, но синдикалисты поверили в эффективность «прямых действий» посредством всеобщих забастовок, и анархисты охотно вступали в союзы индустриальных рабочих. В России отряды террора совершили еще несколько убийств и потом расформировались после разоблачения Азефа в 1908 году. Ко времени убийства премьер-министра Столыпина в 1911 году полубезумный, пасмурный мир Романовых покрылся таким мраком, что трудно было понять, где истинные революционеры, а где *agents provocateurs* полиции.

Какими бы призрачными ни были помыслы анархистов, их акции обострили борьбу между двумя сегментами общества, между миром привилегированных классов и миром протеста. Одних они заставили задуматься, других – подтолкнули к тому, чтобы через синдикаты объединяться в организации трудящихся. Анархизм изначально не признавал никакой организованности. Это был последний крик души индивидуальности, последний порыв в массах, выражавший жажду индивидуальной свободы, последняя надежда на жизнь без подчинения командам, последний взмах кулака перед лицом

наступавшего государства перед тем, как человека окончательно смяли государство, партия, профсоюз, организация.

### 3. Конец мечте. Соединенные Штаты: 1890—1902

На открытии конгресса в Соединенных Штатах в январе 1890 года появился новый спикер палаты представителей. Это был великан ростом шесть футов три дюйма, весивший почти триста фунтов, в черном одеянии, из которого выглядывало большое, пухлое, чисто выбритое детское лицо<sup>1</sup>, похожее на дыню «касаба», насаженную на сдобную могучую шею – великолепный типаж для Франса Хальса, хотя его белые длинные пальцы скорее восхитили бы Ганса Мемлинга. Он говорил, растягивая слова, любил запустить несколько сарказмов в момент самых горячих дебатов и наблюдать за реакцией с невозмутимостью Будды, переехавшего в Новую Англию. Когда занудливо многословный Спрингер из Иллинойса сообщил палате, что предпочитает быть на стороне правоты, а не президента, спикер заметил: «Джентльмен может не беспокоиться на этот счет. Он не понадобится ни той, ни другой стороне». Когда другой член палаты, не умевший четко формулировать мысли и имевший привычку запинаться, начинал говорить: «Я все думал, мистер спикер, я все думал...», председатель прерывал его и добавлял: «Вам никто не мешает думать. Похвально, если вы придумаете что-то новое». О самых беспомощных ораторах он отзывался так: «Они открывают рот только для того, чтобы изречь какую-нибудь банальную истину». О нем говорили, что ему легче блеснуть эпиграммой, чем завести друга. Тем не менее среди избранных друзей он всегда был «душой компании»: его искрометное остроумие действовало на всех как «самое лучшее шампанское».

Этим необыкновенным человеком был пятидесятилетний республиканец из штата Мэн Томас Б. Рид. За четырнадцать лет в конгрессе он прославился как «самый популярный полемист», а после этой сессии его признали и как «величайшего парламентского лидера» и «самого блистательного американского политика».

Хотя его род своим происхождением и обязан Новой Англии, Рида привели в политику не унаследованное богатство, социальное

положение или землевладение. Подобные приобретения в американской политике ничего не значили, и те, кто ими обладал, в ней не участвовали. Состоятельные и знающие себе цену семьи предпочитали не заниматься и даже уклонялись от государственной службы. Джон, старший брат Генри Адамса, считавшийся «самым одаренным чадом в семье, перед которым открывалось великое будущее», сколотил приличное состояние на железной дороге «Юнион пасифик» и отказался от государственных должностей: «У него было все – богатство, дети, приятное общество, внимание, и ему казалось нелепым пожертвовать всем этим ради служения в кабинете Кливленда или аплодисментов ирландской толпы» <sup>2</sup>. И такие настроения были присущи не только истомленному государственными делами семейству Адамсов. Когда молодой Теодор Рузвельт в 1880 году заявил о намерении заняться политикой, ему с пренебрежением говорили: политика – это «низменное занятие», пригодное для «содержателей салонов и кондукторов», «людей грубых и неотесанных, с которыми неприятно иметь дело».

Отрешенность богатей от государственных дел можно считать и порождением американской революции, и результатом провала замыслов Гамильтона построить государство в интересах правящего класса. Победили принципы Джефферсона и демократические призывы Джексона. Отцы-основатели и подписанты Декларации независимости были по преимуществу крупными собственниками, занимавшими влиятельное социальное положение, но плоды их усилий способствовали отстраненности людей такого же статуса от участия в государственном управлении. После введения всеобщего избирательного права имущие оказались в таком же положении, как и неимущие, численность которых была значительно больше, и собственники вышли из борьбы. Ни один президент после первых шести (возможно, кроме Гаррисонов) не принадлежал к традиционному американскому истеблишменту. Солидные и респектабельные по своим понятиям семьи вели замкнутый образ жизни, наслаждаясь уютом своих усадеб и предаваясь любимым занятиям и отдав в результате сферу политики и управления на откуп пронырливым пришельцам из низов. Они увлеклись приращением состояний банковскими и торговыми сделками, а не лучшим использованием земельных владений, и постепенно теряли их.

Первыми пришли в упадок земли нью-йоркских магнатов нидерландского происхождения; гражданская война загубила южные плантации; сохраняли дееспособность и даже процветали стародавние семьи Бостона, но они старались держаться в стороне от политики. После первых двух Адамсов самодовольный «Хаб» не дал Америке больше ни одного президента. «Самая благотельная, воздержанная, способная и просвещенная часть населения, – писал Эмерсон в эссе о политике, – проявляет робость и тревожится только за свою собственность».

Через сорок лет англичанин Джеймс Брайс, удивившись «апатии классов роскоши и утонченного ума»<sup>3</sup>, в книге «Американское государство» (*The American Commonwealth*) посвятит целую главу теме: «Почему лучшие люди уходят от политики?» Им недостает чувства *noblesse oblige*<sup>[32]</sup>. «Равнодушие образованных и состоятельных классов» он попытался объяснить отсутствием почтительного отношения к ним народных масс: «Поскольку массы не обращаются к ним за руководством, они его и не предлагают».

В Америке, где так и не появился правящий класс с крупной земельной собственностью и наследственными врожденными нравственными устоями, создались благоприятные условия для деятельности авантюристов разного рода – жуликов, спекулянтов, грабителей, преступников – и, соответственно, коррумпирования политики и государственной службы. После гражданской войны наступили времена бурного предпринимательства и экспансии. В 1880–1890 годы численность населения выросла на 50 процентов – с пятидесяти до семидесяти пяти миллионов человек. Правительство страны, в которой каждый предвкушал успех и удачу, в семидесятые и восьмидесятые годы было озабочено главным образом обеспечением безопасности и доходности – капиталистов. Оно было платным агентом капитала. Наглые сделки и скандалы вызывали возмущение и требования реформ. Но джентльмены не желали «марать себя политикой», как писала Эдит Уортон о нью-йоркском «обществе». Немногие из друзей в «ее самом лучшем сословии» могли посвятить себя служению обществу. Америка «пренебрегала способностями этого сословия, вместо того чтобы воспользоваться ими».

Не участвуя в правительстве и не имея опоры в виде крупной земельной собственности, американские богатые семьи легко

поддавались панике. Во время финансового кризиса в 1893 году Джон Адамс мог потерять все состояние, и он «лишился душевного покоя». Его брат Генри писал: «Нервы сдали у всех в Бостоне, и он был не единственным, у кого нервная система оказалась не на высоте. Я вовсе не думаю, что кто-то из нас в этом отношении сильнее его. Я потерял покой давно». Хотя многие его современники наверняка могли проявить больше выдержки, все равно их стойкость вряд ли можно сравнить с хладнокровием американцев времен подписания Декларации независимости. Когда брат попросил Льюиса Морриса, владельца поместья Моррисания <sup>[33]</sup>, не подписывать декларацию из-за ее негативных последствий для собственности, тот сказал: «К черту последствия! Давай перо!»<sup>4</sup>

Спикер Рид по особенностям интеллекта и склонности к твердокаменной независимости суждений и поведения больше всего подходил на роль политика в Америке той эпохи. Он вырос в далеком северном медвежьем углу Новой Англии с односложным хлестким названием Мэн. Ко времени его рождения в 1839 году предки уже жили в этом крае двести лет. По матери он был потомком пассажира парусника «Мейфлауэр», а по матери отца – Джорджа Клива, прибывшего из Англии в 1632 году, построившего первую хижину белого человека в Мэне, основавшего колонию Портленд и ставшего ее первым губернатором. Сам же Рид, женившийся на праправнучке Клива, родился в семье рыбаков и мореходов. Небогатые и фактически безземельные, его предки из поколения в поколение боролись за выживание своего поселения на скалистых склонах, отражая нападения индейцев и стойко перенося тяготы оторванности от мира и суровых снежных зим. Противостоять трудностям Рид приучился с детства. Отец, капитан небольшого прибрежного судна, заложил дом, чтобы послать сына в Боудин. В колледже Рид обеспечивал себя сам, давая уроки в школе, куда он каждый день добирался, проходя пешком шесть миль. Сыновья семей Портленда учились в Боудине не ради удовлетворения неких социальных амбиций, а для того, чтобы получить образование. Поскольку не только Рид, но и многие другие отпрыски Портленда находились в аналогичных стесненных материальных обстоятельствах, семестры в колледже организовывались таким образом, чтобы они могли зарабатывать на уроках зимой. Рид намеревался стать священником. Но в результате

долгих ночных чтений на чердаке с приятелем «Французской революции» Карлайла, «Фауста» и «Вертера» Гёте, «Эссе» Маколея, новелл Теккерея и Чарльза Рида у него сформировалось индивидуальное представление о вере, не укладывавшееся в рамки общепринятой догмы. Окончив колледж в 1861 году, он продолжал изучать право и давать уроки за двадцать долларов в месяц.

Гражданская война коснулась его, когда в 1864 году он поступил во флот и служил на канонерке на Миссисипи и занимался делом, вовсе не военным. Он был интендантом и, как признавал позднее, ему ни разу не довелось побывать под пулями. В отличие от других ветеранов, он не мог приукрасить военные воспоминания рассказами о проявленных отваге и бесстрашии. «Какой же благодатной была эта жизнь, эта милая сердцу давняя служба на флоте, – говорил он, если собеседники начинали делиться воспоминаниями о войне, – когда я командовал бакалейной лавкой на канонерке. Мне было известно то, о чем не знали другие. У меня были все права, в том числе и те, которые мне с удовольствием передавали другие». Такой же метод язвительной иронии он позднее применял в конгрессе.

Когда в 1865 году двадцатипятилетний Рид занялся адвокатурой, это был высокий и сильный молодой человек с приятной наружностью, волевым, почти квадратным лицом и густой белокурой шевелюрой. В последующие годы его внешность существенно изменилась. Он служил городским советником Портленда, затем его избрали в законодательное собрание штата, в сенат штата, назначили генеральным прокурором штата Мэн, он женился и располнел. У него родилось двое детей, сын, умерший рано, и дочь. Волосы его поредели, он почти лысел и раздобрел до такой степени, что на улицах Портленда, по описанию одного современника, «напоминал фрегат среди утлых яликов». У него был облик слона, невозмутимого, погруженного в свои мысли, никого и ничего не замечавшего вокруг и передвигавшегося такой же грузной и неторопливой поступью. «Для него любая улица узка!»<sup>5</sup> – воскликнул изумленный прохожий, уступивший ему дорогу.

В 1876 году тридцатилетнего Рида избрали в палату представителей на место Блейна, перебравшегося в сенат. В роли члена комиссии, расследовавшей обвинения в фальсификации итогов голосования за Хейза и Тилдена, он допрашивал свидетелей, покори

публику судейским артистизмом и моментально приобрел общенациональную популярность. Впоследствии он входил во всемогущий комитет по правилам, возглавлял юридический комитет, в совершенстве познав все парламентские регламенты и механизмы.

По мнению одного из коллег, комитет по правилам превратился в самый «изохренный орган», предназначенный для «обструкции законотворчества»<sup>6</sup> в обстановке «секретов и тайн» подобно обществу каббалистов Средневековья. Рид усмирил эту организацию. «Ни в одном парламенте во все времена еще не было такого подготовленного и толкового парламентского лидера», – говорил сенатор Генри Кэбот Лодж, прослуживший с ним в палате представителей семь лет. Рид не только досконально знал парламентскую практику и законодательство, но и «понимал теорию и философию системы». Сознательно или бессознательно он готовил себя к тем временам, когда уже в роли спикера будет управлять деятельностью палаты так, что никто не сможет состязаться с председателем в знании правил и процедур.

Утверждать свою власть над палатой ему помогало и то, что он, по мнению сенатора Лоджа, был «самым превосходным и убедительным полемистом из всех, кого мне доводилось видеть или слышать». В его выступлениях никогда не было лишних слов, он никогда не запинался, не терялся, не отступал и не изменял уже заявленной позиции. Отвечал он моментально, немногословно, но ясно и веско. Он мог привести неопровержимые доводы, четко обозначить проблему, опровергнуть аргумент или вскрыть ложность посылок всего лишь несколькими фразами. Его язык всегда был ярким и образным. «Еще не время созреть клубнике», – говорил он о сроках. Никто не мог выражаться так самобытно и колоритно, как Рид. Когда между коллегами Берри и Кертисом возник спор, кто из них выше ростом, Рид попросил их встать рядом, чтобы сравнить. Берри незаметно подтянул живот и выпрямился, и Рид воскликнул: «Бог мой, Берри, сколько тебя еще осталось в твоих карманах?» Из него афоризмы сыпались, как из рога изобилия. «Вся мудрость человека нередко сводится к тому<sup>7</sup>, чтобы кричать вместе с большинством», к примеру. Или другой: «Государственный деятель – это человек, в котором умер политик». Он почти не жестикулировал, когда говорил. «Когда он поднимался, чтобы ответить оппоненту, – вспоминал Лодж, – заполняя телом весь проход между рядами, положив руки



перед собой, с каменным выражением лица и видом человека, не имеющего ни малейшего представления о предмете разговора, в такие моменты он был особенно опасен». Повергнув однажды очередного оппонента, не сумевшего найти достойный ответ, Рид добавил: «После того как это насекомое застряло в густой смоле моих ремарок, я позволю себе продолжить».

Его собранность и жесткость особенно проявлялись во время прений по «правилу пяти минут». «Рассел, – сказал он члену палаты представителей из Массачусетса, – вы не понимаете сути теории пятиминутных дебатов. Смысл их в том, чтобы предоставить палате информацию либо дезинформацию. После обеда вы несколько раз воспользовались правилом пяти минут, но не сделали ни того, ни другого».

Рид не ораторствовал, а излагал свои мысли и доводы или язвил. Он любил подковыривать смежную палату, которую презирал, и однажды ехидно рассказал притчу о том, как через пятьдесят лет в соответствии с конституционной поправкой президента стали избирать сенаторы из числа сенаторов: «Когда собрали бюллетени и подвели итоги голосования, все поняли по бледному лицу верховного судьи – случилось нечто неожиданное и поразительное. Преодолевая замешательство, он поднялся и громогласно объявил в мегафон, изобретенный Эдисоном, что каждый из семидесяти шести сенаторов получил по одному голосу».

Во время дебатов о привилегиях и тарифах Рид рассказал другую историю. Когда он идет по улицам Нью-Йорка, «его тошнит от вида фасадов роскошных особняков богатых купцов и толп бедноты на тротуарах»: «Я не испытываю симпатию к этим людям, живущим за стенами, облицованными железистым известняком. Но я знаю, что это за чувства, которые испытываю. Это хорошая, благородная зависть. А когда джентльмены по ту сторону прохода испытывают аналогичные чувства, они принимают их за проявления политической экономии».

Как только становилось известно о том, что собирается выступить Рид, все пересуды в коридорах прекращались и члены палаты спешили занять свои места, предвкушая занимательный спектакль, насыщенный сарказмом и остроумием. Каждый член палаты представителей желал бы скрестить мечи в полемике с Ридом, чтобы стяжать себе хоть какую-то известность, но он пренебрегал

«мелкотой», принимая вызов только от серьезных и достойных оппонентов.

Репортеры ходили за ним по пятам, добиваясь комментария на злобу дня. А он предпочитал отшучиваться. Когда Рида попросили прокомментировать послание папы, он сказал: «Его полнейшая бессодержательность лишает меня дара речи». На вопрос о самой главной проблеме, с которой сейчас сталкивается американская нация, он ответил: «Как увернуться от велосипеда».

После первого срока его постоянно выдвигали в палату представителей от первого округа штата Мэн. Но сам процесс выборов – совсем иное дело, и он чуть не потерпел поражение в 1880 году, отказавшись пойти на компромисс по проблеме «свободного обращения серебра», несмотря на «банкнотные» настроения в Мэне. Он удержался благодаря перевесу лишь в 109 голосов. Но возросшая популярность обеспечивала ему лидерство в избирательных списках кандидатов. Даже демократы признавались в том, что «тайком» отдавали ему свои голоса<sup>8</sup>. «Он нравился избирателям Новой Англии, – говорил Хор, сенатор из Массачусетса. – Они выслушивали его мнения по общественным делам с гораздо большим интересом, чем других ораторов, включая Блейна или Мак-Кинли». Возможно, секрет его популярности заключался в том же качестве, которым обладал Пальмерстон<sup>9</sup>. Один англичанин объяснил популярность своего премьер-министра тем, что он был «чертовски славным малым».

Хотя Рид никогда и не отгораживался, и не фамильярничал с публикой, среди равных ему по статусу и интеллекту людей «не было более обаятельного и приятного собеседника». В узком кругу вашингтонской элиты его любили за общительный и веселый нрав, он был хорошим рассказчиком, незаменимым партнером в покере, желанным гостем дома. Как-то на званом ужине, когда зашел разговор об азартных играх, другой признанный знаток анекдотов, сенатор Чот из Нью-Йорка, заметил несколько самодовольным тоном, что за всю свою жизнь ни разу не играл на деньги ни в карты, ни на скачках, ни где-либо еще<sup>10</sup>. «Как бы и мне хотелось сказать то же самое», – с вздохом произнес один из гостей. «А п-о-о-чему бы и нет? – растягивая слова, спросил Рид. – Чот ведь сказал».

За столом Рид мог не только рассказать занимательную историю, но и блеснуть эрудицией. Он прекрасно знал Бернса, Байрона и Теннисона, любил читать и перечитывать «Ярмарку тщеславия» Теккерея. Он постоянно получал журнал «Панч», читал в оригинале Бальзака и говорил о его произведениях: «Едва ли у него найдешь книгу, в которой нет безмерной печали»<sup>11</sup>. Он выучил французский язык, когда ему уже было далеко за сорок, и вел дневник на этом языке «для практики». Именно Риду во многом обязано существование в США Национальной библиотеки. Только благодаря его настойчивости удалось преодолеть традиционную скупость палаты представителей и выделить достаточные средства для Библиотеки конгресса.

«Не было у нас еще деятеля, способного не только увлекательно говорить, но и слушать, – считал сенатор Лодж, – со столь ясными симпатиями и антипатиями, безграничными интересами и человеческими страстями». «Мы пригласили Рида к обеду<sup>12</sup>, – писал молодой друг Лоджа из Нью-Йорка, – и он был восхитителен». Вскоре Рид, поборник реформы государственной службы, нашел для этого молодого человека должность в Вашингтоне – в комиссии по государственной службе – и всякий раз, когда новый уполномоченный нуждался в помощи на Капитолии, она ему оказывалась. Позже, когда этот молодой человек из Нью-Йорка обратил на себя внимание всей нации, Рид одарил его, пожалуй, самым памятным изречением: «Теодор, больше всего я уважаю вас за то, что вы открыли для нас Десять Заповедей»<sup>13</sup>. А еще он предсказал, что «Теодор никогда не станет президентом, поскольку не имеет политического опыта»<sup>14</sup>.

В 1889 году Теодор Рузвельт оказался полезным для Рида во внутрипартийной борьбе с Мак-Кинли, Джо Кэнноном и двумя другими кандидатами на пост спикера палаты представителей. Пребывая на ранчо на северо-западе, он не только охотился, но и проводил активную кампанию за то, чтобы новые штаты Вашингтон, Монтана и две Дакоты направили республиканцев в конгресс. Вернувшись в Вашингтон, Рузвельт обустроил штаб-квартиру в старом отеле «Уэрмли» для того, чтобы агитировать новых конгрессменов отдавать голоса за Рида. Хотя Рид и разочаровал сторонников, отказавшись завоевывать голоса обещаниями назначений в комитеты, он все-таки победил на выборах.

Теперь Рид занял самый высокий после президента выборный пост. «Амбициозный, как Люцифер<sup>15</sup>, он не собирался лишь прилежно исполнять свою роль», – писал Чамп Кларк, член палаты представителей, знавший его очень хорошо. У него давно зародился план, созревший самостийно, без консультаций с кем-либо, и он намеревался реализовать его с помощью молотка спикера, невзирая на возможные негативные последствия для политической карьеры. Он знал, что предстоящая борьба превратит его в общенациональную знаменитость, а в случае провала ему придется навсегда забыть о Капитолии. Ставки были чрезвычайно высоки: либо он покончит с «тиранией меньшинства», парализующей деятельность палаты представителей и превращавшей ее в «беспомощную балаболку», либо уйдет в политическое изгнание.

Система, которую спикер намеревался разрушить, имела странное название – «молчащий» или «исчезающий» кворум. В палате сложилась практика, когда меньшинство могло заблокировать любой непонравившийся законопроект, лишая его кворума. Делалось это очень просто: оппозиционеры требовали начать поименную переключку и молчали, когда назывались их имена. Поскольку, согласно правилам, присутствие члена палаты подтверждалось только его голосом, а для кворума требовалось наличие большинства голосов, то молчание флибустьеров подрывало дееспособность парламента.

На недавних выборах в 1888 году победили республиканцы, завладев и исполнительной, и законодательной властью. Но лишь с очень небольшим преимуществом. Сурового Бенджамина Гаррисона следовало считать президентом меньшинства, поскольку он уступал Кливленду по результатам общенародного голосования и занял президентское кресло только благодаря специфичной избирательной системе, состоящей из коллегий выборщиков. Республиканское большинство в палате было мизерное – 168 против 160 и всего лишь на три голоса превышало кворум, установленный на уровне 165. Перед республиканцами встала сложная задача провести два важнейших партийных законопроекта – «билля Миллса» о пересмотре тарифов и «Форс-билля» против подушного налога и других попыток южан препятствовать участию негров в выборах. Демократы собирались устроить обструкцию и заодно помешать голосованию по поводу

спорного мандата четырех республиканцев, двое из которых были неграми, избранных в южных округах.

Рид видел в этом конфликте борьбу за выживание представительной формы правительства. Если демократы заблокируют законопроекты, которые республиканцы как победители на выборах имеют полное право и выдвигать и принимать, то они таким образом надругаются над всей избирательной системой. Права меньшинства гарантируются свободным участием в обсуждениях и выборах, но когда меньшинство способно парализовать действия большинства, то это уже превращается в «тиранию»<sup>16</sup>. Главное назначение конгресса – не дебаты, а законотворчество. Долг спикера перед партией и страной – не руководить дебатами, а следить за тем, чтобы конгресс занимался делом.

Пост спикера был не только престижным. Человек, занимавший его, обладал всей полнотой власти, пока часть полномочий в 1910 году после бунта против Джо Кэннона не была передана в комитеты. Поскольку спикер являлся по должности и председателем комитета по правилам и процедурам, в котором двое республиканцев и двое демократов постоянно консультировались друг с другом, и поскольку он обладал правом назначать состав всех комитетов, то от его прихотей зависели и карьеры членов парламента, и законотворческий процесс. В руках Рида теперь сосредоточилась «власть, наделенная ответственностью», и он хотел доказать, что вопреки известному афоризму власть не только «развращает», она может содействовать взаимопониманию. Она даже может возвращать великих людей. Пост спикера, который газета «Вашингтон пост» назвала «не менее значимым, чем должность президента», мог предоставить Риду такую возможность. А он не принадлежал к числу тех людей, которые упускают или пугаются открывающихся перед ними возможностей.

Рид принимал решение покончить с «молчащим кворумом» и разработал план кампании единолично, ни с кем не советуясь и не агитируя сторонников. Он понимал, что вряд ли кто поверит в успех его предприятия, да и сам не надеялся на единодушную поддержку в собственной партии. Уже появились признаки, что такой поддержки может не быть. Об отношении Рида к «молчаливым флибустьерам» все хорошо знали, и никто не сомневался в том, что на первой же сессии нового конгресса поднимется проблема подсчета кворума. «РИД

БУДЕТ ВЕСТИ СЧЕТ» – аршинным заголовком предупредила газета «Вашингтон пост», а в статье отметила, что даже мистер Кэннон, ближайший сподвижник Рида, выступит против этой инициативы. Демократы выстраивали оборону. Бывший спикер Карлайл заявил, что любое законодательство, принятое кворумом, не подтвержденным «запротоколированным голосованием», будет признано неконституционным.

Рид был готов ко всему, в том числе и к возможной оппозиции в собственной партии. Он рассчитал, что неистовство демократов заставит республиканцев сплотиться вокруг него. Спикер решил завязать битву, когда в график на 29 января включили обсуждение первых спорных выборов. Как и ожидалось, демократы подняли шумиху, кричали «нет кворума» и требовали провести поименное голосование. Набралось 163 голоса «за», все были поданы республиканцами. Для кворума не хватало двух. Наступил решающий момент. Без малейших признаков напряжения или волнения на белом лунообразном лице, «самом большом человеческом лице, какое мне приходилось видеть»<sup>17</sup>, заметил один депутат, Рид встал, растягивая слова, провозгласил «спикер приказывает клерку записать имена членов палаты, присутствующих и отказывающихся голосовать» и начал перекличку<sup>18</sup>. Моментально, по описанию репортера, поднялось невероятное столпотворение<sup>19</sup>: «Вряд ли когда-либо еще палату сотрясала такая буря возмущения, негодования и открытого угрожающего неповиновения, как в эти пять дней». Республиканцы громко выражали одобрение, демократы «кричали, вопили, стучали кулаками по столам», а рупор их будущего спикера Криспа из Джорджии восклицал: «Я взываю! Я взываю к председателю отменить приказ!» «Такого буйного мятежа еще не случилось ни в одном парламенте», – вспоминал потом один депутат. Спикер, сохраняя невозмутимость, тем временем продолжал выкликать имена: «Мистер Бланчард, мистер Бланд, мистер Блант, мистер Брекинридж из Арканзаса, мистер Брекинридж из Кентукки...»

Джентльмен из Кентукки, «выделявшийся благообразной сединой и сладкоречием», не выдержав, вскочил и крикнул: «Я не признаю диктата спикера и считаю его поведение революционным!»

Рид намеренно гнусавым голосом продолжал перечислять имена: «Мистер Буллок, мистер Байнум, мистер Карлайл, мистер Чипман,

мистер Клемент, мистер Коверт, мистер Крисп, мистер Каммингз, – игнорируя свист, улюлюканье и крики «Долой!» и строго следуя алфавиту, – мистер Лолер, мистер Ли, мистер Макаду, мистер Маккрири...»

«Вы не имеете права, мистер спикер, считать меня присутствующим!» – рыкнул с места Маккрири.

Впервые спикер замолчал, выдержал паузу, как заправский актер, и сказал веско: «Председатель удостоверяет факт присутствия джентльмена. Вы же не будете это отрицать? Разве вас здесь нет?»

Рид, пренебрегая бедламом и негодующими возгласами, неторопливо назвал все имена на «С» и «Т» и довел перекличку до конца. Затем он взметнулся всей своей могучей фигурой, внушающей благоговейное почтение, и громовым голосом, способным сотрясти любой зал, объявил: «Председатель постановляет, что имеется кворум, как и предусмотрено конституцией».

Обстановка в палате накалилась до предела. Брекинридж из Кентукки потребовал поставить вопрос о нарушении правил. «Председатель отклоняет предложение», – заявил спикер.

«Я протестую против решения председателя!» – выкрикнул Брекинридж.

«Я предлагаю включить вопрос в календарь обсуждений», – вмешался республиканец Пейсон из Иллинойса. Демократы совсем разъярились: по сути он предлагал прекратить дебаты. Они один за другим вскакивали с мест, требуя дать им слово. «Боевой Джо» Уилер, низкорослый бывший кавалерийский генерал конфедератов, видя, что все проходы запружены возбужденными людьми, «продвигался из заднего ряда, перепрыгивая через кресла, как горный козел». Сохранял полнейшее спокойствие лишь демократ из Техаса: он продолжал сидеть, водя длинным охотничьим ножом по кожаному сапогу. Когда республиканец предложил, что все-таки следовало бы обсудить столь важную проблему, спикер согласился. Дебаты длились четыре дня, демократы не уступали, настаивали на прочтении каждой записи в журнале, каждого замечания и возражения по процедуре обсуждения и голосования, и каждый раз Рид засчитывал голоса всех молчащих флибустьеров, вызывая очередной приступ гнева и возмущения. Когда Мак-Кинли, как всегда угождая публике, встрял в процесс

перечисления имен и сам начал что-то говорить, Рид сурово сказал: «Джентльмен из Огайо не желает, чтобы его прервали».

«Я не желаю, чтобы меня прервали», – с готовностью согласился Мак-Кинли.

Всякий раз, когда Рид с демонстративным упорством считал голоса поименно и повторял «конституционный кворум наличествует», в лагере демократов поднимался неистовый гвалт. Одна группа депутатов, выкрикивая проклятия, ринулась по проходу, угрожая стащить спикера с трибуны, и одному очевидцу показалось, что «толпа вот-вот скинет его». Но на круглом белом лице Рида не дрогнул ни один мускул. Страсти, пылавшие внизу, передались на галереи для публики и журналистов, и те тоже начали кричать и потрясать кулаками, кляня спикера. «Люди словно сорвались с цепи, – писал репортер. – Депутаты носились с искаженными от злости физиономиями... извергая самую изощренную брань». Они обзывали Рида тираном, деспотом, диктатором, «осыпая ругательствами, как камнями». Больше всего им полюбилось слово «царь», воплощавшее самую жестокую форму самодержавия, и этот эпитет так и приклеился с тех пор к Риду-спикеру. Чем злее становились демократы, тем невозмутимее казался Рид, грузно развалившийся в кресле с «безмятежным подобно безоблачному утреннему небу выражением лица». Хотя секретарь и видел, как он кипел от гнева за письменным столом, приходя в личный кабинет в перерывах, в зале Рид игнорировал возмутительное и оскорбительное поведение коллег. Газета «Нью-Йорк таймс» сравнила его железную выдержку с «хладнокровием разбойника с большой дороги».

Секрет его самообладания, как он позднее говорил другу, заключался в том, что он уже наметил план действий на тот случай, если в палате его не поддержат: «Я откажусь от поста спикера и уйду из конгресса». Для него уже было готово место в частной нью-йоркской адвокатской фирме Элиу Рута: «Я решил, что если политическая деятельность состоит из беспомощного сидения в кресле спикера и пассивного наблюдения за беспомощным большинством, тщетно пытающимся провести законопроект, то мне лучше отказаться от нее и уйти в отставку». Принимая такое решение, вы «готовите себя к самому худшему из возможных вариантов». Это очень «благодарно» сказывается на душевном состоянии.



Такое решение действовало не только как успокоительное средство. Оно придавало сил, которых обычно лишается человек, боящийся самого худшего исхода и поступающий ради того, чтобы избежать его. Оно вселяло и чувство морального превосходства, которое не могли не ощущать депутаты, даже не осознавая этого.

Теперь демократы прибегли к другой тактике: они задумали сбежать, полагая, что одним республиканцам не удастся сформировать кворум. Они начали один за другим исчезать из зала, но Рид, разгадав их замысел, велел запереть двери. У выходов образовалась давка из солидных джентльменов, стремившихся улизнуть перед очередным голосованием. «Потеряв и служебное, и обыкновенное человеческое достоинство», демократы прятались под столами и за ширмами. Член палаты представителей из Техаса Килгор попытался вышибить ногой запертую дверь, подарив газетам тему для карикатур под названием «Пинок Килгора».

На пятый день демократы полностью отсутствовали, и когда подошло время для голосования, республиканцы не смогли подтвердить наличие кворума. Двоих республиканцев, болевших, привезли на походных койках. Для кворума все еще не хватало одного голоса. Все с нетерпением ждали прибытия конгрессмена, срочно выехавшего в Вашингтон. Наконец, дверь отворилась, и, как написал репортер, «в них появились рыжие бакенбарды, и кто-то прокричал: “Еще один, мистер спикер!”» Приехал Суини из штата Айова, кворум был обеспечен, и результат голосования оказался превосходным: 166 – «за», «против» – 0. Битва закончилась. Демократы молча вернулись на свои места. Комитет по правилам принял новый нормативный канон, составленный и предложенный, как нетрудно догадаться, его председателем, то есть спикером. «Правила Рида»<sup>20</sup>, как их теперь называли, были одобрены 14 февраля и предусматривали в том числе: (1) голосовать обязаны все члены палаты представителей; (2) кворумом считается присутствие ста человек; (3) учету подлежат голоса всех присутствующих; (4) не должны подаваться предложения, нацеленные на затягивание процедур, а определять это надлежит спикеру.

Через пять лет Теодор Рузвельт напишет, что ликвидация Ридом «молчащего флибустьерства» оказала на политические процессы

«гораздо более значительное влияние», чем какое-либо законодательство, принятое за время его пребывания на посту спикера<sup>21</sup>. Прекрасно знал это и сам Рид. Закрывая пятьдесят первый конгресс, он назвал свое предприятие единственно стоящим достижением и «вердиктом истории», способствовавшим «формированию ответственного правительства».

В историю вошел и его портрет, исполненный Сарджентом. Его заказали художнику коллеги Рида, республиканцы, желая оказать ему такую честь. Портрет им не понравился. «Предполагалось, что он будет изображен в действии – подсчитывающим голоса кворума. А он выглядит так, будто его заставили съесть зеленую хурму»<sup>22</sup>.

Победа Рида над «молчащим кворумом» обсуждалась в парламентах всего мира. В Соединенных Штатах он стал главной политической фигурой и очевидным кандидатом в президенты. Но думать об этом еще было рано, и у самого Рида имелось особое мнение на этот счет. Когда его спросили – выдвинут ли его республиканцы кандидатом, он ответил: «Они могут поступить еще дурнее. Я думаю, они это и сделают»<sup>23</sup>.

Действительно, так и случилось. «Царизм» Рида всем хорошо запомнился, а его сарказм не прибавлял друзей. Нельзя было обрасти сторонниками, пренебрегая сделками, не желая заискивать перед публикой улыбками и рукопожатиями и завлекать политиков обещаниями. Партийные функционеры предпочли номинировать Гаррисона, человека неподкупного, но очень холодного и мрачного, прозванного «Айсбергом Белого дома»<sup>24</sup>. Его Рид недолго любил и не скрывал этого. С того времени, когда Гаррисона назначили коллектором долгов в Портленде, его родном городе, Рид избегал встреч с ним и никогда не бывал в Белом доме, пока тот был президентом.

В 1892 году демократы одержали внушительную победу, имели бесспорное большинство в палате, с легкостью могли сами сформировать кворум и удовлетворенно отвергли реформу Рида. Но он знал, что история на его стороне, твердо веря в то, что «палата благоразумнее любого депутата»<sup>25</sup>. И долго ждать ему не пришлось. В составе следующего конгресса демократическое большинство сократилось вдвое, демократы раскололись во мнениях по денежному обращению и другим животрепещущим проблемам, и Рид с

наслаждением мстил им. Он снова и снова требовал переключку, и когда Бланд из Миссури запротестовал против «этого неприкрытого флибустьерства», Рид парировал: «Неприкрытого? Вы хотите сказать "честного"». В роли лидера меньшинства он по-прежнему пользовался непререкаемым авторитетом в партии. «Джентльмены на той стороне слепо следуют за ним, – говорил с завистью спикер Крисп. – В частном порядке они могут сказать “Риду не следовало бы так поступать” или “это неправильно”, но когда Рид указывает “сделайте это”, они как по команде встают и делают то, что он приказал». Когда наконец демократы сдались и ради собственного блага приняли «правила Рида», он не стал торжествовать. «То, чем мы располагаем сегодня, действеннее любого послания, – сказал он. – Поздравляю пятьдесят третий конгресс».

В 1890 году, когда произошло последнее сражение с индейцами при Вундед-Ни и Бюро переписи населения объявило о том, что в стране более нет границ, перед Ридом встала проблема совершенно иного свойства. Капитан А. Т. Мэхэн, президент военно-морского колледжа, в журнале «Атлантик мансли» поднял вопрос: «Желают они этого или нет, но американцам придется заняться освоением и внешнего пространства»<sup>26</sup>.

Так распорядилась судьба, что именно тонкогубый и остролицый военный моряк Альфред Тайер Мэхэн, обладавший недюжинным умом, пробудил в нации «осознание своих внешних интересов»<sup>27</sup>. Немногие американцы тогда знали, что у Соединенных Штатов есть внешние интересы, а большинство американцев полагали, что таких интересов нет и не может быть. Впервые эта проблема возникла в связи с аннексией Гавайев. Морская угольная база в Пёрл-Харборе была приобретена еще в 1887 году, но к реальной аннексии островов побудили американские имущественные интересы, которые представлял судья Доул и сахарный трест. В январе 1893 года на Гавайях при поддержке американской морской пехоты было поднято восстание против местного правительства, судья Доул стал президентом Доулом и быстро подписал с американским посланником договор об аннексии, который президент Гаррисон оперативно уже в феврале направил в сенат. Но Гаррисона не переизбрали на второй срок, 4 марта предстояла инаугурация Кливленда, и он торопил сенат

поскорее ратифицировать договор, пока не вступил в должность новый президент. Процедура была еще не отработана, документ вызывал сомнения, и сенат заартачился.

А Кливленд был против аннексии в любом виде, к тому же он был столь же прямодушен и столь же внушительных габаритов, как Рид. Однажды в полумраке Рида приняли за Кливленда, и ему пришлось предупредить путаника: «Мерси! Не вздумайте сказать об этом Гроверу<sup>28</sup>. Он очень гордится своей внешностью». Не прошло и недели, как Кливленд отозвал договор об аннексии из сената, чем расстроил молодого друга Рида – Теодора Рузвельта, которому не нравилось «спускать флаги».

Мотивы аннексионистов были тогда чисто коммерческие. Рано или поздно должен был появиться человек, который смог бы придать им общенациональный и судьбоносный характер. В том же месяце – в марте, когда Кливленд отозвал из сената договор, моряк Мэхэн опубликовал в журнале «Форум» статью под заглавием «Гавайи и наша будущая морская мощь». Он заявлял: господство в морях есть главный фактор могущества и благосостояния наций, и поэтому «настоятельной необходимостью должно быть приобретение морских позиций, когда это можно сделать добродетельно, для обеспечения такого господства». Гавайи «не могут не привлекать внимание стратега», они занимают положение «исключительной важности... позволяя держать под контролем всю коммерческую и военную активность в Тихом океане». В другой статье, опубликованной в марте же журналом «Атлантик мансли», он доказывал необходимость для будущей американской морской мощи Перешеечного канала.

Аргументы Мэхэна звучали убедительно. Он уже был известен как автор лекций на тему «Влияние морской мощи на историю», прочитанных в военно-морском колледже в 1887 году и изданных книгой в 1890-м. Его идеи привлекли внимание специалистов и за рубежом, и в Соединенных Штатах, хотя на поиски издателя книги ушло три года, ими заинтересовались мыслящие люди, увлекшиеся разработкой стратегий национальной политики. Теодор Рузвельт, в возрасте двадцати четырех лет опубликовавший книгу «Война на море в 1812 году», выступал с лекцией в военно-морском колледже и сразу же стал поклонником Мэхэна. Когда было издано «Влияние морской мощи на историю», Рузвельт прочел труд «от корки до корки»<sup>29</sup> и

написал Мэхэну, что его сочинение войдет в «классику военно-морской теории». И Уолтер Хайнс Пейдж, редактор «Форума», и Хорас Е. Скаддер, редактор «Атлантик мансли», издатели двух ведущих дискуссионных журналов, регулярно предоставляли свои страницы для выступлений Мэхэна. Гарвард и Йельский университет удостоили его ученой степени L.L.D. – доктора права. Благожелательно отнеслись к новым идеям и коллеги-профессионалы. Адмирал Стивен Лус, избравший его своим преемником на посту президента военно-морского колледжа, когда сам получил назначение командовать Североатлантической эскадрой, привел эскадру в Ньюпорт, чтобы моряки послушали лекции человека, который, как он предсказал, внесет в военно-морскую теорию такой же вклад, какой внес в военную науку Жомини во времена Наполеона. После первой же лекции Лус встал и провозгласил: «Вот он, и его имя Мэхэн!»

Мэхэн открыл сдерживающее и принуждающее к подчинению свойство морского могущества: тот, кто им обладает, и является хозяином положения. Подобно тому, как месье Журден даже не догадывался о том, что всю жизнь говорил прозой, и обыватель и специалист не замечали этой истины, витавшей в воздухе, Мэхэн уловил и сформулировал ее. За первой книгой последовала вторая – «Влияние морской мощи на Французскую революцию». Она была издана в 1892 году. Первоначально идея зародилась «спонтанно» во время прочтения труда Моммзена «История Рима»: «Мне вдруг подумалось, что все могло сложиться иначе, если бы Ганнибал вторгся в Италию с моря... или если бы после вторжения он мог поддерживать контакты с Карфагеном по воде». Мэхэн сразу же понял, что «господство на море как исторический фактор никогда не принималось в расчет и системно не изучалось»<sup>30</sup>. Смутная идея постепенно переросла в ясную концепцию. Месяцами до того, как занять пост президента колледжа, он просиживал в фондах Астор-Плейса, филиала Нью-Йоркской публичной библиотеки, отыскивая исторические подтверждения своей догадке и обуреваемый эмоциями первооткрывателя.

В Соединенных Штатах к флоту относились как к средству прибрежной обороны. Любые другие варианты его использования противоречили традиционному представлению об Америке как нации, не приемлющей агрессию и предназначенной для того, чтобы

продемонстрировать миру новый и более совершенный тип государственного устройства. В Европе, где веками пользовались морями, только теперь осознали истинную их ценность. Один комментатор под псевдонимом «Наутикус» написал: «морская мощь, подобно кислороду, присутствовала веками, но пребывала в неизвестности, пока ее не обнаружил Мэхэн таким же наитием, каким Пристли открыл кислород».

Получив в 1893 году назначение командовать флагманским кораблем Европейской эскадры (вопреки желанию, поскольку он предпочел бы остаться дома и продолжать творить), Мэхэн прибыл в Англию, где ему оказали беспрецедентный прием. Его пригласила к обеду в Осборне королева, он отобедал и с принцем Уэльским. Мэхэн был первым иностранцем, кого пригласили в «Королевский яхтенный клуб», где в его честь устроили торжественный обед с участием около сотни гостей, адмиралов и высших морских офицеров. Джон Хей, находившийся тогда в Лондоне, написал ему: «Все интеллектуальное сообщество горит желанием выразить вам свое почтение». Лорд Роузбери, тогда премьер-министр, пригласил его на обед в узком кругу с участием лишь Джона Морли, и они проговорили до полуночи. Он встречался с Бальфуrom и Асквитом, нанес визит лорду Солсбери в Хатфилде, обедал с королевой в Букингемском дворце. Надев поверх костюма красную академическую мантию и со шпагой на бедре, он торжественно принимал ученые степени D.C.L. (доктора гражданского права) в Оксфорде и L.L.D. (доктора права) в Кембридже. Он, пожалуй, был единственным человеком, за одну неделю получившим докторские степени двух ведущих университетов Англии.

После непродолжительной поездки на континент, где Мэхэн, вооружившись путеводителем, зонтиком и биноклем, изучал маршрут Ганнибала, его пригласил к себе на яхту «Гогенцоллерн» Вильгельм II, приехавший на Каусскую парусную регату. Книга «Влияние морской мощи на историю» произвела огромное впечатление на кайзера, вселив в него роковое для Европы убеждение в том, что великая Германия немыслима без морских просторов. Он распорядился, чтобы сочинение Мэхэна имелось на каждом корабле германского флота, а его собственные английские и немецкие экземпляры были испещрены подчеркиваниями, пометками, комментариями на полях и восклицательными знаками. «Я не читал, а жадно поглощал книгу

капитана Мэхэна, а теперь пытаюсь заучить текст наизусть, – сообщал он приятелю телеграммой, когда Мэхэн все еще находился в Европе. – Это первоклассное произведение, и его можно назвать классическим во всех отношениях. Книга есть на борту всех моих кораблей, и ее постоянно цитируют мои капитаны и морские офицеры»<sup>31</sup>. Японцы тоже проявили величайший интерес. Труд «Влияние морской мощи на историю» вошел в учебные программы всех военных и военно-морских училищ Японии, и последующие книги Мэхэна в обязательном порядке переводились на японский язык.

Из сочинения Мэхэна логически вытекало, что Соединенные Штаты должны развивать флот, а он тогда пребывал в крайне плачевном состоянии. Морской министр в администрации Кливленда Уильям Уайт говорил в 1887 году<sup>32</sup>: флот не мог не только сражаться, но и не обладал достаточной скоростью и маневренностью, чтобы убежать от противника. А по мнению Мэхэна, он по всем параметрам уступал флоту Чили, не говоря уже об Испании. Еще в 1880 году, когда начались разговоры о строительстве Перешеечного канала, который без мощных военно-морских сил мог принести больше бед, а не благ, Мэхэн писал: «Мы должны безотлагательно приступить к созданию флота, который может сравняться с английскими военно-морскими силами к тому времени, когда заработает канал... В настоящий момент я не думаю, что это будет сделано, но если мы этого не сделаем, то нам придется забыть о доктрине Монро».

С той поры он неустанно убеждал в насущной необходимости флота друзей, коллег и корреспондентов. Мэхэн думал не столько о кораблях, сколько о военно-морской мощи. По своей натуре он меньше всего подходил на роль военного моряка, да ему и не очень нравилась военно-морская служба, хотя его внешние данные вполне соответствовали облику морского офицера. Он был рослый, много выше шести футов, жилистый, худощавый и подтянутый, его легко можно было узнать по вытянутому, узкому лицу с близко посаженными бледно-голубыми глазами, длинным, прямым и острым, как лезвие ножа, носом, и песочного цвета усами, сливавшимися с коротко подстриженной бородой на малозаметном подбородке. О незаурядности ума свидетельствовали сосредоточенно-пытливый взгляд, широкий покатый лоб и характерные бугры над бровями. Он родился на год позже Рида, и в 1890 году ему было пятьдесят лет. Хотя

Мэхэн и отличался обычно сдержанной и скромной манерой поведения, он, по словам жены, мог вдруг скомандовать так, что его голос слышали даже на юте. Брат называл его Альфом. У него почти полностью отсутствовало чувство юмора, зато нравственность была на высоте, и он, подобно всем добропорядочным господам, не любил романы Золя и запрещал дочерям читать их. Он был настолько щепетилен в вопросах морали, что, когда жил при военно-морском колледже, не позволял детям пользоваться казенными карандашами.

У него было очень мало друзей, а в светскую жизнь он окунался только в тех редких случаях, когда по долгу службы выезжал за рубеж. Внешне Мэхэн никогда и никак не выражал свои чувства, казалось, что он сознательно замыкается в самом себе. Его можно было бы сравнить с паровым котлом, в котором постоянно происходит невидимый процесс кипения, с той лишь разницей, что из котла пар все-таки выходит. Подобно Риду, Мэхэн всегда четко и ясно выражал свои мысли. По поводу поездки в Аден и посещения еврейской колонии он написал: «Я не подвержен антисемитизму. То, что Иисус Христос был евреем, способствует лишь сохранению его нации»<sup>33</sup>. В нескольких словах он разрешил для себя проблему, волновавшую человечество на протяжении девятнадцати веков и заново обострившуюся уже в его эпоху. Самуил Аш, его друг со школьных лет в Аннаполисе, сказал о нем: «Я не встречал еще человека, более интеллигентного и интеллектуального».

В 1890 году в Соединенных Штатах все-таки начали создавать флот. По рекомендации совета, назначенного морским министром в администрации Гаррисона Бенджамином Трейси, конгресс, преодолевая сопротивление оппозиции как на Капитолии, так и вне его, одобрил строительство трех линкоров: «Орегон», «Индиана» и «Массачусетс», а через два года и четвертого линейного корабля «Айова». Военно-политическая кампания Мэхэна принесла первые плоды. Строительство линейного флота отражало кардинальный поворот стратегического мышления американской элиты в направлении, указанном Мэхэном, – за пределы национальных границ. В Америке наконец признали, что стране необходим флот, способный противостоять любому потенциальному противнику. Канаде отводили роль заложницы для сдерживания Британии, а в Европе предполагалось сохранять политический баланс сил,



предотвращающий отправку флота потенциального противника в американские воды. Первостепенную значимость приобретало обеспечение безопасности этих вод, для чего требовались военно-морские силы, способные защищать американское побережье наступательными действиями против вражеских баз от Ньюфаундленда до Карибского моря. Такие задачи и ставились перед новыми линейными кораблями. Они имели водоизмещение 10 000 тонн, среднюю скорость пятнадцать узлов, четыре 13-дюймовых и восемь 8-дюймовых орудий и могли взять на борт угля, достаточного для автономного плавания в радиусе 5000 миль. По вооружениям и огневой мощи это были самые совершенные корабли для того времени. Во время ходовых испытаний «Индианы» в 1895 году и «Айовы» в 1896-м оба линкора произвели огромное впечатление на англичан, поставивших их в один ряд со своими новейшими кораблями, такими как «Маджестик», имевший водоизмещение 15 000 тонн, четыре 12-дюймовых и двенадцать 6-дюймовых орудий.

Спуск на воду линкоров, естественно, порадовал сторонников и почитателей Мэхэна. Рузвельт, хотя и входил в состав комиссии по государственной службе, еще не был широко известен, но его друг и политический наставник сенатор Генри Кэбот Лодж из Массачусетса уже приобрел популярность своими страстными выступлениями в поддержку идей Мэхэна. Он родился в семье, сделавшей состояние на клиперах и торговле с Китаем, написал несколько биографий и исторических исследований колониального периода и пришел в политику исключительно благодаря интересу к истории Америки. Его дед, имевший такое же имя – Генри Кэбот, вспоминал, как мальчишкой прятался за буфет и во все глаза смотрел на президента Джорджа Вашингтона, завтракавшего с отцом у них дома. Внук был избран в палату представителей в 1886 году и сразу же зарекомендовал себя как прекрасный оратор, владеющий приемами политической стратегии и тактики. Он обладал практичным, житейским и острым умом, интеллектом и кипучей энергией. Вместе с Рузвельтом он был поборником реформы государственной службы и входил в узкую группу людей, объединившихся вокруг Джона Хея и Генри Адамса и наблюдавших за деятельностью правительства со стороны, отчасти отстраненно и отчасти цинично. Представляя оппозицию, Лодж и

Рузвельт не могли влиять на президента Кливленда непосредственно, но пытались делать это публичными выступлениями.

«Морской мощью должна обладать каждая уважающая себя нация», – заявил Лодж в сенате 2 марта 1895 года. Он развернул карту, на которой яркими красными крестиками были отмечены британские базы, и изложил аргументы Мэхэна о стратегической важности Гавайских островов. Его выступление произвело должный эффект, усиленный, как он сам написал матери не без некоторого бахвальства, «искренностью чувств и неопровержимостью доводов»<sup>34</sup>. Настоятельно необходимо завладеть Гавайями и построить канал. «Мы великая нация; мы контролируем этот континент; мы господствуем в этом полушарии; нам досталось великое и дорогое наследие, к которому нельзя относиться легкомысленно, тем более от него отступаться. Оно наше, и мы должны его оберегать и приумножать». Пока он держал речь, в зал из коридоров вернулись сенаторы, пришли депутаты смежной палаты, сбежались журналисты, клерки, курьеры, мест не хватало, и народ толпился у стен. Лодж сам ощутил, что его слушают «с необычайным вниманием»: «Когда я сел, вокруг меня собрались люди, поздравляли, пожимали руки... что крайне редко случалось в сенате». В статье, опубликованной затем «Форумом», Лодж написал, что после сооружения канала Соединенным Штатам «понадобится остров Куба». Он не разъяснил, каким образом будет удовлетворена эта потребность: выкупят Соединенные Штаты этот остров у Испании или просто-напросто отвоюют? Он выразил лишь мнение насчет того, что малым государствам предназначено кануть в Лету, поскольку наступили времена для экспансии на благо «цивилизации и прогресса».

Сама история будто услышала его призывы. 24 февраля 1895 года на Кубе вспыхнуло восстание против испанского режима, а 8 марта испанская канонерская лодка напала и обстреляла американское торговое судно «Аллайенс», которое якобы занималось морским разбоем. «Оскорбление флага», как расценили эту акцию в Америке, вызвало бурю негодования в сенатском комитете по иностранным делам в духе высказываний Лоджа. У многих сенаторов пробудились захватнические инстинкты. Сенатор Морган из Алабамы, председатель комитета, демократ, предложил: «Куба должна стать американской колонией». Коллега Рида, хотя и не друг, сенатор Фрай из штата Мэн,

поддержав Morgana, сказал, что «нам, безусловно, следует завладеть Кубой, чтобы округлить наши земли», добавив простодушно: «Если мы не сможем ее выкупить, то я хотел бы воспользоваться возможностью приобрести ее путем завоевания». Другой республиканец, сенатор Каллом из Иллинойса, выразился еще яснее: «Надо наконец проснуться и понять необходимость в аннексии территории – мы должны владеть всей этой частью северного полушария»<sup>35</sup>. В 1895 году еще не было нужды в том, чтобы придавать агрессивности некие иные качества. Да и сенаторы не могли выступать в роли защитников кубинцев, борющихся за свободу, так как *insurrectos* жгли и американскую собственность с не меньшим энтузиазмом и не вписывались в образ жертв, достойных заступничества.

Президент Кливленд рьяно противился экспансии, и территориальная алчность сенаторов ему была чужда. Но именно его действия, предпринятые на исходе года, пробудили в американцах национальное самосознание. Его упорство в утверждении доктрины Монро в отношениях с Великобританией на примере Венесуэлы ознаменовало начало новой эры в американской истории столь же ярко, как подъем флага на флагштоке. Не было ни территориальных, никаких иных захватнических притязаний, проблема заключалась лишь в утверждении американских прав в том варианте, в каком они представлялись Кливленду и в особенности его упрямому госсекретарю Ричарду Олни. Шовинизмом, джингоизмом<sup>[34]</sup> и эмоциональной враждебностью заразились многие американцы, хотя эти чувства были присущи в большей мере богатым, влиятельным и громогласным кругам, нежели простым гражданам. В клубе «Юнион лиг»<sup>36</sup> насчитывалось 1600 членов, и «все мы 1600 человек, – заявлял один из них, – поддерживаем мистера Кливленда... Среди нас нет ни одного человека, который бы выразил несогласие». Республиканцы засыпали Белый дом поздравлениями и восторженными откликами, прислал свое послание и Теодор Рузвельт. Газета «Нью-Йорк таймс» потрясла всех грозными заголовками: «ГОТОВИМСЯ К ВОЙНЕ. СТРАНА ПОДНИМАЕТСЯ» или «ОНИ ХОТЯТ СРАЖАТЬСЯ С АНГЛИЕЙ: АРМИЯ И ФЛОТ РВУТСЯ В БОЙ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВТОРЖЕНИЕ В КАНАДУ». Хотя в самих репортажах тональность была гораздо менее милитаристская. Армейский военачальник,

которого цитировала газета, не говорил о планах вторжения в Канаду, а предупреждал о неадекватности американских войск и военно-морских сил и «позорном для Америки спектакле войны с Англией».

Воинственность заявлений по поводу Венесуэлы шокировала тех, кто оставался верен идеям отцов-основателей, то есть по-прежнему представлял себе Соединенные Штаты нацией, не признающей милитаризм, завоевания, регулярные армии и другие отвратительные атрибуты монархий старого мира. Традиции отцов-основателей были особенно сильны в Новой Англии и прежде всего среди людей старшего поколения, которым в 1890 году было более пятидесяти лет. Они мыслили как Джефферсон, а он говорил: «Если и есть один основополагающий принцип в душе каждого американца, то он заключается в том, что мы отвергаем политику завоеваний». Эти люди со всей серьезностью относились к Декларации независимости и ее главному постулату: правительство может быть справедливым лишь тогда, когда оно действует с согласия тех, кем управляет. По мнению этих людей, навязывание американского режима другим народам нарушает этот принцип и порочит благородное предназначение Америки. Истинная американская демократия – это факел, идеал, образчик нового образа жизни, предложенный взамен старого мира. Они были против рангов и дворянских титулов, бриджей, орденов и других приманок монархии, и когда на кораблях впервые появился ранг адмирала, один офицер фыркнул: «Называть их адмиралами? Никогда! Потом они захотят стать герцогами»<sup>37</sup>.

Первые иммигранты, привлеченные американской мечтой, были так же привержены идеалам отцов-основателей, как и старшие поколения американцев. Некоторые бежали после провала революции 1848 года, стремясь вырваться на свободу, подобно отцу Альтгельда или Карлу Шурцу, теперь 66-летнему журналисту, редактору, министру и сенатору, убежденному реформатору со времен администрации Линкольна. Другие бежали от гнета и нищеты в поисках новых возможностей, как, например, шотландский ткач, приехавший в Америку в 1848 году с двенадцатилетним сыном Эндрю Карнеги, или голландский еврей, делавший сигары и уехавший из лондонских трущоб в 1863 году с тринадцатилетним сыном Сэмюэлем Гомперсом. Ехали в Америку и добровольные изгнанники, те, кто просто хотел исчезнуть из старого мира, увлекшись романтикой демократии,

подобно Э. Л. Годкину, редактору «Нейшн» и нью-йоркской «Ивнинг пост». Для них, как и для тех, чьи предки прибыли в тридцатые годы XVII века, Америка была символом принципиально нового жизненного устройства, и во вспышке милитаризма они видели измену этим принципам.

«В тревоге за судьбы страны» Годкин решил выступить против нагнетания военной истерии вокруг Венесуэлы, рискуя вызвать неприязнь к газете со стороны «полубезумной публики». Он родился и вырос в семье англичан, предки которых обосновались в Ирландии еще в XII веке, служил корреспондентом британских газет во время Крымской войны и американской гражданской войны. Годкин стал редактором журнала «Нейшн», когда в 1865 году его основали сорок акционеров, вложив 100 000 долларов на борьбу за права трудящихся, негров, утверждение народного образования, «подлинно демократических принципов в обществе и государственном управлении». В 1883 году, оставаясь редактором «Нейшн», он заменил Карла Шурца на посту редактора газеты «Ивнинг пост» и, руководя этими двумя изданиями, по словам Уильяма Джеймса, «оказывал верховенствующее влияние на общественную мысль»<sup>38</sup>.

Благовидный и бородатый кельт отличался вспыльчивым и даже драчливым характером, став макрейкером [\[35\]](#) еще до того, как Рузвельт придумал это слово. Он настолько затравил политиков-коррупционеров «Таммани», что по их наущению его трижды арестовывали на протяжении одного дня по обвинению в клевете. Джеймс Рассел Лоуэлл разделял мнение английского журналиста, назвавшего «Нейшн» Годкина «лучшим периодическим изданием в мире», а Джеймс Брайс, прославившийся своим сочинением об Америке *The American Commonwealth* («Американское содружество» [\[36\]](#)), наградил «Ивнинг пост» эпитетом «лучшей газеты, когда-либо издававшейся на английском языке». Однако мнение губернатора Нью-Йорка Хилла было гораздо более политизированное. Он заявлял, что ему нет дела до «выскочек», читающих «Ивнинг пост»<sup>39</sup>, но это обстоятельство его явно беспокоило. «Беда в том, что чертову газетку читают все редакторы штата Нью-Йорк», – говорил губернатор. В том и заключалось тлетворное влияние Годкина: его мнения брали за основу другие манипуляторы общественным мнением, хотя, безусловно, не все. «Какая устрашающая умственная дегенеративность

может наступить, если постоянно читать “Нейшн” и “Ивнинг пост”», – писал Теодор Рузвельт капитану Мэхэну в 1893 году.

В 1895 году Годкину было шестьдесят четыре года, и его очень волновало будущее. Соединенные Штаты, писал он другу, «обладают огромной силой и готовы зверски применить ее, не зная пока, как это сделать, и потому постоянно пребывают на грани ужасной катастрофы»<sup>40</sup>. На самом деле, Соединенные Штаты в данный момент уже имели один линейный корабль в полной боевой готовности, и Годкин не без оснований опасался «безумия» джингоистов. Он думал, что дух «бешеного оптимизма» неизбежно приведет к беде.

В равной мере был обеспокоен будущим и Уильям Джеймс, профессор философии Гарварда. «Полезно знать, – писал он по поводу Венесуэлы, – как неглубоко во всех нас зарыт давний боевой дух и как мало надо для того, чтобы он выплеснулся наружу. И если его действительно пробудить, то назад пути не будет»<sup>41</sup>. Коллега Джеймса по Гарварду Чарльз Элиот Нортон, профессор изобразительных искусств, толкователь и арбитр культурной жизни в Америке, осудил воинственный дух в американском обществе на собрании в Шепардской мемориальной церкви Кембриджа. «Аплодисменты жестокости»<sup>42</sup>, раздающиеся то там, то здесь по всей нации», говорил он, не могут не вызывать «серьезных опасений» за будущее у каждого разумного почитателя своей страны».

Нортон, седовласый, немного сутулый, говоривший сиплым, но мелодичным голосом с акцентом бостонского брамина, очаровывал «изысканной мягкостью манер» и непринужденно чувствовал себя в любой аудитории<sup>43</sup>. Он родился в 1827 году, через год после смерти Джефферсона и Джона Адамса, и был подлинным представителем пуританского и либерального мировоззрения старшего поколения. Его отцом был Эндрюс Нортон, «унитарный папа» Новой Англии и профессор духовной литературы Гарварда, женившийся на Кэтрин Элиот, дочери богатого бостонского купца, и происходивший из рода священников, начало которому положил Джон Нортон, пуританин, эмигрировавший в Америку в 1635 году.

Подобно лорду Солсбери, Нортон верил в естественность господства класса аристократов, в основе которой, по его мнению, лежали не права землевладения, а общность культуры, образованность, утонченность натур и манер. Его огорчало исчезновение этого класса,

и в своих лекциях он яростно бичевал экспансию вульгарности. Пародируя его, один из студентов говорил: «Сегодня я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу ужаа-саа-ющего про-явлее-ния вульгаа-р-нос-ти ВО ВСЕМ». Студентка в Радклиффе записала в дневнике за 1895 год, каким «умиротворенным и довольным он выглядел, когда говорил, что нам не следовало бы появляться на свет в этом дегенеративном и несчастном веке»<sup>44</sup>. Нортон был одним из первых вкладчиков в фонд журнала «Атлантик мансли», когда в 1857 году его создавал Джеймс Рассел Лоуэлл, позднее вместе с Лоуэллом редактировал «Североамериканское обозрение» и в числе сорока акционеров принимал участие в основании журнала «Нейшн».

Делясь переживаниями по поводу Венесуэлы, Нортон писал Годкину, что ультимативное заявление президента печально омрачает «завершение столетия» и вскрывает «самое худшее в нашей демократии... высокомерие и безрассудное своекорыстие». Больше всего его тревожило то, что демократия не служит «гарантией мира и цивилизованных отношений», поскольку она способствовала «возвышению пошлости, которой никакое школьное образование не прибавит интеллекта и разума». То же самое мог сказать и лорд Солсбери. Нортон выразил горечь человека, обнаружившего, что предмет его любви не столь прекрасен и чист, как он думал вначале. «Боюсь, – писал Нортон другу в Англии, – что Америка встала на долгий путь ошибок и дурных деяний и, по-видимому, все в большей мере будет превращаться в движущую силу беспорядка и варварства... Похоже, мир готовится приобрести новый опыт, познать новые страдания, которые приучат людей к жизни в новых условиях»<sup>45</sup>.

Но печаль Нортон от отличалась от беспросветного пессимизма Генри Адамса, который уезжал и возвращался в Вашингтон, метался между Европой и Америкой и, уподобляясь голодной вороне, непрестанно жаловался на жизнь. Адамс считал столетие «прогнившим и обанкротившимся», общество – «погрязшим в вульгарности, слабоумии, моральной атрофии», себя – «на грани умственного угасания» и «умирающим от душевной опустошенности». Находя жизнь в Америке невыносимой, он уезжал в Европу. Видя, что Европа для него в равной мере нестерпима, Адамс возвращался в Америку. Везде ему мерещились «упадок» и «мертвечина *fin de siècle*...<sup>[37]</sup> где ничто не могло всколыхнуть

удушливую атмосферу просвещения или потревожить онемелую апатию самодовольства»<sup>46</sup>. Венесуэльский кризис лишь убедил его в том, что «общество сегодня прогнило гораздо в большей мере, чем когда-либо в известные мне времена»: «Все построено на долгах и мошенничестве». Адамс выражал не столько настроения в обществе, сколько собственные чувства, издерганные финансовой паникой 1893 года. Как и большинство людей, Адамс приписывал обществу личные ощущения импотенции и паралича. В 1895 году он говорил о себе: «Я впал в декадентство, и у меня не осталось жизненной энергии для высоких чувств». «Прогнивший» уходящий век тем не менее бурлил жизненной энергией, и ему надо было лишь повнимательнее присмотреться к некоторым представителям своего сословия вроде Лоджа и Рузвельта и увидеть «бешеный оптимизм», отмеченный повсеместно Годкином.

Хотя Нортон и был на десять лет старше Адамса, он не лишал себя оптимизма, находя, например, удовлетворение в том, что потеря некоторых моральных ценностей компенсируется успехами в повышении благосостояния человека. «Сегодня гораздо больше материально обеспеченных людей, чем когда-либо в истории мира», — писал он в 1896 году, добавляя не без восторга: «Как интересно жить в наше время»<sup>47</sup>.

Последние годы действительно были насыщены событиями. На президента Кливленда посыпались неприятности. Нацию охватили волнения индустриальных рабочих. После финансовой паники 1893 года последовала депрессия. В 1894 году армия безработных под предводительством Кокси вышла на улицы Вашингтона, и кровавая Пульмановская стачка перепугала обе стороны конфликта, обострив противостояние труда и капитала. На выборах в конгресс в ноябре республиканцы обеспечили себе надежное большинство в палате представителей, получив преимущество в 140 мест (244 против 104), и когда в декабре 1895 года открылся 54-й конгресс, в кресле спикера появилась знакомая черная мощная фигура с круглым белым лицом.

Рид теперь обладал почти самодержавной властью. Грозные баталии первого срока остались в далеком прошлом, почти забылась и партизанская война на посту лидера меньшинства, на котором он прослужил два срока. Вновь став спикером палаты представителей, Рид получил неограниченные полномочия. «Он правит силой своего



интеллекта», – говорил один из членов палаты. Его вышколенные партийцы, хотя иногда и проявляли строптивость, привыкли подчиняться. Если спикер поднимал руку, они вставали как по команде; если случайно кто-то вскакивал, намереваясь выступить, спикер, не желая этого, опускал руку вниз и нарушитель послушно садился на свое место. «Он умел держать палату представителей в узде, как никто другой из спикеров», – писал сенатор Каллом из Иллинойса.

Рид строго следил за тем, чтобы члены парламента вели себя достойно и этично, запрещал курить и появляться в сорочках без рукавов. Он даже объявил борьбу с общепринятой и любимейшей привычкой закидывать ноги на стол. Один член палаты, у которого на ногах были ослепительно-белые носки, забылся, комфортно развалился в этой позе и тут же получил записку от спикера: «Царь повелевает опустить эти флаги перемирия»<sup>48</sup>.

У него не было ни фаворитов, ни ближайших соперников, и он правил единолично. Дабы не давать повода для кривотолков, Рид никогда не ходил на публике в сопровождении кого-либо из членов палаты. Его одинокая, громоздкая фигура каждое утро неторопливо шла от старого отеля «Шорем» (тогда располагался на 15-й улице и Эйч-стрит) на Капитолийский холм, иногда кивала кому-то головой, но совершенно не обращала внимания на зевак, не спускавших с нее глаз.

В его облике всегда присутствовала аура «безмятежной величавости»<sup>49</sup>, говорил о нем коллега, что определялось философией «отрешенности от ординарных жизненных забот и тревог». Рид раскрыл секрет своего безмятежного душевного состояния в разговоре с приятелем, который пришел поболтать о политике и застал спикера за чтением поэмы «Касыда» сэра Ричарда Бёртона<sup>50</sup>. Рид зачитал ему несколько строк:

Поступай, как зрелость мужчины велит. Не смотри на других, сам себя похвали. Благородный всегда благородным умрет, Если сам законы творил, по которым живет [\[38\]](#).

Рид верил в эффективность «самодельных» законов и мог позволить себе не суетиться. Однажды член палаты от Демократической партии, которого спикер осадил, отвергнув его замечание по регламенту, напомнил, что в руководстве «правила Рида» иначе трактуется данный инцидент. Он послал за книгой, перелистал

страницы, нашел соответствующий параграф, подошел к трибуне и триумфально положил ее перед спикером. Рид внимательно прочел абзац, посмотрел на депутата своими карими глазами и сказал безапелляционно: «О! В книге ошибка».

Во время венесуэльского кризиса Рид практически не выступал с публичными заявлениями, следил за поведением республиканцев и полностью полагался на здравомыслие Кливленда и его антипатию к зарубежным авантюрам и джингоистам, замышлявшим всякого рода аннексии. Спикер не разделял экспансионистские настроения. Он считал, что величие Америки должно создаваться дома улучшением жизненных условий и совершенствованием политического самосознания американцев, а не навязыванием американских порядков полуобразованным народам, не поддающимся ассимиляции. По его глубокому убеждению, Республиканская партия была поборником этого принципа, а экспансионистскую политику республиканцы должны не только осуждать, но и отвергать<sup>51</sup>.

В 1896 году предстояли президентские выборы, и Рид решил баллотироваться. Демократы вздорили, и казалось, что у республиканцев есть все шансы победить. За номинацию в кандидаты стоило побороться. «Он находится в прекрасной физической форме, – сообщал Рузвельт, – а общая ситуация ему благоприятствует». Рид сбрил усы и этим жестом, по мнению одного репортера, доказал «серьезность своих намерений», что предполагало также и определенный отказ от язвительного остроумия. Номинацию в кандидаты осложняло только то, что его самыми яркими сторонниками были Лодж и Рузвельт, чьи взгляды на экспансию кардинально отличались от его позиции, хотя это еще и не превратилось в камень преткновения. «Я всем сердцем за Рида», – заявлял Рузвельт<sup>52</sup>.

Однако Рид не был готов к тому, чтобы обеспечивать себе поддержку общепринятыми методами. Когда члены палаты потребовали частных законопроектов об ассигнованиях для своих регионов, без чего они не могли успешно заниматься агитацией в его пользу, спикер вознегодовал. «Ваш законопроект не пройдет, если вы даже оборвете все пуговицы на сюртуке Рида», – сказал он одному ходоку. После того как железнодорожный магнат из «Садерн пасифик» Коллис П. Хантингтон в третий раз обратился с просьбой о встрече к менеджеру кампании Рида члену палаты представителей Ф. Дж.

Олдричу, спикер, наконец, разрешил Олдричу встретиться с ним, но предупредил: «Помните, ни доллара от Хантингтона в фонд моей кампании!» Олдрич все-таки разговаривал с Хантингтоном и признался, что Рид позволит лишь скромные пожертвования от личных друзей, собрав в итоге 12 000 долларов. Раздраженный магнат сообщил, что соперники Рида не столь щепетильны в деньгах. «Другие охотно берут их», – сказал он, дав понять, что сделал ставку на иного претендента<sup>53</sup>.

Не скупился на пожертвования в пользу кандидата-соперника Марк Ханна, босс Огайо, во время предыдущей кампании избравший вначале Рида, но разочаровавшийся в нем, обнаружив, что у него чересчур сардонический и несговорчивый характер и слишком восточная манера ораторствовать. По мнению Генри Адамса, Рид был «слишком умен, своеволен и циничен» для партийного вождя<sup>54</sup>. Ханна нашел своего человека в полной противоположности Риду, дружелюбном, сладкоречивом и миловидном Мак-Кинли, чье главное убеждение, как уже все знали, состояло в том, чтобы непременно всем нравиться. Казалось, он был рожден для того, чтобы им командовали. Он не нажил врагов, а его взгляды по животрепещущей проблеме денежного обращения, как тактично написал биограф, были столь неопределенные, что не могли вызвать неприязнь ни сторонников серебра, ни поборников золотого стандарта. Риду пришлось сожалеть о назначении Мак-Кинли председателем комитета по методам и средствам, поскольку это способствовало его возвышению как спонсора законопроекта о тарифах. Со времени 51-го конгресса, когда Мак-Кинли выступил с возражениями против подходов спикера к разрешению проблемы кворума, Рид старался не прибегать к его услугам. Он считал его бесхребетным, выразив это мнение в хлесткой и запоминающейся фразе: «У Мак-Кинли твердости не больше<sup>55</sup>, чем в шоколадном эклере»<sup>[39]</sup>.

Ханна же видел в Мак-Кинли не шоколадный эклер, а Лоэнгрина, и был убежден в том, что сможет обеспечить его номинацию, если его соперники будут разделены и не объединятся вокруг одного из лидеров – прежде всего Рида, единственного человека, пригодного на пост президента. Ханна в то же время понимал, что негибкая натура Рида не позволит ему пойти на уступки ради приобретения сторонников. И он был прав. Восточные лидеры, видя, что лагерь Рида

не предлагает никаких стимулов и приманок, предназначили свои голоса другим претендентам. Рид действительно ничего не делал для привлечения сторонников. Когда политический вожак из Калифорнии попросил место для человека из своего штата в Верховном суде, Рид отказался содействовать, сказав, что номинация ничего не стоит, если должна сопровождаться сделками. Калифорнийский босс вскоре появился в команде Ханна. Когда губернатор Мичигана Пингри, командовавший всеми делегатами из своего штата, приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с Ридом, Олдрич с большим трудом уговорил спикера покинуть свое кресло в зале заседаний и спуститься в офис, где его давно поджидал гость. Когда Рид наконец пришел в кабинет и Пингри изложил ему свои взгляды на свободное обращение серебра, спикер, для которого эта проблема была малопонятна, сразу же сказал об этом. «Пингри хотел поддержать Рида, – говорил потом Олдрич. – Он ушел ни с чем и предложил свою помощь Мак-Кинли».

Рид все понимал, но не мог поломать свою натуру. «Некоторым людям свойственно всегда стоять прямо, – говорил он. – А некоторые люди, даже очень богатые и высокопоставленные, почему-то любят прогибаться и ползать».

Когда Рид мастерски разнес в пух и прах проблему свободного и дешевого серебра, которая имела отношение в большей мере к классовой борьбе, а не к денежному обращению, Рузвельт с энтузиазмом написал ему: «О Господи! Я все отдал бы за то, чтобы вы стали нашим знаменосцем». Временами, правда, Рид и «весьма раздражал» Рузвельта, не желая поддержать его планы создания большого военно-морского флота. «Честное слово! – жаловался Рузвельт Лоджу<sup>56</sup>. – Мне думается, что Риду следовало бы обратить внимание на ваши и мои пожелания». Напрасно было ожидать этого от человека, не «обращавшего внимания» ни на чьи пожелания. К неудовольствию Лоджа, Рид отказался «пообещать должности и в правительстве, и ниже, а также выделить ассигнования для заманивания делегатов с Юга». Ханна, купавшийся в деньгах, активно скупал на Юге и белых, и черных республиканских делегатов. «Они были за меня, пока не началась скупка», – говорил Рид.

Он не отличался сангвинизмом и перед съездом написал Рузвельту о намерении заняться частной адвокатской практикой. «Одним словом, мой дорогой мальчик<sup>57</sup>, я устал от всего этого и хочу

быть уверенным в том, что синдикату (имеется в виду сообщество Мак-Кинли) не придется оплачивать мои долги... Кроме того, грозди винограда теряют в цене и киснут и вся эта история похожа на фарс».

В июне в Сент-Луисе Лодж выступил с речью на номинации. Рид набрал 84 голоса при первой баллотировке, а Мак-Кинли – 661 голос. Грозди винограда Рида явно теряли в цене.

Президент Кливленд также был отвергнут на съезде демократов, отдавших предпочтение амбициозному 36-летнему конгрессмену из Небраски, прославившемуся ораторским умением воздействовать на толпу и одарившему участников конвента самой пламенной и запоминающейся риторикой со времен знаменитого воззвания Патрика Генри «Дайте мне свободу, или дайте мне смерть»: «Отстаивая правое дело, более священное, чем свобода... не надо надевать на трудящихся терновый венец. Не надо подвергать человечество распятию на золотом кресте». Когда истерия закончилась, губернатор Альтгельд обратил свое «уставшее лицо» к Кларенсу Дарроу и, лукаво улыбаясь, сказал: «Я задумался над смыслом речи Брайана. А о чем он говорил?»<sup>58</sup>

Президентская избирательная кампания разожгла эмоции и взаимные чувства ненависти. Сторонники серебра возненавидели патриотов золота, народ – интересы большого капитала, фермер – железнодорожников, отбивавших у него доходы высокими транспортными тарифами, маленький человек – банкира, биржевого спекулянта и держателя ипотеки. Республиканцы опасались, что после хомстедского и пульмановского насилия победа демократов приведет к краху капиталистической системы. Фабриканты предостерегали рабочих: если выберут Брайана, то «утром в среду раздастся последний заводской гудок»<sup>59</sup>. Даже журнал «Нейшн» выступил в поддержку Мак-Кинли. Когда он победил, бизнес успокоился, убедившись в бесперспективности социального протеста. «Эра Марка Ханны»<sup>60</sup>, – написал один современник, – ознаменовала кульминацию в вызывающем и наглom поведении сильных мира сего. Я хорошо запомнил очаровательную бульдожью манеру, с которой Ханна защищал неограниченную власть частных монополий... Это вряд ли повторится с такой же бесстрашной наглостью когда-либо еще».

Арена теперь освободилась для другой битвы, в которой решится судьба и Рида, и его страны. Кливленд не поддавался давлению, когда

конгресс принял резолюцию, признающую кубинских повстанцев воюющей стороной и разрешающую продажу им вооружений. Резолюция «лишь отражает мнение выдающихся джентльменов, проголосовавших за нее», объяснял он, а поскольку полномочиями признавать или не признавать кого-либо обладает лишь исполнительная власть, то она воспринимает ее как «рекомендацию», которая «никак не меняет позицию правительства». Теперь его место занял Мак-Кинли, и хотя он лично был против войны с Испанией, у него еще не выработалась привычка следовать своим убеждениям. В Испании премьер-министр Кановас был мертв, там правили более слабые властители. В Нью-Йорке Уильям Рэндольф Хёрст, скупивший «Джорнал», осваивал издательский опыт редактора «Дейли мейл», первой в Англии газеты стоимостью полпенса. Когда его спросили «Что продает газету?», он ответил кратко и понятно: «Война»<sup>61</sup>. Хёрст рьяно помогал спровоцировать войну публикацией страшных историй об испанских зверствах, героизме кубинцев, предопределении и долге Америки, в немалой степени его подстегивала и борьба за тиражи с Джозефом Пулитцером, издателем «Уорлда».

Новым фактором мировой политики стала победа Японии над Китаем в локальной войне 1895 года, заставившая всех признать Японию восходящей державой на Дальнем Востоке, а кайзера Вильгельма II – изобрести *die Gelbe Gefahr*, «желтую угрозу». Военно-экономический взлет Японии напомнил о насущной необходимости Перешеечного канала и подтвердил обоснованность выводов капитана Мэхэна о важном значении для его обороны Кубы в Карибском бассейне и Гавайев в Тихом океане. В серии статей в 1897 году Мэхэн доказал, что Карибское море является стратегическим военным перекрестком, который можно контролировать с Ямайки или Кубы, но с точки зрения общей ситуации, ресурсов и расстановки сил Куба, безусловно, имеет «бесспорные преимущества».

Такое же мнение высказал в сенате Лодж, повторив аргумент о «необходимости» Кубы для функционирования канала. Для сенаторов, больше заинтересованных в материальных ресурсах, а не в стратегических преимуществах, Лодж красочно описал «великолепное расположение» острова... хотя и малонаселенного, но «беспредельно плодородного» и предлагающего прекрасные возможности для инвестиций американского капитала и поставок американских товаров.

Рузвельт, у которого не имелось аналогичного форума, растолковывал те же самые доводы в любой доступной аудитории. Но одному выдающемуся слушателю не понравилась громогласная пропагандистская кампания Лоджа и Рузвельта.

Чарльз Уильям Элиот, президент Гарвардского университета, гордости Новой Англии, выступая в Вашингтоне по острой проблеме международного арбитража, осудил доктрину «джингоизма» как «агрессивную»<sup>62</sup>. Она присуща странам, в которых всегда существовал «милитаристский класс», говорил он, и «абсолютна чужда американскому обществу... хотя некоторые мои друзья и пытаются представить ее в виде патриотического американизма». Затем он изложил принципы, отличающие Америку от старых наций. «Создание военно-морского флота и огромной регулярной армии... означает отказ от сугубо американских ценностей... Строительство флота и особенно линейных кораблей есть английская и французская политика. И она никогда не должна быть нашей». Американская политика всегда основывалась на нравственной силе мира, в то время как джингоизм является порождением грубой физической «драчливости человека». Элиот намеренно назвал Лоджа и Рузвельта «джингоистами», а в частном порядке, как говорили, обозвал их еще «дегенеративными сынами Гарварда»<sup>63</sup>.

Элиот был бесспорным авторитетом<sup>64</sup>. Он был потомком Элиотов и Лайманов, обосновавшихся в Новой Англии еще в XVII веке, и принадлежал к клану людей, считавших себя лучшими из лучших. «Элиза, – осуждающе говорила госпожа Элиот подруге, когда та вступила в епископальную церковь, – и ты опускаешься на колени и называешь себя несчастной грешницей? Ни я, никто из членов моей семьи никогда не сделал бы этого!»<sup>65</sup> Его отец был мэром Бостона, конгрессменом и казначеем Гарварда и в этом качестве – членом «семиглавой корпорации», правления Гарвардского университета, названного одним британцем «правительством семерых кузенов». Он уже сам прослужил четверть века президентом Гарварда, выдержав битву с традиционалистами за превращение колледжа из захолустного заведения XVIII века в современный университет. На протяжении всего этого времени, по словам Хайда, президента Боудин-колледжа, Элиота «не понимали, представляли в ложном свете, о нем злословили», и Элиот сам признавался, что во время публичных

выступлений тех лет «меня не покидало чувство, что я обращаюсь к враждебной аудитории». Но это его не останавливало: он был по натуре бойцом и никогда ни перед кем не заискивал. Ростом более шести футов, со «спиной гребца» и «скульптурной, словно высеченной в камне головой», Элиот обладал «благородной, импозантной внешностью» человека, рожденного повелевать. Земляничное родимое пятно, покрывавшее одну сторону лица и кривившее губы в надменно-презрительную усмешку, с детства приучило его к одиночеству. Тем не менее вопреки и этому недостатку, и тому, что он был профессором химии, ученым, его назначили президентом Гарварда в возрасте тридцати пяти лет. Идеалом человека в его представлении было «сочетание джентльмена и демократа». Он был непоколебим в том, что считал правильным и справедливым. Когда ведущего игрока исключили из университетской бейсбольной команды за плохую успеваемость, рассказывали, будто Элиот заметил: невелика потеря, он и на поле обманывал. «Он же делал вид, что бросает мяч в одном направлении, а бросал его – В ДРУГОМ!» – объяснял профессор.

Борясь с летаргией твердолобых консерваторов, Элиот открывал курсы изучения современных наук, ввел факультативную систему, сформировал профессорско-преподавательский состав, прославивший Гарвард, способствовал возрастанию престижа правоведения и медицины, совершенствованию американской системы высшего образования в целом. Когда в 1894 году отмечалась двадцатипятилетняя годовщина его президентства, ему выражались лишь чувства глубочайшего почтения и восхищения. Его превозносили как величайшего президента Гарварда и «самого выдающегося гражданина» Соединенных Штатов. Говорили, будто Бостонский симфонический оркестр не начинал играть до тех пор, пока он не появлялся, и родимое пятно уже считалось не физическим недостатком, а «эмблемой триумфа над превратностями жизни».

Рузвельту же, которому тогда было тридцать восемь лет, Элиот казался одним из твердолобых консерваторов, не желавших понять истинное предназначение Америки. Усвоив идеи Мэхэна, он жаждал, чтобы его страна всесторонне подготовилась к величию, предначертанному ей судьбой. Несогласие с ним некоторых влиятельных людей, его современников, Рузвельта раздражало. «Если нам не удастся стать подлинной нацией<sup>66</sup>, – писал он Лоджу, узнав, что



их обоих называли «дегенеративными сынами Гарварда», – то лишь из-за учений Карла Шурца, президента Элиота, газеты «Ивнинг пост» и других пустопорожних сентименталистов и проповедников международного арбитража, поощряющих формирование дряблых и робких натур, которые уничтожат великие бойцовские качества нашей расы».

Его бесило то, что сейчас, когда назревала война с Испанией, в Белом доме оказалась именно такая дряблая и робкая натура. Рузвельт хотел, чтобы в администрации непременно был кто-нибудь, обладающий сильным характером и способный подготовить страну к великим событиям. Рузвельт страстно желал, чтобы этим человеком, понимающим предназначение страны, был он сам, вооруженный самым необходимым для исполнения своей миссии средством – военно-морским флотом. Военно-морским министром в администрации Мак-Кинли был добродушный, дружелюбный и беспечный джентльмен, бывший губернатор Массачусетса Джон Д. Лонг. Рузвельт полагал, что если его назначат заместителем министра, то ему, обладавшему энергией и идеями, удастся взять на себя реальное управление делами министерства.

Так думал не только он. Лонг однажды сказал: «У Рузвельта есть все для того, чтобы стать министром в правительстве – характер, положение, способности, репутация. Если этот пост не слишком мал для него»<sup>67</sup>. Его назначению, сообщал Лодж приятелю после визита к Мак-Кинли, могли помешать лишь «опасения, что сразу же возникнет необходимость воевать с ним». Тем не менее Мак-Кинли, как всегда проявляя покладистость, 5 апреля 1897 года назначил Рузвельта заместителем министра, а 8 апреля он был утвержден. С. С. Макклур, наблюдательный и прозорливый редактор «Макклурз мэгэзин», понял всю подоплеку назначения Рузвельта и к чему оно может привести. «Надо незамедлительно встретиться с Мэхэном и поговорить с ним, – написал он соредактору. – Он – выдающийся военно-морской историк, великолепный знаток страны, и его область знаний будет все более популярной»<sup>68</sup>. Макклур предвидел, что можно ожидать от «политических близнецов эпохи». «Рузвельт представляется гораздо значительнее, – продолжал он. – Напишите ему и свяжитесь с его военно-морским персоналом. Мэхэн и Рузвельт – два сапога пара». Это действительно было так. Макклур уловил их жажду власти, силу и

широту амбиций. Когда в последний год века ему в голову пришла идея пригласить редактором Уолтера Хайнса Пейджа, он послал ему телеграмму: «Приезжайте немедленно. Нас ждут великие дела». Когда Пейдж согласился, Макклур ответил, что они создадут самую мощную редакционную силу в мире: «О, дружище, у нас с вами столько лет впереди!»

Надо было возрождать полузабытые планы аннексии Гавайев. Пытаясь расшевелить Мак-Кинли, Рузвельт доложил ему 22 апреля о том, что японцы послали крейсер в Гонолулу. Он также написал Мэхэну, попросив совета, как разрешить политическую проблему, которая возникнет, если мы завладеем островами. «Не делайте ничего несправедливого, – получил он классический ответ. – Возьмите сначала острова, а потом решайте проблему»<sup>69</sup>. Если бы у него были развязаны руки, написал Рузвельт, то острова были бы аннексированы уже «завтра», Испанию прогнали бы из Вест-Индии, построили бы дюжину линкоров, половину из них поставили бы у Тихоокеанского побережья. Он посетовал на достойную сожаления позицию конгресса, настроенного на то, чтобы приостановить строительство кораблей, пока не появится надежное финансирование: «Том Рид, к моему удивлению и негодованию, разделяет эту точку зрения».

Рид, не спускавший с поводка республиканцев, всегда мог погасить любые вспышки настроений в пользу аннексий, а как спикер должен был проводить в палате политику администрации. Но неясно было, в чем заключалась эта политика: в молчаливом противлении агрессии Мак-Кинли или в воинственности Лоджа и Рузвельта, подбадриваемой идеями Мэхэна и настояниями сахарного треста? Ответ на этот вопрос созрел в июне, когда Мак-Кинли подписал с правительством Гавайев новый договор об аннексии и отправил его на ратификацию в сенат. Хотя не было никакой уверенности в том, что две трети сенаторов одобрят договор, противники экспансионизма забеспокоились. Карл Шурц, которого Мак-Кинли, всегда стремившийся всем угождать, еще недавно заверял в своей незаинтересованности в Гавайях, напомнил об этом президенту после обеда в Белом доме в непринужденном разговоре с сигарами во рту<sup>70</sup>. Мак-Кинли, испытывая неловкость, объяснил, что отправил договор в сенат только для того, чтобы узнать мнение сенаторов. Тем не менее Шурц ушел из Белого дома с тяжелым сердцем и «предчувствием

беды». В Англии «Спектейтор» нервозно отметил, что договор знаменует «окончание исторической политики республики, проводившейся ею со времен основания... и ее постепенное превращение в менее миролюбивую и, возможно, более воинственную державу»<sup>71</sup>.

В отношении Кубы страна переживала явное перевозбуждение. Рид относился к истерии, сфабрикованной Хёрстом по поводу испанских притеснений, с пренебрежением и считал лицемерной одержимость республиканцев оказанием помощи Кубе. Он опасался, что его партия утрачивает моральную честность и трансформируется в организацию, стремящуюся из всего извлекать политическую выгоду и ориентирующуюся на невежественные капризы толпы. Без малейших колебаний и угрызений совести он пресек на корню резолюцию о признании «республики» Куба воюющей стороной. Мало того, Рид вынес на страницы периодических изданий полемику против экспансионизма – в статье с заголовком «Империя может подождать»<sup>72</sup>, воодушевившей противников аннексии Гавайев. В ней было произнесено ужасное слово: понятия «империя», «империализм», привычно обозначавшие драку держав за Африку, достигшую апогея в Европе, не использовались в Соединенных Штатах. Джеймс Брайс, единственный англичанин, которому разрешалось давать советы, призывал американцев отказаться от политики аннексий. Отдаленность Америки и ее мощь, писал он в «Форуме», освободила ее от бремени вооружений, разрушающего европейские державы<sup>73</sup>. Ее миссия заключается в том, чтобы «служить примером для других народов и государств и воздерживаться от ссор, войн и завоеваний, составляющих значительную и прискорбную часть истории Европы». Подключиться к «охоте за землями», в которую вовлеклись европейские государства, означало бы «полностью отказаться и предать забвению максимы славных отцов-основателей республики». Его слова пронизаны любовью к стране, которой он посвятил значительную часть своей жизни и свой главный труд, и надеждой на то, что Америка сдержит обещания, данные ею при рождении.

В замыслах своих Мэхэн, думая о войне с Испанией, переметнулся с островов Гавайи к далеким испанским владениям Филиппины. Его интересовали не столько новые земли, сколько

обретение морской мощи — основополагающая идея и цель, породившие знаменательную сентенцию о роли британского флота в Наполеоновских войнах: «Эти далекие и потрепанные штормами корабли, на которые Великая армия не обращала внимания, преграждали путь к мировому господству»<sup>74</sup>. В конце 1897 года он продолжил дискуссию, издав новую книгу *The Interest of America in Sea Power* («Интерес Америки к морской мощи»), в которую вошли основные статьи, опубликованные за последние семь лет. Мэхэн дал и полезную рекомендацию Рузвельту о назначении нового командующего Азиатской эскадрой, на которого можно всецело положиться, когда нагрянут серьезные испытания. Этим морским офицером был коммодор Джордж Дьюи, и перед ним ставились вполне конкретные задачи. «Наша Азиатская эскадра должна блокировать и по возможности завладеть Манилой», — писал Рузвельт Лоджу 21 сентября 1897 года. Он позаботился и о том, чтобы корабли обеспечили достаточными запасами угля.

15 февраля 1898 года у Гаваны взорвался и затонул американский бронированный крейсер «Мэн»: в катастрофе погибли 260 моряков. Хотя причины взрыва не были установлены, в той возбужденной атмосфере не могло быть иных подозрений, кроме как о подломе испанском заговоре. Милитаристы подняли истерику, заглушив голоса миротворцев. Мак-Кинли, как обычно, сначала ни на что не мог решиться, но, боясь раскола в партии, присоединился к всеобщему возмущению. Спикер Рид воздержался. Все два месяца, пока шли переговоры с Испанией, имевшие целью втянуть ее в войну, Рид пытался противостоять нагнетанию милитаризма, ограничивая время дебатов и не давая ходу резолюциям о признании независимости Кубы. Когда сенатор Проктор, владевший карьерами мрамора в Вермонте, выступил с пламенной речью, призывая к войне, Рид язвительно сказал: «Позицию Проктора можно понять. Война повысит спрос на могильные плиты»<sup>75</sup>. На него обрушилась патриотическая пресса, его решения вызвали негодование в палате, где, как и в стране, преобладали воинственные настроения. «Амбиции, своекорыстные интересы, грезы о новых землях, гордыня, обыкновенное ожидание хорошей потасовки, какие-то иные страсти, — писала «Вашингтон пост», — охватили людей, и на нас нахлынул прилив новых

ощущений... Публика почувствовала вкус к империи, вкус крови джунглей»<sup>76</sup>.

Ситуация накалилась до такой степени, что даже Рид уже не мог ее контролировать. Когда репортеры за завтраком в отеле «Шорем» попросили его прокомментировать стихию массовой жажды войны, Рид показал письмо от Мортон, губернатора Нью-Йорка, просившего спуститься в зал и отговорить членов палаты от поддержки интервенции. «Отговорить их! Равным образом губернатор мог попросить меня встать посреди пустыни Канзаса и остановить песчаную бурю!»<sup>77</sup> Рид не смог заблокировать ультиматум Испании, и он был принят таким подавляющим большинством голосов, 316 против шести, что это действительно напоминало бурю. Одному из шести оппонентов Рид сказал: «Завидую вам. Место, которое я занимаю, мне такого права не дает».

Война была объявлена 25 апреля 1898 года. Мэхэн в это время находился в Риме, и когда репортеры спросили, как долго будет идти война, он с навигационной точностью ответил: «Три месяца». Он сразу же вернулся домой, и Рузвельт назначил его одним из трех членов военно-морского комитета. Рузвельт послал ему план кампании на Филиппинах и, получив ответ, написал: «Без сомнения, вы на голову выше всех нас. Вы дали именно те предложения, которые нам нужны»<sup>78</sup>.

30 апреля эскадра commodore Дьюи вошла в Манильский залив и за один день, следуя приказу «Вы можете открывать огонь, когда будете готовы, Гридли», уничтожила или вывела из строя все испанские корабли и береговые батареи. Никогда еще страна не испытывала таких бурных чувств радости и гордости. «ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ» – провозгласила одна газета. Однако возникла проблема, о которой почти никто и не задумывался. А что дальше? Американцы в целом, как заметил господин Дули, даже не знали, что такое Филиппины – острова или консервы<sup>79</sup>. Даже Мак-Кинли «не мог в точности сказать, находятся ли эти чертовы острова на расстоянии двух тысяч миль»<sup>80</sup>. Последователи Мэхэна, безусловно, знали и их местонахождение, и то, что с ними надо делать. Через четыре дня после победы Дьюи в Манильском заливе Лодж написал: «Нам ни при каких обстоятельствах нельзя отказываться от островов... Американский флаг поднят и

должен там остаться»<sup>81</sup>. Поскольку на Филиппинах уже тридцать лет существовало движение за независимость, участники которого подвергались тюремному заключению, ссылкам и погибали, простое решение сенатора Лоджа не учитывало мнение местного населения. Лидером движения был 28-летний Эмилио Агинальдо, пребывавший в ссылке в Гонконге. После победы commodora Дьюи он сразу же вернулся на Филиппины.

В Америке война, хотя она и велась далеко и на территории врага, не утихомирила, а, напротив, встряхнула и заставила объединяться ее оппонентов. Внезапно появилась новая общность людей — антиимпериалистов. Профессор Нортон, которому уже было за семьдесят, стойко выдерживал оскорбления и угрозы насилия в отношении семьи и призывал студентов не участвовать в войне, которая «вынуждает нас выбрасывать за борт все самое ценное в нашем национальном достоянии»<sup>82</sup>. Бостонский политик ирландского происхождения требовал линчевать Нортон, пресса обзывала его «предателем», и даже сенатор Хор из Массачусетса отвернулся от него, но профессор не унимался. На собрании конгрегационалистской церкви в Кембридже он с горечью и сожалением говорил о том, что ему больно видеть, как на исходе века, отмеченного величайшими достижениями науки и надеждами на мир, Америка растаптывает свои идеалы и «развязывает несправедливую войну».

И в Бостоне он был далеко не единственным противником войны. Его мнение разделяли Мурфилд Стори, президент Реформаторского клуба Массачусетса и Лиги за реформу государственной службы, бывший президент Американской ассоциации адвокатов, и Гамалиил Брэдфорд, яростный критик правительства, затравивший газеты своими письмами. Первый Стори обосновался в Массачусетсе в 1635 году, а Брэдфорд был потомком первого губернатора Плимутской колонии. Совместно они устроили митинг протеста в Фаней-Холле, и здесь же 15 июня 1898 года, через три дня после декларации Агинальдо о независимости Филиппин, была создана Антиимпериалистическая лига<sup>83</sup>. Ее первым президентом стал восьмидесятилетний республиканец Джордж С. Баутвелл, бывший сенатор из Массачусетса и бывший министр финансов при президенте Гранте. Она не выступала против войн, но провозглашала, что освободительная война не должна превращаться в войну за империю.

Стяжание власти, денег и славы за рубежом отвлекает внимание от реформ дома и способствует утверждению сильного централизованного правительства, пренебрегающего традиционными правами штатов и свободами. Американцы должны разрешить внутренние проблемы – муниципальной коррупции, противоборства между трудом и капиталом, дезорганизованного денежного обращения, несправедливого налогообложения, использования служебного положения для личного обогащения, защиты прав цветного населения на Юге и индейцев на Западе – прежде чем брать на себя управление другими народами.

Лига объединила убежденных реформаторов – «независимых», диссидентов разного толка, демократов, все они волей-неволей стали противниками экспансионизма. Ее вице-президентами в разное время были очень уважаемые люди: бывший президент страны Кливленд, его бывший военный министр Уильям Эндикотт, бывший министр финансов и спикер Карлайл, сенатор «Питчфорд Бен» Тиллман, президент Станфордского университета Дэвид Старр Джордан, президент Мичиганского университета Джеймс Б. Эйнджелл, Джейн Аддамс, Эндрю Карнеги, Уильям Джеймс, Сэмюэл Гомперс, председатель Американской федерации труда, многие конгрессмены, церковные деятели, профессора, юристы, писатели. Новеллист Уильям Дин Хоуэллз назвал войну «самым отвратительным бизнесом»<sup>84</sup>. Когда его приятель Марк Твен возвратился из длительной зарубежной поездки, он тоже вступил в лигу. Помимо газеты Годкина «Ивнинг пост», ее добровольными рупорами были бостонская «Геральд», балтиморская «Сан», спрингфилдская «Рипаббликан»; поддерживали лигу и две республиканские газеты – бостонская «Ивнинг транскрипт» и филадельфийская «Леджер».

У антиимпериалистов замечался один серьезный недуг, проистекавший из проблем с неграми после гражданской войны и заключавшийся в том, что они настороженно относились к перспективе прибавления цветного населения. Ничего хорошего нам не принесет, писал довольно грубо Годкин в «Нейшн», «подневольный менталитет невежественных и неполноценных рас»<sup>85</sup>, с которыми американцы не могут иметь ничего общего, «если исключить особые интересы проходимцев и коррупционеров». Карл Шурц использовал аналогичные аргументы<sup>86</sup> в отношении канала, заявляя, что

империалисты, почувствовав вкус к экспансии, будут настаивать на том, чтобы по обе стороны канала была американская территория, и аннексируют страны «с населением 13 000 000 испаноамериканцев с примесью индейской крови», которые пошлют в конгресс двадцать сенаторов и пятьдесят или шестьдесят членов палаты представителей. Гавайи, где цветное население преобладало, представляли такую же угрозу.

Антиимпериалисты не смыкались с популистами, последователями Брайана и прогрессистами, которые появятся позже. Эти группы отвергали постоянные армии, большой флот и зарубежные авантюры. В теории они были антиимпериалистами, антимилитаристами и даже не любили Европу, но горели желанием сокрушить Испанию – жестокого европейского тирана, попирающего свободу у порога Америки. Брайан призывал к войне столь же громогласно, как и Теодор Рузвельт, и в порыве искреннего подобоострастия назначил себя полковником 3-го добровольческого отряда Небраски, правда, слишком поздно для участия в реальных боях на Кубе. Особой воинственностью отличился молодой юрист из Индианаполиса, в свои тридцать шесть лет уже прославившийся политическим красноречием и вскоре ставший лидером прогрессистов. С такой страстью, наверное, еще никто не выражал имперские и шовинистические эмоции. Подобно Брайану, Альберт Беверидж обладал опасным даром ораторского искусства, симулирующего способность мыслить и даже действовать. Перспектива войны возбуждала его<sup>87</sup>.

«Мы – раса завоевателей, – провозгласил он в апреле в Бостоне еще до победы американцев в Манильском заливе. – Мы должны подчиняться зову крови и захватывать новые рынки и, если необходимо, новые земли...» По велению Всевышнего, «низменные цивилизации и разлагающиеся расы» должны исчезнуть, чтобы появились «цивилизации людей более благородного и мужественного типа». Пангерманские энтузиасты в Берлине и Джозеф Чемберлен в Англии тоже рассуждали о пришествии «высшей расы», тевтонской или англосаксонской – в зависимости от географического местоположения предсказателей, но Бевериджу не надо было перенимать их идеи, у него имелись свои. В событиях своего времени он видел «поступательное движение вперед сильной нации и ее



свободных институтов», исполнение мечты, которую «Господь Бог заложил в головы» Джефферсона, Гамильтона, Джона Брайта, Эмерсона, Улисса С. Гранта и других «великих имперских мыслителей», мечты об «экспансии Америки, пока все моря не окрасятся цветами свободы и флагами великой Республики». Беверидж имел в виду флаги не столько свободы, сколько торговли. Американские фабрики и американская земля производили продукции больше, чем американцы могли употребить. «Наша политика уготована нам судьбой; мировая торговля должна принадлежать нам... Мы заполним океаны нашими торговыми судами. Мы построим флот, достойный нашего величия... Американские законы, американский порядок, американская цивилизация утвердятся на берегах, до настоящего времени пребывающих в крови и невежестве, но с помощью этих инструментов Господа впредь будут благодатными и прекрасными».

Беверидж настолько увлекся блестящими перспективами американского величия, что говорил о них совершенно искренне и откровенно. Он рассуждал о Тихом океане как «зоне нашего действия»: «Там у Испании есть островная империя Филиппины... И там у Соединенных Штатов есть мощная эскадра. Логически Филиппины – наша первая цель».

Летом многие добровольцами сражались на Кубе, болели желтой лихорадкой, более пяти тысяч умерли, но зов крови для самого Бевериджа оставался риторическим. Он предпочитал бороться с аргументами антиимпериалистов. «Куба – не прилегающая страна? Пуэрто-Рико – не прилегающий остров? Филиппины – не прилегающие острова?... Дьюи, Сампсон и Шлей сделают их прилегающими территориями, а американская сноровка, американские орудия, американский дух, ум и воля превратят их в прилегающие земли навсегда!.. Кто посмеет остановить нас, теперь, когда мы стали единым народом, достаточно сильным для исполнения любой миссии и великим для славного будущего, predetermined судьбой?» На следующий год Бевериджа избрали сенатором. «Мы ве-е-ликая нация, – говорил с пафосом мистер Дули<sup>88</sup>. – И са-а-мая лу-у-чшая нация в мире, как мы зна-а-ем».

Теодор Рузвельт в это время находился на фронте. Хотя он и занимал высокий и ответственный пост, заранее решил, что покинет

его, как только начнется война. Людей, подобных мне, писал он другу, в насмешку называют «джингоистами в креслах гостиных», и «все мои силы и старания ни к чему не приведут, если я не буду следовать принципам, которые отстаиваю»<sup>89</sup>. После Манильского сражения он сразу же ушел с поста заместителя военно-морского министра, отказался от командования добровольческим кавалерийским полком, предложенного военным министром Алджером, попросив разрешения служить в звании подполковника и под командованием друга – полковника регулярной армии Леонарда Вуда. Министр согласился. Через два месяца, 24 июня, он уже сражался при Сан-Хуан-Хилле. 3 июля наземные боевые действия закончились, и в ноябре героя, «отважного всадника» избрали губернатором Нью-Йорка.

Тем временем в конгрессе активизировались поборники аннексии Гавайев. Они не смогли набрать необходимые две трети голосов в сенате и решили прибегнуть к совместной резолюции, принять которую можно было простым большинством. Резолюцию предложили в сенате 16 марта, но Рид весь апрель сдерживал ее поступление в палату представителей. Вашингтонская газета «Пост» 15 апреля назвала его «самым опасным антагонистом в обществе». Действительно, он был единственным человеком, против которого не осмеливалась выступить даже такая неустрашимая персона, как Беверидж. Когда его попросили написать Риду, чтобы тот не мешал экспансии, Беверидж ответил: «Я думаю, что все мои попытки сокрушить эту глыбу, непоколебимую, как скала Гибралтар, будут напрасны»<sup>90</sup>.

Когда война затронула Тихоокеанский регион, даже Риду стало затруднительно сохранять твердость. Испытывая досаду, он признался Чампу Кларку из Миссури, что очень хотел бы, чтобы Дьюи поскорее «отплыл из этих мест»: «Пока он там, у нас все время будут проблемы». Сторонники аннексии утверждали: если Соединенные Штаты не возьмут Гавайи, то это сделают Великобритания или Япония, которая уже усиливает свое влияние, поощряя приток японцев, которых субсидирует правительство. Кроме того, острова расположены явно на путях Америки. «Гавайи нам нужны так же, если не больше, чем Калифорния, – говорил Мак-Кинли своему секретарю Джорджу Кортелью 4 мая. – Это перст судьбы».

4 мая резолюция была внесена и в палате представителей. Три недели Рид не поддавался нараставшему давлению. Ссылку на то, что Гавайи необходимы для разгрома Испании в Тихоокеанском регионе, он считал уловкой сахарных магнатов и империалистов. Его позиция расходилась с мнением президента, почти всех представителей его партии в конгрессе и многих друзей. «Оппозиция исходит исключительно от Рида<sup>91</sup>, который всеми силами отстаивает Гавайи», – писал Лодж Рузвельту. Рид даже начал обращаться за поддержкой к демократам. Когда будущий спикер Чамп Кларк, близкий друг, хотя и демократ, попросил Рида дать ему комитет по методам и средствам, он уговорил его взять на себя комитет по иностранным делам, поскольку ему нужна помощь Кларка, как человека, «имеющего схожие убеждения и способного бороться»<sup>92</sup>.

«Если это вас больше устраивает, – ответил польщенный Кларк, – то я готов быть с вами». Он отказался от места, которое давно стремился занять, ради того, чтобы поддержать самого непримиримого оппонента своей партии.

Но усиливался нажим в рядах собственной партии. 24 мая республиканские члены палаты представителей подписали петицию о формировании консенсуса в поддержку резолюции. Перед Ридом возникла угроза потерять все, чего он достиг в борьбе против «молчаливого кворума». Главным итогом этой борьбы и основой «правил Рида» было то, что всегда должна преобладать воля палаты представителей, выраженная большинством голосов. Рид понимал, что, используя свое положение, прекрасно зная и владея процедурными механизмами и опираясь на партнерство Кларка, он мог направить в нужное русло голосование по гавайской резолюции, но ему известны были и превалирующие настроения. Он осознавал, что и республиканское большинство желало аннексии, и вся палата представителей в целом готова была поддержать резолюцию. Применив все свои способности и полномочия, он мог заблокировать резолюцию, но этот его успех свел бы к нулю прежние достижения – реформу, гарантировавшую, что решения принимает палата представителей, и никакие процедурные ухищрения и арбитражное вмешательство спикера не повлияют на волю большинства. Испытывались на прочность и реформа, и его принципиальность. Ему надо было делать выбор между неприятием завоеваний и долгом

спикера, между личными убеждениями и парламентскими «правилами Рида».

И он сделал свой выбор. Зная истинную ценность достижениям на пятьдесят первом конгрессе, Рид подчинился воле большинства. Дискуссии начались 11 июня, а 15 июня резолюция была принята большинством голосов – 209 к 91, при практически единодушной поддержке республиканцев. Рид тогда отсутствовал. Его замещал Дальзелл, объявивший перед голосованием: «Спикер не смог прибыть из-за болезни, но просил меня сообщить, что если бы присутствовал, то проголосовал бы “против”». Рид без колебаний занял «позицию одиночки» в своей партии, написали в «Нейшн»: «Мужество противостоять общей мании и собственной партии – не столь распространенное политическое качество, и мы не можем не отдать должное человеку, который им располагает».

Аннексия Гавайев была ратифицирована 7 июля, через четыре дня после завершения войны на Кубе морским сражением у Сантьяго. Испанский флот, пытавшийся избежать американской блокады, был уничтожен превосходящей огневой мощью недавно введенных в строй линейных кораблей «Индиана», «Орегон», «Массачусетс», «Айова» и «Техас». Через две недели последовала капитуляция Сантьяго, закончилось владычество Испании, потерпевшей поражение не от кубинских повстанцев, а от Соединенных Штатов. Когда дело дошло до условий мира, возродились все прежние страсти последних трех лет, касавшиеся кубинской свободы, резолюций конгресса о признании независимости Кубинской республики и отсутствии намерений ее аннексии и создававшие серьезные препятствия для реализации концепции «необходимости» сенатора Лоджа. Завладеть Кубой в результате завоевания представлялось невозможным, несмотря на все стратегические и коммерческие выгоды. Более приемлемым казался вариант приобретения менее крупного острова Пуэрто-Рико. От Испании потребовали отказаться от Кубы и ее меньшего соседа и навсегда выдворили ее из Западного полушария. Степень независимости Кубы и характер ее отношений с Соединенными Штатами предстояло определить уже в условиях оккупации острова американскими войсками. В 1901 году была принята поправка Платта, фактически утвердившая американский протекторат.

12 августа в Вашингтоне были подписаны предварительные условия мира, касавшиеся Филиппин: переговоры о заключении договора намечалось провести в Париже. Подводя итоги войны, Лодж мог заметить с удовлетворением: «Мы стали одной из великих держав мира»<sup>93</sup> и, думается, произвели впечатление на Европу, которое надолго сохранится». Мэхэн в письме госпоже Рузвельт выражался более напыщенным слогом: «Жизнерадостная юность нашего народа осталась далеко позади и больше не вернется; нас ждут заботы и тревоги периода возмужалости и зрелости»<sup>94</sup>.

Дома антиимпериалисты на собраниях и митингах, в пламенных речах, петициях и статьях пытались удержать свою страну от порабощения архипелага в Тихом океане, казавшегося им роковым яблоком Эдема. Карл Шурц убеждал Мак-Кинли передать Филиппины под мандат небольшого государства вроде Бельгии или Голландии, чтобы Соединенные Штаты оставались «великой нейтральной державой мира»<sup>95</sup>. Во Франции всех занимало «дело Дрейфуса», и американцы тоже чувствовали, что для них наступил решающий исторический момент, когда определяется характер будущего нации. Общественность спорила: надо ли владеть Филиппинами или пусть ими распоряжаются сами филиппинцы. Даже в Мэхэне вдруг проснулась праведность. «*Deus Vult!*»<sup>[40]</sup> Это был клич крестоносца и пуританина. И я не знаю более благородного призыва», – написал он английскому приятелю по поводу того, что Америка обязана владеть Филиппинами.

В августе в Саратогe прошла трехдневная конференция, созванная общественными лидерами – сторонниками и противниками экспансионизма – для обсуждения «самых насущных проблем в истории республики»<sup>96</sup>. Экспансионисты приводили свой излюбленный аргумент – наличие в Азии рынка с неограниченными возможностями для американского предпринимательства. Выражая точку зрения антиимпериалистов, Генри Уэйд Роджерс, президент Северо-Западного университета и председатель конференции, указал на то, что нет никакой необходимости в аннексии территорий для торговли. Но его здравое замечание не вызвало такого же энтузиазма, с каким был встречен панегирик судьи Гроссапа, запомнившегося своим запретом Пульмановской стачки, а теперь предсказавшего «пришествие эпохи необычайной коммерческой активности». Имея

Филиппины и Гавайи, Соединенные Штаты будут контролировать все пути в Азию, «половину желанных территорий и треть населения земного шара».

Сэмюэл Гомперс осуждал политику завоевания чужих земель, считая, что она не только противоречит американским принципам, но и угрожает жизненным стандартам американцев, существующих на зарплату. Он привнес новый тезис в систему доводов антиимпериалистов. Когда на митинге в Чикаго Гомперс заявил, что присвоение Филиппин докажет «неправедность нашей войны», Эндрю Карнеги послал ему телеграмму, поздравив и предложив «вместе спасти республику»<sup>97</sup>.

Президент Мак-Кинли, поразмыслив и помолившись, принял решение, подсказанное советниками и популярное в партийных рядах: завладеть Филиппинами. Испанским представителям в Париже дали понять: сейчас не время торговаться по мелочам; мы забираем все. Им придется соглашаться или снова воевать. В качестве болеутоляющего средства Испании предложили 20 миллионов долларов. 10 декабря был подписан Парижский договор, передающий суверенитет над Филиппинами Соединенным Штатам с последующей выплатой 20 миллионов долларов после его ратификации. «Мы купили десять миллионов малайцев по цене 2 доллара за голову чохом, в россыпь, – прокомментировал язвительно Рид и добавил, отметив обстоятельство, на которое тогда вообще не обратили внимания: – И никто не знает, сколько нам придется заплатить, чтобы их собрать».

Агинальдо и его сторонники узнали о договоренности с горечью и негодованием, многие не могли поверить в то, что их бывшие освободители и союзники превратились в завоевателей. У них не было организованной армии и современных вооружений, но они приготовились к новым сражениям, не теряя надежды на мирный исход. Они знали об антиимпериалистических настроениях в Соединенных Штатах и думали, что сенат не ратифицирует договор.

На зимней сессии конгресса, открывшейся 5 декабря 1898 года, вокруг филиппинской проблемы разгорелась борьба, более ожесточенная, чем в связи с аннексией Гавайев. Республиканцы во главе с Лоджем пытались набрать необходимые две трети голосов, а противникам экспансионизма достаточно было заручиться поддержкой одной трети сенаторов плюс один голос. В палате представителей Риду

предложили сформировать коалицию демократов и республиканцев-антиимпериалистов, чтобы принять резолюцию против договора и обеспечить его фиаско в сенате. Хотя в Вашингтоне уже ни для кого не было большим секретом то, что Рид «недолюбливал» администрацию, он отказался поддержать инициативу. Рид по-прежнему оставался ее «штурманом» и не мог восстать против нее. Роль спикера ему уже досаждала. «Положение Рида безотрадное <sup>98</sup>, — писал Лодж Рузвельту. — Он говорит всякие дурные вещи об администрации и ее политике в частных беседах, и я стараюсь избегать его, потому что он мне симпатичен, а его позиция удручает и разочаровывает меня беспредельно».

Общественность была сбита с толку событиями на Филиппинах. Демократы и популисты были убеждены в том, что война на Кубе ведется во имя свободы. Теперь каким-то малопонятным образом она трансформировалась в навязывание своей власти другому народу по праву завоевателя. Америка заняла место Испании. В это беспокойное время американцам оставалось лишь прислушаться к совету, данному Кипплингом. 1 февраля 1899 года С. С. Макклур опубликовал в своем журнале его стихотворное увещевание:

Твой жребий —  
Бремя Белых!  
Как в изгнание, пошли  
Своих сыновей на службу  
Темным силам земли;  
На каторжную работу —  
Нету ее лютей, —  
Править тупой толпою  
То дьяволов, то детей...  
Твой жребий —  
Бремя Белых!  
Мир тяжелей войны:  
Накорми голодных,  
Мор выгони из страны... [\[41\]](#)

Американцы получили заверения в праведности своей миссии. Киплинг удачно совместил ее благородство и бескорыстие. Поэму многократно перепечатывали и цитировали, она успокоила совесть тех, кто опасался сползания страны в империализм.

В Вашингтоне складывалась ситуация, в которой, казалось, побеждали противники договора: республиканцам недоставало одного голоса для его ратификации. Неожиданно в Вашингтон прибыл Уильям Дженнингс Брайан и, к изумлению своих сторонников, призвал их проголосовать за договор<sup>99</sup>. Лидер демократов собирался стать знаменосцем партии в 1900 году, он нуждался в новом лозунге и понимал, что империализм может послужить удобным «терновым венцом». Брайан предвкушал, что проблема Филиппин, наделав столько шума, превратится в самую главную движущую силу кампании, но сначала надо было заявить свою позицию. Соответственно, он объявил партии, что не следует выступать против договора. Его указание шокировало многих законодателей. Сенатор Петтигру, «серебряный» сенатор из Южной Дакоты, настолько рассвирепел, что сказал Брайану: «С такими намерениями ему нечего делать в Вашингтоне». Баланс сил был очень шатким, решение проблемы, самой болезненной и значительной после Сецессии, зависело от голосования одного или двух колеблющихся сенаторов. Брайан к тому же высказался в том духе, что ратификация договора поможет закончить войну.

Голосование было намечено на 6 февраля, исход был совершенно непредсказуем, каждая сторона пыталась подсчитать все возможные «за» и «против», и в это время филиппинцы начали войну за независимость. Их отряды в ночь на 4 февраля напали на американцев под Манилой. В Вашингтоне, хотя вести и обострили ситуацию, никто не мог сказать, какой именно эффект они произведут. В петиции, адресованной сенату и подписанной экс-президентом Кливлендом, президентом Гарварда Элиотом и двадцатью двумя другими выдающимися деятелями, имевшими общенациональную известность, выражался протест против ратификации договора, если в него не будут включены положения о недопустимости аннексии Филиппин и Пуэрто-Рико. «В соответствии с принципами, на которых основана наша республика, мы считаем своим долгом признавать права местного населения... на независимость и самоуправление», —



говорилося в обращении. В нем также напоминалось: ранее Мак-Кинли заявлял, что насильственная аннексия Кубы была бы «преступной агрессией согласно нашему моральному кодексу», то же самое мы можем сказать сегодня об аннексии Филиппин.

6 февраля в сенате за договор было подано 57 голосов, против – 27: его утвердили с преимуществом всего в один голос. «Это было самое напряженное и ожесточенное противостояние»<sup>100</sup>, – отметил Лодж. Все хорошо понимали, что решающее влияние оказал Брайан. К тому времени, когда в сенате подсчитали голоса, на Филиппинах погибли 59 американцев, 278 – получили ранения, филиппинцы потеряли около 500 человек. Предсказание Рида о неминуемой расплате за «головы малайцев» начало сбываться.

«Меня тошнит от того, с какой рвотной легкостью страна выплюнула старые принципы при первом же позыве», – написал Уильям Джеймс в частном письме<sup>101</sup>. В бостонской газете «Ивнинг транскрипт» он уже менее эмоционально отмечал: «Сейчас мы попираем самое святое в великом человеческом мироздании – желание поработенного народа освободиться и самому определять свою судьбу». Таких людей, как Джеймс, больше всего печалило то, что они расставались с умирающей «американской мечтой». Америка, писал Нортон, «утратила уникальную роль лидера прогресса цивилизации и заняла свое место в ряду обыкновенных алчных и своекорыстных наций современности»<sup>102</sup>.

Многие с душевной болью восприняли расстрел филиппинцев американцами. Антивоенные настроения усилились, членство Антиимпериалистической лиги выросло до полумиллиона человек, ее отделения открылись в Бостоне и Спрингфилде, в Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Цинциннати, Кливленде, Детройте, Сент-Луисе, Лос-Анджелесе, в Портленде и Орегоне. «Мы обманули всех, кто верил в нас, – написал Мурфилд Стори<sup>103</sup>. – Эта великая свободолюбивая страна, более столетия служившая прибежищем для угнетенных народов всего мира, сама стала угнетателем». Последние надежды он возлагал на Рида, которого и Рузвельт называл «самым влиятельным человеком в конгрессе»<sup>104</sup>. Стори написал сенатору Хору, умоляя его убедить Рида в необходимости активных действий: «Он проявляет вялость в таком

важном деле, и ему недостает злости и агрессивности. Если он выступит сейчас, то станет нашим следующим президентом»<sup>105</sup>.

Но было поздно. Вялость, охватившая Рида, была характерна для человека, уставшего от борьбы. Люди, чьи главные интересы находились вне политики, могли испытывать и более глубокие разочарования, но не чувствовать себя сломленными. Вся жизнь Рида была связана с конгрессом, деятельностью представительного типа власти и проведением той политики, которую он считал единственно верной. Сейчас его партия и страна встали на путь, казавшийся ему в корне ошибочным и неприемлемым. Он мог «вспыхнуть, как факел»<sup>106</sup> при одном упоминании экспансионизма, говорил о нем один журналист. Он оказался в положении пловца, не желавшего плыть по течению, но не способного преодолеть его встречную силу.

Как и его нации, ему предстояло делать выбор. Рид мог прослужить еще один срок на посту спикера, но он уже и сам понимал, что слишком очевидным стало его неприязненное отношение к администрации, волю которой должен был исполнять. Джо Кэннону и многим другим прежним соратникам не нравились его антагонизм и колкости в адрес президента, но никто из них не осмеливался открыто выступить против него. Президенту не доставало мужества подобрать замену. Рид знал, что способен удержать бразды правления в руках, но тогда он окажется в положении человека, отбивающегося от стаи собак, хватающих за ноги. Он выглядел «мрачным и угрюмым»<sup>107</sup> в те дни, когда бывшие сподвижники от него уходили.

Оставаться на посту спикера означало бы проводить на Филиппинах политику, которую он отвергал. Это означало бы продолжать быть спикером партии Линкольна, давно ставшей родной, а теперь избравшей курс, который «подло лишает последних надежд на лучший миропорядок». Своему давнему другу и секретарю Ашеру Хиндзу Рид писал: «Я всегда старался поступать по совести, теперь я не смогу это делать». В политике он больше не находил ни цели, ни смысла жизни. Перед ним открылась обычная человеческая драма: нам легко начертать образ прекрасного будущего, но трудно его реализовать.

Он сделал свой выбор в феврале 1899 года после голосования по договору. Рид не выступал с публичными заявлениями, но в прессе уже начали распространяться слухи об уходе из политики. Когда

репортеры обратились к нему с вопросами по поводу Филиппин и билля о Никарагуанском канале, он ничего не ответил, а лишь изобразил на лице «усталость и отвращение»<sup>108</sup>. В апреле после закрытия пятьдесят пятого конгресса Рид все-таки распорядился дать официальное извещение. Произошло невероятное. Спикер Рид уходит из конгресса, а после каникул в Европе займется частной юридической практикой в Нью-Йорке адвокатом – старшим партнером в компании «Симпсон, Тэтчер энд Барнум».

«Конгресс без Тома Рида! Непостижимо!» – восклицал автор редакционной статьи в нью-йоркской газете «Трибьюн»<sup>109</sup>. У всех возникало чувство, похожее на шок, появляющийся обычно, если на месте привычной местной грандиозной достопримечательности вдруг обнаружится зияющий провал. «Таймс», никогда не симпатизировавшая этому человеку, опубликовала полноценную редакционную колонку на тему «общенациональной утраты». Газета сделала многозначительное замечание: «не все в порядке с политической системой», если такой деятель вынужден уйти из нее и поменять политику на частную юридическую практику. Вашингтонский корреспондент назвал уход Рида «бедствием» для конгресса в смысле неизбежного понижения эффективности и качества после отставки спикера. Годкин<sup>110</sup> в газете «Ивнинг пост» тоже посвятил скорбную статью удалению от политических баталий «редкостного феномена здравомыслящего человека».

Сам Рид так и не выступил с публичными разъяснениями, написав лишь своим избирателям в штате Мэн: «Должность, дающая только отличительный знак на сюртуке, ничего не стоит». Когда репортеры заявили Риду, загнав его в угол в нью-йоркском отеле «Манхэттен», что публика ждет от него ответа, он сказал: «Публика! Она меня не интересуется»<sup>111</sup>, затем резко повернулся и ушел.

Тем временем нарастали масштабы и жестокость военных действий на Филиппинах. Для подавления настырных филиппинских повстанцев Соединенные Штаты вводили в бой все новые полки, бригады, дивизии, пока их численность не превысила 75 000 человек, вчетверо больше, чем было задействовано на Кубе. Филиппинцы устраивали засады, рейды, вырезали целые отряды, иногда сжигали пленных живыми. Американцы отвечали тем же, сжигали дотла

деревни, убивая всех жителей, если обнаруживали американца с перерезанным горлом, пытали своих жертв, применяя к ним в том числе и зверскую пытку, получившую название «водной процедуры». Они находились за три тысячи миль от дома, их измотали тропические ливни, жара, грязь, малярия, москиты. Они пели: «Будь ты проклят, филиппинец, будь ты проклят...» Иногда офицеры приказывали вообще не брать пленных. Американцы отбивали все вылазки аборигенов, но их становилось все больше. Рейдеры, посланные изловить Агинальдо, не смогли его захватить, вернувшись с его малолетним сыном и вызвав восторженные отклики газет. Рид, придя утром в свой офис, спросил насмешливо партнера: «И вы работаете сегодня? Вы должны праздновать. Газеты сообщают, что американская армия захватила младенца Агинальдо и гоняется за его матерью».

Агинальдо старался выиграть время в надежде на то, что антиимпериалистические настроения в США возобладают и войска будут отведены. Чем дольше продолжалась война, тем громче звучали голоса протеста. Программа антиимпериалистов, принятая в октябре 1899 года в Чикаго, требовала «незамедлительного прекращения войны против свободы». Они собирали и фиксировали примеры варварского поведения американцев на Филиппинах и наиболее алчные изречения империалистов, сопоставляя их с благонравными поучениями о цивилизованной миссии белого человека. Они распространяли памфлеты, оплаченные Эндрю Карнеги, а когда военное министерство ответило отказом на запрос руководителя лиги Эдуарда Аткинсона о разрешении отправить их и на Филиппины, послали буклеты и в оккупационные войска.

Стремясь поскорее закончить войну и приручить «плененный народ», администрация сформировала различные комиссии для расследования как злодеяний, так и помыслов самих филиппинцев – какого рода гражданское правительство их могло бы устроить. В апреле 1900 года с этой целью – для формирования гражданского правительства на Филиппины и отправили судью Уильяма Говарда Тафта, стеснительного, добродушного толстяка, весившего триста фунтов, с проектом хартии, составленной новым военным министром Элиу Рутом и даровавшей филиппинцам определенную степень либеральной внутренней автономии. Поскольку ни филиппинцы, ни американцы не были готовы к тому, чтобы прекратить сражения,

инициатива оказалась преждевременной. Но Тафт остался в стране, решительно настроившись на то, чтобы повелевать «в интересах младшего коричневого брата», как только для этого представятся возможности. Когда друзья дома, обеспокоенные его состоянием и самочувствием, засыпали военного министра запросами, Тафт телеграфировал Элиу Руту, что он сию минуту вернулся из поездки верхом на лошади и чувствует себя превосходно. «А как чувствует себя лошадь?» – поинтересовался министр<sup>112</sup>.

Несмотря на трудности, в среде ведущих республиканцев не было людей, испытывавших сомнения или колебания в отношении нового предназначения Америки. И для сената, и для Альберта Бевериджа законопроект о строительстве Никарагуанского канала как никогда прежде имел благословение Всевышнего. «Мы не отвергнем даже толики миссии<sup>113</sup>, возложенной на нашу расу, быть попечителями Господа над цивилизацией мира», – заявил он 8 января 1900 года. Он сообщил сенаторам, что Бог тысячу лет готовил к этой миссии «англоязычные и тевтонские народы».

Некоторым современникам Бевериджа новый образ Америки показался омерзительным. Постыдная битва, «зловеще происходящая в тихоокеанских далях», заставила Уильяма Вона Муди написать «Оду во времена сомнения», которая появилась в «Атлантик мансли» в мае 1900 года. Разве мы – все еще «не орлиная нация»? – спрашивал он. Или уже ее жалкое подобие?

Какая-то менее благородная птица?

Длинноклювая цапля, застывшая над тиной?

Удав-живоглот на солнце? Башибузук с дубиной?

Этим вопросом задавались многие, в том числе и Годкин, который, покончив с иллюзиями, сделал тогда, пожалуй, самый странный и в то же время прозорливый вывод. В январе 1900 года он написал Мурфилду Стори: «Воинственный дух охватывает массы, к которым переходит власть»<sup>114</sup>.

Война уже продолжалась больше года. Американское присутствие нарастало, казалось, что закончить войну могли только предстоящие президентские выборы. На это рассчитывали по крайней мере антиимпериалисты и Агинальдо. Предвыборная кампания начиналась

с курьеза – шумихи, поднятой вокруг адмирала Дьюи демократами, которым очень хотелось найти замену Брайану. Поразмыслив над характером должности президента, адмирал решил, что вполне годится на эту роль, и объявил о своей готовности к выборам<sup>115</sup>. Однако его речи не вдохновляли, в партии он серьезной поддержки не получил. В итоге его кандидатура провалилась, и восторжествовал Брайан.

Антиимпериалисты столкнулись с болезненной дилеммой. Мак-Кинли представлял партию империалистов. Брайан, по словам Карла Шурца, был «злым гением»<sup>116</sup> для антиимпериалистов: его не любили за предательство по проблеме договора и опасались радикализма. В январе 1900 года Шурц, Карнеги, Гамалиил Брэдфорд и сенатор Петтигрю встретились в «Плаза-отеле» Нью-Йорка для организации третьей партии<sup>117</sup>, которая избавила бы американцев от «необходимости выбирать между двумя старыми прогнившими партийными трупами и решать, в каком из них меньше зла». Карнеги сразу же внес 25 000 долларов. Аналогичные пожертвования сделали другие участники собрания. Однако вскоре члены сталелитейного траста, с которыми Карнеги вел переговоры о продаже своей компании, предупредили: если он выступит против Мак-Кинли, то сделка не состоится. Поставив интересы своей компании «Юнайтед Стейтс стил» выше «третьей партии», Карнеги вышел из проекта, забрал свои акции и перестал вообще заниматься бизнесом. Шурц с группой единомышленников созвали свой конгресс Свободы в Индианаполисе и попросили Рида стать их кандидатом в президенты. Но ни Рид, ни кто-либо еще из видных политиков не изъявил желания возглавить «партию-выскачку». В июле в Канзасе произошло то, что и ожидалось: кандидатом избрали Брайана.

Сосредоточив идеологию кампании на империализме, Брайан неустанно разъезжал по стране. Хотя его речи были довольно туманны, их страстность и эмоциональный магнетизм находили отклик и за пределами страны. Естественно, филиппинцы возложили свои надежды на Брайана, полагая, что только он сможет провалить Парижский договор. «Великая демократическая партия Соединенных Штатов победит на предстоящих осенью выборах, – провозгласил Агинальдо. – Империализм потерпит поражение в своем безумном стремлении покорить нас силой оружия»<sup>118</sup>. У его солдат появился новый боевой клич: «Агинальдо-Брайан!»

В предвыборной чикагской платформе антиимпериалисты заявляли: «Мы предлагаем способствовать поражению любого человека и партии, поддерживающих политику порабощения других народов». Ничего не остается, писал приятель экс-президенту Кливленду, «кроме как зажимать нос и голосовать» за Брайана<sup>119</sup>. Целая группа сторонников кандидата демократов получила хлесткое прозвище «зажми нос и голосуй», вошедшее в избирательную терминологию. Для журнала «Нейшн» оба кандидата были настолько неприемлемы, что, как написал один разочарованный читатель, редакция предпочла «сидеть на заборе и чертыхаться в обе стороны»<sup>120</sup>.

У республиканцев не имелось таких трудностей. Они предпочитали называться экспансионистами, а не империалистами, верили и гордились своим предназначением. Лодж, как всегда прямолинейно, говорил: «Манила со своей великолепной гаванью – бесценный дар и жемчужина Востока<sup>121</sup>; она откроет нам дороги на все рынки Китая... Разве мы можем колебаться и трусливо позволить себе то, что Данте назвал «великим отказом»?» Госсекретарь Хей провозгласил политику «открытых дверей», и все думали только о рынках Китая. Осада «боксерами» иностранных миссий в Пекине и участие Америки в освободительной экспедиции указали нации на еще одну роль, которую ей суждено играть в мире. Самым красноречивым и громогласным проповедником этой роли стал Теодор Рузвельт, номинированный Мак-Кинли своим вице-президентом и фактически возглавлявший президентскую избирательную кампанию. Он не был уверен в победе, поскольку его обещание для всех «полного обедненного судка» было всего лишь лозунгом, далеким от реальности, но вел кампанию столь напористо и жестко, что и для публики, и для карикатуристов действительным кандидатом в президенты казался именно этот «отважный всадник» в пенсне, с прекрасными зубами и неутолимой жаждой деятельности. Он доказывал надуманность «призрака» милитаризма, утверждал, что экспансия «никоим образом не отражается на наших институтах и политических традициях<sup>122</sup>: «И вопрос не в том, надо ли нам прирастать, поскольку мы уже приросли, а в том, надо ли нам сокращаться».

Тысячи речей и тысячи газетных статей посвящались войне на Филиппинах. Американская публика много узнала благодаря усилиям

антиимпериалистов о поведении своих войск. Выяснилось, например, что американцы использовали пули «дум-дум»<sup>123</sup>, применение которых год назад было осуждено на Гаагской конференции всеми участниками, кроме британцев. В конце концов, американцы, как и британцы во время выборов «хаки» в том же году, примирились с историческими обстоятельствами. О том, чем заняты мысли людей в данный исторический момент, можно судить по их практическим делам. Мак-Кинли и Рузвельт получили 53 процента голосов, одержав над Брайаном более значительную победу, чем в 1896 году. Возобладали экспансионистские и завоевательные амбиции, с иллюзиями американского прошлого было покончено. Продолжая войну на Филиппинах, Америка вступила в XX век.

Выборы погубили последние надежды Агинальдо. Он отступил в горы, не прекращая боев, и в марте 1901 года его подло изловили, а в апреле, находясь в заточении, Агинальдо подписал присягу на верность Соединенным Штатам и обращение к своему народу с призывом прекратить сопротивление: «Слишком много пролито крови, слишком много пролито слез, слишком много было горя».

Профессор Нортон сочинил элегию антиимпериалистам<sup>124</sup>. «Я пришел к простому выводу, — написал он приятелю, когда поймали Агинальдо. — Я был чрезмерным идеалистом в отношении Америки, обманывался завышенными ожиданиями, сформулировал слишком благостные видения ее будущего. Ни одна другая нация не имела таких возможностей быть надеждой для человечества. Никакая другая нация больше никогда не будет иметь таких же возможностей для повышения стандартов цивилизации».

Через шесть месяцев прозвучит выстрел Чолгоша и место Мак-Кинли займет Рузвельт, «этот треклятый ковбой»<sup>125</sup>, как сказал Марк Ханна, когда узнал новости. Политик ошибался. Президентом в возрасте сорока трех лет становился архитектор новой эры.

Рид направил письмо с добрыми пожеланиями, но обмен посланиями был формальный и разлад сохранялся. Живя в Нью-Йорке, Рид сблизился с Марком Твеном: особенности их умонастроения, сарказма и чувства юмора во многом были схожи. Они вместе совершили длительный круиз на борту яхты мультимиллионера Генри Роджерса, во время которого, как гласит легенда, Рид будто бы выиграл в покер двадцать три «руки» подряд<sup>126</sup>. Он иногда появлялся



в Вашингтоне, однажды даже выступил в Верховном суде, доставив судьям удовольствие манерой излагать суждения и доказательства. Бывший спикер не удостоил внимания палату представителей, но встретился с друзьями в офисе комитета по средствам и методам. Следуя рекомендациям врачей, он сумел похудеть на сорок фунтов, но со здоровьем у него не ладилось. Летом 1902 года он был главным действующим лицом на юбилейном торжестве в Боудин-колледже, где чувствовал себя «на редкость хорошо», так, как «можно позволить себе еще раз, хотя лучше этого не делать». В декабре Рид снова приезжал в Вашингтон и, находясь в комитетской комнате Капитолия, внезапно ощутил боль. У него обнаружилась летальная стадия хронического нефрита. Через пять дней, 6 декабря 1902 года, он умер в возрасте шестидесяти двух лет. Джо Кэннон, его преемник на посту спикера, сказал о нем: «Среди известных мне общественно-политических деятелей он обладал самым выдающимся интеллектом, дополнявшимся незаурядным мужеством»<sup>127</sup>. Постоянно пребывая в эпицентре топей политической борьбы, Рид до конца сохранил принципиальность и бескомпромиссность человека уникальной породы, обладающей особенно обостренным чувством свободы и независимости.

## 4. «Дайте мне битву!». Франция: 1894—1899

«Эта непреходящая пленительность Франции», – сказал как-то в девяностых годах англичанин сэр Альмерик Фицрой, секретарь герцога Девонширского. Он имел в виду, что каждый человек, принадлежащий к западной цивилизации, должен испытывать благодарность стране, «разрушившей старый мир и вдохнувшей новые идеи и чувства в современность». Но на протяжении двух лет – с лета 1897 года и до лета 1899-го – этот якобы исчезнувший старый мир яростно напоминал о себе. Раздираемое нравственными противоречиями, оживившими застарелые раны и обострившими извечный конфликт двойных стандартов в представлениях о моральных ценностях и человеческом достоинстве, французское общество пережило за это время одно из самых драматических потрясений в своей истории.

В эти «два мучительных года» борьбы за свободу одного человека, осужденного по ложному обвинению, «вся другая жизнь в стране, казалось, замерла», писал Леон Блюм, будущий премьер-министр, которому тогда было чуть более двадцати лет. Казалось, будто в «эти два года нравственного смятения, настоящей моральной гражданской войны... всех волновала только одна проблема, и в личных чувствах, и в межличностных отношениях все напружинилось, перевернулось и выплескивалось наружу... Дело Дрейфуса превратилось в межчеловеческий конфликт, менее масштабный и длительный, чем Французская революция, но вряд ли менее патетический».

Этот конфликт мог «рассорить самих ангелов<sup>1</sup>, – писал граф де Вогюэ. – Самые уточенные души, обычно чуравшиеся низменных и животных страстей, обвиняли друг друга, выражая сантименты именно на таком уровне и поддаваясь общему настрою».

Протагонисты упивались разразившейся бурей. Они боролись с декадентством, «за торжество высоких принципов», и их переполнял «неиссякаемый энтузиазм». В них воедино сливались чувства

ненависти, неприятия зла, отваги и жертвенности. Они вели борьбу эпохальную, за идеалы республики. Каждая из воюющих сторон сражалась за свою идею, за будущее Франции. Для одних это была Франция контрреволюции, для других – Франция 1789 года. Одни хотели воспользоваться последней возможностью для того, чтобы остановить процесс прогрессивных социальных перемен и вернуть старые устои, для других было важно уберечь республику от посягательств реакции. Для «ревизионистов», если так можно назвать людей, добивавшихся пересмотра приговора суда, Франция была символом свободы, разума и законности, и они не могли допустить, чтобы в этой стране совершались несправедливые дела. Они отстаивали справедливость. Их оппоненты боролись за *Patrie*, родину, за честь армии, защитницы нации, и верховенство церкви, вождя и наставника души человека. Они называли себя националистами, а в сущности были демагогами, прибегавшими к довольно грубым и бесчестным приемам. За рубежом наблюдали за этой борьбой, умалявшей репутацию Французской республики, с удивлением и презрением. Ни одна из сторон не желала уступать, увлекшись чувствами взаимной вражды и желанием нанести поражение противнику.

«Мы чувствовали себя героями», – провозгласил потом Шарль Пеги, передав настроения тех дней в мистических категориях, заимствованных из времен Жанны д'Арк. В 1910 году он написал: «Дело Дрейфуса можно понять только в связи с потребностью в героизме, которую периодически испытывает этот народ, эта раса – и испытало все наше поколение. То же самое можно сказать и о других серьезных испытаниях – войнах... Когда начинается великая война или великая революция, это происходит, потому что так пожелали великий народ, великая нация, которая устала от всего, особенно от мира. Это значит, что великая масса людей испытывает острую необходимость, таинственную потребность в великом деянии... внезапную потребность в прославлении, войне, историческом событии, и это вызывает вспышку, взрыв...» Шарлю Пеги показалось, что в деле Дрейфуса было достаточно и мотивов, и действующих сил для удовлетворения такой потребности. Возможно, это событие позволяло людям почувствовать себя более великими, чем они есть на самом деле.

*Casus belli* послужило вынесение приговора армейскому офицеру, еврею, за измену в пользу Германии. Одна воюющая сторона добивалась пересмотра судебного решения, другая – стремилась не допустить этого. Правительство делало все для того, чтобы поддержать правоту первоначального приговора. В отличие от стабильного, уважаемого и решительного английского кабинета это было очень слабое, шаткое и не пользовавшееся доверием общественности правительство, вынужденное все время обороняться от нападков. Дважды после 1789 года республика испытала реставрацию монархии. В 1871 году во Франции установилась Третья республика, страна ожила, процветала и даже обрела статус империи. В стране поощрялись искусства, столица разрасталась, приукрашивалась и в ознаменование столетия Французской революции воздвигла самое высокое сооружение в мире – башню, вознесшуюся в небо над Сеной и ставшую символом величия и гениальности нации.

Однако политическая стабильность подрывалась изнутри приверженцами *ancien régime* и Второй империи, недовольными нараставшим превосходством Германии и испытывавшими досадное чувство незавершенности войны и импотентное желание реванша без реальных средств его осуществить. В 1889 году попытку свергнуть республику предпринял генерал Буланже при поддержке всех сил контрреволюции – церкви, двухсот семей деловых и финансовых кругов, аристократии, роялистов, их сторонников и последователей, сформировавших коллективный лагерь «правое дело». Попытка переворота потерпела фиаско, по поводу которого премьер-министр Шарль Флоке сказал: «В вашем возрасте, генерал, Наполеон уже был мертв»<sup>2</sup>. Тем не менее путч нарушил благодушное настроение республиканцев, способствуя активизации правых сил.

Капитана Альфреда Дрейфуса, артиллерийского офицера при генштабе, арестовали, судили и приговорили к тюремному заключению не вследствие какого-то злонамеренного умысла наказать безвинного человека. Это делалось на основе определенных подозрений, свидетельств и инстинктивной предубежденности. Свидетельства указывали на то, что некий артиллерийский офицер генштаба выдал Германии военные секреты. Дрейфус вполне

вписывался в данные разведки, а кроме того, он был еще и евреем, извечным чужаком, имевшим, разумеется, естественные склонности к предательству. Мало того, его недолгоблюдали сослуживцы. Он держался холодно и натянуто, обычно молчал, а если говорил, то только правильные вещи, и казалось, что у него нет не только друзей, но и собственных мнений и даже чувств. Официальность его поведения многих настораживала. В результате неприязненного к нему отношения на капитана-еврея и пали подозрения. И его внешний облик мог служить прикрытием для шпиона. Он был среднего роста и среднего возраста, тридцати шести лет, у него были бурого цвета волосы, монотонный голос и совершенно невыразительные черты лица, на котором выделялось лишь пенсне без оправы, модное тогда среди военных людей. В его причастности к выдаче секретов не было никаких сомнений. Когда не оказалось достаточных материальных улик, помогли сфабриковать свидетельства офицеры, участвовавшие в расследовании, – майор Анри и полковник дю Пати де Клам. Уверовав в то, что имеют дело с изменником, продавшим военные секреты давнему врагу, они считали себя вправе предоставить необходимые материалы для предания его суду. Собранное досье, получившее название «секретного файла», убедило начальника генштаба в виновности Дрейфуса, но ему недоставало легальной обоснованности. Зная это и опасаясь шантажа прессы и возможного вмешательства Германии, военный министр Мерсье приказал с согласия правительства провести заседание военного суда *in camera*<sup>[42]</sup>. Когда у пятерых военных судей возникли вопросы, свидетельствовавшие о сомнениях, им показали «секретный файл», с которым, естественно, не ознакомили защиту. Поверив в подлинность документов, судьи единодушно приняли решение о виновности капитана Дрейфуса. Поскольку смертная казнь за политические преступления была отменена еще в 1848 году, его приговорили к пожизненному заключению. Узник продолжал настаивать на невинности и отказывался подписывать какие-либо признания, и его отправили на Девилз-Айленд, Остров Дьявола, один из островов-тюрем у побережья Южной Америки, куда заточали самых отъявленных преступников. На этой голой скале длиной две мили и шириной пятьсот ярдов Дрейфус и содержался один в каменной хижине под неусыпным надзором стражи. Единодушие судей было подтверждено публикацией слухов о

признании Дрейфусом своей вины, что после перепечатки многими изданиями приобрело значимость официального документа и удовлетворило любопытство публики.

Узника заточили на скале, но во Франции о его участи помнили. Все последующие три года не прекращалась борьба между двумя группами энтузиастов: одни стремились отыскать, а другие – скрыть правду. Эту борьбу за юридический пересмотр дела – «ревизию» – начала небольшая горстка людей, встревоженных закрытым характером суда и заподозривших несправедливость обвинений. Они отметили противозаконность судебного процесса, о чем свидетельствовало утаивание материалов от защиты, и одновременно обнаружили факты, указывающие на возможного истинного виновника – беспутного и эксцентричного офицера майора Фердинанда Вальсена-Эстергази. Их настояния на пересмотре дела вынудили офицеров, сфабриковавших улики против Дрейфуса, предпринять дополнительные усилия для того, чтобы подкрепить свои аргументы. Майор Анри из бюро контрразведки, по долгу службы владевший техникой подделки документов и организации нелегальных операций, соорудил письмо, якобы отправленное итальянским военным атташе майором Паниццарди своему германскому коллеге и упоминавшее Дрейфуса. На этом послании далее и строились доказательства армии. На каждую акцию сторонников ревизии дела Дрейфуса генштаб отвечал своими контраргументами, дополняя «секретный файл» новыми подделками. Офицеры законспирировались. Они устраивали тайные встречи, Пати де Клам и Эстергази переговаривались друг с другом, нацепив фальшивые бороды и темные очки, генштаб теперь настолько погряз в фальсификациях, что не могло быть и речи о новом рассмотрении дела Дрейфуса. Любой человек, осмеливавшийся потребовать пересмотра судебного решения или выразивший сомнения в законности обвинения Дрейфуса, *ipso facto* становился врагом армии и, соответственно, врагом Франции.

Армию нельзя было уличить в какой-либо политической, клерикальной, роялистской или антисемитской предвзятости. Многие офицеры могли разделять те или иные предубеждения, но армия в целом оставалась частью республики и, в отличие от церкви, не была ее непримиримым антагонистом. Несмотря на неприязненное отношение отдельных офицеров к республике, армия верно служила

государству. Республика нуждалась в армии и пыталась создать нечто более существенное и обученное, нежели корпуса Второй империи, действовавшие и в Крыму и при Седане, опираясь больше на отвагу солдат, а не на военное искусство. Офицерами были в основном выпускники Сен-Сира, отпрыски из провинциальных семей, чуравшиеся идей революции. Это была особая каста людей, мало интересовавшаяся тем, что происходит в стране, и культивировавшая свою исключительность, главным признаком которой был мундир. В отличие от британских офицеров, никогда не надевавших мундир вне службы, французские офицеры до 1900 года всегда и везде появлялись только в мундирах. Жалованье у них было мизерное, по службе продвигали редко, служить им приходилось в отдаленных маленьких городишках, и удовлетворение они получали только от осознания своей исключительности, престижности, неприкосновенности и принадлежности к особой касте.

Во Франции действительно к армии относились с большим пиететом. В глазах простых людей она была выше политики, олицетворяла нацию, Францию, величие Франции. Это была армия революции, армия империи, армия Вальми 1792 года, когда Гёте, видевший сражение, провозгласил: «С этого дня начинается новая эра в истории человечества». Это была армия Маренго, Аустерлица и Ваграма, *Grande Armée*, гордо названная Лависсом «самым совершенным боевым формированием в истории войн»<sup>3</sup>. Это была армия кирас и сабель, кепи и *pantalons rouges*<sup>[43]</sup>, Севастополя и Малахова кургана, Мадженты и Сольферино, армия, благодаря которой Франция до возвышения Пруссии считалась величайшей в Европе военной державой, армия трагедий и славных подвигов, армия, сражавшаяся «до последнего патрона» при Седане, армия бешеных кавалерийских атак, заставивших германского императора воскликнуть: “*Oh, les braves gens!*”<sup>[44]</sup> Через двадцать пять лет армия, никогда не забывавшая о соседстве с Германией, была нужна Франции не только для защиты отечества, но и для *revanche*. В ней видели и заступника, и средство возрождения национального достоинства и величия. Джентльмены снимали шляпы, когда мимо маршировал полк со знаменами. По словам одного из персонажей Анатоля Франса, ироническим, но и вполне искренним, «армия – это все, что осталось от нашего славного прошлого»<sup>4</sup>: «В ней мы находим утешение, глядя

на настоящее, и надежды на лучшее будущее». Армия для французов была *les braves gens*.

Дело Дрейфуса превратило ее в заложницу клерикалов, роялистов, антисемитов, националистов и различных группировок, настроенных против республики и стремившихся использовать проблему в своих целях. Угодив в западню, поставленную собственными офицерами, армия теперь должна была отстаивать свою честь утверждениями правоты приговора военного суда и отрицанием фабрикаций и подтасовок. Она должна была во что бы то ни стало не допустить пересмотра судебного решения.

Оппозиция ревизии дела Дрейфуса основывалась на твердом убеждении в том, что это может дискредитировать армию, а дискредитированная армия не может достойно сражаться с Германией. «Ревизия – это война», – заявляла роялистская «Газетт де Франс», а ведение войны деморализованной армией означает “*la Débâcle*”<sup>[45]</sup>, как называли французы свое поражение в 1870 году. С каким настроением пойдут в бой солдаты под командованием посрамленных офицеров? – вопрошал роялист граф д’Оссонвиль<sup>5</sup>. Он соглашался с тем, что нехорошо держать в тюрьме безвинного человека, и считал «отвратительной» кампанию против евреев, но для него кампания, развязанная против армии дрейфусарами, была еще хуже, поскольку разрушала веру в офицерскую доблесть. Опасения негативного влияния результатов нового расследования на моральный дух армии и сдерживали палату депутатов, и настраивали общественность против пересмотра первоначального судебного решения. Армия была гарантом мира. «Франции нужны мир и слава»<sup>6</sup>, – так считали многие французы, и это благостное верование тоже могли подорвать дрейфусары. Сеять сомнения в правоте генштаба означало бы святотатствовать над *la gloire militaire*<sup>[46]</sup>, и все, кто был причастен к этому неблагоприятному занятию, автоматически зачислялись в разряд прихлебателей Германии, если не предателей Франции.

Широкой публике были малопонятны судебные разбирательства, документирование, факсимиле, «секретные файлы», и, по ее понятиям, в мире парадов, мундиров, эполет, ружей и флагов не могло быть людей, способных подделывать документы ради того, чтобы посадить в тюрьму безвинного человека. Как офицеры, которых все привыкли видеть на парадах гарцующими в седлах и со шпагами в руках, могли



потом запереться в душной комнате и, склонившись над столом, составлять поддельные письма, орудуя ножницами и клеем? Для этого не требовалось никакой отваги и доблести, и все подобные заявления смахивают на клевету. Публика в основном состояла из патриотов, республиканцев, веривших газетам, любивших армию, ненавидевших и опасавшихся всех «инакомыслящих» – *sans-patrie*<sup>[47]</sup>, подстрекателей, поджигателей церквей, дрейфусаров – всех, кто, как ей втолковывали, жаждал погубить армию. Патриоты вдохновенно выкрикивали: «Да здравствует армия!», «Да здравствует республика!», «Долой дрейфусаров!», «Долой евреев!», «Смерть предателям!», «Да здравствует Мерсье!» и другие заклинания, имевшие целью побороть зло и укрепить свою веру.

Французское воинство олицетворял генерал Огюст Мерсье, военный министр в 1894 году, отдававший приказ арестовать Дрейфуса и ставший в силу этого идиологом для защитников чести мундира и знаменем борьбы за доброе имя армии. На светских приемах *haut monde*<sup>[48]</sup> даже дамы поднимались из кресел, когда в салон входил генерал Мерсье<sup>7</sup>. Тогда генералу шел шестьдесят второй год, он был высок и худощав, у него была прямая осанка и холеная внешность, четкие, словно выгравированные черты лица, изогнутый нос, торчащие, «как у кайзера», усы, совершенно бесцветные глаза, обычно полузакрытые и открывавшиеся только тогда, когда он хотел холодно взглянуть на кого-нибудь в упор. Он участвовал в военной кампании в Мексике и в сражении при Меце в 1870 году, и его назначение военным министром в 1893 году доброжелательно воспринял весь генштаб, считая его настоящим генералом, а не политиком. Когда анархист Вайян бросил бомбу в палате депутатов, Мерсье продолжал невозмутимо сидеть в дыму и хаосе и сделал лишь одно движение, поймал осколок, упавший сзади, и передал его соседу-депутату, сказав спокойно: «Возьмите, он ваш»<sup>8</sup>. Он обладал твердым и решительным характером, никогда не терял хладнокровия и выдержки, оставался любезным и вежливым в самых острых ситуациях и, когда обстановка вокруг дела Дрейфуса накалилась до предела, по-прежнему употреблял обращение *Monsieur*<sup>[49]</sup>, в то время как другие уже вовсю пускали в ход словечки *sale bête*<sup>[50]</sup> или *ce salaud*<sup>[51]</sup> в отношении презренного оппонента.

В 1894 году, узнав о существовании изменника в генштабе и понимая юридическую зыбкость свидетельств, собранных против Дрейфуса, он все-таки приказал арестовать его в надежде на признание вины. Когда этого не случилось и офицеры продолжали настойчиво отыскивать доказательства, информацию об аресте кто-то передал в антисемитскую газету «Либр пароль» («Свободное слово»), которая тут же написала, что Дрейфуса судить не будут, так как Мерсье подкупили евреи. Под влиянием этой публикации или других таких же инсинуаций он пригласил к себе военного редактора газеты «Фигаро» и изложил ему свою версию, в которую искренне верил: с самого начала у него имелись «неопровержимые доказательства предательства Дрейфуса» и его «вина абсолютно ясна». Таким образом, еще до суда он привязал армию к делу Дрейфуса таким узлом, который уже было трудно и даже невозможно разрубить. Эту проблему многие сразу же осознали. «Сегодня каждый должен решить для себя, за кого он – за Мерсье или за Дрейфуса, я лично – за Мерсье», – заявил репортерам его парламентский помощник генерал Рью. «Если оправдать Дрейфуса, то Мерсье должен уйти в отставку»<sup>9</sup>, – написал редактор-роялист Кассаньяк в газете «Оторите» («Власть»). Отметив, что Мерсье является членом правительства, Кассаньяк добавил: «Если Дрейфус невиновен, тогда виновно правительство». Нелегко делать выбор в таких ситуациях.

На процессе именно генерал Мерсье приказал ознакомить судей с материалами «секретного файла», запретив показывать их защите и совершив таким образом противозаконный акт. Полностью осознавая это, он на протяжении двух лет твердо придерживался своей версии, накапливая ложные свидетельства и настаивая на виновности Дрейфуса. Если бы при пересмотре дела Дрейфуса вскрылось, что его осудили несправедливо, то бесчестье пало бы на военное министерство, генштаб и самого министра. Иными словами, как сказал его коллега, «если бы оправдали капитана Дрейфуса, то предателем пришлось бы признать генерала Мерсье». На всех последующих слушаниях, на процессе Эстергази, на судилище Золя, заседаниях апелляционного суда, заключительном суде в Ренне генерал Мерсье отбивал атаки дрейфусаров и оправдывал приговор, хотя многие уже понимали его ложность и несправедливость. Угловатый, костлявый, с надменным и ледяным взглядом, он всем своим видом демонстрировал

хладнокровное спокойствие даже тогда, когда рухнула вся его вымышленная доказательная база, напомнив одному очевидцу персонажа из «Божественной комедии» Данте<sup>10</sup>, попавшего в ад и «презрительно осматривавшего обстановку в Чистилище».

Безусловно, уверенности ему придавало то, что он был во власти. Каждый раз, когда дрейфусары выдвигали новые свидетельства и требования пересмотреть приговор, министр отвергал их или противопоставлял им очередные фальсификации и контраргументы при поддержке правительства, церковных иерархов и причастников и, что удивительно, основной массы периодических изданий. По некоторым оценкам, четыре пятых газет ополчились против дрейфусаров. Именно газеты, раздувшие дело Дрейфуса, и подливали масла в огонь.

Разноликие, изобретательные, литературно подкованные, мятущиеся, зачастую злобные, бессовестные и субъективные, ежедневные газеты Парижа составляли самую деятельную и турбулентную часть общественно-политической жизни Франции. В разные годы их численность колебалась от двадцати пяти до тридцати пяти. Они могли отражать какие угодно точки зрения и взгляды, приписывая себе самые различные предпочтения: республиканские, консервативные, католические, социалистические, националистические, бонапартистские, легитимистские, независимые, абсолютно независимые, консервативно-католические, консервативно-монархистские, либерально-республиканские, республиканско-социалистические, республиканско-независимые, республиканско-прогрессистские, республиканско-радикально-социалистические. Некоторые из них были утренние, другие – вечерние, третьи – имели иллюстрированные приложения. На четырех-шести страницах они освещали внутривнутриполитические и внешнеполитические события, сообщали последние новости из самых различных сфер светской жизни и культуры: *haut monde*<sup>[52]</sup>, *le turf*<sup>[53]</sup>, моды, драматического театра, оперы, искусств, музыки, концертов, салонов и академии. На первых полосах можно было прочесть колонки, критические статьи и новеллы самых известных писателей, таких как Анатоль Франс, Жюль Леметр, Морис Баррес, Марсель Прево. Редакторы публиковали авторские передовицы, насыщенные пылкими инвективами. Чтение газет входило в ежедневный рацион парижанина наряду с вином,

мясом и хлебом. В журналистике начинались карьеры многих политических и государственных деятелей. И академики, и голодающие анархисты могли подработать, сотрудничая с газетой. Политики и государственные деятели, оставаясь не у дел, становились журналистами, приобретая себе и трибуну для самовыражения, и источник дохода.

Газету мог основать любой энтузиаст, обладавший достаточной энергией, финансами и набором мнений, представляющих общественный интерес. Особого писательского дара не требовалось, так как в литературно-политических кругах Парижа того времени все умели писать бойко, быстро и много. Недостатка в критических и полемических выступлениях не было. Лидировала в газетном мире «Тан» (*Le Temps*, «Время»). Каждый уважающий себя член парижского общества считал своим долгом регулярно штудировать огромные полосы этой газеты. От ее критических обзоров зависела судьба театральной постановки, а редакционные колонки, написанные Андре Тардьё по международным проблемам, оказывали такое влияние на дипломатию, что министр иностранных дел Германии фон Бюлов как-то сказал: «В Европе все решают три великие державы и месье Тардьё»<sup>11</sup>. «Тан» долгое время старалась держаться в стороне от баталий вокруг дела Дрейфуса, но постепенно заняла позицию в поддержку его пересмотра. Более решительно повела себя вторая по значимости газета «Фигаро», но в итоге потерпела поражение. Ее редактор Фернан де Роде, слышавший, как Дрейфус во время публичного разжалования отрицал свою виновность, поверил ему. Через три года он опубликовал первое свидетельство, обличавшее Эстергази, и первые статьи Золя. Хотя он был отцом и тестем офицеров, коллеги-журналисты из националистической прессы объявили его клеветником и организовали кампанию за отказ от подписки на «Фигаро». Дирекция газеты испугалась, и де Роде был уволен. В Париже распространялись слухи, будто ему заплатили 400 000 франков за поддержку Дрейфуса, а менеджменту – 500 000 франков за то, чтобы избавиться от него<sup>12</sup>.

Шантаж националистической прессы, писал Золя, поразил Францию подобно «постыдному заболеванию, которое никто не отважился излечить»<sup>13</sup>. Главными интриганам и смутьянами были некие группы, преследовавшие свои корыстные интересы, или

отдельные оголтелые фанатики, или люди без каких-либо ярко выраженных принципов. Среди них особенно выделялся Эрнест Жюде<sup>14</sup> из «Пти журнал», развязавший клеветническую кампанию против Клемансо в связи с панамским скандалом, а в 1906 году, когда Клемансо стал премьер-министром, забаррикадировавший его виллу в Нёйи якобы для того, чтобы защитить ее от осады. Одержимый угрозой, исходящей от масонов, он всегда имел при себе заряженный револьвер и свинцовую трость весом двенадцать фунтов. Другим ярким представителем этой категории журналистов был роялист Поль де Кассаньяк, привнесший в журналистику технологию голословных обвинений и оскорблений и поносивший все и всех в силу привычки, не придерживаясь никакой логики или последовательности. Можно упомянуть еще Артура Мейера<sup>15</sup>, обращенного еврея, сына портного, внука раввина, рьяного буланжиста и роялиста, редактора газеты «Голуа» («Галл»), специализировавшейся на освещении жизни *haut monde*. Газету особенно любили читать обитатели мира «Германтов». Мейер перенял мнения и предубеждения людей этого клана, проявив определенное мужество или толстокожесть, поскольку он не был Шарлем Сваном<sup>[54]</sup>, легко вписавшимся в окружавшую его среду, а своей наружностью мало чем отличался от карикатурного образа еврея, расхожего среди антисемитов. Тем не менее он сумел жениться на дочери графа де Тюренн, пусть и бесприданнице, войти в круг приятелей герцогини д'Юзес, стать другом, советником и наперсником претендента на трон графа Парижского и ввести в моду мужественный стиль ношения визитки и галстука.

Анри, граф де Рошфор, редактор газеты «Энтрансижан» («Непримиримый»), относился к числу тех журналистов, для которых вообще не существовало каких-либо сдерживающих доктринальных или нравственных ограничителей. Зыбкость убеждений и недостаток аргументации он с успехом компенсировал выразительностью и едкостью фразеологии. Прирожденный «анти», по описанию одного из друзей, «инстинктивный реакционер», «ясноглазый» циник и «аристо» с остроконечной белой бородой, Рошфор обладал уникальной способностью заразительно смеяться и совокуплять в своем богатом воображении почти все течения мысли, присущие Третьей республике. Он издал пять томов «Приключений моей жизни». Ему удавалось одновременно быть и антагонистом Наполеона III, и приверженцем

генерала Буланже, а его ежедневную колонку с наслаждением читала вся наиболее впечатлительная и эмоциональная публика.

Дрейфусары поначалу обратились к нему, надеясь, что его привлечет возможность доказать невиновность человека, осужденного на основании ложных обвинений. Рошфор проявил понимание и радушие, но его отговорил менеджер Эрнест Воэн, доказав, что общественному мнению не понравится дискредитация армии. Такой поворот темы Рошфору показался не менее интересным. Однако через какое-то время они поссорились, Воэн ушел, основал собственную газету «Орор» (*Aurore*) («Заря») и, переменив свое отношение к делу Дрейфуса, предоставил ее в распоряжение дрейфусаров. Рошфор предпринял ответные действия, придумав явно вымышленную историю. Он сообщил читателям о письме кайзера Дрейфусу<sup>16</sup>, которое президент республики под угрозой объявления войны вынужден был вернуть германскому послу графу Мюнстеру, правда, лишь после того как документ успели сфотографировать. «Энтрансижан» «абсолютно достоверно» утверждала, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника, будто на основании этого «секретного документа» и вынесли приговор Дрейфусу.

Публика настолько запуталась в деле Дрейфуса, что поверила и в эту историю. А эта версия еще больше мистифицировала обывателя, страшая его возможными негативными последствиями. Его убеждали в том, что пересмотр дела Дрейфуса может привести к войне. Общественному мнению не сообщалось о том, как все было на самом деле. Оно питалось слухами и версиями националистической прессы. Граф Мюнстер действительно принял некоторое участие в деле Дрейфуса, но лишь для того, чтобы отрицать какие-либо контакты с этим офицером. Однако его вмешательство было преподнесено в совершенно ином свете. Генералы, озабоченные проблемой Германии, воспользовались им для того, чтобы воспрепятствовать пересмотру приговора. Генерал Мерсье засвидетельствовал: после разговора с графом Мюнстером он сидел до полночи с президентом и премьер-министром, пытаясь выяснить, «к чему готовиться — к войне или миру». Генерал Буадеффе<sup>17</sup>, начальник генштаба, когда принцесса Матильда Бонапарт предположила невиновность Дрейфуса, рассерженно сказал: «Как вы смеете говорить это человеку, который собственными глазами видел и держал в руках письма Дрейфуса

германскому императору?» Не менее рассерженная хозяйка дома ответила: «Если вы и видели письма, то наверняка поддельные. Вы не заставите меня поверить в эту чушь». После того как Буадеффе в гневе выскочил из комнаты, принцесса, вздохнув с облегчением, воскликнула: “*Quel animal, ce général!*”<sup>[55]</sup>

От широкой публики правда сознательно утаивалась или искажалась. Официальные отречения германского правительства от Дрейфуса игнорировались на том основании, что оно могло и не знать имена шпионов, с которыми поддерживали контакты его агенты. С другой стороны, националистическая пресса нагнетала обстановку, создавая впечатление, будто Германия взбешена осуждением Дрейфуса до такой степени, что готова объявить войну Франции. Любые призывы к пересмотру приговора изображались как слабодушные уступки нажиму Германии и свидетельства влияния «синдиката».

В этом изобретении антисемитской прессы – «синдикате» – для приверженцев «правого дела» заключалась идея не абстрактного, а вполне реального зла<sup>18</sup>. Имелось в виду подпольное сообщество евреев, тайное и злонамеренное, поставившее себе целью добиться пересмотра приговора Дрейфусу и вместо него обвинить в предательстве христианина. Любые деяния, не нравившиеся националистам, приписывались «синдикату». Любой человек, и известный, и не столь известный, осмеливавшийся высказаться за пересмотр дела Дрейфуса, объявлялся платным агентом «синдиката». Свидетельства армейских фальсификаций представлялись как фабрикация «синдиката». Националисты заявляли, что это тайное сообщество с 1895 года потратило десять миллионов франков на подкуп судей, экспертов, журналистов и министров. Они утверждали, будто деньги представлялись финансистами-евреями, пользовавшимися счетами международного банка в Берлине. Они указывали на их главного советника германского пастора Гюнтера, личного капеллана кайзера. Согласно их наущениям, дрейфусары подрывали веру нации в армию, продавали ее секреты и готовы были открыть ворота врагу. Члены сообщества изображались карикатуристами в виде разжиревшего еврея с золотыми кольцами и часами, победоносно и злорадно поставившего ногу на шею распростертой Марианны. По мере возрастания озлобленности

«синдикат» в представлениях националистов трансформировался в чудовищную международную лигу, включавшую не только евреев, но и масонов, социалистов, иностранцев, всех подозрительных и чужеродных личностей. Она спонсировалась всеми врагами Франции, использовавшими дело Дрейфуса для дискредитации армии и раздробления нации. Унизительное поражение при Фашоде, нанесенное Англией, было, конечно же, подстроено «синдикатом». Щупальца «синдиката» проникли повсюду. Его ненавидело и боялось «правое дело». В нем видели заклятого врага.

Антисемитизм во Франции был лишь частью общего социально-политического недуга, поразившего Европу в конце XIX века. Он зародился в результате действия многих сил, сталкивавших классы и нации. Индустриализация, империалистические амбиции, урбанизация, обнищание деревень, возрастание власти денег и машин, усиление позиций рабочего класса, угрожающие всполохи красного флага социализма, угасание аристократии – все эти видимые и невидимые силы зрели в глубинах общества, как в недрах вулкана перед извержением. «Происходил процесс умирания великой, древней, космополитической, феодальной и крестьянской Европы», – писал один историк<sup>19</sup>. А он порождает конфликты, страхи и новые энергии, рвавшиеся наружу.

Одним из классических способов борьбы с излишней энергией и социальной напряженностью был антисемитизм. Именно это средство использовали для того, чтобы отвлечь внимание от правящего класса, в Германии при Бисмарке в семидесятых годах, а в России – в восьмидесятых. Погромы 1881 года напомнили евреям поучительное предупреждение Мадзини: «Без страны вы изгой человечества». Антисемитизм понадобился и имущему классу, особенно когда появилась угроза неминуемого краха прежних порядков. Старые ценности уступали место новым предпочтениям. Анархизм, пропаганда социалистов, возросшее осознание своей силы рабочим классом угрожали привычному образу жизни собственников, и ничто не вызывает столько злобы и вражды, как угроза собственности. На Западе новой разновидностью антипатии заразились такие просвещенные люди, как Джордж Уиндем, секретарь Бальфура, и друг Теодора Рузвельта английский дипломат Сесил Спринг-Райс. Самым



искренним и неистовым образом выразил эти настроения Генри Адамс. Вот его слова: он живет только ради того, чтобы посмотреть, как покончат с «этими треклятыми евреями» и всеми «плутократами»; «мы все в руках евреев, которые делают с нами все, что хотят»; «я с интересом читаю “Еврейскую Францию”, “Либр пароль” и пр.»; «я провел день, перечитывая антисемитские сентенции Дрюмона»<sup>20</sup>.

У людей такого сорта антисемитизм проистекал из ненависти к новому всевластию денег (хотя Адамса только деньги и интересовали), кошелькам «плутократов», сколачивавших свои состояния на акционерном капитале, акциях и финансовых операциях, а не на земле, как в прежние времена. Герцог Орлеанский, например, в еврейской проблеме усматривал одно из проявлений экономической войны. Все, кто дорожил своей привязанностью к земле и посредством этих уз к стране, должны защитить себя от «затаенных и праздных» еврейских клик, отъевшихся на руинах «Юньон женераль» при постыдном соучастии правительства. «Юньон женераль», католический банк, был основан с благословения папы Льва XIII специально для привлечения денежных средств верующих. По совету приходских священников в нем хранили свои капиталы аристократы и скромные сбережения католические семьи среднего достатка. Когда банк, не выдержав конкуренции с более богатыми и предприимчивыми соперниками, в том числе с Ротшильдами, рухнул в 1882 году, католики, и состоятельные и бедные, потеряли свои капиталы и накопления. Во всем обвинили евреев. И клерикальные и роялистские газеты с необычайным азартом и дотошностью начали обсуждать «еврейский вопрос». Евреям приписывались тайные сговоры и злые умыслы<sup>21</sup>. Возродились все прежние стереотипные обвинения в инородности и упорном стремлении сохранить свою особую идентичность. Евреи – не французы, они – чуждые для Франции, возможно, строят козни против Франции и, конечно же, недруги церкви. Они – подстрекатели антиклерикального движения и несомненные враги всех благонамеренных католиков.

Французский антисемитизм, как и все его другие исторические разновидности, не мог возникнуть сам по себе, у него тоже был свой зачинщик и поджигатель. Им оказался прежде никому не известный француз по имени Эдуард Дрюмон, написавший на волне истерики, возникшей в связи с крахом «Юньон женераль», двухтомное

сочинение *La France Juive* («Еврейская Франция»). Этот труд, опубликованный в 1886 году, сразу же превратил автора в общенациональную знаменитость. Конечно, егоopus не шел ни в какое сравнение с предыдущим философским трактатом Гобино «Эссе о неравенстве человеческих рас», вызвавшим огромный интерес по ту сторону Рейна, где занимались разработкой теории о высшей расе. Дрюмон написал полемическое сочинение о Ротшильдах, ритуальном убийстве, зловредном еврейском финансовом могуществе. Книгу читали нарасхват, переиздавали, и автор, полнотелый, краснолицый здоровяк с густой черной бородой, благоденствовал. В 1889 году, объединившись с маркизом де Моресом, он основал Национальную антисемитскую лигу для борьбы против «тайного и кровожадного сговора» еврейских финансистов, «каждодневно подрывающих благосостояние, достоинство и безопасность Франции». На первом большом собрании герцогиня д'Юзес<sup>22</sup>, герцог де Люин, князь Понятовский, граф де Бретей и другие лица аристократических кровей впервые пообщались с реальными трудящимися – работниками мясных лавок и скотобоев, которые, видимо, также были польщены вниманием дворян.

Воодушевившись успехами книги и лиги, Дрюмон решил основать газету и в 1892 году начал издавать «Либр пароль». Тогда же разразился панамский скандал – двое обманутых инвесторов в панамский заем весь свой гнев обрушили на главных финансовых закоперщиков Корнелиуса Герца и барона де Рейнаха, евреев. Газета Дрюмона рьяно принялась обличать злоумышленников. Одновременно она развязала бурную кампанию за изгнание офицеров-евреев из армии, вынудившую двоих оскорбленных офицеров вызвать на дуэль Дрюмона и маркиза де Мореса. Многоопытный дуэлянт маркиз де Морес убил оппонента, его обвинили в преднамеренном убийстве, но на суде оправдали.

Когда судили Дрейфуса, «Либр пароль» убеждала публику: его раса жаждет погубить Францию. *A mort! A mort les juifs!*<sup>[56]</sup> – вопила толпа зевак, когда на площади происходила официальная церемония лишения его воинского звания.

Эти крики слышал парижский корреспондент венской газеты «Нойе фрайе прессе» Теодор Герцль, стоявший в толпе. «И где? – написал он потом. – Во Франции. В республиканской, современной,

цивилизированной Франции, через сто лет после провозглашения Декларации прав человека». Он вернулся домой и написал книгу *Der Judenstaat*, обозначив главную тему – «возрождение еврейского государства», а через полтора года сумел мобилизовать самое неорганизованное и раздробленное сообщество на проведение первого Сионистского конгресса, в котором приняли участие двести делегатов из пятнадцати стран. Дело Дрейфуса породило новую движущую силу мировой истории, ждавшую своего часа восемнадцать столетий.

Первым дрейфусаром можно считать Бернара Лазара, леворадикального интеллектуала и журналиста, издававшего небольшое обозрение под названием «Политические и литературные беседы» и зарабатывавшего себе на жизнь, сотрудничая в католическо-консервативной газете «Эко де Пари». Он тоже был евреем, к тому же анархистом в политике и символистом в литературе, и в его близоруких глазах за бифокальными очками, как говорил его друг поэт Шарль Пеге, «постоянно горел огонь, зажегшийся, казалось, пятьдесят веков назад». Он с самого начала сомневался в справедливости приговора, а от коменданта крепости узнал, что Дрейфус не только отказывался признавать свое предательство, но и с достойным уважения упорством настаивал на невинности. При активном содействии Матье Дрейфуса, убежденного в невинности брата, Лазар, преодолевая обструкцию и дезинформацию, провел собственное расследование и издал памфлет «Судебная ошибка; правда о деле Дрейфуса». Он разослал три тысячи экземпляров буклета министрам, депутатам, редакторам, журналистам и другим более или менее влиятельным особам, формирующим общественное мнение, но его свидетельства были дружно проигнорированы. Ничего не дали и визиты Лазара и Матье Дрейфуса к отдельным общественно-политическим деятелям. «Они замучили нас своими евреями», – сказал Клемансо<sup>23</sup>. Граф Альбер де Мен, видный католик-реформатор, отказался встречаться с ними, и вождь социалистов Жан Жорес тоже не проявил заинтересованности. Социалистическая газета «Птит републик»<sup>24</sup>, проштудировав памфлет, сделала типично марксистский вывод: «Забастовщики, которых каждодневно подвергают несправедливости, хотя они и не совершают предательства, должны вызывать у нас больше сочувствия, чем судьба Дрейфуса».

Социалисты не усмотрели в деле Дрейфуса никаких оснований для беспокойства. В условиях классовой войны невзгоды буржуа были для них безразличны. Они считали себя антимилитаристами, а Дрейфус не только принадлежал к сословию буржуазии, но был еще и офицером. Несправедливость в отношении представителя правящего класса скорее их радовала, а не возмущала.

Тем не менее зерна сомнений, посеянные Лазаром, начали давать свои плоды, и наконец зародилось движение дрейфусаров. Памфлет привлек внимание Люсьена Эрра, библиотекаря «Эколь нормаль сюперьёр» (Высшей нормальной школы), одного из самых престижных учебных заведений. Здесь самые способные студенты под руководством самых просвещенных профессоров готовились стать учителями Франции. Эрр верил в социализм, был для студентов и другом и наставником. Во время летних каникул в 1897 году он каждый день после обеда навещал своего приятеля Леона Блюма, с которым привык обсуждать последние события. Однажды он спросил: «А ты знаешь, что Дрейфус невиновен?» Блюм не сразу вспомнил это имя, но Эрр помог ему. Блюма взволновали слова уже далеко не молодого библиотекаря: он, как и большинство французов, принял за чистую монету официальные сообщения о признании Дрейфусом своей вины. Эрр рассказал ему обо всем, что узнал, а его трактовка событий всегда звучала убедительно. «Он обладал удивительным даром влиять на наше сознание и наши мысли, — писал Блюм. — Он умел распознать правду и передать ее нам».

Забили тревогу люди, помогавшие Гамбетте основать Третью республику и дорожившие ее принципами. Среди них были сенатор Ранк, радикал и член первого правительства республики, и Жозеф Рейнах, в двадцать с небольшим лет служивший главным секретарем у Гамбетты. Племянник и зять корыстного барона де Рейнаха, обесславленного панамским скандалом, в особенности радел за праведность и честность, хотя в данном случае им двигали не столько симпатии к евреям, сколько озабоченность проявлением несправедливости во Франции. Они избрали своим лидером человека, пользовавшегося всеобщим уважением — сенатора Шерера-Кестнера, заместителя председателя сената, основателя республики, одно время редактировавшего газету Гамбетты «Републик Франсез».

Уроженца Эльзаса, после 1871 года обосновавшегося во Франции, назначили пожизненным сенатором, видимо, в качестве постоянного символа потерянной провинции. Истинный джентльмен, потомок одного из древнейших родов, держался всегда с рыцарским достоинством и благородством, представляя аристократию республики. Все же, когда репортер из «Либр пароль» пришел брать у него интервью и уселся в кресле, Шерер-Кестнер, презиравший эту газету, в своем негодовании, как говорили, превзошел «самого герцога Сен-Симона»<sup>25</sup>. Не меньше возмутила сенатора информация о том, что армия умышленно скрывает свидетельства невинности узника острова Дьявола, а автором документа, на основании которого осудили Дрейфуса, является Эстергази.

Свидетельства невинности Дрейфуса обнаружил полковник Пикар, назначенный шефом бюро контрразведки через несколько месяцев после суда. Когда он показал их начальнику генштаба генералу Буадеффу и его помощнику генералу Гонзу, оба генерала решительно отказались возбуждать дело против Эстергази и освобождать Дрейфуса. Но Пикар не отступился, проявив необычайную настойчивость, и Гонз спросил: зачем ему нужно вернуть Дрейфуса с острова Дьявола?

«Но, генерал, он же невиновен», – ответил Пикар. Гонз объяснил: сейчас это «не имеет никакого значения», дело пересмотру не подлежит, к нему причастен генерал Мерсье, свидетельства против Эстергази недоказуемы. Пикар предупредил: все будет гораздо хуже, если семья, которая, как известно, ведет собственное расследование, узнает всю правду. Гонз заметил на это: «Если вы будете держать язык за зубами, то никто ничего не узнает».

Пикар взглянул на него с изумлением. «Но это же отвратительно, генерал. Я не желаю уносить с собой в могилу эту гнусную тайну», – сказал полковник и вышел из комнаты. Почему он так поступил? Ведь он же был таким же офицером, как и его коллеги, испытывал такое же чувство воинского долга. Но у него не было никаких корыстных интересов, личных мотивов и даже элементарного эгоистического побуждения к известности, которое впоследствии руководило многими другими персонажами этой драмы, и он действовал исключительно под влиянием обостренного чувства противления несправедливости. Возможно, он был даже антисемитом. Однажды, когда его попросили

на время маневров принять в штаб резервиста Рейнаха, он отказался, заявив: «Я не переносу евреев». Дрейфус для него значил столько же, сколько Рейнах. Но ему претило то, что армия сознательно мирилась с осуждением безвинного человека. После того как он отказался прекратить попытки добиться пересмотра приговора, его отправили служить в пехотный полк в Тунис. Сосланный фактически в ссылку, он лишился возможности предать свои свидетельства широкой гласности, однако воспользовался краткосрочным отпуском для поездки в Париж, во время которой изложил факты своему другу-юристу и оставил запечатанное донесение с поручением в случае смерти передать его президенту Франции. Вскоре его свидетельства действительно получили огласку, Пикара арестовали, судили, обвинили в совершении должностного преступления и выгнали из армии. Позднее его вновь арестовали и заключили на год в тюрьму.

Информацию Пикара его адвокат передал Шереру-Кестнеру, своему хорошему другу, и тот сразу же начал действовать, доводить ее до сведения других сенаторов, требовать юридической экспертизы. Он заседал на правительство, военного министра и министра юстиции, тербил премьера и президента. Они либо отмалчивались, либо обещали «разобраться». В мае 1898 года предстояли выборы, до них оставалось восемь месяцев. Повторное расследование возбудит прессу и привлечет общественное внимание к делам, касающимся только армии, и может привести к непредсказуемым последствиям в отношениях как с Россией, с которой Франция недавно заключила военный альянс, так и с Германией. Государственным мужам полагалось думать о проблемах, внутренних и внешних, куда более важных, чем судьба одинокого узника, заточенного на скале. Кроме того, людям при должности свойственно воспринимать понятие справедливости несколько иначе, нежели тем, кто не облечен властными и служебными полномочиями. Министры позволили себе согласиться с аргументами генштаба, доказывавшего, что не стоит сомневаться в достоверности сфабрикованного письма майора Анри и виновности Дрейфуса, а возможная причастность Эстергази к измене или иному виду преступления не заслуживает того, чтобы поднимать скандал пересмотром первоначального судебного решения.

Шерер-Кестнер натолкнулся на глухую стену нежелания вникать в проблему, чреватую многими малоприятными последствиями. Тогда он

решил опубликовать письмо в газете «Тан», сообщив общественности о существовании документов, доказывавших, что «действительный преступник – не капитан Дрейфус», и потребовав от военного министра «провести расследование и установить виновность другого лица».

Одновременно «Фигаро» опубликовала послания Эстергази теперь уже отвергнутой любовнице (одно из них – факсимильное), написанные еще в смутные дни мятежа Буланже и демонстрировавшие неприязненное отношение автора к своей стране. «Если бы мне сказали, что завтра я умру, ведя в бой уланов, рубящих саблями французов, то я чувствовал бы себя совершенно счастливым человеком», – писал он подруге. И еще ему очень хотелось бы увидеть Париж, «объятый кровавым заревом битвы и подвергающийся насилию и разграблению ста тысяч пьяных солдат». Для дрейфусаров эти слова, наполненные злобой и ненавистью к Франции и приведенные в *bordereau*<sup>[57]</sup>, были как манна небесная. Они уже думали, что выиграли сражение за свободу Дрейфуса. Однако их постигло разочарование. Им пришлось снова убедиться в том, что, как написал Рейнах, «справедливость не сваливается с неба, за нее надо воевать». Издания «правого дела» незамедлительно объявили письма поддельными и сфабрикованными «синдикатом». А Эстергази, игрок, погрязший в долгах и спекулировавший на бирже, светский и остроумный проходимец, женившийся на дочери маркиза и имевший болезненное, мертвенно-белое лицо, крючковатый нос, большие мажарские черные усы, «руки разбойника» и внешность «вероломного цыгана или дикого, настороженного зверя»<sup>26</sup>, трансформировался в национального героя с безукоризненной репутацией.

Параллельно националисты развернули кампанию поношения Шерера-Кестнера, науськивая публику устроить ему обструкцию во время предстоящего выступления в сенате. Словно зная об этом, сенатор, рослый, статный, седовласый, но слегка побледневший и выглядевший как гугенот-аскет XVI века<sup>27</sup>, шел к трибуне размеренным, неспешным шагом, будто на эшафот. В Люксембургском саду в этот зимний пасмурный день собрались толпы возбужденных людей<sup>28</sup>, чтобы осыпать ругательствами человека, уже ошельмованного прессой. Он зачитал свое воззвание к разуму, не

обращая внимания на язвительные возгласы и насмешки. Обозленные сенаторы ответили гробовым молчанием даже на его напоминание о том, что они, собственно, слушают последнего депутата французского Эльзаса, и холодными, презрительными взглядами провожали его, когда он возвращался на свое место. Спустя месяц на ежегодном переизбрании он лишился поста заместителя председателя сената, на который его каждый раз выдвигали почти со времени основания республики.

Но в его поддержку вдруг выступил Клемансо, крушитель правительств, *l'homme sinistre*<sup>[58]</sup>, как называли его консерваторы, грозный оппонент в споре, дебатах, оппозиции, журналистике, дуэли – и на пистолетах, и на шпагах. Он дрался с Полем Деруледом во время панамского скандала и с Дрюмоном из-за Дрейфуса. Он учился на врача, но стал театральным критиком, полюбившим Ибсена, и подружился с Клодом Моне, написав в 1895 году, что его произведения «открывают для нашего зрения неуловимые оттенки красоты окружающего мира»<sup>29</sup>. Он попросил Тулуз-Лотрека проиллюстрировать одну из своих книг, а Габриеля Форе написать музыку для пьесы. «Правы только художники, – говорил он на исходе жизни. – Может быть, им удастся хоть немного украсить этот мир, но сделать его разумным невозможно»<sup>30</sup>.

Оказавшись после панамского скандала вне правительства и парламента и поверив аргументам Шерера-Кестнера, Клемансо решил взяться за дело Дрейфуса, и не только для реализации своих политических амбиций. В его политических предпочтениях на первом месте стояла угроза со стороны Германии. «Кто? – вопрошал он, возмущившись желанием Эстергази увидеть, как прусские уланы рубят саблями французов. – Кто из наших лидеров поддерживает этого человека? Кто защищает Эстергази?.. Ради кого они готовы принести в жертву жизни французских солдат и поступиться интересами обороны Франции?»<sup>31</sup> Затем он обрушился на клерикалов: «Наша армия в руках иезуитов... В этом первопричина несчастий Дрейфуса». Почти каждый день в «Орор» появлялись его гневные и обличительные выступления. Подсчитано: за 109 дней он опубликовал 102 статьи, а за три года – почти пятьсот, более чем достаточно для собрания сочинений из пяти томов. И в каждом выступлении набатом звучал призыв к справедливости: «Не может быть патриотизма, если нет



справедливости... Пренебрежение правами даже одного человека создает угрозу нарушения прав всех граждан... Истинными патриотами являются те, кто борется за справедливость и освобождение Франции от ига напыщенной непогрешимости».

Дрейфусарам создавали помехи оппортунисты, озабоченные не столько участью узника на острове Дьявола, сколько судьбой армии. Юрбен Гойе, бывший монархист, переродившийся в социалиста, обрушился на армию в газете «Орор», обвиняя ее во всех грехах: армейские офицеры – «генералы поражений»<sup>32</sup>, «кайзеровские прихвостни», знающие только, как «убегать и сдаваться», приносящие «победы только над Францией», «кавалеристы Содома со свитами полоненных женщин». «Одна половина Франции поливает грязью другую половину», – писала с тревогой из Берлина княгиня Радзивилл, урожденная де Кастеллан, то есть появившаяся на свет божий во Франции. Она вышла замуж за князя Антона Радзивилла, прусского представителя международного семейства польских кровей, любившего говорить по-английски с российским братом<sup>33</sup>, предпочитавшим изъясняться по-французски, и всеми фибрами души желала дружбы между Францией и Германией. «Никто не хочет видеть, к чему это может привести, – заявляла княгиня. – Но так не может дальше продолжаться без нанесения реального морального ущерба».

А ущерб мог оказаться не только моральным. Германия внимательно следила за конфликтом во Франции. Она периодически отрицала какие-либо контакты с Дрейфусом, но делалось это не ради того, чтобы восторжествовала справедливость, а с намерением усугубить раскол во французском обществе. Кайзер с большой охотой разъяснял гостям и монаршим родственникам, что Франция засудила безвинного человека. Его слова распространились по всему международному содружеству монарших дворов. В Санкт-Петербурге в августе 1897 года, когда во Франции дело Дрейфуса еще не приобрело характер общенационального кризиса, граф Витте, один из ведущих российских министров, говорил французской делегации: «Я вижу только одну проблему<sup>34</sup>, которая может навредить вашей стране. Это дело капитана, осужденного три года назад без доказательства его вины».

Самонадеянное предположение, высказанное в Санкт-Петербурге, отверг в декабре в палате депутатов Франции человек благородных и высоких нравственных принципов. Для графа Альбера де Мена убежденность в невиновности или виновности Дрейфуса приобрела, подобно хлебу и вину, значимость причастия, претворившись в божественную категорию. Верование в виновность Дрейфуса было столь же несомненным и совершенным, как вера в Бога.

Синтез этих верований был следствием хронической войны между церковью и республикой. Со времени основания республики церковь считала своей обязанностью бороться против доктрин республики, которые, по понятиям Жюль Ферри, заключались в том, чтобы «организовать человеческое общежитие без Бога и короля»<sup>35</sup>. Религиозные ордены сопротивлялись попыткам республики вытеснить их из сферы просвещения и возлагали свои надежды на реставрацию католической монархии. Вследствие этой борьбы церковь и оказалась причастной к делу Дрейфуса. Она была союзницей армии как по своей воле, так и по утверждениям республиканской пропаганды, которая всегда соединяла «меч и кадило». В иезуитах республика видела воинственный и агрессивный генштаб клерикализма, руководившего заговором против Дрейфуса. А вождем иезуитов был отец дю Лак, исповедник и генерала Буадеффра, и графа де Мена, главных глашатаев.

Папа Лев XIII, реалист и прагматик, наблюдавший за конфликтом со стороны, считал, что республика имеет право на существование. После неудачного путча генерала Буланже он не верил более в возможность реставрации монархии. В энциклике 1892 года он призывал французских католиков примириться с республикой, оказывать ей поддержку, повсюду внедряться в нее и овладеть ею, следуя тактике *Ralliement*<sup>[59]</sup>. Католические прогрессисты действительно пытались солидаризироваться, другие избегали объединений, левые сомневались. «Вы соглашаетесь с республикой, – говорил на одном собрании сторонников единения лидер радикалов Леон Буржуа<sup>36</sup>. – Хорошо. А вам нужна революция?» Де Мен был одним из тех, кому революция была не нужна.

Когда де Мена избирали членом Французской академии, он в своем выступлении воспевал контрреволюцию. Революция, заявлял новоиспеченный академик – «причина и источник всех бед столетия»,

она «означает бунт против Бога»<sup>37</sup>. Он верил в то, что древние идеи и идеалы «неизбежно возродятся», как и «социальные концепции XIII века». Главным предназначением своей политической карьеры он считал исцеление ран социальной несправедливости, нанесенных рабочему классу, и возвращение народных масс в христианство, отчужденных от него революцией.

Граф познал жизнь и проблемы бедноты, когда после Сен-Сира служил кавалерийским офицером в гарнизонном городке и занимался благотворительностью в обществе «Сен-Винсент де Поль»<sup>38</sup>. Во время Парижской коммуны он был адъютантом генерала Галифе, командовавшего расстрелом коммунаров, и ему довелось повстречаться с умирающим повстанцем, лежавшим на носилках. Это «инсургент», сказал ему стражник. «Нет, это вы инсургенты!» – вскричал повстанец, приподнявшись из последних сил, и на глазах графа умер. В этом крике, обращенном к нему лично, его мундиру, семье, церкви, он услышал указание на истоки гражданской войны и поклялся посвятить свою жизнь искоренению социального расслоения. Он винил в возникновении Коммуны и «апатию буржуазии, и дикую ненависть к рабочему классу». Но один из братьев «Сен-Винсента» говорил ему: и вы несете ответственность, «вы, богатые, великие, довольные своей жизнью, проходящие мимо людей, не замечая их». Для того чтобы видеть этих людей и попытаться понять их, де Мен и занимался благотворительностью. «Недостаточно осознать несправедливость и ее истоки, – говорил он. – Мы должны признать и свою вину, и то, что общество не исполняет свой долг перед рабочим классом». Он решил стать политиком, но армии не понравились ни его намерения войти в палату депутатов, ни общественная активность. Ему пришлось делать выбор, и он ушел из армии, выбросив шпагу.

Но и став членом палаты депутатов, он сохранил любовь к армии, доказывая ее пламенными речами. Граф произносил их с пылом борца и убежденностью апостола, заслужив репутацию *le cuirassier mystique* [60]. Он был самым ярким оратором в своем лагере, «Жоресом “правого дела”», доведшим до совершенства мастерство декламации. Всей своей благородной внешностью, высокой величавой фигурой, преисполненной достоинства, сдержанностью жестов и изяществом манер он внушал доверие и уважение. Он говорил решительно и уверенно, архитектурно выстраивая фразы и артистично играя

голосом, то повышая, то понижая его, произнося слова то с ледяным спокойствием, то с трепетом и волнением, следуя определенному ритму, делая внезапные остановки, замолкая на мгновение и вновь давая волю своим чувствам. Его словесные дуэли с двумя главными оппонентами, Клемансо и Жоресом, превращались в спектакли, которые аудитория смотрела с таким же удовольствием, как игру Сары Бернар в «Орленке» Ростана.

Твердолобые консерваторы считали его социалистом, проповедовавшим идеи, подрывающие установленный порядок, и его приверженцами были преимущественно люди, принадлежавшие к тому же классу аристократов. Он был сторонником Буланже и роялистом в достаточной мере для того, чтобы избрать графа де Шамбор<sup>[61]</sup> на роль крестного отца одного из своих чад. Когда папа Лев XIII призвал к *Ralliement*, «единению», что большинством французских роялистов было отвергнуто, де Мен отрекся от монархистских убеждений (да и симпатий) и возглавил сторонников *Ralliement*. Стремясь к социальной справедливости, он в то же время отвергал социализм, поскольку социалисты «отрицают всемогущество Бога, а мы его утверждаем»: «Социализм доказывает независимость человека, а мы ее отрицаем... Социализм логически означает революцию, а мы за контрреволюцию. Между нами нет ничего общего, и ни о каком либерализме не может быть и речи».

Граф сам провел разграничительную линию и по своей воле оказался в деле Дрейфуса по ту сторону баррикад, где сплотились сторонники идей Дрюмона. Он и ввел в употребление понятие «синдикат» на первых же дебатах по делу Дрейфуса в палате депутатов. «Что это за мистическая культовая сила? – вопрошал он, глядя в упор на Рейнаха. – Сила, способная поднять на дыбы всю страну, как это уже происходит на протяжении последних двух недель, и бросить тень сомнений и подозрений на лидеров нашей армии, которой... – здесь он остановился, словно от удушья нахлынувших чувств, – которой однажды придется выступить на защиту нации против врага? Это вопрос не политический. В данном случае мы не можем делиться на друзей или оппонентов правительства. Все мы – французы, жаждущие сберечь самое дорогое для нас – честь армии!»

Страстная патетика и взволнованность оратора передались публике, депутаты в едином порыве встали и бурно зааплодировали.

Рейнаху показалось, будто по залу пронесся вихрь: «Я почувствовал, как по голове ударил мощный залп ненависти трехсот ошалевших человек. Я скрестил руки, одно мое слово, одно движение могло еще больше разъярить эту ораву. Можно ли выстоять против урагана?» Жорес молчал, а многие леваки тоже аплодировали, «проявляя энтузиазм, вызванный животным страхом». Де Мен потребовал, чтобы правительство немедленно выступило с заявлением, подтверждающим несомненную виновность Дрейфуса. Военный министр генерал Бийо повиновался и подтвердил «торжественно и искренне, как солдат и руководитель армии», что «уверен в виновности Дрейфуса». Премьер-министр призвал «всех честных французов» в интересах нации и армии поддержать правительство, «испытывающее неимоверные трудности и подвергающееся злостным нападкам». Разгоревшиеся страсти вызвали жаркую словесную дуэль Рейнаха с Александром Мильераном, социалистом, назвавшим «предательскими» обвинения армии дрейфусарами.

Помимо графа де Мена, депутатами были и другие аристократы, но они оставались правоверными роялистами в оппозиции. Никто из них не принимал участия в управлении республикой. Среди них выделялся герцог де Ларошфуко, представитель доимперского дворянства, сделавший состояние на шампанских винах Поммеруа и швейных машинах «Зингер» и как президент «Жокейского клуба» считавшийся предводителем *gratin*, «верхушки» французского общества. В этот же круг великосветских лиц входили маркиз де Бретей, представлявший в палате округ Верхних Пиренеев, и граф де Греффюль, напоминавший благодаря желтой бороде и сердито-величавому выражению лица короля из колоды карт. Он обладал одним из самых больших во Франции состояний и самой красивой в парижском обществе женой, что побудило Марселя Пруста использовать их в качестве прообразов своих персонажей – герцога и герцогини де Германт. Депутатом также был граф Бони де Кастеллан, денди и законодатель вкусов. Высокий и стройный джентльмен с розовой кожей, голубыми глазами и аккуратными золотистыми усиками женился на суровой, но богатой американке Анне Гулд и на ее приданое построил чудесный мраморный особняк, заполнив его предметами античного искусства, демонстрировавшими совершенство художественного вкуса в той степени, в которой позволяло это делать

наличие денег. Во время приема по случаю инаугурации жилища на изгибе парадной лестницы стоял лакей в алой мантии, и когда великий князь Владимир спросил «А кто этот кардинал?», хозяин ответил: «О, эта фигура поставлена лишь для цветовой гармонии с мрамором». По убеждению графа Бони, дело Дрейфуса затеяли евреи, «стремящиеся спасти своего единоверца», нагло вмешиваясь в юридическую процедуру и «одновременно или альтернативно используя его в кампании против армии, инициированной, без сомнения, в Берлине». В любом случае, они «мне неприятны». Как бы то ни было, его отношение к делу Дрейфуса отражало настроения «верхушки» общества, которая, по словам самого одиозного вероотступника маркиза де Галифе, «ничего не поняла и не желает понять»<sup>39</sup>.

Некоторые из них имели литературные и иные таланты. Граф Робер де Монтескью, эстет в высшей степени, любил лаванду и золото, писал изысканные символические поэмы и стал для Пруста и Гюисманса символом декадентства, воплощенным в персонажах бароне де Карлюс и дез Эссент. Монтескью был той индивидуальностью, которой мог стать Оскар Уайльд, если бы у него было побольше денег, поменьше таланта и никакого чувства юмора. Можно упомянуть еще одного гомосексуалиста, князя де Саган, ходившего всегда со свежей бутоньеркой, тщательно намазывавшего усы, соперничавшего с племянником графом Бони за первенство в элегантности и вызвавшего на дуэль Абея Эрмана, в чьих сатирических новеллах о жизни богатеев и распутников обнаружил поклеп на собственную персону. Графине Анне де Ноай нравилось сочинять стихи и порхать по своим чудным комнатам в длинных белых развевающихся одеяниях, подобно «привидению или чему-то еще более нереальному». На приемах в ее доме полагалось все внимание обращать только на хозяйку. Сама она не очень интересовалась гостями, «улыбалась им, когда они приходили, и вздыхала, когда они откланивались, уходя»<sup>40</sup>. Граф де Вогюэ, новеллист и академик, старался повлиять на французскую литературу исследованиями творчества Тургенева, Толстого и Достоевского, помогая французам узнать хоть что-то о великих русских писателях.

Вышеперечисленные лица были самыми выдающимися. Остальная масса, более тысячи или около того человек, составлявших *gratin*, удовлетворялась, по словам одного из них, «осознанием

превосходства, которое существовало, несмотря на то, что это никак не подтверждалось реальной действительностью»<sup>41</sup>. Граф Эмери де Ларошфуко был примечателен «затвердевшими почти до состояния окаменелостей аристократическими предрассудками». Взбешенный неадекватностью приема в одном из домов, он предложил приятелю из своего круга: «Давайте пройдемся и поговорим о рангах». О семействе герцога де Люин он сказал, что в 1000 году они «были бы ничтожествами»<sup>42</sup>. К этой категории он отнес бы, наверно, и герцога д'Юзес. Предок герцога, когда король выразил удивление тем, что в его роду не было ни одного маршала Франции, ответил: «Сир, нас всегда первыми убивали в сражениях»<sup>43</sup>.

Индивиды, принадлежавшие к *gratin*, не отличались хлебосольством<sup>44</sup>. В некоторых домах, вне зависимости от состоятельности, «гостю могли предложить всего лишь стакан лимонада». Джентльмены этого сословия, уверовавшие в то, что только они знают, как правильно одеваться и предаваться любви, запросто обменивались дарами, полученными от известных куртизанок. Они подчинялись приказам вышестоящих господ и были рьяными англофилами, подражая в манерах и одеяниях англичанам. Графы Греффюль и Бретей были близкими друзьями принца Уэльского. *Le betting* (ставки на скачках) привились в Лоншане, *le Derby* (дерби) – в Шантийи, *le steeplechase* (стиплъ-чез или скачки с препятствиями) – в Отее, а нежеланного члена общества могли *black-boulé* (забаллотировать) в «Жокейском клубе». Шарль Хаас, прототип Свана, выгравировал на визитной карточке «Mr».

Английский визитер, побывавший во дворце герцога де Люин в Дампьере <sup>45</sup>, увидел там признаки современности – автомобили, бильярд, лондонский стиль одеяний на мужчинах, непринужденное щебетанье дам, но во всем другом на него пахло «скукотой и безжизненностью Мертвого моря»: «Все книги хранились под замком в библиотеке вне стен дома. В комнатах нельзя было найти ни одной книги, газеты, листа писчей бумаги, и на столе лежало единственное перо». Две сестры – герцогини де Люин и де Бриссак – и их подруга графиня де Вогюэ, все на сносях, оказались «прекрасными существами», с которыми очень легко разговаривать, если не говорить ни о чем другом, а только о спорте. Хозяин был гофмейстером претендента на французский трон. Они напомнили визитеру «детей, не

осознающих, что их интеллектуальное развитие задержалось»; они «ненавидели евреев, американцев, настоящее, прошлое, правительство, будущее, изобразительное искусство».

По законодательству республики, все претенденты на трон должны были жить в изгнании. Бонапартисты возлагали надежды на принца Виктора Наполеона, внука Жерома Бонапарта, а легитимисты отдавали предпочтение внуку Луи Филиппа, графу Парижскому<sup>46</sup>, о котором Тьер как-то сказал: «На расстоянии он похож на пруссака, а вблизи – полный придурок». После его смерти в 1894 году ему наследовал сын, герцог Орлеанский, довольно легкомысленный молодой человек, внезапно появившийся во Франции в 1890 году с намерением «разделить *gamelle* (общий котелок) французского солдата», то есть служить в армии. Одновременно он прославился и своим романом с примадонной Нелли Мельбой, заработав себе прозвище «Гамельба»<sup>47</sup>, придуманное Рошфором. До возникновения проблемы Дрейфуса герцог не мог рассчитывать на то, чтобы приобрести какую-то другую известность. Но теперь у роялистов появился стимул, пробудивший надежды, придавший новые силы и привлекая новых партнеров. Этот стимул они увидели в антисемитизме, ставшем модным, хотя и чреватый определенными негативными издержками, и им могли воспользоваться всякого рода парвеню. «Вся эта шумиха вокруг Дрейфуса разрушает общество»<sup>48</sup>, – сокрушался барон де Карлюс, а для герцогини Германт было «нестерпимо» принимать людей, которых прежде избегали, только потому, что они бойкотируют еврейских торговцев и пишут на зонтиках «Долой евреев!»

Не игравшие никакой роли в правительстве и культуре, высокородные особы, принадлежащие к *gratin*, служили важным фоновым, мотивационным и финансовым подспорьем для реакции. Но эта среда дала главного идеолога и поборника армии в деле Дрейфуса – графа де Мена. Именно он заставил правительство начать судебное преследование Золя за клевету на армию в письме *J'Accuse* («Я обвиняю»), в результате чего судьба узника приобрела общенациональную значимость. Если бы правительство не предприняло никаких действий в отношении Золя, то оно избежало бы общенациональной огласки, публичных слушаний, дискуссий, засвидетельствований и перекрестных допросов. Но «правое дело»



жаждало мщения, а призывы де Мена, ставшего его вожаком, дурманили, как культовые заклинания. Когда представитель военного министерства не пришел в палату депутатов, чтобы ответить на нападки Золя, де Мен потребовал явки самого военного министра и настоял на прекращении всех других дискуссий, пока не будет защищена честь армии. Один из депутатов предложил продолжить обсуждение, заметив, что проблема не столь острая и может подождать. «Армия не может ждать!» – оборвал его де Мен. Депутаты покорно разошлись и вновь собрались только тогда, когда появился военный министр, после чего они, повинаясь патриотическим заклинаниям де Мена, приняли решение привлечь к суду Золя.

«И колосс на грязных ногах остается колоссом»<sup>49</sup>, – говорил о нем Флобер. Он был, можно сказать, самым читаемым и щедро оплачиваемым автором во Франции того времени, но многих возмущал brutalный реализм его новелл. Он безжалостно вскрывал и выставлял на всеобщее обозрение самые низменные, подлые и отвратительные частности из жизни всех сословий – и обитателей трущоб, и сенаторов. С одинаково беспощадным натурализмом он изображал крестьян, углекопов, буржуа, докторов, офицеров, церковников, политиков и проституток с алкоголиками. Более того, в его трактовке вроде бы благополучный XIX век представал временем чудовищного обнищания, вызванного индустриализацией. Двери академии для него были наглухо закрыты. Его описание 1870 года в «Разгроме» взбесило армию, а роман «Жерминаль» дал повод назвать его защитником рабочего класса в борьбе против установленного порядка. Он был агностиком, верившим в то, что главным двигателем социального прогресса является наука. Однако в литературе уже сложилось критическое отношение к реализму и «банкротству науки».

За год до ареста Золя находился в зените своей славы, которую принесла ему двадцатитомная серия романов о французской действительности. На приеме, устроенном издателем в Булонском лесу по случаю выхода в свет последнего тома, присутствовали писатели, государственные деятели, послы, актрисы и знаменитости от Пуанкаре до Иветты Гильбер<sup>[62]</sup>. Нужны ли были Золя дополнительные знаки внимания? Конечно, разоблачение виновников заточения Дрейфуса могло принести новые лавры, но не каждый мог решиться на это. Требовалось проявить незаурядное мужество, чтобы выступить против

государственной системы и власть имущих. Надо было обладать талантами и гением великого писателя и способностью сопереживать страданиям другого человека, побуждающей к действию. Все эти качества в избытке имелись у Золя. Кроме того, в его жизни тоже были тяжелые времена, когда он испытывал душевные и физические страдания от социальной несправедливости, два года мыкался без работы, ютясь в грязном пансионе и утоляя голод воробьями, которых ловил на крыше и поджаривал, насадив на прут от штор, над свечой.

Уже в первом обращении, излагавшем свидетельства против Эстергази – *petit bleu*, уланские письма, Золя заявил: «Правда восторжествует». Когда через месяц армия решила предать Эстергази военному суду, дрейфусары подумали, что готовится пересмотр дела Дрейфуса. Они ошибались: армейские чины хитрили, им было важно удержать судебный процесс под своим контролем. Суд состоялся, Эстергази оправдали, а толпа объявила его «мучеником, пострадавшим от евреев». «Нас словно ударили дубиной», – писал Блюм. Действительно, создавалось впечатление, будто Дрейфуса осудили во второй раз.

Оставался один выход – добиться гражданского судопроизводства. Для этого Золя и написал прямое воззвание к президенту Франции. Он принял такое решение в тот же день, когда оправдали Эстергази, сознательно провоцируя судебное преследование против себя. Он сказал об этом только жене и не испытывал ни малейших колебаний. Он закрылся в своем кабинете и писал не переставая двадцать четыре часа, скрупулезно проанализировав и изложив все детали одного из самых запутанных и окруженных тайнами судебных дел в мировой практике и фактически создав беспрецедентный обвинительный акт. Золя принес свой манифест, состоявший из четырех тысяч слов, в «Орор» вечером 12 января, и наутро он появился в газете под заголовком “*J’ACCUSE!*”, предложенным Эрнестом Воэном (или, по другой версии, Клемансо). Моментально были раскуплены триста тысяч экземпляров, в том числе и националистами, которые сжигали их на улице же.

Каждый параграф начинался со слов «Я обвиняю». Золя прежде всего обвинял двух военных министров – генералов Мерсье и Бийо, первого – «как соучастника в совершении одного из самых гнусных противозаконных злодеяний столетия», а второго – «в сокрытии

доказательств невинности Дрейфуса». Он обвинял также начальников генштаба генералов Буадеффра и Гонзу в соучастии в этом преступлении и полковника дю Пати де Клама как «злостного зачинщика» (ему ничего не было известно о майоре Анри). Он обвинял военное министерство в развязывании «отвратительной кампании» в прессе, вводившей в заблуждение общественность и утаивавшей собственные правонарушения. Он обвинял первый военный трибунал в проведении противозаконного судопроизводства, а трибунал, разбиравший дело Эстергази, – в укрывательстве противозаконности приговора по «указке сверху» и в совершении злостного юридического преступления – умышленном оправдании человека, виновность которого судьям известна. Писатель выдвигал обвинения, полностью осознавая, что его могут по закону привлечь к ответственности за клевету, и он делал это преднамеренно, с тем чтобы «ускорить высвобождение из пут правды и справедливости»: «Пусть они меня судят. Принародно. Я подожду».

Общественность ужаснулась. Обвинения в преступных деяниях высших военачальников страны были равноценны восстанию против государства. Даже многие сторонники пересмотра дела Дрейфуса опасались, что Золя переборщил. Он еще больше обострил и без того накаленную обстановку, напугав и разозлив средние сословия и укрепив их веру в необходимость защищать армию и противостоять дрейфусарам. На следующий день после одобрения резолюции де Мена в палате депутатов правительство объявило о привлечении к суду Золя. Пресса обрушила на него потоки ругани и грязных оскорблений, его проклинали и на улицах. Карикатуристы изощрялись в том, как бы пообиднее его изобразить. «Гнусная свинья»<sup>50</sup> – это было, пожалуй, самое благовоспитанное выражение. Ему посылали по почте пакеты с экскрементами. Его изображения жгли на улицах. Развешивались плакаты с надписью: «Все честные французы говорят Золя: “*Merde!*”»<sup>[63]</sup> Писателя презрительно называли «инородцем», намекая на то, что его отцом был итальянец. В действительности его родила француженка в Париже, и он воспитывался в доме ее родителей в Экс-ан-Провансе.

В иске, поданном от имени правительства военным министром генералом Бийо, полностью игнорировались обвинения, касающиеся дела Дрейфуса, и речь шла только о суде над Эстергази и оправдании

его «по указке сверху». Это позволяло председательствующему судье исключать из процедуры любые свидетельства, не относящиеся к данному обстоятельству. Протестуя против такого подхода, Жорес в палате депутатов заявил правительству: «Вы отдаете республику на растерзание генералам-иезуитам!» В ответ депутат-националист граф де Бернис набросился на него с кулаками, вынудив вмешаться в конфликт стражу.

Памфлет “*J'accuse*” вызвал огромный международный резонанс, придавший делу Дрейфуса характер героической трагедии. Всех поразило и то, что французскую армию можно обвинить в таких злонамеренных преступлениях, и то, что самого известного французского писателя можно привлечь к суду столь грубым способом. Мир взирает на Францию, «оцепенев от изумления и боли», писал из Норвегии Бьёрнсон Бьёрнстjerne<sup>51</sup>. Когда начался судебный процесс, дрейфусары уже не чувствовали себя одинокими. «Действие происходит во Франции, зрители – весь мир», – говорили они<sup>52</sup>. Суд над Золя превратил дело Дрейфуса в событие мирового масштаба.

Мужественное вмешательство Золя взволновало по крайней мере одного писателя мирового масштаба – Чехова<sup>53</sup>. Он в это время находился в Ницце, внимательно следил за судебным процессом, читал все доступные свидетельства, сообщая домой: «Здесь все разговоры только о Золя и Дрейфусе». Он считал антисемитские и антидрейфусарские тирады ведущей петербургской газеты «Новое время», которая печатала и его новеллы, «омерзительными» и ссорился с ее редактором, своим давним и близким другом.

Зарубежную аудиторию больше интересовала проблема справедливости, а не оголтелое нежелание французов пересмотреть дело Дрейфуса. А враждебность зарубежных критиков лишь усиливала это нежелание. «Французские газеты недоумевают, почему за границей так обеспокоены Дрейфусом, – писала княгиня Радзивилл, – как будто проблема справедливости не должна быть предметом заинтересованности для всего мира». Безусловно, она касалась всего мира, но во Франции имела и другое измерение. Она отражала не борьбу правых сил против левых, потому что такие люди, как Шерер-Кестнер, Рейнах, Клемансо и Анатоль Франс не принадлежали к лагерю левых сил. Она велась на фронтах справедливости и

патриотизма и была преимущественно борьбой между силами реакции и разума.

Судилище над Золя началось 7 февраля 1898 года и длилось шестнадцать дней. Атмосфера, царившая во Дворце правосудия на Иль-де-ла-Сите, где проходил процесс, по описанию одного из очевидцев, была пропитана злобой и ненавистью, «как во время массового смертоубийства»<sup>54</sup>. В судебный зал битком набились журналисты, адвокаты, офицеры в парадных мундирах и дамы в мехах. Марсель Пруст каждый день забирался на галерею для публики, взяв с собой кофе и сэндвичи, и старался не пропустить ни одного слова. За окнами улюлюкала и вопила толпа клакеров, получивших от Дрюмона по сорок су. Все офицеры, имевшие отношение к расследованию эпизодов, связанных с Дрейфусом, Эстергази и Пикаром, под присягой подтвердили аутентичность документов, включая и письмо Паницарди, служившее главным «доказательством» вины Дрейфуса. (Министр иностранных дел, которого итальянцы предупредили о том, что письмо сфабриковано, хотел прекратить судебный процесс, но правительство отказалось, опасаясь бунта армии.) Генерал Мерсье, стоя навытяжку, сохраняя подчеркнуто надменное и хладнокровное выражение лица и демонстрируя «уверенность в своей непогрешимости», дал честное слово офицера и подтвердил, что Дрейфус осужден справедливо и законно. Все попытки защиты провести перекрестный допрос отвергались председательствовавшим судьей как не относящиеся к иску. На заявления Золя, его адвоката Лабори или Клемансо, представлявшего газету «Орор», публика отвечала невообразимым гвалтом. Золя, расстроенный и мрачный, пытался сохранить самообладание, но, не выдержав, все-таки крикнул «Каннибалы!», слово, использованное Вольтером в процессе над Каласом. Эстергази, приглашенного выступить в качестве свидетеля, толпа приветствовала возгласами “*Gloire au victime du Syndicat!*”<sup>[64]</sup> На выходе из зала принц Орлеанский, кузен претендента на трон, пожал руку автору уланских писем, символу «французского мундира».

Английский визитер писал: Париж бурлит, жаждет крови<sup>55</sup>. Закрылись лавки и магазины, спешно покинули город иностранцы. Обезумевшие толпы выбили стекла в окнах дома Золя и редакции газеты «Орор». Антисемитские бунты, организованные Жюлем

Гереном, приспешником Дрюмона, вспыхнули в Гавре, Орлеане, Нанси, Лионе, Бордо, Тулузе, Марселе и менее крупных городах, а в Алжире они продолжались четыре дня, сопровождаясь погромами в еврейских кварталах, грабежами, избиениями и убийствами. В Париже открылось специальное бюро, где нанимали бандюг за пять франков в день или два франка за один вечер для того, чтобы они ходили по улицам и кричали: «Долой евреев!», «Да здравствует армия!», «Плюем на Золя!» Когда Золя выходил из зала суда вместе с Рейнахом, на них напала толпа с воплями «Утопить предателей! Смерть евреям!» От расправы их спасала полиция. Потом конная полиция каждый день охраняла экипаж Золя и когда он ехал в зал суда, и когда возвращался домой. Иногда ей приходилось отбиваться от разъяренной толпы, а Демулен, друг Золя и телохранитель, всегда имел при себе револьвер

56

На суде тем временем все громче звучал голос правды. Не так легко было напугать и заставить замолчать ни Лабори, молодого и напористого адвоката, о котором говорили как о человеке, обладавшем не только «мощным интеллектом, но и пламенным темпераментом»<sup>57</sup>, ни Клемансо, жесткого, беспощадного и неукротимого полемиста. По слухам, присяжные уже склонялись к тому, чтобы оправдать Золя. Генерал Буадеффе, взяв слово, предупредил: «Если нация не доверяет командирам армии... то они готовы передать другим свою тяжелую и ответственную миссию. Решайте сами». Фактически он пригрозил коллективной отставкой всего генштаба. Буадеффе поставил вопрос прямо: мы или Золя. Присяжным надо было решать эту проблему, а не судьбу Дрейфуса и устанавливать его виновность или невиновность. Присяжными были преимущественно представители мелкой буржуазии: дубильщик, огородник, торговавший на рынке овощами, продавец вин, клерк, домовладелец и двое рабочих. «Либр пароль» опубликовала их имена, адреса и письма читателей с угрозами мщения, если оправдают «итальянца».

В заключительном слове Золя, преодолевая неодобрительный гул публики, поклялся, что все сорок лет его творческой деятельности и 40-томное издание книг могут засвидетельствовать невиновность Дрейфуса. Он хотел лишь одного – вырвать страну из «лап лжи и несправедливости», и, хотя его осудили, «Франция когда-нибудь выразит мне благодарность за то, что я помог ей сохранить

достоинство». А Клемансо сказал: «Ваша задача, господа присяжные, вынести приговор не столько нам, сколько себе. Мы отвечаем перед вами. Вы отвечаете перед историей».

Золя вынесли обвинительный приговор со счетом семь к пяти, то есть пятеро присяжных проявили мужество и не согласились с ним. За окнами площадь Дофина почернела от толп возбужденных людей, праздновавших победу. «Послушайте, послушайте их крики, – промолвил Золя, выходя из зала. – Они ведут себя так, словно им бросили кусок мяса»<sup>58</sup>. Клемансо сказал своему другу: он был уверен в том, что в случае оправдательного приговора «никто из дрейфусаров не ушел бы отсюда живым»<sup>59</sup>. Золя приговорили к одному году тюремного заключения и штрафу в размере трех тысяч франков. Когда ему отказали в апелляции, друзья советовали бежать в Англию. Генри Адамс<sup>60</sup> прокомментировал приговор следующим образом: его «надо было бы отправить к своему другу Дрейфусу на остров Дьявола», а «вместе с ним столько французской гнили, сколько уместится на острове, включая большинство газетчиков, основную часть деятелей театра, всех биржевых маклеров, одного или двух Ротшильдов». Он выражал собственные эмоции, никем не оплаченные, в отличие от парижской толпы, но их настроения были очень схожи.

Суд, как торнадо, потряс все общество. «В каждом вдруг заговорила принципиальность, – писала «Пти паризьен», – но никто не хотел выслушивать противоположное мнение, дискуссий не получалось, у каждого была своя правда». Ссорились семьи, даже слуги. В самой знаменитой карикатуре Карана д'Аш отец большого семейства за обедом предупреждает: «Не будем об этом говорить!» На следующем рисунке изображена потасовка – перевернутый стол, летящие ножи и вилки, стулья и подпись: «Они об этом поговорили!»

Дрейфусары сформировали Лигу за права человека, которая устраивала акции протеста и направляла лекторов по всей стране. Они составили петицию, призывавшую к пересмотру дела Дрейфуса и способствовавшую тому, что раскол общества стал более явным и очевидным. Петиция под заглавием «Протест интеллектуалов» каждый день публиковалась в «Орор» с новыми и новыми подписями. Благодаря этому четко обозначился разрыв между сторонниками и противниками пересмотра приговора. Организаторами движения

выступили Марсель Пруст и его брат Робер (их отец не разговаривал с ними целую неделю из-за этого), Эли Галеви с братом Даниелем и кузеном Жаком Бизе, сыном композитора. Всем им тогда еще не было и тридцати лет. Им повезло: одним из первых подписал петицию «гений латинской литературы», глава академиков Анатоль Франс. «Он встретил нас в домашних шлепанцах, поднявшись из постели с жутким насморком», – вспоминал Галеви<sup>61</sup>. «Дайте мне это, – сказал он. – Я подпишу. Я подпишу все. Мне гадко». Он был реалистом, ему было омерзительно тупоумие. Циничный и саркастичный летописец человеческой глупости, Анатоль Франс не питал симпатии ни к радетелям армии, ни к Дрейфусу, считая его таким же офицером, как и те, кто подвел его под суд: «На их месте он поступил бы точно так же». Но он ненавидел толпу и в силу строптивости характера обычно выступал и против правительства.

Его прозу читали с наслаждением. А жил он в доме-салоне своей возлюбленной Арман де Кайяве с 1889 года, когда после ссоры с женой ушел от нее в домашнем халате и тапочках, держа в руках поднос с гусиным пером, чернильницей и последними рукописями, в гостиницу, послал кого-то принести одежду и больше не возвращался. Мадам Арман любила его, но держала в ежовых рукавицах, запирала в кабинете, когда он ленился, и заставляла писать. Его новеллы о перипетиях жизни господина Бержере регулярно печатались в ультраправой газете «Эко де Пари» с 1895 года и продолжали публиковаться во время скандала вокруг дела Дрейфуса. Подпись Франса, вдохновившая сторонников пересмотра приговора, в равной мере удивила обе стороны. Он был «одним из нас»<sup>62</sup>, и ему не следовало бы солидаризироваться «с ними», сетовал Леон Доде.

Впервые «Протест интеллектуалов» появился с подписями 104 человек, через месяц его подписали три тысячи, в том числе Андре Жид, Шарль Пеге, Элизе Реклю, Габриель Моно, ученые, поэты, философы, доктора, профессора и один художник Клод Моне – из симпатии к Клемансо. Единственное политическое действие, совершенное Моне за всю жизнь – подписание петиции, – поссорило его с Дега, и они многие годы не разговаривали друг с другом<sup>63</sup>. Почти ослепший, Дега просил читать ему «Либр пароль» каждое утро и презрительно изрекал что-нибудь об *arrivistes* <sup>[65]</sup> республиканской эры<sup>64</sup>. «В наше время, – говорил он, морщась, – никто не выслуживался».



Художники и музыканты, хотя и были политически индифферентны, все же больше тяготели к националистам. Дебюсси любил сидеть в компании окружения Леона Доде в кафе «Вебер» на улице Руаяль<sup>65</sup>. Симпатизировал националистам и Пюви де Шаванн.

Ставили свои подписи профессора и преподаватели Сорбонны, Эколь нормаль, медицинского института, провинциальных университетов, учителя средних школ, но многие и отказывались, опасаясь репрессий. «Если я подпишу, – говорил Жоржу Клемансо директор одной школы, – то этот сукин сын Рамбо (министр просвещения) сошлет меня гнить в глушь Бретани»<sup>66</sup>. Выдающийся ученый Эмиль Дюкло, преемник Пастера, поставил свою подпись сразу же, объяснив, что если бы в лабораториях боялись пересматривать доктрины, то не было бы и открытий<sup>67</sup>. Его примеру последовали и другие ученые, и некоторые из них поплатились за это. Химик Гримо из Политехнического института, выступавший и на судебном процессе Золя, и подписавший петицию, лишился должности заведующего кафедрой. Интеллигенция спорила: подписали бы ее или нет корифеи Гюго, Ренан, Тэн или Пастер? Создавались комитеты «за» и «против», препирались школьники, учителя и студенты, особенно остро разброд в кругах просветителей обозначился в провинциях, где профессорско-преподавательский состав находился под влиянием католической церкви.

Интеллигенция раскололась, страсти накалялись, и раскол лишь углублялся. Бывшие друзья не замечали друг друга; они «словно отгородились стеной взаимного отчуждения». После того как Пьер Луис, автор «Афродиты», выразил свое несогласие с Леоном Блюмом, они больше не встречались. После публикации «Протеста» трое журналистов, друзей Леона Доде, три часа уговаривали его подписать петицию, взывая «к моему патриотизму, разуму и совести». До суда над Дрейфусом Леон Доде обедал в доме адвоката Лабори, мадам исполняла песни Шумана, и он восхитительно провел вечер: хозяин блистал «здоровьем и красноречием, мадам – талантами, очарованием и добросердечием». Его с радостью принимали и в доме Октава Мирбо на Пон-де-л'Арш, где писатель показал ему «Ирисы» Ван Гога, мадам демонстрировала «приветливость и хлебосољство», а кухня была «просто изумительной». После суда «националисты» для Мирбо представлялись лишь в образе «наемных убийц», а Доде считал

демократию «ядовитой заразой». После суда над Золя Леон Доде каждую неделю печатал злобные диатрибы<sup>[66]</sup> в «Либр пароль» и «Голуа».

Друзья надеялись, что в поддержку пересмотра дела Дрейфуса выступит блистательный новеллист, сочетавший писательство с политической деятельностью, Морис Баррес. Леон Блюм попросил его подписать петицию протеста, он пообещал подумать, а потом сообщил, что отказывается. Он уважает Золя, но у него возникли сомнения, и он предпочел руководствоваться «чувством патриотизма». Спустя пару месяцев Баррес нашел еще более весомые аргументы, обнаружив общность между евреями и Золя, «денатуризованным венецианцем»: у них нет страны в нашем понимании, для нас страна – это земля наших предков, наших мертвых; для них – это место, где «можно извлечь больше пользы и выгоды». Он стал интеллектуальным лидером националистов, обеспечивая «правое дело» необходимой патриотической фразеологией.

Их деятельным помощником оказался новый четырехстраничный еженедельник карикатур «Псст!», который начали издавать Форен и Каран д'Аш, создавая юмористические сюжеты за столом в кафе «Вебер». Каран д'Аш был мастером юморесок в картинках. Форен прославился своими черно-белыми гравюрами, обличавшими парижское общество, хотя его картины, написанные маслом, вынудили Дега как-то зло заявить: «Он пишет руками, держа их в моих карманах»<sup>68</sup>. Это он на обложке изобразил прусского офицера, стоящего за темной и циничной фигурой, символизирующей «синдикат», и держащего перед ней маску Золя, воплотив в одном рисунке все детали дела Дрейфуса в том виде, в каком они подавались националистами. Чаще всего на страницах «Псст!» появлялся Рейнах в образе орангутанга, имевшего все характерные черты еврейской внешности, с цилиндром на голове, и постоянно консультирующегося в Берлине с пруссаками в островерхих шлемах. Шерер-Кестнер и другие сторонники пересмотра дела Дрейфуса изображались длинноносыми евреями в банкирских пальто с меховыми воротниками: они расплачивались германской валютой, играли в футбол, пиная армейский кепи, или собирали сорняки на могиле Равашоля, чтобы преподнести «букет Золя». На страницах еженедельника обязательно присутствовала фигура дюжего солдата с

идеальной выправкой, храброго и отважного воина с нестигаемой волей – образ армии. Интеллектуал же изображался в виде долговязого персонажа с огромной головой и звездой Давида на лбу, с гусиным пером, которое обычно было намного больше тела, и с таким выражением на лице, из которого было совершенно ясно, что он «презирает Францию и французов». Единственным исключением из общего правила было появление в еженедельнике «дяди Сэма» в образе «нового Гаргантюа», пожирающего Испанию, Гавайи, Пуэрто-Рико и Филиппины.

Трудно сказать, был ли тогда во Франции хотя бы один человек, который ничего не знал о деле Дрейфуса. Когда Леон Блюм пришел к новому дантисту, молодому человеку с манерами и внешностью кавалерийского офицера, тот вдруг заявил пациенту, севшему в кресло: «Все равно они не посмеют тронуть Пикара!» Гастон Парис, академик-медиевист, заключил свою очень научную статью о Филиппе Добром столь пылкими призывами к справедливости<sup>69</sup>, что каждый мог понять, на чьей он стороне. Поля Стапфера, декана факультета словесности в Бордо, временно отстранили от должности за то, что он на похоронах коллеги упомянул солидарность покойного с теми, кто добивается пересмотра приговора Дрейфусу. Скандал разразился в обществе ордена Почетного легиона, когда военная когорта потребовала исключить из него Золя. Анатоль Франс и не только он перестали носить красные ленточки на сюртуках. В кафе националисты и сторонники Дрейфуса сидели за разными столами и на противоположных флангах террас. Процесс идейно-нравственного размежевания затронул и сельскую местность<sup>70</sup>. Житель деревни Самуа (четырнадцать миль от Парижа) говорил, что у них все стали дрейфусарами, а во Франковиле (три-четыре мили от города) все считали себя антидрейфусарами.

В феврале 1898 года в «Биксио»<sup>71</sup>, элитном обеденном клубе, где собирались любители поговорить за столом, по описанию завсегдатая Жюля Кларти, царило «тягостное молчание»; в марте из-за этого в нем не появлялся маркиз де Галифе; в мае все разговоры были только о деле Дрейфуса, правда, коснулись и еще одной животрепещущей темы: «Разве не сами американцы взорвали “Мэн”?» В ноябре вновь у всех было мрачное настроение: «Я не припомню другого такого скучного и угрюмого обеда», – написал Кларти в дневнике.

На премьере спектакля по пьесе Ромена Роллана «Волки» публика разгорячилась, как на поле боя<sup>72</sup>. Он написал пьесу за шесть дней, спеша показать миру, что Францию раздирает одна из самых мучительных и опасных проблем, какие только могут поразить человеческое сознание, дилемма, достойная пера Корнеля: принести в жертву государство или справедливость? Публику особенно возбуждало присутствие на премьере полковника Пикара, сидевшего в ложе, и полковника дю Пати де Клама, занимавшего место в партере. Пикара, уволенного из армии после первого же ареста, пригласил Эдмон Ростан, с удовольствием пожинавший лавры успеха, которые принес ему «Сирано де Бержерак». За десять лет французские театралы устали от скепсиса, символизма и ибсенизма, которыми был перенасыщен «Театр либр». «Нам нужны идеалы, вера, сила, – писал критик<sup>73</sup>. – И мы получили Сирано! Наши желания исполнились!» Дух Сирано действительно ощущался в зале в тот вечер.

Когда персонаж, изображавший Пикара, схлестнулся со своим оппонентом, зал так загудел, что не слышно было актерских голосов. «Весь театр от пола до потолка содрогнулся от рева публики». Стандартные вопли “*Vive!*” и “*A bas!*” дополнились не менее истошным возгласом “*A bas la patrie!*”<sup>[67]</sup>, а тринадцатилетний анархист крикнул с балкона «Долой христианство!» Роллан подумал: «Мои идеи не услышаны, неважно. Пьеса не в счет. Самый главный спектакль сыграла публика. Она исполнила один из актов истории».

Битва продолжалась и на следующий день. «Эко де Пари» и «Пресс» уволили своих театральных критиков, в коллеже Станисласа отменили прием в честь госпожи Ростан, две газеты одновременно начали кампанию бойкота «Сирано», популярность которого тем не менее оказалась сильнее ассоциаций его автора с Пикаром. В дневнике Роллан написал: «Я предпочитаю жизнь в боях, как сейчас, существованию в мертвой тиши и скорбном оцепенении последних лет. Господи, дай мне битву, врагов, ревущие толпы людей, борьбу, которой я бы отдал все свои силы».

Аналогичное чувство беспокойства и жажду действия испытывали Пеги и другие интеллектуалы, хотя побудительные мотивы были несколько иные. Сенатор Ранк вспоминал, что Рейнах постоянно пребывал в ожидании внезапного нападения. «Однажды мы узнаем, что нам не следует спать дома, поскольку могут напасть

антисемитские банды<sup>74</sup>, – говорил он. – В другой раз мы будем бояться налета полиции. Это, конечно, действует возбуждающе, придает жизненных сил. Замечательно, когда наступает пора действовать и ощущаешь необходимость борьбы».

С первых дней, когда Жозеф Рейнах объявил гостям мадам Эмиль Штраус о незаконном осуждении Дрейфуса, во всех парижских салонах началась поляризация мнений и взглядов на окружающую действительность<sup>75</sup>. Прежде они были и подмостками, на которых можно блеснуть интеллектом, эрудицией и нарядами, и клубами, где могли пообщаться представители разных сословий и мировоззрений. Эти салоны во Франции служили тем же целям, как и домашние приемы в гостиных загородных особняков в Англии – сближению людей разных рангов, состояний и убеждений. Они были «супермаркетами» идей, «фондовыми биржами» социальных и политических одолжений и благоволений, куда съезжались дамы и господа, жаждавшие духовного общения и обмена мнениями на злобу дня: кого изберут в академию, кто наденет темно-зеленый мундир и на виду у всей элиты Парижа произнесет хвалебную речь об усопшем Бессмертном, которого призван заменить. Теперь же они превращались в ринги, где происходили нешуточные полемические схватки, разрушавшие мирный объединительный процесс.

У каждого салона был свой *grand homme*<sup>[68]</sup>. У госпожи Обернон в этой роли сначала выступал Дюма-сын, а потом д'Аннунцио. К госпоже Эмиль Штраус, черноглазой красавице со знойным взглядом, приходило столь много знаменитостей, что ей трудно было сделать выбор. До скандала вокруг дела Дрейфуса у дочери композитора Галеви и вдовы Жоржа Бизе, опечалившей бракосочетанием со Штраусом целый сонм поклонников, собирался весь цвет Парижа. У нее можно было увидеть философа Анри Бергсона, актрису Режан, лорда Литтона, британского посла, профессора Поцци – хирурга, Анри Мейлака – либреттиста опер Оффенбаха, Жюля Леметра, Марселя Прево, Форена, Пруста и даже принцессу Матильду, имевшую свой собственный салон, открывавшийся по средам. Все они каждую субботу ближе к вечеру ехали в дом госпожи Эмиль Штраус на бульваре Осман, принося с собой последние новости из палаты депутатов, *le Quai d'Orsay*<sup>[69]</sup> (набережной д'Орсэ), театров, редакций газет. После объявления, сделанного Рейнахом, перестал бывать у

госпожи Штраус Леметр, облюбовав салон графини де Луан, пристанище правых. Отвернулись от нее и некоторые другие завсегдатаи.

В то же время центром притяжения сторонников пересмотра приговора Дрейфусу стал воскресный салон госпожи Арман де Кайяве на авеню Ош, где главенствовал Анатоль Франс. Сюда постоянно наведывались Клемансо, Бриан, Рейнах, Жорес и Люсьен Эрр. Госпожа Арман признавала только писателей и политиков и не желала видеть у себя аристократов, исключая госпожу де Ноай, которая считалась сторонницей дрейфусаров и казалась всем «восточной принцессой, сходящей с паланкина... и обладавшей способностью дополнять пламенность слов пламенностью взгляда». Повсюду лежали книги Анатоля Франса, а сам великий мастер стоял посреди толпы, собравшейся вокруг, рассуждал на избранную тему, прерываясь иногда, чтобы поприветствовать кого-нибудь или поцеловать руку бледной особе в шинилле, раскланиваясь налево и направо, знакомя гостей и продолжая одновременно говорить о поэзии Расина, парадоксах Робеспьера и эпиграммах Рабле.

Однако всех занимали не парадоксы Робеспьера и эпиграммы Рабле, а конфликт мнений об осуждении Дрейфуса. В салон госпожи Обернон все еще приглашались гости из обоих лагерей, и как только кто-нибудь заговаривал о нем, моментально возникал ожесточенный спор. «Эта петиция так называемых “интеллектуалов” – абсурдная и нахальная, – провозглашал Фердинанд Брюнетьер, редактор назидательного журнала «Ревю де дё монд» («Обозрение двух миров»). – Они придумали название, превознося себя до небес, как будто писатели, ученые, профессора умнее и лучше других людей... Кто дал им право вмешиваться в дела военного правосудия?» Виктор Брошар, профессор античной философии в Сорбонне, отвечал не менее пылко: «Правосудие основывается не на мнении судей, а на законах... Вынести приговор человеку на основании свидетельств, которые от него умышленно сокрыты, это не просто беззаконие, а юридическое убийство... Сегодня не генералы, не Рошфор, не горлопаны из «Либр пароль», не Эстергази и не ваш герцог Орлеанский представляют честь и совесть Франции. Олицетворяем ее мы, интеллектуалы».

Штаб-квартирой «правого дела» был салон госпожи де Луан на Елисейских полях, где царствовал Жюль Леметр. Прирожденная дама полусвета, вышедшая замуж за пожилого графа де Луан и ставшая признанной повелительницей академиков, была для Леметра и наставником, и матерью, и сестрой, и, предположительно, любовницей, хотя, как говорили злые языки, платонической. Гостей она принимала, устраивая обед, по пятницам в плюшевой гостиной, украшенной обнаженной мраморной Минервой на каминной полке и картиной Месонье на стене, «дешевой подделкой», по мнению Бони де Кастеллана. Леметр уже был известным литературным и театральным критиком, печатавшимся в «Журналь де деба» («Журнал дебатов»), очень плодовитым, одинаково легко писавшим пьесы, стихи, короткие рассказы, критические эссе, биографии, речи, политические и полемические статьи. Из его сочинений, когда их скомпоновали, получилось пятьдесят томов. Хотя Леметр и отличался дилетантством, полагают, что именно он своими полемическими выступлениями в «Ревю де дё монд» уберег французский театр от нашествия северных драматургов – Ибсена, Гауптмана, Зудермана, Штринберга, благодаря чему по праву и занял место в академии. В демократии и всеобщем избирательном праве он совершенно разочаровался. «Республика излечила меня от республиканских иллюзий, – писал Леметр, – а жизнь исцелила меня от романтизма»<sup>76</sup>. Он разуверился и в «литературных играх», мысля себя человеком действия, вдохновляющим других людей не на страницах газет, а в реальной жизни на борьбу за великую идею. Под бурные аплодисменты на торжественной церемонии в салоне госпожи де Луан его избрали предводителем *Ligue de la Patrie Française*, Лиги защитников французского отечества, которая по замыслу националистов должна была спланировать интеллектуалов «правого дела» для борьбы с врагами *la patrie*. В комитет вошли Вогюэ, Баррес, Форен, Мистраль, поэт провансальского возрождения, композитор Венсан д'Энди, художник Каролус Дюран. В лиге вначале насчитывалось 15 000 членов, а уже через месяц в нее вступили еще 30 000 энтузиастов. Леметра избрали президентом, видимо, только для того, чтобы иметь во главе организации академика, равного Анатолью Франсу, поскольку он меньше всего подходил на роль лидера, отличался склонностью к

ехидству, брюзжанию и, если ему не удавалось доказать свою точку зрения за пять минут, то он самоустранялся из дискуссии.

Не годился в вожаки и вице-президент, кроткий и добродушный поэт Франсуа Коппе. Его уговорили друзья, а он ностальгировал по прошлому, писал романтические стихи о неприхотливости и скромности былых времен. Когда приятель-англичанин спросил его “*Que faites vous, Maître, dans cette galère?*” («Зачем вы ввязались в это дело?»), Франсуа ответил: «По правде говоря, и сам не знаю»<sup>77</sup>. Он испытывал какое-то смутное ощущение, что религия и патриотизм, сделавшие Францию великой, могут исчезнуть под напором материализма.

Реально руководили организацией Баррес, Дрюмон, Рошфор и Дерулед, вождь прежней Лиги патриотов<sup>78</sup>. На политических сессиях Дрюмон обычно громко хохотал и говорил: «Они доведут меня до могилы». Рошфор, привыкший слушать только самого себя, когда дискуссия затягивалась, восклицал «Да, да, это тошнотворно, ну и *canaille!*»<sup>[70]</sup> и рассказывал какой-нибудь анекдот, приводивший в восторг Франсуа Коппе. «Каждый из нас по отдельности человек серьезный и солидный, а когда мы вместе, то ведем себя фривольно», — жаловался Леметр госпоже де Луан.

Но они, конечно, со всей серьезностью относились к своей миссии. В спорах вокруг *bordereau* и *petit bleu* Леону Доде слышалась «тяжелая поступь легионов варваров». Дрейфусизм – чужестранец, оккупировавший Францию. Это революция. Это евреи, масоны, вольнодумцы, протестанты, анархисты, интернационалисты. У каждого был свой враг. Баррес видел опасность во всем, что ему казалось «нефранцузским». Для Артура Мейера ее представлял «альянс анархизма и дрейфусизма», «культ удвоенной чудовищной силы», главными жрецами которого были Анатоль Франс и Октав Мирбо. Брюнетьер усматривал угрозу в индивидуализме... величайшем недуге нашего времени... сверхчеловеке Ницше, анархисте, *culte de moi*<sup>[71]</sup>.

Пост военного министра в правительстве радикалов, сформированном после выборов в мае 1898 года, занял Годфруа Кавеньяк, личность сугубо гражданская, но с характером. Он был рьяным республиканцем, гордился своей кристальной честностью и считал себя гонителем коррупционеров в парламенте. Он же



инициировал панамское расследование и не переносил Клемансо. И он же, когда ему довелось шесть месяцев в 1895 году поруководить военным министерством, поверил в подлинность «секретного файла» и виновность Дрейфуса. Теперь же, хотя отставной премьер-министр Мелин представлял дело так, будто никаких проблем с приговором не существует, Кавеньяк решил сам ознакомиться с документами. Он просмотрел все материалы и убедил себя в виновности обоих – и Эстергази и Дрейфуса. Министр приказал арестовать Эстергази и Пикара, намерившись навсегда закрыть в палате депутатов дело о пересмотре приговора. С суровым и решительным видом он сообщил депутатам: Эстергази оправдан ошибочно, его следует привлечь к ответственности, но «я абсолютно убежден в виновности Дрейфуса». Он пересказал всю историю дела Дрейфуса, восстанавливая детали, ложность которых дрейфусары уже доказали, процитировал некое признание Дрейфуса и письмо Паницарди, о подложности которого итальянцы информировали Мелина, еще две недели тому назад исполнявшего обязанности премьер-министра, а сейчас сидевшего в депутатском зале. Когда Кавеньяк закончил речь, все депутаты поднялись со своих мест, бурно аплодируя. Они сняли с себя тяжелейшее бремя и проголосовали с результатом 545—0 (при девятнадцати воздержавшихся, включая промолчавшего Мелина) за общенациональное *affichage*, предание гласности речи министра путем расклеивания текста возле каждой ратуши по всей Франции. «Теперь это гнусное дело погребено навечно, – заявил в тот вечер в своем клубе Вогюэ. – Теперь Дрейфусу гнить на скале до самой смерти»<sup>79</sup>.

Дрейфусарам нанесли страшный удар. Печальную весть сообщил им один журналист, примчавшийся из палаты депутатов к Люсьену Эрру, принимавшему в это время у себя в кабинете Леона Блюма. Потрясенные, они молча смотрели друг на друга, оцепенев от горя и едва сдерживая слезы. Вдруг звякнул дверной звонок, и с улицы к ним ворвался взъерошенный Жорес. Он посмотрел на них победоносно и затараторил: «И вы тоже?.. Неужели вы не понимаете, что впервые как никогда прежде мы близки к победе? Мелин молчал, говорил Кавиньяк, и его легко побить... Кавиньяк цитировал документы, а они подложные. Да, говорю вам, они подложные, от них пахнет, от них смердит фальшивками. Это подделки... Я в этом уверен и докажу это.

Липа выпирает из всех дыр. Мы возьмем их за горло. Не хмурьтесь с похоронным видом. Ликуйте, как я».

Жорес ушел и написал *Les Preuves* («Доказательства»), серию статей, которые начала печатать социалистическая газета «Птит републик», удивив читателей своей готовностью оказать содействие представителям ненавистного буржуазного мира. Дело Дрейфуса побуждало забыть о классовой вражде.

Жорес стал убежденным дрейфусаром еще до суда над Золя. Вся его приземистая и крепко сбитая фигура, казалось, излучала жизнерадостность и предвкушение битвы. Большая голова, включенная борода, неряшливость одеяния, вечно сползающие из-под брюк белые носки вписывались в расхожий образ вождя трудящихся. Но по рождению Жорес не имел никакого отношения к рабочему классу, а происходил из буржуазной, хотя и бедной семьи, учился в Эколь нормаль, превосходно владел греческим и латинским языками, был однокашником и другом Анри Бергсона, соревнуясь с ним за первенство в познании наук. Во время суда над Золя он в ожидании вызова в качестве свидетеля прохаживался в коридоре на пару с Анатолем Франсом, декламируя стихи поэтов XVII века<sup>80</sup>. Когда Жорес тяжелой поступью поднимался в палате депутатов на трибуну и выпивал стакан красного вина, прежде чем начать говорить, аудиторы напряжинивались, испытывая либо почтение, либо неприязнь. Говорил он громовым голосом «широчайшей амплитуды». Этот голос, даже пониженный, все равно слышался в самых отделенных углах самого большого зала, хотя, как заметил Роллан, особое удовольствие доставлял оратору, когда им пользовались в полную силу. Жорес мог говорить на пределе своих голосовых связок полтора-два часа. Он никогда не пользовался заметками, а попытки помешать ему только еще больше его раззадоривали. Если кто-то осмеливался его прервать, он играл с оппонентом, как «кот с мышью, ласкал, позволял попрыгать и потом... наносил внезапный и резкий удар»<sup>81</sup>.

Жорес не был фанатиком и не ставил во главу угла какую-то определенную ортодоксию, чем страдало социалистическое движение. Он возглавлял забастовку в Кармо и считал, что главной задачей рабочего класса должно быть достижение не теоретических, а реальных и осуществимых целей. После того как Люсьен Эрр и другие энтузиасты убедили его в невиновности Дрейфуса, Жорес пришел к

выводу, что социализм, воздерживаясь от борьбы за справедливость, лишь навредит себе. Включившись в эту борьбу, он обрстет новыми сторонниками и укрепит свои позиции. Дело Дрейфуса послужит катализатором в объединении левых сил во главе с социалистами.

Не все коллеги в социалистической партии разделяли его мнение<sup>82</sup>. Умеренные социалисты вроде Мильерана и Вивиани не хотели участвовать в «малопонятном и рискованном» разбирательстве; экстремисты во главе с Жюлем Гедом, хотя и считали себя дрейфусарами, были против того, чтобы партия взялась за дело Дрейфуса, так как это дезориентирует рабочий класс и отвлечет его от главной борьбы. На партийной конференции, созванной после публикации памфлета *J'Accuse* для того, чтобы выработать общую линию поведения на случай, если правые потребуют суда над Золя, умеренные социалисты продемонстрировали, что для них важнее не доблесть, а благоразумие, и оправдывали свою позицию предстоящими выборами. «Зачем нам рисковать выборами ради Золя? – говорили они. – Он же не социалист... он ведь типичный буржуа». Разгорелись острые дебаты, и Гед, театрально открыв окно, чтобы впустить свежий воздух в затхлую атмосферу конференции, воскликнул: «Письмо Золя – величайшее революционное деяние столетия!» Но это был всего лишь жест, и он подписал манифест, гласивший: «Пусть буржуазия дерется и рвет себя на части по поводу *patrie*, законности и справедливости, которые остаются пустыми словами, пока существует капитализм». Дело Дрейфуса надо использовать в борьбе против буржуазии, а не для «мобилизации рабочего класса на поддержку одной из ее фракций». Дело Дрейфуса – следствие конфликта между двумя фракциями буржуазии: клерикалов, с одной стороны, а с другой – капиталистов-евреев и их друзей. Если социалисты поддержат одну из сторон, то они поступят в интересах классовой борьбы. «Сохраняйте свою свободу в схватке между двумя лагерями – де Мена и Рейнаха», – призывал Гед.

Но между противоборствующими сторонами, и теми и другими, уже не оставалось пространства для маневрирования. «Вы не представляете себе, как я измучился<sup>83</sup>, – говорил Жорес Шарлю Пегу. – С врагами все ясно – но как быть с друзьями! Они обрушились на меня, поскольку боятся, что их не изберут. Они держат меня за фалды и не допускают к трибуне». Однако Жорес не мог молчать, он

продолжал выступать, и его действительно прокатили на выборах в мае 1898 года, хотя не столько из-за дела Дрейфуса, сколько из-за оппозиции промышленников в его округе. Теперь Жорес использовал для общения с аудиторией газету «Птит републик», как Клемансо – «Орор», и ежедневно публиковал в ней политическую колонку. Классовая ненависть настолько въелась в сознание социалистов, что ему для начала надо было лишить Дрейфуса классовой принадлежности. «Он больше не офицер и не буржуй, – писал Жорес. – В своем злосчастье он оказался вне сословий... Он всего лишь живой свидетель преступлений власть имущих... Он – обыкновенный представитель рода человеческого». Жорес разобрал по косточкам все аргументы и материалы Каваньяка, слухи и наветы, проанализировал фальшивки и подделки. Его разоблачительные статьи вдохновили дрейфусаров и разозлили Каваньяка. За обедом он предложил членам кабинета арестовать всех главных поборников пересмотра дела Дрейфуса, обвинив их в заговоре против государства, и назвал в том числе Матье Дрейфуса, Бернара Лазара, Ранка, Рейнаха, Шерера-Кестнера, Пикара, Клемансо, Золя. Когда кто-то из коллег саркастически спросил: «А почему бы и не адвокатов?», Каваньяк ответил: «Конечно» и добавил имена Лабори и Деманжа.

Тем не менее «Доказательства» Жореса произвели впечатление на Каваньяка. Желая найти ответы на некоторые обвинения Жореса, он приказал еще раз изучить документы, поручив это сделать офицеру, прежде не участвовавшему в расследованиях. Работая при свете лампы, офицер заметил, что письмо Паниццарди, главная улика, склеено из двух половин одного типа бумаги, но с линиями разных оттенков. Полковник<sup>[72]</sup> Анри использовал незаполненные части действительных писем Паниццарди для того, чтобы склеить документ. Главная улика оказалась явной подделкой. Офицер обнаружил и другие несоответствия и доложил о своих губительных находках военному министру.

Каваньяк, только что с триумфом закрывший дело Дрейфуса в палате депутатов, понял: вся его доказательная база разваливается как карточный домик. Первооснова конструкции – фальшивка. Краеугольный камень, принесший ему общенациональную известность, – подделка. Он был человеком принципов и не мог позволить себе утаить открытия, сделанные офицером. Ему оставалось

только признать ошибку и пережить определенную личную трагедию. Не облегчало его положение и то, что он не был человеком военным. Он приказал арестовать полковника Анри и заключить его в тюрьму Шерш-Миди, где прежде содержался Дрейфус. Той же ночью, 31 августа 1898 года, полковник Анри покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись бритвой, предусмотрительно оставленной для него в камере.

Армейские офицеры были потрясены, некоторые даже плакали. На армию легло пятно, «сравнимое с позором Седана». Леон Блюм, отдыхавший в Цюрихе, узнал вести из Франции в десять вечера от портье в отеле. «Никогда еще за всю свою жизнь я не испытывал такого возбуждения... Огромная, беспредельная радость охватила меня от осознания того, что все-таки победу одержал разум. Восторжествовала правда». На этот раз наконец дрейфусары могли подумать, что они добились поставленной цели. В определенном смысле это было действительно так: ложь изобличили. Но до окончательного торжества было еще далеко.

Каваньяк подал в отставку, а через две недели покинул пост и его преемник, шестой военный министр со времени ареста Дрейфуса. Правительство, капитулируя перед неоспоримыми фактами, передало дело в кассационный суд, который должен был либо поддержать прежнее решение, либо его отменить. Эта мера, воспринятая как свидетельство недоверия генералам, вызвала отставку очередного военного министра. В ожидании вердикта кассационного суда Париж бурлил, как в лихорадке. Если суд действительно займется пересмотром дела Дрейфуса, то достоянием гласности станет и «секретный файл», чего не могла допустить армия ни при каких обстоятельствах. В Англии газета «Спектейтор» мрачно предсказала, что такая ситуация логически должна привести к государственному перевороту. В Париже роялисты и горячие головы из правых лиг, стремясь спровоцировать именно такое развитие событий, распространяли слухи о заговорах, устраивали митинги, нанимали банды для уличных беспорядков. Создавалась обстановка, самая благоприятная для Деруледа.

Неугомонный агитатор, поэт и депутат, долговязый и длинноносый, как Дон Кихот, Дерулед умел находить мельницу для ожесточенной атаки в любой сфере жизнедеятельности республики.

Ветеран военных действий 1870 года основал Лигу патриотов в 1882 году исключительно для того, чтобы поддерживать дух *revanche*. В ее названии фигурировала надпись «1870—18\_\_», в которой вторая дата умышленно и со значением не указывалась, а девизом лиги была благородная и достойная фраза – *France quand même*<sup>[73]</sup>. Дерулед сочинял патриотические стихи, одинаково ненавидел и роялистов и республику и обладал, как говорили о нем, «политическим мышлением ребенка». Горя желанием разжечь конфликт, он объединился с Жюлем Гереном, лидером Антисемитской лиги, которую щедро субсидировал герцог Орлеанский, намереваясь подняться на волне кризиса. Напряженность резко обострилась, когда забастовали 20 000 строительных рабочих на площадках выставки 1900 года и правительство ввело войска, оккупировавшие вокзалы и патрулировавшие бульвары. Распускались слухи о готовящемся перевороте, приуроченном к открытию сессии палаты депутатов 25 октября. Дерулед и Герен объявили об организации массового митинга протеста у Бурбонского дворца, чтобы продемонстрировать «веру армии и ненависть к предателям».

Социалисты или по крайней мере часть социалистов вдруг поняли, что республику надо защищать. Хотя они и ставили целью свержение существующего режима, их не устраивала перспектива свержения этого режима правыми силами. Кроме того, им стало известно от местных комитетов, что нейтралитет в отношении дела Дрейфуса негативно сказывается на их репутации среди избирателей. «Поскольку многим кажется, что мы выступаем против любых форм буржуазного республиканизма, – сообщал местный партийный активист, – нас нередко принимают за союзников монархических реакционеров»<sup>84</sup>.

Лидеры социалистов начали рассылать призывы к объединению для противостояния общей угрозе, и опасность, по-видимому, была столь велика, что им удалось сформировать совместный Комитет бдительности, пусть и временный<sup>85</sup>. На нем было принято решение организовывать массовые демонстрации и каждый вечер проводить собрания. Назревала реальная гражданская война. Лига дрейфусаров за права человека обратилась ко всем сторонникам республики с призывом дистанцироваться от уличных столкновений. Но Жорес усмотрел в них зачатки борьбы за социализм: «Париж бурлит...

пролетариат настроен решительно и сплачивается». Гед предупредил: восстание будет на руку генералам, которые только и ждут повода для захвата власти. Комитет бдительности проявил благоразумие, заявив: «Социалисты не поддадутся на провокации. Революционные отряды готовы к действию, но могут и воздержаться, в зависимости от обстоятельств».

Роялисты были уверены в том, что их «день» настал, до такой степени, что Андре Буффе, *chef de cabinet* герцога Орлеанского, телеграфировал претенденту<sup>86</sup>: 24 октября «крайне необходимо» его присутствие в Брюсселе. Герцог, охотившийся в Богемии, ответил: «Надо ли выезжать немедленно или можно подождать здесь? У меня неотложные дела». Буффе, проявляя настойчивость, сообщил: «Необходимо быть вблизи границы». Но герцог предпочел остаться на месте.

«День» действительно наступил. Толпы людей собрались у палаты депутатов, заполнили площадь Согласия, близлежащие улицы, повсюду развевались красные флаги, раздавались мятежные лозунги: «Казалось, будто мы накануне новой Парижской коммуны или переворота, затеянного диктатором»<sup>87</sup>. Обстановка в городе сложилась угрожающая: везде войска и полиция. Но и этот тревожный день прошел, бунт выдохся, республика никуда не делась, поскольку правым недоставало важнейшего компонента любого переворота — лидера. У них имелись толпы фанатиков, хотя и громогласных, а для свержения правительства в демократической стране необходимы либо иностранная помощь, либо волевой диктатор. Как заметил Клемансо, когда Буланже застрелился на могиле своей возлюбленной, в груди этого кавалерийского генерала была «душа второго лейтенанта»<sup>88</sup>.

Однако события вокруг дела Дрейфуса продолжали развиваться. 29 октября кассационный суд объявил, что займется его пересмотром. «*Victoire!*» — провозгласила газета «Орор» с таким же пафосом, с каким она когда-то опубликовала *J'Accuse!* Дрейфусары расценили это решение как показатель восстановления верховенства гражданской власти. Затем суд затребовал «секретный файл». Военный министр отказался и подал в отставку. Правительство пало. Следующие семь месяцев суд напоминал поле сражения. Правые теперь были в обороне, а вокруг дела Дрейфуса развернулась настоящая битва. Националистическая пресса обзывала суд самыми изощренными

бранными эпитетами: «прибежищем предателей»<sup>89</sup>, «придатком синагоги», «Иудой», «помесью биржи и борделя». И судьи изображались не иначе как «наймитами Германии», «прислужниками синагог», «мошенниками в мантиях». Давление на них оказывалось со всех сторон. Противоборствующие лагеря обвиняли друг друга в коррупции. Националистам удалось вывести рассмотрение дела из-под юрисдикции уголовной судебной коллегии, которая показалась им чересчур благосклонной по отношению к Дрейфусу, и передать его в объединенный суд, состоящий из трех коллегий, на которые им было проще влиять.

Нешуточные страсти разгорелись вокруг Пикара. Армия упрятала его подальше от кассационного суда в тюрьму Шерш-Миди, чтобы предать военному трибуналу. Лига прав человека провела акции протеста и в Париже, и в провинциальных городах. На митинг в Марселе послушать Жореса пришли 30 000 человек. Помимо него, на акциях протеста выступали Дюкло, ученый, Анатоль Франс, Октав Мирбо, Себастьян Фор. Представители рабочего класса и буржуазии, студенты и профессора, работницы и светские дамы заполняли залы, где устраивались акции протеста, выходили на улицы и собирались возле стен тюрьмы Шерш-Миди, требуя освободить Пикара и выкрикивая "*Vive Picquart!*" Подписи на петициях в поддержку Пикара исчислялись не сотнями, а многими тысячами. Их подписали тридцать четыре члена Французского института, что, как отметил Рейнах, служило самым весомым доказательством торжества правды. Свои подписи поставили даже Сара Бернар и Эрве де Кероан, редактор газеты «Солей» («Солнце»), прежде выступавший против пересмотра дела Дрейфуса и сейчас дополнивший свою подпись словами «патриот, роялист, христианин». Историк и академик Эрнест Лависс в знак протеста отказался от кафедры в Сен-Сире.

Дело Дрейфуса наконец коснулось и анархистов, относившихся к нему до сего времени индифферентно, если не пренебрежительно. Раньше они называли его «парадом»<sup>90</sup>, как писала их газета «Пер пенар», устроенным «кучкой грязных типов» во главе с Клемансо, «закоренелым эксплуататором» Шерером-Кестнером, гадиной Ивом Гюйо (редактор «Сьекль») и мерзавцем Рейнахом, этими тремя злоумышленниками, помогавшими состряпать *lois scélérates* [74]. Теперь, когда их буржуазных недругов взволновала судьба узников-



мучеников на острове Дьявола и в тюрьме Шерш-Миди, анархисты вспомнили и о своих страдальцах на каторгах Французской Гвианы. Проникнувшись их бедой, Лига прав человека добилась помилования для пятерых каторжников.

Некоторые из поборников «правого дела» уже не могли больше игнорировать реальные факты. Госпожа де Греффюль, богиня *gratin*, самостийно и тайно поверившая в невиновность Дрейфуса, написала кайзеру, попросив дозволения приехать и самой убедиться в том, что Дрейфус не был шпионом у немцев<sup>91</sup>. В ответ она получила лишь огромную корзину орхидей. Пруст описывает перемены, произошедшие в его персонаже герцоге де Германт<sup>92</sup>, признавшемся Свану в том, что после самоубийства полковника Анри он втайне начал каждый день читать «Сьекль» и «Орор». Супруги Германт попросили аббата отслужить обедню для Дрейфуса и его семьи, узнав с изумлением, что аббат тоже верит в его невиновность. Встретив служанку на лестнице, несущую завтрак для герцогини и прячущую что-то под салфеткой, герцог обнаруживает под ней газету «Орор».

И в самой армии многие начали испытывать неловкость. «В разговорах между собой, без посторонних<sup>93</sup>, – признавался Галифе один офицер в вагоне поезда, – мы не считаем себя противниками пересмотра дела Дрейфуса, как думают о нас. Наоборот, мы хотим узнать правду и наказать виновных, чтобы на армию не легло пятно позора, если действительно совершилось беззаконие». Он тоже опасался, что общественное мнение настроится против армии, если Пикару вынесут обвинительный приговор.

Новые неприятности обрушились на армию, когда почти одновременно с началом пересмотра дела Дрейфуса был отозван из Фашоды полковник Маршан. Жорес назвал империалистическую авантюру в Африке преступлением капитализма, подрывающим мир и не учитывающим последствия столкновения с Англией. Будто отточив свою интуицию на деле Дрейфуса, он мрачно предсказал: «Мир отдан на произвол случая. Но если вспыхнет война<sup>94</sup>, то она будет масштабной и ужасной. Впервые она будет глобальной и охватит все континенты. Капитализм расширил поле битвы, и вся планета покраснеет от крови, пролитой бесчисленными жертвами. Не найти более страшного преступления этой социальной системы». Во времена

Жореса еще можно было все списывать на порочность системы, а не человечества.

Дело Дрейфуса продолжало обрастать новыми сюжетами. Рейнах в серии статей, опубликованных газетой «Сьекль», обвинил полковника Анри в том, что он был «лично заинтересован» в изничтожении Дрейфуса, и Дрюмон уговорил госпожу Анри подать на автора в суд за клевету и одновременно начал подписную кампанию сбора средств на поддержку семьи, ставшую мощным объединительным стимулом для всех националистов<sup>95</sup>. Над окнами редакции «Либр пароль» на Монмартре появился огромный плакат с надписью «За вдову и сироту полковника Анри против еврея Рейнаха», светившийся и ночью. В течение месяца пятнадцать тысяч человек внесли пожертвования на общую сумму 130 000 франков. По их именам и комментариям можно составить коллективный портрет «правого дела». Пятьсот франков, самую большую сумму, внесла графиня Одон де Монтескью, урожденная Бибеско, и всего лишь тридцать су пожертвовал лейтенант, «бедный деньгами, но богатый ненавистью». Ненависть выражалась самая разнообразная, касалась в основном евреев и воплощалась в конкретных предложениях сдирать кожу, клеймить, варить в масле или купоросе, кастрировать. Предлагались и другие формы морального и физического наказания. Ненависть адресовалась чужеземцам и интеллектуалам, один доброхот даже написал о «500-летней ненависти к Англии», но среди жертвователей было немало и людей, кто отдавал деньги из любви и жалости к вдове и ребенку. Один аббат внес деньги на «защиту вечных заповедей от иудейско-христианского обмана», а профессор музыки — на «защиту французов от инородцев». В числе доноров были служащий, желавший «видеть Бога в школах», аноним, чью жизнь загубил еврей (или еврейка) «через шесть месяцев после свадьбы», рабочий, ставший «жертвой анархистов-капиталистов Жореса и Рейнаха». Среди филантропов было множество «истинных патриотов» и «француз, всей душой переживавший за отечество». Естественно, присутствовали здравицы *Vive!*, адресованные Дрюмону, Рошфору, Деруледу, Герену, Эстергази, герцогу Орлеанскому, *l'Empereur* (императору), *le Roi* (королю), героям Аустерлица и Жанне д'Арк. Главным злодеем был Рейнах. Имя Дрейфуса почти не упоминалось. Генерал Мерсье внес сто франков, не сделав никаких комментариев,

поэт Поль Валери пожертвовал три франка, «не без некоторых раздумий».

Внезапно в самый разгар ажиотажа вокруг дела Дрейфуса умер президент Франции Феликс Фор. Общественность заподозрила что-то неладное, и причина смерти была действительно такова, что о ней предпочли промолчать. Гордившийся своими сексуальными способностями, президент Фор умер во время исполнения очередного акта в комнате на цокольном этаже Елисейского дворца. Аура таинственности дополнила атмосферу, уже насыщенную агрессией и подозрительностью.

На выборах, проходивших в обстановке истеричных споров по поводу юрисдикции суда, Эмиль Лубе, председатель сената, спокойный, простецкий, но непоколебимый республиканец крестьянского происхождения, победил консерватора Мелина<sup>96</sup>. Националисты не переносили его еще с тех пор, когда он был премьер-министром во время панамского скандала. И сейчас они называли его избрание президентом «оскорбительным для Франции», «вызовом армии», «триумфом предателей-евреев». Нанятые ими толпы хулиганов устроили такой бедлам во время переезда от вокзала Сен-Лазар до Елисейского дворца, что не слышно было оркестра, игравшего «Марсельезу». «Республика не потонет в моих руках, – говорил Лубе. – Они это знают, потому и злятся».

Правые тем не менее готовились ее потопить. «Мы выгоним Лубе за неделю», – угрожал Жюль Леметр<sup>97</sup>. Переворот был назначен на день государственных похорон Феликса Фора. Спасать нацию предстояло армии. Путчисты полагали, что сделают это одним наскоком, быстро и легко, без лишней организации и суеты. Они решили перехватить военный эскорт, когда он будет возвращаться с кладбища в бараки на площади Наций, и повести его на захват Елисейского дворца. Дерулед и Герен вывели на улицы около двухсот патриотов, Дерулед схватил за узду коня генерала Роже, командовавшего эскртом, и начал кричать: «В Елисейский дворец, генерал! С нами, генерал, с нами! В Бастилию! К мэрии! В Елисейский дворец! Нас ждут друзья. Прошу вас, генерал, спасите Францию, объявите республику народа, прогоните *parlementaires*!» Генерал, гордо подняв голову, продолжал сидеть в седле, словно не замечая смутьяна. Толпа, не переставая, выкрикивала лозунги «Спасем

Францию! *Vive l'Armée!*» Воинство генерала, увлекая за собой Деруледа и его компанию, пришло в казармы. Деруледа, хотя он и предъявил отличительные знаки депутата, свидетельствующие о его неприкосновенности, увезли в полицейский участок, чтобы дать ему возможность впоследствии покрасоваться на суде. Фиаско не охладило пыл правых. Вскоре Антисемитская лига получила 56 000 франков от герцога Орлеанского и 100 000 франков от Бони де Кастеллана<sup>98</sup>.

Едва забылось незадачливое мероприятие патриотов, как кассационный суд огласил вердикт, который ждала вся Франция. Сорок шесть судей в алых мантиях с горностаями высказались за пересмотр дела Дрейфуса. На остров Дьявола отправился крейсер, чтобы доставить узника во Францию. Золя вернулся из Англии со статьей, которую «Орор» опубликовала с уже знакомым нам пафосом: *JUSTICE!* (СПРАВЕДЛИВОСТЬ!) По мнению писателя, все фракционные и партийные разделительные линии теперь, растворившись, образовали два лагеря: силы реакции и прошлого против сил справедливости и будущего. Так выстраивался новый боевой порядок для завершения процесса, начатого в 1789 году. Дрейфусары с присущим им оптимизмом расценили решение суда как предзнаменование торжества социальной справедливости в грядущем столетии. Страшное бремя угрызений совести, которое могло лечь на сознание французов, уступило место чувствам гордости. «Никакая другая страна<sup>99</sup>, – писал корреспондент газеты «Тан» из Гааги, где проходила мирная конференция, – не заставляла весь мир так волноваться и переживать последние три года, как мы». Пересмотром приговора утверждалась не только справедливость, но и «свобода человека». Это понимали и за пределами Франции. Уильям Джеймс, путешествовавший по Европе, написал по поводу дела Дрейфуса: «Это был один из тех идейно-нравственных кризисов<sup>100</sup>, которые обозначают зарождение нового и отмирание старого, оставляя за собой новые традиции, новые лозунги, новые лица».

Националисты разъярились. Каран д'Аш отметил решение суда двумя карикатурами. На одной он изобразил самодовольно ухмыляющегося Дрейфуса и Рейнаха с кнутом, приказывающего: «Поди сюда, Марианна!» На другой картинке – Золя появляется из унитаза с игрушкой в виде Дрейфуса, а под изображением пояснение: «Правда и ее источник».

Их злобу собственной головой прочувствовал на следующий день президент Лубе на скачках в Отее <sup>101</sup>. Там проходили воскресные скачки *le Grand Steeple*, самое главное событие сезона. Когда экипаж подъезжал к трибуне, его встретила группа хорошо одетых джентльменов с белыми гвоздиками роялистов и васильками антисемитов в петлицах. Они размахивали тростями и ритмично кричали: “*Dé-mis-sion!* (В отставку!) *Pa-na-ma! Dé-mis-sion! Pa-na-ma!*” Не обращая внимания на вопли и угрозы, Лубе занял свое место. Тогда от группы отделился высокий господин с белокурыми усами, белой гвоздикой и белым галстуком, позднее идентифицированный как барон Фернан де Кристиани, быстро поднялся по ступеням, преодолевая две за раз, подскочил к президенту и ударил его по голове тяжелой тростью. Сидевшие рядом дамы пронзительно закричали. Потом вдруг наступила гробовая тишина, словно все оцепенели от ужаса. Но ее нарушил гам, поднявшийся, когда друзья барона бросились отбивать его от стражников. Некоторых из них арестовали, другие целыми компаниями накидывались на полицию с тростями. На трибунах возникла *un charivari infernal*<sup>[75]</sup>. Генерал Цурлинден, губернатор Парижа, вызвал по телефону подкрепление – три отряда кавалерии. Лубе, не скрывая своего замешательства, принес извинения за доставленные неудобства соседке, графине Торниелли, супруге итальянского посла. «Никаких извинений, вы оказали мне честь», – ответила она.

Удар, нанесенный по шляпе Лубе, оскорбил и возмутил всю Французскую республику. Комитеты и муниципальные советы из всех регионов страны дружно слали телеграммы, выражая негодование и преданность, заверения в которой вряд ли можно было от них получить несколько лет назад. Лубе объявил, что он приглашен и намерен присутствовать на скачках в Лоншане в ближайшее воскресенье <sup>102</sup>. Лиги и газеты с обеих сторон начали готовиться к демонстрациям и собирать свои батальоны. Правительство предприняло экстраординарные меры. По всему маршруту от Елисейского дворца до Лоншана были расставлены эскадроны кавалерии и бригада пехоты, а ипподром охраняли драгуны *Garde Républicaine* (республиканской гвардии), вооруженные ружьями и стоявшие через каждые десять ярдов бегового круга и у всех окошек, где принимают ставки. Конная полиция надзидала за лужайкой. Более

100 000 человек столпились вдоль пути следования президента и на ипподроме, у многих в петлицах виднелись красные розы, символ левых. Вновь угроза правых заставила рабочих выйти на улицы наверняка не для защиты буржуазного государства, а для того, чтобы продемонстрировать презрение представителям правящего класса. Присутствие более шести тысяч служителей закона предотвратило восстание, но весь день происходили стычки, рукопашные схватки, эпизодические мятежи, сотни людей были арестованы, некоторые репортеры, полицейские и демонстранты получили ранения. Когда толпы вечером вернулись в Париж, волнения и беспорядки охватили кафе и ресторанчики; одни кричали “*Vive la République!*”, другие – “*Vive l’Armée!*” Противники забрасывали друг друга бутылками, стаканами, графинами и подносами, в качестве тяжелого оружия применяли столы и стулья; прибыли отряды полиции; ярость и вражда оборачивались разбитыми и окровавленными головами. Даже за пределами Парижа, в пансионе Бреста, где совместно обитали офицеры и профессора, «молодые люди, в равной мере возбужденные любовью к Франции», не понимали друг друга и вздорили, чуть ли не доводя дело до дуэли. «Пора было объявлять Божье перемирие»<sup>[76]</sup>, – писала газета «Тан».

Но делать это не пришлось. Когда через неделю после Лоншана правительство вновь пало, страхи были настолько велики, что на протяжении восьми дней никто не мог сформировать новый кабинет. Вакуум заполнил человек, заявивший о намерении «ликвидировать» дело Дрейфуса и выдвинуть условия, которые при других обстоятельствах были бы неприемлемыми. Этим смельчаком был Рене Вальдек-Руссо, пятидесятитрехлетний господин, ведущий юрист Парижа и блестящий оратор, прозванный «Периклом Республики». Католик из Бретани, состоятельный, знатного происхождения, он производил хорошее впечатление благородными манерами, короткой стрижкой и усами, любил охоту и рыбалку, обладал даром писать акварелью и безупречно одеваться. Рошфор называл его *Waldeck le rommadé*<sup>[77]</sup>, поскольку он всегда был прекрасно одет и причесан. Им восхищались радикалы, одобряли центристы, то есть он был *juste milieu*<sup>[78]</sup>.

От пересмотра дела Дрейфуса уже нельзя было отвертеться. Дабы удержаться на посту под неизбежными ударами противников, Вальдек

преднамеренно решил сформировать правительство, которое было бы неприемлемо для обеих противоборствующих сторон и могло парировать все наскоки. Он избрал социалиста Мильерана на должность министра торговли и военного идола, маркиза де Галифе, «мясника» Коммуны, на пост военного министра. Реакция прессы и парламента на этот выбор была беспрецедентно бурной. «Чистейшей воды безумие... лунатизм... чудовищно... позор!» – раздавалось со всех сторон. Назначение Мильерана не только бесило правых: оно провоцировало скандал и небывалый раскол в его партии и в Социалистическом интернационале. Согласиться на пост в капиталистическом правительстве было равноценно предательству Иуды. Жорес, опечаленный и встревоженный, уговаривал Мильерана отказаться от предложения, но Вальдек знал, кого заманивает в кабинет, знал, что этот человек не устоит перед соблазном. Социалисты теперь должны были делать выбор: поддержать правительство Вальдека или не поддерживать на предстоящем голосовании о доверии. Если правительство не устоит, начнется хаос. Жореса убедил аргумент Люсьена Эрра<sup>103</sup>: «Разве социализм выиграет оттого, что рабочий класс не поможет спасти Республику?» Но фракция Гед не желала ни на йоту отступить от концепции классовой борьбы. Социалисты, утверждал он, «вошли в парламент, хотя мы и являемся врагами государства, только ради того, чтобы бороться с вражеским классом». Жорес предупредил: если социализм будет придерживаться такой линии, то он превратится в «стерильный и непримиримый анархизм», но Гед не поддался. *Union Socialiste* раскололся, двадцать пять членов парламента согласились поддержать правительство, семнадцать – отказались<sup>104</sup>. Гед вдохновлял свою фракцию предложением приветствовать появление нового правительства в палате депутатов криками “*Vive la Commune!*”<sup>[79]</sup>, но и он сам, и его фракция воздержались от голосования, чтобы не оказаться в лагере правых.

На следующий день они десять минут, стоя, вопили: “*Vive la Commune! A bas les fusilleurs! A bas l’assassin!*”<sup>[80]</sup> Этот ор предназначался прежде всего генералу маркизу де Галифе, князю де Мартиг, почти семидесятилетнему старику с бронзово-красным лицом и яркими глазами, смотревшему на спектакль насмешливо и испытывавшему смешанные чувства удовлетворения и презрения. Он



сражался в Крыму, Италии, Мексике, Алжире и при Седане, где повел свой полк в последнюю кавалерийскую атаку, сказав офицеру: «Один из нас должен остаться в живых!» На него произвели большое впечатление патриотизм и бесстрашие Гамбетты, и он всегда считал себя правоверным республиканцем и ненавидел Буланже. Глаза сверкали на багровом лице, обрамляя нос, напоминавший клюв хищной птицы, он держался по-прежнему бодро и молодо и всем своим обликом походил на неустрашимого главаря разбойников или беззаботного *grand seigneur*. Несмотря на серебряную пластину на животе и хромоту из-за ранений<sup>105</sup>, он играл в теннис в Тюильри, а его любовные похождения, о которых рассказывали со всеми пикантными и даже непристойными подробностями, восторгали завсегдатаев «Биксио». Однажды мадам де Кастильоне показала ему свой портрет в обнаженном виде кисти художника Бодри. Когда маркиз спросил – действительно ли она так красива, как на картине, мадам разделась и улеглась на софе. «Картина гораздо интереснее», – сказал ей Галифе. Его называли *sabreur de la parole*<sup>[81]</sup>, потому что он рассказывал свои истории с таким же жаром, с каким шел в кавалерийские атаки. Он верил в эффективность армии, доверял Пикару, который служил под его началом, и стал в силу этих обстоятельств поборником пересмотра дела Дрейфуса. За этот грех его отлучили от «Жокейского клуба», а став министром, он сам вышел из клуба «Серкль де л'Юньон», но не из-за расхождений во мнениях, а больше вследствие презрения к «имбецилам», позволившим арестовать себя в Отёе. «Нельзя принадлежать к клубу, члены которого арестовываются; это не способствует общению». Эксцентричный и язвительный, когда-то очень богатый и теперь гордящийся тем, что живет на одну пенсию, маркиз де Галифе обладал натурой «интеллектуальной, отважной, нахальной, презиравшей смерть и любившей жизнь».

Все эти качества ему были необходимы на посту военного министра, когда в деле Дрейфуса наступала кульминация. Когда ему надоело глумление экстремистов Геда в палате депутатов, он неожиданно поднялся и рявкнул: “*L’assassin, present!*”<sup>[82]</sup> Гул поднялся неимоверный. Националисты, радикалы, центристы, все вскочили со своих мест, потрясая кулаками и выкрикивая ругательства. Мильеран, как и Вальдек, юрист, седовласый, подстриженный *en brosse*<sup>[83]</sup>, с черными аккуратными усиками, в пенсне, чье поведение



обычно было наступательное и уверенное, казалось, сник. Его усы подергивались, и он стал похож на «огромного кота, попавшего под ливень»<sup>106</sup>. Галифе, как успели заметить некоторые депутаты, записывал имена. Впоследствии он объяснил: «Я подумал, что неплохо бы этих парней пригласить на обед»<sup>107</sup>. Вальдек безуспешно пытался говорить, простояв у трибуны целый час, но его слушали не более десяти минут. Он все-таки добился утверждения правительства с перевесом в двадцать шесть голосов.

Галифе «не питал никаких иллюзий» и согласился войти в правительство, поскольку оно «обещало уgomонить Францию, если это еще возможно», писал он княгине Радзивилл: «Газеты правых просят меня последовать примеру Буланже, левые требуют, чтобы я отрубил головы всем генералам, которые им не нравятся. Публика состоит из идиотов. Если я дотронусь до виновного генерала, меня обвинят в уничтожении армии. Если я воздержусь, меня обвинят в предательстве. Какая дилемма. Пожалейте меня». В действительности, хотя он и считал Лубе «слишком буржуазным», ему импонировало быть министром, и маркиз выглядел «радостным и веселым» на рауте в «Биксию». Он рассказал занимательную историю о полнотелой, но достаточно привлекательной леди сорока пяти лет, пришедшей к нему в кабинет с предложением небольшой сделки – купить 20 000 лошадей для армии. Ему был обещан миллион. «Миллион? – ответил он. – Это совсем немного в сравнении с двадцатью пятью миллионами, которые я получил от “синдиката”, о чем все говорят. Сходите к Вальдеку. Он завидует мне, так как получил только семнадцать миллионов».

Повторное слушание дела Дрейфуса было назначено на 8 августа 1899 года в гарнизонном городке Ренн, в католической и аристократической глубинке традиционно контрреволюционной Бретани<sup>108</sup>. Франция напряженно ожидала этого дня, внимание всего мира было приковано к Ренну. Все крупнейшие иностранные газеты отправили в Бретань своих корреспондентов. Лорд Рассел Киллоуэн, лорд главный судья Англии, приехал в качестве наблюдателя. В городе собрались все основные действующие лица, причастные к делу Дрейфуса, сотни французских журналистов, ведущие политические и общественные деятели, литераторы. «Секретный файл» доставили из Парижа в зарядном артиллерийском ящике. Все разговоры были

только о том, какой вердикт вынесут судьи. Оправдание Дрейфуса означало бы для его сторонников то, что они отстаивали свою правоту; для националистов – сокрушительное поражение, которого нельзя было допустить. Как по команде, они прибегли к прежнему шантажу: Дрейфус или армия. «Надо выбирать, – написал Баррес в газете «Журналь». – Ренн – это Рубикон». «Если Дрейфус невиновен, тогда виновны все семеро военных министров и последний виноват больше, чем первый», – предупредил Мейер в «Голуа». Генерал Мерсье, выезжая в Ренн в роли свидетеля, провозгласил: «Дрейфус будет вновь осужден. В этом деле, без сомнения, кто-то виновен и виновен либо он, либо я. Поскольку я невиновен, то виновен Дрейфус... Он – предатель, и я докажу это».

Ровно в шесть утра 8 августа суд начал слушания в присутствии около шестисот зрителей в *lycée*<sup>[84]</sup>, единственном в Ренне зале, где могло поместиться столько людей. В первом ряду рядом с бывшим президентом Казимиром-Перье сидели Мерсье, чье желтое морщинистое лицо, как всегда, ничего не выражало, и вдова полковника Анри, укрытая длинной черной траурной вуалью. Позади все ряды заполнили сановники, офицеры в мундирах, дамы в легких летних платьях и четыре сотни журналистов. Полковник Жуост, председатель коллегии из семи военных судей, хриплым голосом объявил: «Введите обвиняемого».

Сразу же все смолкли и повернули головы в сторону маленькой двери в стене справа. Люди смотрели на дверь с некоторым замешательством и испугом, словно боялись увидеть привидение. И действительно, человек, который должен был в ней появиться, больше походил на призрак. Пять лет он был лишен свободы, и никто, кроме членов семьи, адвокатов и обвинителей, его вообще никогда не видел. Пять лет он занимал умы людей в большей мере не как человек, а как идея. Теперь он должен был войти в дверь и предстать перед ними, как Лазарь. Прошла одна тягостная минута, вторая, в зале не слышалось ни звука, стояла абсолютная тишина, «совершенно немыслимая, когда собирается такая масса людей».

Дверь отворилась, в ней показались два стражника и тощая, исхудавшая фигура, изможденное и высохшее подобие человека, еще не старого, но уже и не молодого, со сморщенным, скукожившимся лицом, бестелесного, еле стоявшего на ногах, но пытавшегося

держаться прямо, чтобы не упасть. Узнаваемым было только пенсне, с которым он изображался на фотографиях и рисунках. В зале словно подул ветер, публика зашумела, испытывая одновременно и ужас, и жалость к узнику, во взгляде Пикара, чью жизнь дело Дрейфуса изменило бесповоротно и навсегда, сквозил напряженный интерес. Другие персонажи – Клемансо, Кавеньяк, на чьи карьеры тоже повлиял судебный процесс, видели узника впервые.

Четыре с половиной года Дрейфус практически не слышал человеческой речи и сам почти все время молчал. Болезни, лихорадка, тропическое солнце, кандалы и жестокое обращение тюремщиков, которые становились только злее из-за распрей во Франции, подорвали его физические и моральные силы. Он едва мог говорить и понимать то, что говорили ему. Он с трудом преодолел три ступени, поднимаясь к трибуне, пошатнулся в какой-то момент, но снова выпрямился, выразил на тусклом лице некое подобие приветствия, поднял руку в перчатке для принесения присяги, сняв шляпу с преждевременно поседевшей шевелюры. Он стоял неподвижно, как статуя. Узник ничего не знал ни о деле Дрейфуса, ни о баталиях в прессе, ни о дуэлях и петициях, бунтах и уличных беспорядках, ни о лигах, судебных тяжбах и взаимных обвинениях в клевете, ни о попытке государственного переворота. Ему ничего не было известно о Шерере-Кестнере, Рейнахе, аресте Пикара, судилище над Золя и вызове в суд Эстергази, о самоубийстве полковника Анри и нападении на президента Франции. Но, очевидно, не только по этой причине сам Дрейфус на многих произвел не самое благоприятное впечатление. Не желая давать никаких поводов для проявления жалости, узник настроил против себя тех, кто приехал на суд именно для того, чтобы испытать это чувство. Дж. А. Хенти, полагавший, как и большинство англичан, что дело против Дрейфуса сфабриковано, уезжал с процесса, выражая сомнения на этот счет: «Человек вел себя и говорил как шпион... и если он не шпион, то у него все данные для того, чтобы им стать»<sup>109</sup>. Хенти был одним из тех последних романтиков, веривших в несомненность абстрактных концепций вроде понятия справедливости и подозрительно относившихся к любым странностям в человеке.

Но не впечатление, которое производил Дрейфус, решило исход дела. На суд решающее влияние оказали дилемма Мерсье и сам генерал Мерсье, доминировавший на процессе. Хладнокровный,

высокомерный и самоуверенный, он взял на себя всю ответственность за приказ не предоставлять «секретный файл» защите, сославшись на «моральный долг». Выступая в качестве свидетеля, он отказывался отвечать на вопросы, которые ему не нравились, а не будучи свидетелем, нагло вмешивался в слушания. Когда обсуждался «секретный файл», генерал настоял на удалении публики, и суд с ним согласился. Когда поднимались вопросы о преднамеренном сокрытии свидетельств армией, цинизмом его ответов, по признанию Рейнаха, «можно было бы восхищаться, если посчитать преступление одним из деяний, достойных любования». Мерсье явно страдает галлюцинациями, написал Галифе: «Он возомнил, что олицетворяет Францию... но все равно он достойный человек».

Проходили недели, слушания не прекращались, как и споры адвокатов, журналистов и наблюдателей, жаркие обсуждения в городе; казалось, что вердикт вот-вот будет вынесен. В Париже появились слухи о государственном перевороте, который должен совершиться, когда будет свидетельствовать Мерсье. Правительство устроило рейды и облавы в домах сотен подозреваемых лиц, арестовав в постелях пятьдесят шесть человек, в том числе Деруледа. Полиции не удалось схватить Герена, который забаррикадировался в доме на улице Шаброль с амуницией и четырнадцатью сотоварищами и выдерживал осаду на протяжении шести недель. «Я не выходил из кабинета с семи утра до семи вечера семь дней в неделю, подготовившись к любому варианту развития событий», – писал потом Галифе<sup>110</sup>.

14 августа в чересчур красноречивого и активного адвоката Лабори, «имевшего всегда вид Геркулеса<sup>111</sup> и защищавшегося, как боксер», стрелял, но не убил некий молодой рыжеволосый человек, моментально сбежавший с места покушения с криками: «Я убил Дрейфуса! Я убил Дрейфуса!»<sup>112</sup> Имя его так и осталось неизвестным, но инцидент накалил страсти до предела. Поскольку нападавший сбежал с портфелем Лабори и его не поймали, дрейфусары заподозрили заговор националистов, которых уже ничто не может остановить. Они объявили своих оппонентов «убийцами», заклеили позором «генштаб преступников» и поклялись, что «за каждого из нас мы убьем одного из них – Мерсье, Кавеньяка, Буадеффра, Барреса». «Боже мой, как ужасно завершается столетие!» – написала Галифе княгиня Радзивилл.

Судебный процесс закончился 9 сентября вердиктом, потрясшим весь мир. Большинством голосов – 5 к 2 – Дрейфус был осужден снова «с учетом смягчающих обстоятельств» на пять лет, которые он уже отбыл в узилище, вместо обязательного пожизненного приговора. Поскольку ничто не указывало на освобождение от обвинений в измене, судебное заключение было возмутительным для обеих сторон. Оно было придумано обвинением, которое понимало, что будет легче добиться приговора о виновности, если судьям не придется брать на свою совесть ответственность за возвращение Дрейфуса на остров Дьявола.

Вердикт имел эффект страшного бедствия. Королева Виктория телеграфировала лорду Расселу: «Королева с изумлением узнала об ужасном вердикте и надеется, что бедный страдалец обратится к высшим судьям»<sup>113</sup>. «Чудовищное, несправедливое, циничное, гнусное, варварское» – назвал решение суда корреспондент газеты «Таймс». Как разгневанный Исайя, Клемансо вопрошал<sup>114</sup>: «Что осталось от исторической традиции, когда мы были поборниками справедливости во всем мире? Народы мира теперь хотят знать: “Где Франция? Что случилось с Францией?”» Мнение мировой общественности вдруг приобрело особую значимость в связи с предстоящей в 1900 году выставкой. В Эвиане на Женевском озере, где высший свет любил проводить летние каникулы, Пруст повстречал графиню Ноай<sup>115</sup> всю в слезах: «Как они посмели сделать это? Что теперь иностранцы подумают о нас?» В лагере националистов рассуждали иначе. «Это первая наша победа над чужеземцами с 1870 года», – восторгалась газета «Голуа».

Но в мире действительно были озабочены решением суда во Франции<sup>116</sup>. В Одессе выражали «обеспокоенность», в Берлине – «негодование», в далеком Мельбурне – «отвращение и возмущение», в Чикаго устраивались митинги протеста, и повсюду раздавались требования бойкотировать Всемирную выставку. В Ливерпуле газета «Таймс» с информацией о судебном процессе была раскуплена за считанные минуты. Из Норвегии композитор Григ написал об отказе дирижировать оркестром при исполнении своих произведений в театре «Шатле» в знак протеста «против несправедливости, проявляемой в вашей стране»<sup>117</sup>. Англичане особенно негодовали на волне антифранцузских настроений в связи с Фашодой. В Гайд-парке

постоянно собирались толпы протестующих, газеты осуждали «надругательство над цивилизацией», промышленные компании и культурные общества требовали бойкотировать Всемирную выставку и тем самым оказать нажим на французское правительство. Туристов уговаривали отказаться от поездок во Францию, владелец отеля в Озерном крае выселил французскую пару, проводившую медовый месяц, а один англичанин в письме редактору заявил, что Трансвааль «меркнет в сравнении с более серьезными проблемами правды и справедливости». Однако «Таймс» все-таки напомнила читателям, что французы рискуют своей жизнью ради торжества справедливости и не прекращают борьбы за исправление зла, допущенного в Ренне.

Борьбы в действительности не происходило, и общественное мнение выдохлось. В деле Дрейфуса создалась одна из тех затруднительных ситуаций, которые не поддаются разрешению. Вальдек-Руссо предложил Дрейфусу помилование, принятое им, несмотря на возражения Клемансо, поскольку он уже сломался, и предусматривавшее, что его доброе имя со временем будет восстановлено. Галифе выпустил приказ: «Инцидент исчерпан... Забудьте прошлое и думайте только о будущем». Вальдек внес проект закона об амнистии, касавшейся всех лиц, связанных с делом Дрейфуса, и возмущавшей обе стороны конфликта: правых – так как в числе этих персон не было Деруледа; дрейфусаров – так как от несправедливости пострадали Пикар, Рейнах и некоторые другие люди, которые хотели восстановить свою репутацию. Вальдек был непоколебим: «Амнистия не судит, не обвиняет и не оправдывает; она игнорирует». Тем не менее раздоры не утихли и продолжались еще целый год, прежде чем законопроект стал действующим законодательством. Вражда не прекратилась. Позиции сторон ужесточились и выкристаллизовались. Леметр, занявшийся делом Дрейфуса больше из любви к сенсациям, а не из убеждений, стал ярким роялистом. Анатолий Франс заметно полевел.

Борьба переместилась из сферы морали в политику, превратилась из дела Дрейфуса в дрейфусарскую революцию. Она продолжалась, но при иных условиях и обстоятельствах. Ее вели правительства Вальдека и его преемника Комба, пытаясь ограничить клерикалов и демократизировать образование и армию. Баталии разгорелись вокруг законопроекта Вальдека об ассоциациях, направленного против

религиозных орденов, и особенно по поводу дела генерала Андра и так называемых *fiches*<sup>[85]</sup>, когда обнаружилось, что ревностный военный министр в 1904 году использовал доносы офицеров-масонов на коллег-католиков при решении вопросов о продвижении по службе. Матье, брат Дрейфуса, и Жан Жорес все-таки добились окончательного пересмотра кассационным судом и приговора и вердикта, вынесенного в Ренне.

13 июля 1906 года, в канун Дня Бастилии, через двенадцать лет после ареста Дрейфуса и через семь лет после суда в Ренне, палата депутатов подавляющим большинством голосов 442—32 приняла закон, восстанавливающий Дрейфуса и Пикара в армии (среди противников по-прежнему был граф Альбер де Мен). Дрейфуса наградили орденом Почетного легиона, произвели в майоры, а Пикару присвоили звание генерала (эти ранги они получили бы на службе, если бы оставались офицерами). В 1902 году Дрюмона не переизбрали в палату; газета «Либр пароль» лишилась популярности, в 1907 году ее хотели продать, но не нашлось покупателей. Золя умер в 1902 году, на его похоронах Анатоль Франс произнес волнующую речь, назвав его «совестью человечества». В 1908 году прах Золя перевезли в Пантеон. Во время церемонии некто по имени Грегори выстрелил в Дрейфуса, ранив его в руку (позже он был оправдан выездным судом присяжных). В 1906 году Клемансо стал премьер-министром, назначив Пикара военным министром. «Пикар на посту Мерсье – это поразительно! – сказал Галифе. – Есть вещи, которые могут утешить человека, не решившегося умереть»<sup>118</sup>.

В Ренне дело Дрейфуса достигло апогея. После Ренна не прекратилась ни борьба за справедливость, ни война правых против республики, но дело Дрейфуса фактически завершилось. Пока оно всех волновало, Франция, как и во время революций, с успехом демонстрировала бойцовские способности и возможности политического человека. Это было время эксцессов. Люди сполна использовали свои таланты и убеждения. Они ничего не утаивали. Накануне нового столетия дело Дрейфуса показало, какие энергии и силы готовятся к встрече с ним.

## 5. Бой барабанов. Гаага: 1899 и 1907

В мире кто с радостью и надеждой, а кто с ехидством и недоумением отнесся к призыву молодого русского царя Николая II провести международную конференцию об ограничении вооружений, о чем он провозгласил 29 августа 1898 года. В столицах Европы, как написала французская газета «Тан», воззвание произвело эффект «молнии, сверкнувшей на севере». И удивление и недоверие вызывали эти инициативы могущественной и экспансионистской державы, которую все другие нации считали, несмотря на два столетия старательного приобщения к Европе, все еще полудикой. Прессинг российской экспансии ощущался повсюду – от Аляски до Индии и от Турции до Польши. «Царь с оливковой веткой в руке, – говорили в Вене, – это что-то новое в истории»<sup>1</sup>. Однако от таких приглашений трудно отказываться.

Производство вооружений непрестанно нарастало. Разбухал как на дрожжах колосс «Крупп» в Эссене, самый большой однотипный военный бизнес в Европе. «Шкода», «Шнейдер-Крезо», «Виккерс-Максим», конгломераты компаний, чьи названия были у всех на слуху, имели свои интересы во всех лагерях, продавали свою продукцию на всех континентах, всем участникам ссор, извлекали выгоду из любого конфликта. Каждый год тот или иной промышленник изготавливал новое оружие, еще более эффективное для человекоубийства. Его приобретала армия одной державы, побуждая соперника сделать то же самое. С каждым годом затраты на вооружения увеличивались, и их скопилось уже столько, что ими, казалось, можно было взорвать весь мир.

Царский манифест призывал остановить этот процесс. В обращении к правительствам, представленным в Санкт-Петербурге, он заявлял: несмотря на устремления к миру, особенно характерные для последних двадцати лет, «интеллектуальная и физическая энергия, труд и капитал непродуктивно используются для производства материальных средств уничтожения и разрушения». Сегодня они являются самыми новейшими достижениями науки, завтра устаревают и требуют замены. Принцип вооружаться *a l'outrance*<sup>[86]</sup> означает



одно: «вооруженный мир» ложится тяжелым бременем на нации, и если он продлится, то неизбежно приведет к тому самому катаклизму, который ему надлежало предотвратить. Положить конец этой смертельной гонке – задача всех правительств.

Призыв царя пришелся по душе поборникам мира. Он «прозвучал чарующей музыкой по всей земле»<sup>2</sup>, написала венская газета. Пресса не скупилась на восторженную фразеологию: «новая эпоха в истории цивилизации», «заря новой эры», «знамение нового столетия». В Бельгии воззвание царя назвали «актом колоссальной значимости», а автора – «Николаем-миротворцем». В Нью-Йорке усмотрели возможность зарождения «самого важного и благотворного движения в современной истории – поистине во всей истории человечества». Рим назвал манифест одним из величайших документов уходящего столетия», а Берлину царь показался «новым евангелистом на берегах Невы», поставившим «цель благородную и прекрасную в теории, но неосуществимую на практике». Гуманно, но утопично – таково было общее мнение в Лондоне, хотя Киплинг, со своей стороны, выразил мрачное предостережение. Тогда между Британией и Россией назревал конфликт по поводу северо-западного приграничья Индии. В ответ на манифест царя Киплинг написал поэму о «медведе, который ходит, как человек»<sup>3</sup>. В этой аллегории истерзанный охотник, увидев, как зверь, поднявшись во весь рост, умильно просит о пощаде, опускает винтовку, проникнувшись жалостью, и тут же получает удар лапой в лицо:

Когда он встает, зверь в обличье человека, и, шатаясь,  
Просит о пощаде,  
Когда он прячет ярость и злобу своих маленьких  
Поросячьих глаз;  
Когда он складывает лапы, как руки,  
Будто в молитве,  
Это самый страшный момент – момент Перемирья Медведя!  
[\[87\]](#)

Мотивы были непонятные, вызывали подозрения и циничные спекуляции. Станным казалось то, что Россия предварительно не

проконсультировалась с Францией, своим союзником. Призыв к разоружению подразумевал удовлетворенность существующим статус-кво, но Франция не примирилась с потерей Эльзаса и Лотарингии. Одно это, как написала газета «Таймс», могло создать «чрезвычайно трудно разрешимую проблему». По реакции Франции было видно, что с ней не советовались. “*Et l’Alsace-Lorraine?*”<sup>[88]</sup> – недоуменно спрашивала газета «Энтрансижан». Однако в условиях, когда всех нервировали «непотребные претензии и непомерные амбиции» англосаксонского империализма, а поддержание мира все больше напоминало цирковое балансирование на канате, инициатива созвать международную конференцию представлялась вполне разумной.

У каждого правительства сформировалась своя точка зрения на царский манифест. Для Германии было очевидно: если Англия не согласится на военно-морское разоружение, то призыв царя окажется всего лишь красивым жестом, вроде «удара мечом по воде»<sup>4</sup>, и вскоре кайзер объявил: «Наше будущее – в океанах». Для британцев главную проблему представляли военно-морские амбиции Германии. Социалисты повсеместно были уверены в том, что репрессивный царский режим мог руководствоваться какими угодно мотивами, но только не человеколюбием. Германский социалист Вильгельм Либкнехт назвал призыв царя «фальшивкой»<sup>5</sup>. Многие сторонники мира связывали его с Испано-американской войной, которая казалась им прелюдией к мировой катастрофе. Многие европейцы были убеждены в необходимости обуздать американскую экспансию на Филиппинах. Сами американцы допускали возможность того, что именно их победа над Испанией побудила царя выступить с такой мирной инициативой. Антиимпериалист Годкин с горечью отметил: в то время как из России прозвучал «прекрасный призыв к миру»<sup>6</sup>, в Соединенных Штатах, как никогда прежде, взяли верх «милитаристские и захватнические настроения».

Однако истинные мотивы мирной инициативы царя оставались неясными. Бытовали и такие довольно широко распространенные объяснения: будто Николай хотел упредить кайзера, который якобы намеревался выступить с аналогичным воззванием, *urbi et orbi*<sup>[89]</sup>, во время предстоящей поездки в Иерусалим.

Но вскоре общественное внимание отвлекло самоубийство полковника Анри в ходе расследования дела Дрейфуса и

последовавшее через десять дней злодейское убийство анархистом императрицы Елизаветы. Американцы встречали свои полки, возвращавшиеся с Кубы, а британцы аплодировали триумфальному походу Китченера в Хартум. Начиная с сентября, ощутимо назревала война между Англией и Францией. Фашода, как торжествующе заметил германский посол, заставила французов позабыть об Эльзасе и Лотарингии. Мир становился все более иллюзорным.

Но не для его поборников в Европе и Америке, вдохновленных воззванием царя. В числе самых известных сторонников мира была баронесса Берта фон Зутнер, автор антивоенного сочинения *Die Waffen Nieder* («Долой оружие!»), которое Лев Толстой по социальной значимости сравнил с «Хижиной дяди Тома». Когда супруг баронессы принес домой газету с воззванием, она обрадовалась не меньше, чем Эмма Гольдман вестям из Хомстеда. Поздравительные телеграммы от сотоварищей хлынули в Международное бюро мира, Межпарламентский союз, Ассоциацию мира и арбитража. «Что бы ни вышло из всего этого, – написал Бьёрнстjerne Бьёрнсон, – отныне вся общественная атмосфера будет пронизана мыслями о мире». Баронесса, ставшая самой страстной поборницей мира, родилась графиней Кински в 1843 году в обедневшей аристократической австрийской семье. Сильная и энергичная натура не позволяла ей предаться праздному безделью, и она в возрасте тридцати лет нанялась наставницей-компаньоном к дочерям фон Зутнера и со временем начала испытывать горячие чувства (кстати, взаимные) к его сыну-наследнику, который был моложе ее на семь лет. Но она была бесприданницей, и они расстались как истинные германцы: «Он встал передо мной на колени, смиренно поцеловал край платья и промолвил: “Несравненная, царственно благородной души женщина, ваша любовь одарила меня счастьем, которое будет озарять всю мою жизнь. Прощайте!”» Тогда же газета напечатала объявление «очень богатого, образованного, пожилого джентльмена, подыскивающего себе зрелую, образованную леди на роль секретаря и управителя домашним хозяйством, и графиня без колебаний поступила на службу к знаменитому изобретателю динамита Альфреду Нобелю.

Чудаковатый идеалист-пессимист с саркастическим складом характера, стеснительный, меланхолический и склонный к уединению, 43-летний Нобель стал миллионером на производстве взрывчатых

веществ и, очевидно, был чрезвычайно обеспокоен пагубными последствиями своего изобретения. По всей вероятности, он испытывал необходимость не столько в секретарше, сколько в хорошем слушателе. «Я хочу, – сказал он новой домоправительнице, – создать субстанцию или машину, обладающую столь беспредельно разрушительной силой, которая сделала бы их применение непозволительным». Несмотря на взаимную симпатию, глубокое интеллектуальное удовлетворение и определенные признаки иных отношений, у леди начались боли в сердце, и уже через неделю она ушла от него, вернувшись к прежнему возлюбленному. После двенадцати лет замужества и деятельности на литературном поприще она обнаружила – в некотором смысле сделав для себя открытие – существование в Лондоне Международной ассоциации мира и арбитража. В числе заявленных целей этой организации значилось: на исходе XIX века народы должны найти способы мирного разрешения всех конфликтов и отказаться от войн. Горячо и искренне поверив в возможность такого международного взаимопонимания, Берта фон Зутнер рьяно взялась за организацию филиалов ассоциации в Вене и Берлине. Ее усилия увенчались успехом, и в 1891 году газета «Нойе фрайе прессе» опубликовала манифест, выражавший настроения всех сторонников мира. Они полагали, что новая война невозможна по двум причинам: во-первых, люди стали менее жестоки и озлоблены, а во-вторых, новые вооружения приобрели чересчур разрушительный характер. Они думали, что массы, пусть и несознательные, все-таки жаждут мира. Хотя правительства и заявляют о нежелательности войн, они в то же время наращивают вооружения, готовясь к войне, и с этим «чудовищным противоречием» надо покончить.

Межпарламентский союз, сформированный в 1888 году в Париже из представителей национальных парламентов, ежегодно проводил в каком-нибудь городе конгресс. В Соединенных Штатах Америки Союз за всеобщий мир провозгласил своими целями поэтапное разоружение и создание постоянного арбитражного суда. После женевского урегулирования распрей между Соединенными Штатами и Британией в связи с ущербом, нанесенным каперами «Алабамы», метод арбитража получил признание в обеих странах. Юридическое урегулирование конфликта позволяло избежать войны. Сторонники этого метода полагали, что если наладить продуктивный процесс

подписания отдельного договора, а затем всеобщего договора, и доказать, что непомерно разрушительный характер войны делает ее неприемлемой, то люди предпочтут договариваться, а не воевать. Эта концепция основывалась на допущении, будто человек – существо разумное, а война возникает вследствие распрей, поддающихся урегулированию. В те времена было принято верить в материальный прогресс и моральное совершенствование человечества, и никому не приходило в голову, что войны могут зарождаться вследствие действия сил, подобных тем, которые вызывают ураганы и смерчи.

Нобель был сторонником арбитража, но не разоружения, относя его к числу благих намерений, граничащих с глупостью. Он настаивал на учреждении трибунала и достижении соглашения между нациями, предусматривающего обязательное перемирие на один год при любом конфликте. Нобель присутствовал на конгрессе в Берне в 1892 году инкогнито, сказав тогда Берте фон Зутнер: если она сможет «предоставить ему необходимую информацию и убедит его, тогда он сделает нечто очень великое для дела мира». Они переписывались, иногда встречались, и как-то он написал ей, что грядет новая эра насилия, «уже слышно ее отдаленное громохание». Спустя два месяца он сообщил: «Я собираюсь передать мое состояние в фонд учреждения премии, которая должна присуждаться каждые пять лет человеку, внесшему наибольший вклад в поддержание мира в Европе». По замыслу Нобеля, ее можно было присуждать не более шести раз. Он исходил из того, что «если за тридцать лет общество не трансформируется в лучшую сторону, то мы неизбежно ввергнем себя в варварство». После некоторых размышлений он включил проект в завещание, составленное в 1895 году, а в следующем году умер.

Посредством арбитража в январе 1897 года был подписан договор между Британией и Соединенными Штатами, согласованный госсекретарем Олни и британским послом Понсфотом об урегулировании всех проблем, кроме споров территориальных: еще не забылась Венесуэла. Сенат, раздосадованный вторжением в сферу своих интересов, отказался ратифицировать договоренности с перевесом оппозиции всего лишь на три голоса. Поражение, по словам Олни, могло иметь негативные последствия «не только в национальном, но и мировом масштабе»<sup>7</sup>. Оно подрывало веру в возможность нравственного совершенствования человека.

Окрепшее за последние десять-пятнадцать лет движение за мир опиралось на определенные позитивные перемены, происходившие в обществе. Благодаря научным достижениям человечество достигло того уровня материального благополучия, которое вселяло надежду на то, что с повышением благосостояния человек станет менее агрессивным. У людей теперь имелись водопровод, освещенные улицы, канализация, они пользовались консервированными и замороженными продуктами, швейными и стиральными машинами, пишущими машинками, газонокосилками, фонографами, телеграфом и телефоном и недавно, в девяностых годах, получили необычайный дар – возможность индивидуального передвижения в экипаже без конной тяги. Трудно было поверить в то, что такие материальные блага не принесут духовные перемены, не ознаменуют начало новой эры в человеческом поведении и человек станет настолько цивилизованным, что отвергнет войну. Наука доказала действие определенных законов и порядка в физическом мире: их можно понять и можно научиться управлять ими. Если можно управлять физическими процессами, то почему же не попытаться делать это и в межчеловеческих отношениях? «Социальным отношениям предопределено стать *другими*», – убежденно писала баронесса фон Зутнер. Более молодые единомышленники с ней были согласны. «В 1898 году мы честно верили в то, что эра войн закончилась, – писал Жюльен Бенда<sup>8</sup>, французский интеллектуал, которому тогда исполнился тридцать один год. – На протяжении пятнадцати лет – с 1890 до 1905 года наше поколение искренне верило в торжество мира».

Но этой вере всегда сопутствовали и страхи, опасения, вызываемые появлением необузданной энергии машинной эпохи. Гигантское возрастание мощности механической энергии, создание удивительных новых технических устройств и инструментов, фантастические возможности электричества – все это внушало пугающее предчувствие, будто человек сосредоточил в своих руках силы, которые не в состоянии контролировать и которые однажды могут вырваться на волю и уничтожить все живое, если их вовремя не обуздать. В 1820 году мир располагал 778 метрическими тоннами механической энергии (в угольном эквиваленте минерального топлива и водной энергии), а в 1898 году – уже 15 000 000 метрическими тоннами<sup>9</sup>. Возросла производительность труда. Увеличились

экономические ресурсы и население стран. Существенно снизилась смертность – благодаря улучшениям в санитарии и здравоохранении. С 1870 года население Европы увеличилось на 100 000 000 человек, такой была численность всего населения в 1650 году. За тот же период времени Великобритания приобрела 4 700 000 квадратных миль новых территорий, Франция – 3 600 000, Германия – 1 000 000, а Бельгия – 900 000, что в 77 раз превышало ее прежние размеры. Население Соединенных Штатов за это же время удвоилось, а выпуск продукции на душу населения вырос в четыре раза. Прибыли «Карнеги стил» увеличились с 6 000 000 долларов 1896 году до 40 000 000 долларов в 1900-м. Паровую машину вытеснил двигатель внутреннего сгорания, что вызвало бурный рост нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Энергетика обогатилась новыми паровыми генераторами, дизельными двигателями, гидростанциями. Значительно возросли водоизмещение, скорости и грузоподъемность пароходов. Сталь, главный символ эпохи, породила множество различных изделий и методов ее использования, особенно благодаря конвертеру Бессемера. Изобретательность, самая активная в истории, достигла своего апогея в девятые годы. Появились алюминий и другие легкие сплавы. Новые процессы и материалы создавались в химической промышленности. Почти во всех индустриальных странах переняли американский метод массового производства, основанный на взаимозаменяемости деталей. Изобретение динамита позволило осуществлять крупномасштабные землеройные работы в карьерах, рудниках и шахтах, гигантские строительные проекты вроде железнодорожного туннеля Симплон и Панамского канала. Производство динамита возросло с 11 тонн в 1867 году, когда Нобель впервые предложил его на рынок, до 66 500 тонн в 1897-м. Крупные предприниматели формировали картели и тресты, обладавшие огромными финансовыми ресурсами.

Параллельно происходили усовершенствования в военной сфере. Возросшая численность населения позволила создавать регулярные армии, а после 1871 года, следуя примеру Германии, воинскую повинность ввели все континентальные державы. Вооружить и оснастить регулярную армию можно только при наличии отлаженного массового производства. Военные заводы взяли под свой контроль добычу сырья, шахты, литейные производства, транспорт. Рынки и

прибыли были безграничны и восприимчивы к инициативе. За десять лет – с середины восьмидесятых до середины девяностых годов – характер наземных военных действий кардинально изменило применение магазинных малокалиберных винтовок, усовершенствованного пулемета «максим» и бездымного пороха. Все эти новшества позволили существенно увеличить дальность стрельбы, скорострельность и улучшить точность попадания. Пехота, делавшая три выстрела в минуту при Ватерлоо, теперь могла за это же время произвести шестнадцать выстрелов. Малый калибр увеличивал дальность траектории и точность попадания пули. Внедрение автоматического отката полевых орудий повысило скорострельность артиллерийского огня. Мало того, применение бездымного пороха, запатентованного Нобелем в 1887–1891 годах, расширило границы видимого пространства поля сражения. Воздух не окутывался дымом, легче было обнаруживать скрытые огневые позиции, ускорялась перезарядка, увеличивалась прицельная дальность стрельбы с тысячи до пяти-шести тысяч ярдов. Поле боя растягивалось на большое расстояние, и армии могли попасть под неприятельский огонь, еще не видя противника. Уже тогда было ясно, что винтовка уступит первенство полевой артиллерии. Появление торпед и мин в равной мере изменило характер и масштабы морских сражений. Новые опасности предвещали эксперименты с субмаринами.

Кто-то радовался притоку новых сил и энергий, кто-то пугался их. «Мы плывем, не зная, что у нас уже трупы на борту»<sup>10</sup>, – мрачно говорил Ибсен. Стремление наций объединиться в противостоянии новым угрозам было уже настолько универсальным, что заставило выразить свое мнение на этот счет и лорда Солсбери в 1897 году. В своей речи в Гилдхолле он заявил <sup>11</sup>, что наращивание вооружений и постоянное совершенствование «орудий убийства» приведет к взаимному уничтожению и исчезновению христианской цивилизации». Он не говорил о разоружении, а лишь выразил надежду на то, что державам удастся предотвратить катастрофу, разрешая свои разногласия мирными средствами и закрепив этот принцип в «некой международной конституции». Лорд Солсбери не был оптимистом и не думал, что его инициатива позволит покончить с войнами. Он рассчитывал лишь на то, что можно существенно «продлить периоды взаимовыгодной торговли и устойчивого мира».



Пацифизм и идеализм были присущи царю не больше, чем лорду Солсбери. В 1898 году ему было тридцать лет, и он не отличался широтой мировоззрения. Скорее, его можно было бы назвать человеком недалекого ума, не обладавшего способностью составить собственное представление об окружающем мире и одержимого только одной идеей: как управлять государством, ни на йоту не поступившись самодержавной властью, наследованной от предков. Его ограниченный взгляд на мир, как говорил Победоносцев, обер-прокурор Священного синода, сформировался «под влиянием многочисленных горничных, окружавших мать»<sup>12</sup>. Все его усилия направлялись на поддержание существующего порядка, ни на что другое уже не оставалось ни политической воли, ни интереса. В отличие от деятельного кайзера, у которого сразу же возникала жажда действия при получении каждой депеши, царя думы о международных проблемах утомляли. «В самом деле, – писал он матери<sup>13</sup> во время ажиотажа вокруг Фашоды и поездки кайзера в Иерусалим, – много странных вещей случается в мире. Когда прочитаешь о них, остается лишь пожать плечами».

Идею созвать мирную конференцию придумал не царь. Она зародилась – исходя из практических нужд – в трех министерствах – военном, финансов и иностранных дел. Причина была простая: Россия отставала в гонке вооружений и не имела никаких возможностей для того, чтобы сравняться с соперниками. Генералу Алексею Куропаткину, военному министру, стало известно, что Австрия, главный соперник России, взяла на вооружение усовершенствованный вариант скорострельного полевого орудия, способного производить шесть выстрелов в минуту и уже имевшегося в Германии и Франции. Россия, чья пушка могла делать лишь один выстрел в минуту, не располагала средствами для того, чтобы перевооружить всю свою артиллерию, поскольку в это время занималась переоснащением пехоты. Если бы Австрию удалось уговорить на десятилетний мораторий, то обе страны избежали бы ненужных затрат. Почему бы нет? Перевооружатся обе страны или согласятся не перевооружаться, в случае войны результат будет один и тот же.

Куропаткин доложил простую, но грандиозную по замыслу идею царю, который не нашел в ней ничего предосудительного<sup>14</sup>. Потом он ознакомил с проектом министра иностранных дел графа Муравьева, а

тот, в свою очередь, проконсультировался с министром финансов графом Витте. На редкость способный, деятельный и умный человек, оказавшийся на посту царского министра, граф Витте, преодолевая летаргию, инертность и автократию, усердно пытался встроить Россию в современный индустриальный мир. Он сожалел о каждом рубле, потраченном на вооружения, был противником войны и считал, что гонка вооружений может быть изнурительнее самой войны. Однако Куропаткин заметил военному министру, что его китайская философия заблаговременного согласия с противником предполагает доверие австрийцам, что нереалистично и даже опасно, поскольку всему миру укажет на нашу финансовую слабость. Он предложил международный, а не двухсторонний мораторий на вооружения. Витте разъяснил Муравьеву, какой вред наносит человечеству возрастающий милитаризм и какие блага получит оно в результате ограничения вооружений. Эти «тривиальные идеи», как написал потом Витте, оказались новаторскими и произвели огромное впечатление на Муравьева. Не теряя времени, он созвал совет министров для обсуждения текста обращения к державам с призывом провести конференцию. Царь одобрил текст. Россия только выиграет, если замедлится бег времени, а люди «перестанут изобретать»<sup>15</sup>.

Примерно тогда же в России вышел в свет внушительный шеститомный труд под названием «Будущая война». Его автор и идеи книги были известны Витте, хотя и трудно сказать, насколько они на него повлияли. Иван Блюх был новообращенным евреем<sup>[90]</sup>, обучался всему самостоятельно, сделал состояние на строительстве железных дорог, но не удовлетворившись этим, уехал за границу получать высшее образование по экономике и политологии в иностранных университетах. В Варшаве, вернувшись из Западной Европы, он стал влиятельной фигурой в банковской сфере и железнодорожном строительстве, благодаря чему и сблизился с Витте. Он опубликовал целый ряд научных трактатов по промышленным и монетарным проблемам, прежде чем приняться за написание своего главного сочинения, принесшего ему бессмертие. Исследования и практический опыт привели его к выводу, что будущие войны уже не будут носить локальный характер, как это было прежде. Вследствие всеобщей воинской повинности, которая налагается практически на всю нацию, будущие войны вовлекут все силы и все ресурсы противоборствующих

государств, а они, не имея возможности добиться решающей победы на поле битвы, будут сражаться до полного истощения, пока не падет одна из сторон. Поскольку нации взаимосвязаны финансовыми и сырьевыми ресурсами, дипломатическими и торгово-экономическими отношениями, то труднее будет различить победителя и побежденного. Разрушительная мощь современных вооружений гарантирует неизбежность неисчислимых жертв. Об однодневных сражениях прошлого надо позабыть. Теперь огромные армии будут биться или сидеть в окопах неделями и месяцами, битвы превратятся в длительные осады, в войну будет втянуто и гражданское население. Ни одно современное государство не сможет добиться победы без того, чтобы не растратить и не загубить все свои ресурсы и саму общественно-государственную систему. Война стала невозможной, потому что «она означает коллективное самоубийство»<sup>16</sup>.

Выводы о недопустимости войны привели его в стан сторонников мира (возможно, процесс был обратным). Для убеждения общества в грядущей опасности Блюх указал на еще более страшную перспективу – социальную революцию. Если все будет продолжаться в том же духе, то нации истощат себя в гонке вооружений или втянутся в войну: и в том и в другом случае создаются условия для социального переворота. Растрачивание национальных ресурсов на производство бесполезных для жизни вещей возбуждало антимилитаристские настроения. Готовясь к войне, правительства подготавливали почву и для «социальной революции». Если убедить их в этом, полагал Блюх, то они будут изыскивать иные, не военные средства для разрешения конфликтов. Его труд был насыщен историческими фактами, описаниями блокад, техническими характеристиками, данными о потерях, многочисленными военными и экономическими деталями, доказывавшими предрасположенность современного государства к революции. Подобно Марксу, Блюх на основе анализа социально-экономических факторов сформулировал собственную догму исторической закономерности. Он сделал вывод, что расходы на вооружения неизбежно истощают нации подобно тому, как, согласно теории Маркса, при капитализме происходит обнищание пролетариата. Ни Блюх, ни другие идеологи движения за мир не принимали во внимание то, что производство вооружений и сопутствующие отрасли обеспечивают трудовую занятость населения.

Пугало социальной революции было весомым аргументом в России, и после встречи Блюха с царем этот фактор нашел свое отражение в манифесте, написанном Муравьевым. Министр иностранных дел действительно поверил в его убедительность. Передавая обращение британскому послу, он просил дипломата особенно отметить в своем докладе: русская мирная инициатива демонстрирует «недовольным и мятежным классам», что правительства поддерживают их желание продуктивно использовать национальные богатства, а не разбазаривать их в «губительном соперничестве». Посол ответил учтиво<sup>17</sup>: «Никто не сможет отнестись равнодушно к столь благородным сантиментам, выраженным в этом превосходном документе».

«Величайшая чушь и белиберда из всех, что мне довелось слышать»<sup>18</sup>, – написал принц Уэльский леди Уорик. Когда он сердился, то говорил тоном матери: «Это абсолютно невозможно. Франция никогда не согласится на это. И *МЫ* тоже». Принц решил, что манифест – очередная уловка «этой хитрой собаки», «этого коварного интригана» Муравьева, «впихнувшего эту дурь в голову царя». Его резкая отповедь, в общем-то, отражала мнение многих правительств. Но, относясь к предложению с явной неприязнью, они тем не менее приняли приглашение (никто не желал быть зачисленным в категорию поджигателей войны), хотя и считали, что из этой затеи ничего путного не получится. Австрийский министр иностранных дел лишь заметил, что теперь правительствам будет намного труднее утверждать военные бюджеты в парламентах.

Муравьев, слегка разочарованный, но по-прежнему настроенный решительно, разослал в январе 1899 года второе послание, определив для обсуждения восемь тем. Первым пунктом он предложил подписать соглашение не наращивать вооруженные силы и не увеличивать военные бюджеты на протяжении фиксированного периода времени. Он предлагал также заключить соглашение «о принципах арбитража и выработки соответствующих процедур». Пункты 2, 3 и 4 касались запрещения или ограничения новых типов вооружений и перспективных средств ведения войны, таких как субмарины, удушающие газы и «запуски метательных снарядов с воздушных шаров», для чего еще не имелось общепринятой терминологии. Пункты 5, 6 и 7 касались законов и обычаев ведения наземных

военных действий и распространения женеvских правил 1864 года на морские сражения. Против пунктов 2–7 выступили пропагандисты движения за мир: они хотели запретить войны, а не вносить поправки в методы их ведения. Они заподозрили, что эти проблемы были включены только для того, чтобы заинтересовать правительства и их военных представителей, и в этом отчасти были правы.

В канцеляриях неустанно трудились секретари и машинистки, дипломатические курьеры сновали из столицы в столицу, послы то и дело запрашивали аудиенцию у министров иностранных дел, желая прояснить позицию правительств, при которых были аккредитованы<sup>19</sup>. Согласно германской прессе, лорд Солсбери отнесся к инициативе «весьма скептически», а император Франц Иосиф воспринял ее «негативно», считая «неприемлемыми» любые ограничения в военной сфере. В Риме маркиз Висконти-Веноста отказался ехать на конференцию, которая вряд ли будет представительной и принесет какие-либо ощутимые результаты. Вашингтон направит делегатов, но не предпримет никаких шагов в целях ограничения вооружений. В Бельгии готовились к конференции «с прискорбием и тревогой», опасаясь, что любые изменения в обычаях войны будут лишь на пользу агрессору и ограничат права на законные оборонительные действия против интервентов. Берлин ответил на предложения царя тем, что добавил к своим вооруженным силам три армейских корпуса. Реакция столиц в целом была неудовлетворительная для России: ограничения вооружений «непрактичны»; запрещение новых разработок в военной области нежелательно; арбитраж по вопросам, затрагивающим «национальные интересы и достоинство», неприемлем, хотя, возможно, и допустим по отдельным мелким деталям. Практически никто не возражал против обсуждения общих вопросов ведения войны.

Опасаясь, что недопонимание предложений России возникло в результате горячих призывов сторонников мира к разоружению, Муравьев решил лично побывать в столицах и разъяснить, что Россия предлагает лишь установить «потолок» для существующего статус-кво. Его аргументы казались здравыми. Державы, доказывал он, могли бы даже договориться об ограничении призыва в армию на уровне строго фиксированного процента от численности населения, что

позволило бы существенно сократить войска при сохранении баланса сил. «Идиот», – написал кайзер на полях меморандума<sup>20</sup>.

Никого так не взбудоражил манифест, как кайзера Вильгельма II, в чьем сознании армия всегда ассоциировалась с государством, а государство он воплощал персонально. Белый плащ и блестящий шлем, в котором он любил позировать, сияние и разноцветье мундиров, галоп конницы, колыхание полковых знамен, грохот пушек, офицерские чины и звания, а позже и предвидение морских походов – все это составляло атрибутику его любимого детища, вооруженных сил. Все остальное – рейхстаг, политические партии, бюджеты, голоса избирателей – не имело для него никакого значения, исключая, возможно, дипломатию, которую, в его представлении, могли понимать и вершить только монархи.

Кайзер вступил на трон в возрасте двадцати девяти лет в 1888 году после трагического кратковременного 90-дневного царствования отца, во время которого появились и сразу же погасли первые проблески либерализма в Германии. Его воззвание при восхождении на престол было обращено «не к моему народу», как у отца, а «к моей армии»<sup>21</sup>. Он провозгласил: «Мы принадлежим друг другу. Я и моя армия. Мы рождены друг для друга». Характер своих отношений с армией он выразил в совете, данном роте новобранцев: «Если прикажет император, то вы должны застрелить отца и мать». О делах Германии и Европы он говорил только с позиций личной, самодержавной ответственности. «В рейхе есть только один хозяин. Это я, и я не потерплю никого другого». В более поздние годы он говорил: «Весь баланс сил в Европе заключается во мне и в моих двадцати пяти армейских корпусах». Он почитал лишь Всевышнего, считая Его «древним союзником моего рода». Подобные ремарки шокировали, а принца Уэльского заставили задуматься над тем, что события могли развиваться совершенно иначе, если бы выжил отец кайзера<sup>22</sup>. Правда, принц признавал, что речи его племянника на немецком языке не звучали столь абсурдно, как в переводе на английский язык.

Императрица говорила, что давно не видела супруга в таком раздражении<sup>23</sup>, в каком он пребывал после внезапного вторжения в его вотчину международных отношений Ники, царя, которого он привык опекать и снабжать советами в пространных посланиях, составленных

на английском языке и подписанных «Вилли». Неважно, замышлял он или не замышлял выступить с аналогичным заявлением в Иерусалиме. Истинная проблема была в том, как говорил его ближайший друг граф Эйленбург, что кайзер не переносил, когда кто-то другой занимал первое место на авансцене. Вообразив, будто предложение царя призывает «к всеобщему разоружению», он спешно отправил телеграмму Ники<sup>24</sup>. Представь себе, увещевал он царя, что «монарх, главнокомандующий армией, распускает полки, имеющие за собой сотни лет истории... и отдает свои города анархистам и демократам». В то же время, похоже, он понимал, что царя будут восхвалять за гуманистическую инициативу, и не преминул назвать его проект «самым интересным и впечатляющим в этом столетии!»: «Весь мир будет чествовать тебя, даже если он не преуспееет в практическом отношении из-за трудностей в реализации деталей». Кайзер вписывал на полях восклицания: «Ага!» и «!», а также замечания – и тривиальные, и вполне проницательные. К примеру, Вильгельм сделал такую разумную ремарку: «Он дал в руки нашим демократам и оппозиции превосходное оружие!» В одном случае кайзер сравнил обращение царя с посланием спартанцев, которые вздумали бы потребовать от афинян не восстанавливать стены. В другой раз он изрек: «А чем же будет платить Крупп своим рабочим?»

У Германии не было мотивов, которые побуждали Россию стремиться к миру: стесненных экономических обстоятельств. Германию не тревожила проблема неразвитой промышленности. Когда Муравьев в Берлине говорил графу Эйленбургу<sup>25</sup> о том, что ежегодное увеличение военных расходов доведет нации до состояния *non possumus*<sup>[91]</sup>, он выбрал не самый лучший аргумент: таких слов немцы не знали. Экономика Германии бурно развивалась, материально обогащалась. После объединения в 1871 году, достигнутого посредством меча за десять лет войн, в Германии наступила эра благосостояния и процветания, как в Соединенных Штатах после гражданской войны. Страна динамично наращивала физические ресурсы. Германия девяностых годов находилась в начале двадцатипятилетнего периода, на протяжении которого удвоился национальный доход, на 50 процентов выросла численность населения, на 50 процентов увеличилась протяженность железных дорог, разрослись города, появились колонии, возникли гигантские

промышленные комплексы, возросли благосостояние и занятость населения. Пароходная империя Альберта Баллина в семь раз увеличила тоннаж судов и в десять раз – свои капиталы. Численность рабочих в электроэнергетике Эмиля Ратенау за десять лет выросла в четыре раза. Компания «И.Г. Фарбен» создала анилиновые красители. Фриц Тиссен управлял гигантским промышленным комплексом, производившим уголь, железо и сталь в Руре. Новая плавильная технология позволила использовать фосфорические железные руды Лотарингии. Производство угля и стали с 1871 к 1898 году выросло в четыре раза, и по этому показателю Германия превзошла Британию. Национальный доход Германии за этот период удвоился, хотя все еще был меньше, чем в Британии, составляя в расчете на душу населения примерно две трети от британского уровня. Германские банковские дома открыли свои филиалы по всему миру. Германские купцы продавали германские товары на огромном географическом пространстве от Мексики до Багдада.

Ученые мира восхищались германскими университетами и техническими школами. Германские методы исследований были самые основательные. Германские философы доминировали в своей сфере. Институт кайзера Вильгельма считался ведущим мировым центром химических исследований. Германская наука дала миру такие имена, как Кох, Эрлих и Рентген, обнаруживший в 1895 году электромагнитное излучение. Вслед за Рентгеном в Англии Дж. Дж. Томсон открыл электрон, а во Франции супруги Кюри установили существование радиоактивности. Германские профессора с удовольствием пропагандировали германские идеалы и культуру. Куно Франке в Гарварде говорил о Германии как о нации, одержимой «новыми идеями и устремлениями в каждой сфере человеческой жизнедеятельности»<sup>26</sup>. Он описывал свою страну в самых восторженных выражениях:

«На каждой миле германской земли глаз отмечает исключительный порядок, обстоятельность и уверенность хозяина в своей силе. Нельзя не подивиться этим процветающим, благоустроенным фермам и усадьбам, этим благоденствующим деревням, ухоженным лесам... этим живописным городам, населенным состоятельными и благонравными людьми... с горделивыми городскими зданиями и великолепными особняками,



театрами и музеями, с отлаженными средствами коммуникаций, превосходными возможностями для поддержания здоровья и развлечений, великолепными университетами и техническими школами». Благонравие поведения выражается в «умении управлять политическими митингами», в «собранности и организованности рабочих классов в борьбе за социальные улучшения», в «почтительном и заинтересованном отношении ко всем видам искусства». Все это благолепие «возглавляет изумительная армия с безукоризненной дисциплиной и бесподобными профессиональными качествами». Вкупе все эти компоненты доказывали наличие «чудесным образом сплоченной коллективной воли и стремления к еще более высоким стандартам и формам жизнедеятельности нации». Подобные настроения явно не вписывались в схемы и замыслы, направленные на самоуничтожение и самоограничение.

Меч, как писали историки Германии, пытавшиеся объяснить причины невероятного национального взлета страны, был главным инструментом, посредством которого она добилась величия. В труде «История Германии в XIX веке», публиковавшемся в пяти томах на протяжении пятнадцати лет в восьмидесятые и девяностые годы, Трейчке, обосновывая верховенство государства, утверждал: война является неотъемлемой частью государственной политики, и никто не должен посягать на его право вести войны за свою честь и национальные интересы. Германская армия была зримым воплощением концепции Трейчке. Ее могущество и престиж возрастали с каждым годом, офицеры вели себя с подчеркнутой надменностью и высокомерием, они считали себя выше закона, и в обществе сформировалось почти благоговейное отношение к армии. Любого человека, оскорбившего офицера, могли отдать под суд, обвинив в косвенном *lèse majesté*<sup>[92]</sup>. Германские дамы уступали дорогу идущему навстречу офицеру.

В 1891 году был создан *Alldeutsche Verband* (Пангерманский союз), поставивший своей целью объединить всех представителей германской расы вне зависимости от местожительства в Пангерманское государство<sup>27</sup>. Его ядром должна была стать Великая Германия, включающая в себя Бельгию, Люксембург, Швейцарию, Австро-Венгрию, Польшу, Румынию и Сербию, после чего ей предстояло распространить свое господство на весь мир. На окнах

магазинов расклеивались плакаты, провозглашавшие: *Dem Deutschen gehört die Welt* («Мир принадлежит немцам»). Основатель союза Эрнст Хассе заявил: «Мы займем территории, если даже они принадлежат иностранному государству. Тогда мы сможем формировать будущее согласно нашим потребностям». Он считал, что задача – вполне посильная для соотечественников.

Любой конфликт, возникавший между нациями, как, например, китайско-японская война в 1895 году или Испано-американская война, возбуждал у немцев страстное желание вмешаться. Адмирал фон Дидерикс, командующий германской Тихоокеанской эскадрой в Манильской бухте, замыслил молниеносное вторжение на Филиппины, но достаточно было адмиралу Дьюи<sup>28</sup>, побагровевшему от гнева, рявкнуть: «Если вам, адмирал, нужна битва, то вы ее получите!» и молча, но демонстративно подвести поближе британскую эскадру, как германский флотоводец моментально отступил. «Для немцев было немыслимо<sup>29</sup>, – говорил госсекретарь Хей, – чтобы где-то шла война, а они от этого ничего не получили». Дьюи считал их манеры «отвратительными». «Они слишком настырны и амбициозны, – говорил он. – Однажды они перегнут палку».

Возглавляло германское государство достаточно капризное правительство. Министры не зависели от парламента, занимали должности по прихоти кайзера, который называл членов рейхстага «бараньими головами»<sup>30</sup>. Правительственные должности предназначались для аристократии, а политические карьеры зависели от принадлежности к консервативной партии. Двери были наглухо закрыты для новых талантов. «Даже самый смиренный либерал<sup>31</sup>, – сетовал редактор газеты «Берлинер тагеблат», – не мог удостоиться самой малозначительной должности». После отставки канцлера Бисмарка в 1890 году на этом важном посту в Германии больше не было сколько-нибудь активной, творческой и интеллектуальной личности. На роль канцлера тогда избрали князя Хлодвига цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрста, добросердечного баварца, чьим девизом было, как говорили в народе, «всегда иметь на себе добротный черный сюртук и держать язык за зубами»<sup>32</sup>. Министром иностранных дел был граф Бернгард фон Бюлов, элегантный джентльмен, чрезвычайно учтивый, преисполненный ощущений собственной значительности и манерный до такой степени, что иногда напоминал слащавого торговца

коврами<sup>33</sup>. Он обычно делал пометки на обшлагах, боясь не запомнить все пожелания его величества. Стремясь перенять непринужденный парламентский стиль Бальфура, фон Бюлов практиковался у зеркала в ванной комнате держать руки на лацканах сюртука под наблюдением атташе из Форин-офиса. «Смотрите, – говорил в рейхстаге кто-нибудь из тех, кто знал об этих репетициях, когда Бюлов поднимался для выступления, – сейчас начнется спектакль с лацканами».

Помимо Бюлова, международными делами занимался Гольштейн, дипломат-невидимка, умевший в традициях византийских дворов оказывать влияние, не занимая высокой государственной должности. Он считал дипломатию искусством конспирации, в каждом предложении иностранных правительств видел скрытую каверзу, а внешнюю политику Германии выстраивал, исходя из презумпции враждебного отношения к Германии всех без исключения стран. В интересах великой державы, объяснял он Бюлову<sup>34</sup>, не поддержание мира, а использование любых возможностей «для подавления врагов и соперников». Следовательно, «мы должны с подозрением отнестись к предложению России», зная, что она на самом деле стремится «к наращиванию силы, а не к миру». Бюлов с ним согласился. В своих наставлениях послам за рубежом он предупреждал о злонамеренности российской инициативы, представлял пакет ее предложений «корзиной, напичканной змеями». Желательно, писал он послу в Лондоне, чтобы «эти идеи мира и разоружения были отвергнуты Англией, а Германия оставалась бы в тени», поручив послу провести обмен мнениями с Бальфуром именно в таком духе.

Господин Бальфур, министр иностранных дел в правительстве лорда Солсбери, меньше всего подходил на роль послушного исполнителя комбинаций Бюлова. В отличие от Германии, международная конференция ничем не угрожала британскому правительству. Оно тоже скептически относилось к ее результативности, но не собиралось зарубать форум на корню. Кроме того, уже невозможно было погасить общественный энтузиазм, вызванный идеей его созыва. За четыре месяца после воззвания царя в Форин-офис поступило более 750 резолюций<sup>35</sup> от различных групп, организаций, объединений, выражавших поддержку конференции и, как говорилось в одной из них, «искренние надежды» на то, что правительство ее величества употребит все свое влияние для того,

чтобы она была успешной и «принесла практические результаты». Их присылали и известные общества движения за мир, и религиозные конгрегации, и городские и окружные собрания, и сельские районные комитеты, и советы графств. На многих стояли подписи мэров, печати графств, часть посланий пересылалась лордами-наместниками. Некоторые резолюции пришли просто «от граждан Бедфорда», «жителей Родерхеда», «общего собрания Бата». Много посланий поступило от местных комитетов либеральной партии. Не откликнулись лишь консерваторы и конгрегации англиканской церкви. Поддержали воззвание к миру все баптисты, методисты, конгрегационалисты, уэльские нонконформисты, ирландские евангелисты, приверженцы «Крисчен индевор». «Общество друзей» (квакеры) собрало петиции, имевшие 16 000 подписей. Среди энтузиастов оказались члены обществ Библии, школы для взрослых, женские школы, Британская национальная женская ассоциация трезвости, Манчестерская торговая палата, Ассоциация за мир и арбитраж Западной Шотландии, Гуманистическая лига, Оксфордская женская либеральная ассоциация, Генеральный совет протестантских сектантов, мэр Лестера, лорд-мэр Шеффилда, секретарь городского совета Пула.

Кипы петиций имели пометки “S”, означавшие, что за реакцией общественного мнения внимательно следил лорд Солсбери. Депутация Международного крестового похода за мир, возглавлявшаяся графом Абердинским и епископом Лондона, нанесла визит господину Бальфуру, который принял их любезно и даже произнес речь, высказавшись «не просто за отказ, а за полное исчезновение войн в будущем»<sup>36</sup> и назвав предстоящую конференцию «знаменательной вехой в прогрессе человечества» вне зависимости от того, даст ли она какие-либо практические результаты. Вовсе не такой реакции в Англии ожидал граф Бюлов.

Знаковой фигурой движения за мир того времени был необычайно активный и плодовитый журналист Уильям Т. Стед, основатель и редактор журнала «Обозрение обзрений»<sup>37</sup>. Кроме того, он был просто одержим страстью совершать добрые дела, обладал неутомимой жаждой деятельности, неиссякаемым оптимизмом и безграничным эгоизмом. Самопровозглашенный «папа римский» журналистики обозначал свой телеграфный адрес двумя словами:

«Ватикан, Лондон». В восьмидесятые годы он редактировал либеральную ежедневную газету «Пэлл-Мэлл газетт» и серией громких статей превратил ее в издание, пользовавшееся большой популярностью в обществе. «Вы перенапрягаете себя, вы постоянно перенапрягаетесь», – укорял его принц Уэльский, регулярно прочитывавший газету. Сед брался за любые темы – от заступничества за проституток до «здорового империализма». Он инициировал кампанию осуждения злодеяний в Болгарии, сибирских каторг, безразличия к судьбе генерала Гордона в Хартуме, рабства в Конго, выступил в защиту жертв Кровавого воскресенья на Трафальгарской площади, пропагандировал усыновление и удочерение детей, сельские библиотеки, эсперанто, международную переписку ученых и обеспечение жильем бедноты. Самым одиозным его деянием была публикация статьи *The Maiden Tribute of Modern Babylon* («Дань деvy современного Вавилона»), в которой он описал, как купил за 5 фунтов тринадцатилетнюю девочку с тем, чтобы заострить внимание общественности на проблеме детской проституции. Его статьи вызывали сенсации. Его даже привлекли к судебной ответственности и посадили в тюрьму, обвинив в «похищении другого лица». Правда, громкое дело привело к тому, что была принята поправка, повышающая возраст «взаимного согласия» с тринадцати до шестнадцати лет.

В 1889 году Сед посетил Россию, интервьюировал Александра III и стал поборником англо-российского альянса, пропагандистом России и всего, что связано с этой страной. Он организовал кампанию за строительство большого военно-морского флота по подсказке своего друга адмирала Фишера, сотрудничал с генералом Бутом в написании книги *In Darkest England* («В потемках Англии»), помогал Сесилу Родсу в создании Имперской федерации и союза англоязычного мира. Замыслив реформировать Чикаго после посещения города в 1893 году, он вскрыл все язвы и изложил план его возрождения в книге *If Christ Came to Chicago* («Если бы Иисус Христос побывал в Чикаго»), организовав Гражданскую федерацию, в которую вошли вожди трудящихся и госпожа Поттер Палмер, для реализации проекта. Во время визита Сед разговаривал с губернатором Альтгелдлом и пригласил Филдена, одного из помилованных анархистов, выступить на митинге.

Во всех своих деяниях Стед исходил из веры в то, что человек обязан способствовать совершенствованию общества и распространению британского влияния. Он любил употреблять выражение «англичанин от Бога», подразумевая некое идеальное существо, исправляющее все ошибочное, плохое и вредное. Он часто оказывался на противоположных сторонах одной и той же проблемы, как это было и с ограничением вооружений, и со строительством большого флота, и его нередко обвиняли в неискренности, хотя в действительности в каждом отдельном случае его искренность была подлинной, хотя и ушлой.

В 1890 году он основал собственный журнал, ежемесячник «Обозрение обозрений», предназначая его для чтения во всем англоязычном мире подобно тому, как «люди читают Библию, чтобы познать волю Бога и осознать свой долг перед согражданами». В ежемесячном формате издание не могло служить серьезным политическим органом, и он обратился к миллионеру за содействием в превращении журнала в ежедневное обозрение, а будучи в Париже, заявил приятелю: «Я пришел в собор Парижской Богоматери, чтобы поговорить с Богом об этом».

Некоторые его недолюбливали. Но у него было много именитых друзей, таких как Родс и Фишер, Джеймс Брайс, кардинал Маннинг, лорд Эшер, лорд Милнер, госпожа Анни Безант и леди Уорик, устроившая для него ланч тет-а-тет с принцем Уэльским. Он брал интервью у монархов, министров, архиепископов и помогал всем «угнетенным расам, поруганным животным, обиженным мизерной зарплатой машинисткам, брошенным женщинам, гонимым пасторам, оскорбленным публичным деятелям, потенциальным самоубийцам, проповедникам всякого рода и бездетным родителям». Он был многоречив, а в роли лектора «проскакал почти по всему земному шару как на погостике». Помимо статей, редактирования, путешествий, интервью и лекций, он надиктовал 80 000 писем за двадцать два года руководства «Обозрением обозрений», в среднем по десять писем в день. Стед увлекался спиритуализмом и считал себя реинкарнацией Карла II, который в его лице теперь исправляет ошибки, допущенные в прошлой жизни на земле.

Он был низкорослый, имел всегда румяный и бодрый вид, у него были светло-голубые глаза, рыжеватая борода, и он всегда

предпочитал черному тонкому сукну с шелковистой отделкой грубый твид и мягкие фетровые шляпы. Стеду, в изобилии одаренному добросердечием, недоставало твердости суждений. Если бы он обладал этим качеством в такой же пропорции, как и другими свойствами ума и характера, то, как заметил лорд Милнер, «ему цены бы не было». Видя в нем, преувеличенно, все атрибуты англичанина современной эпохи, один американский журналист назвал его «совершеннейшим типом человека XIX столетия». Лорду Милнеру же он представлялся гибридом Дон Кихота и Ф. Т. Барнума<sup>[93]</sup>, что могло означать то же самое.

Поборник арбитража, Сед видел в нем путь к созданию международного учреждения правосудия и Соединенных Штатов Европы. Предваряя царя, он еще в 1894 году предложил, чтобы державы взяли на себя обязательство не увеличивать военные бюджеты до окончания столетия. Когда появилось российское предложение о созыве конференции, Сед развил бурную деятельность, признав ее главным делом своей жизни. Он решил совершить поездку в столицы, убеждать всех в искренности царя и организовать коллективную поддержку его инициативы. Тур предполагалось завершить встречей с царем, от которой его не смогло отговорить даже предупреждение принца Уэльского, переданное ему леди Уорик, о том, что молодой монарх, племянник жены, «слаб и бесхарактерен, и от него не будет ни малейшей пользы». По пути Сед планировал переговорить с папой, кайзером, президентом Франции и королем Бельгии Леопольдом, которого он собирался уговорить стать представителем малых государств. Сначала журналист нанес визит господину Бальфуру в Форин-офис, желая упредить возможность негативного преждевременного вмешательства. Министр искусно продемонстрировал свое умение иронизировать, а потом стал выговаривать, взяв назидательный тон. Он не может понять, почему Сед так легкомысленно относится к «возрастанию мощи России»: «Пока это не имеет особого значения. А что будет с нашими детьми? Каким станет мир, когда Россия обретет доминирующее влияние в Юго-Восточной Европе?» Тем не менее министр почему-то предпочел не препятствовать усилиям Сед.

Через месяц Сед отправился в путь. В Париже он не смог встретиться с президентом Феликсом Фором, хотя ему удалось

переговорить с Клемансо, который сказал лишь, что «ничего путного не выйдет из конференции», и до конца беседы оставался при этом мнении. Король Леопольд, кайзер и папа Лев XIII также не пожелали с ним встречаться. Но Николай II, помня об обещании, данном еще отцом Стеду десять лет назад, удостоил его не одной, а тремя аудиенциями. Императорское великодушие поразило Стеда. Журналист, не привыкший к придворным церемониям, посчитал обходительность свойством характера Николая II, хотя она была непременным атрибутом профессии монарха. Так или иначе, Сед решил сделать из него героя. Царь, сообщил он своим читателям, человек необычайно обаятельный, учтивый, обладающий живым и ясным умом, чувством юмора, чистосердечием, восхитительной скромностью, благородством, твердостью характера, великолепной памятью, исключительной способностью быстро схватывать суть проблемы, обширными познаниями и осведомленностью о невероятном многообразии фактов реальной действительности. Все эти качества исключительно важны для дела мира. Восхваления Стеда были настолько далеки от реальных намерений России, что поставили в неловкое положение самих русских министров, о чем стало известно и британскому правительству. Его статьи, однако, с восторгом читались активистами движения за мир. Вернувшись в Лондон, он начал издавать еженедельник *War Against War* («Война против войны»), организовал новую кампанию Международный крестовый поход за мир, убеждая общественность в том, что конференция непременно будет успешной.

Общественное мнение было далеко не едино в отношении к миру и войне. Если либералы – не все – разделяли энтузиазм Стеда, то консерваторам были совершенно чужды его мирные устремления. Многим из них, скорее, были присущи чувства, выраженные Уильямом Эрнестом Хенли: «Моя кровь бурлит жаждой битвы»<sup>38</sup>. Примерно то же самое в 1898 году говорил Ромен Роллан, ставший пацифистом: «Дайте мне битву!» Материализм, легкая жизнь, власть денег, умаление физической силы – все это вызывало отторжение и стремление к серьезным испытаниям, в поисках которых отправился молодой Теодор Рузвельт в Скалистые горы. Люди чувствовали тягу к проявлению благородства и отваги, находя такую возможность в преодолении опасностей, физическом противоборстве,



самопожертвовании и даже в гибели на поле боя. Журналист Генри Невинсон ощутил боевой дух<sup>39</sup>, когда послужил офицером волонтеров, ошеломив друзей-социалистов заявлением: «Я бы не хотел жить в мире без войн». Позднее он понял, что боевой дух у него возник отчасти вследствие незнания войны и отчасти под влиянием Киплинга и Хенли.

В некотором смысле Хенли был Стедом консерваторов, хотя ему не доставало стихийности и социального сознания Стёда. Ни один тевтонский оммаж высшей расе не может сравниться с панегириком Хенли «Англии, моей Англии», чья «покрытая броней рука» направляет судьбы смиренных, чье «могучее племя» не имеет себе равных в мире и чьи корабли «приводят в восторг буйное древнее море»:

Избранная дочь Господа,  
С древним мечом повенчанная.  
Слово грозное  
В песне твоих горнов,  
Англия!  
С небес трубят твои горны!

Это безумный патриотизм настроения души, а не человека. В таком же духе Альберт Беверидж наставлял американцев: «Мы нация завоевателей... Мы должны повиноваться зову нашей крови».

Подобные сантименты могли быть косвенным последствием самого судьбоносного после Колумба кругосветного вояжа Чарльза Дарвина на борту «Бигля». Изыскания Дарвина в «Происхождении видов», если применить их к человеческому сообществу, создают философский базис для теории о том, что воинственность – врожденное природное качество человека, как и любого живого существа. В войне выживает более сильная и совершенная раса, способствуя прогрессу цивилизации. Германские мыслители, историки, политики, военные теоретики, используя примеры выносливости мулов и свирепости бульдогов, превратили теорию в национальную догму. Хьюстон Стюарт Чемберлен, зять Вагнера, изложил свои расовые аргументы в труде *Foundations of the Nineteenth*

*Century* («Основы XIX века»), изданном на немецком языке и доказывавшем, что арийцы превосходят других людей силой духа и тела и наделены правом управлять всем миром. Трейчке, со своей стороны, утверждал, что война, очищая и объединяя великий народ, является истинным источником патриотизма. Она служит и средством оздоровления нации, придания ей новых сил. Мир вызывает стагнацию, упадок общества, и упования на мир не только нереалистичны, но и аморальны. Война как средство облагораживания нации, по словам генералов фон дер Гольца и Бернгарди, есть насущная необходимость. Более благородная, сильная и совершенная раса не только имеет право, но и должна управлять неполноценными народами, которыми оказывалось, по германским понятиям, все остальное население мира. Другие теоретики могли иметь в виду колонии. Дарвинизм стал «бременем Белого Человека». Империализм нуждался в моральном императиве.

Идеи Дарвина вдохновили и капитана Мэхэна. «Честное противоборство» между нациями – «естественная закономерность прогресса», писал он в одной из статей в 1897–1899 годах, указывая американцам их предназначение. Эта статья называлась «Моральный аспект войны». В другой статье – «Взгляд на XX век» – он заявлял, что «нет ничего более опасного для нашей расы», чем современная тенденция не признавать в военной профессии – в войне – источник «героического идеала». В частном письме он утверждал: «Плохо, если цивилизованные нации перестанут готовиться к войне, а обратятся к средствам арбитража»<sup>40</sup>. Он был убежден в том, что великие дела в судьбе наций вершатся силой и войнами, а другие формы, как арбитраж, создают лишь иллюзии. Если подменить армии и флоты арбитражем, то европейская цивилизация не выживет, лишившись бойцовского духа и энергии. Все же Мэхэн верил в возможность совершенствования сознания человека в XX веке. Он говорил о позитивной роли силы с позиции веры в прогресс. Характер миропонимания Мэхэна нашел отражение на фотографии, где он представлен с женой и двумя взрослыми дочерьми. Мы видим четыре пары неподвижных глаз, смотрящих прямо в камеру; четыре прямых, как кили, носа; четыре твердо сжатых рта; строгие блузки, застегнутые на все пуговицы до самой шеи; шляпки на высоких копнах зачесанных вверх волос; все лица выражают непоколебимую уверенность в

«несомненности определенных данностей»<sup>41</sup>. Такие типажи вскоре исчезли так же, как и Рибблсдейл.

Необходимость борьбы провозглашалась многими деятелями: Анри Бергсоном в теории *élan vital*<sup>[94]</sup>, Бернардом Шоу – в концепции «жизненной силы», в магическом тарараме Ницше, вскоре заворожившем всю Европу. Ницше признавал ослабевающую роль религии в жизни людей, сформулировав свой вызов двумя словами «Бог умер». Взамен он предложил «сверхчеловека», но простому гражданину понятнее был «патриот». Вера в Бога улетучивалась под натиском науки, и любовь к родине начинала заполнять пустоты, образовывавшиеся в душах людей. Национализм набирал ту силу, которой раньше обладала религия. Если прежде человек мог пойти в бой за веру, то теперь он был готов отдать свою жизнь за отечество. Тема военного конфликта стала интересовать и поэтов. Йейтс, живший в 1895 году в Париже, однажды утром проснулся от жуткого видения

42.

Неведомые копья

Замелькали вдруг пред глазами, едва пробудившимися от сна,

Глухие удары о землю павших всадников и крики

Неведомых гибнущих армий зазвучали в ушах.

В том же году нечто подобное испытал и А. Э. Хаусмен:

У ручья, сбегавшего с кургана,

Прикорнув на теплом летнем пне,

Я слышал грохот барабана,

Будто он привиделся во сне.

То тихо, то громко, вблизи и вдали,

Отрада друзьям, а для пушек снедь,

По дорогам земли, в пыли

Солдаты шли на верную смерть...

Призывная песня горнов слышна,

Дудки им подпевают,  
Алым шеренгам смерть не страшна:  
Их еще нарожают.

Местом проведения конференции была избрана Гаага, столица небольшой нейтральной страны, а ее открытие назначили на 18 мая 1899 года. Уже предварительные приготовления разбредили прежние подозрения и раздоры, обострили новые разногласия. Только что закончили воевать Китай и Япония, Турция и Греция, Испания и Соединенные Штаты, но в любой момент могла начаться война Британии с Трансваалем. Голландия, принимающая сторона, поддерживавшая в то же время буров, чуть не сорвала конференцию, потребовав приглашений для Трансвааля и Оранжевого свободного государства. Турция возразила против участия Болгарии, а Италия пригрозила игнорировать ее, если участие Ватикана предполагает признание его как светской державы. Германия незамедлительно заподозрила, что Италия намеревается выйти из Тройственного союза, и пригрозила бойкотировать конференцию, если в ней не будет участвовать какая-либо из великих держав. Все эти проблемы были улажены, и правительства начали формировать делегации.

Подбор делегатов затруднялся неопределенностью главной проблемы: одних интересовало мирное разрешение конфликтов, других – методы ведения войны. Хотя арбитраж не упоминался в царском манифесте, о нем говорилось в циркулярной ноте Муравьева, и для общественности он сразу же стал самой популярной темой. Организация «Бостон пис крусейд»<sup>43</sup> в продолжение марта и апреля каждую неделю устраивала митинги, требуя, чтобы Соединенные Штаты добивались создания «постоянного трибунала XX века». Конгресс перессорился из-за разногласий по поводу мирного договора с Испанией, и Мак-Кинли предлагали назначить уполномоченным ректора Гарвардского университета Элиота<sup>44</sup>, полагая, что это поможет охладить антиимпериалистические настроения. Но Элиот казался Мак-Кинли человеком трудно управляемым, и президент предпочел Эндрю Уайта, бывшего ректора Корнелльского университета, теперь посла в Берлине. Бывший профессор истории, ставший дипломатом, отличался трудолюбием, возвышенными

помыслами и доверчивостью. В Гааге он вскоре подружился с герцогом Тетуаном, делегатом недавнего врага, Испании, разделяя с ним «увлеченность церковной архитектурой и органной музыкой». Помимо Уайта, делегатом на конференцию был также назначен капитан Мэхэн, которому надлежало отстаивать американские интересы и проявлять твердость убеждений и непреклонность. Появление его имени в списке делегатов вконец расстроило немцев и усугубило их неприязненное отношение к конференции. «Наш злейший и опаснейший враг»<sup>45</sup>, – заметил мрачно кайзер.

Американским делегатам поручалось прежде всего оспорить правомерность выдвижения проблемы разоружения в качестве начальной и главной темы международного форума. Ограничение вооружений «обсуждать бессмысленно», так как по уровню вооруженности Америка намного уступает европейским державам, и в этом отношении они должны проявлять инициативу. «Сомнительны» и ограничения разработок новых видов вооружений, поскольку вряд ли окажется «эффективным какое-либо международное соглашение по этой проблеме». Американские делегаты готовы были поддержать усилия, направленные на то, чтобы привнести больше гуманности в законы и обычаи войны и предложить проект создания третейского трибунала. Им наказывалось также внести предложение об иммунитете частной собственности от захвата в море, явно скоропалительное и чреватое непредвиденными осложнениями.

Франция направила главным делегатом бывшего премьера, сторонника арбитража в международных делах Леона Буржуа, чье премьерство в 1895–1896 годах прошло в неустанных попытках преодолеть оппозицию сената и ввести прогрессивный подоходный налог. Он чуть было не выиграл битву, но все-таки потерпел поражение. Дело Дрейфуса могло в любой момент свергнуть правительство в новый кризис и вернуть в офис Буржуа, и конференция в Гааге предоставила блестящую возможность для того, чтобы убрать его из Парижа. Один из политиков говорил о нем: «Дружелюбный, элегантный, красноречивый, очень гордился своей черной как смоль бородой и любил изрекать общеизвестные истины мягким, добродушным тоном»<sup>46</sup>.

Франция, испытывавшая в связи с делом Дрейфуса подъем патриотизма и оскорбленная тем, что Россия проигнорировала ее,

когда готовила свое предложение, относилась к конференции столь же настороженно, как и другие нации, и решительно настроилась на то, чтобы не соглашаться ни с какими фиксированными статус-кво. «Отказаться от войны – это значит предать свою страну»<sup>47</sup>, – так прокомментировал царский манифест один французский офицер. Госпожа Адам, подруга Гамбетты, жрица *revanche*, когда ее пригласили на лекцию Берты фон Зутнер, ответила: «Я? На лекцию о мире? Конечно, нет. Я за войну»<sup>48</sup>. Франция тем не менее послала в Гаагу, в дополнение к Буржуа, страстного проповедника мира барона д'Эстурнеля де Констана. Кадровый дипломат, служивший на этом поприще до возраста сорока трех лет и разочаровавшийся сферой международных отношений, в 1895 году подал в отставку, возмущившись тем, как незначительный инцидент чуть не привел к войне, занялся политикой, стал членом палаты депутатов и поборником мира. Барон, обладавший очень привлекательной внешностью и изысканными манерами, был украшением конференции и ярким представителем движения за мир.

Россия, инициатор, обеспечила конференцию председателем, поручив эту роль своему послу в Лондоне, барону Стаалю, симпатичному пожилому господину с длинными белыми бакенбардами, ходившему обычно в котелке с квадратным верхом. Принц Уэльский отзывался о нем как об «одном из достойнейших людей, когда-либо живших на этом свете... не сказавшем ни единого слова неправды» (качество, безусловно, похвальное, но малопригодное в профессии). Реальным главой российской делегации был Федор Мартенс, заслуженный профессор международного права Санкт-Петербургского университета, не позволявший никому забывать о его репутации ведущего юриста Европы в этой сфере. Витте называл его «человеком больших познаний», но не «слишком широкого кругозора». Будущий начальник генштаба полковник Жилинский был военным представителем.

С явным неудовольствием готовился к конференции граф Мюнстер, глава делегации Германии, германский посол в Париже, из мусорной корзины которого возникло дело Дрейфуса. «Сотрясать воздух – не самое благодарное занятие»<sup>49</sup>, – писал он приятелю. Ограничение вооружений – *ausgeschlossen*<sup>[95]</sup> (любимое немецкое словечко). Арбитраж важен, но достижение согласия вряд ли

возможно. Чтобы помочь России сохранить свое лицо, нельзя допустить полного фиаско конференции, и ее деятельности надо придать «видимость заботы о мире». Обходительный седовласый господин, которого Эндрю Уайт назвал «великолепным экземпляром» старомодного немецкого аристократа, одно время служил в Англии, женился на англичанке и любил, когда его принимали за английского джентльмена. Помимо военного и морского представителей, в германской делегации были еще двое правоведов – профессор Цорн из Университета Кёнигсберга и профессор барон фон Штенгель из Мюнхенского университета, успевший написать и опубликовать памфлет «Вечный мир»<sup>50</sup>, высмеивавший идеи предстоящей конференции и доказывавший неизбежность войн. Хотя Штенгель не высказал ничего нового, он исполнил свою роль столь по-немецки грубо и шумно, что кайзер не мог не обратить на него внимания. Стед, находившийся тогда в Берлине, выразил протест, Бюлов проямлил какие-то объяснения, германские сатирические газеты напечатали карикатуры, изображавшие Штенгеля быком в ложе из тюльпанов.

Конференция все-таки обладала некой магией, благодаря которой она и состоялась, несмотря на практически всеобщий негативный настрой, а Британия сделала ей подарок, прислав очень представительную делегацию. Ее возглавлял сэр Джулиан Понсфот, посол в Вашингтоне, автор первого в мире третейского договора, выдающийся пропагандист идеи посредничества и арбитража в международных спорах. Спокойный, крупный и тяжеловесный, державшийся всегда с достоинством и напоминавший повадками белого медведя, он совершал чудеса дипломатии, руководствуясь простым правилом: «Никогда не уступать и никогда не нападать»<sup>51</sup>. «Я с радостью открывал ему свою душу, – говорил госсекретарь Хей. – Он был воплощением честности и искренности». Его сопровождал недавний спикер палаты общин сэр Артур Пил, одним своим внушительным видом умевший утихомирить самых буйных членов парламента. «Когда Пил выходил из себя, – говорил о нем один из парламентских коллег, – то бушевал, как море в шторм»<sup>52</sup>. «Он мог терпеть зануд, но не переносил хамов любых сословий».

Военным и морским представителями правительства лорда Солсбери тоже были незаурядные личности. Генерал-майор сэр Джон Ардаг изучал древнееврейский язык и математику в Тринити-колледже

Дублина, затем сменил клерикальную службу на военную карьеру. Позднее он был наблюдателем во Франко-прусской и Русско-турецкой войнах, служил в Египте и Судане, а теперь возглавлял военную разведку.

Особая роль, очевидно, отводилась военно-морскому уполномоченному адмиралу сэру Джону Фишеру<sup>53</sup>, редкостному индивидуалисту, отличавшемуся независимостью характера, незаурядной энергией и импульсивностью. Все свои усилия адмирал направлял на возрождение британского морского могущества и модернизацию военно-морского флота. Другой его страстью были танцы, с равным удовольствием он исполнял матросский танец хорнпайп и вальс, предаваясь этому занятию при любой возможности и приглашая партнером другого офицера, если не имелось в наличии дам. Он не переносил лень и летаргию в любом виде, не терпел ссылки на то, что «так было раньше», искоренял все, что казалось ему устаревшим как в людях, так и в кораблях. Он на двадцать лет раньше других настоял на использовании нефти вместо угля. Фишер ввел изучение артиллерийского дела и двигателей вместо фехтования и такелажа, при нем на флоте появились крейсера, броненосцы и линейные корабли, понятие артиллерийско-технического обеспечения. Он же изобрел бронепоезд для перевозки десантировавшихся войск во время обстрела Александрии. Сэр Фишер был начальником торпедного училища, начальником отдела артиллерийского вооружения ВМС, суперинтендантом верфей, третьим морским лордом, инспектором ВМС, а в настоящее время занимал пост главнокомандующего Атлантической эскадрой.

Он родился в Малайе, и его гладко выбритое необычно плоское лицо давало повод врагам, которых было немало, делать намеки на азиатское происхождение адмирала. На флагманском корабле, когда он проносился по нему как пантера, содрогались шканцы и все матросы, стоявшие на них. При его появлении раздавался крик: «Берегись! Джеки идет» – и все замирали по стойке «смирно», провожая его настороженными взглядами. Ортодоксов его идеи либо ставили в тупик, либо приводили в бешенство. Когда он излагал суть своей новой программы, в его глазах возникал грозный блеск и значимость каждой фразы подчеркивалась ударом кулака в ладонь. В письмах он подчеркивал слова двумя, тремя и даже четырьмя линиями и



заканчивал требованием исполнить не просто «спешно!», а «чрезвычайно срочно!» или «сжечь!» Адмирал любил повторять максимуму Наполеона *J'ordonne ou je me tais* («Я отдаю команды или молчу»), однако ему не удавалось твердо придерживаться второй части правила.

В данный момент на случай войны с французами из-за Фашоды он задумал совершить морской рейд на остров Дьявола, похитить Дрейфуса и высадить его на берег Франции, чтобы привести в смятение армию и посеять раздоры. Одному из эсминцев адмирал присвоил девиз: *Ut Veniant Omnes* («Пусть они приходят»). В битве он руководствовался простыми принципами: «Не давать пощады, не брать пленных, пускать ко дну все и всех, не терять время на милосердие» и *Frappez vite et frappez fort, l'Audace, l'audace, toujours l'audace*<sup>[96]</sup>, однако они скорее имели моральное, а не тактическое назначение. Когда лорд Солсбери определил его военно-морским делегатом в Гааге, он заметил: у него нет сомнений в том, что Джеки Фишер будет сражаться и на мирной конференции. «Я так и поступал, – написал потом Фишер. – Но не ради мира».

Гаага была избрана очень удачно для международного форума<sup>54</sup>. Очарование «Хёйстен-Боса» («Дома в лесу»), летней резиденции династии Оранских, где предстояло проводить конференцию, приятная получасовая поездка от морского берега в Швенингене, где поселились многие делегаты, гостеприимство нидерландского правительства, доброжелательность местных жителей, великолепная летняя погода и цветущие поля – все это могло привести в благодушное настроение самого мрачного и циничного человека. По обочинам дорог мирно паслись тучные черно-белые коровы, в каналах отражалось безоблачное голубое небо, грациозно размахивали крыльями мельницы, над лугами плыли паруса судов, скрытых за высокой травой. Недавно еще тихий город, «изумительный пережиток старины», состоявший из кирпичных домов и булыжных мостовых, стал вдруг по-праздничному шумным. Отели украсились флагами наций – участниц форума, стекла окон засияли словно отполированные, входные ступени домов выскоблены, стены общественных зданий начищены до блеска. Гаага, обрадовавшись гостям, пробудилась от дремотного состояния XVII века подобно сказочной Спящей красавице.

«Хейстен-Бос», в прошлом королевский дворец с краснокирпичными стенами и окнами в белых рамах, располагался в парке на окраине города. Из его многочисленных окон открывался завораживающий вид на зеленые газоны, кусты роз, фонтаны и мраморные нимфы. В лесу, благодаря которому дворец и получил свое название, делегаты могли прогуливаться в перерывах между сессиями по тенистым буковым аллеям, слушая пение птиц и разглядывая их в листве.

Пленарные заседания проводились в центральном зале, занимавшем три этажа и декорированном золотистыми камчатыми полотнами и фресками, изображавшими триумфы статхаудеров на троне и в седле. С потолка купидоны, обнаженные Венеры и плотоядная смерть в виде скелета с косой посматривали на недавно расставленные столики, покрытые зеленым сукном, для 108 делегатов из 26 стран. В аудитории преобладали черные сюртуки, перемежавшиеся военными мундирами, но можно было увидеть и красные турецкие фески, и даже синий шелковый халат китайского делегата. Реальная работа конференции протекала в подкомитетах, которые собирались в небольших салонах, изобиловавших дельфтским и мейсенским фаянсом, китайскими обоями и бледными персидскими коврами. Каждый день голландцы потчевали гостей обильным ланчем с дорогими винами и сигарами, который устраивался в Белом обеденном зале под хрустальными люстрами. То, с каким вкусом, тактом и уважением организовывались все мероприятия, изысканность напитков, благолепие окружающей обстановки, вечерние балы и приемы постепенно растопили поначалу напряженную и настороженную атмосферу, в которой открывалась конференция.

Никогда еще не проводилась международная встреча «со столь малыми надеждами на позитивный результат», заявил по прибытии Эндрю Уайт. Профессор Моммзен из Германии, самый почитаемый историк своей эпохи, предсказал, что конференция войдет в летопись мира как «опечатка наборщика»<sup>55</sup>. Даже некоторые друзья баронессы фон Зутнер испытывали недоверие. Князь Сципион Боргезе, которого она пригласила в качестве наблюдателя, ответил вежливо: для него было бы очень заманчиво провести время с *un groupe du high-life pacifique*<sup>[97]</sup>, но, к сожалению, в мае он должен присутствовать на свадьбе сестры в глубинке Венгрии. Открывая конференцию, барон

Стааль говорил неуверенно, голос его то напрягался, то дрожал, к тому же он выронил деревянный молоток председателя, что сразу же было воспринято как плохое предзнаменование. «Прискорбное» русское невежество в парламентских процедурах и легкомысленное обращение председателя с правилами и предложениями, по мнению Эндрю Уайта, предвещали «хаос».

На конференции были сформированы три комиссии: по вооружениям, по законам ведения войны и по арбитражу. Председателем первой комиссии стал Огюст Бернаерт, главный делегат Бельгии и бывший премьер, которого король Леопольд II однажды назвал «величайшим циником королевства»<sup>56</sup>. Практичный политик на раннем этапе своей карьеры, он был правой рукой короля в его предприятии в Конго и укреплении бельгийских границ против возможного вторжения. Позднее Бернаерт переменялся, превратился в пацифиста и регулярного участника мирных конгрессов. Будучи председателем палаты депутатов в Бельгии, он все еще имел политическое влияние. Вторую комиссию возглавлял профессор Мартенс из России, третью – Леон Буржуа.

Делегаты понимали, что за ними будет следить весь мир глазами большой *groupe du high-life pacifique*, прибывшей в Гаагу в роли наблюдателей. Не рассчитывая на успех, организаторы решили проводить сессии за закрытыми дверями и не допускать на них прессу. Их замысел не удался: помешал вездесущий У. Т. Сед, корреспондент «Манчестер гардиан». Используя свою назойливость и многочисленные личные контакты, он публиковал ежедневную хронику с конференции на специальной полосе, отведенной для него ведущей газетой в Гааге «Дагблад». Его сообщения читали и делегаты, и другие корреспонденты, не имевшие иных источников, и пропагандисты мира, докладывавшие новости в свои сообщества на родине. Организаторам конференции пришлось открыть сессии и собрания для прессы.

Среди наблюдателей первенствовала баронесса фон Зутнер, выступавшая в роли корреспондента венской газеты «Нойе фрайе прессе». Уверовавшая в то, что 18 мая «войдет в историю как эпохальная дата», она развлекала делегатов чаем и душевными разговорами, советовалась относительно стратегии с д'Эстурнелем, Бернаертом и другими приятелями. Иван Блюх приехал из России с

чемоданами, набитыми экземплярами своей книги для распространения. Он устраивал лекции для публики, демонстрируя диапозитивы при помощи фонаря, и приемы для делегатов, сочетая щедрые угощения с показом картинок, схем и диаграмм, иллюстрирующих развитие вооружений. Доктор Бенджамин Трублад, квакерский секретарь Американского общества за мир, прибыл из Бостона; Шарль Рише, редактор «Научного обозрения» и директор Французского общества за мир, приехал из Парижа. Королева Румынии прислала поэму под псевдонимом Кармен Сильвы. Госпожа Зеленка из Мюнхена привезла пацифистскую петицию, подписанную женщинами, представлявшими восемнадцать стран. Конференция получила также бельгийскую петицию (100 000 подписей) и голландскую петицию (200 000 подписей). Эндрю Уайта засыпали «планами, схемами, мнениями, рецептами и панацеями всякого рода», памфлетами, книгами, письмами, проповедями, телеграммами, петициями, резолюциями, молитвами и благословениями. И все же среди откровенного вздора и благоглупости он уловил и «чувства, более искренние и широко распространенные, нежели я думал вначале».

В то же время графа Мюнстера вся эта затея возмущала. «На конференцию съехалась политическая шушера со всего мира<sup>57</sup>, – писал он Бюлову, – журналисты самого низкого свойства вроде Стеда, крещеные евреи вроде Блюха и фанатики мира женского пола вроде госпожи Зутнер... Весь этот сброд, поддерживаемый младотурками, армянами и социалистами, действует под эгидой России». Он считал Стеда «платным агентом России», а конференцию – заговором России, нацеленным на то, чтобы ликвидировать военное превосходство Германии. Однако даже в его отечестве встреча «сброта» в Гааге нашла отклик, когда комитет депутатов рейхстага<sup>58</sup>, профессоров и писателей выступил в поддержку целей и задач конференции. Хотя они и были против того, чтобы Германия утратила свои ведущие позиции, в их послании выражалась надежда на то, что конференция в какой-то степени поможет Европе освободиться от бремени вооружений и предотвратить возникновение войн.

Ощущая на себе внимание всего мира, делегаты начали испытывать возрастающее желание не разочаровать его. После двух недель заседаний, сообщал Понсфот, у них «появился интерес вопреки

намерениям». В некоторых даже проснулось стремление преуспеть вследствие *amour-propre*<sup>[98]</sup>, как у Карнебека, нидерландского делегата, или по каким-то иным причинам. Другие под впечатлением от встречи в одном месте представителей столь многих государств начали задумываться о создании «федерации наций Европы»: «Эти грезы зародились в Гааге. Европа должна выбирать – либо стремиться реализовать мечту, либо впасть в анархию».

Однако если обсуждение арбитража могло дать какие-то результаты, то переговоры об ограничении вооружений, военных бюджетов или создания новых видов оружия изначально были обречены на провал. Несмотря на отчаянные усилия российской делегации, поддержку малых государств и многих гражданских представителей, все предложения об ограничениях в сфере вооружений или мораториях отвергались военными делегатами главных держав как «непрактичные». Разногласия окончательно обнажились, когда полковник Жилинский из России предложил объявить пятилетний мораторий, призывая нации сбросить с себя бремя, лишаящее жизненных сил Европу. Не менее эмоционально выступил делегат Нидерландов генерал ден-Бер-Портюгал, красочно сравнивший государства с «альпинистами, привязанными друг к другу веревками военных обязательств» и упорно идущими к пропасти, в которую они непременно свалятся, если их вовремя не остановит «сила разума». Тогда поднялся германский военный делегат полковник фон Шварцкопф и охладил пылкое красноречие предыдущих ораторов железной немецкой логикой. Германский народ, сказал он, не «страдает от гнета военных расходов»: «Немцам не грозят истощение и разруха». Напротив, они процветают, возрастают их благосостояние и уровень жизни. Полковник Шварцкопф без колебаний возложил на Германию ответственность за отказ поддержать мораторий, избавив от этой неприятной обузы представителей других держав. Когда стало ясно, что Германия не согласится с мораторием и, соответственно, нет ни малейших шансов для его принятия, все другие делегаты с радостью проголосовали за то, чтобы передать предложение для дальнейшего рассмотрения в подкомитет. Таким образом, объяснял сэр Джон Фишер своему правительству, нам удалось и не оскорбить чувства российской делегации, и не создать впечатления, будто Англия блокирует обсуждение их предложения.

В комитетах Фишер вел себя на удивление осмотрительно и благоразумно, но в неофициальной обстановке оставался самым собой. «Гуманизировать войну! – возмущался он. – Это все равно что гуманизировать ад!»<sup>59</sup> Его ответ одному «тупому ослу», рассуждавшему о необходимости «благоприличного, цивилизованного ведения войны и обеспечения военнопленных горячей водой и овсянкой», решили не публиковать. В книге автографов Стед он написал: «Превосходство британского военно-морского флота – наилучшая гарантия безопасности и мира во всем мире». В Швенингене Фишер жил в отеле «Курхаус»<sup>60</sup>, который, судя по его описаниям, ему понравился: «Какая здесь суматоха. Оркестр играет во время завтрака, ланча и обеда! Постоянно откуда-то прибывают огромные коробки, и портье носятся вокруг как белки. И железнодорожный вокзал, и телеграф, и почта в отеле!» Среди военноморских делегатов Фишер пользовался особым уважением, а когда посредине конференции его назначили главнокомандующим Средиземноморской эскадрой, это произвело огромное впечатление на всех иностранцев, включая баронессу фон Зутнер, которая очень сожалела, не увидев его на балу у господина Стааля, поскольку он был «одним из самых замечательных партнеров в танце». Его называли «танцующим адмиралом», и, без сомнения, он был самым обходительным джентльменом, и в Гааге, как писал Стед, «по популярности ему не было равных»<sup>61</sup>. Контакты с немцами убедили Фишера в том, что Германия, а не Франция будет оппонентом Британии. От немецкого военноморского делегата он узнал, что британские корабли в случае войны будут абсолютно бесполезны, так как немцы потопят их «ордами» торпедных катеров<sup>62</sup>.

Британия не возражала против ограничений в сфере военноморских сил, надеясь на то, что это позволит обуздать военноморские аппетиты Германии и сохранить статус-кво. Однако поддержка этих мер зависела от выработки адекватной формулы инспектирования и контроля, что, по сообщениям Фишера, было «абсолютно неосуществимо». Он считал несерьезным предположение российской делегации, что надо полагаться на добрую волю правительств. Россия, как заметил французский делегат, должна была с самого начала признаться в том, что ей нужны гарантии мира на три года. Немцы и в данном вопросе не желали разговаривать на темы ограничений, а

японцы, согласно британскому докладу, «будут готовы к этому только тогда, когда сравняются с другими великими морскими державами, иными словами, никогда».

Позицию Соединенных Штатов ясно выразил убежденный реалист капитан Мэхэн, если не на официальных встречах, то в частном порядке. Американское правительство, говорил он британцу, ни при каких обстоятельствах не будет даже обсуждать военноморские ограничения. Наоборот, предстоящая борьба за рынки Китая потребует «весьма существенного» увеличения американской эскадры в Тихом океане, что неизбежно затронет интересы по меньшей мере пяти держав. На каждой комиссии, при каждом обсуждении его мнение выражалось одним словом – «нет», и это было мнение не миротворца, а человека, готовящегося к войнам. Он был самым «серьезным и сосредоточенным из всех делегатов»<sup>63</sup>, написал один обозреватель.

Эта серьезность привела к тому, что он даже отверг традиционную позицию своего правительства в поддержку иммунитета частной собственности в морях. Такая политика устраивала Соединенные Штаты, когда они были слабые и нейтральные, теперь им это было только во вред, когда они стали великой державой. Право захвата является неотъемлемой составной частью морского могущества, особенно если идет речь о могуществе Британии, с которой, как полагал Мэхэн, Соединенные Штаты имеют общие интересы. Он уже думал о правах нации не нейтральной, а воинственной.

Когда Уайт попытался обозначить проблему, следуя инструкциям, Фишер дал Мэхэну аргументы для возражений<sup>64</sup>. Он привел в пример уголь нейтральных стран: «Вы скажете мне, что я не должен захватывать нейтральных угольщиков. А я скажу вам, что никто и никакая сила на земле не запретят мне захватывать их или пускать ко дну, если у меня нет иных средств для того, чтобы не позволить этому углю попасть в руки врага». Германия, руководствуясь, правда, другими причинами, поддержала американское предложение об иммунитете собственности от захвата. Граф Мюнстер первый раз получил реальную возможность согласиться хоть с чем-то и употребить «все наше влияние в поддержку этого важного принципа», и Бюлов был рад выступить в поддержку мер, столь очевидно

совпадавших с принципами гуманности. Но их порыв осадил военно-морской делегат капитан Зигель<sup>65</sup>, отличавшийся менталитетом шахматного игрока, прошедшего иезуитское обучение. Флот, указал он своему правительству, предназначен для защиты морской торговли своей страны. Если согласиться с иммунитетом частной собственности, то отпадет необходимость в военно-морских силах. Общественность будет требовать сокращения численности кораблей и откажется поддерживать в рейхстаге выделение ассигнований на ВМФ. Иными словами, капитан Зигель четко дал понять своим начальникам: если германский флот должен иметь *raison d'être*<sup>[99]</sup>, то частная собственность не может не подлежать захвату в морях.

Именно дискуссии такого рода больше всего привлекали участников конференции. Для них было интереснее обсуждать методы ведения войны, а не ее предотвращения. Как только возникал вопрос об ограничении или запрещении новых вооружений, военные и морские уполномоченные, столь же бдительные, как капитан Мэхэн, вставали на защиту свободы предпринимательства. Позволено было лишь рассмотреть с учетом перспектив инспектирования и контроля российское предложение о том, чтобы нации согласились «не преобразовывать кардинально огнестрельное оружие и не увеличивать его калибр в течение определенного периода времени». Сэр Джон Ардаг заметил, что невозможно проследить за тем, чтобы государство не создавало винтовки нового образца и не хранило их в арсеналах. Российский делегат Рафалович ответил с жаром, что за этим будут следить «общественное мнение и парламентские институты». С учетом характера государства, откуда прибыл делегат, его замечание не произвело никакого впечатления. Мэхэн изложил аналогичные возражения против предложений об ограничении калибра корабельных орудий, толщины брони и скорости снаряда. Любые формы международного контроля, заявил он, будут нарушением суверенитета страны, с чем все делегаты охотно согласились.

В ходе обсуждения вопроса о распространении правил Женевской конвенции 1868 года о деятельности Международного Красного Креста на военно-морские сражения возникла проблема спасения моряков на воде после боя. Именно тогда прозвучало язвительное заявление адмирала Фишера по поводу кормления военнопленных овсянкой. Когда дебаты закончились, глава комиссии подвел итоги:



«Благодаря твердой позиции и настойчивым усилиям сэра Джона Фишера все положения статей, могущие ограничить или помешать свободе действий воюющих сторон, были самым внимательным образом устранены».

Неприятный конфликт возник, когда обсуждалось право мирного населения на защиту от вооруженных интервентов. Ардаг предложил поправку: заменить понятие «либерти» в формулировке права гражданского населения защищаться на слово «долг», добавив, что «долг» мирных граждан защищать себя от интервентов «с применением всех легитимных средств оказания самого активного и патриотического сопротивления», чем вызвал горячее одобрение представителей малых государств. Резко возразил против поправки полковник Шварцкопф, его незамедлительно поддержали делегаты России. «Самым лучшим подтверждением необходимости в такой статье», сообщал Ардаг, служит «яростное сопротивление» германских и российских представителей, заблокировавших поправку. Затем этот комитет перешел к рассмотрению менее трудных проблем, таких как обращение со шпионами и военнопленными, запрещение ядов, предательство и плутовство, бомбардировка незащищенных городов, правила использования флагов перемирия, капитуляция, временное прекращение военных действий, оккупация вражеской территории.

В комитете по ограничению использования и создания новых вооружений сложилась совершенно тупиковая ситуация, и все с энтузиазмом занялись проблемой «дум-дум», пуль, способных разворачиваться в человеческом теле и наносить особенно тяжелые ранения. Это предоставляло делегатам возможность выступить наконец с запретительным предложением и несколько погасить антибританские настроения. Пули были созданы в Британии специально для борьбы с фанатичными племенами, их горячо отстаивал сэр Джон Ардаг в спорах практически со всеми делегатами, кроме американского военного атташе капитана Кроузера, чья страна собиралась применить их на Филиппинах<sup>66</sup>. Когда воюешь с дикарями, объяснял Ардаг своей аудитории, часто случается так, что «наши пули малого калибра могут несколько раз поразить их тела, оставив в них крохотные ровные дырки», и они снова идут в атаку. Надо было изобрести что-то более эффективное против них. «Цивилизованный солдат, когда получает пулю, понимает, что ранен и чем скорее ему

окажут помощь, тем больше у него шансов на выздоровление. Он лежит на носилках и ждет, когда его отнесут в полевой госпиталь, где обработают раны и перевяжут доктор или медик из общества Красного Креста согласно правилам, предписанным Женевской конвенцией».

«Фанатичный варвар, получив ранение, продолжает нападать, с копьем или мечом в руках, и, прежде чем вы сможете объяснить ему, что его поведение является грубым нарушением общепринятых норм, которых должен придерживаться раненый, он отрубит вам голову». Замысловатым языком сэр Джон Ардаг хотел объяснить, что война – это суровое испытание, и в более вежливой форме, чем Фишер, опроверг предположение, что она может быть цивилизованной. На делегатов его аргументы не произвели впечатления, и большинством голосов – 22 против 2 – они преодолели оппозицию Британии и Соединенных Штатов, запретив использовать пули «дум-дум».

Единодушие, хотя и обманчивое, было достигнуто по крайней мере по одной проблеме: сбрасыванию снарядов или взрывчатки с воздушных шаров. Дело это еще было малоизвестное и не испытанное, и практически все делегаты согласились с тем, чтобы запретить новшество, особенно этому рады были российские представители, которым совершенно не нравилась перспектива столкнуться с дополнительной военной угрозой. Полковник Жилинский чуть ли не жалостно заявил: «По мнению российского правительства, уже имеется достаточно средств для нанесения вреда противнику». Большинство делегатов были настроены против идеи ведения войны с воздуха и проголосовали за постоянное запрещение средств ведения такой войны. Комитет мог поздравить себя с серьезным успехом. Однако на следующем заседании капитан Кроузьер, посоветовавшись с капитаном Мэхэном и передумав, вдруг выдвинул возражения. Делегаты, заявил капитан, собираются навсегда запретить оружие, о котором не имеют никакого понятия. Новые разработки и изобретения позволят создать воздушные суда типа дирижаблей, снабженные двигателями: они смогут находиться над полем сражения и сыграть решающую роль в его исходе, сохранив жизни многих солдат и сократив продолжительность конфликта. Разве гуманно запрещать такие новшества? Вместо постоянного запрета капитан Кроузьер предложил пятилетний мораторий, по завершении

которого у всех будет более ясное представление о возможностях воздушных судов. Делегаты с ним согласились.

Для единодушного запрета использования удушающих газов не хватило одного голоса – капитана Мэхэна. Он упорно отказывался уступить, ссылаясь на то, что в Соединенных Штатах не принято «противодействовать изобретательной гениальности своих граждан, в том числе и в создании орудий и методов войны». Пока еще ничего не сделано в этом направлении, но, как считает Мэхэн, применение газа в меньшей степени негуманно и жестоко, чем использование субмарин, а их конференция не решилась запрещать. Игнорируя единичное возражение американца, делегаты приняли решение запретить удушающие газы.

В мире за пределами Гааги жизнь тоже не стояла на месте. В Пекине националисты под названием «праведные кулаки», или «боксеры», избивали иностранцев; в Южной Африке буры и британцы готовились к войне; американцы начали войну на Филиппинах; в Италии бунтовали рабочие; полиция открыла огонь и поубивала демонстрантов в Испании; парламентский кризис по поводу избирательных прав разразился в Бельгии. Повсюду обсуждалось нападение на президента Франции во время скачек в Отее. «Какая скука была бы в Европе, если бы не существовало Франции», – патриотично написал корреспондент газеты «Тан». Господин Буржуа поспешил домой, чтобы воспользоваться кризисной ситуацией, но решил не брать на себя обузу возглавлять правительство, и, как мрачно прокомментировал Жорес, «ангел арбитража<sup>67</sup> полетел обратно в Гаагу, чтобы вернуться, когда минуют опасные времена».

Делегаты, окруженные красотами «Хейстен-Боса», стали вдруг тревожиться по поводу негативного в целом финала конференции и неодобрительной реакции общественности, особенно социалистов, «блюстителей общественной совести»<sup>68</sup>. Если конференция завершится лишь помпезной церемонией и без практических результатов, то социалисты громогласно обвинят правительства в политической импотенции и объявят себя истинными радетьями человечества. Барон д'Эстурнель рассказывал, что, когда уезжал из Парижа, Жорес говорил ему<sup>69</sup>: «Действуйте, занимайтесь чем хотите в Гааге, но все ваши усилия будут напрасны. Вы ничего не достигнете, вас постигнет неудача, а выиграем мы». Все лето, как шутил один

делегат, социалисты вертелись возле Гааги, «как коты у клетки с птичками». В Амстердаме они устроили митинг, собрав на него три тысячи человек, чтобы разоблачить притворство правительств и заявить, будто действительный мир могут обеспечить лишь организованные массы, победившие капитализм.

«Почему никто не догадался написать на дверях конференции *Mene, Tekel, Upharsin?*»<sup>[100]</sup> – вопрошал анонимный корреспондент газеты «Тан». Понаблюдав за игрой детей голландских рыбаков и двумя улыбчивыми девочками-кокетками, проходившими мимо, он сделал грустное заключение: «Если это великое собрание не достигнет поставленной цели, то дурное соперничество государств когда-нибудь приведет к тому, что эти юные существа будут скошены как трава и миллионы их мертвых тел усеют поля сражений».

Все надежды теперь возлагались на комиссию по арбитражу. В ней заседали главные делегаты, представители великих держав: Понсфот, Уайт, Буржуа, Мюнстер, Стааль. Ее деятельность была в центре общественного интереса; члены комиссии, озабоченные повышенным вниманием общественности, трудились не покладая рук; дебаты были жаркими, как и эмоции. Британские, российские и американские делегаты предлагали свои проекты постоянного трибунала. За основу был принят план Понсфота. Граф Мюнстер, поддержанный парой профессоров, с самого начала заявил, что Германия отвергает арбитраж в любом виде. Вся эта идея – «вздорная» и «вредная» для Германии, сказал он Уайту, поскольку его страна, добавил граф без стеснения, «подготовлена к войне, как ни одна другая нация» и может провести мобилизацию за десять дней, быстрее, чем Франция и Россия или любое иное государство. Согласиться на арбитраж во время конфликта, который может привести к войне, означало бы дать время противникам подтянуться и ликвидировать мобилизационные преимущества Германии. «Верно, – написал кайзер на полях депеши Мюнстера. – В этом и заключается смысл всей этой мистификации»<sup>70</sup>.

Кайзер приходил в неистовство каждый раз, когда упоминали арбитраж, усматривая в нем вторжение в его суверенные права и заговор с целью лишить Германию преимуществ, достигнутых благодаря непревзойденной военной организации. Тем не менее комиссия, в которой особую активность проявляли Понсфот, Уайт и

Буржуа, упорно старалась разработать приемлемую форму трибунала. Гражданские делегаты пытались перебороть несговорчивость собственных правительств и военных коллег, которые и слышать не хотели о каких-либо принудительных принципах. Никто не желал поступиться ни йотой суверенности и ни единым часом мобилизационного преимущества, и временами казалось, что положение складывается безнадежное. Однажды, когда ветер подул с моря, баронесса фон Зутнер записала в дневнике: «На сердце у всех холод, — холодом сквозит из дребезжащих окон. Я продрогла до костей».

Но надо было успокоить общественность, и постепенно вырисовывалась схема трибунала, пока слабая и неясная. Любые попытки придать ему полномочия, затрагивавшие «чью-то честь или жизненно важные интересы», могли привести к полному краху. Австрийский делегат не возражал против учреждения трибунала, если он будет заниматься рассмотрением мелких споров, например, по поводу интерпретации роли почтовой или санитарной комиссии, но не более того. Балканские делегаты, представлявшие Румынию, Болгарию, Сербию и Грецию, спровоцировали скандал, пригрозив уехать, если сохранится статья, предусматривавшая «комиссии по расследованию». С невероятными трудностями постепенно формулировались статьи и процедуры — не все из них принимались единодушно.

Германия не соглашалась ни на какие условия. Представители других стран, которым в равной мере не нравилась идея трибунала, не желая показывать это, полагались на стабильно негативное голосование Мюнстера. Трибунал без участия в нем Германии, писал Уайт в отчаянии, мир воспримет «как фиаско конференции или фарс». Он каждодневно убеждал германских делегатов в том, что из-за их обструкции царь станет народным кумиром, а кайзер — объектом всеобщей ненависти. Они не могут допустить, чтобы их «благородный и талантливый» сюзерен оказался в таком положении. Он повторил слова, сказанные Жоресом д'Эстурнелю, и увидев, что они произвели некоторое впечатление, изложил их в письме Бюлову, а затем пересказал Стеду, предложив использовать историю «на всю катушку». Стед исполнил просьбу с таким рвением, что профессор Цорн пожаловался на «террор прессы Стеда — Зутнер» и предупредил

правительство: отказ от сотрудничества создает для Германии угрозу быть объявленной «единственным антагонистом мира». А германский посол в Санкт-Петербурге сообщил Бюлову: если конференция закончится ничем, то царь будет лично оскорблен и «возложит на нас ответственность за позорный провал».

Давление на Германию усиливалось<sup>71</sup>. Мюнстер все еще колебался, когда из Берлина пришла депеша, наставлявшая, что кайзер «твердо и окончательно» высказался против арбитража. В отчаянии Уайт уговорил Мюнстера послать в Берлин Цорна, а сам отправил Фредерика Хоуллза, секретаря американской делегации, с поручением лично изложить проблему кайзеру и его министрам. Назначенное на пятницу заседание арбитражной комиссии перенесли на понедельник в ожидании сообщений. Вернувшись в отель, Уайт встретил гостя, «самого лучшего из всех людей на свете», Томаса Б. Рида, чья «внушительность, сердечность и остроумие» помогли за душевными разговорами провести весь уик-энд.

В Берлине кайзер не принимал интервьюеров, но не мог проигнорировать сообщение Бюлова, который с сожалением констатировал, что на конференции идея арбитража стала «очень популярной», ее поддерживают британцы, итальянцы, американцы, даже русские, и Германия остается в одиночестве. На полях депеш кайзер с отвращением начеркал: «Я даю согласие на весь этот бред только ради того, чтобы царь сохранил свое реноме перед Европой, а в реальности я привык полагаться на Господа и мою острую саблю! И мне плевать на их решения»<sup>72</sup>.

По-видимому, все должным образом оценили великодушие его величества. До Гааги вести о том, что Германия подпишет соглашение об арбитраже, дошли через два дня. Наконец, конференция могла предъявить доказательства своей дееспособности, а перспектива ее осуждения за непродуктивность и триумфа социалистов отдалилась. Делегаты в едином порыве подготовили проект конвенции, состоявший из шестидесяти одной статьи, старательно удалив любые намеки на принуждение<sup>73</sup>. Они уже приготовились провести голосование в последнюю неделю работы конференции, как вдруг с возражениями выступили не кто-нибудь, а американцы. Делегаты были поражены. Явно обеспокоенный Уайт объявил, что американцы не могут подписаться под статьей 27, предложенной французами и

предусматривавшей, чтобы страны-подписанты считали своим «долгом» напоминать сторонам конфликта о существовании трибунала.

Виновником возникшего затруднения был капитан Мэхэн<sup>74</sup>, на которого косвенно повлиял Стед, вернее, его восторженные репортажи в «Манчестер гардиан», восхвалявшие арбитражную конвенцию как важнейший пацифистский инструмент, который в 1898 году мог быть использован европейскими державами для урегулирования конфликта между Испанией и Соединенными Штатами и помочь им избежать войны. Статья возмутила Мэхэна. В его представлении могло не состояться «честное столкновение». В его воображении возникал целый комплекс осложнений для Соединенных Штатов. Вызвав коллег-делегатов, он объяснил им, что статья 27 обяжет Соединенные Штаты вмешиваться в европейские дела, а европейские державы – в события на американском континенте, и если подписать документ, то сенат откажется ратифицировать положение о трибунале. Сбитые с толку логикой Мэхэна, ему подчинились и Уайт, и другие американские делегаты, хотя и перечеркивались результаты их многодневных дипломатических усилий. Возникла неприятная ситуация: если американцы не подпишут даже часть соглашения, то и другие делегаты могут отказаться участвовать в нем, и вся с таким трудом выстроенная конструкция рухнет. Уайт незамедлительно попытался уговорить французов снять статью 27 или по крайней мере сделать что-то с категорией «долга». Буржуа и д'Этурнель отказались менять что-либо. Над конференцией нависла угроза провала. Ее закрытие было назначено на 29 июля. Уайт лихорадочно искал возможности для компромисса. В последний момент американцы согласились поставить подпись с добавлением уточняющей фразы об отказе от любых обязательств «вторгаться, вмешиваться или вовлекаться» в европейскую политику. С такими почти адовыми муками арбитражная конвенция все-таки была принята в Гааге.

Общий итог конференции состоял из трех конвенций – об арбитраже, законах и обычаях сухопутной войны и распространении Женевских правил на морскую войну; трех деклараций – о запрещении сбрасывания метательных снарядов с воздушных шаров, использования удушающих газов и пуль, разворачивающихся или сплюсчивающихся в человеческом теле; шести «пожеланий» на

будущее и общей резолюции. В заключительном акте выражалось мнение участников конференции о том, что ограничение военных расходов и использования новых видов вооружений «в высшей степени желательно для морального и материального благосостояния человечества» и данная проблема должна стать предметом «дальнейшего изучения» государствами. Это все, что осталось от первоначального российского предложения, однако делегаты не собирались похоронить гаагскую идею международного сотрудничества. Несмотря на цинизм, многие из них считали, что совершили нечто очень важное в Гааге и основы партнерства, заложенные ими, не должны быть утеряны. Они отметили «пожелание» провести вторую конференцию когда-нибудь в будущем, хотя не всем понравился такой энтузиазм. Граф Мюнстер, уезжая, сказал, что не испытывает ни малейшего желания видеть, как «международные конференции разрастаются подобно огородным сорнякам».

Через три месяца после мирной конференции Британия начала войну в Южной Африке. Внимание общественности отвлекло дело Дрейфуса. Англо-бурская война явно не соответствовала «пожеланиям», высказанным в Гааге. Верх одерживали идеи капитана Мэхэна, о котором Эндрю Уайт сказал: «Когда он говорит, замирает эпоха».

К тому времени, когда в Гааге в 1907 году открылась вторая конференция, в мире произошли значимые события – война, революция, возникли новые альянсы, новые правительства, появились новые лидеры, а самое главное – началось новое столетие. XX век, безусловно, казался обновленным, преобладал материализм, о декадентстве позабыли, меньше стало самоуверенности, зародились сомнения. Производилось много механической энергии и товаров; насколько это повышало благосостояние, сказать трудно. Прогресс, характерная особенность XIX века, не был столь очевиден.

Люди испытывали благоговейный страх в ожидании наступления нового столетия, как будто чувствовали, что Бог собирается перевернуть страницу в судьбе человечества<sup>75</sup>. В Берлине в полночь прогремел пушечный залп. Одну впечатлительную даму, слышавшую залп, охватила нервная дрожь при мысли о смене веков и приходе



нового столетия, пугавшего неизвестностью: «С прошлым все было ясно, а что принесет новый век?»

А он начинался с насилия: Боксерское восстание в Китае, кровопролитие на Филиппинах, в Южной Африке, хотя пока все это происходило на периферии. Но в 1900 году и Франция была настолько раздражена, что, как писал «Панч», могла объявить войну Англии сразу же после закрытия Всемирной выставки: «они уже давно еле удерживались от прямого столкновения». В 1900 году кайзер отправил германские войска в Пекин покарать ихэтуаней. В процессе Боксерского восстания ему пришлось пережить неприятности, связанные с военным бизнесом. Узнав, что германская канонерка получила семнадцать повреждений во время сражения с китайскими фортами, оснащенными орудиями Круппа новейшего образца, он отправил Фрицу Круппу гневную телеграмму: «Когда я посылаю своих солдат сражаться с желтым зверьем, недостойно извлекать выгоду из такой непростой ситуации»<sup>76</sup>.

Деньги и амбиции правили балом. Морган в 1900 году перекупил Карнеги и сформировал вместе с Рокфеллером и сотней других компаний гигантскую корпорацию «Ю.С. стил», первый в мире холдинг с миллиардными активами. Леопольд, король Бельгии, европейский «Морган», посчитав свою страну слишком маленькой для бизнеса, создал из Конго прибыльную империю, что вызвало осуждение со стороны британцев и американцев, убивавших в это время буров и филиппинцев. Три сотни человек, «прекрасно знавших друг друга, держали в своих руках экономическую судьбу континента»<sup>77</sup>.

В 1900 году в Париже умер обрюзгшим 44-летним развалиной Оскар Уайльд, а в Веймаре скончался 45-летний безумец Ницше. «Тогда в 1900 году, – написал Уильям Батлер Йейтс, – никто не хотел идти по его стопам; никто не сошел с ума; никто не покончил жизнь самоубийством; никто не пошел в католическую церковь, а если это и сделали, то я запомнил. Викторианство кануло в Лету»<sup>78</sup>. Некоторые приветствовали это, другие сожалели, но в закате Викторианской эпохи никто не сомневался. Как бы подтверждая данный факт, умерла и сама королева.

Казалось, 1900 год придавал миру новые силы и энергию. Генри Адамс обнаружил «закон ускорения» в истории. У него появилось

ощущение, что он не сможет проехать по Елисейским Полям без предчувствия несчастного случая или постоять рядом с государственным чиновником без такого же предчувствия взрыва бомбы<sup>79</sup>. Он предсказывал: «Если мир будет развиваться такими же темпами, то каждые десять лет мощность и количество бомб будут удваиваться... Энергия исходит из каждого атома... Человек больше не в состоянии ее удержать. Неведомые силы хватают его за руки, швыряют, словно он взялся за провод под напряжением или пытается остановить отъехавший автомобиль».

Адамс выбрал удачное сравнение, поскольку автомобиль был одним из двух самых знаменательных факторов будущих социальных перемен; другим фактором оказалось обнаружение бессознательного в поведении человека. Его описал в 1900 году в книге «Толкование сновидений» Зигмунд Фрейд. Хотя книга не вызвала особого интереса и шестьсот экземпляров продавались восемь лет, ее появление свидетельствовало о том, что Викторианская эпоха действительно завершена.

Всемирная выставка 1900 года, занявшая 277 акров в самом центре Парижа, продемонстрировала новые энергии нового столетия пятидесяти миллионам посетителей, побывавших на ней с апреля до ноября<sup>80</sup>. Если для предыдущей экспозиции французы соорудили Эйфелеву башню, то на этот раз они с таким же творческим вдохновением построили очередное чудо инженерного и технического искусства – мост Александра III с необычайно низким одним пролетом, перекинувшимся через Сену. Он был признан «бесподобным сооружением» такого типа во всем мире. Эксперты отметили «удобство и великолепие» двух постоянных выставочных зданий на правом берегу – Большого и Малого дворцов. Не очень понравился *Porte Monumentale* – главный вход на площади Согласия, построенный, как показалось одному знатоку, из дранки, гипса, битого стекла, шпатлевки, старых занавесок и клея. Его верх венчала не традиционная богиня прогресса или просвещения, а гипсовая фигура парижанки в вечернем платье, приветствовавшая весь мир распростертыми руками. Хотя он выглядел нарядным, многие расценили его образцом пошлости и вульгарности нового столетия. Разноцветные электрические лампочки освещали по ночам фонтаны, открылась первая линия метро, на дополнительной площадке в

Венсенне был сооружен трек для автомобильных испытаний и гонок. Но из всех чудес публике особенно полюбился *trottoir roulant*, сдвоенный движущийся тротуар, одна половина которого двигалась вдвое быстрее, чем другая. Во временных зданиях архитекторы постарались произвести сенсации оригинальностью, которая одних приводила в восторг, а других коробила «оргией отделочной гипсовой штукатурки». Во дворцах машин, электричества, гражданского строительства и транспорта, горного дела и металлургии, химической и текстильной промышленности экспонировались экстраординарные достижения последнего десятилетия.

Из национальных экспозиций самым популярным был павильон России, экзотический византийский дворец, где можно было посмотреть Транссибирскую железную дорогу: посидеть в роскошном вагоне и «проехать» через всю Сибирь, разглядывая движущуюся панораму ландшафтов, деревень и городов. Вена представила фантазию из *Art Nouveau* – лепные балконы в виде извивающихся виноградных лоз и растительные волнистые линии нового стиля в керамике и мебели. Соединенные Штаты выставили самое большое количество экспонатов, однако грандиозностью, качеством и организацией всех превзошли немцы. Они явно стремились затмить других участников выставки. Динамо-машины из Германии были самые большие, шпиль на германском павильоне был самый высокий, прожектор – самый яркий, ресторан – самый дорогой. По слухам, кайзер лично распорядился выделить лучший фарфор и серебро, тончайшую стеклянную посуду, обеспечить сервис самого высокого класса – чтобы все могли прочувствовать, как сказал один посетитель, настоящий стиль «Вильгельма Второго».

Среди отдельных экспонатов выделялись дальнотойное орудие «Шнейдер-Крезю» и скорострельные пулеметы «Виккерс-Максим». Посетители смотрели на них уважительно и задумчиво. Английского корреспондента потянуло на философствование о символическом значении выставки для столетия, пришествию которого она, собственно, и была посвящена. Ему показалось, будто громадное орудие Шнейдера взяло под прицел весь мир, представленный в Париже, демонстрируя, что война стала не только уделом драчунов, но и сферой науки, в которой человечество всю свою искусность и изобретательность направляет на производство вооружений. Если

когда-нибудь наступит покой, тогда, возможно, восторжествуют и другие отрасли искусства, но пока парижская выставка убеждает нас в том, что триумф современного мира – чисто машинно-технический.

И этот триумф подтверждался постоянно. В 1900 году Макс Планк разорвал цепи классической физики Ньютона, сформулировав квантовую теорию энергии. В 1905 году в Швейцарии Альберт Эйнштейн получил степень доктора наук, защитив в Университете Цюриха диссертацию о теории относительности. В 1901 году беспроводный телеграф связал континенты через Атлантику, а в 1903-м моторный управляемый летательный аппарат поднялся в воздух в Китти-Хоке. И все же для многих чудеса науки и техники, появлявшиеся почти ежедневно, предвещали не только угрозы, как для Генри Адамса, но и прогресс в сфере социальной справедливости. «Нам осталось подождать несколько десятилетий, когда будут преодолены последние рудименты зла и насилия», – оптимистично утверждал юный австрийский интеллектуал Стефан Цвейг<sup>81</sup>.

Морской закон, принятый в Германии в 1900 году, ускорил отказ Англии от политики изоляции. Он предусматривал строительство в ближайшие двадцать лет девятнадцати линкоров и двадцати трех крейсеров, что создавало угрозу британскому превосходству на море, первооснове существования Великобритании. Англия убедилась, что ей необходимы друзья. В 1901 году Хей и Понсфот подписали договор, обеспечивавший добрые отношения с Соединенными Штатами. В 1902 году с идеей изоляции, основанной на самодостаточности собственных сил, было покончено навсегда заключением альянса с Японией. В 1903 году новый король Эдуард VII подготовил почву для примирения с Францией, совершив визит в Париж. В 1904 году сформировалась англо-французская Антанта, отвергшая все прежние распри, установившая новые отношения дружбы и определившая баланс сил в Европе.

Одновременно в Англии решили привести свои материальные и физические силы в соответствие с новыми вызовами. Убедившись в том, что армия отстает от требований времени, Бальфур, теперь уже в роли премьер-министра, сформировал Комитет имперской обороны, который должен был выработать стратегию, реорганизовать и модернизировать вооруженные силы. В числе трех членов комитета он назначил сэра Джона Фишера и хотел попросить капитана Мэхэна

заменить лорда Актона на посту королевского профессора истории в Кембридже <sup>82</sup>, но король не согласился с ним, сославшись на то, что в стране имеется достаточно британских историков. Хотя король и не одобрил кандидатуру Мэхэна, то, что Бальфур обратил свое внимание на двух искушенных ветеранов Гааги, ясно указывало на характер его политических наклонностей. В 1904 году он назначил Фишера первым морским лордом. Новый военно-морской начальник уже вынашивал далеко идущие замыслы.

В этом же году России пришлось воевать с Японией, выдержать несколько разгромных кампаний, сдать Порт-Артур в январе 1905 года и потерпеть унижительное, но не решающее поражение при Мукдене в марте. Через три недели проблемы для Европы начались в Марокко.

Несмотря на возражения Германии, англо-французское соглашение признало Марокко сферой французского влияния. Теперь, когда Россия не могла прийти на помощь Франции, Бюлов и Гольштейн решили применить силу и выявить слабость альянса, в чем они были совершенно уверены. 31 марта 1905 года кайзер, нервничая, хотя и самонадеянно, нанес визит в Танжер, бросив вызов, смысл которого был ясен для всех наций. Европа содрогнулась, вызов подействовал. Он завершил дело, начатое телеграммой Крюгера, убедившей соседей Германии в серьезности ее воинственных намерений и необходимости предпринять меры, более существенные, нежели «сердечное согласие». «Сверните карту Европы», – сказал Питт в отчаянии девяносто девять лет назад после победы Наполеона при Аустерлице. Теперь Англия надумала «развернуть карту Европы». Она начала с Францией военные переговоры, имея в виду партнерство в вооружениях и, впервые после Ватерлоо, отправку экспедиционных сил на континент для оказания помощи вполне определенному союзнику против вполне определенного неприятеля.

В мае 1905 года российский балтийский флот <sup>[101]</sup> вступил в фатальное сражение в Цусимском проливе (это было первое в истории сражение крупных боевых кораблей в открытом море). Хотя российский флот был разгромлен, его поражением война не закончилась, и это доказало справедливость тезиса Блюха о том, что победы на поле боя не являются более решающими в войне против всех ресурсов нации. Победа Японии потрясла Старый Свет и послужила предостережением для Нового Света. Через три месяца

после Цусимы президент Соединенных Штатов предложил посредничество в переговорах между Россией и Японией, желая не столько спасти Россию, сколько сдержать Японию, которая, как ему казалось, зашла слишком далеко. Приняв предложение, в августе стороны встретились в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир, для переговоров о заключении мира под эгидой президента Соединенных Штатов. Это было знаменательное событие в истории Запада. Трудно представить себе, чтобы такую роль могли сыграть Мак-Кинли, Кливленд или Гаррисон. Наступило время для действия новых сил и новых личностей.

«Теодор! Несмотря на все твои недостатки...» – такой короткой фразой нью-йоркская газета «Сан» выразила свои президентские предпочтения на выборах в прошлом году. Ее кандидат, теперь президент, уже в полной мере управлял страной, преуспевающей и благоденствующей. Война с Испанией подстегнула промышленность, депрессия, безработица и трудовые конфликты девяностых годов остались позади, сытые желудки притупили неприятные воспоминания о классовых баталиях избирательной кампании Мак-Кинли – Брайана 1896 года. Прогрессисты, теперь новые левые, стали экспансионистами, верившими в то, что Америка должна идти «только вперед и подниматься все выше». Рузвельт возглавил марш, закончивший забастовку шахтеров, «взял» Панаму, начал строить канал, выступил против трестов, окрестил «макрейкерами», ворошителями грязи, журналистов-разоблачителей, выгнал кайзера из Венесуэлы, а когда подумал, что в Марокко бандиты похитили американского гражданина, послал американский флот освободить его, грозно потребовав (по словам Джона Хея) «живого Пердикариса или мертвого Райсули»<sup>[102]</sup>.

«Президент в прекрасном настроении, – говорил его приятель Жюль Жюссеран, французский посол. – Он всегда в прекрасном настроении»<sup>83</sup>. Рузвельт обладал и интеллектуальной энергией гейзера, и многими изъянами обыкновенного человека. Генеральному прокурору Филандеру Ноксу больше импонировало, чем не импонировало, то, как президент игнорировал его советы, и однажды заметил: «Да, господин президент, не надо портить такое великолепное деяние налетом законности». Элиот по-прежнему недолюбливал

Рузвельта, хотя, когда президент приехал в Кембридж в 1905 году на двадцать пятую встречу друзей, он почувствовал себя обязанным пригласить его в свой дом<sup>84</sup>. Рузвельт явился потный и, желая поскорее принять ванну, сбросил пиджак, скатал его и швырнул через всю спальню с такой силой, что с постели слетела подушка, затем вынул из кармана огромный револьвер и с грохотом бросил его на туалетный столик. Помывшись, он «сбежал вниз с такой быстротой, будто от этого зависела его жизнь». А когда Элиот спросил: «Не желаете ли вы теперь позавтракать вместе со мной?», Рузвельт ответил: «О нет, я обещал епископу Лоренсу позавтракать с ним – и, о Господи! – хлопнув себя по бедру правой рукой, вскричал: – Я забыл мой пистолет!» Найдя револьвер, президент Соединенных Штатов помчался к епископу, а президент Гарварда, ужаснувшись нарушению закона штата Массачусетс, запрещавшего ношение оружия, прошептал: «Какое беззаконие, очень непокорный человек».

Ношение револьвера, возможно, было менее безобидно, чем кредо «жизнь есть борьба». Никто не верил в эту догму столь горячо, как Рузвельт. Он презирал «глупейшую» теорию Толстого<sup>85</sup>, будто «люди никогда не должны воевать», и твердо считал: «Страна, потерявшая способность отстоять себя в реальной войне, непременно потеряет все». Его раздражало, когда поборники мира ставили прогресс цивилизации в зависимость от «ослабления бойцовского духа». По его мнению, слабость духа способствует тому, что менее развитые нации могут погубить более развитые нации. Он смешивал стремление к миру с физической трусостью и очень странно высказывался по этому поводу: «Я питаю отвращение к людям вроде (Эдварда Эверетта) Хейла и к газетам типа «Ивнинг пост» и «Нейшн», в которых ощущается абсолютный физический страх перед опасностями и трудностями и склонность к истеричному осуждению и боязни войны». Он порицал общую тенденцию «бесхарактерности, эгоистичности и роскоши, снижения стандартов» и в особенности ненавидел «антиимпериалистов». «Это мой человек!» – говорил кайзер каждый раз, когда упоминалось имя Рузвельта<sup>86</sup>.

Но никто так, как Рузвельт, не понимал значимости хороших отношений с прессой и общественностью. Когда барон д'Эстурнель приехал к нему в 1902 году упрашивать сделать что-нибудь для оживления третейского трибунала<sup>87</sup>, Рузвельт его внимательно

выслушал. «Вы и угроза, и надежда мира в зависимости от того, поддерживаете вы агрессию или арбитраж, – сказал д’Эстурнель. – В мире полагают, что вы на стороне насилия. Докажите обратное».

«Каким образом?» – спросил президент.

«Вдохните жизнь в Гаагский суд».

Рузвельт срочно поручил госсекретарю Хею изыскать проблему для арбитража, и Хей вспомнил о старом споре Соединенных Штатов и Мексики по поводу церковной собственности. Трибунал получил первое задание. Хей был госсекретарем во время Гаагской конференции, симпатизировал идее арбитража, искренне хотел повысить престиж трибунала и добился того, чтобы на его рассмотрение передать долги Венесуэлы. Опасаясь, что президент может согласиться на германское предложение выступить в роли единственного посредника, он ходил по комнате из угла в угол, повторяя: «Я все устроил. Я все устроил. Если бы Тедди промолчал до полудня завтра!»<sup>88</sup> Так и вышло, трибунал получил еще одно важное дело.

Арбитражные договора между отдельными странами постепенно внедрялись в международную практику. Англия и Франция заключили такое соглашение, создавая Антанту в 1904 году; подписали такой договор Норвегия и Швеция, когда Норвегия без единого выстрела стала независимым государством в 1905 году, событие, символизировавшее, что человечество действительно прогрессирует. Два других международных спора – между Россией и Англией по поводу отмени Доггер-банк и дело о долгах Венесуэлы – были переданы на рассмотрение третейского суда, что помогло и его сохранить, и ублажить общественное мнение. Идеи Гааги, похоже, давали свои плоды.

Летом 1904 года Межпарламентский союз, проводивший встречу на выставке в Сент-Луисе, принял резолюцию с обращением к президенту Соединенных Штатов созвать Вторую мирную конференцию для того, чтобы решить проблемы, отложенные на предыдущем форуме, и создать постоянный суд международного права. В Белом доме Рузвельт не отказался ознакомиться с резолюцией и встретиться с баронессой фон Зутнер, польщенной возможностью лично побеседовать с ним «по проблеме, столь близкой моему сердцу». Президент показался ей очень дружелюбным, искренним и



«со всей серьезностью отнесшимся к обсуждавшимся вопросам». Согласно ее дневнику, Рузвельт сказал: «Всеобщий мир грядет; без сомнения, грядет – шаг за шагом». Реплика – крайне маловероятная, показывающая лишь способность истинных верующих услышать то, что они хотят услышать.

Рузвельта привлекала мировая известность, и он подходил на роль инициатора мирной конференции не меньше, чем царь. Соответственно, Хей 21 октября 1904 года инструктировал американских послов предложить на местах желательность второй встречи в Гааге. То, что вторая конференция, как и первая, созывалась в военное время, видимо, не могло служить плохим предзнаменованием.

Нации согласились с предложением при условии, что конференция не должна быть созвана до окончания Русско-японской войны. Однако едва завершилась эта война, разразился кризис в Марокко. Снова президент Рузвельт сыграл решающую роль, используя свое влияние. На этот раз он смог убедить кайзера согласиться на международную конференцию по Марокко. Она действительно состоялась в январе 1906 года в Альхесирасе, в ней приняли участие Соединенные Штаты, но она принесла одни неприятности Германии, которая стала еще более воинственной, чем прежде. Международная напряженность не уменьшилась.

За три месяца до конференции в Альхесирасе, в октябре 1905 года, британцы заложили на стапелях киль «Дредноута Его Величества», первого корабля такого класса. Корабль со всеми орудиями был готов к испытаниям уже через один год и один день, построенный с беспрецедентной быстротой и в обстановке чрезвычайной секретности, что обеспечивало одно из самых главных военных преимуществ – фактор внезапности. Спроектированный Фишером, «Дредноут» был самым большим и скоростным линкором в мире, к тому же обладавшим самой большой огневой мощностью. Он имел водоизмещение 18 000 тонн, десять 12-дюймовых орудий и приводился в движение новыми паротурбинными двигателями. С его появлением устаревали все существовавшие флоты, в том числе и германские военно-морские силы. Британия продемонстрировала уверенность в своих силах и способность в кратчайший срок

модернизировать флот, а Германия теперь должна была догонять ее, углублять свои гавани и расширять Кильский канал.

Для Фишера, как и для Клемансо, существовал только один противник. В 1904 году полушутя он предложил королю Эдуарду «ископенгагенить» крепнувший германский флот<sup>89</sup>, то есть уничтожить, нанеся внезапный удар, на что ошеломленный монарх ответил: «О Господи, Фишер, вы с ума спятили!» В Киле в том же году кайзер удивил Бюлова, объяснив, что германский флот появился вследствие его детских восторженных впечатлений, полученных во время посещения британских кораблей «в компании добрых тетушек и дружелюбных адмиралов». Бюлов пробурчал: столь эмоциональное обоснование национального проекта, на который от народа требуют денег, вряд ли воодушевит рейхстаг на то, чтобы одобрить кредиты. «Ах да, этот чертов рейхстаг!» – ответил кайзер<sup>90</sup>.

Новые приглашения в Гаагу рассылались не Рузвельтом, а царем, решившим, что ему надо сохранить пальму первенства. Американская республика в последнее время заметно активизировалась. В сентябре 1905 года, закончив войну, он намекнул Вашингтону, что хотел бы сам созвать конференцию<sup>91</sup>. Рузвельт благосклонно согласился. Портсмутский договор, за который его вскоре удостоят Нобелевской премии, уже принес ему моральные дивиденды. «Я не особенно жажду прослыть профессиональным поборником мира... в стиле Годкина или Шурца», – писал он новому госсекретарю Элиу Руту<sup>[103]</sup>. Решение Рузвельта разочаровало миротворцев. Россия, как заметил один из них, «не относится к числу цивилизованных стран». Она еще раз подтвердила это во время революции 1905 года. Царь разрешил конституционный и парламентский кризис тем, что распустил Думу, возмутив всех либералов.

Сложившаяся обстановка мало благоприятствовала проведению мирной конференции, если бы не случилась смена правительства в Англии, где к власти пришли либералы, традиционно выступавшие за поддержание мира. Премьер-министром стал сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман, или К. – Б., как все его звали, круглоголовый шотландец, происходивший из богатой купеческой семьи и порицавшийся и при дворе, и в обществе за осуждение британских концлагерей в Англо-бурской войне как «варварского изобретения». Тем не менее король Эдуард, поближе узнавший его, обнаружил в нем человека, как и

обещал их общий приятель, «настолько прямодушного, добросердечного и обладавшего чувством юмора»<sup>92</sup>, что невозможно было не проникнуться к нему чувствами симпатии. Остроумный и тактичный К. – Б. покорила короля и житейской мудростью: двое джентльменов, схожих и во вкусах, скоро стали закадычными друзьями. Каждый год вместе они выезжали в Мариенбад на лечение. Оба любили Францию и поддерживали дружеские отношения с маркизом де Галифе. К немалому удивлению его величества, либерал К. – Б. «имел здравые представления о внешней политике». Он охотно ездил в Париж за покупками, ему нравились французская еда и французская литература. В числе избранных авторов был, конечно, Анатоль Франс.

Стародавний либерал имел естественную предрасположенность к разоружению<sup>[104]</sup>, и в первом выступлении на посту премьер-министра он, все-таки поспешно, заявил о намерении своей партии добиваться именно этой цели на предстоящей конференции, хотя царь, в отличие от приглашений 1898 года, не упомянул данную тему. Тем не менее К. – Б. смело взял на себя такое обязательство и призвал к созданию постоянного третейского суда. «Для великой страны разве может быть миссия более благородная, чем возглавить Лигу мира?»<sup>93</sup> – со значением спрашивал он аудиторию. Его устремления не совсем совпадали с политическими взглядами твердолобого блока, состоявшего из Асквита, Холдейна и Грея, либералов-империалистов, чье миролюбие было сомнительным. Проявив необычайное для семидесятилетнего человека упорство, К. – Б. успешно противостоял их попыткам вытеснить его в палату лордов, чтобы освободить место лидера палаты общин для Асквита. Он презирал их и одержал победу.

Вскоре извечная дилемма, с которой сталкивается всякая власть, встала и перед его правительством. После многих лет поношения консерваторов как поджигателей войны либералы оказались в положении партии, ответственной за безопасность страны. Хотя на выборах они и обязались добиваться снижения военных расходов, после того как избиратели доверили им правительство, у них пропало желание прекратить модернизацию вооруженных сил, начатую тори. К. – Б. обыкновенно называл членов комитета имперской обороны Фишера, лорда Эшера и сэра Джорджа Кларка (примерно в таком порядке) *Damnable, Domineering, Dictatorial* – «отвратительными

деспотами-диктаторами», но теперь он наследовал им, в том числе получив в наследство и программу дредноутов<sup>94</sup>. Холдейн, военный министр, сократил плановые расходы на 3 000 000 фунтов стерлингов и посредством реформ создал более эффективный род войск подобно тому, как это сделал Фишер на флоте. Он сформировал генеральный штаб и территориальные войска, резерв первой очереди сухопутных войск. При частных средних школах и университетах были образованы корпуса военной подготовки офицеров, обеспеченные вооружениями, амуницией и инструкторами. Молодежь откликнулась на новшество с энтузиазмом. Ей импонировали призывные звуки горнов и дудок. В основном возрастал класс офицеров. Набор солдат в территориальные войска после первых успешных лет сократился.

В 1906 году был спущен на воду «Дредноут Его Величества», странный триумф для либералов-миротворцев, а Фишер настаивал на строительстве еще трех в 1907 году. В случае отказа согласиться с ним он угрожал уйти в отставку и увести с собой еще троих членов совета адмиралтейства. Дилемма возникла болезненная, но разрешимая. Правительство предоставило Фишеру дредноуты и успокоило либеральную совесть, придумав аргумент, будто флот является средством обороны (сомнительный вывод).

Вновь нации начали готовиться к конференции в Гааге, хотя правительствам и не нравилась идея проекта. Весь 1906 год и половину 1907 года предпринимались попытки отложить дату ее открытия нескончаемыми и бессистемными диспутами по поводу повестки дня. Российская программа, распространенная в апреле 1906 года, предлагала обсудить арбитраж и законы ведения войны, намеренно игнорируя проблемы разоружения. После поражений за рубежом и внутренней революции российский режим хотел нарастить, а не сократить вооружения и созывал конференцию только ради того, чтобы перехватить инициативу у Соединенных Штатов. Извольский, министр иностранных дел России, считал проблему разоружения «маниакальной выдумкой евреев, социалистов и истеричных дам»<sup>95</sup>. Однако после прихода к власти либералов в Англии стало затруднительно обойти тему разоружения. Включить в повестку дня проблему, похороненную в 1899 году, было бы равносильно тому, чтобы поднять на ноги мертвеца, пренебречь ею означало бы вызвать

общественное недовольство и осуждение. На встрече Межпарламентского союза в Лондоне в апреле 1906 года К. – Б. призвал делегатов «во имя человечности» потребовать от своих правительств принять участие в конференции в Гааге с твердыми намерениями сократить военные и военно-морские бюджеты. Встречу в Лондоне омрачили печальные вести из России. В день ее открытия, когда делегаты собрались, чтобы поздравить новых членов парламента, поступили известия о том, что царь распустил Думу. К. – Б., выступавший с приветственной речью, был настолько шокирован, что не удержался и наградил решение императора такими словами: «В том или ином виде Дума возродится. От всей души мы можем лишь сказать: “Дума мертва; да здравствует Дума!”»<sup>96</sup> Его горячность вызвала протест российского правительства.

Кайзер, со своей стороны, дал понять, что если возникнет проблема разоружения, то его делегаты незамедлительно покинут конференцию, «которая, как он искренне надеется, все-таки не состоится»<sup>97</sup>. Его уже обругали у себя дома сторонники пангерманизма и партия кронпринца за то, что он уступил и не стал сражаться в Альхесирасе, а германские дипломаты намекали другим послам на возможность его низложения, если Германия согласится на какие-либо ограничения вооружений. Во время периодических визитов, совершавшихся королем Эдуардом в Германию вследствие монарших связей и заканчивавшихся по обыкновению катастрофическими последствиями, дядя и племянник обсуждали предстоящую конференцию с редкостным дружелюбием, так как по данной проблеме у них не было серьезных разногласий. Король «абсолютно не одобряет» конференцию, писал кайзер Рузвельту, и «по собственной инициативе сказал мне, что считает ее “пустым вздором”». Согласно его сообщению, король Эдуард сказал, что конференция не только бесполезна, поскольку в случае необходимости никого не заставишь выполнять ее решения, но и вредна, поскольку она вызовет больше раздоров, чем согласия.

Для Рузвельта было очевидно, что современная Германия, «настороженная, агрессивная, воинственная и индустриальная... не приемлет Гаагскую конференцию и ее идею»<sup>98</sup>. Тогда его тревожило лишь то, чтобы британское либеральное правительство не «поддалось плаксивым сентиментальностям на конференции в Гааге»<sup>99</sup>. Он

говорил новому британскому военному атташе графу Глейхену, кузену короля: Холдейн и Грей не должны позволить себе «увлечься сентиментальными идеями». Он опасался, что «партия может увести их в этом направлении... и этого нельзя допустить». Рузвельт говорил Глейхену больше об ограничении размеров линейных кораблей, а не бюджетов военно-морских сил. Он еще не знал, что его предложение ограничить водоизмещение 15 000 тонн устарело: в доке Портсмута уже находилась чудовищная громадина. Президент выразил пожелание, чтобы британские военно-морские силы сохраняли такое же положение по отношению к флотам Европы и Японии, как в настоящее время. Излагая послание королю, Глейхен добавил, что ланч в доме Рузвельта в Ойстер-Бей был «чрезвычайно скудным», их обслуживали два негра, на станции его никто не встретил, и ему был оказан в целом достаточно убогий прием.

После ввода в строй «Дредноута» американцы решили не отставать, и по запросу Рузвельта конгресс в январе 1907 года одобрил строительство двух кораблей нового класса. Военно-морской флот, писал он Элиоту, «важнее для поддержания мира, чем все миротворческие сообщества»<sup>100</sup>, а Панамский канал нужнее Гаагской конференции. «Меня больше всего беспокоят фантазеры, мечтающие совершить невозможные вещи», – добавлял Рузвельт.

Одним из таких фантазеров был Эндрю Карнеги, чья компания, проданная Моргану в 1900 году за 250 000 000 долларов в бондах, производила четверть всей стали в Соединенных Штатах или столько же, сколько выплавлялось во всей Англии. Менее стеснительный, чем Нобель, Карнеги теперь, пока еще был жив, посвящал все доходы на благо человечества. Он поддерживал библиотеки, которые должны были помочь человеку стать не только умнее, но и миролюбивее, и согласился на предложение Эндрю Уайта подарить дворец третейскому трибуналу в Гааге<sup>101</sup>.

Он без устали разъезжал между Белым домом и Уайтхоллом, стремясь оказать посильное содействие организации конференции, но Рузвельт потерял к ней интерес, после того как британцы отказались рассмотреть его предложение об ограничении размеров линейных кораблей. Однако Рузвельту удавалось избегать обязательств и говорить влиятельным журналистам то, что они хотели от него услышать. Он переписывался с монархами Германии и Англии,

называя их «мой дорогой император Вильгельм» и «мой дорогой король Эдуард».

К тому времени вряд ли кто-либо еще из государственных деятелей, кроме К. – Б. и госсекретаря Рута, желал, чтобы на конференции обсуждались проблемы разоружения. Рут считал, что их надо обсуждать, если даже ничего не будет достигнуто, поскольку нельзя получить результат, не испытав неудачи: «Неудачи неизбежны на пути к успеху»<sup>102</sup>. К. – Б. тоже был убежден в том, что всегда надо пытаться добиваться успеха. Бездетный, потерявший недавно жену и сам находившийся на пороге смерти, премьер-министр не прекращал усилий по пропаганде конференции. В марте 1907 года он предпринял действие, не свойственное премьер-министру: опубликовал статью по текущим вопросам политики. Под заголовком «Гаагская конференция и ограничение вооружений» она появилась в первом выпуске<sup>103</sup> нового либерального еженедельника «Нейшн» (в Лондоне). Хотя вооружений и орудий войны стало больше после первой конференции, писал он, выросло и движение за мир, «окрепло и приобрело стабильность». По его мнению, проблема разоружения должна получить такую же возможность для разрешения, как и арбитраж, «удостоившийся моральной поддержки, немислимой в 1898 году». Британия, указывал премьер-министр, уже сократила военные и военно-морские расходы (это действительно было так, если не учитывать программу строительства новых дредноутов) и готова пойти дальше, если ее примеру последуют другие нации. Безусловно, это не повлияло бы на военно-морское превосходство Британии, поскольку сохранилось бы статус-кво, но премьер-министр придерживался тезиса о том, что британский флот не представлял угрозы какому-либо государству или группе государств. Этот аргумент был корыстный, рассчитанный на успокоение либеральной совести и сознательное игнорирование политических реальностей, и вряд ли мог убедить кого-либо. В Германии его расценили как доказательство сговора Британии с Францией и Россией, имевшего целью заострить проблему в Гааге до того, как Германия сумеет наверстать преимущества «Дредноута». Бюлов публично заявил в рейхстаге, что Германия не намерена обсуждать проблемы разоружения на конференции. Короля Эдуарда раздражала увлеченность премьер-министра как разоружением, так и избирательными правами женщин. «Боюсь, что на следующей неделе

он выступит в поддержку билля о туннеле под Ла-Маншем!»<sup>104</sup> — сказал он с возмущением.

Сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел, был готов обсуждать в Гааге бюджетные ограничения<sup>105</sup>. Холдейн говорил американскому дипломату Генри Уайту о необходимости сокращения вооружений и в 1906 году ездил в Германию изучать обстановку для заключения соглашения. Но факт оставался фактом: ни британское правительство, ни какое-либо другое не собиралось ограничивать свободу своих действий в сфере вооружений. Единственным человеком, сообразившим упомянуть роль военных промышленников, — был король Италии. Он предупредил, что разоружение вызовет взрыв недовольства и оппозиции среди производителей военного имущества и оружия и кайзер никогда «не обрежет крылья Круппу». Когда профессор Мартенс объезжал столицы, изучая настроения, как это делал до него ныне покойный Муравьев, американский посол в Берлине сказал: «Сам Мартенс не верит и никто не верит даже в малейшую возможность продвижения по пути практического сокращения вооружений на следующей Гаагской конференции».

Дипломаты в частном порядке охотно делились мнениями, но проблемы мира совсем нелегко представить широкой общественности, особенно в Англии и Соединенных Штатах. Речь идет не о великой безмолвной и пассивной массе людей. Кому известно о том, какие мнения могут там зарождаться? Мнения в массах формируются обстоятельствами, и вероятнее всего страшными обстоятельствами войны, а не спокойными условиями мира. Мнение думающей публики — участников движения за мир в особенности — возмутится, если из программы Гаагской конференции будут исключены проблемы разоружения. На всех конгрессах мира, проводившихся ежегодно (в Глазго в 1901 году, в Монако — в 1902-м, в Руане и Гавре — в 1903-м, в Бостоне — в 1904-м, в Люцерне — в 1905-м и в Милане — в 1906-м), принимались резолюции, требовавшие от правительств предпринять серьезные усилия для достижения согласия по вооружениям. Баронесса фон Зутнер, удостоенная Нобелевской премии мира в 1905 году, и ее коллеги-миротворцы на ежегодных конференциях у озера Мохонк в Америке выступали с такими же страстными призывами. В 1907 году Джейн Аддамс опубликовала книгу «Новейшие идеалы



мира», вызвавшую неудовольствие Рузвельта, но внесшую весомый вклад во всеобщее движение за мир.

Карнеги, подхватив идею К. – Б. о Лиге мира или Лиге наций, решил, что самым подходящим человеком для ее учреждения является кайзер, поскольку «именно от него зависит, будет или не будет война на земле». Кайзер не раз приглашал его, так как любил миллионеров. И на этот раз Карнеги настроился на то, чтобы убедить его взять на себя такое обязательство<sup>106</sup>. В послании он заблаговременно объяснил, как кайзер войдет в историю «миротворцем», а в сопроводительном письме американскому послу добавил: «Кайзер и наш президент составят замечательную команду, если совместно выступят за торжество мира». Он прибыл в Киль в июне 1907 года, дважды обедал с кайзером и получил приглашение на третью аудиенцию – с общими результатами, напоминая интервью Стеда с царем и баронессы фон Зутнер с Рузвельтом. Карнеги отзывался о кайзере как о человеке «чудесном, ярком, обладающем чувством юмора и милой улыбкой»: «Думаю, ему можно доверять, и он – за мир... Очень обаятельный человек, очень; мне понравился». Оказавшись уже вдали от милой улыбки, Карнеги вспомнил о своей миссии и написал кайзеру, убеждая совершить великое деяние в Гааге и доказать всему человечеству, что он является «подлинным апостолом мира».

Слова и жесты подобного рода были присущи поборникам мира и вводили в заблуждение общественность. Политические лидеры сообщали публике только то, что казалось им благотворным и безвредным, а суровые реалии сохраняли для себя. Лишь один человек честно и открыто говорил о войне. Мэхэн, теперь адмирал, продолжал печатать статьи о свободном применении силы и в преддверии конференции – об опасности возрождения требований иммунитета частной собственности в морях. Военная сфера должна быть защищена от непрофессионалов. «Предубежденность общественного мнения в большинстве стран<sup>107</sup>, – писал он с тревогой Рузвельту после зарубежной поездки, – такова, что создается опасность неверного и поспешного толкования проблемы войны».

Именно предубежденность общественности вынуждала британское и американское правительства поддержать включение проблемы разоружения в программу конференции. Ни Грей, ни Рузвельт не верили в то, что дискуссии приведут к практическим

результатам, и в беседах с иностранными послами объясняли: им приходится настаивать на обсуждении этих проблем «ради общественного мнения». Германия, Австрия и Россия требовали исключить эти вопросы из дискуссий, опасаясь, что могут оказаться в ущербном положении. После долгих дипломатических переговоров о конференции объявили без упоминания проблем разоружения в повестке дня и со столь многочисленными оговорками, что создавалось впечатление, будто она сорвется, едва начавшись. Великобритания, Соединенные Штаты и Испания оговорили для себя право поставить вопрос о разоружении на обсуждение; Германия, Австрия и Россия настояли на праве воздержаться или не участвовать в обсуждении, если такие проблемы будут подняты; другие нации тоже выставили свои условия.

Отягощенные грузом проблем и противоречий, делегаты собрались в Гааге 15 июня 1907 года. Первое десятилетие нового века, а вернее, его первые три четверти были отмечены тремя факторами: экономическим подъемом, творческим динамизмом в искусстве и все более отчетливым «грохотом барабанов, звучащим словно во сне». Не все, но многие его слышали, хотя и без страха. В Германии на флоте офицеры по привычке поднимали бокалы «за победу»<sup>108</sup>. На курорте неподалеку от Байрёйта группа немецких студентов и молодых морских офицеров подружился с англичанином и «в самой дружеской и любовной манере обсуждали предстоящую войну между нашими двумя странами»<sup>109</sup>. Они спорили, что у каждой империи наступает «свой последний день». Придет и в Англию упадок, как это уже случилось с Испанией, Голландией и Францией. На трон воссядет сильная, умная, благородная и талантливая нация, чье развитие уже стало знаменательным событием XIX века и подготовило ее к «героическим предприятиям». И готова к ним не только Германия. Агрессивность, продемонстрированная Японией и Соединенными Штатами, убедила Европу в том, что между этими нациями неизбежно столкновение. После бури негодования, вызванного в Японии «Калифорнийским актом отчуждения», в это поверили и сами японцы, и американцы. «Дело идет к войне, – писал госсекретарь Рут. – Она случится не сейчас, а через несколько лет»<sup>110</sup>.

Эта перспектива воспринималась многими в правящем классе как объективная реальность, без трагедий. Лорд Лансдаун, выступавший

против билля о пенсиях по старости<sup>111</sup>, говорил в палате лордов, что этот закон потребует расходов, равноценных затратам на большую войну, и, по его мнению, лучшими инвестициями были вложения в Южно-африканскую войну. «Война ужасна, как и ее последствия, но она поднимает моральный дух в стране, а меры, подобные той, которая сейчас дебатруется, ослабляют его». Перспектива войны возмущала представителей рабочего класса, а насилие как таковое приветствовалось. Жорж Сорель в своих «Размышлениях о насилии» в 1908 году заявлял, что насилие, применяемое рабочим классом в интересах классовой борьбы, «является превосходным героическим деянием», цивилизационным реактивом, спасающим мир от варварства.

Вторая конференция была масштабнее, продолжительнее и насыщеннее результатами, чем первая. Она длилась четыре месяца, с июня до октября, вместо двух и приняла тринадцать конвенций, а не три, как предыдущая. Поскольку Соединенные Штаты настояли на участии латиноамериканских государств, несмотря на возражения европейских держав, в Гаагу приехали 256 представителей 44 наций (в первой конференции участвовали 108 делегатов из 26 стран). Ввиду многочисленности участников заседания проводились в Ридензаале, замке нидерландского парламента в центре Гааги, а не в загородном парковом дворце «Хейстен-Бос». На конференцию прибыли многие прежние делегаты, но немало участников первого форума 1899 года отсутствовало. Буржуа из Франции и Бернаерт из Бельгии снова возглавляли свои делегации, но не было ни Мюнстера, ни Понсфота, ни Стааля, которые к тому времени умерли. Не приехали Эндрю Уайт, Мэхэн и Фишер. Председательствовал снова российский представитель, господин Нелидов, престарелый дипломат с такими же манерами и голосом, как у предшественника, выражавшими неприязнь к тому, что ему приходилось делать. У него было неважное здоровье, и он поручал руководить российской делегацией напыщенному профессору Мартенсу, который сам страдал подагрой и часто уединялся в своей комнате. Российская делегация, похоже, не отличалась единством мнений: об этом свидетельствовало хотя бы то, что делегаты России остановились в разных отелях.

Барон д'Эстурнель, которого через два года удостоят Нобелевской премии вместе с Бернаертом, вновь представлял Францию, а профессор Цорн, желтушный и изможденный, – Германию. В числе новых лиц были граф Торниелли из Италии, чья супруга сидела рядом с президентом Лубе в тот злосчастный день покушения на ипподроме в Отее, и одиозный маркиз де Совераль, представлявший Португалию<sup>112</sup>. Близкий друг короля Эдуарда, он прослыл в Лондоне «голубой обезьяной»: маркиз умудрялся переспать со всеми самыми красивыми женщинами и все миловидные мужчины были его приятелями. Целая команда новых делегатов состояла из «безупречных денди» Латинской Америки.

Особенно ощущалось отсутствие Понсфота. Когда он умер в 1902 году, Рузвельт отправил его тело домой в Англию на крейсере, сказав: «Я делаю это не потому, что он посол, а потому, что он чертовски хороший парень»<sup>113</sup>. Его место занял судья сэр Эдуард Фрай, низкорослый и смиренный квакер восьмидесяти двух лет, хотя не настолько смиренный, чтобы уступить руководство британской делегацией коллеге сэру Эрнесту Сатоу, многоопытному дипломату, бывшему посланнику в Пекине, свободно говорившему по-французски, чем не мог похвастаться Фрай.

Доминировали на конференции делегаты Соединенных Штатов и Германии: Джозеф Ходжес Чот, семидесятипятилетний господин с белыми бакенбардами, казавшийся пришельцем из XIX века, и барон Маршалл фон Биберштейн, учтивая и любезная, очень современная личность. Он был всего лишь на десять лет моложе, но во всем выглядел человеком новой эпохи. Чот был добродушен и умен, славился как хороший рассказчик, служил послом в Англии с 1899 до 1905 года. По профессии он был юристом, и благодаря его блестящему выступлению в защиту прав собственности в Верховном суде в 1895 году подоходный налог не вводили еще восемнадцать лет. Он владел роскошным летним особняком в Стокбридже, построенным по проекту Станфорда Уайта. Его белая шевелюра, выбивавшаяся из-под глянцевого шелковой шляпы, стала самой заметной достопримечательностью на конференции.

На лице барона Маршалла, посла в Константинополе, дюжего господина с привлекательной внешностью и двумя дуэльными шрамами на щеке, всегда была «маска интеллектуального

высокомерия, означавшая презрение к человеческой глупости»<sup>114</sup>. Он любил играть в шахматы и музицировать на пианино, выращивать цветы и безостановочно курил тонкие сигареты, сбрасывая пепел с шелковых лацканов сюртука жестом, демонстрировавшим, что он с таким же пренебрежением относится ко всем проблемам. Барон презирал и общественное мнение, считая, что оно формируется газетами. Правительство, не умеющее держать в узде прессу, не стоит ломаного гроша. Самый лучший способ контролировать газеты – «не пускать в дверь журналистов». Не менее сурово он относился к коллегам-делегатам. Профессор Мартенс для него был «шарлатаном... не обладающим элементарной тактичностью». Барбаросу из Бразилии он считал «самым скучнейшим человеком», Фрая – «добрым старцем, не имеющим никакого представления о современной жизни». Но Торниелли отличался «мягким и мирным характером», и особенно барону нравился японец Цудзуки, «превосходный человек», учившийся в Германии, говоривший по-немецки и «испытывавший искреннюю преданность по отношению к его величеству». Российского военного делегата полковника Михельсона, назвавшего войну ужасным событием, которое необходимо предотвращать, барон обвинил в пустословии, простительном для баронессы фон Зутнер, но «скандальном» для полковника. Чота он назвал «самой выдающейся личностью» среди делегатов, обладавшей «необычайным интеллектом, глубокими юридическими познаниями и политическими способностями».

Барон Маршалл сам спровоцировал скандал, когда во время обсуждения предложения об ограничении минирования предостерег против принятия законов войны, которые могут оказаться бессмысленными под воздействием «законов реальной действительности». Его ремарка вызвала бурное комментирование в прессе, в том числе письменный ответ в «Таймс» поэта-лауреата. Альфред Остин написал, что слова Маршалла служат предупреждением о будущей германской агрессии<sup>115</sup>, которое должны взять на заметку все соседи – Голландия, Бельгия, Франция и Австрия. Британия тоже должна принять предупредительные меры, включая призыв на военную службу. Поэт-лауреат закончил письмо строкой из стихотворения своего предшественника лорда Теннисона: «Form! Form! Riflemen, Form!»<sup>[105]</sup>

Как и прежде, отовсюду в Гаагу понаехали поборники мира, включая Берту фон Зутнер и Стеда, который снова взял на себя роль независимого *rapporteur*, докладчика. Вновь он начал печатать хронику событий, информацию об участниках, дебатах и частных договоренностях, на этот раз в формате ежедневной газеты *Courrier de la Conférence* («Вестник конференции»). Блюх преставился еще в 1901 году, его место занял Эндрю Карнеги и заложил первый камень в фундамент нового Дворца мира, на сооружение которого пожертвовал 1 250 000 долларов. По общему согласию все нации-участницы должны были внести свой вклад в строительство дворца материалами, наилучшими в стране, с тем чтобы отразить «всемирную добрую волю и надежду». Как и прежде, социалисты, а теперь еще анархисты и сионисты устроили международные конгрессы в Амстердаме, чтобы привлечь и к себе внимание мировой общественности. Голландский пастор и пацифист Домела Ньивенхёйс<sup>116</sup>, умудрившийся совмещать анархизм с религией и в то же время сохранять чистосердечную искренность, страстно порицал Карнеги как «торговца смертью», строившего Дворец мира и принимавшего заказы на вооружения «даже от японцев», – обвинение верное в принципе, но опоздавшее по времени. «В случае объявления войны должны забастовать все трудящиеся независимо от национальности, и тогда войны не будет!» – провозглашал Ньивенхёйс.

Работа конференции, как и прежде, проходила в комиссиях: по арбитражу, по законам и обычаям сухопутной войны, по законам и обычаям морской войны и в дополнительной четвертой комиссии – по морскому праву. Буржуа и Бернаерт возглавляли первую и вторую комиссии, Торниелли – третью и Мартенс – четвертую. На открытии конференции приветственная речь Нелидова не произвела никакого впечатления. Первые дни атмосфера на заседаниях была мрачная, мероприятия организовывались хаотично, на пленарной сессии акустика была настолько неудовлетворительной, что делегаты не могли понять, на каком языке к ним обращался один из ораторов – по-английски или по-французски?

Британцы все-таки вынесли на обсуждение проблему разоружения то ли из хороших побуждений, то ли желая доказать общественности ее бесперспективность. Никто из делегатов не покинул зал в знак протеста, поскольку предварительные разъяснения

сэра Эдуарда Грея, хотя и туманные, создали впечатление, что эта тема не получит дальнейшего развития и не создаст неудобных осложнений. Проблему изложил сэр Эдуард Фрай<sup>117</sup>, описав возмутительное наращивание орудий смерти и предложив резолюцию, призывавшую «к последующему серьезному изучению» вопроса в том же неопределенном стиле, в каком она была представлена в 1899 году. Нелидов согласился: если ограничение вооружений не вызывало энтузиазма в 1899 году, оно еще менее актуально в 1907-м. Делегаты приняли резолюцию Фрая без голосования. Обсуждение проблемы заняло двадцать пять минут. Стед разразился гневной тирадой по поводу «постыдной и скандальной капитуляции», и даже госсекретарь Рут сделал вывод: инициатива Грея была лишь красивым жестом, предназначенным «для утешения британского общественного мнения».

Хотя миротворцы и приуныли после «похоронной речи», как назвал Маршалл выступление Фрая, и у журналистов пропал интерес, конференция все же приступила к серьезному рассмотрению проблем, связанных с законами и обычаями войны<sup>118</sup>. Делегаты почувствовали подлинную заинтересованность, когда начали обсуждать и готовить проекты документов по вопросам, имевшим прямое отношение к их профессии и присущим войне, как одной из привычных сфер жизнедеятельности человека: о правах и обязанностях нейтральных государств, о силовом взыскании международных договорных долговых обязательств, об открытии военных действий. Они проявляли гораздо больше рвения, чем на первой конференции, будто вопрос стоял не просто о войне, а о войне надвигающейся. Заседания комитетов созывались два раза в день, зачитывались пространные документы, выслушивались мнения и оценки экспертов, разрабатывались новые проекты, велись нескончаемые конфиденциальные переговоры в поисках компромиссов. «Со времени сдачи экзаменов на адвоката я не работал так много и напряженно, как в последние шесть недель», – сообщал Маршалл Бюлову.

Снова обсуждалась проблема сбрасывания метательных снарядов и взрывчатки с воздушных шаров, и делегаты, не желая создавать себе головную боль, продлили запрет еще на пять лет. Все согласилось с неприкосновенностью нейтральных территорий, что особенно интересовало бельгийцев, и была разработана конвенция из двадцати

пяти статей, устанавливавших соответствующие правила и процедуры. Необычные дискуссии разгорелись по поводу новой проблемы, возникшей вследствие предательского и внезапного нападения Японии на Россию в 1904 году. Они завершились принятием конвенции, запрещавшей открывать военные действия без предварительного неукоснительного предупреждения в форме объявления войны или ультиматума, сопровождаемого угрозой объявления войны. Другая конвенция из пятидесяти шести статей обновляла формулировки законов и обычаев сухопутной войны. По результатам венесуэльских событий 1902 года была принята конвенция, запрещавшая использование силы при взыскании международных долговых обязательств, кроме тех случаев, когда должник отказывается от арбитража. Этот документ свидетельствовал о значительном достижении в сфере международного права.

Ожесточенные дебаты разгорелись по вопросам морской войны, среди которых центральное место заняла проблема захвата коммерческих грузов. Британия была решительно настроена на то, чтобы сохранить за собой право захвата без каких-либо ограничений, считая его важнейшим средством блокады. Германия в равной мере стремилась к тому, чтобы ограничить это право международным призовым судом и другими инструментами вмешательства. С другой стороны, Германия отстаивала, а Британия желала ограничить право на использование субмарин и подводных контактных мин. В отличие от американской делегации, Грей перенял подход Мэхэна к проблеме иммунитета частной собственности. Он инструктировал своих делегатов в том плане, что Британия не может согласиться с принципом, «логически приводящим к аннулированию торговой блокады». Он использовал аргумент, который не мог прийти в голову даже Мэхэну. Британия не может согласиться ни с чем, писал он, что «снижает ответственность за войну устранением некоторых опасений, удерживающих общественность от ее допущения». В более простом варианте это означало: Британия не могла согласиться ни с чем, что, ограничивая вредоносность войны, могло побудить людей к тому, чтобы относиться к ней с меньшей озабоченностью. Британские либералы всегда должны были находить нравственные основания для оправдания политического своекорыстия, и эту практику довел до



совершенства и искусно, хотя и замысловато, применял сэр Эдуард Грей.

Восемь конвенций, относящихся к морской войне, устанавливали правила, права и ограничения в использовании средств причинения вреда противнику. Тринадцать статей запрещали применение подводных контактных мин, если они не обезвреживаются через час после установки. Еще тринадцать статей регулировали морскую бомбардировку береговых объектов. Пятьдесят семь статей определяли деятельность международной призовой палаты. Часть конвенций касалась прав захвата, сущности контрабанды, прав и обязанностей нейтралов в море, но формулировки были настолько неудовлетворительные, что все эти вопросы заново рассматривались на конференции морских держав в Лондоне на следующий год.

В сфере арбитража движущей силой были преимущественно американцы и их госсекретарь Рут, юрист по профессии, обеспечивавший идеями Чота. Рут намеревался трансформировать трибунал, учрежденный в 1899 году, из опционального органа для тяжущихся сторон, согласившихся на арбитраж, в постоянно действующий международный суд, состоящий из постоянных судей, разрешающих проблемы согласно международному праву «юридическими методами и с осознанием юридической ответственности». Президент Рузвельт поддерживал идею трибунала без твердой убежденности в его целесообразности, признавшись Руту во время работы конференции: «Я не слежу за событиями в Гааге»<sup>119</sup>. Со своим приятелем Шпеком фон Штернбергом, германским послом, он был более откровенным, как, впрочем, со всеми немцами. Рузвельт сказал Шпеку: он не проявляет интереса к дискуссиям в Гааге, поскольку испытывает отвращение к той белиберде, которую распространяют профессиональные поборники мира.

Американское предложение об учреждении постоянного международного суда натолкнулось на серьезную оппозицию, одним из препятствий стало бразильское контрпредложение, чтобы в нем были представлены все сорок четыре нации, участвующие в конференции. С другой стороны, для главных европейских держав, по словам одного комментатора, была омерзительна перспектива того, что решения за них будут принимать «разлагающиеся государства Востока

<sup>120</sup> вроде Турции или Персии... или юристы-полукровки из

Центральной или Южной Америки». Самая главная заковыка заключалась в том, что речь шла о принудительном арбитраже. «Окончательный ответ зависит от того, какую конференцию мы проводим в Гааге – за мир или за войну?» – писал Маршалл в Берлин<sup>121</sup>. Поскольку его страна отвергала идею принудительного арбитража, ответ, очевидно, ему был известен. Однако он не совершил ошибку своих предшественников и не замкнулся в изоляции. Напротив, как говорил Чот, германский дипломат демонстрировал приверженность принципу арбитража и блокировал любые практические меры. Конференция пыталась составить перечень безобидных проблем для принудительного третейского суда, которые ни у кого не вызывали бы возражений, но решение так и не было принято, когда против него проголосовали представители восьми государств. В результате была принята конвенция о мирном урегулировании международных споров, содержащая девятнадцать статей, из которых ни одна не соответствовала принудительному принципу. Международный суд так и не был учрежден.

Не сразу делегаты пришли к согласию и по другой проблеме – о созыве третьей конференции. Приверженцы Гааги верили в необходимость утвердить принцип взаимозависимости наций созданием постоянной международной организации и проведением регулярных форумов. Время, когда нации существовали как отдельные суверенные образования, давно миновало, и теперь, прежде чем разъехаться, они намеревались добиться гарантий, что такие встречи будут регулярными. Противники, которыми были главным образом представители европейских держав, не хотели, чтобы кто-то ограничивал их свободу действий и вторгался в суверенность принудительными методами мирного урегулирования. Они не желали давать обязательств в отношении созыва третьей конференции отчасти и по той причине, что на ее проведении настаивали американцы. Госсекретарь Рут, веривший в то, что последовательная цепочка неудач неизбежна на пути к успеху и встречи в Гааге дают определенные позитивные результаты, инструктировал Чота добиваться резолюции о созыве третьей конференции. Ему также поручалось перехватить инициативу и организацию форума у России. Чоту пришлось преодолевать сопротивление многих делегатов, в том числе и Нелидова, которого удалось сломать только угрозой предложить

резолюцию публично на пленарной сессии. В итоге делегаты приняли резолюцию, рекомендовавшую, что следующая конференция будет созвана «по истечении периода времени, аналогичного тому, которое миновало после предыдущей конференции», то есть через восемь лет.

Оценивая итоги конференции в письме Рузвельту, Рут особенно отмечал: в Гааге был сделан значительный шаг вперед в том, чтобы «практическое поведение наций в большей мере согласовывалось с их заявленным стремлением к миру». И это желание мира, похоже, было подлинным. Дважды оно заставило нации послать своих представителей в Гаагу. Дважды врожденное человеческое желание мира и покоя перебороло другие устремления. До нового международного порядка, в котором нации откажутся от свободы прибегать к насилию и войне ради безопасности в соответствии с принятыми законами и международным правом, было еще далеко. Прогресс, достигнутый в этом направлении в Гааге, как говорил потом Чот, был в силу обстоятельств «постепенный, робкий и деликатный»<sup>122</sup>.

Он надеялся продолжить движение вперед на следующей конференции в 1915 году.

## 6. «Неронство витает в воздухе».

### Германия: 1890—1914

На исходе века самым неординарным музыкантом, композитором и дирижером, отличавшимся дерзкой новизной форм и концепций, «музыкальным барометром нации» был Рихард Штраус. Каждое его новое произведение собирало полные залы публики, жаждущей возбуждающих эмоций, и критиков, вооруженных наточенными рапирами своей профессии. За десять лет – с 1889 по 1899 год, то есть в возрасте двадцати пяти – тридцати пяти лет, он создал шесть произведений: «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель», «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» и «Жизнь героя», являвших собой новую музыкальную форму или, по определению критиков, «бесформенность». Названные «тоновыми поэмами», эти композиции были скорее сжатыми операми без слов. На премьере «Дон Жуана» публика вызывала композитора пять раз, требуя снова и снова исполнить произведение. На премьере «Жизнь героя» эпизод, описывающий битву, вынуждал некоторых слушателей уйти из зала, а других – заставлял «содрогаться от возбуждения, вскакивать и бессознательно жестикулировать в неистовстве»<sup>1</sup>. Для одних Штраус был провокатором сенсаций, уродующим чистое музыкальное искусство, для других – пророком новой музыкальной эры и даже «творцом нового искусства», но для всех было ясно: он сохранил превосходство Германии в музыкальном искусстве, утвержденное Вагнером, – стал «Рихардом II».

В определенном смысле это обстоятельство превращало Штрауса в самую важную фигуру в культурной жизни Германии, поскольку музыка была единственной сферой, в которой иностранцы охотно признавали превосходство Германии, очевидное для самих немцев. Германскую *Kultur* немцы считали наследницей Греции и Рима, а себя – самыми просвещенными и цивилизованными из всех современных народов, хотя иностранцы почему-то не желали в полной мере осознавать этот факт. Помимо германских профессоров и философов, иностранцы чтили только Вагнера, и только Байрёйт и

«Фестшпильхауз» Вагнера привлекали иностранных визитеров. Париж оставался европейским центром искусств, развлечений и мод. Лондон подавал пример светского образа жизни. Рим славился памятниками Античности, и сама Италия притягивала путешественников своими красотами и ласковым солнцем. Новые течения и импульсы в литературе – натурализм, символизм, социальный нигилизм; шедевры великих мастеров – Толстого, Ибсена, Золя, Достоевского, Харди – все это создавалось за пределами Германии. В Англии после великой Викторианской эпохи появились новые таланты – Стивенсон, Уайльд и Шоу, Конрад, Уэллс, Киплинг и Йейтс. Россия подарила миру Чехова, непревзойденного рассказчика и знатока человеческих душ. Во Франции блистали живописцы. В Германии знали только одного художника – Макса Либермана, предводителя сецессиона, хотя раскольниковство увело его не далее поста президента Прусской академии искусств. В литературе пользовались известностью драматург Герхарт Гауптман, последователь Ибсена, и поэт Стефан Георге, последователь Бодлера и Малларме.

Но именно в музыке Германия дала человечеству величайших мастеров во главе с Вагнером, чья догма синтеза искусств стала культовой и с удовольствием перенималась иностранцами. Общества Вагнера, созданные во многих городах мира – от Санкт-Петербурга до Чикаго, выделяли средства для обустройства и содержания достойных залов для музыкальных драм маэстро, а «Байрёйтская идея» пустила корни за пределами границ Германии. Немцы были убеждены в том, что их превосходство в музыке сохранится вечно и его не сможет оспорить ни одна страна. Хотя многие из них, в том числе кайзер, питали отвращение к модернизму Штрауса, они боготворили его как еще одно доказательство превосходства германского музыкального искусства.

В каждом крупном германском городе и почти в каждой городке с достаточно значительным населением имелись оперный театр, концертный зал, музыкальная академия, оркестровое общество и музыкальный фереин того или иного свойства. Едва ли можно было найти немца, который не являлся бы членом хорового общества или инструментального ансамбля и не проводил бы вечера, учась играть кантаты Баха и успевая выпить несколько кружек пива. Во Франкфурте-на-Майне, сопоставимом по размерам и населению

(менее 200 000 человек в девяностые годы) с Гаагой, Ноттингемом или Миннеаполисом, действовали два музыкальных колледжа с великолепным преподавательским составом и учениками из многих стран мира, новый оперный театр, «один из самых чудесных в Европе», дававший представления шесть вечеров в неделю, Оркестр музейного общества (120 инструментов), выступавший с концертами симфонической и камерной музыки, два больших хоровых общества, которые тоже давали концерты, плюс бесчисленные сольные концерты гастрوليрующих музыкантов<sup>2</sup>. Аналогичная музыкальная жизнь протекала в Берлине, Мюнхене, Кёльне, Дрездене, Лейпциге, Штутгарте и других городах, часто устраивались музыкальные фестивали, длившиеся, как правило, неделю и посвящавшиеся определенному композитору, какому-то особому событию или юбилейной дате.

Сезоны в Байрёйте <sup>3</sup> после смерти Вагнера проводились в атмосфере обязательного благоговейного почитания. В кебе, отвозившем гостей в «Фестшпильхауз», на сиденье была приколата карточка с надписью «Историческое!», и это означало, что на нем восседал сам Мастер. Представления начинались с торжественного звучания труб, словно аудитории подавалась команда приготовиться к церемонии посвящения в мир Вагнера. В антракте публика набрасывалась на сосиски и пиво, затем снова звучали трубы, после второго действия эпизод с сосисками и пивом повторялся, как и после третьего акта. Правовверные поглощали произведения Мастера с таким блаженством, «будто они принимали Святое Причастие», отметил молодой Сибелиус, когда в 1894 году приезжал сюда набраться впечатлений и долго не мог отбыть обратно. Когда же в 1899 году в Байрёйте появился двадцатилетний Томас Бичем, он обнаружил трещину в монолите культа. Ворчуны заявляли об упадке фестиваля, выражали недовольство властвованием вдовы фрау Вагнер и требовали удалить сына Зигфрида с поста директора. Они утверждали, что управление некомпетентное и бездарное, исполнители слабые и постановки – низкопробные, а группа, преданная «Ванфриду», дому Вагнера, отвечала обвинениями в интригах и зависти.

Но теперь героем был Штраус, как он сам признался в этом, написав музыкальную пьесу о самом себе «Жизнь героя». Он был высок, шесть футов три дюйма, строен и широкоплеч. Штраус привык

к комфорту и дипломатическому стилю одежды. У него были холеные руки, мягкое, гладкое лицо, детский рот под льняными усами и шапкой вьющихся льняных волос, уже отступающих с высокого покато лба, и он не походил ни на Прометея, как Бетховен, ни на поэта, как Шуман, а был тем, кем он, собственно, всю жизнь и прожил — успешным и процветающим музыкантом. Его произведения исполнялись с того времени, когда ему едва исполнилось двенадцать лет, дирижировать его приглашали во все ведущие оркестры. Он держался с достоинством, сознавая свое превосходство, но его высокомерие было естественным, не оскорбительным, что всегда отличало баварца от пруссака.

Последний король Баварии Людвиг II, обожавший Вагнера и умерший в безумии, в 1866 году выступил в союзе с Австрией против Пруссии, и культура Мюнхена больше тяготела к Вене, а не к Берлину. Мюнхен поощрял искусства и считал себя современными Афинами, в отличие от спартанской Пруссии, где юнкеры, подобно древним прототипам, презирали и культуру, и комфорт. Баварцы, германские южане, преимущественно католики, не отказывали себе в жизненных удовольствиях, как физических, так и эстетических. В Мюнхене Стефан Георге усердно проповедовал культ *l'art pour l'art*<sup>[106]</sup> и в 1892 году начал издавать для преданных последователей обозрение *Blätter für die Kunst* («Листок для искусства»), в котором пытался найти немецкий ответ на проблемы искусства, души и стиля. Для любителей иронизировать и смеяться издавались сатирический журнал «Симплисиссимус», основанный в 1896 году, и его юмористический аналог *Lustige Blätter* («Веселый листок»). Большой популярностью пользовалось *Überbrettel* («Малая сцена»), сатирическое кабаре с кафе, где особенно любили насмеяться над Берлином и берлинцами.

Как уроженец Мюнхена, Штраус принадлежал к категории людей, с антипатией относившихся к Пруссии, но как немец с 1871 года, когда ему исполнилось семь лет, рос в атмосфере нового национализма Германской империи. Он родился в 1864 году, был на пять лет моложе кайзера, Дрейфуса и Теодора Рузвельта и воспитывался в семье, привыкшей сочетать наслаждение пивом и музыкой, этими двумя главными символами родного города, и именно в такой последовательности. Его дед был богатым владельцем пивоварен, чья музыкально одаренная дочь вышла замуж за Франца Штрауса,

который был первым валторнистом в Мюнхенском придворном оркестре и профессором Королевской музыкальной академии. Говорят, он был единственным человеком, которого действительно боялся Вагнер. Хотя Франц Штраус и исполнял музыку Вагнера «восхитительно», он ненавидел ее, и однажды недовольство требовательностью, которую музыка предъявляла его инструменту, привело к инциденту, лишившему Мастера дара речи. После этого перед репетицией «Мейстерзингера» Вагнер умолял дирижера Ханса Рихтера сыграть соло валторны, опасаясь, что Франц Штраус заявит о «непригодности» его музыки. Хотя Франц Штраус никогда не мог примириться с «диссонансами» и «отступлениями» сына от классических форм, сам Рихард Штраус играл на валторне лучше, чем на каком-либо другом инструменте, возможно, отдавая этим дань уважения человеку, который, когда его спросили – чем он докажет, что лучше всех владеет валторной, – ответил: «Я не доказываю, я признаю этот факт».

Родители начали давать ему музыкальное образование, посадив за фортепьяно в возрасте четырех лет, а когда ему исполнилось шесть, он уже сочинял композиции. Рихард мог читать и писать музыкальные ноты до того, как узнал алфавит. В школе он учился играть на скрипке, фортепьяно, изучал гармонию и контрапункт под руководством дирижера придворного оркестра. С «чрезвычайной живостью», которая будет присуща ему всю жизнь, Штраус тогда же сочинил целый каскад песен, инструментальных соло и сонат. Когда ему было двенадцать лет, он написал «Праздничный марш» (ор. 1), который был исполнен в школе, а позднее издан. Публичное исполнение собственных произведений на концертах началось с трех песен, когда ему было шестнадцать лет. Затем на концертах прозвучали «Струнный квартет ля мажор» (ор. 2)<sup>[107]</sup>, когда ему исполнилось семнадцать лет, и «Симфония ре минор» (ор. 3)<sup>[108]</sup> – ее сыграла в том же году Мюнхенская музыкальная академия «для очень восторженной аудитории». В восемнадцать лет Штраус написал сюиту, получившую высокую оценку, сопровождавшуюся заказом аналогичного произведения от Ханса фон Бюлова, руководителя герцогского оркестра Мейнингена и самого выдающегося дирижера своего времени. Мейнинген, руководимый Бюловым, был жемчужиной среди германских оркестров: исполнители знали свои партии наизусть и



стояли во время концерта как солисты. Штраус написал «Серенаду для тринадцати духовых инструментов», которую Бюлов пригласил его исполнить на дневном концерте без репетиции. Двадцатилетний композитор дирижировал в «состоянии легкой комы», ему еще никогда не приходилось делать это при большом стечении народа. Став протеже Бюлова, Рихард появлялся вместе с ним как сольный пианист на концертах Моцарта, и в возрасте двадцати одного года его назначили музыкальным директором Мейнингена, где он учился дирижировать уже под руководством прославленного мастера. В композициях Штраус в то время старался подражать Моцарту, и ранние квартеты и оркестровые пьесы, написанные до возраста двадцати одного года, преисполнены очарования и стиля классической традиции.

Музыкальный мир восьмидесятых годов разделился на две партийные группировки – классицизма и романтизма. Новые произведения оценивались не столько по музыкальным достоинствам, сколько по сообразности одному из этих двух направлений. Композиторы, критики, публика с азартом предавались ритуальным танцам вокруг двух тотемов – Брамса и Вагнера. Для своих поклонников Брамс, умерший в 1897 году, был последним великим классицистом, и Вагнера они называли антихристом, а Листа – вторым сатаной. «Листиши» – говорили они презрительно о приверженцах «сатаны». Вагнерианцы же считали Брамса «пресным» и «скованным традицией», и для них, естественно, собственный кумир был и пророком, и мессией, и Наполеоном музыки. Штраус как сын своего отца и последователь Моцарта был вначале противником Вагнера, но потом под влиянием Бюлова «перестроился». Даже совращение жены не омрачило восхищенное отношение Бюлова к операм соавтора. На Штрауса также повлияли проповеди Александра Риттера, первой скрипки в оркестре Мейнингена и к тому же супруга племянницы Вагнера. Он-то и убедил Штрауса в том, что *Zukunftsmusik* (музыка будущего) принадлежит наследникам Берлиоза, Листа и Вагнера. «Надо знать Брамса, – говорил он, – чтобы понимать – в нем ничего нет».

Влияние Риттера было подобно «штормовому ветру». К нему добавились впечатления от поездки в Италию, которая своим теплом и солнцем оказала на него такое же воздействие, как и на Ибсена, и на

всех других северян. Она вдохновила его написать *Aus Italien* («Из Италии»), первое сочинение новой музыкальной формы. Штраус назвал произведение «симфонической фантазией», разделив его на четыре части с описательными заголовками: «В Кампанье», «На римских развалинах», «На пляжах Сорренто», «Сцены народной жизни в Неаполе». Вторая часть имела и подзаголовок: «Фантастические картины исчезнувшего величия; ощущения меланхолии и великолепия среди солнечного бытия» с пометкой *allegro molto con brio*<sup>[109]</sup>, очень странной для передачи меланхолического настроения, хотя в дальнейшем для Штрауса будет более характерно *molto con brio*<sup>[110]</sup>.

В сочинении «Из Италии» Штраус продолжил то, на чем остановились Лист и Берлиоз. Они тоже экспериментировали с повествовательной и описательной музыкой, правда, в пределах традиционного стиля отображения темы и ее развития. Подобные эксперименты иногда приводили к появлению в программной музыке очень странных образов, как это, например, получилось у немецкого композитора И. И. Раффа. По замечанию одного критика, в финале его «Лесной симфонии» вечерние тени опускаются три раза<sup>4</sup>. Штраус избегал этих проблем, уходя от традиционных схем. Он описывал без развития, дразнил слушателя мимолетными впечатлениями, не предлагая развязки. В результате первое представление симфонии «Из Италии» в Мюнхене под управлением самого автора освистали, и публика испытывала «недоумение и возмущение».

Не желая отступать с избранного пути, Штраус затем написал оркестровое сочинение на сюжет Макбета, подобно тому, как Берлиоз использовал тему короля Лира, а Лист – Гамлета. Однако предметом его музыкального исследования стали не драматические события, а конфликты, происходящие в душе Макбета, отраженные богатейшей полифонией и избытком музыкальных идей, которые и принесут ему славу. Тем временем после ухода Бюлова Штраус получил назначение дирижером Мейнингенского оркестра, а в 1889 году переехал в Веймар, переняв дирижерский подиум у Листа, который тот занимал тридцать лет. Сочетая классику с «безумно модерновыми» сочинениями, включая еще не оцененные по достоинству симфонические поэмы Листа, он создавал оригинальные и увлекательные программы, собиравшие большие залы. В разговоре с

приятелем, отдававшим предпочтение Шуману и Брамсу, Штраус тогда сказал: «О! Они всего лишь имитаторы<sup>5</sup>, и о них забудут. Помимо Вагнера есть только еще один великий мастер, и это Лист».

11 ноября 1889 года в Веймаре Штраус дирижировал на премьере собственного «Дон Жуана». Его герой, по описанию Николауса Ленау, автора поэмы, положенной в основу сочинения, не «пылкий женолюб, вечно охотящийся за женщинами», а человек, «страждущий найти женщину, которая бы олицетворяла женственность и воплощала в себе всех женщин на земле, которыми он не может, каждой в отдельности, обладать. Поскольку он не находит такую женщину, хотя и меняет их одну за другой, то в нем возникает чувство отвращения ко всем, и это отвращение подпитывает сам дьявол».

Штраус взял на себя миссию заставить музыку исполнять совершенно немusикальную функцию: описывать характеры, эмоции, события, философии, чем обычно занимается литература. Он принуждал инструментальную музыку, не наделяя ее певцами и словами, играть роль оперы или, по определению Вагнера, «музыкальной драмы». Никто лучше Штрауса не мог справиться с этой задачей. Обладавший знаниями возможностей каждого инструмента, полученными на дирижерском подиуме, музыкальным талантом, идеями и необычайной техникой композиции, Штраус подобно укротителю зверей мог обучить музыку исполнять вещи, не свойственные ее природе. «Дон Жуан» состоял из семнадцати минут завораживающей музыки, в которой звучали и бурные всплески любовной страсти, и чудесная меланхолия гобоя, и неистовство кульминации, и странное дисsonирующее пение трубы о разочарованности в финале. Вызывали лишь некоторое чувство дискомфорта незавершенность тем и эпизодичность формы, поступившаяся музыкой ради повествовательности. Бюлов тем не менее заявил о «неслыханном успехе». Эдуард Ганслик, гуру музыкальной критики, сотрудничавший с «Нойе фрайе прессе» и другими газетами Вены и питавший неприязнь ко всему, что не было создано Брамсом или Шуманом, отверг сочинение Штрауса как «уродство», в котором нет ни мелодии, ни музыкальной идеи.

Междоусобица в музыке персонифицировалась в Ганслике, который тысячу раз использовал слово «уродство» в отношении Вагнера, пока Вагнер не прославил его на века в малоприятном образе

Бекмессера в «Мейстерзингере». Ганслик преследовал Брукнера, приверженца симфонического искусства Вагнера, с таким упорством и злобой, что, когда император Франц Иосиф удостоил композитора аудиенции и спросил – не может ли он быть чем-то полезен для него – Брукнер ответил: «Остановите Ганслика»<sup>6</sup>. Теперь у критика появилась новая мишень, и на каждое новое произведение Штрауса он обрушивал очередную порцию бранной инвективы.

Однако Штраусу это нисколько не мешало. Бюлов назвал его «Рихардом II», и на следующий год Штраус написал еще более выдающееся произведение – *Tod und Verklärung* («Смерть и просветление»). В этой симфонии переданы чувства умирающего человека, вспоминающего все свое существование – наивность детства, тяготы взрослой жизни, вплоть до смертной агонии. В финале раздается звучание «небесного пространства, разверзающегося, чтобы принять его и дать ему то, что он хотел найти на земле». Композитор полагался на идею, а не на литературный текст (хотя Александр Риттер сочинил поэму к этой музыке *ex post facto*), и это позволяло ему избегать спецификаций и предоставляло неограниченную свободу действий в выборе мелодий, охотно поддерживаемую превосходным оркестром. Штраусу тогда исполнилось двадцать пять лет, и на его фоне Лист уже казался любителем-дилетантом.

Штраус продолжал дирижировать, исполнять сочинения современников и создавать собственные произведения, написал свою первую оперу – «Гунтрам»: публика ее отвергла как имитацию Вагнера, пресытившись реальными шедеврами кумира. Штраус не был рьяным приверженцем кого-либо и с одинаковым энтузиазмом исполнял оперы «Гензель и Гретель» и «Тристан и Изольда»<sup>[111]</sup>. Когда Хумпердинк, никому не известный преподаватель Франкфуртской академии, прислал партитуру, Штраусу она понравилась, и он написал композитору: «Мой дорогой друг, вы великий мастер, подаривший нашей любимой Германии произведение, которого она вряд ли заслуживает». Исполнение оперы Штраусом в Веймаре в одночасье сделало Хумпердинка знаменитым, а вскоре и богатым.

В 1894 году Штраус переехал в Мюнхен дирижировать оркестром придворного оперного театра, а после смерти Бюлова руководил концертной программой Берлинской филармонии в зимний сезон 1894/95 года. В том же году его приглашали дирижировать в Байрёйте.

«Так молод, так современен и так замечательно дирижирует “Тангейзером”», – со вздохом написала Козима Вагнер<sup>7</sup>. Летнее время Штраус старался использовать для работы над собственными композициями. Лучше всего ему работается, как он говорил, когда светит солнце. Во время концертного сезона Штраус выступал приглашенным дирижером в городах Германии и разъезжал по Европе с Берлинской филармонией. В 1895–1899 годах он побывал в Мадриде и Барселоне, Милане, Париже, Цюрихе, Будапеште, Брюсселе и Льеже, Амстердаме, Лондоне и Москве. Его переполняла жажда деятельности. Однажды он дал тридцать один концерт за тридцать один день. На подиуме Штраус не устраивал шоу экстравагантной жестикуляции и мускулатуры, он просто отбивал уверенный и твердый такт, делал несколько резких угловатых телодвижений и обозначал крещендо, быстро сгибая коленные суставы. «Он дирижирует коленями», – говорил Григ. Штраус тиранил музыкантов, но был щедр на похвалу за хорошо исполненную сольную партию, даже самую короткую, и всегда сходил с подиума, чтобы пожать руку музыканту. Он не был более «застенчивым молодым человеком с большой головой и копной пышных волос», которого Сибелиус, студент, учившийся музыке в Берлине, видел среди публики, когда тот вставал, чтобы принять аплодисменты во время одного из ранних исполнений «Дон Жуана». Его шевелюра уже тогда начинала редеть, и сомнительно, чтобы он когда-либо проявлял застенчивость. А теперь, когда ему уже было за тридцать, а Бюлов покоился в могиле, его считали самым известным дирижером и композитором Германии.

Между 1895 и 1898 годами Штраус создал еще три произведения, поднявшие симфоническую поэму на новый уровень повествовательности и предметной изобразительности, дотоле неизвестный в музыкальном искусстве. Композитор ошеломлял полифонической усложненностью своей музыки, неразрешенностью диссонансов и в отдельных местах преднамеренно дерзкими и провокационными выходками.

Трудно найти более умное, комедийное, блистательное и удивительное музыкальное произведение, чем «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля». Озорной, мерцающий мотив валторны сопровождает средневекового народного героя, немецкого Пер Гюнта, во всех перипетиях жизни. При этом самые разные инструменты

отображают его приключения: как он проносится по ярмарке, раскидывая глиняные горшки и миски, как переодевается проповедником, как влюбляется и как завершает свой жизненный путь в суде, где продолжительная барабанная дробь провозглашает смертный приговор. Трепетные голоса кларнетов возвещают о неповиновении, и на виселице легкой трелью уносится последнее дыхание Тиля, когда ноги повисают в воздухе. Программные пометки Штрауса на этот раз достаточно конкретные. «Ужасный чертенок!» – написал он в одном месте. «Прыг! Верхом на лошади среди рыночных торговки», – еще одна пометка Штрауса. Или, например, такая: *Liebeglühend* («Сгорает от любви»). Мотив «Тиль» сразу же стал популярен, обаяв публику. Его музыка была переполнена волшебными трюками, как представление самого искусного фокусника. Если она и не волновала душу человека, то по крайней мере доставляла удовольствие. В ней воплощалось искрящееся воображение и непревзойденное мастерство. Не для Ганслика, конечно. Критик, используя терминологию ортодоксии, объявил произведение Штрауса «продуктом декаданса».

Затем, как бы подтверждая оценку Ганслика, Штраус заинтересовался не кем-нибудь, а Фридрихом Ницше, к 1896 году ставшим известным всему миру. Ведя отшельнический образ жизни, во всем разочаровавшись и затуманив сознание наркотиками в борьбе с бессонницей, этот другой немец написал труд о сверхчеловеке, изложив в нем идеи, которые долго будут будоражить соотечественников. Штраус тоже решил написать симфоническую поэму на основе сочинения Ницше «Так говорил Заратустра».

Концепция «правления самыми лучшими из людей», новой аристократией, которая поведет человечество на высшую ступень развития, идея совершенствования человеческого существа до уровня *Übermensch* («сверхчеловека») захватили воображение многих европейцев. Они пробуждали надежду на прогресс человечества и подогревали начавшееся разочарование в демократии. Ницше отвергал демократические идеи равенства прав всех людей как препятствующие естественным лидерам в полной мере реализовать свои способности. Если лорд Солсбери опасался, что демократия может привести к политической, а по мнению Чарльза Элиота Нортон, культурной испорченности общества, то Ницше видел в ней кандалы и цепи,

мешающие человеку достичь высших вершин в своем развитии. Он называл доминирующее влияние вкусов, мнений и нравственных предубеждений масс «рабской моралью». Лидеры человечества должны руководствоваться принципами «морали властелина», стоявшими выше общепринятых понятий о добре и зле. Цель человеческой эволюции – формирование *Übermensch*, высшей породы человека, *artist-genius* («художника-гения»), который будет для обычного человека тем же, чем для обычного человека является обезьяна.

Ницше вволю наслаждался изложением своих взглядов на человечество и в трактате «Так говорил Заратустра», и в продолжениях «По ту сторону добра и зла», «Воля к власти» и Ессе Номо («Вот настоящий человек»). Его идеи бурлят и вздымаются, как грозовые облака, красиво, но опасно. Он считал нужными и полезными побуждения и выбросы энергии *per se*, по сути, и вне зависимости от возможных конфликтов с общепринятой моралью. Законы и религия, осуждающие такие порывы, тормозят прогресс человечества. Христианство – утешение для слабых, покорных и бедных. Сверхчеловеку не нужен Бог, и закон заложен в нем самом. Его задача – самореализация (реализация самости), а не самоотречение. Он должен сбросить оковы традиции и истории как ненужную и нетерпимую обузу прошлого. Ницше изложил свое кредо не в виде логической и ясной декларации, а в форме поэтической прозы, наподобие псалмов, витиеватой и туманной, с непременными горными вершинами и восходами солнца, пением птиц и танцами дев, рассуждениями о Воле, Радости и Вечности, многочисленными красочными метафорами и символами, сопровождающими поиски душой Заратустры предназначения человечества.

Когда труд был опубликован в восьмидесятых годах, никто на него не обратил внимания. Презируя немцев за неспособность оценить его произведение, Ницше отправился путешествовать по Франции, Италии и Швейцарии, завоевывая себе репутацию, как говорил Георг Брандес, «к несомненному ужасу соотечественников»<sup>8</sup>. Иностранец Брандес, датский еврей, открыл его миру. Именно статьи датчанина, переведенные на немецкий язык и опубликованные газетой «Дойче рундшау» в 1890 году, представили Ницше немцам, начав распространять славу о нем. К тому времени Ницше уже был

сумасшедшим, и Макс Нордау, автор книги «Вырождение», обнаружив это обстоятельство, ухватился за него и использовал в качестве главного свидетельства, посвятив ему самые откровенные страницы. Книга Нордау была переведена на другие языки, ее читали по всей Европе и в Соединенных Штатах, благодаря чему Ницше и стал знаменит. Его превозносили как пророка, отвергали как анархиста, ему посвящались исследования и обзоры как в Англии, во Франции, так и в Германии. Его афоризмы цитировались, выносились в заголовки стихов и книжных глав, о нем писали докторские диссертации, появился целый сонм подражателей, вокруг него сложилась целая литературная отрасль, в которой трудились и поклонники, и злопыхатели. Поскольку немцы на него нападали, обвиняя в вульгарности, материализме и филистерстве, то особой популярностью он пользовался во Франции, хотя это, конечно, не препятствовало формированию культа и в Германии. «Растение» росло в Германии, и немцы охотно восприняли теорию Ницше о праве сильного властвовать над слабым. В сочинении автора эти идеи были заботливо обставлены поэтическими намеками и размышлениями, но соотечественники брали их, очистив от шелухи, в качестве директив и наставлений. К 1897 году «культ Ницше» вошел в обиход. В спальне в Веймаре человек, облокотившийся на подушку и смотревший на чуждый мир печальными полуслепыми глазами, не знал, что заколдовал всю свою эпоху.

На «художника-гения» в реальной жизни «Заратустра», безусловно, не мог не произвести впечатления. Когда в Париже приятель прочитал отрывки Родену, скульптору крестьянского происхождения и величайшему творцу новых форм в искусстве, он настолько заинтересовался текстом, что возвращался каждый вечер, чтобы прослушать книгу до конца. Затем после долгого молчания он сказал: «Какая же это великолепная тема для бронзы!»<sup>9</sup> Аналогичное чувство испытал и Штраус, избрав труд Ницше для музыки. Да и сам Ницше писал, что «Заратустру» можно «воспринимать как музыку». Нет, Штраус не собирался положить на музыку весь текст Ницше. Он всего лишь хотел «скромно передать средствами музыки идею развития человеческой расы от истоков и через различные фазы эволюции, как религиозные, так и научные, вплоть до *Übermensch*



Ницше». В целом же он таким образом «отдавал дань уважения гению Ницше».

Когда общественность узнала, что самый современный композитор Германии приступил к написанию симфонической поэмы на тему, подсказанную самым современным философом Германии, их поклонники заволновались, а противники начали точить перья. Штраус написал музыкальную поэму за семь месяцев, завершив работу в 1896 году. Для ее исполнения требовался оркестр, состоящий из тридцати одного деревянного и медного духового инструмента, литавр, турецкого барабана, тарелок, треугольника, Glockenspiels (металлофона), двух арф, органа, а также обычных струнных инструментов. Исполнение занимало ровно тридцать три минуты, вдвое больше, чем «Тиль», и поэма была впервые представлена публике через три месяца после ее создания. Представление открывалось звучанием труб, перераставшим в грандиозный оркестровый пеан, в котором участвовал весь ансамбль, изображавший, казалось, не восход солнца, как указывалось в программе, а сотворение мира. Мощь оркестровой палитры захватывала дух. Финал обозначался двенадцатью ударами низкого колокола, постепенно затихавшими в пианиссимо струн и духовых инструментов и заканчивавшимися знаменитой музыкальной «загадкой» из аккорда си-бемоль мажор<sup>[112]</sup> в дискантовом регистре на фоне темного и таинственного басового до. Здесь снова проявилось чародейское умение Штрауса создавать полифонический эффект и калейдоскоп музыкальных идей, которых хватило бы для дюжины пьес. «Наука» изображалась фугой, содержащей двенадцать тонов хроматической гаммы, и тема танца девушек на лугу, сыгранная флейтами в ритмах вальса, передавала всю радость и свежесть зеленого мира. В музыке танца все же было больше настроения венского, а не вакхического, хотя ее явно портило звучание колокольчиков и треугольника. Через три дня после премьеры «Заратустру» слушали в Берлине, а за год поэма побывала во всех крупных городах Германии, а также в Париже, Чикаго и Нью-Йорке, вызывая у критиков и свирепые наскоки, и искренние восторги. Для Ганслика она была «мучительна и омерзительна», для американца Джеймса Хенекера – «угрожающе величественна», а известный музыковед Рихард Батка назвал произведение Штрауса

«знаменательной вехой в современной музыкальной истории» и автора – «самым значительным композитором нашего времени».

Германия изобиловала музыкальными представлениями, фестивали устраивались каждую неделю, никогда не иссякал поток опер, концертов, выступлений хоровых обществ, коллективов камерной музыки. Успеха добиться было нетрудно, оркестры набрасывались на композиции, едва автор успевал их сочинить. «*В Германии слишком много музыки*», – писал Ромен Роллан курсивом<sup>10</sup>. Как человек, интересовавшийся и музыкой и Германией, он отмечал: «И это вовсе не парадокс. Нет для искусства большего несчастья, чем его переизбыток». Германия, писал Роллан (не без французской предвзятости), «устроила у себя музыкальный потоп и тонет в нем». К этой ситуации непосредственное отношение имел и Штраус. Ранняя известность, последующее осознание своего превосходства в музыкальном искусстве и совершеннейшая уверенность в своем мастерстве развили в нем огромное желание изумлять, и в новой композиции «Дон Кихот» Штраус постарался удивить слушателя пристрастием к реализму.

Реализм всегда был частью культурной традиции Германии. Брунгильда в Байрёйте всегда появлялась на сцене с живой лошадью<sup>11</sup>, которая, испугавшись публики или громыхающей музыки «Валькирии», начинала в самый неподходящий момент брыкаться, приводя в восторг немецкого и иностранного зрителя. Художник Филипп Эрнст, отец Макса Эрнста, изобразил на картине свой сад без дерева, разрушавшего композицию, а потом, почувствовав вину за отступление от реализма, срубил и дерево в саду<sup>12</sup>. Когда Штраус в «Дон Кихоте» использовал ветряную машину, символизировавшую ветряные мельницы, публика озадаченно думала: не переборщил ли композитор в буквализме? Приглушенные звуки медных духовых инструментов, изображавшие блеяние овец и баранов, вызвали пренебрежительные насмешки критиков, хотя нельзя было не признать того, что Штраус смог с необычайным мастерством не только передать блеяние овец и баранов, но и создать ощущение, почти зримое, огромной массы животных, передвигающихся и сталкивающихся друг с другом.

Нападки критиков только добавляли популярности Штраусу и привлекали публику на его концерты. В возрасте тридцати четырех лет,

как писал английский критик Эрнест Ньюмен, Штраус был «самым прославленным музыкантом мира». Хотя кайзер не одобрял его музыку, столица Германии не могла обойтись без его присутствия. Через полгода после премьеры «Дон Кихота» ему предложили дирижировать в Берлинской королевской опере.

Ехать в Берлин – значит ехать в Пруссию, давнюю соперницу и врага Мюнхена и Баварии. Северные немцы считали южан людьми легкомысленными, сентиментальными, привыкшими потакать своим слабостям, склонными проявлять демократизм и даже либерализм. Южные немцы, со своей стороны, относились к северянам с подозрением, считая их высокомерными задирами с плохими манерами и наглыми взглядами, политически реакционными и чрезмерно деловыми, интересующимися только бизнесом<sup>13</sup>.

В архитектурном отношении Берлин, третий самый крупный город Европы, был достаточно новым и не очень красивым поселением. Он отличался тем стилем, который в Америке называют «позолоченным веком». Главные общественные здания, улицы и площади, построенные или перестроенные после 1870 года для новой национальной знати, были претенциозно цветастыми и блестели позолотой. Унтер-ден-Линден, авеню протяженностью в одну милю, с двойными рядами деревьев, была заложена с очевидным замыслом создать самый большой и самый красивый бульвар в Европе. Она заканчивается, естественно, Триумфальной аркой у Бранденбургских ворот. Далее можно было пройти к Зигесаллее (аллее Победы) в Тиргартене, где выстроились мраморные статуи Гогенцоллернов в шлемах и победных позах. Когда памятники поставили по приказу кайзера, Макс Либерман, у которого окна студии выходили на сторону Тиргартена, сетовал: «Мне придется надевать темные очки, но все равно – это пожизненное заключение»<sup>14</sup>. Внушительное здание рейхстага имело максимальные размеры, компенсирующие минимальные властные полномочия. На Лейпцигштрассе и Фридрихштрассе располагались универмаги и главные офисы банков и торговых домов, увлеченных коммерческими операциями, масштабы и доходность которых возрастали с каждым днем. Город отличался необыкновенной чистотой, а население настолько привыкло к дисциплине и порядку, что в счете хозяйка дома, меблированных

комнат или пансиона, помимо трех пфеннигов за пришитую пуговицу к брюкам, непременно указывала двадцать пфеннигов за удаление чернильного пятна<sup>15</sup>. Полиция была очень деятельная, хотя один английский визитер посчитал ее «чрезвычайно грубой и даже жестокой»<sup>16</sup>. Пороки исключались, еда была пресная, а женщины – необаятельные. Прусская бережливость подавляла элегантность. Женщины из среднего класса<sup>17</sup> носили одеяния домашнего изготовления, полотняные блузки, юбки грязно-бурого цвета, мешковатые пальто, похожие на дорожные пледы, башмаки с квадратными носами, невзрачные шляпки, надевавшиеся по любому поводу и ни с чем не сочетавшиеся. У них были дородные туловища, рыхлые лица, и они откидывали волосы назад, скрепляя плетеной заколкой.

Общество из-за отсутствия контактов между строго дифференцированными категориями было чопорное и скучное. Бизнесмены, купцы, специалисты разного профиля, литераторы, художники, артисты и другие представители творческих профессий, если им не присваивалась аристократическая приставка «фон», не *hoffähig*, не принимались при дворе и не смешивались с дворянством. Они не контактировали и между собой. Каждый немец принадлежал к *Kreis*, замкнутому кругу лиц себе подобных, которым не позволялось перемещаться за его пределы. Супруга герра советника или герра доктора не разговаривала с женой купца, а та, в свою очередь, игнорировала жену мастерового. Общаться, принимать у себя, жениться или выходить замуж за человека не из своего круга означало произвести беспорядок, смуту, чего немец опасался больше всего. Возможно, желанием компенсировать социальную монотонность существования и вызывалось то странное обстоятельство, что некоторые немцы, согласно одному докладу, ели семь раз в день<sup>18</sup>.

Со времени объединения Германии, совершенного при лидирующей роли Пруссии, правящая каста пополнялась из рядов землевладельческого юнкерства, прусского дворянства, многочисленного, бедного и отсталого. Католическое дворянство Вюртемберга и Баварии смотрело свысока на юнкеров, считая их грубыми, невоспитанными и непригодными для социального лидерства, а юнкеры с лихвой восполняли недостаток образования напористой самоуверенностью. Они доминировали в армии, которая

доминировала в Германии, и благодаря Бисмарку, их величайшему представителю, традиционно занимали важнейшие государственные должности, избегая участия в деловой жизни столицы, несмотря на то, что она становилась все более активной и всеобъемлющей. Юнкеры не любили коммерческий класс, но охотно становились его агентами, а их правительство было самым торгашеским в Европе. Кайзер, обожавший деньги, включил в свое ближайшее окружение богатых и космополитических представителей непруссского дворянства. Придворная жизнь отличалась не только пунктуальным этикетом, но и грандиозными государственными зваными обедами, проходившими под аккомпанемент очень громкой музыки. Евреи, если не были обращены в христианство, при дворе не принимались, за редкими исключениями, вроде придворного еврея, приятеля кайзера Альберта Баллина. Хотя евреи составляли лишь один процент населения, антисемитизм был в моде: он возрастал на фоне расширения их присутствия в науке, искусствах, бизнесе и профессиональных занятиях после правовой эмансипации по всей империи в 1871 году. Несмотря на эмансипацию, евреи не допускались на политические, военные и академические высокие посты и в элитные ряды людей с приставкой «фон», хотя такая явная дискриминация вовсе не мешала им, к счастью для Германии, оставаться лояльными верноподданными кайзеровского государства. Герсон фон Блейхрёдер, банкир, предоставивший Бисмарку кредит для Франко-прусской войны; Баллин, развивавший морские перевозки и торговлю; Эмиль Ратенау, основатель компании «Альгемейне электрицитатс гезельшафт», электрифицировавшей всю Германию; Фриц Габер, химик, открывший процесс извлечения азота из воздуха и тем самым освободивший Германию от импортной зависимости в источниках азота для изготовления взрывчатки, – все они родились евреями и внесли немалый вклад в бурный расцвет Германии. Правящий класс опирался на поддержку невероятно усердного мелкобуржуазного класса и низших сословий, трудившихся честно и ревностно, почти без отдыха. Их уровень образованности в целом был выше, чем в других странах. Пруссия еще в двадцатые годы ввела обязательное посещение школ для детей в возрасте от семи до четырнадцати лет, и к девятидесятым годам здесь в университетах студентов было в два с половиной раза

больше, чем в Англии, в пропорциональном отношении к численности населения<sup>19</sup>.

Суверен, правивший этими преуспевающими людьми, был так же занят и активен, как и они, правда, в его деятельности было больше суеты, чем основательности. Он во все вникал и всех донимал, иногда и не без пользы. Когда цирк «Барнума и Бейли» гастролировал в 1901 году в Германии, кайзер, прослышавший о необычайной скорости, с какой они загружают поезд, отправил офицеров понаблюдать за их методикой<sup>20</sup>. Оказалось, циркачи не загружают каждый вагон в отдельности сбоку, а, положив между ними мостики, все тяжелое оборудование закатывают по всей длине поезда с одного конца. Таким методом можно было загрузить за час три поезда, по двадцать два вагона в каждом. Технику циркачей сразу же применили в мобилизационной системе Германии. Специалисты кайзера отметили, кроме того, преимущества цирковых вагонов-кухонь по сравнению со стационарными полевыми кухнями и тоже предложили внедрить их в армию, чтобы еду для солдат можно было готовить на ходу.

Кайзер всегда облачался в мундир, приличествующий определенному поводу или событию. Когда в Берлин приехал Московский художественный театр, он посещал спектакли в русской военной форме<sup>21</sup>. Ему нравилось устраивать пышные военные зрелища и торжества, в особенности ежегодные весенние и осенние парады берлинского гарнизона на огромном поле Темпельхоф, где могли пройти строем 50 000 человек, то есть несколько дивизий. Кайзер считал себя в не меньшей степени знатоком искусств и сам решал, что прогрессивно и что нет. Когда в 1896 году жюри решило удостоить премией Шиллера Герхарта Гауптмана за мрачную драму о рабочем классе «Ткачи», кайзер присудил ее Эрнсту фон Вильденбруху, своему фавориту, писавшему исторические драмы в стиле «Вильгельма Телля». Когда появились стипендии Родса, кайзер отбирал кандидатов Германии, «невежественных богачей», по словам одного члена совета Баллиоль-колледжа, «от которых не было никакого толка». Один такой «богачей» подстрелил оленя в парке Магдален-колледжа, и раздосадованному монарху пришлось его отзывать. Кайзеру нравилось думать о себе, объяснял он в речи при торжественном открытии Зигесаллее в 1901 году, как о «государе, поощряющем искусства, собирающем вокруг себя художников», чтобы

под его покровительством искусства процветали в его классических формах и «при непосредственном взаимодействии нанимателя и художника». Выступая в данном случае в роли нанимателя, он ставил перед скульпторами «ясные и понятные задачи», «давал указания и определял характер» работы, но после этого предоставлял им полную свободу в реализации его идей. Теперь он мог гордиться результатами, «незапятнанными так называемыми современными тенденциями».

Искусство, заявлял монарх, должно выражать идеал. «Для нас, немцев, великие идеалы, утерянные другими народами, давно стали неизменным достоянием», и «только немецкий народ» способен их сохранить. Он упомянул просветительский эффект, оказываемый искусством на низшие сословия, которые после тяжелого труда могут отдохнуть, созерцая красоту и идеал. Однако, сурово предостерегал кайзер, «если искусство погружается в жизнь низов, как это зачастую происходит сегодня», и изображает бедствия нищеты даже в еще более непривлекательном виде, чем в реальности, тогда оно «совершает грех перед германской нацией». Как правителю страны, ему причиняет боль, когда мастера искусства «недостаточно энергично противостоят таким тенденциям».

Театр тоже, объяснял кайзер в 1898 году, должен вносить свой вклад в развитие духовной культуры, способствовать укреплению морали, «воспитывать уважение к великим традициям нашего германского отечества». Соответственно, королевский театр, который он называл не иначе как «моим театром», должен был исполнять эту функцию, и в этих целях он устроил показ серии исторических драм для рабочего класса по доступным ценам. Он дотошно требовал в деталях воспроизводить обстановку и костюмы, а для балета-пантомимы о Сарданапале приказал запросить информацию об ассирийских колесницах в ведущих музеях мира.

Ему нравилось присутствовать и даже лично руководить репетициями в королевской опере и королевской драме. Он приезжал в имперском черно-желтом автомобиле и усаживался в зрительном зале за огромным, предназначенным для заседаний столом, на котором уже лежали кипа бумаги и набор карандашей. Рядом стоял помощник, поднимавший руку, когда кайзер подавал ему знак: актеры замирали, он жестами объяснял, что им надо делать, и они снова начинали игру. Он называл артистов *meine Schauspieler*<sup>[113]</sup> и однажды, когда заболел

Макс Польш, сказал приятелю: «Подумать только, вчера у моего Поля случился приступ». Приятель, решив, что речь идет о домашнем псе, сочувственно ответил: «О-о, бедное животное».

В музыке вкусы кайзера были, естественно, весьма консервативные. Он любил Баха, считая его величайшим из всех композиторов, и Генделя. К опере кайзер относился благожелательно, если она была немецкой, и обычно говорил: «Глюк – мой человек, Вагнер – слишком шумный». На представлениях он сидел до конца и зачастую устраивал концерты во дворце, при этом сам готовил программы, проводил репетиции, чтобы не было никаких сбоев. Во время поездки в Норвегию он вызвал Грига в германскую миссию, собрал оркестр из тридцати исполнителей, поставил впереди два кресла – для себя и композитора, попросив его сыграть сюиту «Пер Гюнт». Во время концерта кайзер беспрерывно поправлял темп и экспрессивность исполнения и «извивался», совершая «восточные телодвижения» во время танца Анитры, от которого он «явно возбудился». На следующий день концерт повторился с полным оркестром на борту имперской яхты «Гогенцоллерн».

Восхищение кайзером на раннем этапе его царствования было национальным культом. После затянувшегося правления деда Вильгельма I и трехмесячного мучительного пребывания на троне умирающего человека нация с радостью встретила восшествие на престол молодого и энергичного монарха, который с видимым удовольствием исполнял свою роль и искренне желал выглядеть настоящим королем. Подданные восторгались его сверкающим взглядом, военной выправкой, героическими позами, дополнявшимися блистательными одеяниями и бравурной музыкой. Молодые люди шли к придворному парикмахеру, чтобы он закручивал кончики усов специальным приспособлением, офицеры и чиновники тренировались сверкать глазами, предприниматели старались обращаться к рабочим в динамичном стиле кайзера. В таком стиле, например, разговаривает с рабочими Дидерих, главный персонаж сатиры Генриха Манна на вильгельмовскую Германию *Der Unterthan* («Верноподданный»). «Я беру руль в свои руки, – говорил он, унаследовав семейную фабрику. – Мой курс верен, и я поведу вас в славное будущее. К тем, кто готов помогать мне, я отнесусь со всей душой; тех же, кто будет мне перечить, я сокрошу. Я отвечаю только перед Богом и своей совестью.



Вы всегда можете положиться на мое отцовское благорасположение, но любые революционные сантименты разобьются об мою непреклонную волю». Рабочие смотрели на него и его семейство, онемев от удивления и благоговения.

Первая половина правления кайзера, начавшегося в 1888 году, совпала с зарождением культа Ницше. Неустанная и бурная деятельность монарха во всех ипостасях создавала впечатление, будто появился универсальный человек и именно в Германии, венчая ее столетнее успешное развитие, нацию возглавил *Übermensch*. Естественный результат этого процесса – идолопоклонство, героизация одной личности. В новелле Дидерих впервые воочию видит кайзера, скачущего во главе эскадрона с «каменным выражением лица», чтобы встретиться с демонстрацией рабочих возле Бранденбургских ворот. Рабочие, на которых нахлынули чувства верности, еще недавно требовавшие «Хлеба! Работы!», теперь размахивали фуражками и кричали: «Идем за ним! Идем за императором!» Дидерих бежит тоже, спотыкается и падает в лужу, задрав ноги и обливаясь грязью. Кайзер, заметив его, хлопает себя по бедру и говорит адъютанту со смехом: «Вот вам роялист; вот вам верноподданный!» Дидерих смотрит на него из лужи, «вытаращив глаза и разинув рот».

В образе Дидериха, всегда подавлявшего человека ниже его по социальному положению и пресмыкавшегося перед высшими чинами, Манн высветил одно из главных свойств соотечественников – подобоострастие всегда было другой и обязательной стороной заносчивости и наглости. Банкир Эдгар Шпейер, вернувшись во Франкфурт-на-Майне, на свою родину, после двадцати семи лет пребывания в Англии, понял: три победоносные войны и создание империи настолько изменили нравственную атмосферу в Германии, что она для него стала «невыносимой». Немецкий национализм вытеснил немецкий либерализм. Ощущения благосостояния и самодовольства действовали на людей как наркотик, побуждая принести в жертву свою свободу безудержному милитаризму, и раболепие перед кайзером и армией ему показалось «немыслимым». Университетские профессора, в юности проповедовавшие либерализм, «теперь пресмыкались перед властями самым холуйским образом».

Чувствуя постоянное угнетение, Шпейер продержался пять лет и вернулся в Англию.

Наблюдения Шпейера попытался объяснить Моммзен. «Бисмарк сломал становой хребет нации<sup>22</sup>, – писал он в 1886 году. – Вреда, нанесенного эрой Бисмарка, бесконечно больше, чем пользы... Подчинение немецкой индивидуальности, немецкого разума – это такое бедствие, которое невозможно преодолеть». Моммзен упустил одну важную деталь: Бисмарк ничего бы не сделал вопреки желаниям самих немцев.

В девяностых годах Штраус, поверивший в *Übermensch*, разделял общее восторженное отношение немцев к кайзеру. Управление оркестром Берлинской королевской оперы несколько охладило первоначальную пылкость. После исполнения очень мелодичной оперы Вебера *Der Freischütz* («Вольный стрелок»), которая входила в число любимых кайзером музыкальных произведений, Штрауса вызвали к императору<sup>23</sup>. «Итак, вы один из тех современных композиторов?» – сказал кайзер. Штраус склонил голову. Упомянув одного из современных авторов – Шиллингса, чье сочинение кайзеру довелось слушать, самодержец заметил: «Отвратительно, ни грана мелодии». Штраус склонил голову и осторожно предположил, что мелодия присутствует, но она скрыта полифонией. Кайзер нахмурился и заявил: «А вы – один из самых негодных». На этот раз Штраус лишь склонил голову. «Вся современная музыка негодная, – продолжал разнос сиятельный критик. – В ней нет ни грана мелодии». Штраус склонил голову. «Мне больше нравится “Вольный стрелок”», – твердо сказал кайзер. «Но, ваше величество, мне тоже нравится “Вольный стрелок”», – добавил Штраус.

Кайзер уже не подходил на роль героя, и Штраус нашел еще лучшую кандидатуру – самого себя. Очевидно, выбор темы для него был естественен, как и название сочинения: *Ein Heldenleben* («Жизнь героя»). После *Aus Italien* в его сочинениях не было ни картин, ни соборов, ни пасторальных сюжетов, он писал только о человеке: о его борьбе, поисках смысла существования, сдерживании врагов и собственных страстей, показывая его в трех величайших жизненных испытаниях – в битве, любви и смерти. Макбет, Дон Жуан, безымянный герой симфонии «Смерть и просветление», Тиль, Заратустра, Дон Кихот – все они были главными персонажами

музыкальных исследований души человека. Теперь к ним добавился портрет души художника-музыканта.

В двух жизненных испытаниях Штраус успел приобрести определенный опыт. У него были битвы с критиками, оставившие душевные раны, а в 1894 году он женился. Полина де Ана, которую он впервые повстречал, когда ему было двадцать три года, была дочерью отставного генерала, любителя-вокалиста, обладавшего неплохим баритоном и выступавшего перед местной публикой с сольными концертами по произведениям Вагнера. Следуя пожеланиям отца, дочь училась вокалу в Мюнхенской академии, но в профессиональном отношении не проявляла особых дарований, пока в нее не влюбился Штраус: он так искусно сочетал ухаживание и музыкальные наставления, что через два года уже мог рекомендовать ее Веймарской опере на ведущие роли сопрано. Она пела Эльзу в «Лоэнгрине», Памину в «Волшебной флейте», Елизавету в «Тангейзере», а также солировала в «Фиделио» Бетховена и в опере самого Штрауса «Гунтрам». Однажды на репетиции партии Елизаветы в «Тангейзере» она начала пререкаться с ним по поводу темпа, выкрикивала «ужасные оскорбления», швырнула в него партитуру и убежала в свою комнату. Штраус последовал за ней, и все оркестранты слушали, немея от страха, вопли женской ярости, раздававшиеся за дверью. Потом внезапно наступила гробовая тишина. Желая узнать, кто кого убил – дирижер примадонну или примадонна дирижера, делегация взволнованных музыкантов робко постучала в дверь. Когда ее открыл сам Штраус, их полномочный представитель заявил: и он, и все его коллеги, возмущенные поведением сопрано, были бы признательны капельмейстеру, если он в дальнейшем откажется дирижировать оперой, в которой у нее будет какая-либо роль. «Это причинит мне боль, – сказал, улыбаясь, Штраус. – Я только что обручился с фрейлиной де Ана»<sup>24</sup>.

Основные мотивы этой сцены сохранились и в семейной жизни. Супруга визгливо кричала, супруг улыбался и, по-видимому, получал удовольствие от того, как им помыкают <sup>25</sup>. На званых ужинах фрау Штраус не разрешала ему танцевать с другими дамами. Дома она исполняла роль хозяйки «фанатично и беспощадно», заставляя мужа вытирать ноги на трех отдельных дверных ковриках, прежде чем войти в помещение. Всех гостей независимо от возраста и ранга она

встречала приказанием: «Вытирайте ноги!» Полы сверкали чистотой так же, как столы, а слуги, не укладывавшие белье в шкафах математически выверенными рядами, получали строгий выговор. Тело фрау Штраус каждый день обрабатывала массажистка, представлявшая особую силовую школу, и сам Штраус на время ее посещений обязывался идти прогуляться, чтобы не слышать вопли своей жены. Она родила ему одного ребенка, сына Франца, в 1897 году, потом объяснявшего деду и бабушке, что семейное пристрастие к *motto con brio* выражалось прежде всего в «дьявольском оре»<sup>26</sup>.

Когда фрау Штраус исполняла песни под аккомпанемент мужа, которые обычно заканчивались долгой кодой на фортепьяно, она повязывала шейный шифоновый платок и потом благодарила им публику, отвлекая ее внимание от пианиста. Гостям супруга подробно объясняла, как и почему ее замужество превратилось в этот ужасный *mésalliance*, а Штраус слушал ее со снисходительной улыбкой. Ей надо было бы выходить замуж за какого-нибудь молодого и бравого гусара, а теперь она привязана к человеку, чью музыку даже нельзя сравнить с Массне. Во время поездки в Лондон, где Штраус исполнял «Жизнь героя», на обеде в доме Шпейера был поднят тост в его честь, но супруга возбужденно вмешалась<sup>27</sup>, крича: «Нет, нет!» и показывая на себя рукой, продолжала выкрикивать: «Нет, нет! В честь Штраус де Ана». А Штраус лишь смеялся и, по описанию очевидца, сиял от удовольствия, наблюдая за напористой благоверной.

Она приучила Штрауса к организованности и аккуратности. Его рабочий стол всегда содержался в идеальном порядке, наброски, записи, нотные тетради регистрировались, индексировались и снабжались указателями столь же бережно, как документы в адвокатской фирме. Его почерк был необычайно четкий, а партитуры поражали изумительной каллиграфией и практически полным отсутствием подчисток и исправлений. Песню он мог написать в любой момент, даже в антрактах во время исполнения концертов или опер, но большие произведения композитор сочинял в летних резиденциях, сначала в Марквартштайне в Верхней Баварии, а позднее и на вилле под Гармишем. Здесь в студии он плотно работал с утра до ланча, а зачастую, по свидетельству одного интервьюера, и весь день, вечер, вплоть до часу или двух ночи. Ему нравилось писать невероятно сложные партитуры и очень часто с таким замысловатым

подразделением на группы и таким причудливым переплетением мелодий, что тема становилась непостижимой для нормального человеческого слуха. Такую музыку, различимую только для экспертного чтеца партитур, удивлявшегося математической искусности построения, немцы называли *Augenmusik* («музыкой для глаз»). Однажды кто-то сделал комплимент Штраусу по поводу партитурного мастерства, и он ответил: его мастерство не идет ни в какое сравнение со способностями нового молодого светила в Вене Арнольда Шёнберга<sup>[114]</sup>, которому для партитуры требовалось шестьдесят пять нотных станков и специальные нотные листы. Способности самого Штрауса были таковы, что он мог сказать гостю: «Говорите, говорите. Я могу одновременно разговаривать и писать партитуру». Симфоническую поэму он обычно сочинял за три-четыре месяца, партитуру дописывал в Берлине между репетициями и концертами.

Гости, приезжавшие в летнюю резиденцию, приходили в восторг от новшества, свидетельствовавшего о несомненном организационном таланте фрау Штраус, которому мог позавидовать покойный фельдмаршал фон Мольтке. У калитки была прикреплена разговорная трубка с надписью, указывавшей визитеру сначала позвонить в колокольчик, а потом приложить ухо к трубке. Голос в трубке требовал назвать свое имя и, если это его удовлетворяло, сообщал, что калитка теперь не заперта. В другой надписи давались инструкции, как открыть калитку, и напоминалось о необходимости после входа закрыть ее.

Фрау Штраус нетерпимо относилась к пустому времяпрепровождению. Если она замечала, что супруг бесцельно бродит по дому, то сразу же давала команду: *Richard, jetzt gehst componieren!*<sup>28</sup> («Рихард, иди и займись композицией!»). И супруг послушно садился за стол. Если, по ее мнению, он переработал, она говорила: «Рихард, положи карандаши!», и Штраус исполнял приказ. Когда он дирижировал первым исполнением своей второй оперы *Feuersnot* («Без огня»)<sup>[115]</sup> в Вене, фрау Штраус пришла в ложу австрийского дирижера-композитора Густава Малера и, как вспоминала фрау Малер, все время шипела: «Никому не может понравиться эта халтура. Мы все будем лжецами, если будем изображать восторг, зная, как ей это хорошо известно, что во всем этом

нет ни одной оригинальной ноты. Все украдено у Вагнера и дюжины других авторов, более талантливых, чем ее муж». Малеры сидели и смущенно молчали, не осмеливаясь ни возразить, ни согласиться с ней, ибо «эта злючка могла все извратить и приписать свои ремарки нам». После бури восторженных аплодисментов и многократных вызовов композитора на сцену Штраус, сияющий от счастья, пришел в ложу и спросил: «Ну, Паукзель, что скажешь о моем успехе?»

«Ты вор! – закричала она. – И у тебя хватило наглости показаться мне на глаза? Я не пойду с тобой. Ты гадок». Ее быстро увели в кабинет Малера, где она продолжала браниться, пока Штраус, спотыкаясь, не вышел оттуда в сопровождении подруги, которая в мученическом тоне заявила, что она возвращается в отель: «Сегодня я буду спать одна».

«Не могу ли я тебя проводить?» – смиренно попросил Штраус.

«Хорошо – но не ближе десяти шагов!» – скомандовала она и гордо двинулась вперед, а он последовал за ней, строго соблюдая дистанцию. Позднее, выглядя подавленным и измотанным, он вернулся к Малерам на ужин, а потом весь вечер провел с карандашом и листом бумаги в руках, подсчитывая гонорар за большой (или, наоборот, малый) успех. Деньги интересовали его не меньше, чем другие тонкости профессии.

Штраус написал «Жизнь героя» летом 1898 года, назвав произведение «грандиозной музыкальной поэмой... с множеством валторн, экспрессивно героической». Ее исполнение занимало сорок минут, больше, чем какое-либо предыдущее произведение. Художники изображали себя и прежде, но Штраус, чувствуя настроение нации, пожалуй, первым представил себя в облике героя. Он сам дирижировал на премьере 3 марта 1899 года, что с учетом провокационного заглавия, характера музыки и программных пометок могло показаться бравадой. Поэма состояла из шести разделов: «Герой», его «Враги», его «Подруга жизни», его «Битва», его «Мирные труды» и, наконец, финал – «Бегство от мира и завершение жизненного пути». По форме это была расширенная крупномасштабная соната с хорошо узнаваемыми заявками темы, ее развитием и кратким резюме. После гордого звучания валторн, представлявших героя взлетом в фортиссимо, деревянные духовые инструменты изображали его врагов назойливо хихикающими

звуками, очень напоминавшими, как бы сказали «критики», «блеяние» овец в «Дон Кихоте». Подругу жизни, то есть супругу, соблазнительную и в то же время сварливую, изображала солирующая скрипка серией виртуозных каденций, к которым в партитуре придавались откровенные авторские ремарки вроде “*Heuchlerisch schmachtend*” («лицемерно томно») или «фривольно», «надменно», «пылко». Затем следовал страстный и трогательный любовный дуэт с пометками «нежно», «ласково». Потом три трубы на цыпочках уходили со сцены и внезапно издалека призывали к оружию. Начиналась бурная перекличка струнных инструментов, литавр, медных духовых инструментов, турецкого барабана. Весь оркестр бессвязным крещендо создавал впечатление грандиозной битвы, напоминавшей грохот реального сражения генералов, лишившихся рассудка. Для слуха человека 1899 года эта какофония звучала «ужасно». Пройдя через испытание битвой, с триумфом возвращалась тема героя. Его «Мирные труды», без сомнения, имели автобиографичный характер, в них звучали темы предыдущих произведений композитора. Канонизация героя совершалась апофеозом из приглушенной торжественной музыки, которой позднее Штраус в программных пометках предназначил «отображать похоронный ритуал с флагами и лавровыми венками, возлагающимися на могилу героя».

Прослушав в Кёльне второе исполнение поэмы, Ромен Роллан, еще не остывший после собственного сражения по поводу премьеры «Волков», пришел в неописуемый восторг. Хотя некоторые зрители в зале выражали неодобрение и даже отдельные оркестранты посмеивались над музыкой, «я стиснул зубы и дрожал от волнения, а мое сердце радовалось воскрешению молодого Зигфрида». В чудовищном «грохоте и реве» батальной музыки Роллану слышались «штурм городов, страшные атаки кавалерии, которые заставляют дрожать землю и биться наши сердца». По его мнению, это было «самое изумительное изображение битвы в музыке». Безусловно, в произведении можно было отметить провалы, в которых на какое-то время исчезала музыкальная идея, но она появлялась вновь; несмотря на встречающуюся в отдельных местах посредственность мелодии, всей пьесе присущи «гармоническая и ритмическая изобретательность и оркестровое великолепие». Роллану казалось, что Штраус отразил в

музыке силу воли, «героическую, властную, страстную и могущественную в высочайшей степени». Поддавшись влиянию Ницше, Роллан считал, что ницшеанский дух делает Штрауса великим и уникальным. В нем чувствуется сила, подчиняющая своей власти человека. Но Роллан был французом и не мог не сделать политических выводов. Теперь, решил он, когда Штраус, подобно Германии, «победой доказал свою силу, его гордыня не будет знать пределов». В нем, как в человеке «повышенной жизненной энергии, болезненно перевозбужденном, неуравновешенном, но контролирующем себя усилием воли», французы видели образ Германии. Как бы то ни было, Роллан стал его другом и проповедником.

Впервые он встретил Штрауса восемь лет назад в Байрёйте и потом снова увидел его в январе 1899 года, когда композитор дирижировал «Заратустрой» в Париже. Он тогда дал волю своим чувствам. «Ага! – писал Роллан. – Германия Всемогушая недолго будет оставаться в равновесии. Ницше, Штраус, кайзер – у нее явно начинается головокружение. Неронство витает в воздухе!»<sup>29</sup> Роллану казалось, что он обнаружил в симфонических поэмах повторяющийся мотив отвращения и смерти, а в Германии «болезненность, скрытую под маской силы и военной упругости». Эти мотивы ему вновь слышались и в «Жизни героя».

Когда, пользуясь случаем, Роллан нанес визит Штраусу в Шарлоттенбурге, фешенебельном пригороде Берлина, то обнаружил в нем больше баварца, нежели ницшеанца, – «определенную склонность к юмору и буффонаде, парадоксальность и саркастичность, как у Уленшпигеля». Как и Тилю, ему доставляло удовольствие шокировать обывателей. У него взрывы энергии чередовались с припадками «лености, размягченности и иронического равнодушия». С Ролланом он был любезен и даже радушен, но с другими людьми мог быть груб, едва слушая то, что ему говорят, и лишь бормоча время от времени: «Что? Ах, так себе». Он вел себя неприлично за столом, сидя боком и скрестив ноги, подносил тарелку к подбородку, когда ел, и складывал возле себя сладости. В гостиной он мог улечься на софе, взбив подушки кулаками, и, «пренебрегая окружающими», заснуть с открытыми глазами.

Трудно сказать, кем он больше был – Тилем или Суперменом. В статье для «Ревю де Пари» Роллан представил его как «артистический



тип персонажа этой новой Германии, воплощающий героическую гордыню на грани бреда и ницшеанский эгоизм, проповедующий культ силы и презрение к слабости». Но он должен был признать, что переборщил в своих оценках. Ему можно было бы задать такой же вопрос, какой поставила перед Мэтью Арнолдом его племянница на карикатуре Макса Бирбома: «Почему, дядя Мэтью, о, почему ты не можешь быть всегда совершенно серьезным?» Штраус не соответствовал образу, нарисованному Ролланом, и написал об этом: «Вы правы. Я не герой. У меня нет нужных сил. Я не рожден для битв... Я даже не желаю предпринимать усилий. Все, что мне сейчас надо, – это сочинять мелодичную и веселую музыку. Никакой больше героики». Дело в том, что в создавшейся ницшеанской идейной атмосфере сочинение «Жизни героя» было закономерно: оно отражало настроение нации в большей мере, чем его собственное.

Штраус был струной, которой играл *Zeitgeist*<sup>[116]</sup>. Хотя он не знал иного образа жизни, кроме комфортного существования типичного буржуа, композитор имел представление о революционных помыслах рабочего класса и отразил их в двух великолепных песнях, одна из которых – *Der Arbeitsmann* («Рабочий человек») – оказалась настолько популярной, что стала гимном социалистической партии<sup>30</sup>. Другая песня, *Das Lied des Steinklopfers* («Песня камнетеса»), была его самым любимым песенным сочинением. Его песни в исполнении главного баритона Германии Людвиг Вюльнера под аккомпанемент композитора, сидевшего за фортепьяно, производили сильнейшее драматическое впечатление. «Эта музыка дерзости и неповиновения, – писал один критик, – по силе воздействия сопоставима с «Марсельезой». А о другой его песне для мужского голоса – *Nachtlicher Gesang* («Ночная песня») – говорили, что она могла заставить человека «вздрыгнуть среди бела дня».

Однако в «Жизни героя» закоренелые поклонники Штрауса начали обнаруживать изъян, присущий композитору, но трудно различимый. Эрнест Ньюмен утверждал, что Штраус обогатил музыку новыми идеями как никто другой из композиторов после Вагнера, «привнес в музыку больше энергии, больше чувств и больше раздумий, чем кто-либо из современных композиторов». К сожалению, он, похоже, был неспособен сдерживать свое желание «потрясать человечество». Исключительное владение техникой и одаренность

идеями были таковы, что он мог исполнить любое свое желание, и его изобретательность была безгранична, но он не умел и не хотел использовать свои способности в разумных пределах. Ньюмен охотно покинул бы зал во время «хихиканья, рычания и хрюканья» врагов в «Жизни героя», которые он считал такими же музыкальными «причудами», как и блеяние овец в «Дон Кихоте». Он отметил недостаток хорошего вкуса и проявления вульгарности в человеке, испортившем две «самые прекрасные партитуры XIX века этими «уродствами». Такие мнения лишь провоцировали Штрауса на новые причуды, демонстрировавшие его презрительное отношение ко всему, что называют «вечными законами» прекрасного в музыке. Штраус заставлял критиков платить за места в зрительном зале <sup>31</sup>, и это обстоятельство только добавляло негатива.

Молодым критикам диссонансы в музыке Штрауса казались менее неприятными, чем «причуды». Американец Лоренс Гилман полагал, что диссонансы в музыке «Битвы», как и в изображении психического расстройства Дон Кихота, были «выразительные и красноречивые», совершенно отличные от того, что можно произвести, как говорил Уистлер, «надлежащим использованием клавиатуры». Помимо «причуд», у Штрауса достаточно поистине прекрасной музыки, ставящей его выше придинок и насмешек, но в эпицентр внимания критиков обычно попадал и дидактический реализм его программных пометок. Если Филипп Эрнст, исключивший дерево из своей картины, срубил его и в саду, то Штраус потребовал бы не только изобразить дерево, но и поместить надпись: «Это дерево». Он давал критикам повод. Ньюмен, к примеру, написал о пассаже тромбонов в «Заратустре», озаглавленном «Отвращение» и следовавшем за «Наслаждениями» и «Страстями»: «В нем отвращения предполагается не больше, чем зубной боли». На критиков не действовали доводы друзей, доказывавших: Штраус хотел, чтобы его музыку слушали как музыку, а добавлял программные пометки, подчиняясь требованиям коллег и издателей. Артист, знавший себе цену, не мог пойти на уступки кому-либо, и в любом случае литературные заголовки уже были у него на уме, и он вписывал их в партитуру, когда сочинял композицию.

Во Франции Клод Дебюсси тоже сочинял изобразительную музыку. Но в отличие от почти литературной повествовательности

Штрауса, ее описательность была едва уловимой, мерцающей, исполненной в манере импрессионистов в живописи и символистов в поэзии. Кредо символиста заключалось в том, чтобы вызывать предположения, ассоциации, но не называть объект своего интереса. Там, где Штраус утверждал, Дебюсси предполагал. «Если люди будут настаивать на своем желании понимать то, что происходит в симфонической поэме<sup>32</sup>, то нам придется перестать их сочинять», – говорил Дебюсси. Проблема буквального понимания музыки в равной мере не волновала и Сибелиуса. Когда приятель, прослушав запись его Четвертой симфонии, спросил, что она означает, Сибелиус, помолчав немного, ответил: «Проиграй пластинку еще раз»<sup>33</sup>.

Дебюсси тем не менее обожал Штрауса, который был на два года моложе, и признавал, что *Verklärung* в «Смерти и просветлении» происходит «у нас на глазах». В 1903 году Дебюсси слушал «Тилиа Уленшпигеля», поразившего его попприем музыкальных законов и создавшего впечатление, будто он целый час провел в «музыкальном сумасшедшем доме»: «Не знаешь, что делать – смеяться или стонать от боли; думаешь – останутся ли все вещи на своих местах после всего этого». Тем не менее он назвал поэму «произведением гения», говорил о «потрясающей оркестровой самоуверенности», о «сумасшедшем ритме, державшем нас в напряжении от начала до конца и заставлявшем участвовать во всех проделках героя»<sup>34</sup>. В пьесе «Жизнь героя», которую Дебюсси тоже слушал в 1903 году, его больше всего поразила «ураганная мощь». Слушатель – больше не хозяин своих эмоций: «Я говорю это снова: невозможно выстоять против его непреодолимого властвования». Произведения Дебюсси – оркестровая прелюдия *L'Après-midi d'un Faune* («Послеполуденный отдых Фавна»), «Ноктюрны для оркестра», появившиеся в девяностых годах, побудили и Штрауса на комплименты. Дебюсси – «выдающийся и уникально гениальный» человек, говорил он, добавляя: «В своей сфере»<sup>35</sup>.

Штраус всегда удивлялся, если кто-то еще мог сочинить произведение высокого класса. «Я даже не думал, что кто-то другой, помимо меня, способен написать такую замечательную музыку, как эта», – говорил он «мило и в своей располагающей манере» Бичему о Делиусе. Он не бывал на операх Пуччини и не мог бы отличить «Манон Леско» от «Тоски» и «Мадам Баттерфляй» от «Богемы», хотя они творили в одно и то же время. Итальянскую оперу не очень

ценили в Германии. Но Штраус великодушно соглашался исполнять произведения других современников. Не имея возможности исполнять современную музыку в Берлинской королевской опере, где властвовали вкусы кайзера, он организовал собственный оркестр «Тонкюнстлер» – для того чтобы «поощрять современные музыкальные принципы и тенденции». Оркестр «Тонкюнстлер», финансируемый субсидиями частных патронов, исполнил в хронологическом порядке все симфонические поэмы Листа, произведения самого Штрауса и представил берлинской аудитории сочинения Чайковского, Брукнера, Хуго Вольфа, Элгара и предшественников Дебюсси – Шарпентье и д'Энди. Однажды в Лондоне Штраус посетил Национальную галерею в компании с Эдгаром Шпейером и Эдуардом Элгаром. Когда группа остановилась возле картины Тинторетто «Святой Георгий и дракон», Шпейер сказал: «Перед нами работа кисти революционера, проложившего новые пути в конце славного Венецианского периода. Можем ли мы сказать, что Тинторетто сделал для живописи то, что делает сейчас для музыки наш друг Рихард Штраус?» Изумленный его замечанием, Штраус вернулся затем к картине, внимательно ее осмотрел и провозгласил: «Шпейер прав. Я и есть Тинторетто в музыке».

Поднявшись на такую высоту в истории искусства, он теперь мог неустанно помогать менее прославленным коллегам. После исполнения в Дюссельдорфе в 1902 году оратории Элгара «Сновидение Геронтия», написанной на основе поэмы кардинала Ньюмена, Штраус предложил тост за «благоденствие и успехи первого английского прогрессиста Эдуарда Элгара и молодой прогрессивной школы английских композиторов». Тост взволновал весь музыкальный мир и вызвал очередную волну желчной критики. Хотя Англию и задевал тон комплимента, она все же была тронута и польщена. Штраус обратил внимание и на ультрасовременного Шёнберга, чьи эксперименты с атональностью произвели на него столь сильное впечатление, что мэтр добился для молодого композитора стипендии Листа и назначения профессором композиции в академии Штерна в Берлине. На премьере «Третьей симфонии» Малера в Кёльне в 1902 году Штраус, подчеркивая свое одобрение и успех автора, поднялся на сцену возбуждать аплодисменты. Начиная с 1900 года Штраус в роли президента *Allgemeiner Deutscher Musikverein* (Всеобщего германского

музыкального общества), основанного Листом, приглашал зарубежных композиторов выступать со своими новыми произведениями на фестивалях этой организации. Сибелиус, представлявший в 1900 году по его приглашению «Туонельского лебедя», говорил, что Штраус был с ним «чрезвычайно любезен». Когда сам Штраус поднимался на подиум во время этих концертов, его приветствовал весь оркестр тройными фанфарами, а публика вставала.

Он пользовался широкой известностью в Англии и Соединенных Штатах, а его выступления там устраивались с необычайным размахом. В 1903 году в Лондоне прошел трехдневный фестиваль Штрауса, на котором были сыграны все его произведения – от *Aus Italien* («Из Италии») до *Heldenleben* («Жизнь героя»). Штраус «очень полюбил» англичан, как однажды он сказал Роллану. Они умудряются создавать комфортные условия для пребывания даже в таких странах, как Египет, где «вам всегда предоставят чистые комнаты и современные удобства». По мнению Штрауса, они были высшей расой и, согласно ницшеанской теории, Германия должна была симпатизировать им, а не бурам во время Южно-африканской войны. «Буры – варвары, отсталые люди, живущие все еще в XVII веке. Англичане – цивилизованный народ и очень сильный. Абсолютно верно то, что победа должна доставаться тем, кто сильнее».

В Лондоне его радушно принимал Эдгар Шпейер, глава синдиката, владевшего Куинс-холлом, и менеджер его оркестра. Вместе с супругой, профессиональной скрипачкой до замужества, они превратили свой дом на Гросвенор-сквер в центр музыкального и артистического сообщества. Здесь он мог встретиться с Генри Джеймсом или Дебюсси, послушать, как мадам Григ исполняет песни своего супруга, и роскошно отобедать в компании с Джоном Сарджентом, для которого живопись была профессией, а музыка и хорошая еда – любимым хобби. Увидев цыган, бродивших по Лондону с испанскими мелодиями, Штраус предложил позвать их и спрятать в саду во время очередного званого обеда. Настоящие танталовы муки испытал Сарджент, разрывавшийся между обеденным столом и окном, откуда доносилась дивная музыка<sup>36</sup>.

В Америке композиции Штрауса были хорошо известны и исполнялись с того времени, когда в 1884 году Теодор Томас, дирижер Чикагского симфонического оркестра, сыграл «Симфонию фа минор»,

а Эмиль Паур, дирижер Бостонского симфонического оркестра, немец по происхождению, представил американцам в 1888 году «Из Италии». Томас и Паур позднее перебрались в Нью-Йоркскую филармонию, продолжая исполнять произведения Штрауса, как только они появлялись, а в 1904 году в рамках фестиваля Штрауса в Нью-Йорке состоялась премьера его последнего сочинения *Sinfonia Domestica* («Домашняя симфония»). Композитор был приглашен дирижировать и на премьере, и на исполнении его произведений в Чикаго. Томас, горячий поклонник Штрауса на протяжении двадцати лет, считал его в тот период «величайшим музыкантом своего времени и одним из крупнейших музыкальных первооткрывателей всех времен»<sup>37</sup>.

В Соединенных Штатах немислимо разбогатели финансовые и промышленные магнаты, что способствовало появлению новой публики и новых источников подпитки музыкального и других искусств. Это было время обильных затрат и грандиозных идей. Когда ректору Троицкой церкви в Нью-Йорке потребовалась новая кафедра, он попросил ведущую архитектурную фирму «Макким, Мид энд Уайт» спроектировать что-нибудь «большое, широкое, просторное и простое, но роскошное там, где надо»<sup>38</sup>. Когда Макким построил Бостонскую публичную библиотеку, на стене была укреплена мемориальная доска, чествовавшая «необычайную широту и размах» его гениальности. Необычайная широта и размах чувствовались во всем. Луис Тиффани спроектировал для себя дом<sup>39</sup> с дворцовым пролетом лестницы, ведущей вверх между стенами со встроенными хижинами суданских негров в зал, настолько просторный, что при тусклом освещении не было видно потолка. В центре зала стояла черная дымовая труба, устремлявшаяся в бесконечную высь, в четырех внушительных каминах пылали огни разного цвета, таинственный свет струился из висячих стеклянных ламп, сконструированных самим Тиффани, и невидимый органист играл прелюдию из «Парсифаля» [\[117\]](#).

Медные, железнодорожные и другие американские магнаты субсидировали несколько оркестров, предоставляя дополнительные источники для выплаты гонораров и авторских отчислений. Штраусу нравилось гастролировать, и концертная американская публика всегда с нетерпением ожидала приезда «самого выдающегося композитора современности», создающего, как сообщал американцам журнал

«Харперс уикли», «образы непреодолимой силы» и «прикоснувшегося к грани невозможного в возвышенности и величии».

В «Домашней симфонии» Штраус прикоснулся, как это уже стало ясно при первом исполнении, к грани, за которой начинаются курьезные благоглупости. Хотя она была сыграна, по желанию самого композитора, без программных пометок, чтобы ее слушали «как чистую музыку», Штраус уже сообщил интервьюеру, что в ней иллюстрируется «один день в моей семейной жизни» образами «папы, мамы и ребенка»<sup>40</sup>. На премьере симфония была исполнена отдельными частями – интродукция, скерцо, адажио, двойная fuga и финал, но, как обычно, впоследствии автора заставили дать формальный разбор: купание ребенка, родительское счастье, ссоры тетюшек и дядюшек по поводу сходства: «Весь в папу!», «Весь в маму!» и тому подобные вещи. Хотя в симфонии есть нежная мелодия одной из самых чудесных колыбельных песен Штрауса и прекрасный любовный дуэт, она оставляет общее впечатление давящего шума, визга, хрипа и смятения, сводящего с ума. Если действительно такова семейная жизнь в Германии, то становится понятной история страны. Даже более длительное, чем «Жизнь героя», это произведение Штрауса удивило и вызвало раздражение у большинства слушателей. «Если всех священных слонов Индии одновременно загнать в Ганг<sup>41</sup>, – говорил Бичему известный, но не названный дирижер, когда симфония исполнялась в Лондоне, – то от них будет вдвое меньше гвалта, чем от маленького баварского ребенка во время купания». Бульканье воды и звон будильника – не эти трюки имел в виду Вагнер, когда говорил о «музыкальной материи». Вульгарность наступившего нового века неожиданно подтвердил его самый выдающийся композитор. Он сделал это бессознательно. «Я не вижу причин, почему мне не следовало бы сочинять симфонию о самом себе, – сказал он Роллану. – Я считаю себя не менее интересным, чем Наполеон или Александр».

Показательно, что он упомянул именно этих завоевателей мира. Германское самомнение о музыкальном превосходстве уже начинало раздражать. «Немецкие музыканты всегда выдвигают на пьедестал немца и делают из него идола», – писал Григ Делиусу в 1903 году<sup>42</sup>. «Вагнер мертв, но им нужен кто-нибудь для удовлетворения своего чувства патриотизма, для них даже лучше иметь эрзац, чем ничего». В 1905 году на музыкальном фестивале в Страсбурге, столичном городе

прежде французского, а теперь германского, Эльзаса, ставилась цель сблизить французов и немцев посредством искусства. В трехдневной программе были представлены только два французских произведения. Первый концертный день начинался Вагнером и заканчивался Вагнером. Второй день посвящался Брамсу, Малеру и Штраусу, а третий день – полностью Бетховену. Выбор отрывка из Вагнера – последней сцены «Мейстерзингера», в которой Ханс Закс осуждает неискренность и легкомысленность иностранцев, дал повод одному слушателю отметить определенный «недостаток учтивости»<sup>43</sup>.

Германия вызывала все больше раздражения в мире, и это отразилось, в частности, в той готовности, с какой иностранные критики ухватились за свидетельства спада вдохновения у Штрауса. Все набросились на «Домашнюю симфонию». Ньюмена удивляло, что «композитор-гений пал так низко», а Гилман писал о том, как Германия действует на нервы другим нациям. Цитируя слова Мэтью Арнолда об «уродливости и низости» тевтонского явления, он написал: «Только тевтон с тевтонским недостатком тактичности» мог сочинить «Домашнюю симфонию».

Но «духу времени» не было дела ни до папы, ни до мамы, ни до ребенка. Расцветший пышным цветом материализм формировал в творческих натурах желание шокировать, разрывать и вспаривать теплые покровы буржуазного комфорта. Штраус, как всегда остро чувствовавший веяния времени, откликнулся новым сочинением. «Домашняя симфония» шокировала банальностью, теперь он, ощутив потребность в материалистических эмоциях ужаса и омерзения, перешел от темы семейной баварской жизни к изображению извращенной и похотливой страсти, взяв за основу древнюю легенду о Саломее в изложении Оскара Уайльда.

Драма насыщена ужасающими и отвратительными деталями в той мере, в какой и хотел это сделать автор. Она написана только ради сенсационности, в целях, как говорил Бодлер, «фосфоресценции разложения». Первоначальный, оригинальный вариант был создан на французском языке в 1891 году, и его спустя год репетировали в Лондоне с Сарой Бернар в заглавной роли, но спектакль запретил лорд-канцлер, усмотрев святотатство в изображении Иоанна Крестителя. После публикации текста (авторские экземпляры для



друзей были в переплете «из тирского пурпура и матового серебра») <sup>44</sup> пьесу резко осудила газета «Таймс» за «патологическую кровожадность и жестокость, эксцентричность, омерзительную и оскорбительную безнравственность»<sup>45</sup>. В 1894 году появился английский перевод пьесы, исполненный лордом Альфредом Дугласом, с чувственными иллюстрациями Обри Бердсли, декадента из декадентов<sup>46</sup>. Три его рисунка, самые непристойные, издатели забраковали. В 1896 году, когда Уайльд находился в Редингской тюрьме, «Саломею» поставил в парижском театре «Эвр» режиссер-актер Люньё-По, без Сары Бернар, а в роли Ирода выступал сам. Из-за перебора с декадансом пьеса успеха не имела. Но в Германии «Саломея» нашла заинтересованного зрителя, жаждавшего острых ощущений. Сначала ее показали в Бреслау в 1901 году, однако по-настоящему восторженный прием она получила в 1902 году, когда ее поставил Макс Рейнхардт в своем театре «Кляйнес» в Берлине, где пьесу впервые увидел и Штраус.

В большей мере поэма, а не пьеса, «Саломея» являла собой эксперимент в игре образами и словами, прекрасно читавшийся на бумаге, но смущавший на сцене. Перед зрителем возникает калейдоскоп ошеломляющих эпизодов: эротические поползновения Саломеи на глаза, волосы, чресла и тело Иоканаана; алчущие взгляды Ирода, возжелавшего свою падчерицу; сладострастный танец Саломеи, возбуждавший похоть Ирода и заставлявший исполнить ее дикую прихоть; огромная рука черного палача, поднимающая бородатую и окровавленную голову пророка, презревшего Саломею; некрофильские восторги Саломеи возле головы на блюде, заканчивающиеся поцелуем мертвых губ; приказание Ирода, полное ужаса и сожаления: «Убить эту женщину!»; жуткая смерть Саломеи под щитами его солдат. Спектакль, ужасавший своим реализмом, восхитил берлинскую аудиторию. Полнолунная фантазия Уайльда пришлась по душе публике в Германии и выдержала феноменальные две сотни представлений.

Скрытое заболевание, замеченное в Германии Ролланом, стало проявляться в первом десятилетии нового века. Оно обострялось пропорционально возрастанию богатства, силы и высокомерия, как будто промышленные достижения и военная мощь возбуждали внутреннюю потребность в том, чтобы выставлять наружу

червоточины и низменные страсти, таившиеся в этих трудолюбивых, преуспевающих, благонравных и привыкших к порядку людях. Как будто эпоха Бисмарка по необходимости произвела на свет божий психиатра Крафт-Эбинга. В сущности, его труд «Половая психопатия», изданный в 1886 году, служил тяжелым, но и бесценным руководством при написании драм, самого ходового тогда жанра немецкой литературы.

Драматургия в Германии состязалась с музыкой и оперой в популярности, а в девяностые годы началось повальное увлечение проблемными пьесами, порожденное Ибсеном, поисками нового стиля актерской игры и сценическими экспериментами. В 1889 году в Берлине открылся театр «Фрейе бюне» («Свободная сцена»)), созданный по образцу французского «Театр либр» в Париже. Он объявил о приверженности доктрине реализма и натурализма, представив сначала «Привидения» Ибсена, а потом первую пьесу Гауптмана «Перед восходом солнца». Театров становилось все больше. Они с энтузиазмом срывали все маски с общества и показывали, выражаясь словами Золя, «зверя в человеке». Помимо творений Ибсена, на сцене шли жестокая драма Стриндберга «Фрёкен Жюли», «Власть тьмы» Толстого, «Тереза Ракен» Золя, символистские и неоромантические драмы Метерлинка, д'Аннунцио и фон Гофмансталя, социальные пьесы Шоу, последователя Ибсена, житейские сатиры венского драматурга Артура Шницлера и целый ряд немецких трагедий. Студенческие сценические общества возродили «Царя Эдипа» и Еврипида; «Современная туристическая компания» знакомила провинции с драматическим искусством; народные театры «Фольксбюне» и «Нейе фольксбюне» соединяли его с социализмом. В 1895 году Эрнст фон Вольцоген, написавший либретто для оперы Штрауса «Без огня», основал театр «Интим». С аналогичной целью – создавать атмосферу сокровенности для экспериментальных спектаклей – Рейнхардт и открыл в 1902 году свой театр «Кляйнес», в котором, помимо «Саломеи», он поставил пьесу Максима Горького о жизни отбросов общества «На дне».

Центральное место на сцене германских театров занимала трагедия. Социальные комедии со счастливыми финалами немцев мало интересовали. Они любили буффонаду – либо грубую, либо причиняющую боль. Их трагедии не были ни целительными, как у

Ибсена, ни сочувственными, как у Чехова; их трагедии сосредоточенно показывали жестокое отношение человека к человеку, его склонность к саморазрушению и в особенности смаковали смерть. Убийством, самоубийством или какой-нибудь другой экзотической смертью заканчивались почти все немецкие драмы девятых годов и начала столетия. В «Ганнели» Гауптмана девочка-героиня умирает в постели; в «Затонувшем колоколе» жена Генриха топит себя в озере, а он выпивает яд; в «Розе Бернд» героиня, совращенная и покинутая, удушает новорожденного; возчик Геншель в одноименном романе вешается, предав умершую жену и женившись на проститутке, которая доводит до смерти их ребенка; легкоранимого «Михаила Крамера» до самоубийства доводит властный отец – популярная тема в Германии, очень богатой такими родителями. В «Магде» Зудермана только апоплексический удар помешал отцу застрелить себя и дочь, у которой, конечно же, обнаружилась внебрачная беременность – участь многих немецких литературных героинь. Им несть числа, оказавшимся в неожиданной беде, приводящей к истерике, безумию, преступлению, тюремному заточению, детоубийству, самоубийству. В «Гибели Содомы» Зудермана распутный молодой художник, совращенный женой банкира, доводит до самоубийства молочную сестру и сам умирает от кровотечения. В *Frühlings Erwachen* («Пробуждении весны») Ведекинд предпринимает первую попытку описать открытие секса подростками, опровергающее стереотипное представление о похотливости взрослых мужчин и женщин, но заканчивающееся трагедией: четырнадцатилетняя героиня, еще ребенок, умирает, очевидно, из-за непрофессионального аборта; подростка исключают из школы, а родители отправляют его в исправительную колонию; его друг, не в силах больше жить, совершает самоубийство и появляется на кладбище со своей головой под мышкой в заключительной сцене сумрачного символизма. Третий мальчик в эпизоде откровенного аутоэротизма обращается со страстным признанием в любви к образу обнаженной Венеры и потом выбрасывает его в унитаз. Пьеса, впервые поставленная в 1891 году, имела сенсационный успех, а в книжном варианте выдержала двадцать шесть переизданий.

Ведекинд родился в том же году, что и Рихард Штраус, обладал сатанинским писательским талантом и мог быть одновременно актером, журналистом, цирковым рекламным агентом и вокалистом,

певшим скверные баллады в кабаре «*Überbrettl*», а когда сотрудничал в журнале «Симлициссимус», то отсидел срок в тюрьме за *lèse majesté* («оскорбление его величества»). «Меня никогда не покидает мысленный образ беды – я вижу жизнь жестокой и злой»<sup>47</sup>, – эти слова как нельзя лучше характеризуют его настроение, хотя они были сказаны Генри Джеймсом о самом себе. Если считать пьесу «Пробуждение весны» призывом к сексуальному просвещению, то она в определенном смысле была социально полезна или по крайней мере вызывала сострадание. В дальнейшем Ведекинд видел в жизни только жестокость и зло. В те же годы, когда Фрейд осторожно подходил к открытию бессознательного, Ведекинд уже создал о нем чудовищное представление, сорвал все покровы, обнажив его злокачественность. Начиная с 1895 года, все его пьесы посвящались подлой и злобной натуре людей и основывались на единственном аргументе: порочно все человечество. Все действие пьесы «*Erdegeist*» («Дух земли») и ее продолжения «*Die Büchse der Pandora*» («Ящик Пандоры») происходит в мире сводников, плутов, шантажистов, убийц и вешателей, так или иначе участвующих в жизни героини Лулу, воплощающей чувственность как гетеросексуальную, так и лесбийскую. Ее жизнь протекает в борделях и притонах, в атмосфере совращений, аборт, садизма, некрофилии и нимфомании – как написал один критик, «в потоке нескончаемого секса, пенящегося по зазубренным кручам безумства и преступности»<sup>48</sup>. Это был секс не созидающий, в чем и должна быть его главная функция, а губительный, порождающий не жизнь, а смерть. Первый муж Лулу умер от апоплексического удара, второй муж, измученный ее вероломством, перерезает себе горло, третьего, обнаружившего, что прелюбодеяние совершено с сыном, она убивает сама. После тюрьмы, окончательной деградации и проституции ее закалывает Джек Потрошитель в летальном порыве эротической энергии, которую в то же самое время Бернард Шоу, абсолютно иной тип драматурга, прославлял как «энергию жизни».

Идеология Ницше оказывала влияние на всех. Бернард Шоу для пьесы «Человек и сверхчеловек» взял философскую идею, но немцы восприняли теорию в ее буквальном значении. Ницше отвергал общепринятую мораль, полагая тем самым подняться на более высокий уровень развития, они же поняли его слова как команду предаться порокам. Зудерман с удовольствием цитировал Ницше:

«Только в диких лесах порока можно овладеть новыми областями знания». Эти «леса порока» заманили французских декадентов и эстетов Англии в движение, которое внезапно прекратило свое существование после суда над Уайльдом. В Германии это движение, перекочевавшее в новое столетие, нашло горячего поборника в лице Ведекинда, придавшего ему привкус «неутоленной жестокости». Она проявлялась в бунте против подавляющего материального благополучия страны, в осознании тлетворности званых обедов из двенадцати блюд, помпезных парадов и жажды «крови и железа». Ведекинд и ему подобные интеллектуалы были *Schwarzseher*, ясновидящими темных и дурных сил в жизни, темного и дурного в человеке. Они не играли сколько-нибудь значительной роли и не могли противостоять господствующим настроениям самоуверенности и воинственности, но чувствовали приближение беды, большого пожара, неронства, витавшего в воздухе.

Штраус обладал великолепным артистическим чутьем, улавливал господствующие настроения и сосредоточился на предании о Саломее, избрав его темой для сочинения не симфонической поэмы, а оперы. Он включил в оркестр больше инструментов, чем когда-либо прежде, и написал необычайно сложную партитуру с такими диссонансами, что оркестру иногда приходилось разделяться и играть в двух антагонистических тональностях: композитор будто специально ужасал слух, чтобы передать весь кошмар трагедии, происходившей на сцене. От музыкальных инструментов требовалось проявлять невероятные способности: виолончели должны были играть как скрипки, тромбоны – как флейты, и литаврам поручалось издавать немислимые и беспрецедентные звуки. Штраус мог писать музыку для голоса так же виртуозно, как и для оркестра, и партии солистов, казалось, звучали особенно выразительно в наиболее извращенные моменты драмы. Последняя ария Саломеи над отрубленной головой Иоканаана наводила настоящий ужас на публику зловещей красотой сцены:

«Ах! Почему ты не посмотрел на меня, Иоканаан! Если бы ты увидел меня, ты полюбил бы меня. Я жажду твоей красоты; я изголодалась по твоему телу, и никакие наводнения, никакие

приливы не охладят мою страсть... Ах! Я поцеловала твои губы, Иоканаан, я поцеловала твои губы».

После того как не только в Лондоне, но и в Берлине, и в Вене отказались ставить оперу со ссылками на святотатство, 9 декабря 1905 года ее представил зрителю в Дрездене горячий поклонник Штрауса дирижер Дрезденского королевского оперного театра Эрнст фон Шух. Одноактная постановка, длившаяся один час сорок минут без перерыва, не щадила чувств человека. Публика видела крупным планом отсеченную голову Иоканаана, мертвенно-бледную, с запекшейся кровью; семь покрывал одно за другим ниспадали с тела Саломеи под плотоядным взглядом Ирода. Страшная смерть Саломеи, раздавленной щитами солдат, добавляла необходимый катарсис. Реакция публики была ошеломляюще восторженной: весь состав исполнителей и композитора аплодисментами вызывали на сцену тридцать восемь раз. С огромным успехом прошли показы «Саломеи» в других германских городах, принесшие Штраусу солидные финансовые вознаграждения, компенсировавшие потери, вызванные запретами и цензурными придирками. В Вене запрет по-прежнему действовал по настоянию архиепископа, но в Берлине, несмотря на возражения императрицы, удалось достичь компромисса наподобие согласия церкви с Песней Соломона. Представление оперы было разрешено при условии, что после смерти Саломеи на небе непременно должна появляться Вифлеемская звезда<sup>49</sup>, предположительно свидетельствующая о посмертном триумфе Иоанна Крестителя и поражении противоестественной страсти.

Кайзер Вильгельм тем не менее был недоволен. Хотя император и любил поиздеваться над придворными, испытывая на них свои грубые шутки, его нравственные принципы были в большей мере викторианские, а не эдвардианские, и женился он на девушке, считавшейся образцом немецкой буржуазной респектабельности. Кайзерина Августа, звавшаяся также Доной, была простым и добродушным существом, родившим ему шесть сыновей и дочь, не имевшим никаких интересов вне семьи и надевавшим большие шляпы с перьями по любому поводу, даже во время прогулки на яхте<sup>50</sup>. Супруг дарил ей ко дню рождения ежегодно двенадцать экземпляров, и она обязывалась их носить. Единственный след, оставленный ею в

истории, заключался в том, что по ее настоянию в спальне всегда стояла двуспальная кровать, на которой она не давала заснуть супругу разговорами о семейных делах, из-за чего он чувствовал себя уставшим и раздраженным на следующий день. Блюдя государственные интересы, канцлер Бюлов предложил поставить две отдельные кровати, но Августина была глубоко убеждена в том, что добропорядочные немецкие муж и жена должны спать вместе, и его проект не одобрили. В прошлом уже был случай, когда по требованию императрицы, оскорбленной непристойностью сюжета оперы «*Feuersnot*» («Без огня»), в которой девственница приносит в жертву свою невинность ради возвращения огня в деревню, пришлось запретить ее исполнение и принять отставку возмущенного управляющего Королевским оперным театром. Затем сам кайзер распорядился убрать императорский герб с «Немецкого театра», где шли «Ткачи» Гауптмана под бурные аплодисменты социалистов. С того времени минуло десять лет, и запрещать оперу главного композитора Германии со ссылками на нравственность означало бы подвергнуть кайзера насмешкам остряков «Кладдерадача» и других непочтительных изданий. Идя на компромисс, кайзер будто бы сказал: «Мне очень жаль, что Штраус сочинил эту “Саломею”. Она ему навредит». А Штраус в ответ изрек, что опера помогла ему построить новую виллу в Гармише<sup>51</sup>.

За пределами Германии, где ханжества было еще больше, «Саломея» «привела в смятение весь музыкальный мир». В нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» публика, собравшаяся 22 января 1907 года, ожидала, когда поднимется занавес, напряженно и «с предчувствием беды»<sup>52</sup>. Музыку критики, закончив описывать «психопатическую атмосферу, невысказанно жуткую и аномальную», оценивали как превосходную, хотя и выраженную средствами, «вызывавшими помутнение сознания и расстройство нервной системы». Тема оперы, «чуждая человечеству», характеризовалась самыми разными эпитетами: «чудовищная», «чумная», «невыносимо отвратительная», «зловонная, ядовитая и дурная». Такая «эротическая патология» неприемлема для «беседы людей, обладающих чувством собственного достоинства», а на танец Саломеи «не может смотреть ни одна уважающая себя западная женщина». Пылая «справедливым гневом», пресса пришла к единодушному выводу: популярность оперы

в Германии ничего не значит для Америки, и «Метрополитен-опера», подчиняясь общественному мнению, сняла ее с показа.

В Лондоне на протяжении ближайших трех лет даже не пытались поставить оперу<sup>53</sup>. Вначале просто не разрешили ее ставить, а потом этот барьер удалось преодолеть с помощью госпожи Асквит, которая пригласила Бичема, дирижера в «Ковент-Гарден», приехать в загородную резиденцию, чтобы заручиться поддержкой премьер-министра. Он сыграл на фортепьяно для премьер-министра марш из «Тангейзера», единственного произведения, известного господину Асквиту, заверив его в том, что любить такую музыку – вовсе не значит быть в числе филистеров, а Штраус – «самый известный и, по общему признанию, величайший из современных композиторов». Бичем убедил премьер-министра, и после консультаций с лордом-камергером в текст были внесены некоторые изменения: все похотливые причитания Саломеи были превращены в мольбы о духовном наставлении, а свою заключительную арию она должна была исполнять над пустым блюдом.

В «Саломее» Штраус нашел благодатную тему, но где найти другого Уайльда? Ему повезло: такой автор действительно появился, и с сюжетом, еще более захватывающим. Гуго Гофмансталь, молодое поэтическое дарование из Вены, уже был знаменит в свои двадцать шесть лет, когда впервые в 1900 году встретился с Рихардом Штраусом<sup>54</sup>. Внук итальянской леди, крещеный еврей с титулом барона, он воплощал космополитизм Вены. Когда шестнадцатилетний Хуго, тогда еще учившийся в гимназии, прочел свою стихотворную пьесу Артуру Шницлеру, признанному драматургу, тому показалось, что он «впервые в жизни видит перед собой прирожденного гения». Через два года, в 1892 году, Гофмансталь под псевдонимом Лорис взволновал все сообщество *Jung Wien* («Молодой Вены»), авангардистского литературного кружка, двумя стихотворными пьесами «*Gestern*» («Вчера») и «*Der Tod des Tizian*» («Смерть Тициана»). Начиная драматург продемонстрировал в своих произведениях такое знание жизни и такую утонченную жизненную утомленность, что предводителю молодых литераторов Герману Бару подумалось, будто автор – многоопытный дипломат лет пятидесяти. Он был поражен, увидев восемнадцатилетнего молодого человека, «странного юношу...



воспламеняющегося от малейшего возбудителя, но лишь своим интеллектом, так как душа у него остается холодной». Юноша, потакавший своим слабостям и в то же время «ужасно печальный и не по годам уставший от жизни», напоминал и эдвардианского Вертера, и венского Дориана Грея. Подобно Уайльду, он превосходно владел литературным языком и пользовался им, как музыкант арфой, доказав в следующей драме «*Tod und der Tor*» («Смерть и глупец»), что как поэт способен возвысить свой родной язык по благозвучию до уровня итальянского. В 1905 году Гофмансталь написал эссе об Уайльде, бессознательно подражая англичанину: «Тот, кто знает силу танца жизни, не боится смерти. Ибо он знает, что любовь убивает». Современникам он казался «абсолютным поэтическим совершенством». Как псаломщик кружка, поклонявшегося Стефану Георге в Мюнхене, фон Гофмансталь был одержим проблемами символики и парадоксов «правды масок». Как обитатель Вены, он был подвержен пессимизму, охватившему столицу старейшей империи Европы.

Вена, *Kaiserstadt*, город, где проходил конгресс, склеивший Европу после Наполеона, переживала период заката своего бывшего величия. Эпицентр многовекового смешения рас и народов и формирования альянсов разноликих и неугомонных наций, столица Австро-Венгрии столкнулась с таким множеством труднейших политических проблем, что ей было проще и легче предаваться другим занятиям — культурным развлечениям, знакомствам, любовным похождениям и флиртам — и самое серьезное внимание уделять прежде всего оттачиванию манер и музыке. Темп жизни был легкий, настроение — фривольное, состоянию духа были присущи гедонизм и беззаботный фатализм. Это был мир лотофагов<sup>[118]</sup>, «любителей вкушать лотос», «Капуя разума»<sup>55</sup>. В 1905 году императору исполнилось семьдесят пять лет, и он уже пятьдесят семь лет удерживал в одной упряжке свои строптивые владения. Его императрица-скиталица погибла от руки анархиста. Его придворные обитали в шестнадцати разных дворцовых чертогах, наслаждаясь аристократическим уединением. Это было место, где ощущалась близость конца: все это знали, и никто не осмеливался об этом говорить.

В Вене считали Берлин парвеню, грубым и неотесанным городом, и это пренебрежительное отношение выражалось в популярной песне 56.

Есть только один королевский город,  
Называют его Веной;  
Есть только одно разбойничье гнездо,  
Называют его Берлином.

В городе Бетховена главенствовали музыка и опера, и здесь простые обыватели могли с жаром обсуждать игру оркестров в Пратере. Здесь ценили искусство и людей, творящих его. Вена терпела «неряшливость в политике, в правительстве, в морали... в сфере искусства не было никакого снисхождения; искусство отстаивало честь и достоинство города»<sup>57</sup>. Это достоинство поддерживалось буржуазией и образованными евреями, ставшими новыми патронами искусства. Франц Иосиф за всю жизнь не прочел ни одной книги и питал неприязнь к музыке. Дворяне не только старались держаться подальше от искусства и интеллектуальной жизни, но опасались и презирали ее. Однако они отличались самыми утонченными манерами в Европе. Когда Теодора Рузвельта спросили, какой тип людей ему понравился больше всего во время поездок в Европу, он ответил: «Австрийский джентльмен»<sup>58</sup>.

Во внутривполитической жизни заметно ощущался антисемитизм, откровенный, хотя в большей мере рутинный, нежели страстный и пылкий. Главным антисемитом (тоже больше не в личном, а официальном плане) был благообразный и белокурый мэр Вены Карл Лугер<sup>59</sup>, возглавлявший и христианско-социалистическую партию. «Я сам решаю, кто еврей», – говорил он. Лугера еще называли *der schöne Karl*<sup>[119]</sup>, он был самым популярным человеком в городе, и его похороны в 1910 году превратились в грандиозное событие. Несмотря на социальную ущербность, евреи, составлявшие десять процентов населения Вены, были творцами ее культуры. Выдающуюся роль они играли в прессе, театре, музыке, литературе, финансах, медицине, адвокатуре. Евреями были дирижер Венского придворного оперного

театра, ведущий композитор страны Густав Малер и главный бытописатель Артур Шницлер.

Доктор, как и Чехов, Шницлер отличался такой же меланхолией, иронией и насмешливостью. За исключением трагедии «Профессор Бернгарди» о враче-еврее, так до конца и не ассимилировавшемся, все его герои – волокиты, ищущие смысл в любви, искусстве и жизни, но, как и сама Вена, всегда немножко вялые и апатичные. Они обаятельные, добродушные, умные и утонченные носители остроумия, непостоянства, бессовестности Вены и ее апатичной усталости. Герой «*Der Weg ins Freie*» («Дороги на волю») через шесть месяцев после «унылого и довольно скучного» путешествия с любовницей в Сицилию и перед расставанием с ней вспоминает: за все это время он не сделал ничего полезного, даже не записал «грустный адажио, услышанный в волнах, бьющихся о берег, однажды ветренным утром в Палермо». Он одержим чувством «призрачного и бесцельного существования». Обсуждая жаркие дебаты в ландтаге, он говорит, отвечая на вопрос: «Жаркие? Ну да, так мы называем горячность в Австрии. Люди внешне разгорячены, а внутри равнодушны».

Гофмансталь после первой встречи с Рихардом Штраусом послал ему стихотворную пьесу, которую написал для балета, обнаружив «Дионисскую красоту» в «безмолвных жестах танца». Приверженный не столько «чистому искусству», сколько добрым отношениям со Штраусом, он надеялся, что Мастер положит либретто на музыку. Однако композитор в то время был занят оперой «*Feuersnot*» и другими проектами. Идя по следу Диониса, Гофмансталь заинтересовался тематикой греческой мифологии<sup>60</sup>, соотношением сверхъестественного и животного, «сверхизобилием фаллосов», «патологией и психологией преступности» в трагедиях, возрождавшихся на театральной сцене. Он обнаружил не мраморную чистоту классической Греции, к которой привыкли люди XIX века, а ницшеанское видение демонической Греции, в которой пороки и запретные страсти, перемешанные с кровью, и породили трагедию, самое раннее свидетельство непреодолимой тяги человека к разрушению и гибели. Центральным сюжетом, которым воспользовались Эсхил, Софокл и Еврипид, была цепочка несчастий в доме Атрея – принесение в жертву Ифигении, убийство Агамемнона,

месть Электры и Ореста, выразившаяся в совершении акта матереубийства. Гофмансталь последовал примеру древних драматургов, но его «Электра» больше напоминала произведение Эдгара По, а не Еврипида, показывала готические ужасы, а не человеческую драму.

В его сценических указаниях описывался царский двор на закате солнца, где «клячья красного света, пробивавшегося сквозь листву фигового дерева, оставляли кровавые пятна на земле и стенах». Главная героиня Гофмансталя намного превосходила Саломею экстремизмом страданий и желаний: своей одержимостью мыслями о мщении и двойном убийстве – Клитемнестры и Эгиста; навязчивыми воспоминаниями о зияющих кровавых ранах – Агамемнона; маниакальной ненавистью, скрытой под сексуальностью, когда Электра заманивает жениха «с ввалившимися глазами и змеиным дыханием» в постель, чтобы он обучил ее «всему, что делает мужчина с женой». Обуреваемые взаимной ненавистью, мать и дочь ходят вокруг друг друга, как две бешеные собаки. Электра – злобная фурия, пылающая жаждой мести, ползающая по могиле Агамемнона на закате солнца, в час, когда она, «воя, оплакивает своего отца» и вместе с собаками вынюхивает, где зарыто тело. Клитемнестра выглядит почти как полусгнивший труп: у нее «мертвенно-бледное одутловатое лицо» с тяжелыми веками на глазах, которые открываются только «огромным усилием». Она одета в пурпур, усеяна драгоценностями и талисманами, ходит, опираясь на трость из слоновой кости, и ее шлейф несет «желтая фигура с лицом египтянина и повадками змея». В нее вселился страх, ее преследуют пугающие сновидения, и она, старая блудница, одержима желанием проливать кровь и приносить в жертву стада животных в надежде на то, что чья-то кровь избавит ее от ночных кошмаров. Терзают ее не мысли и не боли, но это настолько ужасающе, что душа ее «жаждет повеситься, и каждый нерв молит о смерти».

Разве не может живое разлагаться, как гниющий труп?

Разве нельзя распасться, если даже не болен?

Распасться в полном сознании, как платью, изъеденному молью?

Она казалась аллегорией Европы, а пьеса – «*Schwarzseher*», апокалиптическим предвидением бедствия. Когда Клитемнестра, отчаявшись найти средство избавления от страшных сновидений, спросила Электру – кто должен пролить кровь и умереть, чтобы она могла наконец спать спокойно, дочь Агамемнона ответила восторженно: «Чья кровь должна пролиться? Из твоего горла!.. Тени с факелами утянут тебя в свою черно-алую сеть».

Пьесу поставил в Берлине в 1903 году Макс Рейнхардт, через год после «Саломеи». Гофмансталь был морально готов к любым последствиям. Написать либретто для оперы Штрауса означало подняться «на вершину славы»<sup>61</sup>, и он очень хотел, чтобы следующим проектом композитора была «Электра». Тема Штрауса привлекала, но он колебался из-за схожести с «Саломеей» и пытался найти другой сюжет об участии человека, доведенного до трагических крайностей. «Мне надо что-нибудь действительно неистовое, вроде истории Чезаре Борджии или Савонаролы», – писал он Гофмансталью в марте 1906 года. После поездки в Гаагу, где его заворожила картина Рембрандта «Саул и Давид», Штраус предложил в качестве возможной темы «неистового Саула». Через десять дней он предложил еще один вариант: «Как насчет сюжета из Французской революции – для разнообразия?» Гофмансталь, имея на руках готовый текст, каждый раз напоминал об «Электре» и, хотя влияние Уайльда было очевидно, продолжал настаивать на том, что его пьеса – совершенно другая. Штраус все-таки поддался доводам драматурга и согласился. За время переговоров он успел сочинить пять красочных военных маршей для кайзера, за что удостоился ордена Короны третьего класса.

Пока Штраус работал над «Электрой», разразился грандиозный скандал, открывший перед общественностью гнилостность в высших эшелонах власти. В деле Эйленбурга<sup>62</sup> оказались замешанными гомосексуалисты в ближайшем окружении кайзера, но людей шокировали не столько их нестандартные наклонности, сколько придворные отношения злобы, интриг и вендетты, позорившие Германию. Три годами раньше совершил самоубийство Фриц Крупп, глава фирмы, обвиненный социалистической газетой «Форвёртс» в гомосексуальных контактах с официантами и камердинерами. На этот раз в центре всеобщего внимания оказался князь Филипп Эйленбург, бывший посол в Вене в 1894–1902 годах, крайне любезный

и образованный аристократ, старейший и ближайший друг кайзера, певший для него красивые песни, сидя за фортепьяно, и дававший ему умные советы. Он был единственным придворным, способным оказывать влияние на суверена, и, естественно, стал объектом жгучей зависти со стороны Бюлова и Гольштейна, заподозривших кайзера в намерении назначить его канцлером. Инициировал скандал Максимилиан Гарден, бесстрашный и опасный редактор еженедельника *Die Zukunft* («Будущее»), на страницах которого, как говорили, можно было узнать и все плохое, и все хорошее о Германии. Причиной и мотивацией послужило дипломатическое поражение Германии на конференции в Альхесирасе, вызвавшее волну взаимных обвинений среди министров и устранение паука Гольштейна. Он обвинил во всем Эйленбурга, хотя его смещение было тайно подстроено Бюловым. Горя желанием отомстить, Гольштейн, годами собиравший секретные полицейские сведения о своих коллегах, вступил в союз с Гарденом, чтобы погубить Эйленбурга, чье влияние на кайзера Гарден считал миротворческим и потому зловердным. Получив досье Гольштейна, Гарден начал кампанию инсинуаций, назвав сначала троих уже почтенных графов, все были адъютантами кайзера, гомосексуалистами и постепенно сосредоточившись на дружбе Эйленбурга с графом Куно Мольтке, имевшим прозвище Туту, «самым изящным генералом», командовавшим кавалерийской бригадой и гарнизоном Берлина. Кайзер сразу же отвернулся от своих друзей и заставил Мольтке подать в суд на Гардена за клевету, чего редактор и добивался, чтобы уничтожить Эйленбурга. За два года, с октября 1907-го до июля 1909 года, состоялись четыре судебных процесса, ошеломивших публику свидетельствами извращенности, шантажа и взаимной злобы и ненависти. Свидетели, в числе которых были воры, сутенеры и полные идиоты, рассказали о «мерзких оргиях» в полку гвардейского корпуса и подтвердили «аномальное поведение» Эйленбурга и Мольтке двадцатилетней давности. Известный специалист в области патологии пространно описал медицинские подробности, для дачи показаний была приглашена разведенная и мстительная бывшая супруга Мольтке, к делу подшили дополнительные обвинения в подкупе и лжесвидетельстве, сам канцлер Бюлов был обвинен в извращенности полусумасшедшим защитником прав гомосексуалистов и вынужден тоже подать на него в

суд за клевету. Вердикт первого суда в пользу Гардена был пересмотрен в обратную сторону на втором процессе и снова изменен на первый вариант третьим судебным процессом, на который Эйленбург, больной, обесчещенный и находившийся под арестом, был доставлен на больничной каталке. Общественность испытывала неловкость, опасаясь, что свершилась несправедливость, читателям *Die Zukunft* внушили, будто повсюду одни извращенцы и нанесен ущерб престижу кайзера и двора. Тем временем в Вене поднялся скандал вокруг брата императора эрцгерцога Людвига Виктора, известного также под именем Луци-Вуци, и его связей с массажистом.

В Англии за два месяца провели три суда над Оскаром Уайльдом: истеблишмент повернулся к нему спиной и изничтожил его. В Германии судили сам истеблишмент. Где-то посередине этого разбирательства, в октябре 1908 года, произошел казус с интервью кайзера газете «Дейли телеграф» по международным проблемам, в котором он выразил более обыкновенного неблагоприятные мнения, пропущенные Бюловом и вызвавшие в других странах где ярость, а где и насмешки, а дома в Германии сомнения в здравом уме монарха. Некоторые деятели даже потребовали его отречения. Бюлов, проявляя, как ему казалось, гибкость, фактически извинился перед рейхстагом за оплошность суверена, чего самодержец ему не простил. Оскорбленный и возмущенный, кайзер удалился в поместье своего друга князя Фюрстенберга, где в ходе вечернего веселья граф Хюльзен-Хеслер, глава военного кабинета, появился в балетной розовой юбке-пачке, с венком из роз и «танцевал прекрасно», доставляя всем большое удовольствие. Закончив танец, он упал замертво от сердечной недостаточности<sup>63</sup>. К тому времени, когда прибыли врачи, наступило трупное окоченение, и оставалось лишь с немалым трудом снять с него балетный костюм и надеть военное обмундирование. Для кайзера это был очень несчастливый год, хотя через шесть месяцев он получил некоторое удовлетворение, заставив Бюлова уйти в отставку.

После скандала, запятнавшего репутацию правящей касты, она стала еще более спесивой и заносчивой. В кругах воинствующих экстремистов распространялись мнения, благожелательно характеризующие кронпринца, странное напыщенное существо, которое льстецы убеждали в сходстве с Фридрихом Великим, и лицами они действительно были похожи. В негласной дуэли царствующий

монарх и его старший сын, Вильгельм II и «меньшой Вилли», старались превзойти друг друга в величественности. «Я всегда в доспехах», – одно из громких высказываний кайзера того периода. Нация, сознающая свое могущество, могла претендовать и на безграничное величие. Немцы верили, что их страна – самая могущественная военная держава в мире, а они – самые успешные купцы и банкиры, освоившие все континенты, финансирующие турок, прокладывающие железную дорогу из Берлина в Багдад, торгующие уже и в Латинской Америке, оспаривающие морское владычество Великобритании, и в интеллектуальной сфере планомерно, в соответствии с концепцией *Wissenschaft*, развивающие все направления человеческого знания. Они заслуживали и чувствовали себя способными быть властителями мира. Они могли реализовать идею правления лучшими особями человечества. К тому времени Ницше, как писал Брандес в 1909 году, завладел умами соотечественников. Им не доставало, и они этого страстно желали, только одного: миру надо было признать их право на господство. До тех пор пока им в этом будут отказывать, у них будет возрастать раздражение и желание добиться признания мечом. Разговоры о войне приняли обыденный характер. Когда стипендиаты Родса, присланные кайзером, напивались, они угрожали оксфордским студентам «вторжением и поркой солдатами германской армии»<sup>64</sup>. В 1912 году генерал Бернгарди, ведущий военный эксперт эпохи, опубликовал книгу с красноречивым названием – «Германия и следующая война».

Другая Германия, умная, сентиментальная и либеральная, сгинула еще в 1848 году и с того времени больше не возрождалась, а затаилась, довольная хотя бы тем, что может презирать милитаризм и материализм и утешаться возвышенными духовными ценностями. Это была каста профессоров, церковников, докторов и адвокатов, считавших себя *Geistaristokratie* («аристократией ума»), возвышавшейся над пошлыми богатеями, пошлыми дворянами и пошлыми массами. Они не интересовались социальными проблемами и политикой, а находили удовлетворение в преданности идеалам либерализма, не выходявшего за пределы их жилищ, не участвовавшего в битвах и выражавшегося в абстрактной оппозиции режиму, кайзеру и рассматривании антимилитаристских карикатур в «Симплициссимусе». Типичным их представителем был профессор



философии Георг Зиммель, чьи лекции в комнате, выходившей окнами на улицу Унтер-ден-Линден, совпадали по времени со сменой караула. При первых звуках военного оркестра профессор Зиммель<sup>65</sup> внезапно замолкал и стоял, не шелохнувшись и выражая всем своим видом «чувства глубочайшего отвращения и стоических страданий до тех пор, пока не исчезал этот низменный грохот». Только тогда профессор начинал говорить снова.

Две Германии встретились на праздновании столетия Берлинского университета в 1910 году<sup>66</sup>. Академическому сообществу пришлось пережить вторжение усатого монарха в позолоченной кирасе и лейб-гвардейском шлеме с золотым орлом, его свиты в красочной униформе и оглушительного хора тромбонов. Интеллектуалы с удовлетворением убедились в том, что кайзер «выглядит даже хуже, чем на карикатурах», и в разговорах выражали надежду на то, что такое вторжение не состоится в ближайшие сто лет.

Штраус закончил писать партитуру в сентябре 1908 года, при этом издатели буквально выхватывали у него из рук готовые листы. Предвкушая очередной *success de scandale*<sup>[120]</sup>, они заплатили ему сразу 27 000 долларов, почти вдвое больше, чем за «Саломею» (15 000 долларов), обеспечив таким образом годовой доход за музыку в размере 60 000 долларов<sup>67</sup>. Страсть к сенсациям вошла в привычку, и четыре города боролись за то, чтобы удостоиться чести провести у себя премьеру. Штраус, благодарный Шуху, предоставил это право Дрездену, где решил устроить фестиваль, включив в программу «Саломею», «Без огня», «Домашнюю симфонию» и два показа «Электры» – пять музыкальных вечеров подряд.

Репетиции новой оперы проходили в атмосфере ажиотажа: во все вкладывалось больше величия, шума, неистовости и страсти, чем могло быть в реальной жизни<sup>68</sup>. Партитура требовала самый большой оркестр: шестьдесят два струнных инструмента, включая восемь басовых виолончелей, и сорок пять духовых инструментов, включая шесть бас-труб и контрабас-тубу, плюс шесть-восемь литавр и турецкий барабан, всего сто двадцать инструментов. Одноактная опера исполнялась два часа без антракта, и Электра все это время должна была находиться на сцене. Ее партия была больше, чем все пение Брунгильды в тетралогии «Кольцо Нибелунга», а ее вокальные интервалы считались «непригодными для исполнения». Партию

Клитемнестры создала Эрнестина Шуман-Хейнк, которой она показалась настолько «ужасной и самоубийственной», что певица больше ее никогда не исполняла. В отдельных местах, где от нее требовалось перекрывать оркестр и петь фортиссимо, Штраус из переднего ряда партера кричал, невзирая на क्रомешный гвалт: «Громче, громче, говорю я! Я все еще могу слышать голос Хейнк!»

Драматические события, происходившие в 1500 году до н. э., Штраус хотел отобразить «точно и реалистично», настаивая на том, чтобы Клитемнестра приносила в жертву настоящих баранов и быков. «*Gott in Himmel!*»<sup>[121]</sup> Штраус, вы с ума сошли? – стонал режиссер. – Подумайте о затратах! Об опасностях! Как они могут себя повести, когда заиграет ваша дикая музыка? В панике они будут метаться, ринутся в оркестр, поубивают музыкантов, порушат ценнейшие музыкальные инструменты». Штраус был непреклонен. Призвали на помощь фон Шуха. После долгих споров Штраус все-таки пошел на уступки, отказавшись от быков и удовлетворившись баранами. Такого же реализма он добивался и в музыке, переводя литературные детали в музыкальные образы. Позвякивание браслетов Клитемнестры блестяще имитируют ударные инструменты; когда Клитемнестра говорит о штормовой ночи, буря бушует и в оркестре; когда животных ведут к месту жертвоприношения, от звучания множества копыт у слушателя возникает непроизвольное желание отойти в сторону; когда описывается скользкая лужа крови, такая же картина воссоздается оркестром. Его техническое мастерство казалось сверхъестественным, а отношение к музыкальным законам было еще менее почтительное, чем когда-либо. Как говорил сам Штраус, «я дошел до крайних пределов гармонии и психической полифонии и рецептивных способностей слуха современного человека».

На премьеру 25 января 1909 года<sup>69</sup> собралась представительная международная аудитория, включая оперных режиссеров из всех стран континента и, согласно, возможно, преувеличенным данным одного репортера, «двести видных критиков». «Вся Европа здесь», – гордо сказал швейцар отеля Герману Бару, приехавшему из Вены.

Без увертюры или прелюдии поднялся занавес, и оркестр бурно сыграл тему Агамемнона, прозвучавшую подобно ударам молота судьбы в огромные львиные ворота Микен. Еще ни одна опера не начиналась так оглушительно. Когда занавес опустился через два часа

демонического напряжения, публика несколько секунд сидела в молчаливом оцепенении, пока не пришли в себя и не начали аплодировать «штрауссины». Группа оппозиционеров попыталась свистеть, но основная масса вела себя смирно, и верх одержала клака, устраивая многократные вызовы исполнителей на сцену и овации композитору. Жестокость либретто и попрание музыкальной формы, как обычно, вызвали острую полемику. Некоторые критики вообще отказались признавать сочинение Штрауса музыкой. «На самом деле, многим серьезным людям могло показаться, что Рихард Штраус психически нездоров», – написал один озадаченный слушатель. Однако уже после второго и последующих показов в Берлине, Мюнхене и Франкфурте, состоявшихся на протяжении месяца, стало очевидным непревзойденное мастерство Штрауса в музыкальном отображении человеческого страха, ужаса и неминуемости убийства.

Герману Бару показалось, что музыка «Электры» отразила нечто зловещее в современной жизни, гордыню, порожденную безграничной властью, неповиновение и пренебрежение существующим порядком, «завлекающее обратно в хаос», а в образе Хрисофемиды – желание простого и умиротворенного чувства. Опера задела его до глубины души, но он считал, что провел «чудесный вечер», и вернулся в Вену в приподнятом настроении. Именно такое очищение души и предписывал Ницше.

В Лондоне опера появилась через год, в феврале 1910 года, но она уже пользовалась дурной славой, и музыкальные баталии там гремели задолго до того, как прозвучали первые ноты<sup>70</sup>. Штраус решил сам дирижировать первыми двумя представлениями, затребовав гонорар по 200 фунтов стерлингов за каждое выступление. Критика «Дейли мейл» поразила умеренность его жестов. «Высокий бледный господин с гладким челом», время от времени поглядывавший своим синевато-стальным взглядом на певцов и музыкантов, управлял оркестром с совершенно неподвижной головой и локтями, будто заклепками прибитыми к телу. «Он напоминал математика, выписывающего на классной доске формулы и превосходно знающего свое дело». «Таймс» назвала оперу «непревзойденным по отвратительности творением во всей оперной литературе», хотя «Дейли телеграф» сообщила, что в «Ковент-Гарден» еще не видели «такого безудержного энтузиазма». Развернувшаяся полемика возбудила большой общественный интерес,

заставивший Бичема продлить сезон. С его точки зрения, если не считать смерти короля Эдуарда VII, случившейся через несколько месяцев, то опера Штрауса была главным и «самым обсуждаемым» событием года. Дело в том, что к этому времени за пределами Германии «Электру» уже слушали в политическом контексте. Джордж Бернард Шоу, считавший причиной нападок на «Электру» антигерманскую истерию, теперь ударился в другую крайность. В статье для «Нейшн» он написал: если когда-то я мог сказать, что наш весомый аргумент против дураков и менял, пытающихся втянуть нас в войну с Германией, состоит из одного слова – Бетховен, то теперь я с равной убежденностью могу назвать и другое слово – Штраус». Он назвал «Электру» «высочайшим достижением высочайшего искусства», а ее показ в Лондоне «величайшим событием в истории искусств в Англии, какое может не повториться при нашей жизни».

Штраус понимал, что «Саломеей» и «Электрой» он достиг предела в этом жанре. Внезапно, как и после «Жизни героя», он решил попробовать себя в другой теме – в жанре комической оперы в стиле «Женитьбы Фигаро» Моцарта – и доказать, что способен на все. Гофмансталь в начале 1909 года уже работал над проектом «совершенно оригинального» сценария, построенного на сюжетах Вены XVIII века, предоставлявших неисчерпаемые возможности для изображения «шуточных ситуаций и персонажей», для бурлеска, лирических мелодий и юмора. Получив описание первой сцены, восхищенный Штраус ответил: «Она сама ложится на музыку, как масло». Переписываясь весь 1909 год и первую половину 1910 года, либреттист и композитор сочинили новую оперу – «*Der Rosenkavalier*» («Кавалер розы»).

Партию юноши должна была петь женщина, одетая мужчиной. *Hosenrolle* (брючная роль) для женщин была расхожим театральным трюком, которым воспользовался и Моцарт в образе Керубино, но Гофмансталь и Штраус несколько иначе подошли к роли Октавиана, не в последнюю очередь из-за желания приятно позабавить публику. После того как в прелюдии реалистически описаны наслаждения полового акта, поднимается занавес, публика видит в постели маршальшу и ее юного любовника и тут же обнаруживает, что это две женщины, приходя в восторг, запланированный авторами. Идея

принадлежала Гофмансталу. Штраус позднее объяснял, что трюк был необходим, поскольку невозможно найти вокалиста с достаточным актерским опытом для исполнения роли Октавиана<sup>71</sup>. «Кроме того, – признавался он чистосердечно, – написать музыку для трех сопрано – задача не из легких». Он прекрасно с ней справился, особенно в последнем акте, когда три сопрано поют совершенно изумительную арию. В «Электре» мужских партий немного, в опере «Кавалер розы» всего лишь одна мужская партия – грубого распутника, появляющегося на сцене или в неприятном, или в нелепом и смешном виде. Барон Окс выражает немецкие понятия о комизме. Штраус писал Гофмансталу, что ему «недостает действительно комичных ситуаций – все забавно, но не смешно». Он хотел, чтобы публика смеялась: «Смеялась! А не улыбалась или ухмылялась».

Естественно, присутствуют обязательные животные – собака, обезьяна и попугай. Штраус все-таки потребовал от Гофмансталя любовную сцену Софи и Октавиана, чтобы он мог написать дуэт, «гораздо более страстный... чем тот, который уже есть, скучный, робкий и манерный». Либреттист ответил обидчиво: эти два существа не имеют ничего общего с Валькирией или с Тристаном и Изольдой; он хотел всеми силами избежать того, чтобы они исполняли нечто вроде вагнеровских эротических воплей. Его ответ вряд ли назовешь тактичным, и несовместимость темпераментов композитора и либреттиста становилась все более очевидной. В действительности в опере нельзя не заметить штрихи Тристана, не говоря уже о заимствованиях у Моцарта и даже Иоганна Штрауса. Безвкусицей и анахронизмом звучал венский вальс, неизвестный в XVIII веке.

К апрелю 1910 года была готова к печати партитура второго акта, когда Штраус получил либретто третьего действия. Эпизоды, придуманные для изображения затруднительных положений, в которые попадает барон Окс, явно навеяны «Виндзорскими кумушками» с одной лишь разницей: в отличие от Фальстафа, Окс остается неизменно непривлекательным типом. К концу лета опера была завершена, и 26 января 1911 года, через два года после «Электры», в Дрездене состоялась премьера «Кавалера розы». С той поры она почти не сходила с оперной сцены. Композитор и либреттист насытили ее всеми прелестями в высшей степени цивилизованной Вены. Мастерство, изобретательность, дерзость – и двойственность натуры –

все это так или иначе нашло отражение в композиции. Только исключительный дар музыкального экспрессионизма мог передать беззаботную суматоху домашних приемов XVIII века, влюбленность юности, комизм дуэльного страха, грусть самоотречения маршальши вперемешку с грубыми шутками и скабрёзным юмором.

В 1911 году Штраус находился на вершине мирового музыкального искусства, был самым известным из современных композиторов, «одним из тех», как писал биограф музыкантов Рихард Шпехт, «без кого мы не можем представить себе нашу духовную жизнь». Хотя вместе с Гофмансталем он приступил к работе над новой оперой – «*Ariadne auf Naxos*» («Ариадна на Наксосе»), Штраус прошел свой пик и триумфы остались позади.

В 1908 году красочной сказочной жар-птицей в Париж впорхнул Русский балет Сергея Дягилева, покоровший весь западный мир. Русский сезон был триумфом пламенной и трепетной чужеземной красоты, еще одной «ослепительной вспышкой молнии с севера». Это был не надоевший рутинный классический балет, а освежающий фестиваль музыки современных русских композиторов, оригинальных либретто, изящной хореографии и живописной сценической композиции, составленной, казалось, из драгоценных камней, украшавших необыкновенно совершенную и страстную пластику танца. Танцовщик-мужчина на сцене больше не выступал лишь в роли *porteur* («носильщика») балерины, а исполнял сольные номера, как ветер будоражил все действие, приносил в него силу, скорость и энергию. Самым известным тогда был Вацлав Нижинский. Когда он делал свой знаменитый прыжок и на какое-то мгновение замирал в воздухе, публика знала, что видит «само совершенство» и величайшего *ballon*, прыжка с зависанием, танцовщика всех времен. Он был ангелом, гением, Аполлоном движения. Он завоевывал сердца. Русская труппа покорила Париж. Любители балета предвещали закат оперы. «Казалось, – писала графиня де Ноай, – будто что-то очень новое добавилось к сотворению мира на седьмой день»<sup>72</sup>.

Новые явления в искусстве возникали повсюду. На Осенних салонах в 1905 и 1906 годах фовисты («дикие звери») во главе с Анри Матиссом разгульными цветовыми гаммами и искаженными формами продемонстрировали новый тип живописи, независимой от природы. В

1907–1908 годах Пикассо и Брак, обнаружив новую реальность в геометрических фигурах, придумали кубизм. Фернану Анри Леже пришлось по душе машинные очертания, и у него появились свои последователи. В Германии зародилась школа экспрессионистов, занимавшихся поисками способов эмоционального воздействия посредством гиперболизации или извращения природы. Двое американцев внесли свою лепту в крушение старых моделей: Фрэнк Ллойд Райт в архитектуре жилья и Айседора Дункан, гастролировавшая по Европе в 1904–1908 годах, в танце. Роден, имевший в виду свою сферу интереса, но провозглашавший цели для всего искусства, говорил: «Классическая скульптура интересовалась логикой человеческого тела, меня же интересует его психология»<sup>73</sup>. Исследуя ту же проблему, Марсель Пруст в 1906 году укрылся в закупоренной комнате, чтобы написать «В поисках утраченного времени», а Томас Манн создал психологическую новеллу «Смерть в Венеции». В Блумсбери Литтон Стрейчи сочинял биографии нового типа. Московский художественный театр демонстрировал новый стиль актерской игры. Ирландский ренессанс процветал в произведениях Йейтса и Э. Дж. Синга, доказавшего в пьесах «Скачущие к морю» («*Riders to the Sea*») и «Удалой молодец, гордость Запада» («*The Playboy of the Western World*»), что после Шекспира только он способен сочинить в равной мере превосходные и трагедию, и комедию. Эпоха бурлила поисками новых форм и сфер воображения и применения человеческих сил. Когда Блерио 25 июля 1909 года перелетел через Ла-Манш, подтвердив реальность воздухоплавания, начатого братьями Райт, казалось, что он уничтожил границы пространства, и у всех в Европе его триумф вызывал чувства, «такие же волнующие, как в полете»<sup>74</sup>.

Все эти новые ощущения воплощались в русском балете. То, что он представлял имперскую Россию, которую считали варварской и отсталой, казалось не менее странным, чем царские призывы к разоружению. Большой интерес ко всему русскому породили францужско-русский альянс и Всемирная выставка 1900 года, побудившая предприимчивого Дягилева устроить в 1906 году в Париже экспозицию искусства. При покровительстве великого князя Владимира, посла России во Франции Извольского и графини Греффюль он смог заполнить двенадцать комнат картинами,

скульптурами, иконами, парчой и сокровищами Фаберже из музеев и императорских и частных коллекций. На следующий год Дягилев организовал великолепные музыкальные концерты: Римский-Корсаков дирижировал оркестром, исполнявшим его произведения, Рахманинов сам исполнял собственный концерт для фортепьяно, Иосиф Гофман сыграл на фортепьяно концерт Скрябина, изумительный бас Шаляпин пел арии из «Князя Игоря» Бородина и «Бориса Годунова» Мусоргского. Вдохновившись восторженным приемом, Дягилев задумал провести отдельный сезон русского балета и оперы. Русский императорский балет предоставил ему ведущих артистов Анну Павлову, Нижинского, Адольфа Больма, Тамару Карсавину и хореографа Михаила Фокина. Для создания декораций и костюмов Дягилев смог привлечь к сотрудничеству замечательный, первобытный талант Леона Бакста и выдающихся живописцев Судейкина, Рериха, Александра Бенуа. Сенсацией первого сезона стала «Клеопатра», музыка для которой была составлена из произведений по меньшей мере пяти русских композиторов. Русские музыкальные мотивы перемешивались с египетскими и персидскими мелодиями, и нильскую чародейку затмевала красотой Ида Рубинштейн, возлежавшая на паланкине в окружении вакханалии из вуалей и листьев роз, скрывавших то, что она еще не была в полной мере обучена танцам. Но для парижан она оказалась «необычайно хороша, почти как настоящие духи»<sup>75</sup>.

Каждый год на протяжении последующих шести лет Русский балет возвращался в Париж с новыми постановками, революционизировавшими хореографию и театральное декоративное искусство. Музыку исполнял полный оркестр, которым дирижировал Пьер Монте. Репертуар дополнился новыми операми – «Хованщиной» Мусоргского, «Садко» и «Иваном Грозным» Римского-Корсакова. Павлова ушла из труппы, но в 1909 году, танцуя в «Сильфидах», она продемонстрировала такое же совершенство, какое «показал Расин в поэзии», а Карсавина была воплощением «изысканного единения классической традиции и революционного артистизма». Для музыки к этому балету двадцатилетний Игорь Стравинский, ученик Римского-Корсакова, оркестровал две фортепьянные композиции Шопена: «Ноктюрн» и «Бриллиантовый вальс». Дягилев пригласил молодого музыканта, восхитившись исполнением его первого



оркестрового произведения в Санкт-Петербурге в 1908 году. По контрасту с классической утонченностью «Сильфид» Фокин поставил свирепые «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» на основе татаро-монгольских мотивов, отраженных и в музыке, и в плясках диких азиатских орд на фоне унылых серых и красных тонов, низких округлых шатров и столбов дыма, поднимающихся над бескрайним горизонтом степей.

Особую эмоциональность балетным сценам придавала опьяняющая зрелищность декораций, костюмов и цветовой гаммы, применявшейся Бакстом. На сцене появляются и гурии султанского гарема из сказки «Тысячи и одной ночи», и вакханки с греческих амфор, и русские бояре в сапогах, и коломбины из «комедии дель арте», и лесные создания темно-бордового, зеленого и золотистого цвета, предполагающего «необыкновенную красоту пятнистых питонов», и игроки в теннис в современном платье. Бакст вдохновил творчество Поля Пуаре и на пять лет определил женскую моду. Обсуждая с коллегами постановку балета «Шехерезада» Римского-Корсакова, рыжеволосый Бакст, элегантный и надушенный господин, вскакивал на стул <sup>76</sup> и объяснял с характерным гортанным акцентом, как янычары султана должны рубить всех на куски: «Всех, и его жен, и всех их черных любовников!» Для «Шехерезады»<sup>77</sup> он создал художественное оформление, иллюстрирующее «ужасные деяния похоти и жестокости». Фокин с энтузиазмом воплотил их в танце черных рабов, которых евнухи по настоянию жен султана освобождают из золотых клеток, и те кидаются на изнывавший от страсти гарем в танце, выражавшем оргию «спазмов вожделения». Сексуальность – неперемнная и излюбленная особенность балета. Для «Тамары», кавказской царицы, Клеопатры *à la russe*, Бакст придумал средневековый замок на берегу реки, в которую должны падать отвергнутые любовники. В роли соблазнительницы Карсавина, хрупкая, похожая на цветок, изображала порочность, как писали критики, с «очень большой долей правдоподобия»<sup>78</sup>.

Когда Римский-Корсаков умер в 1908 году, Стравинский написал «Погребальную песнь» для мемориального концерта в Санкт-Петербурге. Ода произвела на Дягилева большое впечатление, и он попросил Стравинского написать музыку для балета, основанного на русской сказке о царевиче Иване и Жар-птице. Сказочный сюжет о

злом колдуне Кощее Бессмертном и двенадцати прекрасных спящих царевнах позволил композитору создать партитуру, насыщенную изумительными смешанными ритмами, прекрасными мелодиями, потусторонними звуковыми образами заколдованного царства и бешеным темпом плясок его демонов. С Большом в роли царевича и Карсавиной в роли Жар-птицы первое представление балета состоялось в июне 1910 года<sup>79</sup>, и для Стравинского это было первое выступление за пределами России. Дебюсси помчался за кулисы, чтобы обнять его. Публика с восторгом приняла музыку, современную и не доставлявшую неудобств. Дягилев отовсюду получал поздравления и сразу же заказал Стравинскому музыку для балета к следующему сезону. Его уже очаровала пьеса для фортепьяно и оркестра, написанная Стравинским о приключениях Петрушки, «бессмертной и несчастной куклы, героини любой ярмарки в любой стране». Вместе они разрабатывали балетные сцены: карнавала на ярмарочной площади, толп и балаганов, фокусника с его трюками, цыган и дрессированного медведя, кукольного представления с оживающими куклами, безответной любви Петрушки к балерине и его смерти от рук соперника-мавра.

Музыка «Петрушки», пронизанная жизнеутверждающей силой, была близка русскому человеку: в ней слышались народные мотивы, нотки юмора и сатиры, терзающая душу грусть шарманки. Подобно Штраусу, Стравинский пренебрегал развитием темы, но в традициях не Германии, а русской «пятерки»<sup>[122]</sup>. Фактически он вступал в конфликт с сущностной природой музыки, традиционно строившейся на основе развития и повторения, стремился к сжатости и точности, как говорил композитор, более «четкому выражению в его простейших формах»: «Мне нет нужды решать проблемы драматической музыки. Надо уметь чувствовать и передавать чувства».

«Петрушка» успешно справился с этой задачей, и Париж вместе с Дебюсси признал: в мире появился самообытный и великий композитор. Нижинский в роли куклы разбил сердца парижан. Брошенный хозяином в черную коробку, пытающийся вырваться и размахивающий негнушимися руками, трогательный в своей любви и неистовый в зависти, Петрушка был награжден восторженными овациями, что имело немаловажное значение для сезона в Лондоне.

Англия приняла Русский балет с таким же восторгом, как и Франция. Чудесное коронационное лето 1911 года вызывало у всех желание «радоваться жизни»<sup>80</sup>. Жара побила все рекорды, везде устраивались празднества, аэропланы садились на загородные лужайки, всех возбуждали новые ощущения полета, но в центре всеобщего внимания был Русский балет. Он возродил «благородную первооснову танца», написала Эллен Терри. Русская хореография «открыла гармонию искусств». Общество, интеллектуалы, толпы людей с претензиями на художественный вкус заполняли «Ковент-Гарден» «вечер за вечером», «в транс». Всех восхищал Нижинский в любой роли: и как грустная кукла, и как черный раб в серебряных шароварах в «Шехерезаде», и как Пьеро, под музыку Шумана преследующий в саду, освещенном свечами, танцовщиц, одетых бабочками, и как Синий бог, поднимающийся из лотоса в китайской заводи под музыку Рейнальдо Ана, друга Пруста, и как призрак розы, вылетающий из окна в знаменитом прыжке, побудившем многих говорить о том, что его стихией является воздух. Он не понимал по-английски и едва мог изъясняться на французском языке, но всегда был самым желанным гостем на званых обедах, бессловесный, но мило улыбающийся симпатичный молодой человек.

Подобно Штраусу, увлекшись триумфами и жаждой новых ощущений, Дягилев все-таки шокировал Париж в 1912 году. Он поставил два новых балета на музыку французских композиторов. Музыку к балету «Дафнис и Хлоя», написанную Морисом Равелем специально для этого сезона, Стравинский назвал «одним из самых превосходных сочинений французского композитора». «Послеобеденный отдых Фавна» Дебюсси, произведение, уже известное, вызвал скандал по причинам, далеким от музыки<sup>81</sup>. Фавном был Нижинский в трико, прилипающем к коже и разукрашенном крупными звериными пятнами, с маленьким хвостом, париком из мелких, туго сплетенных золотистых локонов и двумя завитыми рожками. Балет длился двенадцать минут, в течение которых он гонялся за нимфами в греческих туниках, а когда от него убежала последняя из них, схватил брошенную нимфой вуаль и упал на нее, совершая движения сексуального характера. Хореографом в данном случае был сам Нижинский. Занавес опускался в сопровождении гиканья, свиста, оскорбительных возгласов и неимоверного гама, в

котором можно было услышать и крики *épatant!* («потрясающе!») и *Bis, bis!* Повинуясь призывам, труппа повторила балет от начала до конца «в обстановке неопишемого хаоса». Наутро Гастон Кальметт, редактор газеты «Фигаро», опубликовал на первой полосе редакционную статью под заголовком *Un Faux Pas* («Бестактность»), резко осуждавшую «экстраординарную демонстрацию сексуального скотства и бесстыдства» и требовавшую запретить последующие спектакли. В целом соглашаясь с «Фигаро», но с меньшей эмоциональностью, «Галуа» назвала последний жест *de trop* («излишним»), а «Тан», как всегда не забывая о корректности, отметила «справедливое недовольство» французов «этим достойным сожаления актом». Молниеносно распространилась информация о том, что префект полиции по запросу редактора «Фигаро» выпустил предписание о запрете последующих показов балета. В клубах, салонах, кафе и коридорах палаты депутатов все разговоры велись только об этом событии. Взволнованный русский посол Извольский хотел выяснить, действительно ли «Фигаро» выступает против французско-российского альянса? На следующий день «Матен» опубликовала письмо Родена, восхвалявшего Нижинского за возрождение «свободы инстинкта» и «человеческих чувств» в танце. Теперь полемика перекинулась на Родена, но его сторонники выпустили манифест, который подписали Жюль Леметр, Морис Баррес, Анатоль Франс, Октав Мирбо, экс-президент Лубе, бывшие премьер-министры Клемансо, Леон Буржуа и Бриан, а также посол Извольский и барон д'Эстурнель. Принципиальный Жан Форен поместил в «Фигаро» карикатуру на Родена. Спрос на билеты невероятно возрос, но скандальный жест был аннулирован, и Фавн лишь с грустью и сожалением взирал на вуаль.

В Вене из-за войны на Балканах и антипатии к славянам едва удалось избежать полного фиаско<sup>82</sup>. На репетициях оркестр Венской королевской оперы, который был способен исполнить все что угодно, играл русскую музыку с демонстративным отвращением и преднамеренными ошибками. Монте растерялся, а когда разъяренный Дягилев громко высказался по поводу «этих свиней», музыканты положили свои инструменты и покинули сцену. Только после извинений Дягилева на следующий день конфликт был урегулирован. В Берлине кайзер присутствовал на показах «Клеопатры» и «Жар-

птицы»<sup>83</sup>. Явно отдав предпочтение «Клеопатре», он вызвал к себе Дягилева и сказал, что пошлет на спектакль своих египтологов: по всей видимости, у императора создалось впечатление, будто фантастический декор Бакста соответствует реальности, а русское попури отражает реальную музыку птолемеевского Египта.

Штраус тоже побывал на спектакле, похвалил Стравинского, дополнив комплимент полезным советом. Имея в виду загадочно-приглушенное начало «Жар-птицы», когда царевич входит в заколдованный лес, он поучительно сказал: «Вы совершаете ошибку, начиная вашу музыку пианиссимо; публика не слышит. Вы должны ошеломить ее внезапным грохотом. Тогда она пойдет за вами куда угодно, и вы можете делать с ней все, что захотите».

Ясно, что у Дягилева не могла не возникнуть заманчивая идея привлечь к сотрудничеству Штрауса, а популярность Русского балета, в свою очередь, заинтересовала фон Гофмансталя, который и начал переговоры. Получив от Дягилева финансовые условия, он предложил Штраусу балет об Оресте и фуриях, в котором Нижинский изобразит «ужасное деяние и ужасные страдания» героя, а фурии набросятся на него «страшно и торжествующе» в завершающем танце агонии разрушения. Тема была далеко не новая, но Гофмансталь настойчиво убеждал, что она дает возможность написать «чудесную, мрачную и грандиозную музыку... подумайте и, пожалуйста, не отказывайтесь». Он приложил финансовые условия, которые Дягилев «пожелал представить на ваше рассмотрение». Когда Штраус без промедления отверг идею, Гофмансталь предложил либретто об Иосифе и жене Потифара, уже написанное совместно с графом Гарри Кесслером, германским литератором, дилетантом в политике, покровителем искусств, подобно многим немцам, разделявшим либеральные помыслы и не находившим себе места на государственной службе. Оказывая нажим на Штрауса, Гофмансталь писал: если он откажется, то Дягилев – ему либретто понравилось – пригласит русского или французского композитора. Эта аргументация подействовала. «Иосиф великолепен, – ответил Штраус. – Я берусь. Уже начал делать эскизы».

Вскоре возникли проблемы. Либретто, написанное двумя искусственными авторами, в сущности, являлось метафизической версией истории об Иоанне Крестителе и Саломее с Иосифом в роли богоискателя, «чье таинство заключалось в способности возвращать и

превращать, чья святость заключалась в сотворении и порождении, в совершенствовании того, чего еще нет». Его пытается соблазнить чувственная женщина, преследуемая навязчивым «видением божества, которым она не может овладеть». Прямо скажем, все эти идеи не очень пригодны для отображения в музыке, тем более – в танце. Испытывая неловкость, Штраус ответил: «Целомудренный Иосиф – вовсе не в моем вкусе, а если что-то на меня наводит тоску, то мне очень трудно положить это на музыку». Он пожаловался, что в балете Иосиф лишь отвергает посягательства царицы, и «этот богоискатель доставит до черта хлопот». Гофмансталь объяснял: в сопротивлении Иосифа выражена борьба «обостренного интеллекта» мужчины со страстным желанием женщины его сломать. Доводы либреттиста несколько не изменили неприязненного отношения композитора к сюжету. Первые эскизы, сыгранные для Гофмансталя в декабре 1912 года, «встревожили» автора и создали у него впечатление, «будто что-то произошло между нами и это должно скоро проявиться». Некоторое время он продолжал уговаривать Штрауса не ограничивать себя рамками балета и писать «вольно, как Штраус, выражать свою индивидуальность, пользуясь полной свободой полифонии и модернизма в самой дерзкой и эксцентричной манере, отвечающей вашим желаниям». Иосиф тем не менее оставался таким же целомудренным, и Штраус не вдохновлялся. Тем временем Дягилев подготовил другую премьеру к сезону 1913 года.

Это была «*Le Sacre du Printemps*» («Весна священная») Стравинского<sup>84</sup>. Тема простая и вечная: омоложение земли весной. Она воплощалась в форме языческих обрядов, во время которых жертвенная девушка в танце умирает, чтобы обновить жизнь земли. По контрасту с изощренной софистикой «Иосифа» сценарий Стравинского служил обрамлением для танца и музыки. Стравинский начинал не оглушительным взрывом, как советовал Штраус, а неспешным трепетом деревянных духовых инструментов, внушавшим мысли о тайне физического зарождения надежды. Когда занавес поднимался над языческими играми и плясками, музыка становилась неистовой и вибрирующей, насыщенной первобытными мотивами, призывными звуками труб, машинными тактами, джазовыми ритмами и беспощадным барабанным гулом, никогда прежде не использовавшимся с такой силой и страстью. В кульминации она будто

провозглашала пришествие нового века. Она звучала освящением XX столетия. Стравинский в одном порыве поднялся на вершину современного музыкального искусства. Его «Весна» стала таким же символом XX века, каким считается *Eroica*, Героическая симфония Бетховена, для XIX столетия, оставаясь в такой же мере непревзойденным музыкальным произведением.

Премьера, состоявшаяся под управлением Монтё 28 мая 1913 года, вызвала настоящий бунт в театре. Отказ от понятной гармонии, мелодии и структуры воспринимался как музыкальный анархизм. Публике показалось, что она присутствует при святотатственной попытке уничтожить музыку как искусство, и она разразилась гиканьем, свистом и саркастическим смехом. Сразу же поднялась ответная буря одобрительных возгласов. Один молодой человек настолько разволновался, что начал отбивать кулаками ритмы на голове американца, который был тоже возбужден до такой степени, что «какое-то время даже не замечал ударов». Изысканно одетая леди, сидевшая в ложе, вдруг поднялась и ударила по щеке джентльмена, свистевшего в соседней ложе. Сен-Санс, презрительно морщась, встал и ушел из зала. Равель кричал: «Гений!» Танцовщики не слышали музыку из-за дикого ора, и Нижинский, хореограф балета, стоял с крыльями на спине, отбивал кулаками ритм и кричал в отчаянии: «Раз, два, три!» Монтё нервно смотрел на Дягилева, который, подав знак продолжать игру, громко попросил аудиторию замолчать и слушать. «Сначала выслушайте, а уж потом свистите!» – проорал в ярости Габриель Аструк, французский директор. После спектакля публика продолжала сражаться в кафе, а критики перенесли битву на страницы газет, но, поскольку музыку слушать было невозможно, преобладали не мнения, а эмоции. Лишь через год, когда спектакль снова показывали в Париже в апреле 1914 года, публика наконец его по-настоящему оценила. Постановкой «Весны священной» Стравинский не только завершил десятилетие инноваций в искусстве, но и обозначил главные тенденции его развития на полвека вперед.

В то же лето Штраус завершил «Иосифа». Встретившись с Дягилевым и Бакстом в Венеции, Гофмансталь заявил, что постановка будет «обильно красивая и фантазийная». Действие будет происходить не в Египте, а в Венеции Тинторетто и Веронезе, потому что, как

объяснял граф Кесслер, «излишняя скрупулезность и точность мешают свободе воображения»<sup>85</sup>.

Штраус непрестанно работал над новыми сочинениями, и его имя всегда мелькало в прессе. Когда в июле он закончил *Ein Deutsches Motette* («Немецкий мотет») для хора и оркестра, депеша об этом событии незамедлительно была отправлена в «Нью-Йорк таймс». К открытию нового концертного зала в Вене в ноябре Штраус написал «Праздничную прелюдию», для исполнения которой требовался самый большой оркестр: сто пятьдесят музыкантов, включая восемь валторн, восемь барабанов, шесть дополнительных труб (всего двенадцать) и орган. Она украсила юбилейное празднование столетия со дня поражения Наполеона под Лейпцигом и двадцать пятой годовщины царствования кайзера.

К столетию победы над Наполеоном была издана книга «Германия во всеоружии» с предисловием кронпринца<sup>86</sup>, писавшего: «Священный долг Германии поддерживать армию и флот на самом высоком уровне боеготовности. Только тогда при помощи меча мы сможем сохранить наше место под солнцем, которое нам принадлежит по праву, но не даруется с охотой и желанием. Хотя начавшийся гигантский пожар остановить будет нелегко, это не должно отчуждать немца от меча, ибо “меч будет играть решающую роль до тех пор, пока не наступит конец света”».

Впечатляющую картину изобразил директор «Дойче банка» Карл Хельфферих в исследовании «Экономический прогресс и национальное богатство Германии, 1888–1913», иллюстрируя его данными «о стремительном и триумфальном движении вперед» за последние двадцать пять лет. Он показал: население страны увеличилось более чем на треть; рождаемость превышает смертность в Германии в большей мере, чем в любой другой стране, исключая Россию; расширение экономических возможностей и потребностей в рабочей силе превышает темпы роста численности населения; значительно возросли производительность труда немецких рабочих и трудовая занятость населения; фактор роста отмечается во всех сферах экономической жизни – промышленном производстве, транспортных перевозках, потреблении, капиталовложениях, банковских депозитах. Его текст изобиловал такими хвастливыми выражениями, как



«необычайный рост», «огромный прогресс», «поразительные темпы возрастания», «гигантский подъем».

В том же году англичанин, путешествовавший по Эльзасу и Лотарингии, спросил официанта в Меце – какой он национальности? *Muss-Preussen* («Подневольный пруссак») – ответил официант, и на протяжении всего дальнейшего путешествия компаньон слышал, как англичанин бормотал про себя: «*Muss-Preussen*, скоро все мы будем *Muss-Preussen*»<sup>87</sup>.

Такие же опасения древнего греха гордыни, какие побудили Киплинга написать *Recessional* («Отпустительную молитву») в юбилейный год Британии<sup>[123]</sup>, посещали иногда и здравомыслящего немца. Вальтер Ратенау, интроспективный литературный наследник «Альгемайне элэтрицитатс-геселльшафт», опубликовал пространную поэму под названием «Праздничная песня» в журнале «*Die Zukunft*» («Будущее»), выразив протест против организованного энтузиазма в Германии<sup>88</sup>. Под влиянием апокалиптического видения он препроводил поэму текстом из «Книги пророка Иезекииля»: «И ты, сын человеческий, (скажи): так говорит Господь Бог; земле Израилевой конец, – конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе... Конец пришел, пришел конец, встал на тебя...»<sup>[124]</sup> Ратенау не стал далее цитировать пророка. Но читатель сам может найти продолжение – осуждение Тира:

«Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра; большой мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим... и ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим... Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых»<sup>[125]</sup>.

Голоса людей вроде Ратенау, хотя он тоже не осмелился подписать поэму своим известным именем, а поставил псевдоним, не были услышаны. Таков был немецкий национальный дух, что, когда Макс Рейнхардт поставил «*Festspiel*» Гауптмана в связи со знаменитым столетием, националисты подвергли его яростным нападкам и представление запретили по требованию кронпринца, указавшего, что в нем делается акцент на освобождении, а не на роли меча, с помощью

которого оно было достигнуто. Эти настроения в злостной форме проявились в Цаберне, небольшом эльзасском городе, где напряженные отношения между немецким гарнизоном и местными гражданами привели к тому, что немецкие офицеры напали на них и арестовали. Инцидент приобрел характер *cause célèbre*, известности, и способствовал нарастанию негативного восприятия Германии за рубежом. Когда полковника Рейтера, командующего гарнизоном в Цаберне, судили военным трибуналом и оправдали, конфликт между интересами армии и гражданскими правами стал главной политической проблемой Германии. Если армейских офицеров ставить выше и вне закона, заявил член центристской партии в рейхстаге<sup>89</sup>, тогда *finis Germaniae*<sup>[126]</sup>. Большинство депутатов ему аплодировали, но полковник Рейтер получил орден Красного орла третьего класса и поздравительную телеграмму от кронпринца: «Так держать!»

Долгожданная премьера альянса Штрауса и Русского балета должна была состояться в мае 1914 года – под управлением композитора. Подводя итоги его музыкальной деятельности, Лоренс Гилман в январе отметил ту же самую поразительную двойственность в его творчестве<sup>90</sup>, которая озадачивала и историков Германии. Самые лучшие композиции, такие как вступительная часть «Заратустры», финал «Дон Кихота», признание Ореста и Электры, включают в себе музыку «потрясающей космической возвышенности», а «Электру», настоящий шедевр, когда-нибудь посчитают «одним из величайших музыкальных произведений». В то же время он мог проявить «плохой вкус, выходящий за разумные пределы, допустить банальность, заставлявшую стиснуть зубы», и вызывать раздражение «поразительно самодовольной привычкой» писать музыку бессмысленную и бессвязную, не опирающуюся на здравые основания и логику. Он всегда мутит воду – то предлагает что-то очень ценное и благородное, то обливает грязью, но его активная деятельность бесспорна. Критик Гилман, еще не слушавший «Весну», написал, что Штраусу «нет равных как первооткрывателю... самому динамичному, дерзкому и неординарному композитору... самому влиятельному сочинителю музыки после Вагнера».

Штраус приехал в Париж на репетиции в апреле. Нижинского, для кого и была написана партия, Дягилев выгнал из труппы, испытывая ревность из-за его женитьбы. Его заменил совершенно юный

танцовщик, которому еще не исполнилось семнадцати лет, из Императорского балета, грациозный Леонид Мясин, обращавший на себя внимание и огромными карими глазами. Ида Рубинштейн танцевала царицу, а испанский художник Хосе Мария Серт помогал Баксту в оформлении спектакля. Перед зрителем возникала сказочная картина: древний зал с фонтанами, колоннами из золота, мраморными полами и хрустальными вазами, наполненными фруктами, жена Потифара в алой парче, ее рабы в розовых и золотистых одеяниях и ее телохранители, гигантские мулаты с черными перьями на голове и золотыми бичами в руках. Животный мир представляли русские волкодавы. Тщетно пытаются экзотические танцоры избавить царицу от «непомерно тяжких чувств усталости от жизни», но вдруг появляется юный пастух Иосиф, которого приносят сонного и завернутого в шелковое желтое полотно: он, пробудившись, танцует, изображая поиски божества, и сразу же возбуждает царицу, чувства которой переходят из состояния «страшной усталости» в состояние «страшного вожделения». Все ее попытки соблазнить пастуха стойко игнорируются, она отвергает Иосифа, стражи готовятся его пытать и убить, но его спасает архангел, унося под звуки неземной музыки, в то время как жена Потифара душит себя ниткой жемчуга.

Хотя над либретто смеялись и музыку посчитали второсортной, постановка была настолько пышной и сладострастной, что всем очень понравилась. Вечер счастливо завершился гала-ужином, устроенным композитором для друзей, приехавших из Германии, Австрии и Италии специально на премьеру. После ранней клубники и изысканных вин официант каждому гостю предъявлял счет.

В конце мая труппа отправилась в Лондон, где ей предстояло провести двухмесячный сезон в атмосфере «необычайного успеха»<sup>91</sup>. Шаляпин был «превосходен» в роли Ивана Грозного; «Золотой петушок», последняя опера Римского-Корсакова, и новая опера Стравинского «Соловей» были признаны «ультрамодерном». «Иосиф», запланированный на 23 июня, вызывал огромный интерес. На репетициях Штраус показывал Карсавиной, заменившей Иду Рубинштейн, как надо исполнять танец соращения. Из дальнего угла ее раздевалки он, напевая музыку, «бежал, тяжело ступая, к софе, на которой должен был находиться воображаемый Иосиф».

Когда наступил заветный вечер, концертный зал «Друри-Лейн» был до отказа заполнен великосветской, сверкавшей драгоценностями публикой, жаждавшей «приобщиться к историческому событию»<sup>92</sup>. Молодому человеку, проталкивавшемуся через обнаженные плечи и веселый смех, показалось, что здесь все знают друг друга, как на «эксклюзивном, но грандиозном домашнем приеме». В присутствии премьер-министра, госпожи Асквит, русских гостей и знаменитого композитора он чувствовал себя участником «мероприятия огромной международной значимости». Когда раздались бурные аплодисменты, молодой человек, сидевший в бельэтаже, мог хорошо видеть, как высокий, «пресыщенный жизнью» немецкий композитор встал на подиум перед оркестром, «невозмутимый и в прекрасном состоянии здоровья».

Если музыка не удостоилась новых восхвалений и почестей, то по крайней мере поездка в Лондон была вполне удовлетворительной в личном плане. Штраус дирижировал оркестром Куинс-холла, исполнившим программу произведений Моцарта и его собственных сочинений, и этот концерт получил признание одного из лучших музыкальных событий сезона. 24 июня, надев «великолепную докторскую мантию» из темно-красного шелка и кремовой парчи – мантию доктора музыки, – он с удовольствием принял почетную степень в Оксфорде<sup>93</sup>.

Через месяц, 25 июля, Русский балет завершил сезон, представив сразу «Иосифа» Штрауса и «Петрушку» Стравинского. В тот же вечер в Белграде сербский ответ на ультиматум Австрии был отвергнут австрийским послом, объявившим о разрыве дипломатических отношений и сразу же уехавшим домой.

## 7. Смена власти. Англия: 1902—1911

Лорд Солсбери, умерший в 1903 году, не смог увидеть демократию в действии на первых главных выборах нового столетия, но они вряд ли его удивили бы. Набирал силу новый сегмент общества, еще не готовый к тому, чтобы занять место патрициев, но способный при помощи различных суррогатов потеснить их. Наступала эпоха народовластия.

Она дала знать о себе криком «пигтейл!»<sup>[127]</sup>, прозвучавшим в избирательных округах на всеобщих выборах в 1906 году со злобой, в крайней степени непонятной и неуместной. Не было тогда более взрывоопасной темы, чем проблема «китайского рабства»<sup>1</sup>, и либералы использовали ее с таким же искусным умыслом, с каким тори эксплуатировали патриотические лозунги на выборах «хаки» 1900 года. «Рабами» были анонимные китайцы, завезенные с согласия юнионистского правительства в Южную Африку добывать золото. Везде выставлялись щиты с изображениями китайцев, закованных в цепи, подвергающихся избиению и порке, по улицам расхаживали люди-сэндвичи, одетые, как китайские рабы. Карикатуристы рисовали фигуры призраков британских солдат, убитых в Англо-бурской войне, показывающих на китайцев в огороженных компаундах и спрашивающих: «Разве ради этого мы погибали?» Рабочему классу сообщалось, что в случае победы на выборах тори завезут китайцев и в Англию, иллюстрируя идею изображением кули в соломенной шляпе, с косичкой и подписью «британский трудящийся тори». Во время политических собраний на экранах демонстрировались картинки о том, как Грэхем Уоллес, доброжелатель либералов, возбуждает «бурю общественного негодования против господина Бальфура». Аудитория, правда, не могла понять, что выражало это негодование: обыкновенное человеческое возмущение или опасения по поводу конкуренции, которую создаст более дешевый труд. И те и другие чувства, как полагал Уоллес, могла передать символика «пороссячьего хвоста». Отвратительные желтые лица пробуждали «ненависть к монголоидной расе, которая автоматически адресовалась и консервативной партии».

В ярости толпы Уоллес усмотрел действие иррациональных сил в общественных движениях.

Новые политические лица, как и желтая пресса<sup>2</sup>, порождались новым электоратом. Народ стал более грамотным и потому более доступным и легковверным. Грошова «Дейли мейл» стоимостью полпенни печаталась в количестве свыше полумиллиона экземпляров, более чем в десять раз превысив тираж «Таймс». Автомобили позволяли кандидатам обращаться к значительно более широкой аудитории, которая тоже стала гораздо многочисленнее в связи с ростом городов. Иррациональность поведения необязательно и не всегда неверна; она может быть и адекватной в силу неадекватных обстоятельств. И она необязательно ограничивается рамками того, что Мэтью Арнолд назвал *Populace*, «народными массами», потому что простого народа гораздо больше, чем нам кажется.

Когда Артур Бальфур принимал пост премьер-министра у лорда Солсбери после окончания Англо-бурской войны в 1902 году, перемены уже стучались в дверь. С экономикой дела обстояли неплохо, но зарубежная конкуренция подрывала превосходство Британии в мировой торговле, вторгалась на ее рынки, претендовала на лидерство в новых отраслях промышленности. Дома высшее общество продолжало наслаждаться жизненными благами, но безработица, голод, нужда, все беды, проистекавшие из неравенства и несправедливости и имевшие теперь общее название «социальных проблем», всплывали наружу, нервируя привилегированные классы и создавая очаги недовольства, которые уже нельзя было ни подавить, ни проигнорировать. Новая эпоха требовала, чтобы правительство проявляло больше активности, воображения, позитивного настроения и желания предпринимать практические действия. Либералы, десять лет отлученные от власти, надеялись, что именно они и могут сформировать такой кабинет.

У них никогда прежде и теперь тоже не было монолитного единства. Как и все либералы, они проповедовали философию перемен и реформ, но она распадалась на тысячу фрагментарных идей и социальных обоснований. В их среде были самые разные люди: виги-аристократы вроде лорда Роузбери; сельские помещики, как, например, сэр Эдвард Грей; успешные бизнесмены вроде Кэмпбелла-Баннермана; безземельные интеллектуалы наподобие Асквита и Морли;

уникальные кельтские выскочки типа Ллойда Джорджа. В их рядах были «малые англичане», считавшие империю, как говорил Джон Брайт, «гигантским заказником для выездов аристократии на отдых»<sup>3</sup>; другие были такими же империалистами, как тори. Одни считали себя приверженцами англиканской церкви, другие – нонконформистами, третьи – сторонниками гомруля, четвертые – его противниками. Одни были пламенными радикалами, больше всего желавшими перераспределить богатство и власть; другие – промышленными магнатами, озабоченными наращиванием состояний. Либералы, ставшие ими по убеждению, а не в силу семейной традиции или политической необходимости, полагали, что с тори их разделяет «пропасть, такая же широкая, как во все времена», или, по словам Герберта Сэмюэла, такая же, какая пролегает между «квиедистами и реформаторами». Преисполненный жаждой реформ, Сэмюэл верил в то, что либерализм является не чем иным, как «внедрением в общественную жизнь религиозного духа». Некоторые были искренними либералами, другие – оппортунистами, некоторые – демагогами, а другие, как Ллойд Джордж, – умели совмещать в себе все эти качества. Это были настоящие актеры, готовые занять любой пост, ответить на любой вызов времени.

Их оппоненты были раздроблены и поглощены внутренними раздорами, которые после Англо-бурской войны приобрели особую остроту. Вся ненависть и зависть нонконформизма к истеблишменту трансформировалась в общенациональную бурю эмоций вокруг законопроекта о системе образования в 1902 году. Законопроект, инициированный и разработанный главным образом самим Бальфуром, предусматривал дополнить обязательное начальное образование средним обязательным образованием и привести все школы к единому стандарту. Подобно закону об обязательном образовании 1870 года, этот проект тоже был экономически мотивирован: если в стране не повысится уровень школьного образования, то нация будет по-прежнему отставать в борьбе за рынки. Законопроект, нацеленный на стимулирование прогресса, был, пожалуй, самым важным правительственным нововведением за последнее десятилетие, если бы не один изъян: его односторонность. Отдавая предпочтение, а в сущности, предоставляя финансовую поддержку только школам государственной церкви, каковой была

англиканская церковь, и ликвидируя борд-скул, систему начальных школ, управлявшихся местными школьными комитетами, новый закон возмутил неконформистов, традиционных либералов. Он создал предлог для объединения империалистов и радикалов в либеральной партии, которые прежде конфликтовали из-за Англо-бурской войны и гомруля. Дебаты в палате общин проходили в обстановке возросшей враждебности между высокой и низкой церковью; священники методистской церкви писали в газеты гневные письма; законодательный акт назывался «величайшим предательством со времен распятия Христа»<sup>4</sup>; в деревнях собирались сходки протеста; формировались лиги для неуплаты школьных налогов со всем жаром и пылом, присущим «круглоголовым», отказывавшимся давать деньги королю Карлу. Ллойд Джордж, уже выступивший за отделение церкви Уэльса, вдохновлял лиги театральными ораторскими представлениями. Ввязавшись в новую религиозную войну, люди, казалось, испытывали удовольствие от охоты за возбуждениями, привитое Англо-бурской войной, хотя в физическом смысле оно затронуло не более двух процентов населения.

Призывы «Голоса женщинам!» добавляли проблем, и те, кто выдвигал эти лозунги, называли себя «бойцами». Они организовались в 1903 году под руководством госпожи Панкхёрст, создав оппозицию группе суфражисток госпожи Фосетт, добивавшихся избирательных прав методами убеждения. Их первые выступления сводились к выкрикам лозунгов и развешиванию плакатов на политических митингах, и, хотя они не представляли какой-либо угрозы, их действия, по мнению леди Франс Бальфур, свидетельствовали о том, что «в обществе подули новые ветры».

В то же самое время владельцы рудников в Рэнде требовали разрешительных лицензий на ввоз китайцев, поскольку оказалось затруднительным нанимать африканцев, нашедших после войны занятия, вполне удовлетворявшие их не слишком большое желание работать. Условия найма содержали отвратительные моменты, и правительство отнекивалось. Но владельцы рудников проявляли настойчивость, доказывая, что иначе они не смогут возобновить разработки, инвестиции ограничены, и акции «Рэнд» потеряют в цене. Как честно признал «Экономист»<sup>5</sup>, уж очень нужны были £. s. d.<sup>[128]</sup>. «Если жители Англии и другие граждане, имеющие акции рудников



Трансвааля стоимостью 200 000 000 фунтов стерлингов, хотят вернуть свои деньги с процентами, то им придется здраво решать эту проблему рабочей силы».

Правительство неохотно согласилось. Китайцев привезли и разместили в компаундах. Либералы, сами же применившие подрядную систему в Британской Гвиане <sup>6</sup>, теперь воспылали праведным гневом. Китайские компаунды были ничем не хуже английских сатанинских трущоб, где на двадцать пять семей нередко имелся лишь один водопроводный кран и одна уборная<sup>7</sup> и где кровать арендовалась для пятерых человек: трое спали на кровати, а двое – под кроватью. Но человеческие инстинкты лучше действуют на расстоянии, и Иерусалим всегда легче построить где-нибудь в Африке, а не у себя дома. Кроме того, от проблемы китайской рабочей силы пахло деньгами Англо-бурской войны. Она девальвировала моральное содержание, которое империалисты вкладывали в назначение империи.

Вдобавок ко всему Джозеф Чемберлен наделал шума тарифной реформой. Начав кампанию протекционизма, он столкнул свою партию с фундаментальной британской приверженностью к *laissez-faire*<sup>[129]</sup>, пробудил неприятные воспоминания о ненавистных «хлебных законах» и опасения роста цен на продукты питания, подарил своей партии еще одну потенциальную проблему под лозунгом «Свободу еде!», обострив отношения между старыми и новыми консерваторами, между земельными и денежными магнатами. Фабриканты и бизнесмены, представители, по определению Уэллса, «коммерческого империализма», со всей энергией и рвением поддержали протекционизм. Чемберлен, сам и бизнесмен и империалист, видел в протекционизме средство сплочения метрополии и ее компонентов в единую имперскую тарифную систему, которая бы стимулировала развитие торговли в рамках империи и рост благосостояния дома, укрепляла внутренние имперские связи, позволяла наращивать доходы для социальных нужд и давала ему возможность завоевать лавры национального героя. Среди членов кабинета он выделялся теми же качествами, которыми Германия отличалась от других стран: динамизмом, амбициями, осознанием своей силы и способностей, склонностью и мысленной готовностью к тому, чтобы занять лидирующее место и оттеснить соперника. Тарифная реформа ублажала его тщеславие. Но она погубила

кабинет. Чемберлен сам ушел в отставку, чтобы объяснять смысл своей кампании в стране. Подали в отставку пятеро ведущих фритрейдеров, включая герцога Девонширского и канцлера казначейства. Энергичный новый член парламента Уинстон Черчилль, встав под знамена свободной торговли, перешел в стан либералов под оглушительные крики тори «Крыса!»<sup>8</sup> Развернулись нескончаемые дебаты о преференциальных пошлинах, поощрительных премиях, демпинге и других загадочных фискальных категориях. Публика, едва понимая, что происходит, занимала ту или иную позицию, лиги «за свободную еду» перемешивались с лигами, выступавшими против школьных налогов, и британская общественность становилась такой же сварливой, как и французская.

Как премьер-министр, господин Бальфур, по-прежнему все еще и любезный, и общительный, и не признающий политических догм, не желал занять твердую позицию: с одной стороны, он не видел для этого убедительных оснований, а с другой – верил в эффективность стратегии лавирования между крайностями для сохранения единства партии и своего правительства во власти. Он не усматривал особой пользы в доктринерской приверженности принципам свободной торговли и даже отмечал определенные преимущества, которые может принести британской промышленности избирательная программа тарифов<sup>9</sup>, но не собирался поддерживать проект Чемберлена целиком. Твердо Бальфур верил только в то, что сохранение лидерства и руководства консервативной партии в делах Англии важнее проблем свободной торговли и протекционизма. Его коллеги ссорились, министры подавали в отставку, в партии появились отступники, а он уходил от трудных проблем и хладнокровно говорил в палате общин: я буду плохо исполнять свои обязанности, «исповедуя сложившиеся убеждения там, где не существует сложившихся убеждений». Он наделял проблемы такими философскими сомнениями, а своим сомнениям придавал столь впечатляющую значимость, что ставил в тупик и обезоруживал обе спорящие стороны. Когда его попросили объяснить свое отношение к фритрейдерам и протекционистам в собственной партии, Бальфур «одарил палату общин блистательной демонстрацией пренебрежительно-добродушного шутейства». Обладая исключительной парламентской сноровкой, он ловко выводил свое правительство из затруднительных ситуаций на сессиях более

двух лет, находя в этом и удовольствие, и способ развлечения. Однако спектакли не устраивали приверженцев партии. Им был нужен лидер, а он, как заметил Гарри Каст, «играл в бирюльки»<sup>10</sup>.

Но цели, которые ставил перед собой Бальфур, были серьезные. Он хотел удержать за собой пост для консолидации Антанты и усиления роли комитета имперской обороны, в чем особая нужда возникла после Танжерского кризиса 1905 года. Премьер распорядился перевооружить артиллерию на основе нового скорострельного орудия, 18-фунтовой пушки, и решительно настроился на то, чтобы оставаться при должности до тех пор<sup>11</sup>, «пока наши расходные статьи не станут столь обязательными, что их не сможет отменить ни одно либеральное правительство». Неугомонный Чемберлен продолжал свою кампанию протекционизма. «Ходить по тонкому льду» – задача сложная, тем более сложная, когда видишь, как нарастают нетерпение в собственной партии и жажда оппозиции завладеть властью.

Все трудности затмевала одна большая «социальная проблема». Расследования и соответствующие доклады, разом появившиеся после 1900 года, предоставляли ужасающие факты о последствиях вопиющего неравенства в распределении материальных благ. Стоит лишь упомянуть повествование Б. С. Раунтри «Бедность: исследование городской жизни» (1901 год), последний том сочинения Чарльза Бута «Жизнь и труд обитателей Лондона» (1903 год), книгу Л. Чиоззы Мани «Богатство и бедность» (1905 год), доклады королевской комиссии по труду, обследования Фабианского общества нищеты, смертности и душевнобольных. Все эти материалы свидетельствовали об одном: в самой богатой стране мира треть населения жила «в условиях хронической бедности и не имела возможности удовлетворить самые примитивные потребности животного существования»<sup>12</sup>. Чиозза Мани на фактах доказал, что экономическое неравенство особенно велико именно в Англии. Если во Франции примерно с таким же населением было вдвое больше малых поместий стоимостью от 500 до 10 000 фунтов стерлингов, чем в Англии, то в Соединенном Королевстве было втрое больше поместий стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов и в четыре раза больше поместий стоимостью свыше 250 000 фунтов стерлингов.

Исследования основывались только на фактах: условия для сна и отдыха, интимной жизни, диета, санитария, даже качество воздушной

среды не соответствовали базовым человеческим потребностям. Профессор Хаксли подсчитал, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 800 кубических футов воздуха<sup>[130]</sup>. Даже в работном доме имелось 300. В трущобах люди ютились по три человека в спальнях размером 700 кубических футов или по восемь-девять человек с детьми в пространстве, измерявшемся 1200 кубическими футами. В комнатах кишели паразиты, лист бумаги на полу служил самодельным туалетом для испражнений; рыба по воскресеньям была единственным источником протеина для семьи из восьми человек – каждая порция измерялась двумя с половиной унциями. Дети выглядели чахлыми и бледными, с гнилыми зубами. Если кто-то из них посещал школу, то смиренно сидел за партами или спал. Плодами бедности были неграмотность, апатия и болезни. В трущобах человек погибал как личность. Во многих деревнях положение было не лучше. В деревенском доме Оксфордшира семья из восьми человек имела в своем распоряжении только две кровати и два тонких одеяла на всех. В доме Йоркшира супруг, супруга и пятеро дочерей вынуждены были уместиться на двух кроватях и спать на чердачном полу. В Сомерсете мать с тремя детьми спала в одной комнате, и ее же пятеро детей разного пола в возрасте до девятнадцати лет – спали в другой.

Условия жизни неквалифицированных рабочих ничем не отличались от существования в трущобах. На химическом заводе Шофилда в Глазго рабочие в 1897 году, когда отмечался бриллиантовый юбилей королевы, получали 3 или 4 пенса за час каторжного труда, работая двенадцать часов в день семь дней в неделю среди ядовитых испарений без перерыва даже на обед<sup>13</sup>. Они ели, стоя у горнов, а если не выходили на работу в воскресенье, то на следующий день их штрафовали, лишая дневного заработка. Лорд Оувертун, владелец завода, филантроп, ежегодно выделявший на благотворительность 10 000 фунтов стерлингов, был видным членом обществ соблюдения воскресенья и воскресного отдыха. В других отраслях промышленности рабочего могли подвергнуть аресту за самовольную отлучку. Если же он обращался за разрешением не выйти на работу, то ему могли отказать. Если все-таки он осмеливался остаться дома, то его на целый день отправляли в кутузку<sup>14</sup>. В лучшем положении были квалифицированные рабочие, объединенные в

Англии в цеховые профсоюзы, старейшие в Европе. Они составляли примерно пятую часть всех взрослых мужчин-рабочих, самый высокий процент по сравнению с другими странами, имели собственную систему социального и пенсионного страхования, поддерживаемую солидными фондами, и покупали продукты и товары по низким ценам в своих кооперативах. Тем не менее и они были беззащитны перед крупным капиталом, и угроза безработицы постоянно висела над ними дамокловым мечом.

Экономика Англии восстановилась после депрессии девяностых годов и в целом была на подъеме, можно сказать, процветала. Грузоперевозчики и судостроители, банкиры и фабриканты ощущали прилив сил, угольные шахты работали на полную мощь. В химической, электрической и других новых отраслях промышленности британцы не проявляли такую же предприимчивость, как их некоторые зарубежные конкуренты, но и в этих сферах предприятия, несмотря на трудности, тоже добивались определенных успехов. Тем не менее диспропорция в распределении доходов не сокращалась, а увеличивалась. В то время как богачи продолжали вести роскошный и праздный образ жизни, покупательная способность основной части населения неуклонно снижалась, что не могло не сказаться на физической деградации людей. Минимальный стандартный рост рекрута британской армии<sup>15</sup> был понижен с пяти футов трех дюймов, установленных в 1883 году, до пяти футов в 1900-м.

Что-то неладное было в системе. Великие механические и материальные достижения недавнего прошлого каким-то образом переменили общество и человека не в лучшую сторону. В Соединенных Штатах, где этот процесс шел особенно быстрыми темпами, Торстейн Веблен занялся исследованиями предпринимательства, а макрейкеры погрузились в изучение трущоб, скотопригонных дворов и досье «Стандарт ойл». В Англии реформаторы, писатели, журналисты-крестоносцы, фабианцы, социалисты, либералы-радикалы увлеклись поисками целительных средств. Герберт Джордж Уэллс пригрозил<sup>16</sup>, что неупорядоченный, неплановый материальный прогресс заведет страну в очень малоприятное будущее, описанное им в 1899 году в романе «Когда спящий проснется»: все будет грандиознее — здания и города, еще более нечестивыми станут капиталисты и еще более задавленными и

угнетенными – рабочие. В этом будущем все приобретет гигантские размеры и скорости и переполнится людьми, иными словами, в нем автор сознательно гиперболизировал современные тенденции. Обрушившись на пороки цивилизации, он призвал в «Ожиданиях» («*Anticipations*», 1900) и «Современной утопии» («*A Modern Utopia*», 1905) к созданию новой республики, основанной на плановом обществе и совершенствованиях, предоставленных человеку наукой.

Мир, экономность и реформы, долгое время составлявшие кредо и удовлетворявшие либералов, более не казались им адекватными для переустройства общества. Оптимистический либерализм XIX века остался в прошлом. «Гневный пессимизм» вдохновил Чарльза Мастермана написать серию очерков «Из бездны» («*From the Abyss*») в 1902 году и цикл литературно-социальных эссе «Под угрозой перемен» («*In Peril of Change*») в 1905-м. Молодой журналист, литературный редактор газеты «Дейли ньюс», приверженец англиканской церкви, женившийся на дочери Литтелтонов, дядя которой был членом кабинета Бальфура, представлял собой совершенно новый тип либерала, обеспокоенного тенденциями, предающими обещания XIX века. Другим представителем этого нового типа либерализма был одиночка-экономист Джон Аткинсон Гобсон, автор сочинения «Социальная проблема» (1901 год). Он считал, что блистательные надежды раннего либерализма погребла доктрина выживания наиболее пригодных и приспособленных особей, а энергию прогресса погасила тяга к материальному благосостоянию. Политическая экономия не помогла разрешить социальную проблему, и, по его мнению, возникла потребность в новом социальном учении, которое заложило бы «необходимую основу для искусства социального прогресса». Гобсон выделил безработицу как главный недуг общества, означавший непродуктивное использование и растрачивание человеческих ресурсов. К этой категории потерь он относил и праздное времяпрепровождение богачей: богатых бездельников мужского пола в возрасте от двадцати до шестидесяти пяти лет, не имевших профессии или ремесла, согласно переписи населения от 1891 года, насчитывалось ни много ни мало, а 250 000. Недопотребление, как следствие безработицы – вот причина всех бед, и он видел в империализме не «бремя» благородного белого человека, а стремление национальной экономики компенсировать за рубежом

потерю рынка у себя дома. Взгляды Гобсона, изложенные им в «Психологии джингоизма» (1901) и «Империализме» (1902), казались основательными и убедительными, но они оскорбляли империалистов и фабианцев, веривших в империализм. Ему не предложил кафедру для формирования новой социальной науки ни один из основных университетов и даже Лондонская школа экономики, основанная фабианцами в 1894 году.

Фабианское общество проповедовало социализм, но ему был нужен социализм без Маркса и революции, который представить так же трудно, как Макбета без убийства. Фабианцы хотели, чтобы социализм был интеллектуальный, респектабельный, действительный, прагматический, «полновесный» английский социализм, направляемый умом, тяжелым трудом и непрерывными заботами супругов Вебб и превосходным здравым смыслом Бернарда Шоу. Это общество, основанное в восьмидесятых годах, распространяло свои помыслы и аргументы посредством «Фабианских трактатов», его можно было бы назвать интеллектуальным лобби, задумавшим привнести социализм в современные политические институты. Фабианцы относились к группе «Б» согласно классификации Беатрисы Вебб, разделявшей людей на классы «А» (аристократы, артисты и анархисты) и «Б» (благотворители, буржуа и бюрократы)<sup>17</sup>. Они не считали необходимым опираться на рабочий класс, а предпочитали, как говорил Уильям Моррис, «постепенно заряжать просвещенных людей нашими устремлениями» и «постепенно внушать правительствам наши цели»<sup>18</sup>. Они добились замечательных успехов среди людей, себе подобных, а их было примерно семьсот-восемьсот человек, индивидов ученого склада, схоластиков, державшихся в стороне от тех, об участии которых они так пеклись. В Англии представители просвещенных классов не пытались, да и не могли проникать в профсоюзы. Опровергая марксистскую догму о неизбежной и обязательной классовой войне, фабианцы доказывали, что трудящиеся и их наниматели могут решить свои задачи в рамках капиталистической системы, поскольку именно прибавочный капитал обеспечивает их работой. Лекции, «разоблачающие» Маркса, с которыми выступал Бернард Шоу, «высокий, осанистый и рыжеволосый», говоривший всегда выразительно и провокационно, вызывали особый интерес. На представлении пьесы «Майор Барбара»

в декабре 1905 года присутствовал и премьер-министр Бальфур, когда Бернард Шоу устами своего героя Андершафта, владельца военного завода, рассуждая на тему «преступления, называемого бедностью», говорил: «То, что вы называете преступлением, ерунда: здесь – убийство, там – воровство. Что они значат? Они – лишь случайные инциденты и недуги жизни: в Лондоне не больше пятидесяти настоящих профессиональных убийц. Но там миллионы бедняков, несчастных и униженных, немытых, ненакормленных, в лохмотья одетых людей. Они отравляют нас морально и физически; они умерщвляют счастье в обществе; они вынуждают нас отказываться от своих свобод и прибегать к актам противоестественной жестокости из-за опасений, что они восстанут против нас и затянут в свою бездну. Только недоумки боятся преступников; все мы боимся бедности».

Супруги Вебб обличали преступление бедности в своих многочисленных докладах, на социальных мероприятиях и в долгих, проникнутых английской любезностью беседах. Стремясь к совершенствованию общества, они в то же время сохраняли склонность к авторитаризму и неприязнь к демократическим процессам. Они поддерживали протекционизм Джозефа Чемберлена (Беатриса даже как-то собиралась выйти за него замуж<sup>19</sup>) и все, что могло способствовать укреплению государства и приносить доходы для улучшения канализации, организации суповых кухонь и увеличения страховых фондов по безработице. Им не были нужны либералы, не понимавшие ни империалистических, ни социалистических требований новой эпохи, и они не доверяли партии неискующих людей, неспособных навязать свою волю. Они нуждались в сильной партии, которая бы не занималась всякой чепухой, а ясно и по-деловому представляла себе национальные потребности и лелеяла будущее нации, как гувернантка: готовила для нее чистые одеяния, умывала, чистила ей нос, заставляла сидеть прямо за столом и соблюдать правильную диету. Такой «гувернанткой» могла быть только консервативная партия, обновленная Чемберленом и действующая, руководствуясь советами господина и госпожи Вебб: только она могла подарить Англии социализм тори.

Апостолом ортодоксального социализма был Генри Мейерсон Гайндман, лидер Социал-демократической федерации, состоятельный выпускник Итона и Тринити-колледжа, учившийся в нем



одновременно с принцем Уэльским. Преданная марксизму, но далекая от рабочего класса, Социал-демократическая федерация впитала все революционные доктрины континентального социализма и, не имея последователей, напоминала фантастическое бестелесное существо, наделенное голосом. «Я успокоюсь только тогда, когда буду знать, что революция совершится в ближайший понедельник в десять утра», – говорил Гайндман<sup>20</sup>. Предположительно она должна была свалиться с неба, поскольку в его планах рабочие не значились в роли инициаторов. «Класс рабов не может быть освобожден рабами, – заявлял он. – Лидерство, инициативу, учение, организацию должны обеспечить те, кто рожден в других условиях и уже на раннем этапе жизни подготовлен к тому, чтобы использовать свои способности». Его раздражала британская система, в которой правящий класс абсорбировал вожakov рабочего класса, которые с готовностью продавали себя господствующему меньшинству (то есть либералам), «научившись всему у социалистов, жертвующих собой ради них». Тональность заявления подтверждает предположения друзей, будто Гайндман, заядлый игрок в крикет, превратился в социалиста, разозлившись на весь мир<sup>21</sup>, когда его не включили в команду Кембриджа. Вместе с Робертом Блэтчфордом, редактором «Клариона», и другими энтузиастами Гайндман на всех митингах, в пламенных речах и статьях неустанно воспевал пришествие того самого заветного утра, без ожидания которого он не смог бы существовать, но которого не желал британский рабочий класс.

В 1901 году произошло событие, изменившее баланс политических сил. Палата лордов, выступая в данном случае в роли апелляционного суда, приняла решение по иску компании «Тафф Вейл», установившее правило, в соответствии с которым профсоюзы можно было привлекать к ответственности за ущерб, наносимый забастовками, что создавало реальную угрозу фондам пенсий и пособий. Эта акция правящего класса убедила английских трудящихся в необходимости политического представительства. До этого английские рабочие полагались на привычные методы прямого действия в борьбе с нанимателями с помощью профсоюзов и не прибегали к парламентским политическим средствам. Подтвердив свою политическую лояльность либералам, английские рабочие не оказывали поддержку социалистической партии и отвергали

классовую войну. «Английский рабочий класс, – писал Клемансо, – буржуазный класс»<sup>22</sup>. Континентальные товарищи считали конгрессы английских тред-юнионов скучными и безжизненными, потому что их участники избегали идейных дебатов и интересовались лишь сиюминутными приобретениями. Если для француза такие приобретения означали подготовку социальной революции, говорил один зарубежный гость, то в представлении английского рабочего они касались лишь его самого, а разговоры о «фундаментальных принципах и вечных истинах» его только раздражали<sup>23</sup>. Англичанина не интересовали новые социальные системы, говорил Морли, «он хотел, чтобы к нему лучше относились при существующем режиме».

В 1892 году о вечных истинах британцам напомнил шотландский шахтер с задатками пророка Кейр Харди, тридцатишестилетний невысокого роста господин с привлекательной внешностью, горящими, как угли, карими глазами и густыми волосами, зачесанными назад с выпуклого лба. Он родился в однокомнатном деревенском доме над угольными залежами Ланаркшира и рос в этой же комнате, в которой умещались двое взрослых людей и еще девятеро детей. Каким-то образом матери удалось научить его читать, и он в возрасте семи лет смог устроиться на работу посыльным к пекарю. Однажды единственный кормилец многодетной семьи с безработным отцом и матерью, родившей еще одного ребенка, каждодневно проходивший две мили в любую погоду, опоздал на пятнадцать минут. «Тебя хозяин ждет наверху», – сказала девушка, стоявшая за прилавком. Когда мальчишка поднялся по ступеням наверх, где за столом из красного дерева сидел хозяин с семьей и пахло кофе и горячими булками, ему сказали, что он уволен и в наказание за опоздание лишен недельного заработка. На выходе служанка из жалости подала ему булку.

Харди страстно верил в классовую войну<sup>24</sup>. Либералы для него ничем не отличались от тори: они были всего лишь другой разновидностью того же класса эксплуататоров. Харди впервые выдвигался как независимый рабочий кандидат в округе Среднего Ланарка в 1888 году. Тогда кандидат либералов сэр Джордж Тревельян вежливо объяснил, что нехорошо им бороться друг с другом в угоду тори, предложив ему снять свою кандидатуру и пообещав, что либералы гарантируют ему парламентское место и возмещение всех

расходов на следующих выборах и будут платить ежегодно 300 фунтов стерлингов как члену парламента. Хотя Харди никогда еще не видел таких денег, он отказался от предложения. Он проиграл, получив всего лишь 617 голосов из 7000, но через четыре года его избрали как независимого кандидата в округе Саут-Уэст-Хэм. Когда он занял свое парламентское место в твиде и матерчатой кепке среди публики, одетой в сюртуки из тонкого черного сукна с шелковистой отделкой, в палате общин будто поднялся красный флаг. Харди никогда не поддавался на любезности капиталистов. Во время дебатов о безработице он, так и не услышав ни одного слова сочувствия голодающим, гневно крикнул во весь голос: «Вы обожравшиеся животные!» В другой раз, когда один член парламента отозвался о безработных как об обленившихся бездельниках, не желающих трудиться, Харди заявил, что настоящих бездельников можно каждый день видеть на Роттен-Роу <sup>[131]</sup> в цилиндрах и коротких гетрах<sup>25</sup>. Когда Харди выступал на митингах, он казался статуей, высеченной из гранита и символизирующей освобожденного рабочего: голова откинута назад, все тело напряжено и устремлено вверх, казалось, что он воплощал «равенство, свободу и уверенность в своих силах», чувства, которые хотел внушить рабочему классу. У него не было зарплаты и политических фондов, и он содержал себя, жену и троих детей на скромные доходы от журналистики, которая позволяла ему зарабатывать максимум 210 фунтов стерлингов в год.

В 1889 году ожесточенная забастовка докеров за повышение заработка до шести пенсов в час дала толчок массовой организации неквалифицированных рабочих в профсоюзы. Она продолжалась и в девяностые годы; инициаторы занимались ею «почти с религиозным фанатизмом»<sup>26</sup>, хотя им было трудно убедить рабочих в том, что они добьются большего переговорами, а «не забастовками, извергающими зажатые эмоции».

Забастовка докеров, бушевавшая в самом центре Лондона, продемонстрировала капиталистам грубые реалии классовой войны и побудила молодых людей вроде Герберта Сэмюэла заинтересоваться политикой. Ужаснувшись условиями жизни забастовщиков, убожеством и нищетой домов и мастерских в Уайтчепеле, где он собирал голоса для брата, кандидата в совет Лондонского графства, Сэмюэл решил, что «отныне» главная «моя цель — палата общин», а

главная сфера деятельности – социальное законодательство. Забастовка помогла выдвинуться на авансцену политики пламенному тред-юнионисту Джону Бёрнсу, лидеру «Объединенных машинистов», профсоюза паровозных машинистов, которого часто называли «человеком с красным флагом» из-за привычки брать его с собой на все митинги и собрания. Хотя докеры не имели никакого отношения к его профсоюзу, он взялся руководить забастовкой и помогать ее вожакам Тому Манну и Бену Тиллету. Он поддерживал добрые отношения с полицией, организовывал доставку продуктов питания и добился соглашения, предоставлявшего докерам заветный «таннер» (шестипенсовая монета) – к великому разочарованию Кропоткина, считавшего, что они упустили свой шанс. «Имея за собой 80 000 человек, Бёрнс не совершил революцию, – писал Кропоткин, – только по той причине, что боялся, как бы ему не отрубили голову»<sup>27</sup>. Однако надо сказать, что менталитет Бёрнса, несмотря на весь громогласный социализм, был до такой степени правомерно английским, что он, по определению, не мог стать революционером и никогда не разделял нежелания Харди идти на компромиссы с капитализмом. Он предпочитал бороться за интересы рабочего класса, используя те или иные альянсы в зависимости от ситуации, и когда его избрали в совет Лондонского графства, Бёрнс вступил в альянс с либералами. Его враждебное отношение к Харди, по словам Беатрисы Вебб, приобретало «масштабы маниакальности».

На профсоюзном конгрессе 1893 года Харди, несмотря на оппозицию Бёрнса, смог создать достаточную коалицию единомышленников для формирования Независимой лейбористской партии (НЛП). Мало того, его же избрали и ее председателем. Она взяла на вооружение марксистские идеи «общественной собственности на средства производства, распределения и обмена», провозгласив и готовность «возглавить революцию, к которой приведут нас экономические обстоятельства»<sup>28</sup>. Неудивительно, что цеховые профсоюзы не проявили особого желания оказывать финансовую поддержку. Через два года на всеобщих выборах 1895 года, давших Англии правительство лорда Солсбери, от Независимой лейбористской партии не был избран ни один из двадцати восьми кандидатов. «Это были самые дорогостоящие похороны после наполеоновской панихиды»<sup>29</sup>, – прокомментировал Бёрнс не без

удовлетворения, которое могла с ним разделить и госпожа Вебб. «Для лейбористов было бы самоубийственно выступать независимо и настаивать на трехсторонней борьбе», – заявляла госпожа Вебб. Тем не менее консерватор-редактор Дж. Л. Гарвин предупреждал, что НЛП, несмотря на фиаско, может оказаться «самым влиятельным и беспокойным фактором в английской политике».

Между тем росло число ассоциаций предпринимателей, договаривавшихся нанимать только рабочих – не членов профсоюза. Чтобы создать «резерв» на случай забастовки, они завели «регистры свободных рабочих рук», в сущности, списки штрейкбрехеров. В 1897 году работодатели нанесли поражение старому и сильному профсоюзу «Объединенных машинистов», которые уже тридцать дней бастовали за введение восьмичасового рабочего дня. Применяя локауты, они преуспели и в борьбе с другими профсоюзами, восстановив сдельщину и отменив оплату сверхурочных часов. Иногда правительство направляло войска для поддержки нанимателей. В 1898 году предпринимательские ассоциации образовали парламентский совет работодателей для противодействия законодательствам, наносящим ущерб их интересам.

В 1900 году некоторые профсоюзы, представлявшие примерно четверть общего членства, в партнерстве с НЛП и группой Гайндмана создали Комитет рабочего представительства для избрания политических кандидатов. Фабианское общество присоединилось, неохотно и временно. Секретарем комитета назначили Рамсея Макдональда, тридцатичетырехлетнего шотландца, возникшего из полной неизвестности, основавшего Независимую лейбористскую партию и быстро завоевавшего авторитет человека, обладающего острым политическим чутьем. Поняв, что интеллектуалы здесь не нужны, группа Гайндмана вышла из комитета, и фабианцы, видя, что его деятельность не соответствует их идеалам<sup>30</sup>, тоже фактически не принимали в нем никакого участия. Враждебность проявляли угольные, текстильные и другие старые цеховые профсоюзы. Из четырнадцати кандидатов комитета на всеобщих выборах 1900 года победили только двое – Харди и Джон Бёрнс.

Потом появилось злосчастное предписание по «Тафф Вейл». Пользуясь этим решением, и другие предприниматели начали предъявлять иски за нанесение ущерба, профсоюзы проигрывали

судебные процессы, давнее право на забастовку вдруг перестало существовать, и все достижения последних лет в сфере трудовых отношений и коллективного договора оказались недействительными. Разочаровавшись в эффективности тактики прямого действия, профсоюзы пошли в политику, настроившись на то, чтобы похоронить «Тафф Вейл». Это можно было сделать только одним способом – через парламент. Членство профсоюзов в Комитете рабочего представительства более чем удвоилось за последние два года, фонды тоже выросли, и комитет одержал три победы на дополнительных выборах в 1902 и 1903 годах, в том числе одну в Дареме. Уилл Крукс, бывший член муниципального совета, гордившийся тем, что родился в рабочем доме, Артур Хендерсон, чугунолитейщик, и Дэвид Шаклтон, ткач, не скрывая удовлетворения, заняли свои места в палате общин, «лучшем клубе» Лондона.

Действительно, «новые ветры» подули в обществе. Но они еще не затронули класс тори. Там по-прежнему преобладали благодушные настроения. Философия тори воспринимала избыточную рабочую силу как источник получения прибыли, обусловленный экономическими законами природы и не подлежащий регулированию правовыми нормами. Высшее общество продолжало жить в комфорте и в свое удовольствие, и ему было трудно прочувствовать или увидеть чрезвычайную необходимость реформирования того, что «Таймс» назвала «несовершенствами социального порядка»<sup>31</sup>. Когда Кейр Харди в 1901 году впервые внес проект социалистической резолюции в палате общин и двадцать минут рассуждал об угрозе системы, построенной на извлечении прибыли, о революции «боксеров» и лондонских трущобах, которые можно было бы ликвидировать при общественной собственности на землю и капитал, «господин Бальфур, вернувшись с обеда»<sup>32</sup>, по привычке приятно улыбнулся спикеру, абсолютно убежденный в том, что ничего не изменится по крайней мере при его жизни».

В 1905 году предстояли всеобщие выборы и уступки стали неизбежны. Заманивая избирателей из рабочего класса, консерваторы назначили Королевскую комиссию по трудовым конфликтам, которой поручалось подготовить доклад о восстановлении принципа иммунитета от ответственности. Она даже разрешила принять закон о трудовых конфликтах, отменявший режим «Тафф Вейл»: проект

рассматривался в комитете, прошел два чтения в палате общин, но дальше этого дело не пошло. Комиссия серьезно занялась проблемой безработицы, по ее предложению был принят закон о безработице, в соответствии с которым были созданы биржи труда, регистрировавшие безработных, помогавшие трудоустроиваться и в отдельных случаях выплачивавшие компенсации. Однако закон действовал только в Лондоне и, в сущности, носил характер инструмента для латания социальных дыр. Тори не располагали программой реального социального исцеления, потому что не хотели заниматься этим, по их мнению, ненужным делом.

Либералам, как партии меньшинства, была необходима поддержка рабочего электората, чтобы выиграть, и выиграть с таким преимуществом, которое позволило бы им освободиться от ирландского кошмара. Появление независимых кандидатов на избирательном поле означало бы для них катастрофу. В трехстороннем состязании они могли потерять голоса и в такой ситуации нуждались не в обычной поддержке, а в альянсе. Лейбористы в лице Рамсея Макдональда готовы были прислушаться к их запросам. В 1903 году Макдональд и Герберт Гладстон, главный «кнут» либералов, тайно договорились о том<sup>33</sup>, что либералы не будут притязать на тридцать пять мест в обмен на союзничество членов парламента, избранных от трудящихся. Кейр Харди, с которым никто не консультировался, посчитал соглашение не только предательским, но и излишним. Либералы все равно поняли бы, что без голосов рабочего класса они бессильны, и им пришлось бы обращаться за поддержкой к лейбористам или идти «путем тори»<sup>34</sup>.

Всеобщие выборы состоялись в середине января 1906 года, растянувшись, как и полагалось, на две недели. Ведущее место занимали все острейшие проблемы последних трех лет: китайское рабство, протекционизм и свободная торговля, школьные налоги, «Тафф Вейл». «Китайцы на холмах Уэллса? – вопрошал риторически Ллойд Джордж: – Боже упаси!» Голоса демагогии и иррациональности укрепили общественную уверенность в том, что пребывание тори у власти слишком затянулось, и этот вывод был справедлив. Народу захотелось перемен, и он получил их.

Либералы победили с гигантским преимуществом. Они вернулись в парламент, имея беспрецедентное большинство мест: 513 против

157. Не все эти места были завоеваны их собственными силами. 53 места принадлежали лейбористам, 29 из которых были выиграны Комитетом рабочего представительства, и они впервые организовались в палате общин в партию с собственными «кнутами». Остальные 24 места принадлежали тред-юнионистам, называвшим себя «либ-лейбами», повиновавшимся либеральному «кнуту» и не смыкавшимся с Лейбористской партией до 1909 года. Эти 53 лейбориста и 83 ирландца помогли либералам завоевать абсолютное и практически несокрушимое парламентское большинство численностью 356 человек. Но и без лейбористов и ирландцев либералы располагали собственным большинством в 220 голосов, что освобождало их от необходимости устанавливать дружеские связи с какими-либо сторонними группами. Впервые они получили то, чего давно добивался Гладстон: эту «ужасную аномалию»<sup>35</sup>, как выразился один тори, имея в виду либеральное большинство, независимое от ирландского электората.

Достижения лейбористов представлялись еще более впечатляющими ввиду их последствий. Приятель сэра Альмерика Фицроя, потерявшего депутатское место от Ланкашира, объяснял свое поражение возрастанием значимости рабочего движения. Он связывал неудачу не с тарифами или какими-то иными проблемами, а с убежденностью, впервые зародившейся в рабочем классе, в том, что социальное спасение зависит от них самих.

В знак признания появления новой силы на политической арене Джона Бёрнса назначили президентом Совета местного самоуправления, и он стал первым представителем рабочего класса, занявшим государственный пост. «Поздравляю вас, сэр Генри, – написал он в ответ Кэмпбеллу-Баннерману, новому премьер-министру, который и предложил ему эту должность. – Это самое знаменательное из всех ваших назначений»<sup>36</sup>. После недельного пребывания в рядах правящего класса Бёрнс сказал Беатрисе Вебб: «Я чувствую себя совершенно другим человеком, чем неделю назад». Ему настолько понравилось иметь правительственную должность, что он процитировал сэру Эдуарду Грею строчку из произведения натуралиста Гилберта Уайта: «В июне у черепахи поднимается настроение, и она идет на кончиках своих лапок».



Но для тори это было величайшее поражение на выборах в обозримом времени. Даже Бальфур потерял место в палате общин, как и его брат Джеральд, двое членов его кабинета – Альфред Литтлтон и Сент-Джон Бродрик, его кузен Хью Сесил и, что особенно опечалило журнал «Панч», Генри Чаплин, сквайр Англии, тридцать девять лет прослуживший членом парламента. Все они вновь обрели свои депутатские места во время последующих дополнительных выборов, но пока балом правил «новый демос», наслаждаясь победоносным парламентским большинством.

Во время предвыборной кампании в Манчестере Бальфур, обладавший уникальной способностью не поддаваться суете, взял тайм-аут, чтобы поразмышлять над проблемой, интересовавшей не только его: вернется ли он в кресло премьер-министра? В 1903 году Теодор Герцль от имени сионистов попросил Джозефа Чемберлена оказать содействие в получении колониальной хартии для Синайского полуострова. Чемберлен не мог повлиять на британские власти в Египте, но видел в евреях превосходных агентов колониализма и предложил им Уганду в Восточной Африке взамен Палестины. Хотя в России продолжались погромы и восточноевропейские евреи пытались бежать из Европы, сионистский конгресс отказался от предложения, и Бальфур хотел понять – почему? Его давно занимала идея о том, что «христианская религия и цивилизация в большом долгу перед иудаизмом». Он постоянно держал на задворках памяти проблему Уганды и в разгар предвыборной кампании попросил своего политического агента господина Дрейфуса высказать свое мнение на этот счет. Дрейфус предложил привести друга, ревностного сиониста, родившегося в российской черте оседлости, д-ра Хаима Вейцмана, тогда тридцатидвухлетнего преподавателя химии в университете Виктории в Манчестере. Бальфур в своем избирательном штабе, устроенном в отеле Манчестера, отвел пятнадцать минут для разговора с гостем, а слушал его более часа<sup>37</sup>. Вейцман нервничал и волновался, пытаясь рассказать известному государственному деятелю на ломаном английском языке историю надежд, страданий и идейно-нравственных мытарств своего народа. «Я прочитал целую лекцию о смысле и значении сионизма... Ничто другое, а только лишь глубокая религиозная убежденность, выраженная в политических терминах, может сохранить это движение, и эта убежденность должна

основываться и проистекать из Палестины. Любое отклонение от Палестины было бы недопустимо... Я взмок, стараясь найти менее нудный способ выражения... Неожиданно и для себя я вдруг сказал: “Господин Бальфур, представьте себе, что я предлагаю вам Париж вместо Лондона. Вы согласитесь?”

Он выпрямился, взглянул на меня и ответил: “Но, доктор Вейцман, у нас уже есть Лондон”.

Верно, сказал я. Но у нас был Иерусалим, когда на месте Лондона было болото. Он откинулся назад и продолжал в упор смотреть на меня... Я больше не видел его до 1914 года». А о декларации, названной впоследствии его именем, Бальфур скажет на исходе жизни: «Это самое значительное из всего, что я сделал».

На следующее утро после провальных выборов Бальфур навестил друга и произвел на него удручающее впечатление: за всю жизнь он еще не видел его «в таком расстройстве»<sup>38</sup>. Однако Бальфур ушел спать с книгой в руках, спустился к завтраку «отдохнувшим и жизнерадостным», после обеда играл в гольф, на завтра тоже играл в гольф и казался в полной мере довольным собой, совершенно не интересовался результатами выборов, «даже не взял в руки газету». В поражении он видел следствие подъема рабочего движения и нарастания в обществе жажды перемен. Реальные проблемы не играли значительной роли: аудитория не внимала аргументам.

Игра в гольф не отвлекала его от раздумий. «Выборы 1906 года знаменуют начало новой эры», – писал он на следующий день Фрэнсису Ноуллзу, секретарю короля. Внезапное пришествие Лейбористской партии – многообещающий факт. Подана заявка на власть новым претендентом. В письмах, отправленных и в этот, и в последующие дни<sup>39</sup>, Бальфур разъяснял свое видение перемен: «Происходит нечто большее, чем обыкновенные партийные перестановки; то, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к нашим перебранкам, случавшимся три года назад». Кэмпбелл-Баннерман – «всего лишь щепка, подхваченная течением, которое он не в силах контролировать». Смысл происходящей драмы можно понять только в контексте того массового движения, которое привело к бойне в Санкт-Петербурге, вызвало бунты в Вене, манифестации социалистов в Берлине. Предугадывая долговременные

последствия текущих политических трансформаций, Бальфур писал в дни триумфа либералов: «Все закончится, я думаю, развалом либеральной партии». Новые условия борьбы его больше приободряли, а не расстраивали, и он заверял Ноуллза в том, что у него нет «ни малейших намерений уйти из политики», так как меня «чрезвычайно заинтересовало то, что *сейчас* происходит».

Яснее многих других политиков он уловил начало смещения власти, не обычного смещения влияния от одной партии к другой, а гораздо более грандиозного сдвига – перехода власти к новому классу. Этот класс был еще далек от обладания властью, но его нарастающее давление на тех, кто этой властью обладал, вызывало в обществе конвульсии его отдельных компонентов.

Однако у Бальфура все еще не было места в парламенте. «Конечно же, я вовсе не собираюсь разъезжать по стране и доказывать всем, какой я честный и прилежный труженик»<sup>40</sup>. Для него нашли место в совете Лондона, и он вернулся в палату общин как лидер оппозиции.

Не только Бальфур, но и другие политики видели в триумфе либерализма предзнаменование его распада. Социалисты вынесли ему марксистский приговор. Роберт Блэтчфорд предсказал, что Либеральная партия какое-то время продержится, не проявляя особой активности, чтобы не отпугнуть умеренных последователей<sup>41</sup>. Если либералы попытаются принять действительно целительное социальное законодательство, то лишатся поддержки капиталистических доброжелателей, которые перебегут к тори. Ничего не сделав в сфере социальных реформ, они утратят поддержку радикалов, их избравших. В любом случае для них это будет первое и последнее правительство. «Самое ценное содействие нашему делу окажет неминуемая дезинтеграция Либеральной партии», – заявлял Блэтчфорд.

Парламент 1906 года убедил тори в возвышении социализма и нарастании угрозы привилегированным классам. До сего времени землевладельческая аристократия и помещичье сословие были уверены в том, что могут говорить от имени народа, что у них общие интересы и в этом смысле они являются единым целым. Они верили в великодушие и благотворительность демократии тори, не вмешивающейся в существующий порядок. Они представляли себе народ в образе крестьян и слуг, которых привыкли видеть каждодневно и принимали за класс. Джордж Уиндем, главный секретарь по делам

Ирландии в кабинете Бальфура, истинный тори, сохранивший свое место на выборах 1906 года, был искренне убежден в том, что выиграл только потому, как он писал матери, «что меня любят рабочие»: «Я победил благодаря их сердцам... Я всегда воспевал братство империи для всех, отстаивал равные условия для инородцев, величие империи для наших детей, необходимость откровенного разговора о христианстве в школах... Я открыл им свое сердце, и мы полюбили друг друга. Я выиграл, опираясь на торизм, империю и фискальную реформу. Ирландцы проголосовали за меня. Рыбаки проголосовали за меня. Солдаты проголосовали за меня. Мастерские проголосовали за меня! Только потому что мы нравились друг другу и любим традиции прошлого и славное будущее».

Идиллия XVIII века, нарисованная Уиндемом, вне зависимости от ситуации в его электорате, и для Англии, и для всего мира в 1906 году была таким же анахронизмом, как принц-регент. Сельскохозяйственный класс исчезал, просачиваясь в города, а между индустриальным пролетариатом и патрициями не существовало никакой любви и общих интересов. Уиндем и иже с ним ничего не знали о жизни шахтеров и фабричных рабочих, людей, обитавших в серых, одноликих домах, стоящих унылыми, монотонными рядами. «Вообразите, – говорил Уинстон Черчилль приятелю, когда они проводили избирательную кампанию в Манчестере и проходили по одной в особенности убогой улице. – Каково жить на этих улицах, никогда не видеть ничего прекрасного, никогда не съесть ничего вкусного – *никогда не сказать ничего умного!*»<sup>42</sup> Таковыми были в массе своей новые избиратели.

В числе 377 либералов – членов парламента 154, или 40 процентов, были бизнесменами, 85 – барристерами и солиситорами, 69 – «джентльменами», то есть помещиками, 25 – литераторами и журналистами, 22 – должностными лицами, а остальные 22 – университетскими профессорами, преподавателями, докторами и просто энтузиастами какого-нибудь дела<sup>43</sup>. Среди проигравших тори самую значительную группу составляли опять же «джентльмены», около 30 процентов; за ними следовали бизнесмены – 25 процентов и чиновники – 20 процентов. Почти половину членов палаты общин составляли новички (310 человек), никогда прежде не сидевшие в парламенте. Благородный лорд, побывавший в новой палате, с

удовлетворением отметил, что лишь немногие были одеты без соблюдения условностей<sup>44</sup>, но ветеран-корреспондент журнала «Панч» сэр Генри Луси обнаружил «революцию» и в тональности речей, и в характерах персонажей, и в стиле поведения депутатов. В особенности грубыми манерами отличались ирландцы, преднамеренно демонстрировавшие вульгарность и пренебрегавшие традициями палаты общин. Поскольку она была английской, они ненавидели ее, а поскольку либералы, обладавшие парламентским большинством, в них не нуждались, они, не имея реального влияния, давали о себе знать шумными выходками и противодействием любым законопроектам, не имевшим прямого отношения к гомрулю. Победа либералов ничем не помогла их давней и тяжелой борьбе за освобождение от английского владычества.

Когда Бальфур вернулся, враждебное большинство открыто демонстрировало свою неприязнь к лидеру и символу разгромленной партии. Новые члены парламента, по словам Остина Чемберлена, «без стеснения грубили ему, зло подшучивали над ним и без конца перебивали». Никогда не терявший самообладания, добродушия и учтивости, Бальфур по-прежнему доминировал в дебатах и за один год восстановил свое непререкаемое господство и уважение оппонентов, скоро понявших, что он придает респектабельность палате общин. Хотя многие новые члены правительства были его личными друзьями, человек, занявший его место и смотревший на него через стол спикера, к их числу не относился. Кэмпбелл-Баннерман был глух, как выразился один из коллег, «к историческому очарованию»<sup>45</sup> Бальфура и «просто не замечал его». Уже в начале сессий он попытался развенчать ореол «обаятельной исторической личности». Когда Бальфура попросили изложить позицию своей партии в отношении тарифной реформы, он прибег к старому приему говорить неясно и двусмысленно, чем истощил терпение премьер-министра. «Хватит дурачиться!» – взорвался К. – Б. Его предшественник «уподобляется старым Бурбонам». Он ничему не научился. Он использует те же самые легкомысленные манеры, такую же хитроумную диалектику, так же легко и ффривольно относится к великим проблемам. Но он ничего не знает о настроениях в новой палате общин, если думает, будто там могут действовать такие методы. Я говорю: «Перестаньте валять дурака!» Это было по-своему отважное заявление, многократно

цитировавшееся, но нисколько не развеявшее благожелательную ауру вокруг Бальфура.

Истинный характер новой палаты общин отражали люди другого свойства, не Бальфур, патриций, и не К. – Б., старомодный либерал. Двое ведущих персонажей нового правительства, каждому из которых предназначено стать премьер-министрами, воспринимали службу в кабинете не как наследственную функцию, а как профессиональную карьеру. Этими деятелями нового типа были Герберт Генри Асквит, сын йоркширского нонконформиста, торговца шерстью, и Дэвид Ллойд Джордж, сын уэльского школьного учителя. Совершенно разные по происхождению и темпераменту, они пробились в парламент исключительно благодаря деятельности в сфере адвокатуры.

Самый динамичный из новых сановников, Ллойд Джордж возглавил министерство торговли, получив пост, не самый главный в правительстве, но дающий право занимать место на передней скамье в палате общин. Альфред Джордж Гардинер, редактор газеты «Дейли ньюс», интуитивно опознававший перспективных политических деятелей, увидел в нем «предвестника новой эпохи», «представителя класса людей, предрасположенных к власти». Ллойд Джордж еще не обладал верховной властью, но явно был на пути к ней, четко обозначая свои цели. Ему было сорок два года, он был на одиннадцать лет моложе Асквита и на одиннадцать лет старше Черчилля. Его послал в парламент в 1890 году один городской электорат в Уэльсе отстаивать уэльский национализм, и он был нонконформистом, выступавшим за отделение церкви Уэльса, и радикалом, выступавшим за проведение социальных реформ. В молодости он как библию читал роман «Отверженные», который в дешевом бумажном издании стоимостью в один шиллинг брал с собой во все поездки. Он протестовал против Англо-бурской войны, рискуя подвергнуться профессиональному бойкоту и продемонстрировав нравственное и физическое мужество, когда на него действительно совершили нападение. У него были твердые политические принципы, которые никогда не вынуждали его испытывать какие-либо сомнения или колебания. Невысокого роста, но обладавший миловидной внешностью, ярко-голубыми глазами и каштановыми усами, бесстрашный, жизнелюбивый и сладкоречивый, он неустанно

обольщал и обольщался женщинами, искусно избегая обвинений в пренебрежении нормами закона и нравственности. В роли оратора он выглядел Бернхардтом на трибуне, приводя в восторг аудиторию кельтской ритмикой и эмоциональностью. На публике он мог щегольнуть театральной риторикой и демагогией. Занимаясь делом, он проявлял осторожность, проницательность и сдержанность, следуя принципу «основа Англии – торговля»<sup>46</sup> и доказывая, что ни одна партия не выживет, если будет полагаться только на рабочий класс. Ллойд Джордж обладал исключительным даром интуитивно и безошибочно определять момент, когда и что надо делать, и не менее исключительной убежденностью в том, что сделать это может только он. Ллойд Джордж «набрасывался на представившуюся возможность добиться успеха в любом деле, как ястреб на зазевавшуюся жертву».

Более высокое положение занимал Асквит, будучи канцлером казначейства, быстро набирал политический вес Уинстон Черчилль, которого назначили заместителем министра по делам колоний в награду за переход из лагеря тори. Асквит был профессиональным интеллектуалом, действовавшим в соответствии с подготовкой и суждением о целесообразности, а не согласно фундаментальному первоначальному убеждению или вере. Он обладал железной логикой, и в дебатах переспорить его было невозможно. «Сходите и принесите кувалду»<sup>47</sup>, – приказал однажды К. – Б., когда Бальфур разделял под орех либералов, и действительно за Асквитом послали гонца. Блистательный «фёрст»<sup>[132]</sup> в Оксфорде, стипендиатом которого он стал, победив на конкурсе, Асквит, как писал Гардинер, был показательным продуктом системы Баллиоля, которая не допускала излишнего рвения и «не доверяла великим мыслям, если даже сама над ними задумывалась». Он все понимал и ничего сам не придумал. Человек с сильным характером, но бесстрастный, он мог стать судьей и был прекрасным председателем совета. После успешной карьеры в роли барристера Асквит стал членом кабинета при Гладстоне в 1892 году прежде, чем успели обратить на него внимание, хотя он был настолько не в ладах с обществом, что подавал руку собственной жене, приглашая ее к обеду<sup>48</sup>. Это затруднение было исправлено, когда она умерла и Марго Теннант, умевшая различать перспективных людей, решила выйти за него замуж. Вскоре он стал полноправным членом элиты; «в нем не было ни эголизма, ни зависти, ни тщеславия»<sup>49</sup>, –

сказала об Асквите одна женщина. В нем доминировал интеллект, не пробуждавший, правда, и не вызывавший никакой реакции. Общественность так и не смогла составить об Асквите представление, наградить каким-нибудь прозвищем, и он остался в истории безликим.

В правительство входили несколько пэров, среди которых не было ни одного крупного землевладельца. В их числе были престарелый маркиз Рипон, позднее подавший в отставку, лорд Твидмаут, признанный психически неуравновешенным и тоже вышедший в отставку, и лорд Кру, родственник Роузбери, который привел в ужас принца Уэльского (позже король Георг V) своей привычкой приходить в палату лордов в пиджаке, а не в визитке (однобортном сюртуке). Единственным представителем великой аристократии был тори-ренегат Уинстон Черчилль. Не только проблема свободной торговли привела его к либералам. К 1904 году, когда Черчилль поменял партийную принадлежность, он уже знал, что дни всевластия тори сочтены. Он стремился занять высокий пост и не мог ждать. Внук герцога должен был сам зарабатывать себе на жизнь. Журналистика и литература могли приносить доход, но не такой, какой ему хотелось иметь. В Америке человек с его способностями и энергией занялся бы бизнесом, но для англичанина с такой родословной только правительство открывало путь к величию.

Понимая всю серьезность социальной проблемы, Черчилль полагал, что либералам она под силу, и намеревался играть в ее решении главную роль. Помимо амбиций, им двигала глубокая привязанность и любовь к состарившейся няне его детства госпоже Эверест <sup>50</sup>. Она символизировала участь безработных стариков, «о которых некому позаботиться и которым не на что жить до конца дней своих». В 1904 году он сделал свой выбор. С той поры во всех выступлениях Черчилль проповедовал либерализм как «общее дело миллионов обездоленных людей», к которым следует относить и рабочий класс, чтобы оторвать его от губительного социализма. Он понимал: если либералам не удастся отвоевать профсоюзы у крепнущей лейбористской партии, то рано или поздно они потерпят крах. Он поставил перед собой эту цель, вместе с Ллойдом Джорджем начал разрабатывать законодательства, касающиеся оплаты труда, рабочих часов, пенсий, социального страхования. Выступая в Глазго в октябре 1906 года, он изложил программу, сформулированную



фактически на основе фабианских идей «государства всеобщего благоденствия» и превосходившую планы правительства, младшим министром которого был. «Мы намерены провести черту, ниже которой мы не позволим человеку ни жить, ни трудиться», – заявлял он уверенно и смело, предложив наделить государство функциями «резервного работодателя», установить минимальные стандарты и ввести государственную собственность на железные дороги. Беатриса Вебб была очень обрадована. «Уинстон отлично применил схему Веббов», – записала она в дневнике, поставив ему высший балл: «Блестяще талантлив».

Оппортунист, способный противостоять новым тенденциям, выдвинулся из рядов тори. Им был Фредерик Эдвин Смит, тридцатитрехлетний новый член парламента, впоследствии лорд-канцлер под именем лорд Биркенхед<sup>51</sup>. Его «инаугурационная» речь в 1906 году была отмечена как самый сенсационный парламентский дебют эпохи. Как и Асквит, он был барристером, всего добился сам и тоже стал стипендиатом Оксфорда, где, заняв лидирующее место в студенческом союзе, в полной мере освоил все трюки и уловки искусного участия в дебатах. Подобно путешественнику, попавшему в незнакомую страну, он мог рассчитывать только на свой интеллект, отвагу, движущую силу амбиций и обыкновенное нахальство. Когда он поднялся среди остатков разгромленной армии тори, члены палаты увидели «молодого человека, изысканно одетого, чисто выбритого, имевшего гибкую, стройную фигуру, продолговатое и заостренное лицо, обрамленное напомаженными гладкими волосами, и с холодным презрением глядевшего на окружающих». Держа руки в карманах и продолжая смотреть на всех с высокомерным пренебрежением, он в уверенной и учтивой манере произнес речь, «наполненную оскорбительными выпадами и инвективами». Его ехидный тон произвел такое впечатление, что аудитория даже не заметила отсутствия практического смыслового содержания. Оратор изощрялся в сарказме, насмешках и язвительных упоминаниях, осыпая ими либералов, как горящими угольями. Тори оторопели, оживились, воспрянули духом. Когда оратор процитировал слегка искаженную версию предвыборного замечания Ллойда Джорджа по поводу китайских рабов на холмах Уэльса, и Ллойд Джордж, сидевший на передней скамье, прервал его, сказав: «Я этого не говорил», Смит

нисколько не смутился. «Предполагая возможность проблем с памятью, – сказал он мягко, – я взял с собой газету “Манчестер гардиан” от 16 января», – и прочтя соответствующий параграф, добавил презрительным тоном: «Я склонен принять на веру слова репортера, а не достопочтенного джентльмена».

Триумфальное представление произвело необходимый эффект. Смит понимал, что в данный момент требовалось предпринять наступательную акцию, чтобы воодушевить тех, кто потерпел поражение. С того времени он быстро набирал политический вес и авторитет. Без основополагающей правительственной философии, он, как говорится, «мог ездить быстро, не зная куда». Его умственные способности были не менее впечатляющие, чем манеры Лансдауна. «Они не умещались в его голове», – говорила Марго Асквит. Идеи и принципы его не интересовали; для него важнее всего была игра материальных сил, которыми он мог с уверенностью манипулировать. Легенда гласит: еще в Оксфорде он и сэр Джон Саймон бросали монету, решая, в какую из партий они должны пойти, потому что ни одна из партий не выдержит их обоих. Возможно, история недостоверная, но то, что она сохраняется и пересказывается, показательно. После одного из выступлений Черчилля, адресованного трудящимся, Смит заявил: «Социалистам лучше не славить имя господина Черчилля, ибо он скорее всего украдет их одеяния, когда они пойдут мыться в ванную – если они, конечно, пойдут мыться, в чем я сомневаюсь». Это была непростительная насмешка, характеризовавшая новый тип политического деятеля. Ремарка Черчилля «господин Смит – неизменно вульгарен» не помешала ему обрести друзей и среди социалистов.

Смена правительства оживила давний конфликт. Теперь, когда либералы господствовали в палате общин, консерваторы в случае опасных для них ситуаций могли положиться на вето палаты лордов, как это они сделали в 1893 году, блокируя билль о гомруле Гладстона. Помимо борьбы между сторонниками перемен и приверженцами существующего порядка, конфликта между политикой реформ и политикой их сдерживания, назревала еще одна коллизия, предугаданная лордом Солсбери<sup>52</sup>. Объясняя ее суть, он говорил: «Мы должны так выстраивать законодательство, чтобы удовлетворять и

классы и массы. Особенно трудно иметь дело с классами, поскольку они неодобрительно относятся к законам, способным нарушить положение вещей, их удовлетворяющее». Если беспорядок станет чересчур угрожающим, палата лордов вмешается, но не потому что они – лорды, а потому что они – резервные защитники существующего порядка. Постоянное использование вето для блокирования волеизъявления палаты общин может вызвать конституционный кризис. «Пока я здесь, – говорил лорд Солсбери, – ничего не случится. Я понимаю моих лордов в совершенстве. Но когда я уйду, неизбежны ошибки: палата лордов начнет конфликтовать с палатой общин».

Первым стал задираться Бальфур еще до открытия сессий парламента. Выступая в Ноттингеме в ночь своего поражения на выборах, он заявил: долг каждого консерватора добиваться, чтобы его партия «продолжала и у власти, и в оппозиции определять судьбы великой империи»<sup>53</sup>. Асквит усмотрел в этом претензию на утверждение власти консерваторов через палату лордов. Так это или не так, мы не знаем, но вскоре последовало показательное событие. В апреле 1906 года правительство либералов внесло новый законопроект о системе образования, аннулировавший спорные положения закона 1902 года. В частности, отменялась государственная поддержка конфессиональных школ. Партия высокой церкви [\[133\]](#) отреагировала столь же яростно, как нонконформисты в 1902 году. Проблема сразу же стала ареной борьбы двух палат. «Возможно, министры думали, – писал впоследствии лорд Эшер, – что все их законотворчество будет загублено палатой лордов, и они решили пораньше начать битву».

Бальфур, следуя логике рассуждений своего дяди, опасался, что лорды могут совершить ошибки. Он сказал лорду Лансдауну<sup>54</sup>, лидеру консерваторов в верхней палате: стратегия правительства будет заключаться в том, чтобы готовить законопроекты с завышенными требованиями в расчете на то, что лорды будут исправлять или отвергать положения и создадут основу для возбуждения дела против них. Тогда либералы обратятся к нации за мандатом настоять на ограничении вето. Никогда еще, предупреждал он, лордам не приходилось играть «столь ответственную, деликатную и трудную роль».

Тон дебатов в палате лордов по проблеме образования был далек от того, чтобы его можно было бы назвать сдержанным, и их

настроение нисколько не улучшилось, когда они получили из палаты общин законопроект о многократном голосовании, отменявший давний обычай, предоставлявший владельцу земель в более чем одном избирательном округе соответственно и большее число голосов. «Непременно что-нибудь произойдет<sup>55</sup>, – сказал Ллойд Джордж, с видимым удовольствием потирая руки. – Мы увидим величайшую игру в футбол на этом поле, уверяю вас». В декабре, словно исполняя и его ожидания, и пророчество Солсбери, лорды заблокировали оба законопроекта – об образовании и многократном голосовании. Однако они не помешали утверждению не менее, если не более сомнительного для них закона – о трудовых конфликтах, хотя либералы были бы только рады, если бы они не одобрили и этот билль. Законопроект, аннулировавший принцип «Тафф Вейл», был внесен в палате общин и принят, несмотря на нежелание правительства и возражения нескольких министров, под давлением лейбористов и радикалов. «Мы не могли пренебречь мнением столь многих людей, поддержавших его», – сказал военный министр либералов Холдейн. Не без дирижерского участия Лансдауна палата лордов утвердила закон только для того, чтобы не озлоблять рабочий класс и не крепить его альянс с либералами.

Возмущившись отказом лордов одобрить два других закона, Асквит назвал сложившуюся ситуацию «нетерпимой» и пригрозил, что необходимо изыскать другие формы «выражения воли народа через своих избранных представителей».

Брошенный лордам вызов был предельно ясен, и им ничего не оставалось, кроме как принять его. Верхней палате, состоящей из 544 наследственных пэров, включая герцогов, епископов и лордов-судей, принадлежит высоченный зал, обшитый панелями из темного дуба, имеющий в длину девяносто футов и заполненный рядами скамеек, обитых мягкой красной кожей. В окнах из витражного стекла изображены портреты всех коронованных особ, начиная с Вильгельма Завоевателя. Стены и потолок густо усеяны готическими резными орнаментами и геральдическими эмблемами. Между окнами можно различить статуи баронов Великой хартии вольностей, нечаянных основателей парламентаризма, сурово взирающих на плоды своих начинаний. В одном конце зала под позолоченным балдахином расположен сдвоенный трон для короля и королевы, с обеих сторон

которого высятся канделябры, напоминающие своей выправкой гвардейцев. Ниже трона обычно восседает на «мешке шерсти» – квадратной скамье с красной подушкой, набитой шерстью, – лорд-канцлер. Поперечные скамьи, расположенные в широком проходе между боковыми рядами сидений, предназначены для членов королевской семьи и беспартийных пэров. Настенные фрески напоминают о сюзеренах, судьях и различных сюжетах из истории Англии. В зале по обыкновению сумрачно и дремотно.

Угроза наступления расшевелила лордов. Скамьи, на которых редко можно было насчитать более тридцати-сорока пэров, начали заполняться. Ландсдаун побуждал последователей выступать с речами, отмечал усердие похвальным словом в манере великодушного повелителя, к чему он имел явное пристрастие. Лорд Керзон украшал дебаты речами, «бесконечно превосходящими выступление ординарного пэра и исключавшими любые сомнения в его ораторских дарованиях»<sup>56</sup>. Новый лорд-канцлер либералов лорд Лорберн оказывал животворное влияние на пэров и создавал обстановку бодрости, не давая никому даже вздремнуть, когда сидел на «мешке с шерстью»<sup>57</sup>. Прежде его звали сэром Робертом Ридом, «драчливым Бобом». Он был шотландцем, известным игроком в крикет, выступавшим в команде Оксфорда, его знали как радикала, осуждавшего либералов-империалистов, «пламенного оратора» в палате общин, теперь взявшегося читать оппозиции нотации тоном, «заставляющим всплакнуть даже грешника», и способного придавать «самым вздорным проектам упоительную реалистичность». С повадками гиббона и изысканной галантностью лорда Толлоллера, раскланивающегося с лордом Маунтараратом в «Иоланте»<sup>[134]</sup>, лорд Керзон выражал признательность лорду Лорберну за то, что он является «образцом учтивости, олицетворением убежденности и воплощением достоинства».

На скамье для независимых депутатов в дурном настроении сидел последний премьер-министр либералов лорд Роузбери. Он отказался от лидерства и уже в роли империалиста и оппонента гомруля «твердо и со всей определенностью» заявил, когда предводителем партии стал К. – Б., что раз и навсегда решил «не служить более под этими знаменами». Отличавшийся со времен учебы в «Итоне» блистательными способностями, остроумием и обаянием, выигравший

дерби и женившийся на состоянии Ротшильда, он слишком привык к успеху, чтобы превратиться в прислужника, и оставался – по выражению Морли – «темной лошадкой в деннике». Когда лорд Роузбери пребывал в мрачном состоянии духа, то смотрел на друзей «рыбьим взглядом»<sup>58</sup> или «испепелял их язвительным сарказмом»; если же в нем вдруг просыпалось желание обольщать, то он с легкостью создавал вокруг себя атмосферу обожания. Из-за непостоянства настроения он терял доверие людей и дал повод А. Дж. Гардинеру сочинить историю о простачке, ответившем, когда его спросили «Разве Вордсворт не любит детей?»: «Может, и любит, но им он не очень нравится».

Во время кризиса по поводу гомруля Роузбери возглавлял движение за реформирование палаты лордов посредством модификации наследственного принципа и трижды выдвигал соответствующие предложения в надежде на то, что самосовершенствование прекратит нападки на систему вето. Теперь реформаторское движение возродилось при руководящей роли лорда Керзона. Даже господин Черчилль<sup>59</sup>, стремившийся всегда и во всем участвовать, внес и свое предложение стать в журнале «Нейшн» под заглавием «Спокойная жизнь с пэрами» (*A Smooth Way With Peers*). Он предлагал назначать пэров на каждую сессию парламента в соответствии с тем большинством, которое сложилось в палате общин, и численностью не более 250 человек. Эта система должна была исключить возможность выдвижения «легкомысленных, апатичных, некомпетентных и дискредитированных людей». В большинстве своем предлагавшиеся реформы подразумевали создание некой системы, в соответствии с которой пэры сами будут избирать наиболее способных и достойных. Другие же предпочитали руководствоваться более простым принципом, который лорд Мельбурн однажды выразил такими словами: ему нравится орден Подвязки тем, что «в нем нет никакого достоинства». Бальфур соглашался. Он советовал Лансдауну избегать «фатального признания того, что древнего основания наследственности недостаточно для правомочного членства в верхней палате»: «Если это – недостаточная квалификация, тогда вообще не существует достаточной квалификации... Факт рождения доказать проще, чем факт рождения плюс заслуги»<sup>60</sup>. Правительство ничего не сделало для того, чтобы поощрить реформирование палаты лордов.

Оно не желало реформ, ему надо было сохранить проблему и предлог для ограничения вето.

Открывались заманчивые перспективы, и Ллойда Джорджа раздражала упорная одержимость его электората идеей уэльского национализма. Он довольно бестактно заявил: «Я скажу своим соотечественникам. Когда они видят, что правительство выдвигает свою артиллерию на позиции для нападения на лордов, то уэльсцев, заставляющих правительство обратить внимание на что-нибудь другое, пока не падет цитадель, надо отправить на гауптвахту». Военная фразеология забавна, и речь вызвала такие недоброжелательные отклики, что неосмотрительный автор поспешил в Уэльс, чтобы заверить соотечественников, держа руку на сердце: «Разве я могу предать землю, которую люблю? Только Бог знает, как дорог мне Уэльс!»

В июне 1907 года Кэмпбелл-Баннерман сообщил в палате общин: пришло время снять маски с пэров, притворяющихся, что только по сигналу их рожка, как говорил господин Бальфур, «опускаются крепостные ворота палаты лордов». Метафора, которую использовал Ллойд Джордж, была не менее выразительная. Палата лордов, сказал он, не сторожевая собака конституции, а «пудель господина Бальфура»<sup>61</sup>. К. – Б. предложил резолюцию: «для более действенного исполнения воли народа право одной палаты изменять или отклонять билли, принятые другой палатой, должно быть ограничено законом», так чтобы в период заседаний парламента одного созыва превалировало окончательное решение палаты общин. Лейбористская партия сразу же внесла поправку, предусматривавшую полное аннулирование палаты лордов. Внося резолюцию, а не законопроект, правительство преследовало чисто пропагандистские цели, а не практическое действие, и после того как резолюция была принята – без поправки лейбористов – продолжения не последовало.

Тем летом в Гааге собралась вторая мирная конференция. В апреле следующего, 1908 года К. – Б., предчувствуя смерть, подал в отставку и действительно через месяц умер. Асквит, заменивший его, перестроил кабинет в соответствии с собственными представлениями. Четверо наиболее способных заместителей министров получили ранги членов правительства, в том числе Уолтер Рансиман, сын богатого судовладельца, Герберт Сэмюэл, представитель еврейской банкирской

семьи, подобно Асквиту тоже бывший «первым» в Баллиоле, и Реджинальд Маккена, сын лондонского госслужащего, получивший высшую степень по математике в Кембридже. Его назначение первым лордом адмиралтейства вместо лорда Твидмаута побудило Морли вспомнить<sup>62</sup>, как в 1892 году он предложил Гладстону на этот пост некоего человека и Гладстон, взмахнув рукой, важно сказал: «Нет, в адмиралтействе, я полагаю, нам нужны люди, которых называют *джентльменами!*» «Вот мы и приехали», – со вздохом сказал лорд Эшер, глядя на новый состав кабинета, в котором «преобладал средний класс».

Самым важным кадровым событием в кабинете было назначение Ллойда Джорджа на место Асквита канцлером казначейства и продвижение на вакантное место министра торговли Уинстона Черчилля, последнего из выдающейся четверки. Карьера Черчилля на этом чуть было не закончилась: ему пришлось отстаивать себя на дополнительных выборах в Манчестере в соответствии со сложившейся практикой, требовавшей от члена парламента, возведенного в правительственный ранг, получить подтверждение от электората. Это была тяжелейшая борьба, усложнявшаяся суфражистками. Черчилль потерпел поражение, чем порадовал прессу тори. Его поражение подтверждало, что баланс сил снова изменялся после аномальной победы либералов в 1906 году, и доказывало крайнюю необходимость для либералов голосов трудящихся. В Данди, где Черчиллю сразу же предложили депутатское место, он убежденно утверждал, что только при поддержке рабочих либералы будут иметь достаточно сил для противодействия тори и проталкивания законодательств через палату лордов. «С вашей помощью мы их одолеем... Ах как нам нужна ваша поддержка».

Как потом оказалось, ни одно из социальных законодательств, готовившихся энергичной командой Ллойда Джорджа и Черчилля, не было заблокировано палатой лордов. И закон об угольных шахтах, устанавливавший восьмичасовой рабочий день для шахтеров, и закон о производственных комиссиях, определявший минимальную сдельную зарплату в потогонных отраслях промышленности, и закон о компенсациях рабочим, утверждавший ответственность нанимателей за производственный травматизм, и закон о пенсиях по старости – все они были приняты, и команда Ллойда Джорджа и Черчилля принялась



разрабатывать законопроект национального страхования по безработице и охране здоровья, венчавший деятельность либералов в социальной сфере. Лорды не стали препятствовать этим законодательным актам по той же причине, по которой они утвердили прежде и закон о трудовых конфликтах. Но конфликта с палатой общин избежать не удалось.

Все сомнения, претензии, эмоции, поддерживавшие конфликт, подобно пороху в патроне уместились в одном законопроекте – в билле о лицензировании. Тема, двадцать пять лет занимавшая внимание либеральных реформаторов и сторонников трезвости, в основном нонконформистов, стремившихся умерить пьянство в нижних классах, стала предметом предвыборного законопроекта правительства, задолжавшего его избирателям-нонконформистам. Билль предусматривал уменьшить количество пабов на тридцать тысяч заведений на протяжении четырнадцати лет посредством аннулирования лицензий в соответствии с фиксированной численностью населения. Поскольку пабы принадлежали пивоваренным и винокуренным заводам, то они и стали главными противниками закона, не говоря уже о пьющей публике. Собственники пабов объединялись в альянсы с владельцами заводов; билль приобрел такой же злостный характер, как гомруль, и стал представлять такую же угрозу, как социализм. Бальфур объявил, что законопроект попирает самое святое – право собственности, консерваторы отреагировали на него почти так же, как рабочий класс – на китайское рабство. Консерваторы созвали срочное совещание в Лансдаун-хаусе на Беркли-сквер. Из глухомани даже вызвали сельских пэров или «бэквудсменов»<sup>63</sup>, как их обычно называли, обращаясь к ним только по проблемам их графств. Некоторые из них никогда прежде не выступали в палате, некоторые даже ни разу не бывали в здании и, приняв Лансдаун-хаус за палату лордов, думали, что здесь и придумали закон. «Некоторые из нас приехали, еще не остыв от охоты, мы с интересом обсудили итоги прошедшего сезона и возможных победителей весенних гандикапов». Все единодушно решили, что билль надо отклонить, и «отправились на ланч в Карлтонский клуб».

В данном случае им надо было слушать мнение народа, как это продемонстрировали дополнительные выборы в Пекеме, проходившие под знаком проблемы лицензирования. Прежнее либеральное

большинство в две тысячи голосов превратилось в консервативное большинство такой же численности. Либералов беспокоило не столько падение популярности, сколько дело принципа. Высокомерное отклонение билля собранием консерваторов в Лансдаун-хаусе взбесило либералов. В ноябре 1908 года, когда законопроект формально был отклонен палатой лордов, Черчилль, «пылая праведным гневом»<sup>64</sup>, сообщил в частном разговоре о том, что либералы уже подготовили свой ответ. «Мы направим им в июне такой бюджет, – говорил он, – который приведет их в ужас. Они начали классовую войну, и им надо быть осмотрительнее». В действительности билль о лицензировании не имел никакого отношения к классовой войне. И не только классовая война, а нараставший социально-политический прессинг новой эпохи создавал дискомфорт для либералов.

К 1909 году, времени великой бюджетной битвы, либерализм столкнулся с реальностями жизни, в которых трудно строить Иерусалим. Программа либералов не помогала привлечь рабочий класс на свою сторону. Лейбористы и либералы все больше отдалялись друг от друга. Представители рабочих, воодушевленные результатами выборов 1906 года, стали смелее, агрессивнее; стачки возобновились с новой силой, как только профсоюзы восстановили свободу действий по закону о трудовых конфликтах. Либералы в классе нанимателей реагировали подобно нанимателям. Не заключалось никаких пактов, и на двух трехсторонних дополнительных выборах в 1907 году победили лейбористы. Особенно опасной была победа Виктора Грейсона, неистового социалиста, в западном райдинге Йоркшира<sup>65</sup>. В прошлом студент теологии, обладавший даром оратора и склонностью к хорошей выпивке, он проповедовал социализм как освобождение от нищеты с таким жаром, что его призывы разлетались по фабричным городкам подобно искрам от костра. Его дикие выходки в палате общин вынуждали спикера дважды отстранять оратора от участия в дискуссиях и вызывали шок в Европе. Говорили, будто кайзер предлагал высадиться в Англии с одним или двумя армейскими корпусами не в качестве интервента, а в качестве внука Виктории для того, чтобы освободить Англию от «банды социалистов, правящих страной»<sup>66</sup>. Вместе с королем Эдуардом он распустит парламент и

восстановит автократическую монархию как феодального вассала Германии.

Англичан в общем-то беспокоила угроза Германии. «Опасность для нас сейчас представляет то, что в Европе у нас есть конкурент, – писал другу в 1908 году лорд Эшер, – обладающий устрашающей численностью населения, интеллектом и образованностью, конкурент, какого у нас еще не было». Необходимость не упускать из виду такую опасность наносила еще один удар по кредо либералов. Традиционно пацифистская идеология либерализма была нарушена, когда Асквит и его друзья-империалисты в кабинете, контролировавшие внешнюю политику, согласились предоставить сэру Джону Фишеру четыре новых дредноута. Недовольные консерваторы кричали: «Мы требуем восемь, и мы не можем ждать». Территориальная армия Холдейна тоже была недовольна пацифизмом его партии, заявлявшей, что войска обходятся очень дорого и отвлекают финансы, необходимые для социальных реформ. При поддержке короля Эдуарда армия получила нужные средства, несмотря на возражения пацифистов. «Мы живем в трудные времена, – сетовал король Эдуард, – но я надеюсь, что мир сохранится – хотя бы по той причине, что Европа боится войны»<sup>67</sup>.

Перспектива вторжения занимала умы и официальных лиц, и публики. Комитет имперской обороны в 1908 году провел специальное расследование и вызывал бывшего премьер-министра для заслушивания его мнений и свидетельств на этот счет. Бальфур говорил около часа и дал настолько четкое и ясное описание проблемы, «абсолютно совершенное и по форме, и по содержанию», что, как отмечал лорд Эшер, член комитета, «ошарашенные» Асквит, Грей, Холдейн и Ллойд Джордж не смогли задать ему ни одного вопроса. «Все пришли к единодушному мнению, что вряд ли кто-либо еще мог выступить с таким же превосходным изложением проблемы».

Выводы комитета о нереальности успешной интервенции не были доведены до сведения общественности, и она могла сколько угодно фантазировать на эту увлекательную тему. Еще в 1903 году Эрскин Чайлдс написал занимательный роман на тему вторжения на острова под заголовком «Загадка песков»; не столь, может быть, художественно, но не менее откровенно отобразил ее Уильям Ле Кью в повести «Вторжение 1910 года с приложением полного отчета об осаде Лондона», которая печаталась в газете «Дейли мейл» в 1906 году и

рекламировалась по всему городу «человеками-сэндвичами» в прусской синей военной форме с островерхими шлемами. В 1909 году в театре Уиндема состоялась премьера пьесы Ги Дю Морье «Дом англичанина» о вторжении воинства «императора Севера», на протяжении полутора лет собиравшей полные залы. Одержимость идеей вторжения приобрела, можно сказать, масштабы массового психоза<sup>68</sup>. Генри Джеймс, живший в Рае на южном побережье Англии, чувствовал себя «незащищенным», о чем он нервозно сообщал приятелю в 1909 году. Его беспокоило то, что «когда (он не писал «если») германский император придет с войной в эту страну, мои трубы, которые хорошо видны с моря, могут стать его первой мишенью»<sup>69</sup>.

Перспектива войны сводила на нет все усилия ортодоксального либерализма, однако правительству приходилось как-то приспособливаться к ней. Тем временем в стране разгоралась настоящая война полов. Движение суфражисток<sup>70</sup>, спровоцированное, как считал Чарльз Мастерман, «взрывом подавленной энергии», породило необычайный всплеск половой ненависти, «вспышку взаимного антагонизма», как назвал это явление Герберт Уэллс, питавшую еще один конфликт, поразивший Англию в первом десятилетии XX века. Уэллс думал, что «рой озлобленных человеческих существ» возбуждается желанием «отомстить» за долгое и высокомерное мужское предубеждение в своем превосходстве. Они начали войну практически сразу же после прихода к власти либералов, к тому же их раздражали постоянные проволочки и отказ правительства внести законопроект о предоставлении избирательных прав. Видя, что легальные методы не действуют, женщины пустили в ход тактику «пропаганды деянием», бессознательно беря пример с анархистов. Они появлялись на каждом политическом собрании, несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые организаторами и привратниками, прерывали ораторов, трезвоня в колокола и пронзительно выкрикивая свои требования. Они осаждали обе палаты парламента, офисы Уайтхолла, нападали на министров у дверей, однажды повалили господина Биррелла, министра образования, били его по голням. Они разбивали молотками стекла окон универмагов, поджигали почтовые ящики, им даже удалось прорваться в палату общин, приковать себя цепями к решетке дамской

галереи и сорвать слушания оглушительными криками: «Избирательные права – женщинам!»

В 1909 году при правительстве либералов произошел и первый случай насильственного кормления заключенных суфражисток, отвратительное зрелище, когда жертва-узница, объявившая голодную забастовку, и чиновник, которому поручено ее накормить, корчатся, борясь друг с другом, как животные. Этот процесс осуществлялся при помощи резиновых трубок, которые продевались через рот или иногда через ноздри до самого желудка. Узницу, привязанную к стулу, крепко держали стражники или матроны, пока в нее пытались залить жидкую еду. Снаружи на улицах собирались суфражистки и маршировали с плакатами: «Прекратите насилие едой!» Один раз суфражистка, бросившись к ногам короля на приеме посреди чопорных гостей, завопила: «Ваше величество, пожалуйста, перестаньте истязать женщин!» Оказываясь в тюрьмах, суфражистки преднамеренно объявляли голодовки. Иррациональность все больше становилась образом жизни и поведения.

Утратив веру в пустые обещания Асквита законодательно признать избирательные права женщин, которые он неоднократно давал и не исполнял, феминистки после 1909 года активно занимались «пропагандой деянием»: разбили картины в Национальной галерее, учинили пожары в павильонах для игры в крикет, на трибунах ипподрома, в курортных отелях и даже церквях. Они дерзко прерывали службы в соборе Святого Павла и Вестминстере, обижали короля, заставляя принимать петиции, ввязывались в «неприличные и достойные сожаления» драки с полицией, вынуждая ее заключать их под стражу. Они умышленно истязали себя голодом, подвергали мучениям и страданиям, проявляя безумную стойкость, навлекали на себя унижения и жестокое обращение и даже добровольно принимали смерть, как это сделала Эмили Дэвидсон, бросившаяся под копыта лошадей на дерби 1913 года. Безусловно, такие крайности в большей мере были присущи 1910–1914 годам, но дух экстремизма зародился гораздо раньше, еще до 1909 года.

Мужчины, во всем остальном порядочные граждане, реагировали на поведение феминисток в духе спившегося пролетария, приходящего домой в субботу вечером, чтобы поколотить жену. Когда на собрание уважаемых людей в Альберт-холле, перед которыми держал речь

Лдойдж Джордж, ворвалась группа активисток и с криками: «Нам нужны дела, а не слова!» начала срывать верхнее платье, чтобы продемонстрировать тюремные робы, зрители не стали с ними миндальничать. По описанию газеты «Манчестер гардиан», они «по-настоящему разъярились, накинулись на женщин с тошнотворной жестокостью, швыряли их на кресла, сбрасывали вниз по ступеням, тащили за волосы». В других случаях подобного рода, как свидетельствуют очевидцы, женщин намеренно били в грудь. Возможно, такая ярость провоцировалась тем, что женщина сознательно лишала себя женского обаяния и соблазнительности и агрессивностью компенсировала неудовлетворенность своих желаний, отказываясь от половых признаков. Речь шла, таким образом, не о прихотях, а о фундаментальных проблемах и принципах. «Эти мегеры, эти фурии, эти двуногие волчицы!» – гремел священник-нонконформист, выражая мнение многих авторов редакционных статей. Странное, почти причиняющее физическую боль неистовство, порожденное борьбой женщин за право участвовать в выборах, было, пожалуй, самой характерной и неурегулированной деталью эры лейбористов.

К 1909 году либералов и их сторонников все чаще стали посещать пессимистические предчувствия<sup>71</sup>. «Вместо простых и ясных политических вопросов приходится думать о тысячах горестных и трудноразрешимых головоломок», – писал Мастерман, теперь член правительства и заместитель министра внутренних дел. В 1909 году он опубликовал книгу «Положение Англии» (*The Condition of England*) – исследование, обескураживающее своими мрачными рассуждениями. Весь мир представлялся ему разделенным по вертикали между «нациями, вооруженными до зубов», а по горизонтали между богатыми и бедными. «Будущее прогресса – сомнительно и шатко. Человечество в лучшем случае напоминает команду, пережившую кораблекрушение и нашедшую спасение на краю скалы, на которую обрушиваются непрестанно бурные ветры и волны. Мы не знаем, много ли нас, если кто-нибудь вообще уцелеет, когда долгая ночь уступит место утру».

Вокруг себя Мастерман видел благодушное общество, предающееся праздности и иллюзиям полнейшей безопасности, хотя, как предостерегает автор, «одним из самых опасных заблуждений

начала XX века и является иллюзорное ощущение личной безопасности». Вместо иллюзорной безопасности он обнаруживает действие «гигантских и новых сил, появившихся в результате механических изобретений, бунты и мятежи, социальное недовольство... изобилие орудий разрушения в руках цивилизации, не обладающей самоконтролем» и позволяющей «материальному прогрессу опережать и превосходить прогресс нравственный».

Джеймс Брайс, тоже член либерального правительства в роли главного секретаря по делам Ирландии, а с 1907 года посол в Вашингтоне, разуверился в основном идейном кредо своей жизни – демократическом процессе. В 1909 году он прочитал цикл лекций в Йельском университете на тему «Помехи для добропорядочного гражданина» (*Hindrances to Good Citizenship*), признав, что демократия на практике далека от демократических принципов, провозглашенных в теории. Число людей, способных читать и голосовать на выборах, за последние семьдесят лет выросло в двадцать раз, но в пропорциональном соотношении число людей, задумывающихся перед голосованием, не увеличилось в той мере, в какой усовершенствовалась система образования и выборов. «Средний статистический человек» не проявляет в общественных делах природную разумность, которая в соответствии с догмой демократии должна быть в нем заложена. Ему интереснее делать ставки на бегах, а не думать над тем, за какого кандидата отдавать свой голос. Возродились старые беды классовой вражды, коррупции, милитаризма, а к ним добавились новые. Хотя мир в целом, без сомнения, стал лучше, но вера XIX века в разум правительства из народа и для народа «улетучилась». Для человека, когда-то считавшего себя «почти профессиональным оптимистом», признавать этот факт было больно.

Философам либерализма с такой же болью и скорбью приходилось признавать, что принцип *laissez-faire*, стержень кредо либералов, не действует. Он породил много зла: потогонные схемы труда, безработицу, нищету, и либерализм, не готовый согласиться с фабианской идеей государственного вмешательства, оказался бессилем решать эти проблемы. За три года пребывания у власти правительство либералов, получившее самый большой мандат доверия за всю историю партии, не справилось с возложенной на них в 1906 году

миссией. В 1910 году численность бастующих была самой высокой с 1893 года. «Мы начали постепенно лишаться доверия» рабочих, признавался Холдейн, и «это становится все более очевидным фактом». Дж. А. Гобсон и Л. Т. Хобхаус, экономические и нравственные идеологи социального планирования, пришли к выводу, что адекватно не ведут себя ни человек, ни общество. В книге «Кризис либерализма», опубликованной в 1909 году, Гобсон написал: если либерализм не трансформируется и не будет играть более позитивную роль, то «он обречен на такую же импотенцию, какой заболели либералы в большинстве континентальных стран».

Хобхауса и ряд других исследователей заинтересовало странное нежелание человека вести себя рационально ради собственного же блага. Вызывали беспокойство низкий уровень политического реагирования масс, тяга людей к сенсационной прессе и новый феномен массовой увлеченности зрелищными видами спорта. Идея Анри Бергсона о том, что человеком движет некая сила, которую он назвал *élan vital*, побудила новую науку социальную психологию заняться изучением роли эмоций и инстинктов в человеческом поведении. В 1904 году Хобхаус опубликовал книгу «Демократия и реакция», признанную одним из самых оригинальных и авторитетных в Англии исследований влияния психических процессов на общественно-политическую деятельность. Преподаватель и член совета Оксфорда, ради более глубокого исследования рабочего движения поменявший профессию на журналистику в «Манчестер гардиан», сделал вывод: у обычного человека «нет времени для того, чтобы думать, и он не станет думать, если у него появится время для этого». Его мнение каждодневно подтверждалось «популярными газетенками и воплями их разносчиков-мальчишек... К этой новой публике, заполнившей улицы и трамваи, было бессмысленно обращаться в надежде услышать голос разума».

Именно эта публика кричала «пигтейл!», и стадное поведение внезапно начали признавать как реально существующее. «Колумбом», открывшим этот феномен, был хирург Уилфред Троттер. Он дал этому явлению определение и статус предмета научного исследования, завершив свое первое путешествие в область социологии красноречиво пессимистическими выводами. Приятель отзывался о нем как об «очень спокойном человеке», интересовавшемся не только



социологией, но также философией и литературой. В 1908 году Троттеру было тридцать шесть лет, но через тридцать лет его назовут «самым выдающимся хирургом страны». «Форма головы и лица придавала ему академический вид, который моментально разрушался обаятельной и искренней улыбкой». В двух эссе о «Стадном инстинкте», опубликованных в 1908 и 1909 годах журналом «Социологическое обозрение», он доказал, что социальное поведение человека направляется из тех самых темных и зловещих глубин подсознания, открытие которых ознаменовало завершение Викторианской эпохи. Троттер считал подсознание глубинной силой, «не обладающей индивидуальностью, волей и самоконтролем». Она – «иррациональна, подражательна, труслива, жестока... и внушаема». Поскольку человеку свойственно врожденное стремление к групповому одобрению, он становится жертвой действия этой иррациональной силы и подвержен стадному реагированию. В отличие от Кропоткина, отмечавшего во «Взаимопомощи» благотворность стадного инстинкта, Троттер считал его опасным по причине бессознательности и иррациональности действия. «Нетрудно представить себе, – писал он в заключение, – как велика вероятность того, что человек в конце концов окажется еще одним неудачным экспериментом природы».

Стадному инстинкту в 1908 году посвящались еще два исследования: «Социальная психология» Уильяма Макдугла и «Человеческая природа в политике» Грэхема Уоллеса. Вся жизнедеятельность Уоллеса была направлена на создание главного труда – «Великое общество», который будет опубликован в 1914 году. После Шоу и супругов Вебб он был четвертым в фабианской хунте, пока не вышел из нее в знак протеста против поддержки фабианцами тарифной реформы. Член совета Лондонского графства, председатель Лондонского школьного совета, основатель и профессор политологии Лондонской школы экономики Уоллес, по его же собственному определению, был «мыслителем в действии». По описанию Уэллса, он был «довольно неряшливым и отчасти педантичным человеком с благородной душой». Профессор носил усы, пенсне, читал лекции медленно и вычурно, но они получались у него «проницательными и вдохновенными». Один из студентов, Дж. Д. Х. Коул, вообще назвал его лекции «самыми интересными и поучительными». В исследовании

«Человеческая природа в политике» Уоллес описал свидетельства, подтверждающие, что человек не действует в соответствии с рациональными предположениями. Он выражал и надежду на то, что новые методы психологии и социологии дадут ответ на вопрос: сможет ли поведение человечества стать более просвещенным и разумным во имя собственного благополучия?

Уоллес не желал признать дарвинизм, фактически призывавший примириться и согласиться с неизбежностью естественной агрессивности человеческой природы, обрекавшей человечество на беспощадную борьбу, являющуюся необходимым условием прогресса. Однако он предвидел: если не обуздать иррациональность, то страны неминуемо втянутся в империалистические войны и будут воевать до тех пор, пока не останутся на земле только Англия и Германия или Америка и Китай, а после «военно-морского Армагеддона в Тихом океане уцелеет лишь одна держава», и обитатели земного шара, численность которых сократится вдвое, начнут все сначала. Этот процесс, похоже, уже зарождается, «Германия и мы уверенно идем навстречу ужасам войны» только потому, что, создав нацию и империю, «мы посвятили им все наши симпатии и помыслы».

Законопроект о бюджете на 1909 год, предложенный Ллойдом Джорджем, оказался «бикфордовым шнуром», по словам одного из участников, сознательно подожженным, чтобы эра либералов всегда казалась «беспрецедентно сварливой и некомфортной»<sup>72</sup>. Авторитет партии падал, и ее лидеры понимали, что без душераздирающей проблемы они проиграют на следующих выборах. Люди уже подсчитывали, писал Гардинер, «сколько мест либералы потеряют».

Как канцлер казначейства, Ллойд Джордж должен был обеспечить в 1909 году дополнительный доход в размере 16 000 000 фунтов стерлингов, одна треть которых предназначалась для восьми дредноутов, обещанных правительством, а две трети – для исполнения закона о пенсиях по старости. Он намеревался получить эти деньги, запустив программу налогообложения богатых, которая, не будучи необоснованной и конфискационной, должна была все-таки возмутить лордов, вынудить их отвергнуть ее и тем самым создать конфликт между пэрами и народом. Планировалось постепенное повышение подоходного налога с 9 пенсов до 1 шиллинга 2 пенсов с каждого

фунта стерлингов и взимание дополнительно 6 пенсов с доходов выше 5000 фунтов стерлингов. (Когда либералы впервые подняли подоходный налог до 11 пенсов с фунта стерлингов, как вспоминала потом дочь герцога Рутландского, «мы все подумали, что папа умрет<sup>73</sup>; он выглядел мертвенно-бледным».) Согласно новому бюджету, до максимальных 10 процентов возрастал налог на наследство поместий стоимостью 200 000 фунтов стерлингов и более. Ко всему этому добавлялся налог на автомобили и бензин, что в то время задевало интересы только очень богатых людей, а также на табак и алкоголь. Атака на последний продукт оказалась политической ошибкой.

Но ни одна из этих мер не вызвала такую бурю негодования, какую спровоцировали налог в размере одной пятой «повышенной стоимости» на земли, проданные или переданные по наследству, а также ежегодный налог в размере полпенса с фунта стерлингов стоимости необработанной земли и прав на минеральные ресурсы. Весь землевладельческий класс поднялся на дыбы, что, собственно, и ожидалось. Земельные положения требовали регистрации и оценки собственности, а для землевладельца это означало непременный визит бейлифа, то есть посягательство государства на частную собственность. Ллойд Джордж высмеивал своих оппонентов и обращался к народу в духе плача Марка Антония над ранами Юлия Цезаря. Обозначая врага общим понятием «герцоги» и обращаясь к четырехтысячной рабочей аудитории, собравшейся в Лаймхаусе лондонского Ист-Энда<sup>74</sup>, он говорил: «Полностью снаряженный герцог стоит нам столько же, сколько содержание двух дредноутов... вселяет такой же ужас и живет дольше». Когда правительству понадобились деньги для оплаты дредноутов, «мы пустили по кругу шляпу среди рабочих, куда они бросали свои медяки». А когда «премьер-министр и я постучались в двери Белгравии» и «попросили великих лендлордов поделиться и помочь выволить старых шахтеров из рабочего дома, они сказали нам «нате полпенса», спустили на нас собак, чей лай вы слышите каждый день... Тяжело думать о том, что рабочий и в старости должен терпеть тернии нищеты. Мы хотим предложить ему другую жизнь, более легкую и достойную».

В роли министра короны такие слова без смущения мог произнести только Ллойд Джордж. Если они и обеспокоили премьер-министра, то он по крайней мере не подал вида, на что обратил

внимание король Эдуард. Монарх дал знать, что «не понимает, почему Асквит «позволяет речи», которые не потерпел бы в прежние годы ни один премьер-министр».

Бюджетный законопроект произвел именно тот эффект, какой и ожидали его авторы. Консерваторы устроили шумную демонстрацию протеста. Лорд Ландсдаун назвал Ллойда Джорджа «разбойником с большой дороги». Господин Чаплин придал бюджету значимость первой акции в войне социалистов против собственности. Юридическое общество объявило земельный налог несправедливым и нереалистичным. Финансисты Сити, возглавляемые Ротшильдом, провели собрание, на котором выразили протест против того, чтобы собственность оценивали «безответственные трибуналы», подобные тем, из-за которых «один Стюарт лишился головы, а другой – трона». Герцог Норфолк провозгласил, что продаст картину Гольбейна, которую он на время предоставил Национальной галерее. Граф Онслоу подготовил для продажи участки поместья в Суррее, а Киплинг написал истеричную поэму «Медный город» (*The City of Brass*)<sup>[135]</sup>, в которой аллегорически представил Англию, истерзанную лиходеями, обложившими поборами всех, кто «трудился, стремился к благосостоянию и наращивал владения», пока «лишившуюся защиты нацию не постигла скорая капитуляция». «Кассандра» лорд Роузбери мрачно предвещал: это «не бюджет, а революция». В нем «глубоко, незаметно и коварно зарыта угроза социализма», а социализм несет «гибель всему... семье, собственности, монархии, империи». Его речь, с которой он выступил перед собранием деловых людей в Глазго, на следующее утро «с восторгом и радостью читалась в каждом сельском доме в Англии, Шотландии и в Уэльсе».

Новый член парламента от лейбористов Филипп Сноуден, который со временем тоже станет канцлером казначейства, заявил: богатые должны быть беднее, чтобы бедные были богаче, поэтому бюджет означает становление демократического правительства. Бальфур ответил: «вы не уничтожите бедность уничтожением богатых», «нельзя демократию ассоциировать с грабежом». Герцог Рутландский, которого чуть не хватил апоплексический удар, потребовал заткнуть кляпом рты всем членам парламента – лейбористам. Король, видя, как накаляется обстановка, вынужден был

предостеречь всех: «глупые и низкопробные» речи и высказывания лендлордов и капиталистов наносят большой вред.

Все, в том числе и человек с улицы, понимали, что сыр-бор разгорелся не из-за бюджета, а из-за проблемы вето. Когда Минору летом выиграл дерби, один восторженный зритель кричал из толпы: «Теперь, король, выиграв дерби<sup>75</sup>, отправляйся домой и распусти этот треклятый парламент!» Черчилль, выступая в Лестере в сентябре, одобрил склоку, считая, что она «покончит» с вето, когда лорды отвергнут финансовый законопроект. Бальфур свел всю проблему к отдельному вопросу об оценке земель, которая в виде «обязательной регистрации» не имеет никакого отношения к финансовому регулированию: «Как вы смеете называть это финансовым биллем?» В действительности, как указывал ранее лорд Солсбери по поводу другого бюджета<sup>76</sup>, не существует конституционных препятствий для того, чтобы лорды «выбросили на помойку» законопроект, кроме помехи чисто практического свойства: им тогда придется «выбрасывать на помойку» и правительство. Отвергнуть законопроект и оставить на месте правительство, его предложившее, означало создать тупиковую ситуацию. Правительству тогда пришлось бы рекомендовать королю возвести в пэры достаточное количество людей для формирования либерального большинства в палате лордов, пять сотен, если надо, и этим «потопом» задушить наследственное пэрство. Однако консерваторы были настроены на то, чтобы не идти на компромиссы. «Действуем смело, – сказал лорд Милнер, – к черту последствия». Такое решение они и приняли, согласовав его с Бальфуром.

«Все политическое сообщество содрогается от возбуждения, – записала в дневнике Беатриса Вебб, – гадая, заблокируют лорды бюджет или нет». Дебаты начались в палате лордов 22 ноября и продолжались десять дней<sup>77</sup>. Галереи были заполнены зеваками – женами пэров, всякого рода визитерами, среди которых был и король Португалии. Приехали пэры и из глубинки, которые даже не знали, как «идти к парламенту». Около четырехсот членов палаты заняли свои места в зале, самое многочисленное собрание со времени отклонения гомруля. Благородные господа, включая состарившегося бывшего лорд-канцлера лорда Холсбери и молодого лорда Виллоби де Брука, представлявшего группу сельской знати, заявили, что, исполняя свой

долг перед отечеством, они просто обязаны отклонить билль. Либерал лорд Рибблсдейл признал свою нелюбовь к Ллойд Джорджу, «наполовину клоуну и наполовину разбойнику с большой дороги», но сказал, что не видит ничего «социалистического» в бюджете, а страна как-нибудь переживет «рыдания заевшихся богачей». Если дело дойдет до разделения на лагеря, то он займет сторону правительства.

Лорд Роузбери, натерпевшись страху, предпочитал принять бюджет, нежели подвергать риску «существование второй палаты». Кульминацией стало выступление лорда Керзона, которое показалось одному особенно впечатлительному пэру «самой выдающейся речью, произнесенной в палате лордов за последние сорок лет». Правительство, сказал он, вправе внести любое предложение и, придав ему название «финансового билля», заставить палату лордов принять его – «революционная и нестерпимая ситуация», равнозначная формированию однопалатной системы. Несмотря на последствия, он рекомендовал отвергнуть законопроект в расчете на то, что реформированная палата лордов будет действовать как «важный инструмент» конституции, а «не фантом, немощный и смехотворный».

Раздельное голосование происходило 1 декабря 1909 года, и против законопроекта выступило большинство лордов: 350 «против» – 75 «за». На следующий день в палате общин, преодолевая гул энтузиазма, премьер-министр объявил о нарушении конституции и роспуске парламента. По обыкновению полулежа на передней скамье оппозиции, господин Бальфур, успевший простудиться, покашлял, похлопал себя по груди, принял пилюлю и понюхал какое-то тонизирующее снадобье.

Готовясь к новым выборам, правительство Асквита разработало парламентский законопроект, предусматривавший аннулирование права вето палаты лордов: его предполагалось внести на рассмотрение палат после возвращения на Даунинг-стрит. Имелось в виду также, что к законопроектам, которые спикер уже сертифицировал как финансовые билли, вето уже не будет применяться, и последующие билли, рассмотренные в палате общин, будут становиться законами и при согласии, и без согласия лордов. В Лондоне только и было разговоров о титуловании пэров; всем – от поэтов до торговцев чаем, «даже Хилэру Беллоку», как зловредно заметил Уилфрид Блант, мерещилось, что корона пэра опускается на голову. Асквит тем

временем распространял намеки на гарантии, якобы обещанные королем.

Уже во время предвыборной кампании стало ясно, что ораторские набег Ллойда Джорджа на герцогов не подействовали. Публика довольно равнодушно отнеслась и к наскокам на пэров. По оценке Холдейна, 40 процентов электората не имели определенного мнения и 20 процентов проявляли апатию и отрешенность<sup>78</sup>, то есть ситуация возвратилась в свое нормальное состояние. Альфред Остин, отдохавший на юге Франции, относился к выборам со всей серьезностью. Поскольку его округ был по преимуществу консервативным, он не чувствовал необходимости возвращаться домой специально для голосования, но «мне передавали результаты по телеграфу каждый день из Карлтонского клуба». Дома же, писала Беатриса Вебб, «мы все, затаив дыхание, ждали исхода величайшей битвы». Исход оказался малоприятным для многих. Либералы вернулись в палату, но свое большинство утеряли до такой степени, что опять стали зависеть от настроения ирландцев. Лейбористы, ущемленные предписанием Осборна, объявившим в 1908 году противозаконным использование профсоюзных средств в политических целях, потеряли десять мест. Консерваторы завоевали 105 мест, достаточно, чтобы говорить о победе, но не так много по сравнению с тем, с чего они начинали. Обе стороны оказались в затруднительном положении. Для утверждения бюджета либералам были нужны голоса ирландцев, но ирландцы возненавидели законопроект, облагавший налогом виски. Асквит мог добиться их поддержки обещанием провести закон об аннулировании права вето лордов и расчистить путь для гомруля. За четыре года властвования либералы не раз вносили на рассмотрение билль о гомруле, но именно сейчас, как говорил спикер Лоутер, он «занял центральное место во всей ситуации». Ирландцы вели себя не как «беспомощные просители», а демонстрировали «настырное упрямство и силу», и связь между двумя ключевыми проблемами приняла «непосредственный, очевидный и безошибочно узнаваемый характер»<sup>79</sup>. Правительство теперь было вынуждено довести битву до логического конца – создать новых пэров или по крайней мере получить обещание короля создать их. С этого момента события

начали приобретать остроту, не виданную со времен распрей по поводу реформирования избирательной системы.

Асквит формально предложил парламентский билль в феврале 1910 года, сопроводив его предупреждением: если лорды не примут законопроект, то он посоветует короне предпринять определенные шаги. Затем последовали переговоры, закулисные интриги, попытки оказать давление или повлиять советами на короля, межпартийные и внутрипартийные сделки, обмены визитами и консультациями в особняках и сельских резиденциях, совещания с архиепископом Кентерберийским. Почти незаметно и без проблем бюджет приняли, как Лансдаун и обещал, что это произойдет в случае победы либералов. О бюджете забыли, его место заняли парламентский билль и нелепая идея о пятистах «кукольных» пэрах. Хотя проблема отнимала уйму времени и усилий короны, министров, оппозиции, она, в сущности, была подложной. В отличие от дела Дрейфуса, она не затрагивала кардинальных вопросов отстаивания прав человека и справедливости. Либералам мешала жить предоставленная лордам возможность разрушать замыслы палаты общин, хотя Герберт Сэмюэл чистосердечно признавал: «Они утвердили почти все наши социальные законодательства». Исключение составили билли об образовании и лицензировании торговли алкоголем: один из них являлся смесью компромиссов, никого не удовлетворявших, а другой – вряд ли имел столь принципиальное значение, чтобы из-за него ломать копья и конституцию. Либералы разъярились только для того, чтобы отомстить за неуспех своих программ и унижение перед ирландцами. Они считали свои действия оправданными, потому что видели в палате лордов, как говорил Мастерман, институт, «соглашающийся на перемены, которые ему не нравятся, только под воздействием страха»: «Этот институт практически ничего не делает, а только модифицирует, проверяет или уничтожает результаты труда других людей. Он не выдвинул ни одного конструктивного предложения, которое помогло бы людям справиться с трудными проблемами».

Консерваторов же побуждало проявлять столь же яростную непримиримость желание сохранить последние оплоты привилегий. Лишиться права вето или большинства в палате лордов означало бы для них утратить возможность ставить преграды на пути наступающих классов. Они воспринимали обретение власти простонародьем, писал



Мастерман, разделявший эту точку зрения, как начало «великого потопа». «Им наша цивилизация представлялась лоскутком земли, уцелевшим в вечности и каким-то чудом сохранявшимся из десятилетия в десятилетие», а внезапная активизация народных масс – набегом толпы на прекрасный тихий сад, «срывающей с корнями цветы и разбрасывающей повсюду обрывки бумаги и разбитые бутылки». Но сила их противодействия была слаба из-за раскола в рядах. Как лидер партии, Бальфур придерживался политики недопущения того, чтобы появилась армия новых пэров, способная оседлать палату лордов перманентным либеральным большинством. Это, по его мнению, было бы равнозначно «революции». Утрату права вето, то есть согласие с парламентским биллем, он считал меньшим злом. Против такого решения проблемы выступала группа «дайхардов», твердолобых консерваторов, присвоивших себе название знаменитого полка. Ее гордостью и символом был «задира-петух древней бойцовский породы»<sup>80</sup> лорд Холсбери, а инициативным и деятельным организатором – лорд Уиллоби де Брук, девятнадцатый барон в роду, один из восемнадцати членов палаты лордов, чей наследственный титул был создан еще до 1500 года. Прежде он служил в палате общин и, помимо острого политического чутья, обладал «неуемной энергией, красноречием и чувством юмора». Сорокадвухлетний обаятельный барон унаследовал консерватизм отца, который, умирая, просил сына не допустить, чтобы «на охоте для каких-либо целей использовали автомобили», и прадеда, который «неустанно голосовал против закона о реформе избирательной системы» и «много раз стоял насмерть, защищая существующий порядок». Уиллоби де Брук считал, что индустриализация и демократия «оказывают ужасное влияние на нацию», говорил охотничьими и скаковыми метафорами и, как паратая гончая, собирал отовсюду «бэквудсменов». А лорд Холсбери в специальных посланиях к ним требовал «твердо отстаивать конституционное наследственное право и решительно отвергать любые попытки растоптать его».

В разгар политических маневров вокруг монаршего двора внезапно и неожиданно умер король Эдуард. Самые отъявленные тори объявили причиной его смерти нечестивость правительства, а либералов – цареубийцами. Казалось, что нарушился весь жизненный уклад, а общество лишилось привычной опоры. Однако в народе

каким-то образом сохранялась вера в то, что бастион монархии по-прежнему надежно защищает Англию от перемен и внешних угроз. Приобрела широкую популярность песенка<sup>81</sup> из эстрадного представления «Проделки Пелиссье» (*Pelissier's Follies*), появившегося в 1909 году:

Не будет войны,  
Пока у нас есть такой король, как добрый король Эдуард,  
Не будет войны,  
Потому что он ненавидит такого рода вещи!  
Матерям не надо тревожиться,  
Пока у нас есть такой король, как добрый король Эдуард.  
Мир с честью —  
Такой у него девиз.  
Боже, храни короля!

Когда он умер, многие думали, что теперь наступят тяжелые времена. «Мне всегда казалось, — говорил один почитатель Эдуарда, — что только он способен поддерживать все в должном порядке»<sup>82</sup>.

В стихотворении по случаю кончины монарха поэт-лауреат<sup>83</sup> призвал англичан прекратить «междоусобицы» и «норовистые капризы» и объявить «Божий мир». Стремясь оградить нового короля от превратностей кризиса, партии согласились попытаться достичь урегулирования на конституционной конференции с участием лидеров всех четырех сторон, включая Асквита, Ллойда Джорджа, Бальфура и Лансдауна. Они провели двадцать одну встречу летом и осенью 1910 года фактически в пустых дебатах и дискуссиях, попытались договориться о проведении референдума и лишь окончательно «потопили» гомруль. Конференция по крайней мере доказала, что парламентский билль вовсе не является фундаментальной проблемой, а государственные мужи просто-напросто не могут или не хотят прекратить борьбу. Попытался сделать это реалист Ллойд Джордж. О принципах на время можно было позабыть, и он предложил Бальфуру сформировать коалицию, которая, освободившись от давления экстремистов с обеих сторон, могла бы разрешить обе проблемы: и вето, и ирландского гомруля. В действительности он заинтересован в

создании новых пэров не больше Бальфура, признался он честно, объяснив: «Если смотреть в будущее, то я знаю, что наши славные бакалейщики<sup>84</sup> отнесутся к социальным реформам так же враждебно, как и ваши бэквудсмены». Если, как полагают, Ллойд Джордж сделал предложение Бальфуру, не поставив в известность Асквита, то, возможно, он намеревался скинуть премьер-министра, что и было сделано им через шесть лет. Когда Асквита проинформировали о предложении, он не поддержал и не осудил его, следуя своему правилу — «поживем, увидим».

Исходя из того что британская система правительства построена на балансе взаимных сдержек и противовесов двух партий и коалиция понадобится только в экстремальных ситуациях, таких как война, Бальфур отказался. В действительности он не верил в то, что либералы смогут уговорить короля дать им необходимое обещание, и в любом случае Бальфур находил меньше «реального общественного вреда» в парламентском билле, чем в создании пэров. Кроме того, он рассчитал: если достаточно консервативных пэров воздержатся от голосования, то число новых пэров будет сведено до минимума, позволяющего предотвратить «революцию» либерального большинства.

Когда ничего толкового не получилось ни с конференцией, ни с коалицией, объявили всеобщие выборы в декабре 1910 года, вторые за год. В условиях несокрушимой апатии публики результаты, за исключением потери либералами двух мест, были аналогичны итогам предыдущего голосования. «Страну так мало волнует проблема исчезновения палаты лордов, — писал Уилфрид Блант, — что она вряд ли из-за этого поднимет революцию».

Перед выборами Асквиту все-таки удалось добиться судьбоносного обещания произвести новых пэров от короля Георга, сбитого с толку разноречивыми советами и аргументами. Многих ужасала перспектива как размывания наследственного пэрства Англии «батальоном пэров, титулованных в срочном порядке», так и выслушивания издевательских насмешек и хихиканья монархий Европы. Как бы то ни было, правительство решило действовать: во-первых, процесс уже пошел и его было трудно остановить, а во-вторых, когда дело дойдет до принципов, то лорды предпочтут утратить право вето, а не уступить место господам из среднего класса.

На каком-то этапе этого занимательного процесса Асквит составил (или ему составили) список из 250 имен<sup>85</sup> для оптового пожалования дворянства, который включал сэра Томаса Липтона, но в целом не заслуживал насмешливого замечания Ллойда Джорджа по поводу «славных бакалейщиков». В списке, помимо Липтона, значились: шурин премьер-министра Гарольд Теннант и его обожатель и будущий биограф Джеймс Спендер, а также сэр Эдгар Шпейер, Бертран Рассел, генерал Баден-Пауэлл, генерал сэр Айан Гамильтон, юрист сэр Фредерик Поллок, историки сэр Джордж Тревельян и Джордж Пибоди Гуч, южноафриканский миллионер сэр Абе Бейли, Гилберт Мюррей, Джеймс Мэтью Барри, Томас Харди и Энтони Хоуп, автор «Узника Зенды».

В феврале 1911 года парламентский билль был снова внесен в палате общин под «бурный аккомпанемент одобрительных возгласов, в которых слышались не только нотки триумфа, но и твердая решимость». «Мы настроены с беспощадной серьезностью<sup>86</sup>, – писал тогда Герберт Сэмюэл. – И если лорды отвергнут билль, нам ничего другого и не надо». В мае билль одобрила палата общин, и он был отправлен для рассмотрения «в другое место».

В июне началась грандиозная транспортная забастовка, открывшая новый этап войны труда и капитала. Она ознаменовала переход от «индивидуальных трудовых конфликтов» к крупномасштабным действиям в соответствии со стратегией синдикализма, побуждавшей рабочих выступать не против отдельного нанимателя, а против всей отрасли. Неквалифицированные рабочие, разочаровавшиеся в политических методах, ничего им не давших в плане повышения зарплат, восстали против руководства лейбористской партии, которое, оказавшись в Вестминстере, занялось парламентскими играми, в которых Макдональд постепенно вытеснял и занимал место Кейра Харди. Массовое рабочее движение хотело реального роста заработной платы и признания профсоюзов работодателями. Оно переходило на организацию акций прямого действия и становилось все более агрессивным. Во время недавней забастовки тридцати тысяч углекопов в уэльской долине Ронты были совершены дерзкие нападения на собственность владельцев шахт. Бен Тиллетт и Том Манн, вожаки первой мощной забастовки докеров в 1889 году, теперь перенимали синдикалистскую доктрину у Сореля и

Французской конфедерации труда, сочетавшую веру в революцию с тред-юнионизмом, отвергавшую политическую акцию и предпочитавшую более эффективное оружие – всеобщую стачку. Манну и Тиллетту удалось объединить тридцать шесть профсоюзов моряков, рыбаков, стюардов, коков, докеров, водителей грузовиков в Национальную федерацию транспортных рабочих. Когда судовладельцы отказались вести с ней переговоры, в июне она объявила забастовку. Стачка будет продолжаться семьдесят два дня и вовлечет 77 000 человек. Она охватит Лондон, Ливерпуль, Халл, Кардифф, Бристоль, Саутгемптон, почти во всех портах остановится всякое движение, вспыхнут мятежи, будут грабежи и поджоги. «Это же революция!»<sup>87</sup> – взволнованно скажет один наниматель чиновнику в министерстве торговли. – У них новые вожди, прежде нам неизвестные, и мы не знаем, что с ними делать».

Почти одновременно, 1 июля, германская канонерская лодка «Пантера» пришла в марокканский порт Адагир, спровоцировав международный кризис, несколько недель грозивший перерасти в войну. В августе в разгар кризиса четыре железнодорожных профсоюза присоединились к забастовке моряков и докеров, создав ситуацию на грани прекращения всех перевозок. Министр внутренних дел Уинстон Черчилль отправил военные конвои сопровождать самые важные поезда и войска охранять городские центры. Столкновения были неизбежны; солдаты в Ливерпуле открыли огонь, убив двоих рабочих и ранив двести. Тома Манна за обращение к солдатам не стрелять в британских рабочих даже по приказу арестовали и отправили в тюрьму, обвинив в подстрекательстве войск к мятежу<sup>88</sup>. Хотя эту забастовку урегулировали в срочном порядке из-за международного кризиса, в последующие три года произошли новые трудовые конфликты, не менее тяжелые. После стрельбы в Ливерпуле профсоюзные избиратели предпочитали голосовать за своих представителей, и их дружба с либерализмом заканчивалась. В лязге реалий классовой войны искренний призыв Черчилля к рабочему люду в 1908 году «Ах, как нам нужна ваша поддержка» теперь воспринимался ироническим зубоскальством. Без поддержки рабочего движения либерализм оказывался в политической пустыне.

Тем не менее, несмотря на малоприятный политический фон, лето этого года было коронационным и самым жарким за последние десятилетия. Повсюду устраивались вечерние званые ужины или блистательные рауты, послеобеденные приемы в саду, роскошные обеды в загородных особняках, костюмированные балы и пикники. Даже жара была «необычайно чудесной»<sup>89</sup>, такое лето в Англии случается редко». Идеальная погода сопутствовала регате в Хенли, ясные солнечные дни благоприятствовали проведению всех традиционных мероприятий сезона: поло в Рейнла, крикетного матча между колледжами Итон и Харроу на стадионе «Лордз», скачек «Золотой кубок» в Аскоте. Ни угроза войны, ни транспортная забастовка, ни проблема титулования новых пэров не могли испортить общее праздничное настроение. Газеты пугали всех кризисом, некоторые разгневанные аристократы ворчали по поводу «революции», а на костюмированном балу в Клэридже гостей развлекал «пэр» с короной и в мантии, на которой был приклеен «№ 499». Леди Керзон завоевала звание «королевы красоты» на рыцарском турнире, устроенном госпожой Корнуллис-Уэст, матерью Черчилля, со стоимостью билетов двадцать фунтов стерлингов. В Ковент-Гардене дебютировал Русский балет, Павлова и Нижинский танцевали на частных вечерах, станцевав партию и под открытым небом в саду поместья Строуберри-Хилл, которое было когда-то «царством готической буффонады» и домом Хораса Уолпола<sup>[136]</sup>. Его новая хозяйка леди Микелем, владевшая также девятнадцатью ярдами жемчуга<sup>90</sup>, устроила обед для шестидесяти гостей и подавала после танцев в качестве основного блюда нечто в виде маяков, светящихся изнутри и окруженных птичками-овсянками, изображавшими чаек и облитыми бурунами белого соуса. В Бленхейме герцог, его кузен Уинстон, Нейл Примроуз, сын лорда Роузбери, и Ф. Э. Смит до утра играли в карты в палатке при свете свечей на опрокинутых бочках. «На что играем, Ф. Э.?» – спросил Мальборо. «На ваш чертов дворец, если вы не возражаете»<sup>91</sup>, – ответил Смит. Неизвестно, правда, какую ставку он делал сам.

Но это была другая Англия, не Англия юбилейного года. Забастовки напоминали о нараставшей угрозе рабочего класса, Адагир напоминал об угрозе Германии. Надежность времен, о которых англичане будут вспоминать категориями «золотого соверена, долга и

чести»<sup>92</sup>, осталась в далеком прошлом. Веселье было «лихорадочным, беспокойным», костюмированный бал сезона устраивал Ф. Э. Смит, а не герцогиня Devonshire (герцог умер в 1908 году). С улиц Лондона исчез последний омнибус, запряженный лошадьми<sup>93</sup>; моторных такси, о которых понятия не имели на исходе века, теперь было больше, чем конных, в соотношении 6300 к 5000.

Представители высшего класса все еще были довольны жизнью и друг другом. На званом вечере у госпожи Уильямс, где без умолку острил маркиз де Совераль, всем было так хорошо, что гости, приехавшие к ланчу, засиделись до часу ночи. Возможно, там действительно всем было интересно, а может быть, сидели от скуки, от той самой скуки, которая возникает, когда нет никаких дел. Смех, веселость, анекдоты, приподнятость настроения – все эти несомненные атрибуты привилегированного образа жизни вызывались тоже скукой. В бесконечных разговорах «за ланчем, чаем или обедом, на танцах и посиделках до поздней ночи, – считал Мастерман, – проявлялись желание общества хоть чем-то интересоваться, его усталость от скуки, понимание, что это игра и в нее надо играть». Это были и «собрания умных, приятных и обаятельных людей... отчаянно и искренне пытавшихся заняться делом в жизни, лишенной необходимости зарабатывать деньги». Он писал эти слова в 1909 году и еще не сформулировал концепцию «скуки мирной жизни», хотя, когда писал о «римском мире, завладевшем западными расами Европы», наверняка непроизвольно вздохнул.

В первую неделю июля палата лордов поправила парламентский билль, вычеркнув положение об аннулировании права вето и исключив из законопроекта гомруль, чтобы он мог стать законом и без их согласия. 18 июля Асквит официально информировал Бальфура о том, что обещание короля титуловать новых пэров получено, а поправки лордов неприемлемы. Он также сообщил, что намерен выступить в палате общин с заявлением и предупредить: если лорды не примут билль в его первоначальном виде, то он попросит короля предпринять соответствующие меры. «Дайхарды» сплотились для отпора, чувствуя себя американскими поселенцами, готовящимися отразить нападение индейцев. «Пусть они создают себе пэров, – говорил лорд Керзон на собрании “дайхардов”. – Мы будем стоять насмерть, но не сдадимся!»

Тех, кто с ними не соглашался, впоследствии называли «дитчерами» [137]. В их числе были новый маркиз Солсбери, его шурин граф Селборн, а в палате общин – его младший брат лорд Хью Сесил, Остен Чемберлен, Джордж Уиндем и двое искателей приключений: сэр Эдуард Карсон и Ф. Э. Смит. Весь жаркий июль лорд Уиллоби де Брук агитировал пэров, организовывал собрания, набирал ораторов. 12 июля пятьдесят три пэра, включая пятерых герцогов, отправили лорду Лансдауну послание, заявив: если поправки не будут сохранены, то они проголосуют за отклонение парламентского билля во время последнего чтения, невзирая на любые последствия, в том числе и появление новых пэров.

Бальфур и Лансдаун, которых король просил не вынуждать его совершать противное душе дело, созвали теневой кабинет оппозиции, в котором большинство соглашалось последовать их рекомендациям капитулировать, то есть принять парламентский билль без отдельного голосования, поскольку «стоять насмерть» ради принципа вряд ли поможет предотвратить аннулирование права вето. Если правительство не блефует, то все действительно закончится титулованием новых пэров и утратой права вето. Но «дитчеры» были непреклонны. «Его долг перед Богом и страной – настоять на разделении голосов», – заявлял лорд Холсбери. Если допустить, что «хеджеры», как теперь называли последователей Бальфура и Лансдауна, воздержатся, то «дитчерам» хватит голосов для того, чтобы превзойти численностью семьдесят пять либеральных пэров. Виллоби де Брук полагал, что у него уже есть шестьдесят голосов, и надеялся довести численность сторонников до восьмидесяти.

Еще одно собрание состоялось в Лансдаун-хаусе, чтобы сблизить позиции «хеджеров» и «дитчеров». Керзон уже был готов согласиться с Бальфуром, но престарелый лорд Холсбери проявлял упорство: он будет «разделять, даже если останется в одиночестве, но не сдастся». Бальфура просили созвать еще раз теневой кабинет, но его стала раздражать «театральность» позиции «дайхардов», в особенности простолюдинов вроде Смита и Чемберлена. Он ответил, что может лишь написать публичное письмо в «Таймс», адресованное «сбитому с толку пэру» и рекомендующее принять законопроект. «Дитчеры» ответили, что закон приведет к установлению однопалатной системы формирования правительства и они не могут снять с себя



ответственность за «готовящуюся революцию». Для популяризации своих принципов они организовали грандиозный банкет в честь лорда Холсбери, и желающих получить билеты на него было больше, чем мог вместить зал. К гладиаторским речам и тостам присоединился и лорд Холсбери. У него был «очень нездоровый вид, озабоченный и уставший», но он выразил решимость всей группы сражаться до конца, за что его наградили громкими и продолжительными овациями. Лорд Милнер, чье восклицание «К черту последствия!», собственно, и положило начало всему процессу, был естественным дополнением к этой компании. Среди других ораторов особенно отличился Остен Чемберлен, осудивший Асквита за то, что он «обвел вокруг пальца оппозицию», ввел в заблуждение корону и обманул народ».

24 июля, в день, когда премьер-министр должен был выступить в палате общин, сторонники «дитчеров» во главе с лордом Хью Сесилом<sup>94</sup> и Ф. Э. Смитом устроили демарш, «самый отвратительный и дикий, какой только можно было припомнить». Вся злость и досада класса, вынужденного обороняться, прорвалась потоками ненависти и истерии. Смит действовал из любви к потасовкам, а лорд Хью руководствовался благими намерениями. В нем сконцентрировалась вся ненависть Сесилов к переменам без единого намека на хладнокровный скепсис, который был столь присущ кузену Артуру. Все его убеждения, можно сказать, раскались добела. Он видел печать смерти на современном материалистическом обществе, отвернувшемся от церкви и земли, и отвергал демократию, отказавшуюся от «естественных» лидеров человека. Высокий, сутулый, как отец, узколицый и мрачный, он унаследовал и отцовскую привычку сучить руками и своим поведением напоминал Савонаролу. Черчилль, на чьей свадьбе в 1908 году он был шафером, написал, что в Сесиле «я впервые встретил настоящего тори, вышедшего прямо из XVII века». В частных беседах он был «скор на слово, остроумен и непредсказуем», и «говорить с ним было одно удовольствие», а в палате общин лорд мог в течение целого часа удерживать глубочайшую тишину и заинтересованность всего зала рассказом о различиях между эрастианами и приверженцами высокой церкви. По мнению Асквита, он был «лучшим оратором в палате общин и не только», а по красноречию и аналитическим способностям его можно было назвать английским Альбером де Меном<sup>[138]</sup>.

Однажды Гладстон приехал в Хатфилд, и Хью, тогда совсем мальчишка, ворвался к нему в спальню и начал стучать по нему кулаками и кричать: «Вы плохой человек!»

«Как же я могу быть плохим человеком, если я друг твоего отца?» – спросил Гладстон, выигравший не одну тысячу дебатов. Но этого юного оппонента не так-то легко было запутать. Он знал, что ответить.

«Мой отец отрубит вам голову большим мечом!» – сказал маленький Хью.

Меч теперь был приготовлен для Асквита. В три часа пополудни палата общин уже гудела от переполнившей ее массы людей: не осталось ни одного свободного места, депутаты стояли в проходе между рядами, грудились сплоченными группами как пчелы, на галереях битком набились зеваки. Когда вошел премьер-министр, слегка порозовевший и нервничавший, либералы встали, размахивая листами бумаги с отпечатанной повесткой дня, и минуты три выкрикивали приветствия. Их пыталась перекрыть оппозиция, которая тоже поднялась на ноги при появлении Бальфура. Когда Асквит встал, чтобы начать свое обращение, его прервали, прежде чем он смог произнести фразу, громкими возгласами: «Предатель!» и «Редмонд!», намекая на ирландскую опасность, нависшую над его головой, и сразу же раздались приглушенные речитативы, произносившиеся хором: «Разделить!.. ить!.. ить!»<sup>[139]</sup>, то смолкавшие, то вдруг снова возникавшие, как только Асквит открывал рот. У скамьи оппозиции выросла грозная фигура Хью Сесила<sup>95</sup>, в глазах сверкали молнии, нескладное тело покачивалось, повинуюсь ритму гневных восклицаний, бледное лицо было искажено гримасами возбуждения, им овладел фанатизм, допускавший любые, даже самые опрометчивые действия во имя главной цели. Асквит смотрел на вопящих противников с изумлением и презрением, остановив свой взгляд на Сесиле, который в это время ему показался тигром, пытающимся разорвать клетку. На галереях взволнованные леди уже вскочили на сиденья. Сэр Эдуард Грей, мрачный и напряженный, приблизился к Асквиту в непроизвольном порыве встать на его защиту. Во взгляде Бальфура, непринужденно сидевшего напротив и посматривавшего на своих сторонников, сквозило нескрываемое отвращение. Несколько раз Асквит пытался заговорить, но его слова заглушались истошными

криками «ить!», «ить!», «Кто убил короля?», «Диктатор!» Слова и отрывки фраз, которые ему удавалось произнести, еще больше бесили оппонентов. Призывы спикера соблюдать порядок тонули в несусветном гаме. Три четверти часа Асквит стоял, не сходя с места, и в конце концов не выдержал, сложил папку с речью и сел.

Когда говорил Бальфур, либералы не стали мстить, но когда поднялся Ф. Э. Смит, которого считали подстрекателем, в палате снова началось столпотворение. Страсти, бушевавшие в зале, не поддавались описанию, отметил корреспондент «Таймс». Два часа спикер тщетно пытался навести порядок и, наслушавшись самых разных восклицаний, ругательств и призывов, среди которых прозвучали и «три воззвания к социальной революции», закрыл сессию как «нарушавшую нормы поведения»<sup>96</sup> – впервые в истории.

Скандалный и оскорбительный «спектакль Сесила», как стали называть омерзительное происшествие в палате общин, удивил многих. Еще ни один премьер-министр не подвергался такому неуважительному отношению. Прессу захлестнула волна возмутительных комментариев и писем «за» и «против». Многие в то же время полагали, что инсценировка была направлена и против Асквита, и против Бальфура. Блант записал, что Ф. Э. Смит, Джордж Уиндем и Бендор (герцог Вестминстерский) «были в восторге от вызванного ими потрясения и считали, что побудили к действию Бальфура».

На следующий день речь Асквита, которую ему так и не дали произнести, была опубликована, и лидеры консерваторов столкнулись с неизбежностью «революции», которую хотел предотвратить Бальфур: формирования перманентного либерального большинства в палате лордов. Если «дайхарды» смогут подобрать больше семидесяти пяти твердых сторонников, то последует титулование новых пэров, если, конечно, правительство не блефует. Известно, блефует ли оно? Многие были в этом уверены, другие – нет. Никто в точности не знал, сколько пэров проголосуют вместе с «дайхардами». В такой критической ситуации Лансдаун и «хеджеры» должны были подобрать достаточное количество консервативных пэров, готовых пожертвовать принципами и проголосовать с правительством за билль, который им ненавистен. Только таким образом можно было не допустить возможное формирование большинства «дайхардов». Сколько

потребуется таких добровольцев и сколько людей отважится ими стать – в этом заключалась главная неопределенность момента.

10 августа температура наружного воздуха поднялась до рекордных ста градусов <sup>[140]</sup>, а в Вестминстере было еще жарче: в отличие от прежних политических схваток, исход этой битвы был абсолютно неясен. К 16.00 палата лордов была заполнена до отказа, такого скопления народа здесь еще никогда не было, пэрам даже пришлось стоять в проходах и дверных проемах. На них были визитки с высокими воротниками, аскоты, легкие жилеты и короткие гетры, а некоторые после обеденного перерыва так и пришли во фраках. «Дайхарды» украсили себя белыми ветками вереска, присланными герцогиней Сомерсет, а на многих «хеджерах» были красные розы. Лорд Холсбери шел на свое место с решительным видом рыцаря, принявшего вызов на ристалище, и одному очевидцу даже послышался звон шпор. Призывая к совести и сознательности, он потребовал отвергнуть билль. Лорд Керзон говорил, что выражает мнение большинства, а потом сидел «бледный и злой». Лорд Селборн вскочил на стол и «резкостью тона и драматичностью жестов» подтвердил свое намерение «стоять до конца». Новые ощущения неопределенности привнес лидер либералов лорд Кру, намекнувший на «естественное нерасположение» короля, собственное безрадостное настроение и словами – «должен признать, что все это у меня вызывает отвращение» – возродил подозрения о блефе правительства. Кто-то увлекся подсчетами и пересчетами. Ни один из шести пэров, сидевших за одним столом во время обеденного перерыва<sup>97</sup> (двое из них, лорд Кадоган и лорд Миддлтон, прежде входили в правительство консерваторов), так и не принял окончательного решения. Когда один из пэров, жертвующих принципами, лорд Кампердаун, заявил о намерении голосовать вместе с правительством, герцог Норфолк, рассердившись, ответил, что если хоть один пэр-консерватор проголосует за билль, то он и вся его группа займут сторону «дайхардов». Лорд Морли, чье пэрство исчислялось всего лишь тремя годами, тем не менее объявил, что «был бы глубоко тронут» и «чрезвычайно признателен», если бы правительство со всей ясностью дало понять, что за отклонением билля «последует незамедлительное и крупномасштабное титулование пэров». Удовлетворяя чей-то запрос, он повторил заявление. Палату словно окутала дымка. Архиепископ

Кентерберийский обратился к присутствующим с убедительной просьбой не делать ничего такого, что могло бы превратить палату, да и всю страну в «посмешище» для всего мира. Лорд Роузбери, обыкновенно ставивший в тупик своими бесконечными колебаниями и вроде бы собиравшийся воздержаться, вдруг вскочил со своего места на поперечной скамье и, произнося «последнюю, самую краткую и, возможно, самую мучительную речь в моей жизни», заявил, что будет голосовать с правительством. Поскольку, независимо от исхода, «палата лордов, как всем нам известно, исчезает», он намерен никогда больше не входить в эти двери, что впоследствии лорд и делал.

В 22.40 «посреди необычайного возбуждения» было объявлено о разделении голосов. Часть воздержавшихся пэров столпилась на ступенях трона, где они могли оставаться, не принимая участия в голосовании. Остальные воздержавшиеся от голосования пэры, ведомые лордом Лансдауном, покинули палату. Две группы пэров, двумя потоками выходявшие в отдельные лобби по обе стороны палаты, казались наблюдателям на галерке примерно равными по численности. Подсчет вели счетчики, вооруженные белыми жезлами, которыми они постукивали по плечу каждого пэра, возвращавшегося из лобби. Неспешно два потока пэров шли обратно, и из открытых дверей доносились голоса счетчиков: один, два три, четыре... Процесс подсчета голосов занял пятнадцать минут, а казалось, что прошел целый час. Во время случайной задержки в правительственном потоке послышался торжествующий шепот неустрашимого лорда Холсбери: «Вот вам. Я знал, что мы побьем их!» Лорд Морли с нетерпением ждал, когда появятся батистовые рукава епископов: он знал, что они проголосуют за правительство. Процессия завершилась. Счетчики передали свои данные главному «кнутому» лорду Хершеллу, который, в свою очередь, сообщил результаты на листе бумаги лорд-канцлеру. В полнейшей тишине лорд Лорберн поднялся с мешка с шерстью, откинул назад боковые концы парика и ясным, звучным голосом объявил результаты: за билль – 131, против – 114, перевес – 17. Леди Холсбери, не сумев сдержать свои эмоции, что-то громко прошипела с галереи супруг пэров. Галереи гостей отнеслись к объявлению результатов молча, без энтузиазма и бурных возгласов. Только гости – члены парламента сразу же поспешили в свою палату, где их приветствовали ревом восторга. Лорды разошлись, и через пять минут

зал опустел. Вместе с правительством проголосовали тридцать семь пэров-консерваторов, двое архиепископов и одиннадцать епископов, и те из них, кто осмелился появиться в тот вечер в Карлтонском клубе, услышали в свой адрес крики: «Позор! Иуды!»

«Шлюзовые ворота революции открыты!» – громогласно провозгласила на следующее утро «Дейли мейл», газета лорда Нортклиффа, не видя, что в шлюзах нет воды. Аннулирование права вето открывало дорогу для продвижения билля о гомруле, который правительство внесло уже на следующей сессии. Но победа над лордами в данном случае не играла никакой роли. Оппозиция гомрулю, приобретя новую форму восстания Ольстера, спровоцировала возникновение более тяжелого кризиса, для которого наличие парламентского билля не имело существенного значения. В итоге потребовалось более значительное потрясение, чем аннулирование права вето, для того чтобы освободить английскую политику от злого демона Ирландии.

Через пару недель сэр Эдуард Грей заметил Уинстону Черчиллю: «Какой это был необычный год: жара, забастовки, а теперь еще и зарубежная закавыка».

«Разве? – ответил Уинстон. – Вы забыли парламентский билль»<sup>98</sup>. И приятель, зафиксировавший этот разговор, добавил: и не только он забыл, все забыли.

Уже на следующее утро после голосования в палате лордов внимание нации отвлекли страшное пекло и транспортная забастовка, которая, казалось, превращалась во всеобщую стачку и создавала «реальную угрозу социальной революции»<sup>99</sup>. Обиженный пэр «нигде не мог найти даже следов конституционного кризиса, только что терзавшего страну». В тот же день палата общин приняла законопроект, имевший поистине историческое значение – билль о зарплате членов парламента, предусматривавший ежегодный заработок в размере 400 фунтов стерлингов. Ему долго не давали ход консерваторы, но за него горой стояли лейбористы. Бесплатное членство в палате общин, как считала лейбористская партия, лишало рабочих права иметь в парламенте представителей из их рядов. Необходимость в регулярной зарплате появилась после предписания Осборна, запрещающего использовать профсоюзные фонды в целях материального обогащения. Для оппонентов оплата членов парламента

означала исчезновение политики как профессии для джентльменов и была еще более зловредной, чем парламентский билль. Эта мера узаконивала новый и «неприемлемый тип профессионального политика», объяснял Остен Чемберлен. Она уберет последний барьер, преграждавший «наплыв в политику обыкновенных авантюристов», писала газета «Таймс», которой владел авантюрист высшей категории лорд Нортклифф. Мало того, она будет стимулировать «нашествие» в государственную службу, которую «сейчас исполняют люди, которые могут позволить себе бескорыстие». Для патриция, не испытывающего жадности к деньгам и считавшего служение государству своим гражданским долгом, такая точка зрения представлялась здоровой, но она устарела. Потребности общества и государства изменились, да и сам патриций уже давно был далеко не бескорыстен в защите своих привилегий и замков. Введение зарплаты для членов парламента тоже было одним из факторов, указывавших на смену власти.

Следующим логическим шагом была отставка Бальфура с поста лидера консервативной партии, который он занимал в палате общин двадцать лет. Он объявил об этом 8 ноября 1911 года, вернувшись с отдыха в Бад-Гаштейне. Об отставке Бальфура писали как о «политической сенсации», хотя его свержения добивалась целая группа диссидентов во главе с Ф. Э. Смитом и Остеном Чемберленом, организовавшая кампанию под лозунгом *V.M.G (Balfour Must Go, «Бальфур должен уйти»)*. Ожидалось, что он без боя не уйдет. Однако заключительные аккорды кризиса вокруг вето, дикость и бессмысленность разгоревшейся битвы, оголтелое нежелание «дитчеров» проявить здравомыслие, возраставшее влияние политических авантюристов вроде Смита, которого он просто не терпел, вульгарность вызова, брошенного ему спектаклем Сесила, поселили в душе Бальфура раздражение и равнодушие. Испытывая отвращение, он не стал ждать результатов голосования в палате лордов и уехал в Бад-Гаштейн накануне. Наслаждаясь «видами водопадов, сосен и крутых обрывов», он все обдумал и принял решение. Ему уже было шестьдесят три года, он серьезно интересовался философией, чувствовал себя достаточно крепким, а перспектива борьбы за лидерство сначала в партии, а потом в стране в условиях наступления новой эпохи его не радовала. Бальфур принадлежал к традиции, в которой правительство было уделом патрициев, а теперь, как он

говорил в последнем выступлении, бремя правителей и законодателей стало настолько тяжелым, что этими делами должны заниматься люди, готовые быть «политиками и никем более, а только политиками, и управлять политической машиной в роли профессиональных политиков»<sup>100</sup>. Набеги толпы на тихий сад, как изобразил Мастерман подъем активности народных масс, уже начались, и философ Бальфур не мог им противостоять.

Его преемником не стал ни один из главных претендентов: ни Уолтер Лонг, представлявший мелкопоместное дворянство, ни Остен Чемберлен: они все сделали для того, чтобы помешать друг другу. Его место занял Бонар Лоу, стальной магнат из Глазго, родившийся в Канаде, регулярно читавший газеты, предпочитавший употреблять в пищу овощи, молоко и рисовый пудинг и опиравшийся на поддержку еще одного авантюриста, тоже канадца, Макса Эйткена, вскоре ставшего лордом Бивербруком.

Уход Бальфура вызвал поток комментариев в прессе, политических сплетен и безупречное высказывание Асквита<sup>101</sup>, выразившего «дань уважения самому выдающемуся представителю величайшего совещательного органа в мире». Джордж Уиндем незлобиво и чистосердечно сказал, что нежелание Бальфура бороться проистекало из безразличия, которое, в свою очередь, определялось «чересчур научным подходом к политике». «Он помнил, что когда-то был ледниковый период, – говорил Уиндем, – и знал, что будет новый ледниковый период»<sup>102</sup>.



## 8. Смерть Жореса. Социалисты: 1890—1914

Социализм был интернациональным. На это указано в названии самого движения – Второе международное товарищество рабочих <sup>[141]</sup>. То же самое подтверждалось гимном «Интернационал», в котором, кроме того, давалось обещание, что интернациональным станет «весь род людской». На учредительном конгрессе в 1889 году председательствовали француз и немец – Эдуард Вайян и Вильгельм Либкнехт. В организацию входили социалистические партии тридцати трех наций, в том числе Германии, Франции, Англии, Австрии, Венгрии и Богемии, России, Финляндии, Голландии, Бельгии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Сербии, Болгарии, Индии, Японии, Австралии и Соединенных Штатов. Цвет флага был густо-красный, символизировавший кровь человечества. Главная идея заключалась в классовой солидарности, не признающей национальных границ в горизонтальной стратификации общества. Праздничным днем был избран день 1 мая, когда полагалось демонстрировать пролетарское братство, а девизом стал призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Шахтеры, фабричные рабочие, сельские труженики, слуги и другие представители рабочего класса, чьи интересы отстаивал социализм, должны были ощущать свою принадлежность к интернационалу; в эту теорию верили его лидеры, ее проповедовали и на нее опирались. На социалистическом конгрессе в Амстердаме, проходившем в 1904 году, во время Русско-японской войны, российский и японский делегаты Плеханов и Катаяма сидели рядом. Когда эти два господина пожали друг другу руки, все четыреста пятьдесят делегатов в едином порыве вскочили со своих мест и устроили им бурную овацию. Выступая, и Плеханов и Катаяма заявляли, что война развязана капитализмом, а не народами, и публика слушала их с благоговейным вниманием<sup>1</sup> и долго провожала аплодисментами.

Социализм прокламировал концепцию классовой борьбы, которая неизбежно должна привести к краху капитализма. Социалист считал врагами и правящий класс, и буржуазию. Враждебность была взаимной. Слово «социалист» ассоциировалось с «кровью» и «террором», как в прежние времена прозвание «якобинец». Уже четверть века, со времени основания в 1889 году – через сто лет после Французской революции, Второй интернационал держал правящий класс в постоянном напряжении. Вену буквально «парализовал страх»<sup>2</sup>, когда Виктор Адлер, австрийский лидер социалистов, призвал провести 1 мая однодневную всеобщую забастовку и массовую манифестацию по всей империи, чтобы продемонстрировать силу пролетарской солидарности. Когда Адлер объявил о парадном шествии рабочих по каштановым аллеям Пратера, где обычно прогуливались лишь экипажи богачей, вся местная знать и ее приспешники перепугались, что этот сброд начнет поджигать дома, грабить магазины и совершать другие злодеяния по ходу движения. Лавочники захлопнули на засовы ставни, родители не выпускали на улицу детей, на каждом углу стоял полицейский, в повышенную готовность были приведены войска. Буржуазия увидела, по образному выражению Генри Джорджа в книге «Прогресс и бедность», как «разверзается глотка ненасытного ада, ревущего в недрах цивилизованного общества». Буржуазия ощутила нарастающую угрозу «Дома Нужды Дому Достатка».

Когда учреждался Второй интернационал, нормой для неорганизованного труда считался двенадцатичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя. Правом на воскресный отдых и десяти-девятичасовой рабочий день пользовались только квалифицированные рабочие, объединенные в профессиональные гильдии, а они составляли лишь пятую часть трудящейся массы. В 1899 году Эдвин Маркем, на которого гнетущее впечатление произвела изможденная, понурая фигура крестьянина на картине Милле «Человек с мотыгой», написал не менее эмоционально тяжелую поэму, выразив в ней одновременно и ужас, который должно испытывать общество, и осознание им своей ответственности:

В этой жуткой фигуре согбено человечество,  
Обкраденное, поруганное, обездоленное,

Протестуя, вопиет к  
Судьям Мира, Вопиет и предостерегает...

Что Будущее скажет этому Человеку?  
Как ответит на его тяжкий вопрос,  
Когда вихри восстаний сотрясут мир?  
Что станет с царствами и царями —  
С теми, кто довел его до такого состояния —  
Когда этот немой Ужас обратится к Богу  
После столетий молчания?

В 1899 году, когда поэзия еще воспринималась публикой, стихотворение Маркема взволновало многих людей. По всей Америке газеты его перепечатавали, комментаторы обсуждали, священники использовали в проповедях, школьники заучивали наизусть, аналитики видели в нем «отражение *zeitgeist*»<sup>[142]</sup>, ставя его в один ряд с шедевром Киплинга *Recessional*<sup>[143]</sup>, самым «значимым произведением эпохи»<sup>3</sup>.

Общественное сознание, потрясенное художественным образом человеческого несчастья, еще больше ужаснулось и возмутилось, столкнувшись с реальными людскими страданиями. В 1891 году текстильщики небольшого городка Фурми на севере Франции устроили первомайскую демонстрацию с требованием восьмичасового рабочего дня. Полиция напала на демонстрантов и в завязавшейся потасовке убила десять человек, в том числе несколько детей. «Берегитесь! – предостерег Клемансо<sup>4</sup> в палате депутатов. – Мертвые не прощают. Помните о мертвых... Бесспорный факт современной политической жизни – неизбежность революции... Четвертое сословие поднимается и рвется к власти. Придется делать выбор: отвечать четвертому сословию насилием или встречать его с открытыми объятиями. Наступает решающий момент».

Предрасположенность к дружбе с четвертым сословием практически отсутствовала. Когда социалисты и профсоюзы в Бельгии после двух кровопролитных и безуспешных попыток все-таки организовали в 1893 году всеобщую забастовку с требованием равного избирательного права как необходимого условия завоевания власти,

солдаты расстреляли двенадцать манифестантов. Когда в результате Пульмановской стачки в Соединенных Штатах в 1894 году остановились поезда и бездействовала почта, судья Уильям Говард Тафт из Цинциннати, по натуре человек вовсе не злобный, написал жене: «Военным надо убить несколько человек в толпе, чтобы прекратить беспорядки. Пока они убили только шестерых... Этого вряд ли достаточно, чтобы произвести необходимое впечатление»<sup>5</sup>. Так действовали инстинкты классовой войны.

Генеральной целью социализма было уничтожить частную собственность и распределять продукты мирового производства таким образом, чтобы всем всего хватало. Аналогичную задачу ставили и анархисты. Существенная разница заключалась в том, что социалисты верили в необходимость политической организации и политического действия.

И те и другие предполагали, что коллективная собственность разрешит неприятный парадокс XIX века: материальный прогресс вызывал нарастание бедности. Маркс сделал вывод: это врожденное противоречие капитализма станет причиной его краха. Он сделал такое заключение из экономического анализа исторического процесса. Индустриальная революция трансформировала трудящегося из независимого производителя, имевшего собственные средства производства, в фабричного работника, неимущего и обездоленного члена общества, чье существование зависит от капиталиста, владеющего средствами производства. Капиталист аккумулирует прибыль, получаемую из добавочной стоимости товара, произведенного рабочим, и эксплуататор становится богаче, а эксплуатируемый – беднее. Этот процесс можно остановить только насильственным свержением существующего порядка. Приобретя необходимое классовое сознание и подготовившись к грядущим событиям, рабочий класс, когда созреет ситуация, поднимет восстание и установит новый порядок.

Марксистская доктрина *Verelendung* (пауперизации, обнищания) и *Zusammenbruch* (краха) превратилась в религиозную догму социализма наподобие концепции «Бог един», присущей другому вероучению. Она заразила социализм и рабочее движение хроническим недугом раскола – непреходящего конфликта между проповедниками неизбежного краха капитализма и революции и сторонниками постепенных реформ

существующего порядка. Противоречие между абсолютным будущим и возможностью настоящего существовало с самого начала, и основателям в 1889 году пришлось проводить два конгресса из-за разногласий по поводу простейшего вопроса: надо ли сотрудничать с буржуазными партиями? Истинные марксисты обвиняли французских поппуристов в мошенничестве<sup>6</sup>, когда те, стоя на железнодорожной платформе, заманивали на другой конгресс делегатов, прибывавших из провинций и не осведомленных о расколе. Все последующие двадцать пять лет раскол оказывал свое влияние на каждое решение, резолюцию, формулировку целей и задач рабочего движения, проявляясь в борьбе между прагматиками и теоретиками, профсоюзами и парламентскими партиями, между рабочими, добивавшимися повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и улучшения условий труда, и их вождями, мечтавшими о политической власти.

Марксизм привил социализму хроническую дилемму. Как движение, призванное отстаивать интересы рабочего класса, оно нуждалось в его поддержке, которой можно было добиться только наглядными практическими успехами, замедляющими или приостанавливающими процесс обнищания. Когда приятель Иоганна Микеля, в молодости страстного социалиста, протянул руку, чтобы подать милостыню нищему, он сказал другу: «Не делай этого. Не мешай революции!»<sup>7</sup> Его абсурдное замечание проистекало из марксистской теории. Любая реформа предполагает наличие некой общности между противоборствующими классами. Идея революции не признает существование такой общности. Если отсутствуют общие связи, какой толк в реформах? Ортодоксальные социалисты доказывали, что реформы надо выколачивать из имущих классов лишь для подготовки рабочих к заключительному сражению. Некоторые национальные партии всегда принимали программу-минимум, намечавшую реформы в рамках существующей системы, и программу-максимум, предусматривавшую сокрушение капитализма и триумф классовой борьбы. Умеренные социалисты, или «оппортунисты», как их называли, обычно намечали программу-минимум и обретение политического влияния, достаточного для ее реализации. Ортодоксы не признавали никаких промежуточных успехов, которые мешали бы «чистоте эксперимента» с «обнищанием».

В партийных программах социалистов обязательная необходимость в революции формулировалась неопределенно. Это делалось по двум причинам: учитывались неподготовленность избирателей и острая дискуссионность проблемы. Социализм не был чем-то вроде гранитного монолита, не поддающегося модификации. Он мог видоизменяться в зависимости от времени, ситуации, страны, партийной фракции. Вера социалиста в революцию чаще всего обуславливалась его темпераментом. Для одних социализм был «немыслим без революции»<sup>8</sup>. Другие надеялись, что «золотой век» социализма наступит безотносительно к тому, какими средствами он будет завоеван. В любом случае для ортодоксального марксиста крах капитализма был неизбежен, он не подлежал трансформации, его следовало уничтожить как врага – тирана, имевшего в своем распоряжении все виды классового оружия: суды, армию, прокуроров, законодательства, полицию, локауты.

Собственность существует давно, наполняя мир пороками и озлобляя человека против человека. Но рано или поздно приходит время для переворота. Все социальные язвы, продукты капитализма – бедность, невежество, расовые предрассудки и войны, являющиеся еще одной разновидностью капиталистического насилия, – будут уничтожены, и установится социальная гармония. Освободившись от ложного патриотизма, трудящиеся, связанные невидимым братством, не будут воевать друг против друга. Избавившись от алчности и отчаяния, порождаемого капитализмом, каждый индивид сможет развиваться всесторонне и в полной мере, защищенный коллективной системой необходимых для этого средств и свобод.

Социализм как воплощение нового и более достойного образа жизни представлялся неким священным идеалом, для служения которому требовалась нравственная чистота. Виктор Адлер, убежденный во вреде алкоголя для рабочего класса, призывал к трезвости и подавал личный пример. Социализм стал депозитарием для громких и красивых слов. Анжелика Балабанова, юная русская революционерка, наслушавшись ораторов-социалистов в бельгийском парламенте, написала: «Парламент казался мне священным местом, где Знание, Правда, Справедливость... борются против сил Тирании и Угнетения ради лучшего будущего для рабочего класса».

Цель воодушевляла, придавала жизни осмысленность, подменяя обыденные мотивы вроде личных амбиций и стремления к наживе. Партийные активисты и организаторы в ранние периоды трудились задарма. У движения социалистов не имелось денег, не было и коррупции. Оно не предоставляло средств для существования и источники дохода, поэтому его лидеры были преимущественно идеалистами. Для них это было дело всей жизни, а не карьера. Оно давало пищу для ума и обладало способностью сплачивать людей, несмотря на языковые и национальные барьеры. На одном конгрессе социалистов испанский лидер Пабло Иглесиас говорил столь пламенно и убежденно, что аудитория, не понимавшая ни одного слова, постоянно взрывалась бурей аплодисментов<sup>9</sup>. Рабочим, все чаще и уже миллионами отдававшим социалистам свои голоса, социализм помогал самоопределиться и научиться самоуважению. Трудящийся больше не был ничтожной и анонимной частью стада, а ощущал себя гражданином, имевшим собственное место в обществе и собственную политическую принадлежность. В отличие от анархизма, социализм давал рабочему партию, в которую он мог вступить и добиваться своих целей законными средствами.

Социализм привлекал и таких людей, как итальянец Амилькар Чиприани<sup>10</sup>, участвовавший в учредительном конгрессе 1889 года. Прирожденный бунтарь, он сражался в рядах «красных рубашек» Гарибальди, затем волонтером вместе с повстанцами Крита воевал против Турции, а в 1893 году поднимал всеобщую забастовку в Брюсселе. «Красавец в накидке с капюшоном, в мягкой фетровой шляпе, с черной бородой, в которой сверкала седина, и пламенным взглядом», он всегда носил с собой саквояж, «в котором наверняка было больше не туалетных принадлежностей, а взрывчатки... приготовленной для сражений в любом районе мира во имя революции».

Социализм притягивал и людей из высшего общества, чью совесть тревожила социальная несправедливость. К их числу относился американец Роберт Хантер, женившийся на дочери банкира-филантропа Ансона Фелпса Стоукса. Как и многих других представителей этого класса, Хантера взволновали обличительные статьи макрейкеров, и он, задумавшись над истоками и средствами искоренения социального зла, заинтересовался социализмом. В 1904

году двадцативосьмилетний Хантер сочинил классическое эссе «Бедность»<sup>11</sup>. С характерной для его времени эмоциональностью он описал итальянскую долину, «ласкавшую взгляд улыбчивыми живописными садами на террасах горного склона и терзавшую душу изможденными лицами мужчин, женщин и детей с огромными печальными глазами и впавшими щеками». «Бог мой! – восклицал автор. – Разве одна эта долина Тирано не научит социализму?... От лиц, глядящих на вас, когда вы едите, и от самой еды – тошнит... Любой человек, у которого есть сердце, станет социалистом в Италии».

Такие долины, как Тирано, превращали в социалистов и интеллектуалов, хоть раз в жизни их повидавших, и труженников, родившихся там, чтобы всю жизнь обслуживать чьи-то потребности и прихоти. Этих разных по происхождению людей объединяла общая вера в то, что человек достоин лучшей доли и должен добиться этого улучшения. Перед ними возникало множество препятствий. «Дом достатка» существовал с давних времен, он был силен и властен. Но и претензии рабочего класса изменились. Общество теперь слышало не безобидные стенания на бедность, а требования социального и политического равенства. Рабочие протестовали против избирательной системы, построенной на основе имущественной классификации. Их возмущала несправедливая воинская повинность, которая на деле оказывалась не всеобщей, а выборочной. Они восставали против предвзятости законов в отношении богатых и бедных слоев населения, против наследственных привилегий разного рода, дарованных правящему классу. Социализм привнес в инстинктивное недовольство рабочего класса осмысленность и конкретность. Разочаровавшая Бакунина апатия масс, заставившая Лассаля пожаловаться на «эту чертову непритязательность бедноты»<sup>12</sup>, оставалась в прошлом. Рабочий класс начинал осознавать свои интересы, хотя это вовсе не означало готовность к революции. Социализм, обозначив цель, придал движению страстность и мотивацию, в результате чего, например, в социалистическую партию Австрии вступил в возрасте четырнадцати лет Юлиус Браунталь, как он сам сказал: «ради революции». Однако революция по-прежнему привлекала больше интеллектуалов, не сомневавшихся в своих способностях управлять обществом, а не рабочий класс.



Стереть грань между рабочим и интеллектуалом в социализме так же невозможно, как замазать или заклеить трещину в дереве. Организованный социализм имел название «товарищества трудящихся», но в реальности никогда не существовало ничего подобного. Это была организация не рабочего класса, а движение, организованное от его имени, и это фундаментальное различие сохранялось всегда. Хотя движение представляло рабочий класс и выражало его желания, интеллектуалы формулировали цели, обеспечивали постановку задач и доктрин, лидерство и активность. Рабочий класс был одновременно и клиентурой, и, учитывая его массовость, необходимым орудием для свержения капитализма. Его героизировали, придали ему некую сентиментальную романтичность. На иллюстрациях к английскому памфлету<sup>13</sup>, изданному в связи с лондонским конгрессом в 1896 году, рабочие изображены в виде пригожих мускулистых персонажей Бёрна Джонса, окруженных длинноногими женщинами с выющимися волосами. Они уже радикально отличались от расы грязных фигур Золя, изможденных, голодных, чахоточных, спившихся. В реальности, конечно, не было ни стопроцентного *lumpenproletariat*, ни жуткой внешности революционера с курчавой бородой и сжатыми кулаками. Рабочий класс не был единообразным и однородным, как и любое другое сословие. Однако доктрина социализма требовала, чтобы рабочий обладал классовым самосознанием, классовым мировоззрением, классовой силой воли и классовой целеустремленностью. Социализм идеализировал рабочих, а идеализация всегда предполагает гиперболизацию.

Вследствие внутренних противоречий учредительный конгресс в 1889 году не принял доктрину, которой бы руководствовались все партии. Участники провозгласили лишь четыре общие цели: восьмичасовой рабочий день, всеобщее избирательное право для взрослых мужчин, замена постоянной армии гражданской милицией, празднование 1 мая для демонстрации силы и сплоченности рабочего класса.

Если первая задача учитывала требования клиентуры, то следующая цель имела первостепенное значение для всей деятельности социалистов. Только участие в выборах давало массам возможность перевести количественное преимущество в качественное

и использовать его для завоевания политической власти, потеснить или даже вытеснить всевластие капитала. По этой же причине правящий класс противился нововведению. Равное мужское избирательное право тогда существовало лишь во Франции, Соединенных Штатах и на общенациональном, но не на местном уровне – в Германии. В большинстве других стран неимущие слои населения были лишены права голоса, или оно предоставлялось отдельным категориям налогоплательщиков, выпускникам университетов, отцам семейств. Социалисты требовали избирательного права по принципу один человек – один голос.

Празднование 1 мая было включено по запросу Американской федерации труда, которая намечала в этот день, 1 мая 1890 года, начать кампанию за введение восьмичасового рабочего дня. Резолюцию приняли по предложению французского тред-юниониста, но единодушного одобрения она не получила: немцы отказались участвовать в таком мероприятии, опасаясь разозлить свою власть и вызвать гонения.

Тем не менее самыми деятельными и влиятельными участниками интернационала были немцы. Германская партия, старейшая и крупнейшая из всех социалистических партий, пользовалась непререкаемым авторитетом, а в силу того, что Маркс был немцем, считала себя чуть ли не Ватиканом социализма. В 1890 году, освободившись от пут антисоциалистического закона, она набрала 1 400 000 голосов, или почти 20 процентов всего электората, получив в рейхстаге тридцать пять мест и завовав своей победой социалистов всего мира. Германская социал-демократическая партия добилась успеха, опираясь на профсоюзы и умело адаптируясь к реальным возможностям. В теории она оставалась непоколебимо марксистской, признав официальной на съезде в Эрфурте в 1891 году марксистскую трактовку исторического процесса.

Эрфуртская программа подтвердила, что средний класс, малый бизнес и фермеры вместе с пролетариатом пополняют ряды бедноты, с возрастанием численности масс увеличивается армия труда и еще больше обостряются противоречия между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Поскольку проблему обобществления собственности можно было решить только после завоевания политической власти, эта цель и выдвигалась в качестве приоритетной

в программе партии, профсоюзам отводилась вспомогательная роль поставлять голоса избирателей, а политическое руководство сохранялось за партией.

Эрфуртская программа политического действия в основном и определяла идеологическую направленность Второго интернационала, несмотря на яростную оппозицию анархистов, чей разрыв с марксистами уже состоялся на Первом интернационале из-за разногласий по поводу партнерства с профсоюзами. Анархистов не пригласили на конгресс в Цюрихе в 1893 году<sup>14</sup>, но они все равно явились на него, и Август Бебель, председатель съезда, немец и большой мастер марксистского красноречия, назвал их «людьми без принципов и программ». «Привыкший к немецким методам» руководства, Бебель выдворил их с конгресса в Цюрихе, применив силу. Протестуя против таких приемов, Чиприани снял с себя полномочия делегата. Анархисты ушли и провели в кафе свой малый конгресс, в то время как большой конгресс единодушно принял резолюцию, признававшую «необходимость организации рабочих для политического действия». Отныне только партии, согласные с этим принципом, могли считаться социалистическими и участвовать в конгрессах интернационала. Исключение было сделано для профсоюзов, от которых не требовалось подтверждать согласие с политическим принципом. По словам бельгийского делегата Эмиля Вандервельде, все эти труднейшие проблемы были разрешены в «атмосфере полного взаимопонимания». Но если верить впечатлениям британского молодого делегата, тред-юниониста Дж. Р. Клайнса, никогда прежде не выезжавшего за границу, ситуация на конгрессе была далеко не идиллическая. Его поразили «вербальные оргии» и оскорбления, которыми награждали друг друга латинские и славянские делегаты, внезапные вспышки озлобления, когда во время одной из них даже блеснуло лезвие ножа и все «вопили и дрались». Среди социалистов человеческая драчливость проявлялась во фракционности, что Клайнс тактично объяснял «межнациональным соперничеством и враждой, порожденными прежними войнами».

Решив искупаться в Цюрихском озере, Клайнс чуть не наткнулся на «румяную бородатую голову, плывшую навстречу» и, как оказалось, принадлежавшую Бернарду Шоу, тоже делегату, представлявшему Фабианское общество. Писатель уже отверг марксизм и революцию и

не скупился на сарказм в сообщениях с конгресса, обвинив Вильгельма Либкнехта в том, что он втирает очки своим последователям «риторикой баррикад»<sup>15</sup>. Германские вожди, по его мнению, на сорок лет отстали от жизни. Самым старшим из них был 67-летний Либкнехт, основавший партию в 1875 году. Он происходил из потомственной профессорской семьи, зародившейся еще в XVIII веке, побывал в тюрьме за участие в буржуазной революции 1848 года, после чего тринадцать лет жил изгнанником в Англии, где сошелся с Марксом. Когда Либкнехт умер в 1900 году, его провожали в последний путь более ста тысяч человек и похоронная процессия, растянувшаяся на четыре часа.

Для всех, кроме Шоу, германская партия была надеждой социализма, его знаменосцем в стране, где, как предрекал Маркс, и должна была совершиться революция. На всех производили впечатление ее численность и сплоченность, превосходная организация, ее двадцать восемь секретарей, ее учебная программа для партийных активистов и неуклонно растущая популярность. На выборах 1893 года за социал-демократию проголосовали 1 750 000 человек, почти 25 процентов электората, ни одна другая партия не имела такой армии сторонников. Устраняясь от взаимодействия с буржуазными партиями, социал-демократы, несмотря на численность, не обладали сколько-нибудь серьезным политическим влиянием в этом импотентном органе, каким был рейхстаг. Тем не менее сам факт существования такой партии оказывал косвенное воздействие на правительство, делая его уступчивее. Кайзер, отметив отставку Бисмарка отменой исключительного закона против социалистов в 1890 году, скоро исправил свою оплошность. К 1895 году он решил, что социал-демократы – «банда предателей», не достойных «называться немцами», а к 1897 году у него уже не оставалось никаких сомнений в том, что партия, «позволяющая себе нападать на всемогущего повелителя», должна быть «выкорчевана до последнего корня»<sup>16</sup>. В 1895 году Либкнехта арестовали по обвинению в *lèse-majesté*<sup>[144]</sup>, совершенному в речи, которую, как потом заметил Бернارد Шоу, «господин Артур Бальфур»<sup>17</sup> мог произнести в “Лиге подснежника”<sup>[145]</sup> хоть завтра при полном одобрении Англии». В Германии история, приключившаяся с Либкнехтом, могла произойти с кем угодно.

В сознании германских социалистов национальные инстинкты перевешивали классовые чувства. Поэтому они привыкли чаще повиноваться, а не проявлять строптивость. Несмотря на многочисленность, партия до 1907 года не отваживалась принять на германской земле конгресс Социалистического интернационала. Несмотря на пылкость речей, ее вожди проявляли сдержанность в действиях. Первомайские демонстрации они проводили больше по вечерам и так, чтобы не мешать производству. «Стачка, – говорил Либкнехт, – это всеобщая забастовка, а значит, всеобщая глупость»<sup>18</sup>. В Мюнхене проведение первомайских манифестаций не разрешалось до 1901 года, а впоследствии их можно было устраивать только вне города и при условии, что они не будут загромождать улицы<sup>19</sup>. Колонны социалистов с карманами, набитыми редиской, в полном молчании быстро проходили по улицам в ближайшие окрестности, усаживались с женами и детьми на траве, пили пиво, закусывая его редиской, и, по словам одного русского изгнанника, «ничем не напоминали участников первомайского празднования триумфа рабочего класса».

Немецкие рабочие, конечно, находились в лучшем положении, чем их русские собратья. Индустриальный бум означал, что трудовая занятость росла быстрее населения. Профсоюзам удавалось добиваться повышения зарплат. Социальное законодательство, дарованное Бисмарком трудящимся для укрепления их связи с государством, было самое прогрессивное по тем временам. К 1903 году системой социального страхования по болезни было охвачено 11 000 000 рабочих, по старости – 13 000 000, на случай производственного травматизма – 18 000 000 и общая сумма социальных выплат исчислялась 100 000 000 американских долларов. Законами регулировались зарплаты, рабочие часы, время для отдыха, процедуры урегулирования жалоб, меры по технике безопасности, количество окон и туалетов. С немецкой пунктуальностью правители Германии стремились добиться максимальной эффективности, свести к минимуму риски и поддерживать относительный порядок. Профессор Дельбрюк в 1897 году публично заявил о полезности коллективного договора, аргументируя это тем, что мир в трудовых отношениях необходим для национального единства, национальной безопасности и обороны. Самый эффективный способ борьбы с

социал-демократами, которых правящий класс все больше ненавидел и боялся, – дружить с рабочими, делая им время от времени уступки.

Август Бебель, партийный диктатор, для буржуазии был своего рода «теневым кайзером»<sup>20</sup>. Тщедушный, низенький, седовласый господин с козлиной бородкой родился в бараках в 1840 году, в том же году, что и «царь» Рид. Его отцом был армейский капрал, а матерью – служанка. Обучившись столярному делу, он вступил в ряды рабочего класса во времена Лассалю, и по обвинению в подстрекательстве к измене его на четыре года уперли в тюрьму, подвергнув наказанию, которое в те годы обычно порождало социалистов. В тюрьме Бебеля часто навещал Либкнехт. Он много читал и написал труд, достойный степени магистра – «Женщина и социализм». Его ума, говорил Моммзен, хватило бы для двенадцати юнкеров, живущих восточнее Эльбы<sup>21</sup>. В рейхстаге Бебель успешно дебатировал с Бисмарком, говорил с характерным акцентом и, защищая сирых и бедных, снискал любовь и восхищение рабочих, считавших его своим «товарищем». Он намерен оставаться «смертельным врагом этого буржуазного общества и этого политического режима» до тех пор, пока его не сокрушит, заявил Бебель на партийном съезде в 1903 году. Это была традиционная партийная фразеология. В действительности же Бебель не питал иллюзий в отношении своих последователей. «Взгляните на этих парней, – говорил он в 1892 году корреспонденту лондонской «Таймс», наблюдавшему за шествием батальона прусских гвардейцев. – На 80 процентов они берлинцы и социал-демократы, но в случае беспорядков пристрелят меня по первой же команде сверху».

Из всех выдающихся персонажей Второго интернационала только Бебель и Кейр Харди имели пролетарское происхождение. Родители Карла Каутского (на четырнадцать лет моложе Бебеля), партийного теоретика и эссеиста, автора Эрфуртской программы, чьи комментарии к доктрине вызвали жаркие и нескончаемые дискуссии, были интеллектуалами: отец – художником, а мать – новеллисткой. Австриец Виктор Адлер был доктором, Эмиль Вандервельде имел богатых родителей, которых называл «воплощением буржуазной добродетели», и француз Жорес происходил из мелкобуржуазного сословия.

Доктор Адлер прекрасно знал, какой вред наносят человеческому организму недоедание, тяжелый физический труд и перенапряжение<sup>22</sup>. Он хотел вести рабочих в новую эру «здоровья, культуры, свободы

и достоинства». Он родился в Праге, в богатой еврейской семье и изучал медицину лишь для того, чтобы лечить бедных. Одевшись в лохмотья, подобно каменщику, он обследовал условия венских кирпичных заводов, где рабочие жили в бараках под надзором стражи, как в тюрьме, по пять-шесть семей в одной комнате и получали заработок расписками-талонами, которые принимались только в лавках компании. Перед тем как основать партию, он в 1889 году побывал в Германии, Англии и Швейцарии, изучив социальные законодательства, которые можно было бы применить в Австрии. Его низкорослую, щупленькую фигуру украшали пышная шевелюра, усы и очки в золотой оправе; несколько болезненный вид ему придавали бледное лицо и выступавшее вперед плечо. Помимо музыки, он безумно любил Ибсена и Шелли. Революция для него была несомненной, но он также считал необходимым добиваться реформ, которые должны подготовить рабочих и физически и интеллектуально к исполнению своей миссии. Борьба за реформы с деспотизмом режима Габсбургов истощала его силы и веру. Троцкий, близко узнавший Адлера в начале века, считал его законченным скептиком, готовым все что угодно стерпеть и к чему угодно приспособиться.

В Бельгии, самой густонаселенной стране Европы, процесс индустриализации происходил особенно интенсивно и быстро, и жизнь рабочего класса, по словам одного комментатора, была «настоящим адом». Владельцы текстильных фабрик, сталеплавильных заводов, шахт, каменоломен, доков и причалов относились к рабочим «как к зерну в жерновах». Четверть рабочих получали в день в пересчете на доллары менее 40 центов, другая четверть – 40–60 центов. Обследование в Брюсселе показало, что 34 процента рабочих семей ютились в одной комнате. Уровень неграмотности в Бельгии был самый высокий в Северной Европе, и детский труд использовался в таких масштабах, что лишь немногие дети могли посещать школу. Побуждаемое более «весомыми мотивами, чем доктрина»<sup>23</sup>, рабочее движение в Бельгии основало свою партию в 1885 году без каких-либо шатаний и разбродов, поскольку просто не могло позволить себе такой роскоши. Самая сплоченная, дисциплинированная и самая серьезная из всех европейских социалистических организаций, бельгийская партия была и преимущественно пролетарской, хотя и возглавлялась неистовым интеллигентом Вандервельде. Юриста по образованию,

блестящего оратора и сочинителя статей по проблемам рабочего движения особенно обожали женщины-социалистки, считавшие его «обаятельным и привлекательным физически»<sup>24</sup>. Вместе с профсоюзами его партия организовала систему кооперативов, где рабочие покупали социалистический хлеб и социалистические башмаки, пили социалистическое пиво, устраивали социалистические каникулы, получали социалистическое образование в Новом университете, где читал лекции французский анархист и географ Элизе Реклю. Основанная Вандервельде в 1894 году, тогда же, когда фабианцы основали Лондонскую школу экономики, Бельгийская школа проектировала социалистический мир в недрах капиталистического общества.

Благодаря расширенному избирательному праву, завоеванному ценой жизни нескольких рабочих, Бельгийская рабочая партия в 1894 году получила двадцать восемь депутатских мест в самом буржуазном парламенте Европы. Появление этого единого блока, твердо и решительно настроенного свергнуть все институты существующего режима<sup>25</sup>, напугало правящий класс и вдохновило сторонников социализма, доказав, что Бельгия может стать первой страной, где утвердится социализм. Когда в 1902 году была предпринята вторая попытка всеобщей забастовкой добиться избирательного права по принципу один человек – один голос, многие не захотели рисковать и приносить в жертву то, что уже завоевано. Но возобладало мнение самых воинственных социалистов. Все еще могущественный и агрессивный правящий класс устроил расправу над демонстрантами, вышедшими на улицы Лувена. Под пулями погибли восемь забастовщиков, и партии понадобилось много лет, чтобы восстановить силы и моральный дух.

В Германии был Маркс, Франция прославилась революцией и Коммуной. Социализм во Франции был в большей мере духовный, но в силу фракционности менее фундаментальный и менее авторитетный, чем в Германии. Марксистской матрицей служила Французская рабочая партия, основанная в 1879 году Жюлем Гедом, консультировавшимся с Марксом и Энгельсом. Через два года Поль Бруссе отпочковался и организовал «поссибилистов», полагая, что освобождение рабочих возможно и без революции. Эдуард Вайян, наследник коммунаров-бланкистов, возглавил самостоятельную



социалистическую революционную партию, от которой отделилось экстремистское крыло, назвавшееся «аллеманистами» по имени его лидера Жана Аллемана. Гед оставался самопровозглашенным хранителем марксистского учения, неустанно выступая против отступничества и ложных идолов. У Гeda были длинные черные волосы, ниспадавшие почти до плеч, продолговатое лицо Иисуса Христа, дидактический длинный нос с пенсне, и всем своим обликом он напоминал страстного борца за веру, в данном случае за веру в необходимость неустанной борьбы против капиталистической системы. «Торквемада в очках»<sup>26</sup> – назвал его один современник, а Золя отметил его «особенно эмоциональную манеру жестикулировать и непреходящий кашель». Все помыслы Гeda были только о революции, и он считал непозволительным любое сотрудничество с вражескими классами. Он был «импоссибилизмом». Гед принадлежал к категории марксистов, одержимых предвидением катастрофы. Человечество, поглощенное материалистическими интересами, деградирует. Если промедлить, то социализм может наступить слишком поздно для его спасения. «Что мы, социалисты, можем сделать с деградированным человечеством?»<sup>27</sup> – задавался он таким сакраментальным вопросом во время разбирательств дела Дрейфуса. – Мы придем слишком поздно. Человеческий материал разложится, когда наступит время для строительства нашего нового дома».

В 1893 году социалисты во Франции, как и в Бельгии, одержали впечатляющую победу на выборах. Свыше полумиллиона избирателей отдали свои голоса за тридцать семь депутатов палаты. Самым выдающимся среди них был тридцатичетырехлетний Жан Жорес, завоевавший популярность по всей Франции как радетель забастовщиков коммуны Кармо в своем родном крае Тарн. Шахтеры Кармо, уже давно конфликтовавшие с работодателями, в 1892 году избрали мэром секретаря своего профсоюза, социалиста, которого компания уволила за непослушание: хозяева отказались предоставлять ему время для исполнения политических функций, и ему приходилось самовольно отлучаться по делам. Шахтеры расценили увольнение своего лидера как оскорбление, нанесенное и им, и завоеваниям революции. Когда шахтеры в знак протеста объявили забастовку, Жорес, бывший профессор философии, стал их советником, вождем и оратором<sup>28</sup>. Его оппонент, маркиз де Солаж, хозяин Кармо, владелец

шахт, стекольного завода, лесоповалов, имевший титул и депутатское место в парламенте, был воплощением капитализма, и с ним Жорес вел нескончаемую войну во время забастовок и выборов почти всю жизнь. Сам Жорес стал депутатом как кандидат Французской рабочей партии, избранный от округа Кармо.

Приземистый и увесистый, эдакий «пышущий здоровьем кариатид» с «веселым и насмешливым лицом» всем своим видом доказывал, что родился на солнечном юге. «Все ему было чрезвычайно интересно, все его возбуждало», – говорил о нем Вандервельде. Обладая командным голосом, незаурядным интеллектом, полемическим даром, неумной энергией и энтузиазмом, он был прирожденным лидером. Когда Жорес говорил, он пребывал в постоянном движении, голова с густой бородой откидывалась назад, тело рвалось вперед, а короткие руки то взмывали вверх, то падали вниз. «Казалось, плечи вздрагивали и колени подгибались под тяжестью обуревавших его идей и мыслей, когда он всю силу своего интеллекта и убеждений обращал в слова, которые должны были вести людей, веривших ему, в лучшее будущее». Казалось, что в нем слились воедино земная твердь и бушевание огня. Послушать его речи приходили даже политические оппоненты, подобно тому, как театралы шли посмотреть игру Муне-Сюлли в трагедиях Расина. Когда за обедом он начинал рассказывать об астрономии, вспоминал один из гостей, «перед нами будто расступались стены, и мы окунались в вечность»: «Женщины забывали поудрить свои личики, мужчины – закурить, а слуги – пойти поужинать». Реми де Гурмон говорил: «Жорес думает своей бородой». Но вряд ли кто-либо еще тогда был способен столь ясно излагать свои мысли, как человек, написавший *Les Preuves*, «Доказательства», и учившийся в юности в Эколь нормаль. Хотя у французских социалистов не было постоянного вождя, поскольку они постоянно разделялись, объединялись и снова разъединялись, Жорес, постепенно сменив Геда, стал признанным лидером.

Он был истинным социалистом, не в смысле следования доктрине, а в смысле верности идее и цели. Он верил в изначальную доброту человека, в то, что общество тоже должно быть добродетельное, и за это надо бороться каждодневно, всеми доступными средствами, но с учетом реальностей. Он вел эту борьбу

повсюду, где только можно: во время волнений в Фурми и Кармо, по поводу *lois scélérates*<sup>[146]</sup>, налогообложения, дела Дрейфуса. Его социализм не проистекал из поучений Маркса. Он, как объяснял сам Жорес, был «продуктом истории, нескончаемых и вековых страданий». Текст его латинской докторской диссертации был посвящен исследованию источников германского социализма, начиная с Лютера: *De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel*. Впервые его избрали в палату депутатов в 1885 году как республиканца. Тогда ему было двадцать шесть лет и он был самым молодым членом парламента. Потом он разочаровался в политике и вернулся в науку профессором университета в Тулузе, где его лекции приобрели такую популярность, что на них приходили и рабочие, и мелкобуржуазные горожане, и студенты, и преподаватели. Волнения рабочих в Тулузе и Тарне заставили его снова заняться общественно-политической деятельностью, и в 1890 году он объявил себя социалистом. Эдуард Вайян однажды сказал, что для Жореса годилась любая революция, но это не так<sup>29</sup>. У Жореса было свое и четкое представление о революции: для него она означала завоевание, а не свержение государства. Его марксизм был текуч, подвижен. Жорес был и патриотом и интернационалистом и верил в индивидуальную свободу так же убежденно, как и в коллективизм. «Мы, социалисты, тоже свободолюбивы, и мы тоже выступаем против любых внешних ограничений», – говорил он. Для нас неприемлемо, если в социалистическом обществе будущего человек не сможет вольно «гулять, петь и общаться». Он отвергал марксистскую концепцию буржуазного общества, в котором нет места для рабочего класса. Он видел в рабочем классе не постороннего пришельца, ждущего у дверей, когда наступит его время властвовать, а активного участника, нуждающегося в среднем классе как в союзнике для реформирования общества в соответствии с социалистическими идеями.

В его вере таилась невидимая движущая сила. «Вы знаете, как определить статью, написанную Жоресом? – спрашивал Клемансо. – Очень просто. Все глаголы у него в будущем времени»<sup>30</sup>. Тем не менее из всех социалистов он был самым прагматичным, ему было чуждо доктринерство, он всегда был человеком действия. Он жил конкретными делами, а это означало и движение вперед, и отступление, и адаптацию, и умение не только брать, но и давать. Он

не признавал догм, закрывающих возможность найти выход из трудного положения. Он всегда прокладывал мосты для взаимопонимания: и между людьми, и между идеями. Он был идеалистом-практиком.

В числе депутатов-социалистов в 1893 году вместе с ним были избраны Александр Мильеран, прожженный адвокат, Рене Вивиани, умевший производить больше впечатления витиеватостью речей, а не их содержанием, и еще один адвокат Аристид Бриан, самый младший из них, «Ф. Э. Смит» социалистов, чьи способности, деловитость и амбиции оказались намного солиднее и тверже убеждений. Бриан «ничего не знает и все понимает», говорил о нем Клемансо и добавлял: если бы его обвинили в краже башен собора Парижской Богоматери, то адвокатом он нанял бы Бриана. Социалисты-депутаты 1893–1898 годов сразу же распропагандировали свои идеи и требования. Они приняли программу-минимум, известную как «программа Сен-Манде», сформулированную Мильераном и дававшую определение социалисту как человеку, «верящему в коллективное владение собственностью». В ней также провозглашались основные цели: национализация средств производства и обмена по мере их готовности к обобществлению; завоевание политической власти на основе всеобщего избирательного права; международное единение рабочего класса. В палате депутатов они добивались промежуточных реформ: введения восьмичасового рабочего дня, налогообложения доходов и наследства, страхования по старости, муниципальных преобразований, мер по охране здоровья и технике безопасности на заводах, шахтах и железных дорогах. Парламентская активность Жореса, идеологический задор Геда, доведшего марксистскую версию исторического процесса до ее закономерного завершения коллапсом капитализма и перепугавшего до смерти буржуазию, яростные отповеди консерватора де Мена, речи, комментарии и статьи, сопровождавшие дебаты, превратили социализм в идеологическое ристалище, ставшее с тех пор неотъемлемой частью общественно-политической жизни Франции.

Французские профсоюзы, зараженные синдикализмом и отвергавшие политическое действие, в 1895 году объединились в *Confédération Générale du Travail* (Всеобщую конфедерацию труда) и сторонились социализма. Антагонизм достиг своего апогея в 1896 году

на лондонском конгрессе Второго интернационала<sup>31</sup>, «самом хаотичном и бурном», где анархисты (в том числе Жан Грав, представлявший сталеваров Амьена) последний раз попытались войти в семейство социалистов. Французские фракции перессорились, а когда они собрались еще раз перед пленарной сессией, за закрытыми дверями слышались только «неразборчивые вопли». Шесть дней не смолкала словесная баталия, в которой снова схлестнулись Маркс и Бакунин, и конгресс исключил анархистов из интернационала навсегда. Завершилась первая фаза становления социализма. Мало кто сомневался в том, что не возникнут новые проблемы, разделяющие правое и левое крыло социализма и углубляющие раскол между «абсолютистами» и «поссибилистами».

Тем временем в США наметился новый поворот в развитии социализма после того, как судебный запрет в отношении Пульмановской стачки в один момент превратил в социалиста Юджина Виктора Дебса. Названный отцом именами Эжена Сю и Виктора Гюго, эмигрант из Эльзаса вырос под влиянием впечатлений от романа «Отверженные», этой библии и отца и сына. В четырнадцать лет он начал работать кочегаром на железной дороге, основав впоследствии Товарищество паровозных кочегаров, а в 1892 году вышел из него, чтобы организовать всех железнодорожников в единое товарищество – Американский союз железнодорожников. Когда в 1893 и 1894 годах компания «Пульман» сократила зарплату где на четверть, а где и на тридцать три и одну треть процента, не снижая ренты за проживание в ее домах и продолжая выплачивать дивиденды инвесторам, Дебс объявил солидарную забастовку всех железнодорожных составов, имевших вагоны «Пульман». Забастовали свыше ста тысяч человек, создав в истории Соединенных Штатов прецедент самой массовой стачки и самого опасного трудового конфликта. Владельцы двадцати четырех железных дорог с общим капиталом 818 000 000 долларов мобилизовали все свои силы и обратили против забастовщиков суды, армию и поддержку федерального правительства. Против бастующих были мобилизованы три тысячи полицейских только в районе Чикаго, пять тысяч профессиональных штрейкбрехеров были приведены к присяге как помощники шерифов и получили огнестрельное оружие. В общей сложности шесть тысяч солдат войск федерации и штатов были приведены в состояние боевой готовности якобы для защиты

собственности и населения, а на самом деле для подавления забастовки и разгрома профсоюза. Полковник регулярной армии, напившись в чикагском клубе, грозился приказать солдатам в своем полку взять на прицел и пустить пулю в каждую «чертову белую ленту», эмблему забастовщиков<sup>32</sup>.

Хотя профсоюз согласился выделить необходимое число людей для почтовых поездов, именно проблема доставки почты была использована как повод для судебного запрета, выданного самыми скоростными темпами. Как инструмент государства, применяющийся для защиты собственности, судебный запрет был самым грозным и эффективным оружием капитализма. Генеральный прокурор Олни, служивший прежде адвокатом железных дорог и все еще исполнявший обязанности директора нескольких линий, убедил президента Кливленда в необходимости срочных и чрезвычайных мер. Окружной прокурор Чикаго подготовил предписание о судебном запрете при содействии судей Гросскапа и Уильяма Вуда (из Федерального окружного суда), которые затем подтвердили свое соучастие<sup>33</sup>. Когда губернатор Альтгельд отказался запрашивать федеральные войска, судьи засвидетельствовали необходимость в их вызове для исполнения судебного приказа. Это была война, говорил Дебс, между «трудящимися классами и денежной властью страны». Он отказался подчиниться судебному приказу, его и еще нескольких сподвижников арестовали и без права освобождения под залог приговорили в 1895 году к шести месяцам тюремного заключения.

После его ареста забастовщики, уже голодавшие, сдались. Тридцать человек были убиты, шестьдесят – получили ранения, свыше семисот – подверглись аресту. Нанимая снова на работу, компания «Пульман» применяла так называемые контракты «желтой собаки», требовавшие, чтобы рабочий брал обязательство не вступать в профсоюзы. Американский союз железнодорожников был уничтожен, но забастовка превратила Дебса в национального героя и жертву судебного предписания. Она доказала также, что забастовку нельзя выиграть, если правительство на стороне капитала: значит, рабочий класс должен завоевывать политическую власть.

В тюрьме Дебс обдумывал полученные уроки. Он прочел «Прогресс и бедность», «Взгляд в прошлое» Беллами, его же «Фабианские эссе», «Старую добрую Англию» Блэтчфорда,

комментарии Каутского к Эрфуртской программе. В тюрьме его навел на размышления Кайр Харди. Он сделал вывод, что рабочий класс ничего не добьется, пока жив капитализм, и во время выборов 1896 года, когда лагерь Марка Ханна и Мак-Кинли нанес поражение Брайану и популистам, его оценки подтвердились. Капитализм реформировать невозможно, его надо сокрушить. С другой стороны, правящий класс тоже не питал никаких иллюзий в отношении «Дебса-революционера». Рузвельт, организовав кампанию для Мак-Кинли, в частном разговоре заявил <sup>34</sup>: «Эмоции, овладевающие значительной частью нашего населения, можно подавить только тем же способом, каким была задушена Коммуна: надо отобрать десять или дюжину вожаков, поставить к стенке и расстрелять. Я думаю, дело идет к этому. Их лидеры готовят революцию и крах американской республики».

Дебс провозгласил о своем обращении в социалистическую веру манифестом, опубликованным в «Рейлуэй таймс» 1 января 1897 года, заявив: «Пришло время для духовного возрождения общества – мы на пороге глобальных перемен». Кооперируясь с другими рабочими вожаками и взяв за образец немецкое название, он основал Американскую социал-демократическую партию, партию отечественного американского социализма. В первые годы, когда в ней насчитывалось менее четырех тысяч человек, она существовала за счет денег, выручавшихся за золотые часы Теодора, брата Дебса, которые он регулярно закладывал, чтобы поддерживать партийную газету<sup>35</sup>. Каждый раз, когда Теодор появлялся на пороге лавки ростовщика в Лупе, ее старый немецкий владелец говорил через плечо девушке-кассирше: «Тай чентльмену социалисту сорок долларов». Политической силой американскому социализму еще предстояло стать, когда в первые двенадцать лет нового века уже в совершенно иных условиях Дебс четыре раза будет выдвигаться партией кандидатом в президенты и будет вести избирательную кампанию в специальном поезде «Ред специал».

Какое-то время его соперником была Социалистическая трудовая партия, состоявшая в основном из инородцев и существовавшая главным образом в воображении ее фанатичного вождя Даниеля Де Леона. Родившийся на Кюрасао в голландско-еврейской семье и получивший образование в Германии, Де Леон был убежден в том, что только он способен возглавить классовую борьбу. Он приехал в

Соединенные Штаты в возрасте двадцати двух лет, получил степень доктора права в Колумбийском университете, читал лекции по латиноамериканской истории, из-за чего профсоюзные оппоненты пренебрежительно обзывали его «профессором». Помимо пропаганды социалистических идей в собственном еженедельнике «Пипл», Де Леон выдвигал свою кандидатуру в законодательное собрание штата Нью-Йорк, в конгресс, а в 1891 году – на пост губернатора, всякий раз без видимых успехов. Желая втянуть рабочее движение в политическую деятельность, Де Леон основал Социалистический профессиональный и трудовой альянс, главная задача которого заключалась в том, чтобы трепать нервы профсоюзному лидеру Сэму Гомперсу. По мнению Гомперса, идея политического действия исходила от дьявола, а Де Леон был самой зловещей фигурой, когда-либо существовавшей в социализме. В 1901 году значительная часть Социалистической трудовой партии во главе с Моррисом Хиллкуитом и Виктором Бергером, не согласная с «диктатурой» Де Леоны, откололась и присоединилась к группе Дебса, которая теперь именовалась Социалистической партией Америки.

Перманентный оппонент социализма, Гомперс был представителем обыкновенного, не революционного тред-юнионизма. Он был сторонником концепции, утверждавшей, что борьба рабочего класса должна вестись в самой системе капитализма, а не против капитализма. Его карликовая, но грузная фигура с огромной головой и грубыми тяжелыми чертами лица была гротескно уродлива<sup>36</sup>. Однако ему удавалось яркими и пламенными выступлениями увлечь любую аудиторию. Когда он начинал на собрании профсоюзной федерации произносить очередную антисоциалистическую тираду, его давний оппонент из Союза типографских работников, любивший над ним подтрунивать, подзадоривал: «Задай им перцу, Сэм. Задай им перцу!»<sup>37</sup> И Сэм не жалел ни слов, ни мыслительных усилий. Отвергнув Старый Свет, он не принял и социалистическую традицию, которая в нем уже укоренилась. Еще молодым человеком трудясь над скручиванием сигар, которое оплачивалось поштучно и позволяло заниматься чтением, пока сотоварищи выполняли и твою норму, Госперс прочел им Маркса, Энгельса, Лассалья. «Учись у социализма, но социалистом не становись», – советовал шведский ссыльный



наставник-марксист. «Смотри на свой профсоюзный билет, – говорил он еще. – Если идея ему не соответствует, она неверна».

Веря в возможность создания нового общества в Америке, Гомперс отвергал пессимизм марксистской доктрины. Он исходил из того, что рабочему классу надо заниматься не политикой, а, пользуясь своей силой и сплоченностью, договариваться обо всем с нанимателями. Зарплаты, рабочие часы, условия труда должны регулироваться профсоюзами, а не законодательствами. Он основал федерацию в 1881 году, когда ему исполнился тридцать один год, в комнате десять на восемь футов, где письменным столом служил кухонный столик, табуретами – ящики, а картотекой – коробки из-под помидоров, подаренные бакалейщиком. К 1897 году федерация насчитывала 265 000 членов, к 1900 году – полмиллиона, а к 1904-му – полтора миллиона. Когда Брайан домогался поддержки профсоюзов в 1896 году, пообещав в случае победы Гомперсу пост в правительстве, профсоюзный босс во всеуслышание заявил, что «ни при каких обстоятельствах не согласится занять должность по политическим мотивам». Он запретил выступать АФТ в поддержку Брайана и популизма, потому что, как объяснил Гомперс, «проблемы среднего класса отвлекут внимание рабочих от защиты собственных интересов<sup>38</sup>, которые заключаются в их профсоюзе и нигде более».

Когда его влияние и значимость возросли, он сбрил свои моржовые усы, стал носить пенсне, сюртук «принц Альберт», шелковую шляпу и, подобно Джону Бёрнсу, усвоил привычку общаться с великими людьми, вести переговоры с Марком Ханной или Огюстом Бельмоном. Все же он никогда не думал о собственном благосостоянии и умер в бедности. Отвергая классовую борьбу, он тем не менее отличался высокой классовой сознательностью. «Я рабочий человек. Каждым нервом, каждой фиброй души, всеми помыслами я всегда там, где надо отстаивать интересы моих сотоварищей – рабочих»<sup>39</sup>. Задача каждого члена профсоюза – «крепить общую организацию, теснее сплачиваться, объединяться, просвещаться, готовить силы для защиты наших интересов, чтобы мы могли пойти к избирательным урнам и отдать наши голоса как свободные американские граждане, единые и решившие освободить эту страну от нынешнего неверного политического и индустриального правления, вырвать из рук плутократов-разрушителей и передать в руки простого

народа». В сущности, его слова выражали практический социализм. Он доказал это спустя пятнадцать лет, во время тура по Европе, своей реакцией на реакцию других визитеров, шокированных трущобами Амстердама. Отметив, что их особенно потрясло то, как человеческое существо может переносить «это величайшее надругательство цивилизации», Гомперс возмутился: «Неужели нельзя восстать против всего этого?» Социализм, собственно, и выражал импульсивное движение тех, кто чувствовал побуждение «восстать против всего этого», и Гомперс, как говорил Моррис Хиллкуит, был социалистом, даже не подозревая в себе такой склонности.

В Европе в 1899 году новая проблема взорвалась в рядах социалистов, когда Вальдек-Руссо, стремясь создать правительство на более широкой основе для «ликвидации дела Дрейфуса», пригласил в него Мильерана, и тот принял предложение. Никогда прежде социалист не переступал невидимый порог, отделявший буржуазный лагерь и не позволявший вступать с ним в какое-либо сотрудничество. Хотя Жорес подтолкнул, побудил социалистов или какую-то их часть или группу присоединиться к буржуазной фракции дрейфусаров в борьбе за моральное спасение республики, вхождение социалистов в буржуазное правительство воспринималось совершенно иначе. Пример Мильерана заострил фундаментальную проблему партнерства, которая с каждым годом будет приобретать все большее значение по мере возрастания роли социалистов в жизни нации. Дилемма простая: либо сохранить партийную ортодоксальную стерильность в ожидании окончательного краха капитализма, либо сотрудничать с буржуазными левоцентристскими партиями, противодействуя реакции и способствуя проведению реформ. Дилемма осложнялась дополнительным вопросом: в долговременном плане нельзя ли достичь социалистических целей посредством реформ?

Тогда же, когда Мильеран озадачил французских социалистов, в Германии возникла аналогичная ситуация, но не в практическом плане, а, как это обычно бывало у немцев, в теории. Ее породил человек безупречной репутации, протеже Маркса и Энгельса, близкий друг и соратник Либкнехта, Бебеля и Каутского, один из основателей конгресса в 1889 году. Шок был такой, как если бы один из апостолов вступил в полемику с Иисусом Христом. Этим человеком, вызвавшим

переполох критикой Маркса, был Эдуард Бернштейн, предложивший доктрину, не получившую имени автора и потому просто названную «ревизионизмом». В 1878 году, когда был принят исключительный закон Бисмарка против социалистов, девятнадцатилетний Бернштейн, банковский клерк, уехал в изгнание в Швейцарию. Там он редактировал партийную газету *Sozialdemokrat* с таким творческим вдохновением, что заслужил похвалу Маркса и восхищение Энгельса, который назвал ее «лучшим изданием партии за все времена». В 1888 году германское правительство тоже признало этот факт, заставив швейцарцев выслать сотрудников газеты из страны. Бернштейн уехал в Англию, где, подобно учителю, проводил время в читальном зале Британского музея и не предпринимал никаких попыток вернуться в Германию даже после отмены антисоциалистического закона в 1890 году. С него все еще не сняли обвинение в подстрекательстве, и он мог подать апелляцию, но он этого не делал, писал книгу об английской революции в соответствии с марксистской интерпретацией, а кроме того, ему очень нравилось в Лондоне. И это было симптоматично, предвещая проблемы. В те годы он исполнял обязанности корреспондента новой партийной газеты «Форвёртс» и журнала Каутского «Нойе цайт». Штаб-квартирой германского социализма в Лондоне служил дом Энгельса в Риджентс-парке, где ссыльные по вечерам собирались за столом, уставленным сэндвичами и пивом, а в канун Рождества – и пудингами. После смерти Энгельса в 1895 году Бернштейна и Бебеля назначили его литературными душеприказчиками.

Уже на следующий год, как будто смерть Энгельса сняла все ограничения, начали появляться первые еретические статьи Бернштейна. В 1896 году ему было сорок шесть лет. У него была внешность очень скромного и порядочного господина, обращавшего на себя внимание прежде всего редующими волосами и очками без оправы: глядя на него, можно было подумать, что он всю жизнь добросовестно прослужил банковским кассиром, мечтая о должности управляющего отделением. Самой примечательной чертой его лица был длинный, выпирающий, как-то по-особому независимый нос. Он дружил с фабианцами – прежде всего с Грэмом Уоллесом – и долгое время испытывал предубеждение против их готовности действовать в рамках существующего капиталистического порядка. Тем не менее на

него производила большое впечатление деятельность демократического правительства в Англии, а окружающая его действительность никак не свидетельствовала о приближении неминуемого краха капитализма. Несмотря на вопиющее неравенство в благосостоянии и «обнищание», предсказанное Марксом, система парадоксальным образом демонстрировала живучесть, силу и даже агрессивность. Казалось, что в непрерывной спирали обогащения и обнищания происходили корректировки: прирост общего «просперити» мог быть использован для снижения уровня бедности посредством повышения трудовой занятости. Изгнанника Бернштейна начали посещать крамольные мысли о том, что история развивается не по пути, намеченному Марксом. Она не желала повиноваться германскому «диктату». Гегель ее «одухотворил», Маркс наполнил материально-экономическим содержанием, а история, загадочно улыбаясь, как «Мона Лиза», идет своим путем, не подчиняясь категорическим императивам.

Наверное, он страдал не меньше человека, засомневавшегося в библейской истории сотворения мира. Он стал мрачен и раздражителен и однажды даже принял решение устроиться на работу банковским служащим в Трансваале. Элеонора Маркс писала Каутскому: Бернштейн постоянно в дурном настроении и наживает себе врагов. Но интеллектуальное мужество взяло верх. В 1896–1898 годах он опубликовал в журнале «Нойе цайт» серию статей на общую тему «Проблемы социализма», вызвавших и недоумение, и возмущение. В среде германских социалистов разгорелись острые дискуссии, вылившиеся в бунт, когда Бернштейн изложил свои идеи в обращении к съезду партии в октябре 1898 года, проходившему в Штутгарте, а затем в книге «*Die Voraussetzungen des Sozialismus*» («Эволюционный социализм»), изданной в марте 1899 года.

Он изложил факты, противоречившие теории Маркса: средний класс не исчезает; численность имущих индивидов увеличивается, а не уменьшается. В Германии рабочий класс не подтверждает тенденцию прогрессирующего обнищания, а, напротив, улучшает свое материальное положение. Капитал не аккумулируется в руках уменьшающегося числа капиталистов, а рассеивается в более широком спектре собственников через фонды и акции. Продукция возрастающего производства потребляется не только капиталистами,

но и средним классом и, при соответствующих заработках, даже пролетариатом. В Германии потребление сахара, мяса, пива возрастает. Чем больше денег и продуктов, тем меньше шансов для того, чтобы единичный экономический кризис вызвал всеобщий крах. Если социалисты добиваются именно этого, то им, возможно, придется ждать вечно. Короче говоря, эти мрачные «двойняшки» – *Verelendung* (обнищание) и *Zusammenbruch* (крах) – призраки.

Марксистскую схему Бернштейн заменил капиталистической системой, способной развиваться и адаптироваться, чтобы не допустить предполагаемого неизбежного краха. В таком случае существующий порядок вещей никуда не денется. Крушения и революции не неизбежны, и социалисты должны стремиться к созданию этически демократического общества при поддержке всех классов, а не только пролетариата. Если отказаться от революционных целей, утверждал Бернштейн, то рабочий класс сможет опереться на поддержку буржуазии в проведении реформ в рамках существующего порядка.

Все атрибуты «мильеранизма» налицо. Если не надо выбирать между капитализмом и социализмом, если общество может существовать, используя черты и того и другого, то нет никакого смысла в том, чтобы социалисты отказывались от участия в правительстве.

В сущности, ревизионизм означал отказ от классовой борьбы. Это был удар, наносившийся в самое сердце социализма. Бернштейна это не смущало. Рабочие, заявлял он, не представляют собой, как казалось Марксу, сплоченный и гомогенный «класс», осознающий себя «пролетариатом» или чем-то в этом роде. Рабочие были разные – сельские и городские, квалифицированные и неквалифицированные, фабричные и надомные, с разными интересами и разными способностями. Многие относились враждебно или по крайней мере безразлично к социализму и были больше склонны к тому, чтобы разделять нравы и привычки буржуазии, а не презрение социалистов к ней.

Если не классовые интересы должны быть присущи рабочему, то из этого следует, что его интересы – такие же, как и у всех граждан, то есть национальные. Здесь и таилось еще одно страшное зло ревизионизма. Бернштейн даже отверг беспощадный вердикт

коммунистического манифеста о том, что «у рабочего нет отечества». Когда трудящийся идет голосовать, как в Германии, утверждал Бернштейн, он знает, что ему предоставляются соответствующие права и обязанности, и потому должен принимать решения, исходя из национальных интересов.

Ревизионизм расколол социалистов. К Бернштейну потянулись приверженцы, которых мучили аналогичные сомнения. Партийные вожди поспешили подвергнуть обструкции ренегата. Его обвинили в «англицизме». Каутский попытался опровергнуть все его аргументы, издав книгу «Бернштейн и социал-демократическая программа». Диспуты разгорались на каждом собрании, заседаниях комитетов, продолжались на страницах газет. Отвечая на обвинения в игнорировании генеральной цели социализма, Бернштейн заявил: «Я открыто признаю, что меня мало интересует то, что обычно называют “конечной целью социализма”<sup>40</sup>. Эта цель, какова бы она ни была, для меня – ничто; движение (социальный прогресс) – все». Он решил вернуться домой, чтобы отстаивать свою позицию лично. Друзья обратились в правительство, и канцлер фон Бюлов, верно рассчитав, что Бернштейн будет играть разрушительную роль, распорядился снять с него судимость. Бернштейн вернулся в Германию в 1901 году и был избран в рейхстаг, а в 1902 году – переизбран. Он стал редактором ревизионистского журнала и оракулом ревизионистской фракции, которая постепенно разрасталась.

Привлекательной стороной ревизионизма было то, что он сулил возможность покончить с изоляцией социализма, открывал двери для широкого участия в нем и новые горизонты для деятельности. Он позволял социалистам почувствовать себя неотъемлемой частью нации, что бы ни говорил по этому поводу их главный пророк. А еще он учитывал новые реалии, которые не заметил Маркс: незаметное перетекание могущества от одного класса к другому, происходившее подобно тому, как вода просачивается через дамбу.

У ревизионизма имелся один серьезный изъян, на который обратил внимание Виктор Адлер. Это о нем говорили<sup>41</sup>, что ему, как и Монтеню, надо иметь весы в качестве эмблемы, а девизом – изречение *Que sais-je?*<sup>[147]</sup>, поскольку он всегда умел находить плохое во всем хорошем и что-нибудь хорошее – во всем плохом. Адлер писал Бернштейну: он обнажил сомнения, которые время от времени мучили

социалистов и в конце концов заставили его солидаризироваться с революционерами, потому что ревизионизм смертельно опасен тем, что «социалисты останутся без социализма».

Во Франции идейная война, вызванная *le cas Millerand*, казусом Мильерана, была даже яростнее, чем в Германии. Жорес возмущался решением Мильерана принять пост министра, но когда ему пришлось заявить свою позицию, предпочел высказаться за сотрудничество с правительством, а не против сотрудничества. На партийном съезде в Париже в декабре 1899 года он отверг предостережения марксистов об идеологической порче. Поскольку невозможно предсказать, когда наступит коллапс капитализма, необходимо заниматься реформами. «Бессмысленно бороться на расстоянии, надо вести борьбу в самой цитадели», – говорил Жорес. Зал наполнился возмущенными криками оппонентов. «Высокий, тощий и сухопарый Гед, сверкая черными глазами», начал было отстаивать чистоту марксизма, цитировать Либкнехта, и тут один из министриалистов, как называли сторонников Мильерана, гаркнул во все горло: «Долой Либкнехта!»<sup>42</sup> Один из делегатов вспоминал позднее, что этот вопль разозлил сподвижников Гед так, как если бы кто-то прокричал: «Долой Бога!» в соборе Парижской Богоматери. После трех дней острых дебатов был сформулирован вопрос, на который требовался однозначный ответ «да» или «нет»: «Допускает ли классовая борьба участие социалиста в буржуазном правительстве?» Первое голосование дало негативный ответ, но тут же последовало второе голосование, в исключительных обстоятельствах разрешавшее министриализм. Хотя Жоресу и нужно было продемонстрировать единство, съезд завершился наскоро сформулированной резолюцией, в которой не удалось преодолеть расхождения. В результате образовались две партии. Гед, Вайян и Поль Лафарг, зять Маркса, организовали Социалистическую партию Франции, отвергавшую «компромиссы с какими-либо фракциями буржуазии» и уповавшую на крах капитализма, а Жорес, Мильеран, Бриан и Вивиани – создали Французскую социалистическую партию, наметившую для «незамедлительной реализации» программу реформ.

Ревизионизм и министриализм в духе *le cas Millerand* проникли во все кабинеты и актовые залы с красными флагами социалистических партий мира. Социалисты-доктринеры цеплялись за

старые принципы, а ревизионисты обнаруживали, что социализм, подобно любой другой политике, есть искусство возможного. Пятый конгресс Второго интернационала, раздираемый противоречиями и разногласиями, проходил в Париже в сентябре 1900 года, во время Всемирной выставки. Понимая, что на город обращено внимание всего мира, социалистические вожди стремились избежать открытых и громких ссор. Каутский составил резолюцию, в которой действия Мильерана и не одобрялись, и не осуждались. Делегаты назвали ее «каучуковой», настолько она была эластичной в формулировках. В спорах и борьбе чуть ли не за каждое слово текст согласовывался на протяжении почти всего конгресса. Немецкий делегат Эрхард Ауэр во время одной из острых дискуссий даже выразил сожаление, что дело, аналогичное *cas Millerand*, не может возникнуть у социалистов Германии. Вскрывая главную особенность общественно-политической жизни в своей стране, Ауэр вызвал аплодисменты, шушуканье и коридорные дебаты. В конце концов конгресс, подчиняясь твердой руке Жореса, который, как всегда, стремился добиться единства, принял резолюцию Каутского, проигнорировав упрямство меньшинства. Идею и Жореса, и конгресса можно было выразить одной фразой: «Мы все примерные революционеры, давайте скажем об этом без обиняков и будем объединяться». Но реальность не совпадала с желаниями.

На фоне Англо-бурской войны, интервенции на Филиппинах, Боксерского восстания в Китае делегатам было гораздо легче принять резолюцию, предложенную Розой Люксембург и заявлявшую, что капитализм рухнет не вследствие экономических причин, а из-за империалистического соперничества. Конгресс рекомендовал социалистическим партиям активизировать антивоенную деятельность, организовывать и вовлекать в классовую борьбу молодежь, устраивать антивоенные демонстрации, голосовать против расходов на армию и военно-морские силы. Показательно, что эта резолюция была принята с таким же единодушием, как и другое решение – обвинение недавней Гаагской конференции в политическом жульничестве.

Единственным практическим результатом конгресса было формирование постоянного органа – Бюро в Брюсселе, председателем которого называли Вандервельде, а секретарем – тоже бельгийца,



Камиля Гюисманса. Исполнительному органу надлежало принимать промежуточные решения, готовить повестки дня для съездов и созывать в случае необходимости экстренные собрания, на которые каждая нация-участница должна направлять двоих делегатов. Финансирование выделялось мизерное, Бюро не смогло завоевать авторитет или приобрести минимальную власть и занималось только почтой, демонстрируя, насколько слабы материальные ресурсы интернационализма.

Ревизионизму противостоять трудно. Жорес допускал практическое сотрудничество, но отвергал вмешательство Бернштейна в теорию. На студенческой социалистической конференции в 1900 году, касаясь разногласий между Бернштейном и Каутским, он сказал: «В целом я на стороне Каутского». Бернштейн не прав, утверждая, будто пролетариат и буржуазия, смыкаясь по краям, объединяются. Между классами, один из которых владеет средствами производства, а другой – лишен их, «без сомнения, пролегает четкая демаркационная линия», хотя, конечно, могут быть и посреднические промежуточные оттенки. После такого загадочного замечания в Жоресе уже заговорил истинный профессор: «Неуловимыми нюансами мы переходим от белого к черному, от пурпура к красному цвету, от темноты ночи к дневному свету; эти неощутимые изменения дали Гераклиту повод сказать, что в каждом дне всегда есть немножко ночи и в каждой ночи – немножко дня... Крайности сближаются промежуточными посредническими движениями...» Жорес некоторое время продолжал рассуждать в том же духе, гипнотизируя аудиторию, и вернулся к главному предмету дискуссии. Какими бы антагонистами ни были противоборствующие классы, это не значит, что между ними не может быть контактов или сотрудничества, закончил свою речь Жорес, призвав к социалистическому единению под «гром аплодисментов, приветствий и восторженных криков *Vive Jaurès!*»

Будучи одним из четырех вице-президентов палаты депутатов после переизбрания в 1902 году, Жорес практиковал политическое сотрудничество ежедневно, фактически став лидером левого блока партий, поддерживавших правительство в схватках с армией и религиозными орденами. Жизнь заставляла его превращаться в ревизиониста. Он посещал приемы в британском посольстве и побывал на банкете в Елисейском дворце в честь короля и королевы

Италии в 1903 году. На партийном съезде в Бордо в том же году он заявил, опровергая Геда, что государство вовсе не является неприступным образованием, которое надо либо терпеть, либо сокрушать: его можно реформировать. Постепенно на месте буржуазного может появиться пролетарское государство, и «мы окажемся в зоне социализма, подобно тому, как капитаны кораблей вступают в новое полушарие, хотя нет никакого троса, протянутого через океан и отмечающего границы». Однако Жорес признавал, что непросто согласовать сотрудничество с классовой борьбой. С этой трудностью столкнулись и немецкие социалисты на своем съезде, проходившем в том же году в Дрездене.

Проблема, вокруг которой разгорелись дебаты, получила название «дилеммы бриджей»<sup>43</sup>. Социал-демократы одержали блестящую победу на выборах, набрав более трех миллионов голосов и получив восемьдесят одно место в рейхстаге. Бернштейн считал бессмысленным в таких условиях придерживаться жесткой марксистской позиции политической обособленности. Он настаивал на том, чтобы партия воспользовалась прерогативами, данными ей на выборах, и приняла один из вице-президентских постов, который ей полагался. Поскольку это предполагало нанесение официального визита кайзеру в одеянии придворного, возникло очень серьезное этическое и политическое затруднение, обсуждавшееся несколько дней. Только представьте себе социалиста в бриджах, чулках и туфлях с застёжками! – чертыхался Бебель. Признать, что социалистическую партию *hoffähig* (принимают) при дворе, значит нанести оскорбление всему рабочему классу. Бернштейн доказывал: важно не то, как одеты социалисты, а то, что они делают в парламенте. Но спорщиков больше занимала перспектива появления на публике социалиста в бриджах, и его доводы никто не слушал.

Дебаты по поводу ревизионизма продолжались три дня, по этой проблеме выступили пятьдесят человек. На исключении Бернштейна из партии настаивала целая группа людей во главе с Розой Люксембург, в чьем хрупком крошечном теле сосредоточилась неумная революционная страсть<sup>44</sup>. Дочь еврея – торговца лесоматериалами, родившаяся в Польше в 1870 году, не отличалась женским обаянием; по-настоящему красивы были только ее сияющие черные глаза. Она прихрамывала, у нее было деформированное плечо,

но она обладала высочайшим интеллектом и сильным, ясным голосом. Люксембург всегда говорила с легким польским акцентом. Однако ее ораторские способности были столь необыкновенны, что полицейский инспектор, присутствовавший по долгу службы на одном из ее выступлений, позабыл о своем официальном статусе и назначении и неистово ей аплодировал. Роза послала ему записку: «Достойно сожаления, что человек с такой душой служит в полиции, но будет еще печальнее, если полиция лишится такого человека. Не аплодируйте больше».

Роза Люксембург и Карл Либкнехт, сын Вильгельма, представляли воинствующее революционное левое крыло партии, действовавшее в Лейпциге и издававшее газету «Лейпцигер фолькцайтунг», которую редактировал Франц Меринг. Численность и влияние партии возрастали, ее поборники неизбежно вступали в контакт с буржуазными кругами, и Розе Люксембург приходилось воевать с теми, кто добивался повышения респектабельности партии в обществе. Она с презрением отвергала ревизионизм, называя «парламентским и тред-юнионистским кретинизмом» его «комфортную теорию мирного перехода от одного экономического порядка к другому». Она верила в революционные инстинкты и творческую революционную энергию неорганизованных масс, которая спонтанно прорвется, когда этого потребует история. Задача партии, по ее мнению, и заключалась в том, чтобы просвещать, направлять и вдохновлять массы в преддверии исторического кризиса и не расслаблять революционный дух реформами.

Между радикалами и ревизионистами посредничал генеральный совет партии, без особого труда сохранявший политическое равновесие. Один из лидеров Георг Ледебур говорил, что партия состояла на 20 процентов из радикалов и на 30 процентов из ревизионистов<sup>45</sup>, а «остальные шли за Бебелем», который обычно «обеспечивал компромисс». Дрезденский съезд не исключил Бернштейна из партии, но отклонил его предложение о сотрудничестве и принял резолюцию<sup>46</sup>, подтверждавшую верность теории классовой борьбы, которой «мы до сего времени успешно следовали», и «решительно отвергавшую» политику и тактику «приспособленчества к существующему порядку». Таким образом, крупнейший в Европе социалистический блок подтвердил верность Марксу на словах, в то

время как ревизионизм продолжал распространяться и обретать новых сторонников.

Ревизионисты тем не менее понимали, к каким осложнениям может привести отказ от классовой борьбы. Поднимал голову национализм, и они чувствовали его крепнущую силу. Как социалисты, они намеревались участвовать в жизни нации, не устранившись и не ждая, когда наступит обещанный коллапс. Бернштейн, опираясь на опыт английского империализма и его влияния на трудовую занятость, утверждал в «Социалист мансли», что судьба рабочего класса «неразрывно» связана с международными отношениями нации, то есть с ее зарубежными рынками. Рабочий класс заинтересован в «*Weltpolitik* <sup>[148]</sup> без войн»<sup>47</sup>, писал Бернштейн.

Ревизионизм не обошел стороной и российских социал-демократов, проводивших свой съезд в Лондоне, где собрались шестьдесят делегатов. У них не существовало ни *cas Millerand*, ни проблем с бриджами, но они тоже разделились из-за расхождений в отношении перспектив сотрудничества на большевиков и меньшевиков. Большевики хотели совершить революцию и установить диктатуру пролетариата без каких-либо промежуточных адаптаций. Меньшевики полагали, что Россия вначале должна пережить стадию буржуазного парламентского правления, во время которого социалистам придется сотрудничать с либеральными партиями.

Российская партия была членом Второго интернационала, и на международных конгрессах ее представлял основатель Георгий Плеханов, уже много лет живший в ссылке за границей и фактически утративший связь с событиями, происходившими в стране. Другие русские ссыльные практически не имели контактов с социалистами в странах, где нашли прибежище. Замкнувшись в своей среде и занимаясь собственными фракционными разборками, они устраивали съезды отдельно от интернационала. Ленин, соперник Плеханова и лидер большевиков, появляясь то в Лондоне, то в Париже, то в Женеве, то в Мюнхене, неустанно обличал «оппортунизм» и «социал-шовинизм». Иногда он навещал Бюро в Брюсселе, но, как писал Вандервельде, мало кто обращал внимание «на маленького человечка с узкими глазами, порыжевшей бородкой и монотонным голосом, настойчиво разъяснявшего с ледяной вежливостью и пунктуальностью традиционные марксистские тезисы».

Нравилось это марксистам или не нравилось, но повсюду факты реальной политической жизни подтверждали оправданность ревизионизма. Промышленность развивалась, увеличивая массовость профсоюзов и мощь рабочего класса. Борьба между трудом и капиталом продолжалась столь же яростно, как и прежде, и рабочий класс, используя влияние социалистических партий, увеличил свое представительство во всех европейских парламентах. В Италии, где крестьянские профсоюзы и сельскохозяйственные кооперативы были преимущественно социалистические, партия увеличила электорат и число мест в парламенте с 26 000 голосов и 6 мест в 1892 году до 175 000 и 32 в 1904-м. Партия Жореса, несмотря на проклятия Геда и его сподвижников, продолжала проводить свою линию, а сам Жорес стал если не реальным, то номинальным лидером правительственного большинства в палате депутатов. В мире социализма он составил серьезную конкуренцию господству германского монолита на конгрессе интернационала в августе 1904 года в Амстердаме.

Из-за дуэли Жореса и Бебеля амстердамский конгресс стал самым запоминающимся и эмоциональным из всех форумов Второго интернационала<sup>48</sup>. В нем участвовали пятьсот делегатов, из которых около двухсот могли понимать язык того или иного оратора. Платформа была задрапирована красным полотном с золотой монограммой *I.S.C.*, в которой буква *I* переплеталась буквой *S*, напоминая всем известный символ капитализма. Сверху висел лозунг с девизом на нидерландском языке: *Proletaariers van alle Landen, Vereenigt U!* («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»)

Фракций было множество. Из одной Британии приехали четыре делегации: от Независимой лейбористской партии во главе с Кейром Харди, от Социал-демократической федерации во главе с Гайндманом, от Комитета рабочего представительства во главе с Шаклтоном и от Фабианского общества. Франция прислала три делегации, Соединенные Штаты – две, с непременным Де Леоном, недовольным всем и всеми. Его раздражала «общительно-пикниковая атмосфера» конгресса, то, что делегаты во время выступлений читали газеты, разговаривали, расхаживали, знакомились, входили и выходили, хлопая дверями. Жореса он назвал «досадной помехой для социалистического движения», Бебеля – «злым гением», Адлера – «недоразумением», Вандервельде – комиком, Гайндмана – «слишком

тупым», чтобы понимать происходящее вокруг. Британских тред-юнионистов он считал «бедствием» для социализма, Шаклтона – «служакой капитализма», а Жана Аллемана – «угодливым болтуном». Единственной организацией, не предавшей рабочий класс «ревизионистской галиматьей», была его партия, занимавшая всегда боевую позицию: «Мечи обнажены, забрала опущены».

Требовалось прояснить один вопрос, включенный в повестку дня по настоянию Геда, – о сотрудничестве. Бебель намеревался навязать интернационалу дрезденскую резолюцию германской партии. Это решение, объяснял он, дает социалистам правильные ориентиры на все времена, потому что определяет характер фундаментального антагонизма между пролетариатом и капиталистическим государством. Он не преминул напомнить о возрастающем могуществе германской партии. Жорес ответил: если бы социалисты во Франции были столь же сильны, то уже «давно сделали бы что-нибудь существенное». Кажущаяся мощь германской партии резко контрастирует с ее реальным влиянием, заявил, пойдя в наступление, Жорес. Почему? Потому что у ваших рабочих «отсутствует революционная традиция: «Им не приходилось завоевывать избирательное право на баррикадах. Они его получили сверху». Все депутаты в рейхстаге немощны, как, собственно, немощен и сам рейхстаг. Именно беспомощность германских социалистов заставила их занять непримиримую позицию. Европе угрожает не смелая попытка французских социалистов играть свою роль в национальной жизни страны, а «трагическая немощь германской социал-демократии». Со свойственным ему жаром он отстаивал главный тезис: социалисты, не изменяя принципам, должны быть «полезным орудием демократического прогресса», даже, если нужно, в альянсе с буржуазными партиями.

«Конечно, Германия – реакционное, феодальное, полицейское государство, страна с самой негодной системой правления в Европе, после Турции и России, – сказал в ответ Бебель. – Но мы не нуждаемся в сторонних советчиках, которые указывали бы нам, какие мы несчастные». Политика Жореса, добавил Бебель, предаст пролетариат. Надо придерживаться дрезденской резолюции – единственно верного руководства к действию. Роза Люксембург пронзительным голосом обозвала Жореса *der grosse Verderber* («великим разложенцем»). Когда он поднялся, чтобы ответить, и спросил – кто поможет ему с

переводом? – она сказала: «Я, если вы не возражаете, гражданин Жорес». Посмотрев вокруг и широко улыбнувшись, Жорес сказал: «Вот видите, граждане, даже в борьбе мы должны прибегать к сотрудничеству».

Не желая приносить в жертву принцип классовой войны, большинство проголосовало за дрезденскую резолюцию, не поддержав Жореса. Делегаты, как сказал Вандервельде, не смогли преодолеть доктринальную вражду даже личными симпатиями. «Все мы хорошо помнили дело Дрейфуса и то, с каким пылом Жорес вел борьбу с объединенными силами реакции, но большинство все-таки не смогло оборвать пуповину, связывавшую нас с Марксом». Чтобы закрыть тему ревизионизма, конгресс принял резолюцию, подтверждавшую необходимость отныне иметь только одну социалистическую партию в каждой стране. Все, кто называют себя социалистами, должны действовать во имя единения в интересах рабочего класса всего мира, перед которым они будут нести ответственность «за моральные последствия продолжающегося раскола».

В Амстердаме так или иначе прозвучала еще одна проблема, которой делегаты уделили намного меньше внимания. На фоне Русско-японской войны они не могли не поднять вопрос об ответственности рабочего класса перед обществом в случае развязывания нового военного конфликта и возможной роли всеобщей забастовки. Германская марксистская горячность заметно поостыла. Поговорить на тему всеобщей забастовки – проще простого, поднять профсоюзы на забастовку – совсем иное дело. Для германских профсоюзов «политическая массовая стачка», как они называли забастовку рабочих, исключалась из арсенала их деятельности. Даже говорить о ней считалось предосудительным. Если отечество подверглось нападению, разъясняя Бебель, человек далеко не молодой, то и он сам, и любой другой социал-демократ возьмет винтовку в руки и пойдет защищать свою страну<sup>49</sup>. Жорес, помрачнев, сказал Эмилю Вандервельде, когда они уходили из зала: «Думаю, дружище, что пора и мне осваивать военную науку».

Вернувшись домой, Жорес, правоверный социалист, повинувшись амстердамскому решению, пошел на уступки, восстановил дружеские отношения с Гедом, и на следующий год они объединились в одну социалистическую партию – Французскую секцию рабочего

интернационала (СФИО). Она провозглашалась «не как партия реформ, а как партия классовой борьбы и революции», и сотрудничество, по крайней мере на словах, отвергалось. Хотя для Жореса уступки означали поражение, он не фетишизировал слова. Пусть доктрина следует за действием, он с легкостью может уступить Геду формулировки, так как все равно остается лидером альянса. Сотрудничество для него не самоцель, а способ действия.

И оно давало результат. В 1906 году, когда в Британии Независимая либеральная партия вошла в палату общин, а Джон Бёрнс – в правительство, французские социалисты набрали 880 000 голосов избирателей и получили пятьдесят четыре места в палате депутатов. Бриану, активно занимавшемуся расформированием религиозных школ, предложили пост министра образования. Он принял предложение и с сожалением вышел из рядов партии. Вскоре Вививани занял должность министра труда. Вместе с Мильераном, который называл себя теперь независимым социалистом, они продолжали оставаться членами правительства, причем Бриан стал премьер-министром через три года, а Вививани – через пять лет. Доведя сотрудничество с системой до логического «хеппи-энда», они, как говорил посол Извольский, «научились благоразумию при исполнении властных полномочий»<sup>50</sup>.

Великое марксистское событие, революция, внезапно случилось в 1905 году не так, как надо, и не в той стране. Россия не достигла высокого индустриального уровня, необходимого, по Марксу, для коллапса капитализма. Восстание подняли не дисциплинированные пролетарии, наделенные классовым сознанием, а обыкновенные человеческие существа, доведенные до отчаяния. Никого не удивил его несчастливый исход. Но самое странное в нем было то, что оно никак не затронуло социализм.

Весь мир ужаснулся, узнав о расстреле казаками рабочих, шедших с петицией к царю в Зимний дворец. Когда о «зверском массовом убийстве»<sup>51</sup> сообщили на профсоюзном конгрессе в Ливерпуле, сразу же было принято решение собрать 1000 фунтов стерлингов для семей жертв расстрела. Когда протест российских рабочих в октябре перерос во всеобщую забастовку, заставившую перепуганный режим дать стране конституцию, это событие было воспринято как триумф



рабочего класса. Трудящиеся по всей Европе устраивали массовые митинги с речами, лозунгами и красными флагами. «Да здравствует русская революция! Да здравствует социализм!» – с энтузиазмом кричали итальянские крестьяне за полторы тысячи миль от Санкт-Петербурга<sup>52</sup>. Но искры от русской революции не разожгли всемирный революционный пожар. Давно ожидавшееся спонтанное восстание произошло, но западный рабочий класс не был готов к тому, чтобы свергнуть капитализм. Только австрийские социалисты воспользовались ситуацией для успешного завершения своей кампании за утверждение всеобщего избирательного права<sup>53</sup>.

Опираясь на устрашающий эффект, произведенный событиями в России, всеобщую забастовку 28 ноября объявил Виктор Адлер в Вене. Он готовился к ней около месяца. Один член партии на фабрике, где не было социалистов, не смог привести людей на демонстрацию: никто не хотел говорить ни о революции, ни о забастовке, ни вообще о политике. Манифестация, однако, прошла успешно. Марияхильферштрассе почернела от многотысячных толп людей, набившихся так плотно, что они целый час шли полмили до Рингштрассе, где к ним присоединились еще более многочисленные колонны из других районов города. Тяжелая поступь людской массы, сжатые кулаки, красные флаги – все это было так похоже на видение госпожи Энбо в романе «Жерминаль». Австрийский режим, напуганный демонстрациями, уступил и ввел в 1907 году всеобщее избирательное право для взрослого мужского населения. Фактически эту победу австрийских рабочих и можно назвать единственным позитивным результатом восстания в России.

Германские социал-демократы тоже организовывали демонстрации с требованиями реформы избирательной системы в Пруссии, которая основывалась на налоговых реестрах. Огромная масса налогоплательщиков, вносящая такую же сумму налогов, как и меньшая по численности, но более состоятельная другая треть соотечественников, и как совсем небольшая часть очень богатых пруссаков, избирала лишь треть представителей в органы местного самоуправления. У социалистов всегда была своя треть членов муниципальных советов, но, располагая широкой поддержкой, они не имели реальной власти. Жорес не зря подтрунивал над ними: они вряд ли смогли бы победить и на баррикадах. Их демонстрации

наталкивались на непробиваемую броню прусской системы государственного управления.

Мало того, одним из прямых последствий революции в России можно считать и потерю германскими социалистами многих избирателей. В Германии средний класс, который представляла Прогрессивная партия, прежде обычно поддерживал социал-демократов, а не реакционные партии, но в 1907 году голосовал за кандидата консерваторов. Безусловно, сказалось влияние пропаганды военно-морской и пангерманской лиг, которые хотели использовать выборы для демонстрации всеобъемлющей поддержки национализму и империализму. На «готтентотских выборах», как их называли, исходя из характера войны в африканских колониях Германии, социалисты впервые с 1890 года не приобрели, а потеряли депутатские места.

Льва Троцкого, переживавшего из-за репрессий, обрушившихся на русскую революцию, угнетало отсутствие интереса со стороны европейских социалистов. Каутский, встретившись в 1907 году с низкорослым, хрупкого телосложения господином с ясными, голубыми глазами, белоснежной шевелюрой и такой же бородой, из-за которой он выглядел дедушкой, хотя ему было только пятьдесят три года, заявил, что не желает переносить «революционные методы на германскую землю». В теории революция обладала притягательной силой, но на улицах она выглядела не столь привлекательной. Плачевный опыт России показал западному рабочему классу, что ему не надо вовлекаться в подобные авантюры. Концепция ревизионизма была гораздо более приемлемой, хотя она неизбежно и подменяла классовую борьбу национализмом.

Тем временем не ослабевала индустриальная война. Рабочий класс после 1905 года с большим интересом прислушивался к поучениям синдикалистов о тактике прямого действия. Она была особенно популярна во Франции, где анархисты решительно отвергали парламентские методы борьбы, которые, по их мнению, лишь отвлекали рабочее движение от революционных целей, навязывая политические проблемы и лидерство интеллектуалов. Для синдикалистов социалистические политики – члены национального парламента – принадлежали к буржуазному миру, усвоили его законы и потеряли связь с рабочим классом. Синдикалисты считали: классовая борьба носит характер экономической, а не политической войны, и ее

должны вести тред-юнионы, перенявшие революционный синдикализм и тактику прямого действия, признанную официальной доктриной на конгрессе Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) в 1906 году. Тактика прямого действия против нанимателей предполагала забастовки, преднамеренное замедление темпов работы, бойкот, саботаж, а против государства – пропаганду, массовые демонстрации, обличение милитаризма и патриотизма как плутовства, используемого капиталистами для увековечения своей власти. Каждое завоевание рабочих должно служить приумножению их сил, готовить к завершающей схватке, последней и главной битве классовой войны – всеобщей стачке, «революции без оружия», которая, парализуя буржуазный мир, освободит рабочий класс и передаст в его руки владение средствами производства.

В Италии, где подавление рабочих выступлений полицией и войсками было особенно жестоким и взаимная вражда и ненависть, перемешанные со страхом, были особенно сильны, синдикалисты дважды попытались организовать всеобщие стачки – в 1904 и 1906 годах, и каждый раз они превращались в беспощадные кровавые схватки, уносившие жизни людей. Во Франции потерпели поражение все забастовки, проводившиеся под руководством синдикалистов при радикалистском правлении Клемансо в 1906–1909 годах, и это лишь вскрыло расхождение между синдикалистскими проповедями триумфа всеобщей стачки и реальной силой рабочего класса. Трудовой народ во Франции все еще был преимущественно сельскохозяйственный, и значительная часть промышленной продукции изготовлялась на небольших предприятиях, не имевших профсоюзов. Всеобщая конфедерация труда не могла претендовать на то, что представляет основную часть индустриального рабочего класса, и вследствие застарелого антагонизма между анархистами и социалистами она чаще пререкалась, а не сотрудничала с партией.

На попытки ВКТ организовать новые профсоюзы наниматели отвечали увольнениями и локаутами и нередко прибегали к помощи войск, которые, как объяснял Клемансо, предотвращали насилие против тех, кто не участвует в забастовках. Правительство вводило войска против шахтеров Нора в 1906 году, против докеров Нанта и виноградарей Миди в 1907 году, против строительных рабочих – в 1908-м. Во время этих разгонов было убито в общей сложности 20

человек и 667 – ранено. Забастовки почтовых служащих и учителей были запрещены под угрозой увольнения на вечные времена со ссылками на то, что государственные служащие не имеют права организовываться или бастовать против правительства. Представителей ВКТ, пытавшихся организовать стачку, арестовали по обвинению в подстрекательстве к бунту. Несмотря на сопротивление нанимателей, в 1900 году все-таки был установлен одиннадцатичасовой лимит рабочего дня, а в 1906 году – приняты законы о воскресном дне отдыха и пенсионном обеспечении по старости. Хотя годы властвования Клемансо и отмечены волной забастовок, наниматель всегда чувствовал твердую руку правительства, исходившего в своей политике из принципа, утвержденного им же: «Основа Франции – собственность, собственность и еще раз собственность»<sup>54</sup>. Вмешательство государства подпитывало озлобление и пессимизм. Использование радикалистским правительством насилия, говорил Жорес в 1909 году, и то, что «оно оказалось неспособным реформировать общество, вызвали апатию, немое ворчанье и подспудное недовольство...» В том же году похожее недовольство либеральным правительством в Англии создавало аналогичную атмосферу нервозности.

В Соединенных Штатах контрнаступление нанимателей поддерживали судебные решения, выносившиеся на основе антитрестовского закона Шермана и объявлявшие противозаконными пикетирование, бойкоты и забастовки как препятствующие свободному предпринимательству. Синдикализм перекинулся и через Атлантику, приобретя в Америке форму ассоциации «Индустриальные рабочие мира» (IWW). Основанный в 1905 году Дебсом, «Большим Биллом» Хейвудом из Западной федерации шахтеров и примкнувшим к ним Де Леоном, этот союз по европейским стандартам представлял собой странную комбинацию синдикализма и социализма. Он проповедовал доктрину прямого действия, а Дебс, его главный герой, в роли социалистического кандидата даже боролся за пост президента Соединенных Штатов.

Американский социализм, как и российский социализм, не имел представителей в парламентском органе – в конгрессе, не участвовал в правительстве даже на муниципальном уровне и был защищен от соблазнов классового партнерства. Дебс к этому времени окончательно

убедился в необходимости довести классовую войну до победного конца. Все рабочие должны стать революционерами, никаких компромиссов с существующими порядками. Надо бороться не за повышение зарплат, а вообще за отмену действующей системы заработков. Дебс увидел в синдикализме концепцию, перенявшую революционный дух первоизданного социализма и предлагавшую добиваться поставленных целей профсоюзными методами и средствами, с которыми он давно свыкся. В письме, разосланном в декабре 1904 года тридцати профсоюзным лидерам<sup>55</sup>, он приглашал их вместе обсудить «пути и способы объединения трудящихся Америки на правильных революционных принципах». На съезде в Чикаго 27 июня 1905 года, где собрались представители профсоюзов горняков, лесорубов, железнодорожников, пивоваров, других промышленных отраслей, социалистических фракций, Дебс объявил о рождении «континентального конгресса рабочего класса», который объединит всех квалифицированных и неквалифицированных рабочих в один великий индустриальный союз, который свергнет капитализм и построит социалистическое общество. Девизом этого главного орудия синдикализма должно стать: «Один великий Союз и одна великая Стачка». Как пророчествовал Хейвуд, одноглазый гигант, напичканный «примитивными инстинктами»<sup>56</sup>, союз «Индустриальных рабочих мира» доберется до самых низов, «бомжей», мигрантов и вместе со всей массой трудового народа вызволит их из нищеты и обеспечит «достойный уровень жизни». Не нужны коллективные договоры, соглашения, политические акции. Надо действовать пропагандой, бойкотами, саботажами, стачками. Правительства, политика, выборы – все это чепуха. Страной должны править профсоюзы.

Отказ «Индустриальных рабочих мира» от политического действия вызвал новые раздоры и сецессии. Некоторые социалисты обвинили Дебса в расколе рабочего движения. Де Леон откололся в 1908 году и продолжил борьбу за чистоту принципов. Для Дебса весь смысл борьбы заключался в достижении поставленной цели, и в этой борьбе были приемлемы любые методы – и политические выступления, и практические акции прямого действия. Несмотря на синдикализм «Индустриальных рабочих мира», он в 1908 году включился в избирательную кампанию кандидатом на пост президента от социалистической партии. На митингах, организованных по всей

стране, Хейвуд с друзьями собирал центовые и пятицентовые монеты, чтобы арендовать паровоз и спальный вагон для Дебса и его команды. Проезжавшие мимо машинисты локомотивов приветствовали гудками «Ред спешал» с красными флагами, развевавшимися на крыше и задней площадке. Дебсу удавалось внушить людям веру в возможность социализма. У него не было духовых оркестров и громкоговорителей, но для общения с людьми было достаточно его звучного голоса, широкой улыбки и распростертых рук. Он «действительно верит в реальность такой вещи, как братство людей», говорил один из организаторов кампании, признававшийся, что его раздражает, когда кто-нибудь вдруг назовет его «товарищем»: «А когда это слово произносит Дебс, оно звучит естественно». Американцы целыми семьями приезжали через прерии на железнодорожные станции, где останавливался «Ред спешал», и украшали свои фургоны красными флагами, воткнутыми в гнезда для кнутов. Факельные шествия, массовые митинги, дети с букетами красных роз – все это создавало иллюзию фантастической реальности, в которую начинал верить и сам Дебс. Социалистов здесь, писал он приятелю, «как саранчи», и «фермеры в душе все революционеры и готовы к действию». Все будут в шоке, когда подсчитают голоса. Однако подсчет голосов избирателей был удручающим: 400 000 человек, не больше, чем в 1904 году.

В 1910 году на волне реформаторского движения в Соединенных Штатах в конгресс был избран первый социалист Виктор Бергер от штата Милуоки, появились городской прокурор-социалист, инспектор-социалист, двое судей-социалистов и двадцать один олдермен-социалист из тридцати пяти. В 1911 году в Скенектади был избран мэр-социалист, а в 1912 году партия уже избрала своих мэров в пятидесяти шести муниципалитетах. Но все это были победы ревизионизма и кандидатами были интеллектуалы – юристы, редакторы, священники, не пролетарии. Рабочее движение на обоих флангах – «Индустриальных рабочих мира» и Американской федерации труда – не желало ввязываться в политику. В 1912 году, когда основные партии вступили в трехстороннюю борьбу за президентство, Дебс вновь выдвинул свою кандидатуру. И вновь казалось, как писал Виктор Бергер в газете Милуоки «Лидер», что на горизонте замаячил социализм, и «мы приближались к нему с нарастающей скоростью локомотива». Совершая турне по Нижнему

Ист-Сайду, Дебс стоял на грузовике, который «медленно плыл через океан бурлящей людской массы, заполнившей темные улицы по всему видимому насколько хватало глаз пространству между домами»<sup>57</sup>. За него проголосовали 900 000 человек, вдвое больше, чем в прошлый раз, но все равно это составляло лишь 6 процентов от общей численности избирателей. «Индустриальные рабочие мира» одержали в этом году величайшую победу в Лоренсе штата Массачусетс, организовав забастовку текстильщиков против урезывания зарплат. Союз кормил и содержал весь рабочий город на протяжении двух месяцев и добился повышения оплаты труда. Однако после жестокого подавления Патерсоновской забастовки начался упадок американского синдикализма.

В Германии синдикалистская доктрина всеобщей стачки не нашла признания. Подобно другим германским институтам, профсоюзы были слишком дисциплинированными, чтобы заниматься мероприятиями, отвергавшими необходимость соблюдения порядка и исполнения гражданского долга. Рабочему классу, который в 1905 году Куно Франке назвал «необычайно благонаправленным», было присуще почитание властей и повиновение, которое в Германии достигло такого уровня автоматизма, что, казалось, без его защитной функции в немце мог проснуться какой-нибудь древний тевтонский дикарь или гунн. Германские социалисты реалистически оценивали потенциал всеобщей стачки. Бебель был против того, чтобы использовать ее в политических целях, поскольку, как он объяснял, такую стачку можно организовать лишь в исключительных обстоятельствах при наличии революционного состояния духа рабочего класса. А он очень хорошо знал, что такой компонент в настроениях соотечественников отсутствовал. Когда радикалы в партии на съезде в Мангейме<sup>58</sup> в 1906 году предложили организовывать *Massenstreik* в случае войны, Бебель отверг их идею как пустую и бессмысленную затею. В случае войны, сказал он, люди в военной форме будут следить за соблюдением законности и порядка, любое сопротивление будет пресекаться, да и сами массы будут пребывать в шовинистическом угаре. Бебель никогда не питал сам и не поощрял увлеченность коллег иллюзиями.

В Мангейме имели место некоторое столкновение интересов и борьба за влияние, закончившаяся в пользу Германии и социализма.

Каутский предложил резолюцию, предусматривавшую подчинить профсоюзы партии в вопросах политики. Их задача, утверждал Каутский, должна заключаться в том, чтобы отстаивать интересы рабочих и заботиться об их участии до пришествия социализма. Поскольку задача партии состоит в достижении долгосрочной максимальной цели, то ее решения и должны быть приоритетными.

За последнее десятилетие членство германских профсоюзов увеличилось с 250 000 до 2 500 000 человек, соответственно возросли и фонды. В отличие от Франции, они дружили с партией и были для нее главными поставщиками голосов избирателей. На Сэма Гомперса, побывавшего в Европе в 1909 году, произвели огромное впечатление денежные суммы, выплачиваемые профсоюзами во время забастовок и локаутов, их организованность и дисциплинированность, улучшение условий труда и повышение зарплат, которых они добились. Поденщики получали три марки, а квалифицированные рабочие – шесть марок в день, то есть около тридцати шести шиллингов или восьми-девяти долларов в неделю. Четко регулировалось время, отводимое для еды, на специальной доске объявлений вывешивались сообщения о штрафах и других наказаниях. Правительство признавало право на организацию профсоюза, за исключением слуг и сельских батраков; законом запрещался труд детей тринадцатилетнего возраста, а четырнадцатилетним – разрешалось работать не более шести часов в день. Удовлетворенный тем, что такой прогресс полностью опроверг марксистскую теорию «обнищания», Гомперс испытал и восхищение социальным положением германского рабочего, уже живущего, как ему показалось, в эру «наивысшей производительности труда и благосостояния, высочайшего общего уровня умственного развития и самых здравых оснований для осуществления надежд всего рабочего класса впервые за всю известную историю человечества». Если с учетом антимарксистского энтузиазма Гомперса он и перестарался с восхвалениями социального мира в Германии, то все равно германский рабочий успел застолбить свою долю в существующем государственном строе. Полученный эффект, безусловно, не способствовал подъему революционного духа в профсоюзах. Опасение, что они могут срастись с режимом, и побудило Каутского подготовить резолюцию, предлагавшую подчинить их политическому контролю партии.



Его предложение большинство участников съезда в Мангейме отклонили, не желая оскорблять профсоюзы. Каутскому, прекрасно владевшему теоретической интуицией, позволялось формулировать концепции, но в практической политике генеральный совет партии проявлял реализм. Отклонение резолюции Каутского означало победу профсоюзов. Но поскольку его анализ был верен, решение съезда свидетельствовало также о том, что в стране, где социализм пользовался значительным влиянием, сохранение существующего порядка для партии оказалось предпочтительнее борьбы за достижение главной цели. Еретическое изречение Бернштейна «для меня цель ничто...», похоже, стало принципом. После съезда в Мангейме повседневная деятельность партии стала носить более прагматический и ревизионистский характер, хотя на съездах и церемониальных мероприятиях по-прежнему повторялись марксистские стереотипы.

С ревизионизмом пришел и национализм. 25 апреля 1907 года, незадолго до открытия Гаагской конференции, в рейхстаге выступил депутат-социалист Густав Носке <sup>59</sup>, речь которого, собственно, и положила начало формированию националистической тенденции в социал-демократии. «Буржуазная иллюзия» – полагать, что все социалисты выступают за разоружение, заявил депутат. Безусловно, они стремятся к миру в долгосрочном плане, но международные экономические конфликты, происходящие сейчас, препятствуют разоружению. Социалисты будут так же ревностно, как и джентльмены справа, сокрушать любые попытки других наций загнать Германию в угол. «Мы всегда требовали, чтобы у нас была вооруженная нация», – заявил он, изумив и порадовав коллег по партии и вызвав аплодисменты правых. Каутский с негодованием отверг его утверждения и, проявив исключительное мужество, провозгласил, что германские социал-демократы в случае войны будут считать себя прежде всего пролетариями, а потом уже – немцами. Тем не менее у Густава Носке появилось немало последователей.

В Германии, как и в Англии, стала модной тема войны между двумя странами. Ее подогревали и лозунги Военно-морской лиги: «Грядет война!», «Англия – наш враг!», «Англия собирается напасть на нас в 1911 году», и пангерманские заклинания: «Германии принадлежит мир!» В любой стране, когда начинаются разговоры о

войне, у людей вдруг обостряются патриотические чувства. Они древнее, глубже, естественнее любых ощущений классовой солидарности, и их не так легко истребить даже с помощью коммунистического манифеста. К несчастью для мирового братства, рабочий осознал, что у него есть отечество, как и у всех других граждан.

В своеобразном международном диспуте совершенно иную концепцию сформулировал заочный оппонент немца Носке французский социалист Густав Эрве, противник и милитаризма и патриотизма. Когда-то он был последователем Деруледа, но ударился в другую крайность и приобрел одиозную известность, заявив во время баталий вокруг судьбы Дрейфуса: пока существуют военные казармы, он желал бы видеть французский триколор только на навозных кучах в их дворах. Ему запретили работать учителем, возбудили судебное дело за подстрекательство к бунту, большой общественный резонанс вызвал судебный процесс, на котором его успешно защищал Бриан. Эрве эмоционально изображал *patrie*, родину, Молохом, захватывающим рабочих бронированными челюстями, в которых они проливают кровь друг друга, и вел идеологическую кампанию не только против армии, но и против страны, за что его снова судили и даже подвергли тюремному заключению. «На мобилизационные приказы мы должны отвечать восстаниями!»<sup>60</sup> – его заявления действительно казались подстрекательскими. – Все войны – дурацкие, кроме одной – гражданской». И на съезде французской социалистической партии в 1906 году, проходившем в разгар Марокканского кризиса, и на съезде партии в 1907 году ему удалось отразить эти сантименты в резолюциях. Все синдикалисты-интеллектуалы, обожатели Сореля, Бергсона и Ницше, восторгались его сентенциями. Они культивировали миф о всеобщей стачке, нисколько не думая о тех, кто должен ее проводить. Всеобщая конфедерация труда не участвовала в съездах СФИО. В любом случае всеобщая стачка предназначалась для целей революции, а не для предотвращения войны.

Жорес, главное действующее лицо партии, должен был снабдить съезд политической позицией. Твердо веря в то, что людям доступно создание хорошего общества, он видел в войне только смерть, не какое-то подспорье для рабочего класса, а лишь зло. Предотвращение войны вскоре станет его главной заботой. Долгое время Жорес считал

всеобщую забастовку, предпринимаемую без должной организации средств и целей, «революционным романтизмом», тем не менее она оставалась для рабочего класса единственным инструментом, с помощью которого он мог продемонстрировать и применить свою силу для предупреждения войны. Жорес теперь был склонен поддержать идею всеобщей забастовки еще и потому, что для сохранения зыбкого единства СФИО важно было сделать некоторые уступки синдикалистскому крылу партии. Он понимал реалии не меньше, чем Бебель, но все-таки оставался идеалистом и разрешил проблему всеобщей стачки, придумав для себя формулу: если угроза войны действительно нависнет, то массы сами поднимутся и восстанут спонтанно, с достаточным накалом протеста и без какой-либо предварительной подготовки и организации. В данной области, очень серьезной, Жорес действительно, как сказали бы его критики, «думал своей бородой». Он согласился с текстом резолюции, менее четкой и ясной, чем у Эрве, но обязывавшей французский социализм использовать все формы агитации против войны, включая парламентские выступления, публичные митинги и демонстрации протеста, «даже всеобщую стачку и восстание».

Трудно сказать, Жорес на самом деле поверил или заставил себя поверить в то, что «неустанная агитация» даст свои плоды. И он не только призывал к агитации, а сам принимал в ней самое активное и непосредственное участие, выступая на митингах в поездках по стране. Тогда в Тулузе, Лилле, Дижоне, Ниме, Бордо, Гизе, Реймсе, Авиньоне, Тулоне, Марселе и, конечно же, в Кармо – фактически на любой железнодорожной станции во Франции<sup>61</sup> – можно было увидеть Жореса, сходящего с поезда с дорожным чемоданчиком в руках, «посланца мира». Он выступал и за рубежом – в Лондоне, Брюсселе и других столицах. В Англию он ездил с Вандервельде. Там они посетили Хатфилд<sup>62</sup>, поместье Сесилов, заинтересовавшее его в гораздо большей мере, чем Оксфорд.

С той поры социалистов занимала в основном проблема войны и примирения противоречивых позиций Эрве и Носке. Она поднималась и на следующем конгрессе, состоявшемся в августе 1907 года и впервые проходившем на германской земле. Хотя рабочий класс Берлина и был бастионом социализма, партийные вожди не

осмелились созывать конгресс в столице под носом у кайзера. Местом проведения конгресса был избран Штутгарт, столица Вюртемберга на юге Германии. В самом большом зале города собрались восемьсот восемьдесят шесть делегатов, представлявших двадцать шесть наций или национальностей. Можно упомянуть лишь некоторых, наиболее примечательных персонажей: Рамсей Макдональд из Англии, Де Леон и «Большой Билл» Хейвуд из Соединенных Штатов, Плеханов, Ленин, Троцкий и Александра Коллонтай – от различных российских фракций, госпожа Кама из Индии, «красные девы» Роза Люксембург и Клара Цеткин. Среди полиглотов-переводчиков блистала прежде всего Анжелика Балабанова, которую сопровождал «вечно буйный и по-бычьему самоуверенный молодой человек со смуглым лицом» – Бенито Муссолини<sup>63</sup>. Для демонстрации силы социализма в день открытия конгресса, в воскресенье, за городом была устроена грандиозная манифестация. Отовсюду приехали рабочие с семьями, заполнив улицы, ведущие к полю, на котором были установлены для ораторов около дюжины трибун, покрытых красным полотном. Играли духовые оркестры, хоровые общества исполняли социалистические гимны, с привязанных аэростатов за всем происходящим бдительно следила полиция<sup>64</sup>. К двум часам пополудни пятидесятитысячная толпа собралась поглазеть и послушать знаменитостей социализма, «проявляя необычайный энтузиазм, но и сохраняя полный порядок». Бебель, выступая, поздравил британский пролетариат с недавним блестящим успехом на голосовании, отметив с некоторой завистью: хотя, как это всем ясно, правительство и позволило Джону Бёрнсу стать членом кабинета, он уверен, что данное обстоятельство не повлияет на боевитость партии. Речь Жореса, произнесенная на немецком языке, была встречена оглушительными аплодисментами. Хотя Жорес и был способен запомнить немецкий перевод своей речи после одного прочтения и мог цитировать длинные отрывки из Гёте наизусть, известно, что он не владел немецким языком в достаточной степени даже для того, чтобы заказать номер в отеле.

Делегаты, окруженные немецким гостеприимством, должны были все-таки помнить, что они живут и говорят под недремлющим оком полиции. Когда Гарри Квелч, английский делегат, позволил себе неуважительно высказаться в адрес Гаагской конференции<sup>65</sup>, канцлер фон Бюлов, сам непочтительно относившийся к этой конференции,

заставил тем не менее правительство Вюртемберга выслать англичанина. Бебель даже не выразил протест. До завершения конгресса пустующее кресло Квелча было заполнено цветами.

Работа конгресса, как обычно, проходила в комитетах – по избирательному праву, правам женщин и меньшинств, иммиграции, колониализму и другим проблемам. Среди них ведущее место занимал комитет по антимилитаризму. Вопрос о том, что должен делать рабочий класс в случае нарастания милитаризма и угрозы войны, был поставлен французами, и он дебатировался на протяжении пяти дней. Открывая обсуждение, Эрве снова предложил в качестве первостепенной меры массовое неповиновение мобилизации, что, по сути, означало бунт. Поскольку бунт легко трансформируется в революцию, тезис Эрве поддержали германские радикалы во главе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, но официальные тяжеловесы партии из числа давних марксистов вроде Бебеля и Каутского и новые националисты формата Носке сделали резкий крен вправо. Излагая свои мысли, как сказал Вандервельде, «в пяти шагах от Вильгельмштрассе», немцы приглушали звучность голоса, но не только из-за благоразумия и предосторожности: причины были идеологические. Некоторые из них сознательно, другие – возможно, притворяясь, примкнули к тем, кто воспевал силу национального духа, приспособляясь к фактам реальной жизни в эру национальной экспансии, приносившей блага и рабочему классу. «Это неверно, что у рабочих нет отечества, – заявил Георг фон Фольмар, главный ревизионист. – Любовь к человечеству не мешает нам быть и хорошими немцами»<sup>66</sup>. Вся его группа, говорил Фольмар, не признает интернационализм, если он отвергает национальность.

Жорес предложил резолюцию, аналогичную той, которая была принята конгрессом во Франции, и делавшую упор на «агитации», включая всеобщую забастовку как крайнюю меру.

Провести всеобщую забастовку без заблаговременной подготовки, планирования и организации было бы равнозначно формированию армии без приказов и обустройства мест постоя, складов, организации транспорта, материально-технического обеспечения, поставок продовольствия, военного снаряжения и имущества. Даже если бы Второй интернационал принял решение провести всеобщую стачку, то у него не было бы полномочий отдать соответствующие приказы

своим национальным компонентам и обязать их организовать забастовки на местах. Акция должна быть поистине международной, всеобщей и одновременной, иначе рабочие, устроившие забастовку наиболее эффективно и успешно, обеспечат поражение только собственной стране. Как указывал Гед, всеобщая стачка может быть эффективной лишь тогда, когда она проводится самым организованным и дисциплинированным рабочим классом. В таком случае успех гарантирует единственный результат: самые современные и развитые страны потерпят военное поражение от наиболее отсталых наций. Возникла чудовищная и неразрешимая дилемма. Жорес держал идею всеобщей стачки в своем арсенале в большей степени для того, чтобы использовать ее в целях революционного воспитания масс. Прогуливаясь с Бернштейном в одном из парков Штутгарта, он пытался убедить его в полезности заявления о поддержке всеобщей забастовки: оно-де окажет вдохновляющее воздействие. «Все мои возражения, – вспоминал потом Бернштейн, – сводились к неосуществимости такой затеи. Но он все время напирал на “моральный” эффект». Как говорил Клемансо многие годы спустя, Жорес с «такой непоколебимой верой проповедовал братство наций... что его не могли смутить даже факты жестокой действительности»<sup>67</sup>.

Бебель вообще считал всеобщую забастовку ненужной. Германская партия, в отличие от французских социалистов, была тесно связана с профсоюзами и относилась к идее всеобщей стачки с их позиций. Хотя каждый член профсоюза мог быть хорошим социалистом, профсоюзы в целом не желали тратить свои фонды на безрассудные жесты против государства. Финансовых резервов для всеобщих забастовок не имелось даже в мирное время. Подрывая оборону отечества во время военной лихорадки, социалисты поставят себя в немыслимое положение. Даже Каутский соглашался. Забастовка невозможна без согласия профсоюзов. В личном плане он, как и другие единомышленники, тешил себя, подобно Жоресу, надеждами на то, что в случае войны рабочие, каким-то образом «разъярившись», восстанут самостийно<sup>68</sup>.

А что думал сам трудящийся, человек, который должен участвовать в такой забастовке? Его голоса никто не слышал. Рабочий в лучшем случае, придя после смены домой, думал о получке, хозяине,

разбитом окне, больном ребенке, о том, что будет есть на ужин и как проведет завтрашний выходной день. Если он задумывался о забастовке, то это наверняка касалось его зарплаты. Если вдруг ему в голову приходили мысли о войне, то они скорее возбуждали в нем представления о чем-то великом и героическом. Он думал не о забастовке, а о том, что надо идти в армию, бить врага и защищать страну. Бебель знал это. «Не занимайтесь самообманом»<sup>69</sup>, – говорил он английскому делегату, повторив свое прежнее утверждение о том, что, как только фатерланд окажется в опасности, «каждый социал-демократ возьмет на плечо винтовку и зашагает к французской границе».

Если Бебеля действительно можно считать папой социализма, то скорее всего мирским, светским папой, так как духовная ипостась перешла к Жоресу, «величайшей надежде Второго интернационала», по словам Вандервельде, произнесенным при открытии конгресса. В нем бурлила энергия, он развязал грандиозную антивоенную кампанию, наслаждался пребыванием в Германии. Подняв в сельском баре огромную кружку, накрытую доверху пузырящейся пеной, Жорес, демонстрируя новый прилив энтузиазма, прочувственно сказал: «Пиво! Вандервельде, ведь это немецкое пиво!» Однажды поздно вечером, возвращаясь из дальней поездки через средневековый город Тюбинген<sup>70</sup>, он, несмотря на проливной дождь и темноту, настоял на том, чтобы остановиться и постоять возле прославленного древнего университета.

Бебель восставал против всеобщей забастовки не столько из-за того, что считал ее неосуществимой, сколько из-за опасений новых гонений со стороны правительства и, возможно, даже возрождения антисоциалистического закона. Достигнув солидного возраста и добившись немалых успехов с того времени, когда Энгельс сказал ему, что «нелегальность убьет нас», его партия не желала более уходить в подполье. Кроме противоречивых французских резолюций, ему приходилось иметь дело с радикалами в собственной партии, которым уже помогал грозный партнер. Знакомя его с приятелем, Роза Люксембург сказала: «Это Ленин. Обратите внимание на его волевым, упрямый череп»<sup>71</sup>. Люксембург и Ленин уже решили, что любая резолюция конгресса о милитаризме должна напомнить рабочему классу о его долге трансформировать войну в революцию. В частных

беседах Ленин и Бебель вели долгие дискуссии на этот счет <sup>72</sup>, причем Бебель настаивал на том, чтобы «в резолюции не было ничего такого, что могло дать повод государственному обвинителю в Берлине запретить партию». Диспуты показались Ленину затянутыми, но вполне диалектическими, и они выработали приемлемую формулу, которую и следовало положить в основу резолюции.

Окончательный вариант резолюции, отработанный в комитете под руководством Бебеля, учел все точки зрения и был составлен таким образом, что не мог встревожить ни государственного обвинителя в Берлине, ни кого-либо из участников конгресса. Восторжествовала позиция Бебеля. В резолюции удалось полностью избежать даже упоминания всеобщей забастовки <sup>73</sup>. В ней подтверждалась необходимость классовой борьбы, констатировалось, что война является врожденным свойством капитализма, содержался призыв к тому, чтобы заменить постоянные армии гражданскими ополчениями, но признавалось, что «интернационал не вправе предписывать в жесткой форме, какие именно действия рабочий класс должен предпринимать против милитаризма». Конгресс рекомендовал вести «неустанную агитацию» и высказался в поддержку разоружения и арбитража в международных конфликтах. Дополнение, предложенное Розой Люксембург и Лениным, призывало рабочий класс и его парламентских представителей прилагать все усилия для предотвращения войны, «используя для этого наиболее эффективные, по их мнению, методы и средства». Если все же война вспыхнет, то они должны предпринять все меры для ее незамедлительного прекращения и в то же время «использовать кризис, употребив все силы, для ускорения краха капитализма».

В 1909 году в далекой Каталонии произошла антивоенная забастовка с трагическими последствиями. Это была не акция организованного рабочего движения, а, подобно российскому восстанию в 1905 году, спонтанно возникший бунт. «Красная неделя» в Барселоне, называвшаяся испанцами *la semana tragica* <sup>[149]</sup>, вошла в историю как демонстрация массового стихийного протеста против мобилизации солдат для военной кампании в Марокко, которая, как считали рабочие, велась в интересах владельцев рудников Риффа. Забастовка, инициированная Федерацией труда Барселоны <sup>[150]</sup>, за одну



ночь переросла в настоящий бунт с уличными столкновениями и баррикадами против войны, властей, церкви, всех институтов репрессивного режима. Восстание было беспощадно подавлено войсками, социалисты возмущались судилищем и казнью Франсиско Ферреры, но не сделали никаких выводов о стратегии и тактике мятежей.

В том же году всеобщая забастовка была организована Национальной федерацией труда Швеции в ответ на практику локаутов, к которой все чаще прибегали работодатели. В ней участвовали почти 500 000 человек, и она длилась около месяца. Забастовка прекратилась, когда правительство пригрозило перманентным лишением заработка и пенсионного обеспечения, а высшие классы организовали бригады, поддерживавшие деятельность жизненно важных служб.

И в том же году на горизонте появились первые грозные облака войны. Австро-Венгрия аннексировала Боснию-Герцеговину, бросив вызов России, которая, еще не оправившись после недавних испытаний, была вынуждена промолчать, тем более что кайзер громко пообещал выступить на стороне союзника «в начищенных до блеска доспехах». Австрийские социалисты не смогли сдержать нахлынувший на них прилив чувств национальной гордости. Социалистическая газета Вены «Арбайтер цайтунг»<sup>74</sup> опубликовала серию шовинистских статей, что дало повод сербской буржуазной прессе не без злорадства заявить о сомнительности разрекламированной международной солидарности рабочего класса.

В Англии на волне неприязни к Германии Блэтчфорд, хотя и социалист, почувствовал себя солдатом и выступил в поддержку Англо-бурской войны. Вместе с Гайндманом он теперь возглавил кампанию за введение воинской повинности<sup>75</sup> и освещал ее в своей газете «Кларион». Кейр Харди обвинял их в предательстве социализма и продолжал верить в то<sup>76</sup>, что «организованный рабочий класс никогда не будет участвовать в оргиях, проливающих кровь трудящихся». И в этой вере он был не одинок. Мистический образ героического рабочего класса, связанного узами нерушимого братства, был необычайно привлекателен. Верил в этот стереотип и Сэм Гомперс, родившийся и выросший, как и Харди, в среде рабочего класса и всю свою жизнь посвятивший судьбам трудящегося человека.

Когда он приехал в Европу для участия в Международном конгрессе профсоюзов в 1909 году, первое и самое важное, что его поразило, – это «чувства солидарности в массах». Все еще не осознавая себя социалистом, Гомперс тем не менее считал, что борьба рабочего класса за свои права возобладает над «войнами между нациями, в которых для него нет ни смысла, ни целей». В другом контексте он указывал: всеобщая забастовка «невозможна на данном этапе развития организованного рабочего движения». В то же время, по его глубокому убеждению, рабочему человеку присуще внутреннее отрицание воинского долга как обязательства стрелять и в собрата по классу. Моральный настрой международных профсоюзных конгрессов, на которых делегаты делятся мнениями и завязывают дружбу, они распространят в своих странах и донесут до организованных рабочих, которые, без сомнения, все поймут и откажутся убивать друг друга. «Даже неорганизованные работники», прочтя сообщения и выслушав рассказы делегатов, займут такую же позицию. Государственные деятели хорошо знают, что на их приказ «на фронт!» люди ответят «массовыми демонстрациями за мир» – Гомперс не посмел сказать «массовым неповиновением». «Сформировалось общее мнение, – подчеркивал Гомперс, – что решающим препятствием для войны между нациями в Европе сегодня является оппозиция рабочих в различных странах».

Гомперс был реалистичным и трезвомыслящим человеком, как и подобает профсоюзному лидеру, но он жил в эпоху необычайно сентиментальную. Подобно Жоресу, он надеялся на мистическую силу «массовых демонстраций», и одно это доказывает, до какой степени люди поверили в героический образ рабочего класса.

Он приехал в Европу с одной целью – объединить Американскую федерацию труда с Международной федерацией профсоюзов. Если организованный рабочий класс и способен предпринять какие-либо действия против войны, то лишь эта федерация могла сплотить его при наличии доброй воли и средств. У нее не имелось ни того ни другого. Она была создана в 1903 году по инициативе английских и французских профсоюзов и представляла двадцать семь профессий или отраслей и насчитывала в своих организациях более семи миллионов человек в девятнадцати странах. Формально это была внушительная сила, но на практике вся ее деятельность сводилась к

исполнению технических функций. Она информировала профсоюзы о последних событиях в отраслях, срывала попытки работодателей набирать иностранных штрейкбрехеров. С учетом влияния и финансовой обеспеченности германских профсоюзов ее штаб-квартира располагалась в Германии и ее секретарем был Карл Легин, глава Германской национальной федерации профсоюзов. На ее конгрессах, созывавшихся раз в два года, все политические и социальные вопросы, поднимавшиеся обыкновенно французами, деликатно отклонялись. В 1909 году федерация смогла собрать стачечный фонд в размере 643 000 долларов для всеобщей забастовки в Швеции: в основном средства поступали от германских и скандинавских профсоюзов, и очень мало было внесено британцами, французами и американцами. Солидарность явно была не на высоте. Находясь под сильным германским влиянием и сторонясь политики, эта организация не проявляла никакого интереса к идеям международной всеобщей стачки.

В международное профсоюзное объединение входила и влиятельная Международная федерация транспортных рабочих – моряков, докеров, железнодорожников. Она была основана в 1896 году, представляла сорок два профсоюза в шестнадцати странах и насчитывала в своих рядах 468 000 человек. Именно с этой федерацией Кейр Харди, как и Жорес, обеспокоенный угрозами войны, связывал надежды на организацию всеобщей международной стачки в случае начала военных действий. Он считал, что одни транспортные рабочие при поддержке шахтерского интернационала способны остановить войну. В данном случае тоже возникала проблема единого одновременного действия во всех странах, однако Харди, увлекшись главной идеей, проигнорировал очевидное затруднение и выдвинул свое предложение на очередном социалистическом конгрессе в августе 1910 года в Копенгагене.

Копенгаген, принимавший в 1910 году интернационал, своим примером подтверждал ту значимость, которую приобрел социализм. Муниципальное правительство столицы уже принадлежало Датской социалистической партии, одной из крупнейших в малых государствах. Ее комитет, решивший произвести впечатление на весь мир блестящей организацией конгресса, устраивал великолепные приемы, а мэр-социалист произнес чудесную приветственную речь. В

ответном слове, «взволновавшем наши сердца своей искренностью»<sup>77</sup>, Вандервельде выразил общее чувство причастности к величайшему событию, «когда свободные граждане и городской совет оказывают гостеприимство Красному интернационалу». В мире уже насчитывалось восемь миллионов социалистических избирателей<sup>78</sup>. Французские социалисты только что одержали блестящую победу на выборах в мае, получив свыше миллиона голосов и увеличив свое представительство с 54 до 76 депутатов. Бриан, все еще называвший себя независимым социалистом, уже был премьером, и социализм, похоже, достиг того уровня признания, когда мог брать на себя роль «больной совести» человечества.

В Копенгагене она выразилась в словах Кейра Харди<sup>79</sup>, предложившего совместно с французом Эдуардом Вайяном резолюцию, рекомендовавшую, чтобы родственные партии и рабочие организации считали желательным и осуществимым проведение всеобщей стачки, особенно в отраслях, производящих военное имущество и материалы, в качестве одного из средств предотвращения войны, и данный вопрос следовало бы обсудить на следующем конгрессе. Выступая с этим предложением, Харди понимал, что рабочие не пойдут на забастовку против войны, но упорно надеялся на то, что им придется сделать это в соответствующих обстоятельствах. «Мы должны подготовить их», – говорил британец. Его проект резолюции поддержали и Вандервельде, и Жорес. Французский лидер исходил из того, что это будет способствовать сближению Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) с Французской секцией рабочего интернационала (СФИО). Кроме того, его беспокоила явная бюрократизация германской партии, и он чувствовал насущную необходимость активизации работы в массах.

Немцы и австрийцы выступили против предложения Харди, используя те же аргументы, что и прежде: призывы к забастовке в случае войны повлекут за собой судебные преследования, обвинения в измене и конфискацию фондов. Бебель, больной и заметно постаревший, отсутствовал, но даже и без него голосование под давлением немцев было отрицательным. В поисках компромиссного решения брюссельскому Бюро было рекомендовано заново рассмотреть резолюцию на очередном конгрессе. Но даже и такое дополнение не устраивало немцев. Они с большой неохотой пошли на

уступки лишь после предупреждения Вандервельде о том, что в случае их отказа британцы и французы займутся проектом отдельно и самостоятельно. Антимилитаристская резолюция таким образом все же была принята, практически в формулировках Штутгарта, но с одним дополнением: организованному рабочему классу рекомендовалось «подумать, не следует ли провозгласить всеобщую забастовку для предотвращения преступления войны, если в этом будет необходимость». Так же плутовато, как капиталисты отделались от проблемы разоружения в Гааге, социалисты отrekliсь от идеи всеобщей забастовки в Копенгагене.

Вскоре реальность предоставила доказательство неспособности рабочих одержать победу в серьезной стачке, какой была забастовка транспортников во Франции. В октябре премьер Бриан покончил со всеобщей забастовкой железнодорожников всех частных и государственных линий, призвав рабочих в армию на трехнедельный срок: невыход или отказ от работы автоматически расценивался как дезертирство со всеми вытекающими из этого последствиями. Этот эффективный метод борьбы с забастовками подсказало ему патриотическое сознание, преисполненное заботой о национальной обороне. В то же время давнее социалистическое самосознание почему-то не побудило его к тому, чтобы потребовать от компаний увеличить заработную плату, чего, собственно, и добивались железнодорожники.

В истории человечества наступил 1910 год. Перемещение политического влияния к новому классу, замеченное Бальфуром на британских всеобщих выборах в 1906 году, еще не стало свершившимся фактом. Для реального столкновения, как это продемонстрировала и забастовка французских железнодорожников, рабочий класс не обладал достаточной силой. Международное солидарное действие по-прежнему оставалось иллюзорным. Хотя социалисты продолжали и говорить о нем, и верить в его возможность, делали они это больше в порядке теоретических дискуссий, а не практических проектов. Правда, в этот период все же была предпринята одна попытка организованного международного действия рабочего класса. В то же самое время, когда социалисты в Копенгагене обсуждали возможности всеобщей забастовки на военных

производствах, там же проходила и сессия Международной федерации транспортных рабочих (МФТР), по своей природе самого что ни на есть интернационального профсоюзного объединения и крайне необходимого для солидарных акций. Однажды во время Англо-бурской войны<sup>80</sup> голландские члены федерации, симпатизировавшие бурам, потребовали объявить бойкот британским судам, однако лидеры МФТР отклонили их требования на том основании, что на данном этапе нереально привлечь рабочих к участию в международной акции по политическим мотивам. Иное дело – ставить перед ними чисто профсоюзные цели и задачи. И вожаки МФТР наметили уже в следующем году провести международную забастовку против судовладельцев.

Главными зачинщиками были британские делегаты Бен Тиллет и Хавелок Уилсон, а основным оппонентом – германский делегат Пауль Мюллер, занявший такую же обструкционистскую позицию, какую отстаивали его соотечественники на конгрессе социалистов. Забастовка моряков в настоящий момент, доказывал Мюллер, была бы «настоящим безумием» и «катастрофой». В схватке выиграют хозяева, профсоюзные лидеры потеряют авторитет, моряки останутся без работы и рано или поздно на коленях будут молить о пощаде. Поскольку забастовка на линиях морского судоходства, как и против военных отраслей, может создать преимущества для стран, профсоюзы которых в ней не участвуют, и поскольку немцы и британцы соперничают на море, то и особое значение следовало бы придавать принципу международной солидарности. Аргументацией герра Мюллера пренебрегли, и конгресс проголосовал за объявление забастовки моряков в знак протеста против «бездушного, негуманного» отказа судовладельцев всех стран обсуждать претензии профсоюзов за столом переговоров. По всеобщему согласию забастовка «должна быть и будет международной».

На последующих собраниях комитета моряков в Антверпене в ноябре и затем в марте британцы заявили о своем твердом намерении провести забастовку в 1911 году<sup>81</sup>, а бельгийцы, голландцы, норвежцы и датчане обещали их поддержать. Немцы, утверждая, что у них нет причин для забастовки, отказались принимать участие. Дату назначили на 14 июня. К этому времени из пула вышли датчане и норвежцы: первые объясняли отступление тем, что им удалось достичь

благоприятного пятилетнего соглашения; вторые сослались на то, что их требования отклонили и они не в состоянии переломить ситуацию. Коронационным летом все же состоялась знаменитая британская транспортная забастовка, и одновременно с ней проходили стачки в Бельгии и Голландии. Федерация организовала забастовки солидарности в других портах континента, что помешало набору штрейкбрехеров и помогло британским морякам. Однако первоначальная цель организации международной солидарной акции не была достигнута.

Социализм в то же время твердо верил в возможность «восстания» рабочего класса в случае войны. В этом проявлялась сентиментальность эпохи. Публику олицетворяли не доктора, писатели и социальные психологи, уже начинавшие воспринимать человека без иллюзий. Эти персонажи становились авангардистами и «пророками уныния» вроде Ведекинда. А широкая публика предпочитала видеть все в розовом свете, любоваться совершенными обнаженными фигурами Бугеро и невероятно красивыми девушками Гибсона – созданиями, которых в действительности не существовало. Аналогичным образом в своей сфере поступали и социалисты.

Романтизацией реальности особенно увлеклись в Германии, где на всеобщих выборах в 1912 году социал-демократы завоевали симпатии 35 процентов избирателей, а именно 4 250 000 человек, и получили 110 депутатских мест. Численность партии росла столь стремительно и она представлялась уже столь могущественной<sup>82</sup>, что, казалось, неумолимо приближался момент, когда социалистическое движение в Германии «охватит большинство народных масс и сбросит оковы феодально-капиталистического государства». Социал-демократов в стране уже стало так много, что их численность должна была пропорционально увеличиться и в вооруженных силах, а это означало, что может сложиться ситуация, когда армию нельзя будет использовать против рабочих.

Несоответствие между численностью и реальным влиянием партии в стране, на которое обратил внимание Жорес на конгрессе в Амстердаме, становилось еще более разительным по мере ее разрастания. То, как использовали германские парламентские социалисты свой триумф 1912 года, не впечатляет. Когда

правительство в том же году увеличило вооруженные силы на три армейских корпуса, они протестовали против закона, утверждавшего это решение, но не выступили против налогообложения, обеспечивавшего финансирование. Когда социалиста Филиппа Шейдемана избирали первым вице-президентом рейхстага и он сказал, что не будет участвовать в официальной церемонии посещения кайзера, его заявление вызвало не меньший переполох, чем предыдущие дебаты вокруг проблемы бриджей<sup>83</sup>. В новом диспуте участвовали все партии, не только социалисты. С жаром обсуждались и такие вопросы: должен ли Шейдеман наносить визит, если отсутствует второй вице-президент, и давал ли Бебель согласие на то, чтобы социалисты тоже приветствовали монарха. Дело закончилось тем, что избрание Шейдемана аннулировали, дабы избежать ненужных проблем.

В германской социал-демократии процветал ревизионизм, в то время как в стране нарастал национализм. Социализм в Германии переключился с максималистских целей на минималистские программы, менее внушительные, но более реалистичные. Красная заря революции поблекла и отдалилась. Приверженцы привычно повторяли марксистские тезисы, но убеждения перекочевали к «нелегалам» – то есть к русским эмигрантам. На собрании леваков в Лейпциге австрийский гость-социалист назвал своих хозяев революционерами. «Мы – революционеры?» – отозвался Франц Меринг. «Ба! Вот они – революционеры», – сказал он, кивая на Троцкого, тоже гостя<sup>84</sup>.

Для Жореса всепоглощающей целью стала задача сформулировать и предложить политическую программу предотвращения войны, которая бы не противоречила ни интересам обороны Франции, ни его собственным верованиям в социализм. В его стране тоже рос национализм, *revanche*, в ипостаси воинственного духа. Соседство Германии тревожило душу француза, не забылись унижения Седана. Для законченных экстремистов вроде Геда мир и интересы рабочего класса могли и не совпадать, для Жореса они были едины. Теперь он решил, что угрозу войны можно отвести, не изменяя социализму, с помощью гражданской армии. Если вся страна превратится в армию резервистов, когда каждый гражданин будет обязан пройти шестимесячное обучение, а офицеры будут выдвигаться из армейских



рядов, то нация не втянется в смертоубийство в интересах капиталистических поджигателей войны. В оборонительной войне против интервентов только такая народная армия способна остановить «потоп» войск, готовящийся немцами на передовой линии.

Кампания Жореса не ограничивалась ораторством. Как и в *Les Preuves* («Доказательствах») по делу Дрейфуса, он представил тщательно отработанную программу реорганизации военного истеблишмента, над которой трудился три года. Результаты своего исследования он включил в законопроект, представленный в палате депутатов в ноябре 1910 года, и полностью изложил в книге объемом 700 страниц «*l'Armée Nouvelle*»<sup>[151]</sup>, изданной в 1911 году. Он отстаивал свои идеи и в палате депутатов, и на страницах социалистической газеты «Юманите», основателем и директором которой был, и на собраниях, и в лекциях, за что когорта правых, особенно «Аксон франсез», называла его «предателем», продавшимся Германии, или «пацифистом».

«Пороховой бочкой» Европы, как все тогда уже знали, были Балканы, где сталкивались интересы России и Австрии. Когда в октябре 1912 года Балканский союз Сербии, Болгарии, Греции и Черногории, подстрекаемый Россией, объявил войну Турции, казалось, что катастрофа неминуема. Троцкий находился в Белграде и видел, как бодро шагает на войну 18-й сербский пехотный полк в новом обмундировании цвета хаки. Солдаты шли в сандалиях из коры и с зелеными ветками на голове, что придавало им образ «людей, приговоренных к жертвоприношению». Ничто так не поразило его, как эти сандалии из коры и зеленые ветки. «Мною завладели мысли о трагичности истории, ощущение беспомощности перед судьбой, чувства сострадания к человеку, превращенному в саранчу».

Чтобы продемонстрировать солидарное противление войне рабочих всего мира, брюссельское Бюро созвало 24 и 25 ноября чрезвычайный конгресс в Базеле, на границе Швейцарии, Франции и Германии. В Базель срочно прибыли пятьсот пятьдесят пять делегатов из двадцати трех стран. Манифест, составленный Бюро заблаговременно и принятый единодушно, провозглашал готовность «пойти на любые жертвы» ради недопущения войны, хотя о характере жертв ничего не сообщалось. С обращениями выступили Кейр Харди, Адлер, Вандервельде и другие самые известные ораторы социализма;

последним говорил Жорес, теперь уже общепризнанно самая влиятельная фигура социалистического движения. Бебель, хотя и присутствовал, чувствовал себя неважно, и это, как оказалось, было его последнее появление на международной арене.

Жорес говорил с кафедры собора, предоставленного конгрессу церковными властями, несмотря на предупреждения буржуазии об «опасных последствиях»<sup>85</sup>. Церковный звон, сказал Жорес, напомнил ему девиз «Песни колоколов» Шиллера: *Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango* («К живым взываю. Мертвых оплакиваю. Молнии укрощаю»)<sup>[152]</sup>. Наклоняясь вперед к лицам, глядевшим на него снизу вверх, он продолжал: «Я взываю к живым, чтобы они защитили себя от чудища, появившегося на горизонте. Я оплакиваю бесчисленные мертвые тела, гниющие сейчас на востоке. Я сокрушу громы и молнии войны, грозящие нам с небес»<sup>86</sup>.

Так случилось, что эти громы и молнии войны были сокрушены сначала капиталистическими государственными мужами, собравшимися на конференцию в Лондоне в декабре 1912 года. Она ограничила масштабы, а затем в мае и урегулировала конфликт прежде, чем он мог перерасти в полномасштабную войну между Россией и Австрией.

В марте 1913 года Франция вразрез с намерениями Жореса нарастила мощь армии, увеличив срок воинской службы с двух до прежних трех лет. Жорес употребил всю свою энергию на борьбу против этой меры и за утверждение идеи народной армии. Полгода в общественно-политической жизни Франции доминировала тема трехлетнего законопроекта. Поддержать его означало проявить патриотический национализм, оппозиция символизировала принадлежность к левым. Жорес осудил закон в палате депутатов как «преступление против республики», а на митинг протеста собралась толпа в 150 000 человек. Он возглавил оппозицию как непреклонный поборник мира и снова подвергся злостным нападкам и обвинениям в пацифизме и прогерманских симпатиях. После ожесточенных дебатов, длившихся семь недель, 7 августа закон был принят. Но Жорес, шесть лет боровшийся за реабилитацию Дрейфуса и Пикара, и сейчас не капитулировал, организовав кампанию за отмену закона.

В том же году умер Бебель в возрасте семидесяти трех лет. Прощание с ним продолжалось три дня, мимо гроба, окруженного

сотнями венков и красных букетов, проходил нескончаемый поток рабочих и социалистов, приехавших из многих стран мира. Лидером партии стал его избранный преемник Гуго Гаазе, юрист и депутат из Кёнигсберга. В августе 1913 года в присутствии Эндрю Карнеги и представителей сорока двух государств, участвовавших в создании Постоянного третейского суда, в Гааге открылся Дворец мира, как написала «Таймс», в «самой дружеской и благостной атмосфере». В обследовании французской студенческой жизни в 1913 году<sup>87</sup> было особо отмечено, что слово «война», по мнению студентов, «пробуждает извечный инстинкт воителя в душе человека».

Тем временем рабочий класс продолжал крепнуть. Членство профсоюзов в Германии и Англии к 1914 году выросло до трех миллионов человек, а во Франции – до одного миллиона. Социалисты в Дании стали самой большой партией. В Италии социалисты на выборах в 1913 году увеличили свое представительство в парламенте с 32 до 52 мест, а во Франции на выборах в апреле 1914 года – с 76 до 103 депутатских мест. У бельгийских социалистов было тридцать своих депутатов, семеро сенаторов и 500 мест в муниципальных советах. Они давно добивались всеобщего избирательного права и теперь, собравшись с силами, решили потребовать принятия соответствующего закона, объявив всеобщую забастовку. Вандервельде и его соратники тщательно готовились к стачке, и, хотя в ней приняли участие 400 000 рабочих и она продолжалась две недели, забастовка потерпела фиаско.

В августе 1914 года социалисты наметили провести в Вене десятый конгресс Второго интернационала и заодно отметить пятидесятилетнюю годовщину со дня основания Первого интернационала и двадцать пятый юбилей Второго. Все свято верили в необходимость такого торжественного мероприятия. В мае состоялось заседание франко-германского комитета социалистов-депутатов, включая Жореса и Гуго Гаазе. Они собрались в Базеле, чтобы обсудить и наметить пути сближения двух стран. Их намерения были похвальны, но возможности ограничивались одними разговорами. В Англии Кейр Харди в разгар искрометной речи на конференции Независимой либеральной партии в апреле вдруг решил обратить внимание на детей из социалистических воскресных школ, которые сидели позади трибуны. Обращаясь к ним непосредственно, он рассказал, каким

прекрасным может быть мир природы и мир человека. Харди говорил о том, что человеку не нужны войны и нищета, о том, как он пытался создать и оставить для них лучший мир, но не преуспел в этом и возлагает теперь все надежды на них, детей. «Последние мои к вам слова: доживите до этих лучших дней»<sup>88</sup>.

В конце июня пришли вести о покушении сербских патриотов на эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола, в малоизвестном городке на оккупированной территории Боснии, которое произвело одну из тех сенсаций, к которым Европа уже привыкла. Затем через месяц, 24 июля, поступило еще более тревожное сообщение: Австрия предъявила Сербии ультиматум, по словам германской социалистической газеты «Фортвертс», «в такой брутальной форме», которую можно «интерпретировать лишь как преднамеренное провоцирование войны»<sup>89</sup>. В Европе назревал полномасштабный кризис. Будет ли это очередной Агадир или Балканская война с вызовами, маневрированием и последующим урегулированием? В Европе повисло тревожное ожидание. «Мы надеялись на Жореса»<sup>90</sup>, полагая, что он мобилизует социалистов, и они не допустят войны, – писал годы спустя Стефан Цвейг.

Социалистические лидеры, действительно, проводили консультации. Организовывать демонстрации в Вене уже было поздно. Политическая атмосфера пропиталась воинственными приготовлениями. Брюссельское Бюро срочно вызвало на экстренное заседание основных его участников. 29 июля в Брюсселе собрались Жорес, Гуго Гаазе, Роза Люксембург, Адлер, Вандервельде, Кейр Харди, представители итальянской, швейцарской, датской, голландской, чешской и венгерской партий, нескольких российских фракций, всего около двадцати человек, все «с ощущением безнадежности и отчаяния». А что реально они могли сделать? Как они могли продемонстрировать волю рабочего класса? И какова была, в чем заключалась эта воля? Никто не задавался этим вопросом. Все полагали, что она заключалась в стремлении к миру. Однако один ответ на этот вопрос уже появился двумя днями раньше в том же Брюсселе на конференции профсоюзов, в которой участвовали Леон Жуо, председатель Всеобщей конфедерации труда, и Карл Легин, лидер германских профсоюзов. Жуо пытался выяснить, что намерены делать германские профсоюзы. Французы, говорил Жуо, объявят

забастовку, если то же самое сделают немцы<sup>91</sup>. Но Легин молчал. В любом случае не существовало никаких планов.

Всю неделю социалистическая пресса клеймила милитаризм, призывала рабочий класс всех стран «держаться вместе», «объединиться и сокрушить милитаризм», вести «неустанную агитацию», как и предлагал интернационал. «Батай синдикалист»<sup>92</sup>, орган французских профсоюзов, заявлял: «Рабочие должны ответить на объявление войны революционной всеобщей забастовкой». Рабочие выходили на митинги, слушали пламенные речи, маршировали по улицам, кричали, но не отмечалось даже признаков организации забастовки, потому что не имелось ни желания, ни планов.

В один дождливый день лидеры социализма собрались в небольшом зале «Мэзон дю пепль» («Народного дома»), прекрасном новом здании бельгийского рабочего класса с театром, кабинетами, комнатами для заседаний, кафе и магазинчиками кооперативов<sup>93</sup>. Они уже знали, что Австрия объявила войну Сербии, однако пока ничего не было известно о намерениях других наций. Еще теплилась надежда на то, что рабочие «каким-то образом» восстанут. Каждый делегат ждал, что сосед сообщит новость о величайшем спонтанном народном восстании в своей стране, отвергающем войну. Речь Адлера не содержала никаких намеков на возможность бунта в Австрии. Гаазе, горя нетерпением, сообщил о протестах и массовых митингах в Германии и заверил коллег, что «кайзер не желает войны, не из-за любви к человечеству, а из-за элементарной трусости»: «Он боится последствий». Жорес производил впечатление человека, «потерявшего все надежды на нормальное разрешение ситуации и полагающегося лишь на чудо». Харди выражал уверенность, что британские транспортники объявят забастовку, но его вера нуждалась в подтверждении. Неделей-другой ранее он писал: «Только объединив профсоюзы и социалистическое движение<sup>94</sup>, рабочие добьются положения, когда они смогут контролировать правительства и таким образом покончить с войной». Именно Германия была страной, где происходил такой процесс. Делегаты проговорили весь день, и единственное решение, которое они приняли, касалось переноса даты и места проведения следующего конгресса: теперь он намечался на 9 августа в Париже, и там уже предлагалось продолжить дискуссии.

В тот вечер состоялся массовый митинг в «Королевском цирке» Брюсселя, куда пришли рабочие со всех районов города и предместий. Когда вожди трудящихся собрались на сцене, Жорес стоял, обняв за плечи Гаазе в знак неприятия вражды между Германией и Францией. Когда он говорил, его звучный голос заполнил и, казалось, сотрясал весь зал, а «его тело вибрировало от нахлынувших эмоций и мучительного желания предотвратить надвигавшийся кровавый конфликт». Когда он закончил, толпа, словно гонимая волнами энтузиазма, хлынула на улицы, устроив стихийную манифестацию. У многих были белые карточки с надписью *Guerre à la guerre*<sup>[153]</sup>, демонстранты выкрикивали лозунги и пели «Интернационал».

На следующий день делегаты разъезжались. Жорес, прощаясь с Вандервельде, заверил его: «Это будет как с Агадиром, туда-сюда, но все должно разрешиться. Идемте, у меня несколько часов до поезда. Давайте сходим в музей и посмотрим фламандских примитивистов». Однако Вандервельде уезжал в Лондон, у него не оставалось времени, он не мог пойти в музей и видел Жореса в последний раз. В поезде на пути в Париж уставший Жорес сразу же заснул. Его спутника Жана Лонге, смотревшего на «застывшее прекрасное лицо» спящего Жореса, вдруг охватило тревожное чувство, что он мертв: «Я похолодел от ужаса»<sup>95</sup>. По прибытии тем не менее Жорес проснулся и отправился в палату депутатов, а затем в редакцию «Юманите» написать колонку для утреннего выпуска.

Анжелика Балабанова и еще несколько делегатов, уехавших из Брюсселя другим поездом, наутро завтракали на железнодорожной станции в Базеле, когда на вокзал прибежали двое запыхавшихся товарищей из германского центрального комитета. «Уже нет никаких сомнений — вот-вот начнется война, — сказал один из делегатов, выходявший поговорить с немцами на вокзале. — Они ищут место, где можно сохранить деньги партии». В Берлине в тот день канцлер Бетман-Гольвег<sup>96</sup> заверил прусское государственное министерство в том, что нет никаких оснований «опасаться каких-либо действий со стороны социал-демократической партии» и не замечено «каких-либо разговоров о всеобщей забастовке или саботаже».

В Париже 31 июля, когда Германия предъявила ультиматум России и объявила *Kriegsgefahr* или предварительную мобилизацию, общественность поняла, что Франция на пороге войны. Правительство

непрестанно заседало, германский посол с грозным видом нанес визит в министерство иностранных дел, жизнь в стране словно замерла. Жорес во главе депутации социалистов посетил офис премьера, своего бывшего товарища Вивиани, и вернулся в палату депутатов организовывать и спланировать партийную фракцию. В девять вечера он ушел из редакции «Юманите», охваченный тревожными ожиданиями, чтобы отужинать с группой коллег в кафе «Круассан» на углу улицы Монмартр. Он сидел спиной к открытому окну, когда на улице появился молодой человек, следовавший за ним по пятам со вчерашнего вечера. Преисполненный, как потом утверждалось, чувствами патриотизма, он наставил пистолет на «пацифиста» и «предателя» и произвел два выстрела. Жорес резко осел на одну сторону и повалился вперед на стол. Через пять минут он был мертв<sup>97</sup>.

Весть о покушении разлетелась по Парижу, как пламя огня. Возле ресторана собрались такие толпы, что полиция четверть часа расчищала дорогу для кареты «Скорой помощи». Когда тело убрали, наступила гробовая тишина. Когда «Скорая помощь» с лязгом уехала в сопровождении полицейских на велосипедах, внезапно поднялся невероятный гам и раздались крики, словно стремившиеся опровергнуть факт смерти Жореса: *Jaurès! Jaurès! Vive Jaurès!* Гибель человека, давно ставшего для многих близким другом и наставником, ошеломила, приводила в отчаяние, люди немели от горя, многие не скрывали слез и на улице. «Мое сердце разрывается от боли», – сказал Анатоль Франс, узнав о покушении. Кабинет, информированный во время позднего ночного заседания о смерти Жореса, испытал одновременно и шок, и некий страх. Перед некоторыми членами правительства возникло видение мятежей рабочего класса и гражданской смуты накануне войны. Премьер издал обращение, призывавшее к единству и спокойствию. Войска были приведены в состояние боевой готовности, но наутро ничего трагического не случилось, сохранялась лишь общая гнетущая атмосфера предчувствия беды. В Кармо шахтеры приостановили все работы. «Они срубили могучий дуб», – сказал один из углекопов. В Лейпциге испанский студент-социалист<sup>98</sup>, учившийся в местном университете, лишившись рассудка, бродил по улицам и повторял: «Все приобретает цвет крови».

Вести о смерти Жореса газеты опубликовали в субботу 1 августа. В этот день Германия и Франция провели мобилизацию. К вечеру отряды резервистов со свертками и букетами цветов уже маршировали к железнодорожным вокзалам под восторженные возгласы и приветствия горожан разных сословий. В каждой стране людей охватили в равной мере пылкие чувства энтузиазма и патриотического возбуждения. В Германии 3 августа депутаты-социалисты собрались, чтобы решить проблему голосования о военных кредитах. Еще недавно «Форвёртс» с презрением писала о притворстве оборонительной войны. Теперь правительство заявляло о российской угрозе и французской агрессии. Ревизионист Бернштейн утверждал, что правительство собирается построить «золотой мост» для социалистов<sup>99</sup>, и в подтверждение этого обещания указывал на официальные соболезнования, которые направило министерство иностранных дел в связи с тяжелой утратой – смертью Жореса. Из 111 социалистов-депутатов только четырнадцать, включая Гаазе, Розу Люксембург, Карла Либкнехта и Франца Меринга, оставались в оппозиции, но и они должны были подчиняться воле большинства. На следующий день социал-демократы вместе с остальными членами рейхстага единодушно проголосовали за военные кредиты.

Кайзер провозгласил: «Отныне я не знаю никаких партий, я знаю только немцев». Во Франции господин Дешанель, президент палаты депутатов, произнося хвалебную речь в адрес Жореса, сказал: «Я не вижу здесь больше противников, я вижу только французов». Ни в одном из этих двух парламентов социалисты даже не пытались оспорить патриотические сентенции. Леон Жуо, глава Всеобщей конфедерации профсоюзов, торжественно пообещал: «От имени синдикалистских организаций, от имени всех рабочих, вступивших в полки, и от имени тех, кто, как и я, вступит в них завтра, я заявляю, что мы охотно пойдем на поля сражений и дадим отпор агрессору»<sup>100</sup>. Не прошло и месяца, как Вандервельде вошел в коалиционное правительство военного времени в Бельгии, а Гед стал членом правительства «священного союза» во Франции. Гед – министр! Какие чудеса иногда патриотизм творит с человеком.

В Англии, где угроза национальной безопасности ощущалась в меньшей степени, чем на континенте, Кейр Харди, Рамсей Макдональд и несколько либералов высказались против решений, которые



призывали бы сражаться. В целом же по стране не отмечалось ни диссидентства, ни забастовок, ни протестов, ни проявления каких-либо сомнений и колебаний в отношении того, чтобы взять в руки винтовку и пойти убивать собрата-рабочего другой страны. Когда прозвучал призыв, в рабочем, у которого, по Марксу, нет отечества, пробудилось чувство принадлежности к стране, а не к классу. Он почувствовал себя членом одной национальной семьи, как и все другие. Его антагонизм, который должен был свергать капитализм, избрал более подходящую мишень – чужеземца. Рабочий класс шел на войну с желанием, охотно, как и средний класс, как и высший класс, как особь рода человеческого.

Жореса похоронили 4 августа, в день, когда война приобрела всеобщий характер. Колокол, о котором он вспомнил в Базеле, звонил и по нему, и по всему человечеству: «Взываю к живым, оплакиваю мертвых».

## Послесловие

Последующие четыре года, как писал Грэхем Уоллес, были «временем самых титанических и героических усилий, когда-либо предпринимавшихся родом человеческим»<sup>1</sup>. Когда это время осталось позади, иллюзии и энтузиазм, нередко овладевавший человеком до 1914 года, поглотило море людского горя и отчаяния. Человечество получило тяжелый урок, с болью осознав ограниченность своих возможностей.

«Башня гордыни», возведенная в эпоху великой европейской цивилизации, была грандиозным сооружением, наполненным страстями, богатствами и красотами, среди которых было немало и темных подвалов. У ее обитателей в сравнении с более поздними временами было больше уверенности в себе и собственных силах, больше надежд, в их жизни было больше блеска, экстравагантности и элегантности; они жили беззаботнее, веселее, получали больше удовольствия от общения и разговоров друг с другом; они острее чувствовали несправедливость и лицемерие, несчастье и нужду; они были более эмоциональными, иногда притворно эмоциональными, менее терпимо относились к посредственности, с большим достоинством работали, больше радовались общению с природой; они жили с большим вкусом и интересом. Старый Свет многое растерял с того времени, хотя что-то и приобрел. Оглядываясь назад из 1915 года, Эмиль Верхарн, бельгийский поэт-социалист <sup>2</sup>, посвятил свои страницы: «От всего сердца человеку, которым я был когда-то».

## Примечания

Источники, которые цитируются в примечаниях, не претендуют на системность и всеобъемлющую полноту. Это всего лишь перечень материалов, которыми я воспользовалась, заинтересовавшись ими, поскольку они представляют собой записи личных впечатлений и наблюдений. Легко заметить, что в перечне мало вторичных интерпретирующих материалов. Когда у меня возникала потребность в таких источниках, я обычно пользовалась теми из них, которые по времени были ближе к предмету исследования – не потому, что книга лучше написана, а потому, что содержание больше соответствовало духу времени. Тем не менее многое я почерпнула и у современных историков: из основательной энциклопедии Галеви об Англии, исследований Германии Пинсона и Кона, издания Морисоном писем Рузвельта и превосходных биографий двух самых выдающихся личностей эпохи – Жореса (Голдберг) и Черчилля (Мендельсон). В каждой, помимо описания жизнедеятельности избранных героев, дается подробное представление об эпохе, подкрепленное документами. В такой же мере были полезны жизнеописания Дебса (Джинджер) и Пруста (Пейнтер).

Вряд ли я могла обойтись без специальных исследований Бейтмана о земельных доходах в Англии, социальных репортажей о бедности Джека Лондона и Якоба Риса, очерков Квиллара о людях, вносивших пожертвования на вспомоществование семье полковника Анри. Бесценную помощь мне оказали новеллисты Виктория Сэквилл-Уэст, Анатоль Франс и Пруст в роли социальных историков, а также мемуаристы Блюм и Доде, леди Уорик, сэр Фредерик Понсонби, лорд Эшер, Уилфрид Блант, баронесса фон Зутнер, Стефан Цвейг и в особенности Вандервельде, единственный социалист, ярко описавший личное восприятие своего окружения и правящего класса. Еще более ценными, возможно, были наблюдения индивидов, наделенных необычайно острым психологическим чутьем и даром выражать свои чувства и внезапно открывать в происходящих событиях понятный смысл. Таким был Ромен Роллан, и таким был Мастерман. Хотя Троцкий не занимает центрального места в книге, его высказывание о

сербской пехоте доказывает, что он обладал загадочной способностью улавливать – почти ощущать – историческую особенность момента и выразить ее словами.

Из всех перечисленных источников самым внушительным является 7-томный труд Рейнаха (подробнее о нем говорится в примечаниях к главе 4); самым информированным и блестящим автором я посчитала бы А. Дж. Гардинера; самым поразительным фактом, обнаружившимся при составлении библиографии, можно назвать (если не считать Генри Адамса) полное отсутствие первоклассных мемуаров, написанных американцами.

Стремясь ограничить примечания приемлемыми размерами, я приводила ссылки только для тех утверждений, источники которых не столь очевидны в тексте. Если нет ссылки, то читатель вправе предположить, что описание действия, цитата или утверждение персонажа взяты из его мемуаров или других произведений, упомянутых в библиографии. Например, в главе 4, если читатель пожелает узнать источник утверждения о том, что Леон Блюм и его друг Пьер Луис заняли диаметрально противоположные позиции в отношении дела Дрейфуса и более они никогда не встречались, то он должен найти эти имена в библиографии. Когда гости госпожи Мельбы бросают персики из окон или когда цитируются слова лорда Рибблсдейла о статусе лордов, правомерно предположить, что в обоих случаях источники упоминаются в библиографии. Нередко, как в эпизодах с визитом Штрауса к Шпейеру или с его репликами Бичему, источниками являются мемуаристы, а не главные действующие лица. В целом же, когда не имеется ссылки, имя персонажа, упомянутое в разговоре, переписке или инциденте, является ключевым для установления источника. Хотя этот метод требует, чтобы читатель сам нашел соответствующую страницу, он исключает возможность ошибок, и любой другой подход мог привести к тому, что объем примечаний и ссылок сравнился бы с объемом текста.

Если книга цитируется в нескольких местах, то она упоминается в примечаниях к главе, в которой играет самую заметную роль. *DNB* – *Dictionary of National Biography* (Словарь национальной биографии). *DAB* – американский аналог (Словарь американской биографии). *The Times* – «Таймс», лондонская газета: *NYT, the New York Times* («Нью-

Йорк таймс») – газета, выходящая в Нью-Йорке; звездочкой отмечена сноска, представляющая особый интерес.

### 1. Патриции

1. «Пугающим изобилием талантов и способностей»: Н. Н. Asquith, I, 273, 275.
2. Он называл «нервными бурями»: Kennedy, 353.
3. Домочадцы привычно забрасывали их подушками: Frances Balfour, I, 311.
4. «Бедняга Буллер»: Young, 168; Russell, 54–55.
5. Лошадь – «необходимая, но крайне неудобная принадлежность»: Cecil, I, 176.
6. Как он сказал однажды Дюма-сыну: *The Times*, Aug. 24, 1903.
7. Команду «запрыгивать»: Kennedy, 241.
8. Пипс о садах в Хатфилде: цит. R. Churchill, *Fifteen Homes*, 74.
9. «Прыгайте, черт возьми, миледи, прыгайте!»: *ibid.*, 71.
10. «Различной степенью исключительной глупости»: Cecil, I, 1.
11. Биркенхед о Сесилах: Birkenhead, 177.
12. Цитирование Дизраэли: Mackintosh, 50–51.
13. «Черномазым»: *ibid.*
14. Морли, «какая-нибудь резкость»: цит. Н. Н. Asquith, II, 277.
15. «Каждая фраза»: Ribblesdale, 173.
16. «А я думал, что он уже умер»: *National Review*, “Lord Salisbury: His Wit and Humor”, Nov. 1931, 659–68.
17. «Когда же все это закончится?»: Carpenter, 237.
18. Коллеги на передней скамье жаловались: Cecil, III, 177.
19. «Немного подравнять здесь и здесь»: Ribblesdale, 174.
20. Лорда Солсбери обожали коллеги... «способствовало достижению согласия»: Hicks-Beach, цит. Cecil, III, 178.
21. «Думаю, я их всех положил на лопатки»: *National Review*, *op. cit.* 665.
22. Гладстон о «джентльмене – душе частного общества»: Mackintosh, 50–51.
23. «Включая и палату общин»: Lucy, *Eight Parliaments*, 114.
24. Цитирование королевы Виктории: Carpenter, 236.

25. «Всегда было тяжело стоять на ногах»: F. Ponsonby, 67.
26. «О-о! Думаю, он справится с обязанностями не хуже»: Benson, 164.
27. «Месиво из недружественных и вздорных фрагментов»: *Quarterly Review*, Oct. 1883, 575.
28. Статьи в *Quarterly Review*. Здесь и в следующих параграфах цитирование Сесила: Cecil, I, 149, 157—60, 196.
29. Речь в палате общин, осуждающая политику лидеров партии лорда Дерби и господина Дизраэли, 5 июля 1867 года: *Hansard*, 3<sup>rd</sup> Series, Vol. 188, 1097 ff.
30. «Жестко и въедливо»: Gardiner, *Prophets*, 150.
31. «Титул, лишенный реальной власти»: Cecil, II, 5.
32. Цитирование Керзона: Ronaldshay, I, 282.
33. «Комфортно и в полной безопасности»: Buchan, 75.
34. Герцог Девонширский о бюджете Харкорта: *Annual Register*, 1894, 121.
35. «Этим вирусом, занесенным господином Гладстоном в нашу политическую жизнь»: *The Times*, July 17, 1895, редакционная статья.
36. «Доминирующие факторы влияния»: цитируется Магнус: Magnus, *Gladstone*, 433.
37. Выучил персидский язык: Nicolson, 246.
38. «Этими чертовыми козявками»: Leslie, 30—31.
39. «Прислужника высшего класса»: Т. Р. О'Коннор, цит. R. Churchill, *Derby*, 45.
40. «Скаги»: Willoughby de Broke, 133.
41. Сбежав туда из-за поддельного чека: Young, 11.
42. Не устоял и написал его портрет: Mount, 418.
43. “*Ce grand diable*”: Ribblesdale, xvii.
44. «Боги и богини покинули свой Олимп и хлынули в Англию»: Clermont-Tonnerre (Chap. 4), I, 175.
45. «Божественно высокой и статной женщиной»: E. Hamilton, 7.
46. Джентльмены, вздыхая, говорили друг другу: Sackville-West, 122.
47. «Богемами тиар»: Benson, 157.
48. Принц Уэльский Черчиллю об описании и языке: W. Churchill, 155.
49. «Поэтому я буду называть вас духами»: цит. Nevins, 81.

50. С двойным комплектом бровей: Melba, 226.
51. «Я не люблю поэтов»: Wyndham, I, 67.
52. «Фатальное потворство своим слабостям»: Margot Asquith, цит. Nevins, 81.
53. Мнение детектива: Fitzroy, II, 463.
54. «Блистательное и могущественное сообщество»: W. Churchill, 9.
55. «Близко знали друг друга не только по Вестминстеру»: Willoughby de Broke, 180.
56. Достойное место на государственной службе: Newton, Lansdowne, 6.
57. «Нескончаемые обеды в компании лучших парней в мире»: Willoughby de Broke, 30.
58. «Впитывать дух естественного превосходства»: Leslie, 43.
59. «Скорее всего, он не джентльмен, бедняга»: Marsh, 183.
60. «Рожденные в сапогах со шпорами»: Gardiner, *Prophets*, 214.
61. Когда «я смотрел на жизнь из седла»: Warwick, *Discretions*, 78.
62. Телеграмма от Чонси Депью: Robert Rhodes James, *Rosebery*, London, 1963, 355.
63. «Даже полицейские, размахивая шлемами, орали до хрипоты»: Lee, II, 421.
64. «Великолепные, быстроногие и стильные»: Sitwell, *Left Hand*, 154.
65. «Карету пришлось вернуть домой, ибо лошади устали»: Raverat, 178.
66. Сонет Уилфрида Скоуэна Бланта: “On St. Valentine’s Day”.
67. Капеллан герцога Ратленда: Cooper, 20.
68. Сквайр Чаплин на охоте: Lambton, 133; Londonderry, 227, 240.
69. Они «отличались самоуверенностью»: Sitwell, *Great Morning*, 10, 121—22.
70. Полковник Брабазон из 10-го гусарского полка: W. Churchill, 67; свидетельство: Esher, I, 362.
71. Статистика: Bateman, *passim*.
72. «Черта бедности»: установлена Б. С. Раунтри на уровне 21 шиллинга 8 пенсов для семьи из пяти человек. Из исследования «Бедность. Исследование жизни в городе (*Poverty, A Study of Town Life*, 1901).

73. Атлас «*Eau de Nil*»: Warwick, 230.
74. «Отп-вавьте д-вугой»: W. Churchill, 68.
75. «Жалкое сборище бездомных и опустившихся бедолаг»: A. Ponsonby, *Camel*, 12.
76. Киплинг о раздувании шовинистических настроений: *American Notes* (Chap. 3), 45.
77. «Всегда знал, чего хочет, и решения принимал моментально»: Whyte (Chap. 5), II, 115.
78. Микроскопическими выигрышами: *Monthly Review*, Oct. 1903, “Lord Salisbury”, 8.
79. Новеллист Морли Робертс: цитируется Пек (Peck, Chap. 3), 428.
80. «Зримо отобразились на лице»: Hyndman (Chap. 7), 349.
81. «Я столкнулся с проблемой», – признавался с грустью Уайльд Мору Эйди: *Letters*, 685, Nov. 27, 1897.
82. Лорд Артур Сомерсет: Magnus, *Edward VII*, 214—15.
83. Суинборн «не годился абсолютно»: H. Ponsonby, 274.
84. «Присоединяйтесь к нему»: Hyndman, (Chap. 7), 349.
85. «Я и не подумаю их исправлять. Они даны мне свыше»: Marsh, 2.
86. Остин о немцах и Альфреде Великом: Adams, 76, n. 3.
87. Солсбери о поэме Остина: Victoria, *Letters*, 24.
88. Цитирование американца: Lowell, II, 507.
89. Юбилейное пожелание Остина: Blunt, I, 280.
90. Лорд Ньютон о лордах: *Retrospection*, 101.
91. Сетование Роузбери: Crewe, 462.
92. «Из принципа противился любым переменам в одеянии»: Newton, *Lansdowne*, 361; «развеселый цинизм»: Gardiner, *Prophets*, 197; клуб «Карлтон»: Wilson-Fox, 122; лорд Коулридж: *ibid.*, 124.
93. «Инстинкт управления»: Halévy, V, 23, n. 2.
94. «Самый первостатейный джентльмен эпохи»: Newton, *Lansdowne*, 506.
95. «Новое осознание долга перед государством»: Holland, II, 146. Из этого источника заимствованы и все другие высказывания, касающиеся герцога.
96. «Слишком спокойно ко всему относился»: H. Ponsonby, 265.
97. «Как все это чертовски скучно»: Mackintosh, 113.



98. «Одна из самых очаровательных женщин Европы»: F. Hamilton, 201.

99. «На его лице не было даже намека на замешательство»: F. Ponsonby, 52.

100. «Наследственная инстинктивная тяга к управлению делами государственной важности», «обостренное чувство долга»: Esher, I, 126.

101. «Он всегда терял их и покупал новые»: H. Ponsonby, 265 n.

102. Во время репетиции коронации короля Эдуарда II в 1902 году: Lucy, *Diary*, 193.

103. «Уинстон, вы нервничаете?» R. Churchill, *Fifteen Homes*, 105.

104. «Душа компании...»: F. Ponsonby, 294.

105. Мнение редактора издания «Спектейтор» и другие цитаты: Strachey, 406, 398; Holland, II, 211, n. 1; *The Times*, Mar. 25, 1908.

106. «Пойдите и передайте ему, что он свинья»: Mackintosh, 91.

107. «Отстаивать интересы графств на первых всеобщих выборах»: сэр Джордж Отто Тревелиян, цит. A. Ponsonby, *Decline*, 101.

108. О Лонге и Чаплине: Gardiner, *Pillars*, 217; *Prophets*, 212.

109. «Спокойная и неистребимая убежденность в превосходстве правящего класса»: Gardiner, *Prophets*, 213.

110. «Как я выступил, Артур?»: Londonderry, 171.

111. «Можно ли сидеть на лопатках»: цит. Young, 100.

112. «Необычайно острый ум»: Chamberlain, 206.

113. Уильям Джеймс, письмо от 26 апреля 1895 года: *The Letters of William James*, ed. H. James, Boston, 1920.

114. «Боже мой... какая пропасть»: Баттерси, дневниковая запись от 6 сентября 1895 года.

115. «Очаровательный наклон головы»: Margot Asquith, I, 166.

116. «Нет, это исключено»: Margot Asquith, I, 162.

117. Дарвин о Фрэнке Бальфуре: Young, 8.

118. Кембриджские друзья: Esher, I, 182; светские друзья: Russell, 63.

119. Бальфур об иудаизме Ветхого Завета: Dugdale, I, 324.

120. Обед у Гарри Каста: Bennett, I, 287.

121. Поздравление Дейси Уайт, жены первого секретаря американского посольства: Nevins, 81.

122. «Неплохой малый»: Frances Balfour, II, 376; «любопытный взгляд на вещи»: *ibid.*, II, 93.

123. «Природная упругость юности»: *ibid.*; «свежесть, ясность и оптимизм»: Fitzroy, I, 28.

124. Рэндольф Черчилль: *Life of Lord Randolph Churchill*, by Winston Churchill, II, 459—60.

125. Бальфур о социализме: цит. Halévy, V, 231.

126. «Что такое “профсоюз”?» Lucy Masterman (Chap. 7), 61.

127. «Мой дядя был тори»: Margot Asquith, I, 154.

128. «Безнравственность»: Blunt, II, 278.

129. «Непреклонный, как Кромвель»: Young, 105.

130. Морли, его решительность «врагов застала врасплох»: цит. Russell, 66.

131. «Еще не встречал более мужественного человека»: Blunt, II, 278.

132. «Изобретательно и хитроумно, добродушно подшучивая над оппонентами»: Morley, I, 225—27.

133. «Стал бы полоумным»: цит. Buchan, 156.

134. Эффект «шрапнели»: Andrew White (Chap. 5), II, 430.

135. «Но когда нервы на пределе»: цит. Morley, I, 227.

136. «Эта чертова шотландская забава»: Lyttelton, 204.

137. Ответ Бальфура леди Рейли: Fitzroy, II, 491; Бальфур обаял фрейла Вагнер: Esher, I, 312.

138. «Кипучая энергия Артура»: *ibid.*, 340.

139. «Он не читает даже газет, вы же знаете»: Whyte (Chap. 5), II, 120.

140. Принц не удостоивал Бальфура своим вниманием: Halévy, VI, 231.

141. Королева Виктория... обожала его: F. Ponsonby, 69.

142. На нее произвели большое впечатление: *Journal*, Sept. 11, 1896, Victoria, 74.

143. Слова Селесты, горничной Пруста: Havelock Ellis (Chap. 4), 377.

144. «Я была очень растрогана и благодарна»: Hector Bolitho, *Reign of Queen Victoria*, 366.

145. Редьярд Киплинг, «оптимизмом, который меня напугал»: Kipling, 147.

146. Сэр Эдвард Кларк, «самая выдающаяся поэма современности»: Amy Cruse, *After the Victorians*, London, 1938, 123.
147. «Война Джо»: Kennedy, 315.
148. Солсбери о Чемберлене: Dugdale, I, 67.
149. Бальфур – леди Эльхо: Young, 129.
150. Включая трех герцогинь: Frances Balfour, II, 211.
151. «Разница между Джо и мною»: Julian Amery, *Life of Joseph Chamberlain*, IV, 464.
152. «С этим нам надо определиться»: Adams, 78.
153. Герцог Аргайл: Frances Balfour, II, 318.
154. Солсбери германскому послу, депеша Хацфельда в министерство иностранных дел от 31 июля 1900 года: *Grosse Politik* (Chap. 5), XVI, 76.
155. Леди Солсбери: Frances Balfour, II, 290.
156. Парижская газета «Тан» об отставке лорда Солсбери: цит. *The Times*, July 15, 1902.
157. «Немедля сходите, сэр Джеймс, к адмиралу»: Blunt, I, 366.

## 2. Идеи и деяния

В примечаниях к этой главе я не сочла необходимым давать сноски для каждого инцидента или цитаты, поскольку они легко объединяются в понятные всем группы источников, например:

В описании бедности я полагалась в основном на сведения Рииса, Лондона, Хантера и Чиоззы Мани (глава 1). Для понимания идей, теорий и заявлений анархистов особенно полезен был труд Поля Эльцбахера. Все цитаты, касающиеся французского анархизма, если не имеется иных ссылок, заимствованы у Метрона и Малато (одного из видных французских анархистов того времени), а также из описаний Вицетелли и журнала «Крапуйо». В изображении деятельности Эммы Гольдман и Александра Беркмана главными источниками были их собственные мемуары. Описание деятельности Иоганна Моста основано на главе, посвященной ему в «Апостолах» Номада. Цитаты об испанском анархизме заимствованы главным образом из американской прессы той эпохи. История Чолгоша изложена на основе повествования Чэннинга. В описании анархизма в России я полагалась

на информацию Савинкова (члена боевой организации) и Николаевского (их свидетельства были настолько увлекательными, что мой первый вариант о русских анархистах пришлось сокращать до одной пятой первоначального размера).

Отдельно отмечены факты и цитаты, выходящие за рамки вышеизложенных замечаний, но нуждающиеся в указании источников.

1. «Иллюзорная мечта разувверившихся романтиков»: *Nomad, Rebels*, 13.

2. Прудон, «всякий, кто пытается возложить на меня руку и управлять мною»: из его «Исповеди революционера». «Управляться – это значит подвергаться надзору» – из *Idée générale de la révolution au vingtième siècle* («Общей идеи революции XX века», эпилог).

3. «Абстрактная идея правоты»: по мнению Бакунина, эта мысль была отправным пунктом в теории Прудона, *Nomad, Apostles*, 15.

4. «Их сила будет несокрушимой»: Eltzbacher, 138.

5. «Мы остались без масс»: *Nomad, Apostles*, 205.

6. Монарха убили «помещики, желая вернуть свои земли»; революционное движение, «раздавленное и деморализованное, ушло в подполье»: Kerensky, 44–45.

7. Генри Джеймс, «зловещее нарастание боли, силы и ненависти анархического подполья»: из предисловия к повести «Княгиня Казамассима» об анархистах, опубликованной в 1886 году. Полагают, что прообразом невидимого лидера анархистов Хоффендаля послужил Иоганн Мост. Другим примером разработки этой темы может служить довольно скучная история Джозефа Конрада «Анархист», опубликованная журналом «Харперс уикли» в августе 1906 года и изображавшая анархистов людьми с «горячими сердцами, но слабоумными». За ней в 1907 году последовала повесть «Тайный агент» о заговорщиках. Ни Джеймса, ни Конрада не интересовали социальные корни философии анархизма.

8. Цитирование Аугуста Шписа: David, 332—39.

9. «Чего я хочу? Судного дня!» Историю рассказал Роберт Блатчфорд, цит. London, 298.

10. «Что есть собственность?» – второй трактат, *Qu'est ce que la propriété?* 1840.

11. Они ненавидели «всех мучителей человечества»: *Dieu et l'Etat*, 2<sup>nd</sup> ed., 1892, 11.

12. Одна работница спичечной фабрики, растившая четверых детей, выбросилась из окна... молодой человек, пытавшийся утонуть в реке: Riis, 47; London, 205—07.

13. «Восемь часов работы на хозяина»: Maitron, 186.

14. Английский журналист Генри Невинсон о Кропоткине: *Changes and Chances* (Chap. 1), 125.

15. Бернард Шоу о Кропоткине: Woodcock, 225.

16. «Галопирующий распад» государств: *Paroles*, 8—10.

17. «Сдерживается теми, кто заинтересован в сохранении существующих порядков»: *Paroles*, 275—76.

18. Поль Брусс, «идея вдохновляет»: *Crapouillot*, 15.

19. «Пропаганда устным и письменным словом, кинжалом, ружьем и динамитом»: *ibid.*, 15.

20. «Людам мужественным, готовым не только выступать с речами, но и действовать»: *Paroles*, 285.

21. «Одно практическое деяние»: *ibid.*, 285.

22. Мартовский выпуск «Револьт» 1891 года: Maitron, 240.

23. Спор Кропоткина с Беном Тиллетом и Томом Манном: Ford (Chap. 1), 110.

24. О проектах царства анархии: Kropotkin, *Revolutionary Studies, Conquest of Bread, l'Anarchie dans l'évolution social*. Malatesta, *Talk Between Two Workers*.

25. Бернард Шоу: трактат № 45, прочитан обществу 16 октября 1891 года, опубликован в июле 1893 года.

26. Обед в Королевском географическом обществе: Woodcock, 227.

27. Элизе Реклю, «неотразимый магнетизм»: Vandervelde (Chap. 8), 37.

28. Жан Грав, «неприметный, молчаливый, но неугомонный» человек: Malato, 316.

29. Приключения Малатесты: Nomad, *Rebels*, 1—47.

30. Всегда... готовый «возобновить борьбу с той же любовью к человеку, с тем же презрением к врагам и тюремщикам»: Ishill, *Kropotkin*, 40.

31. «Все ждут рождения нового порядка вещей»: *ibid.*, 9.

32. «Засияет в своем нравственном величии»: Victor Serge, *Crapouillot*, 5.

33. Чье имя... символизировало «бунт и ненависть»: Malato, 317.

34. Кропоткин и Малатеста осудили поступок Равашоля: *La Révolte*, Nos. 17, 18, Jan. 1892; *l'En Dehors*, Aug. 28, 1892; Maitron, 204, 221.

35. «Борджиа в миниатюре»: Nomad, *Rebels*, 26.

36. Покушение на Фрика: Harvey, Frick; *Harper's Weekly*, Aug. 6, 1892.

37. Губернатор Джон П. Альтгельд из Иллинойса помиловал троих узников Хеймаркета: Barnard, 217, 246; *NYT*, June 28, 1893.

38. «Мадрид печален...»: Pilar, 50.

39. Покушение анархиста по имени Пальяс на генерала Мартинеса де Кампоса: Creux, 295—96; *Crapouillot*; *NYT*, Sept. 25, 30, 1893.

40. Взрыв бомб в оперном театре Барселоны: *NYT*, Nov. 9, Dec. 20, 1893, Jan. 3, 1894.

41. Казни и пытки в крепости-тюрьме Монжуик: Brenan, 168, n. 1.

42. Асквит и Бальфур об анархизме: *Spectator*, Nov. 18, 1893, 706, Dec. 2, 791; *NYT*, Nov. 11, 1893.

43. «Буквально парализован страхом»: Ford (Chap. 1), 107.

44. Поэт Лоран Тайад, «Блаженные времена»: Nomad, *Apostles*, 11.

45. Октав Мирбо увлекся анархизмом: Daudet (Chap. 4), 70.

46. «Его идеей фикс было построение мира без нищеты»: Suttner (Chap. 5), I, 313.

47. Президент Франции в грязной пижаме: *Père Peinard*, July 4, 1897.

48. Себастьян Фор, «благозвучный и ласковый» голос: Malato, 316.

49. “*Qu’importe les victimes si le geste est beau?*” («Разве имеют значение жертвы, если совершается прекрасный поступок?»). Цит. Maitron, 217. Нередко цитируется следующим образом: *Qu’importes les vagues humanités pourvu que le geste soit beau?* («Разве имеют значение человеческие жизни, если совершается прекрасный поступок?»)

50. Герцогиня д’Юзес: Maitron, 215.

51. Клемансо о казни Анри: *La Justice*, May 23, 1894; цит. Maitron, 226.

52. Судебный процесс над тридцатью наиболее известными анархистами, Феликс Фенеон: *Roman* (Chap. 4), 59, 95.

53. «Всякая революция заканчивается порождением нового правящего класса»: *Nomad, Apostles*, 6.

54. Бомба в день празднования Тела Христова: *NYT*, June 9, Nov. 25, Dec. 2, 22, 1896.

55. В 1895 году Кановас в пятый раз стал премьер-министром: *Pilar*, 40; *Millis* (Chap. 3), 80–81; *Nation*, Aug. 12, 1897; *Review of Reviews*, Nov. 1897.

56. Записка заключенного крепости-тюрьмы Монжуик: *Crapouillot*.

57. Настоящее имя Микеле Анджиоллило: *Creux*, 301—15; *Nomad, Rebels*, 23.

58. Елизавета, императрица Австрийская, и Луиджи Лукени: *Corti*, 456—93.

59. Планы покушения на кайзера: *Spectator*, Oct. 22, 1898; *NYT*, Oct, 15/16, 1898.

60. Бакунин – немцы не годились в анархисты: *Nomad, Apostles*, 169, n. 5.

61. Международная конференция полиции: *Maitron; Vizetelly*, 238.

62. Король Умберто и Гаэтано Бреши: *Outlook*, Aug. 10, 1900; *Harper's Weekly*, Aug. 1900; *NYT*, Aug. 3, 1900; *Review of Reviews*, Sept. 1900, 316—22.

63. Чолгош и Уолтер Чэннинг, профессор-психиатр из Тафтса: *Nomad, Apostles*, 298—99; *NYT*, Sept. 9, 1901.

64. Цитаты из «Харперс уикли» и «Сенчури мэгэзин»: *Harper's Weekly*, Dec. 23, 1893, Aug. 28, 1897. The Assassination of Presidents, J. M. Buckley, *Century*, Nov. 1901.

65. Теодор Рузвельт об анархизме: *NYT*, Dec. 5, 1901.

66. «Блэквуд», солидный британский журнал: *Blackwood's*, July 1906, о покушении на короля Альфонсо.

67. Лиман Аббот: *Outlook*, Fev. 22, 1902.

68. Покушение на Хосе Каналехаса: *Literary Digest*, Nov. 23, 1912; *Living Age*, Dec. 12, 1912.

69. Ненависть испанских анархистов к своему обществу и государству, как писал Шоу, «перехлестывала через край»:

предисловие к «Майору Барбаре», июнь 1906 года, о покушении на короля Альфонсо.

70. Социалисты-революционеры в России: сведения Савинкова и Николаевского дополняются комментариями Шарка, Милюкова, Керенского.

71. Плеве – «мы должны утопить революцию в еврейской крови»: Miliukov, 1056.

72. Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы, «особенно ненавидели за свирепую жестокость»: Nevinson.

73. «Бесформенные груды частей тела и обрывков размером восемь-десять дюймов»: Savinkov, 106—7.

74. Царь и зять на софе: Bülow (Charp. 5), II, 178.

### **3. Конец мечте**

Имеются две пространные биографии Рида: Самьюэла Маккола, служившего с ним в конгрессе, а затем ставшего губернатором Массачусетса, и профессора Робинсона.

Все биографические факты, анекдоты и цитаты, касающиеся Рида, заимствованы из описаний Лоджа, Макколла или Робинсона, если отсутствуют другие указания. Все цитаты Рузвельта взяты из собрания его писем, изданного Морисоном, с указанием томов, страниц и дат.

1. Большое пухлое чисто выбритое детское лицо: De Casseres. Дальнейшие цитаты в этом параграфе: Clark, I, 287; Leupp; McCall, 248; Dunn, I, 165; Foulke, 110; Porter. «Самым популярным полемистом» назвал его Джон Шарп Уилльямс, вождь демократов в палате представителей, Лодж – «величайшим парламентским лидером», а Кларк – «самым блистательным американским политиком».

2. Генри Адамс о своем брате Джоне: Sept. 1, 1894, *Letters*, II, 55.

3. Джеймс Брайс, «Апатия классов роскоши и утонченного ума»: III, 326—28.

4. Льюис Моррис – «К черту последствия!» *Biographical Sketches of the Four Signers from New York, Americana*, Aug. 1914, 627.



5. «Фрегат среди утлых яликов», «любая улица узка!»: Day.
6. «Изощренный орган», предназначенный для «обструкции законотворчества»: Фрай, член палаты представителей от штата Мэн.
7. «Вся мудрость человека...»: Clark, I, 286.
8. Даже демократы признавались в том, что «тайком» отдавали ему свои голоса: Porter.
9. Популярность Пальмерстона: Peck, 276.
10. Сенатор Чот: Barry, 142.
11. О Бальзаке: Porter.
12. «Мы пригласили Рида к обеду»: Lodge, *Corres.* I, 77, 120.
13. «Теодор, больше всего я уважаю вас за то, что вы открыли для нас Десять Заповедей»: George Stimpson, *A Book About American Politics*, New York, 1952, 342.
14. «Теодор никогда не станет президентом...»: Leupp.
15. «Амбициозный, как Люцифер»: Cullom, 243.
16. Превращается в «тиранию»: Dunn, I, 35.
17. «Самое большое человеческое лицо»: Clark, I, 126.
18. «Спикер приказывает клерку...»: все ремарки спикера и членов палаты представителей относительно кворума приведены по тексту протоколов первой сессии 51-го конгресса, *Congressional Record*, 51<sup>st</sup> Congress, First Session.
19. «Невероятное столпотворение»: Dunn, I, 27. Ремарки репортеров и других очевидцев по поводу кворума: Dunn, I, 24–32; Peck, 200–202; Fuller, 219—21. «Нью-Йорк таймс» посвятила истории с кворумом четыре колонки на первой полосе 30 и 31 января.
20. «Правила Рида»: Fuller, 228.
21. Теодор Рузвельт о реформе Рида: *Forum*, Dec. 1895.
22. «Зеленая хурма»: Mount (Chap. 1), 192. Сардженту нелегко удавался этот портрет, и первый вариант он уничтожил. «Его внешний вид не соответствует внутреннему содержанию. И как быть тогда художнику?.. Я мог создать лучшее изображение менее выдающегося человека. Он был восхитителен». Рид заявлял, что портрет ему понравился. «Конечно, я должен признать, что изображение не столь превосходно, как оригинал». Портрет теперь находится в лобби спикера в Капитолии. Поскольку он не отражает в полной мере личность Рида, автор решила не воспроизводить его в книге.
23. «Они могут поступить еще дурнее»: Brownson.

24. «Айсберг Белого дома»: Platt, 215.
25. «Палата благоразумнее любого депутата»: Alexander, 27.
26. «Заняться освоением и внешнего пространства»: The United States Looking Outward, Dec. 1890.
27. «Осознание своих внешних интересов»: Puleston, 133. Все последующие биографические факты, анекдоты и цитаты, относящиеся к Мэхэну, заимствованы у Пулестона, если нет иных указаний.
28. «Не вздумайте сказать об этом Гроверу»: Clark, I, 281—82.
29. Рузвельт прочел труд «от корки до корки»: May 12, 1890, *Letters*, I, 221.
30. «Господство на море как исторический фактор никогда не принималось в расчет и системно не изучалось»: Mahan, *From Sail to Steam*, 276—77.
31. Кайзер о Мэхэне: Taylor, 131.
32. Морской министр в администрации Кливленда Уильям Уайт: Fuller, 211.
33. Мэхэн о евреях: *From Sail to Steam*.
34. Лодж, «искренность чувств и неопровержимость доводов»: Garraty, 52.
35. Комментарии сенаторов Моргана, Фрая и Каллома: Millis, 29.
36. В клубе «Юнион лиг»: *NYT*, Dec. 18, 1895.
37. «Называть их адмиралами? Никогда!» Taylor, 12.
38. «Верховенствующее влияние на общественную мысль»: Godkin, I, 221.
39. Джеймс Рассел Лоуэлл о журнале Годкина «Нейшн»: Godkin, I, 251; Джеймс Брайс о газете «Ивнинг пост»: *ibid.*; мнение губернатора Нью-Йорка Хилла: Villard, 123.
40. Годкин о Соединенных Штатах в 1895 году: *Life and Letters*, II, 187, 202.
41. Уильям Джеймс, профессор философии Гарварда, о боевом духе Фредерику Майерсу 1 января 1896 года: Perry, 244.
42. «Аплодисменты жестокости»: *NYT*, Dec. 30, 1895.
43. Нортон, «изысканная мягкость манер»: Daniel Gregory Mason, “At Home in the Nineties”, *New England Quarterly Review*, Mar., 1936, 64.
44. Студенты о Нортоне: William D. Orcutt, *Celebrities on Parade*, 41; Josephine Preston Peabody, *Diary and Letters*, 73.

45. Нортон Годкину и английскому другу: Vanderbilt, 211; Нортон – Лесли Стефен 8 января 1896 года: *Letters*, II, 236.

46. Адамс, «упадок» и «мертвечина *fin de siècle...*»: *the Education*, 331. Дальнейшие цитаты в этом параграфе из сборника писем *Letters*, Vol. II в нижеследующем порядке: Sept. 9, 1894, 55; Aug. 3, 1896, 114; Apr. 1, 1896, 103; Apr. 25, 1895, 68; July 31, 1896, 111; Feb. 17, 1896, 99; Sept. 25, 1895, 88.

47. «Как интересно жить в наше время»: письмо С. Дж. Уорду от 26 апреля 1896 года, *Letters*, II, 244.

48. «Царь повелевает опустить эти флаги перемирия»: Fuller, 238.

49. Аура «безмятежной величавости»: Powers.

50. Чтение поэмы «Касыда» сэра Ричарда Бёртона: Stealey, 413.

51. «Экспансионистскую политику республиканцы должны не только осуждать, но и отвергать»: Knight.

52. Рузвельт о кампании Рида: Oct. 18, 1895; Dec. 27, 1895; Jan. 26, 1896.

53. Кампания Рида: Robinson, 326—34; Griffin, 344; Platt, 313.

54. Генри Адамс о Риде в письме Бруксу Адамсу, 7 февраля 1896 года: *Letters*, II, 96.

55. «Шоколадный эклер»: Robinson, 362. Робинсон приписывает эти слова Риду. Kohlsaat, 77 считает, что они принадлежат Рузвельту, и, по мнению Пека (Peck), Рузвельт часто употреблял их, хотя это вовсе не исключает авторства Рида. Я вижу в них стиль живописной фразеологии Рида.

56. Рузвельт – Риду: McCall, 228; Рузвельт – Лоджу: Mar. 13, 1896.

57. «Одним словом, мой дорогой мальчик»: Pringle, 159.

58. Губернатор Альтгельд – Кларенсу Дарроу: Ginger (Chap. 8), 188.

59. «Последний заводской гудок»: *ibid.*, 191.

60. «Эра Марка Ханны»: Norman Hargood, *The Advancing Hour*, 1920, 76–77.

61. «Что продает газету?»... «Война»: Кеннеди Джонс, цит. Halévy (Chap. 1), V, 9.

62. Речь Элиота в Вашингтоне: *New York Evening Post*, May 18, 1896.

63. «Дегенеративные сыны Гарварда»: Рузвельт – Лоджу, 29 апреля 1896 года.

64. Элиот был бесспорным авторитетом. В дополнение к биографии Джеймса использовались также нижеследующие источники:

Brown, Rollo Walter, *Harvard Yard in the Golden Age*, New York, 1948.

Howe, M. A. DeWolfe, *Classic Shades*, Boston, 1928.

Morison, Samuel Eliot, *Three Centuries of Harvard*, Harvard Univ. Press, 1937.

Sedgewick, Ellery, *The Happy Profession*, Boston, 1946.

65. «Элиза, и ты опускаешься на колени?»: James, I, 33–34; Элиота «не понимали»: Morison, 358; «меня не покидало чувство, что я обращаюсь к враждебной аудитории»: Brown, 27; «спина гребца»: Sedgewick, 371—72; «благородная внешность»: Howe, 185; «сочетание джентльмена и демократа»: *ibid.*; «он же делал вид, что бросает мяч в одном направлении, а бросал его – В ДРУГОМ!» – James, II, 69; «самый выдающийся гражданин»: *ibid.*; «эмблема триумфа над превратностями жизни»: Sedgewick, 371—72.

66. «Если нам не удастся стать подлинной нацией»: Apr. 29, 1896.

67. Военно-морской министр Джон Лонг о Рузвельте: Bishop, I, 71; Лодж о Рузвельте, 8 марта 1897 года: *ibid.*

68. С. С. Макклур – соредактору: Lyon, 148; он же – Уолтеру Хайнсу Пейджу: *ibid.*, 167.

69. «Не делайте ничего несправедливого»: Puleston, 182; ответ Рузвельта: May 3, 1897.

70. Визит Карла Шурца к Мак-Кинли: Fuess, 350.

71. «Спектейтор» о договоре: June 19, 1897.

72. «Империя может подождать»: *Illustrated American*, Dec. 1897.

73. Джеймс Брайс в «Форуме», декабрь 1897 года: *The Policy of Annexation for America*.

74. «Эти далекие и потрепанные штормами корабли»: из книги Мэхэна «Влияние морской мощи на Французскую революцию» (*Influence of Sea Power on the French Revolution*).

75. Рид о позиции сенатора Проктора: Dunn, I, 234.

76. «Публика почувствовала вкус к империи»: Morison and Commager, *Growth of the American Republic*, II, 324.

77. «Остановить песчаную бурю!»: *NYT*, Apr. 7, 1898.

78. Рузвельт – Мэхэну: Mar. 21, 1898.

79. Господин Дули о Филиппинах: Dunne, 43. Когда господин Дули спросил Хиннисси, может ли он сказать, где находятся Филиппины, Хиннисси, представлявший общественное мнение, ответил: «Возможно, я и не смогу этого сделать, но я всецело за то, чтобы их захватить». Сам господин Дули не был в этом столь уверен: «Война идет, и, подсчитывая доходы, я думаю, надо ли мне аннексировать Кубу или лучше оставить ее кубинцам? Надо ли брать Пуэрто-Рико или не трогать? И что делать с Филиппинами? О, что же мне делать с ними?» (*Ibid.*, 46–47)

80. Мак-Кинли о Филиппинах: Kohlsaat, 68.

81. Лодж, «Нам ни при каких обстоятельствах нельзя отказываться от островов...»: Генри Уайту 4 мая 1898 года, Nevins (Chap. 1), 136.

82. «Вынуждает нас выбрасывать за борт...»: текст речи в сборнике писем, *Letters*, II, 261—69. Предлагал линчевать Нортон Томас Дж. Гарган.

83. Антиимпериалистическая лига: Lanzar, Harrington, Howe, Fuess.

84. «Самый отвратительный бизнес»: *Mark Twain-Howells Letters*, Harvard Univ. Press, 1960, II, 673, п. 4. См. также статью Марка Твена «Человеку, сидящему в темноте» – *To the Person Sitting in Darkness*, *North American Review*, Feb. 1901.

85. Годкин о «подневольном менталитете невежественных и неполноценных рас»: Mar. 24, 1898, 216.

86. Карл Шурц использовал аналогичные аргументы: Schurz, 441.

87. Речи Альберта Бевериджа: Bowers, 68–70, 76; Storey, 38; W. E. Leuchtenberg, *Progressivism and Imperialism*, 1898–1916, *Miss. Valley Hist. Rev.*, Dec. 1952.

88. «Мы ве-е-ликая нация...»: Dunne, 9.

89. Теодор Рузвельт, «все мои силы и старания ни к чему не приведут»: Mar. 29, 1898.

90. Беверидж о Риде Джорджу Перкинсу 31 мая 1898 года: Bowers, 71.

91. «Оппозиция исходит исключительно от Рида»: May 31, 1898, Lodge, *Corres.*, I, 302.

92. Риду нужна помощь Кларка: Dunn, I, 289.

93. Лодж, «мы стали одной из великих держав мира», в письме Генри Уайту 12 августа 1898 года: Nevins, *White*, 137.

94. «Жизнерадостная юность» и *Deus Vult!*: Puleston, 201.
95. Шурц, «великая нейтральная держава»: Fuess, 354.
96. Конференция в Саратогe: *NYT*, Aug. 20, 1898.
97. Эндрю Карнеги, «вместе спасти республику»: Harvey, *Gompers*, (Чap. 8), 89–90.
98. «Положение Риды безотрадное»: Dec. 20, 1898, Lodge, *Corres.*, I, 370.
99. Брайан и договор: Dunn, I, 283; Hoar, I, 197; II, 110; Pettigrew, 206. О позиции республиканцев: W. S. Holt, *Treates Defeated by the Senate*, John Hopkins, 1933, 171; Garraty, *Lodge*, 201—2.
100. «Самое напряженное и ожесточенное противостояние»: *ibid.*
101. Уильям Джеймс в частном письме: *Letters*, II, 289; Perry, 240.
102. Нортон, «утратила уникальную роль лидера»: Nov. 18, 1899, *Letters*, 290.
103. Мурфилд Стори, «мы обманули всех, кто верил в нас»: Howe, 221.
104. «Самый влиятельный человек в конгрессе»: Mar. 3, 1898, *Letters*, II, No. 976.
105. Стори – сенатору Хору: Howe, 218–219.
106. Он мог «вспыхнуть, как факел»: *NYT*, Apr. 23, 1899.
107. Он выглядел «мрачным и угрюмым»: Dunn, I, 298.
108. «Усталость и отвращение»: *NYT*, Feb. 21, 1899.
109. «Трибьюн»: Robinson, 380; «Таймс»: Apr. 19, 23, 1899.
110. Годкин о Риде: *Letters*, II, 239, 241.
111. «Публика! Она меня не интересуеет»: *NYT*, Apr. 20, 1899.
112. «А как чувствует себя лошадь?» – Pringle, *Life and Times of William Howard Taft*, 1939, I, 236.
113. Беверидж, «Мы не отвергнем...»: Wolff, 303.
114. Годкин, «Воинственный дух»: *Life and Letters*, 243.
115. Адмирал Дьюи готовится стать президентом: Sullivan, I, 311.
116. «Злой гений»: Fuess, 366.
117. Третья партия и встреча в «Плаза-отеле»: Pettigrew, 320—21; Fuess, 362—63.
118. Агинальдо о выборах: Wolff, 252.
119. «Зажимать нос и голосовать»: Lanza, 40.
120. Разочарованный читатель «Нейшн»: Oct. 18, 1900, 307.
121. Лодж о Маниле: Wolff, 304.

122. Рузвельт об экспансии: *ibid.*, 332.

123. Пули «дум-дум»: *ibid.*, 305.

124. Элегия профессора Нортон, письмо С. Дж. Уорду 13 марта 1901 года: *Vanderbilt*, 217. Сенатор Хор весной 1901 года предпринял попытку примирить антиимпериалистов и администрацию, но результаты его усилий были плачевные. Как президент Ассоциации выпускников Гарварда (*Harvard Alumni Assotiation*) он предложил Мак-Кинли почетную степень доктора права, не проконсультировавшись предварительно с ученым сообществом Гарварда. Хотя президент университета Элиот и считал Мак-Кинли «ограниченным человеком» (James, II, 118), корпорация дала свое согласие. Когда же потребовалось одобрение совета попечителей, в котором было немало антиимпериалистов, поднялась буря во главе с Мурфилдом Стори и Уэнделлом Филипсом Гаррисоном. Создалась неловкая ситуация, разгорелись «острые дебаты», Теодор Рузвельт, разозлившись, назвал Стори «негодяем» и по почте агитировал тех, кто проявлял нерешительность. Об этой истории узнал Годкин, предав ее гласности в своем журнале «Нейшн», и оппозиция в совете попечителей стала известна Мак-Кинли. Хотя совет в итоге проголосовал за присуждение степени, как сообщали, со счетом 26 против 3, она не была дарована, так как Мак-Кинли не приехал на церемонию: *Roosevelt, Letters*, III, Nos. 2010, 2012; *Howe*, 177; *NYT*, May 3 and 9, 1901.

125. «Этот треклятый ковбой»: *Kohlsaat*, 100.

126. Двадцать три «руки» подряд: A. B. Paine, *Mark Twain*, III, 1163.

127. Джо Кэннон сказал о нем: цит. *McFarland*.

#### 4. «Дайте мне битву»

Поскольку я не ставила целью пересказывать историю дела Дрейфуса, а хотела показать реакцию французского общества, то в этой главе документально описываются лишь события и факты, о которых не существует полной ясности. Основным и важнейшим источником по-прежнему служит грандиозное исследование Рейнаха, насыщенное фактами, текстами, документами, комментариями, свидетельствами очевидцев, портретными характеристиками главных

персонажей, которых политик знал лично, и собственными наблюдениями и впечатлениями, подобными описанию того момента в палате депутатов, когда во время выступления де Мена он «ощутил на себе ненависть трехсот загипнотизированных слушателей». Все, что говорилось или происходило вокруг дела Дрейфуса, он дотошно собирал и фиксировал, не только основные события, но и тысячи периферийных деталей, таких как возмущение Шерера-Кестнера репортером или предвидение графа Витте. Как главный участник, а не наблюдатель событий, он подвергался очернительству и поношению больше, чем кто-либо другой, кроме, возможно, Золя. С учетом этих обстоятельств он совершил настоящий подвиг, написав труд исключительной исторической значимости и не имеющий аналогов в историографии. Читатель легко поймет, что любое высказывание или цитата, относящаяся к делу Дрейфуса и не подтвержденная другими ссылками, заимствована из труда Рейнаха и может быть найдена в индексе, занимающем весь седьмой том.

Самое осмысленное и обдуманное выражение националистической идеи содержится в повествовании Барреса, самое яркое и злостное – в сочинении Доде. Самое лучшее современное исследование, основательное, объективное и надежное, принадлежит перу Чапмана. В описании мятежей в Отёе и Лоншане я руководствовалась сообщениями прессы.

1. Этот конфликт мог «рассорить самих ангелов»: *Journal des Débats*, Mar. 8, 1903; о смерти Гастона Париса: Barrès, 9.

2. «В вашем возрасте, генерал, Наполеон уже был мертв»: Lonergan, 76.

3. Лависс о Grande Armée: *Histoire de France Contemporaine*, III, 379.

4. Анатоль Франс, «армия – это все, что осталось...» Персонаж – месье Панетон де ла Барж в романе «Господин Бержере в Париже»: *M. Bergeret à Paris*, 65–70.

5. Роялист граф д'Оссонвиль: *Paléologue*, 147.

6. «Франции нужны мир и слава», высказывание Альбера Вандаля, члена Французской академии: *Figaro*, Sept. 25, 1898.

7. Даже дамы поднимались из кресел, когда в салон входил генерал Мерсье: Proust, *Guermites*, II, 150. Герцогиня Германт



произвела сенсацию на званом вечере у княгини Линь, продолжая сидеть, когда все дамы встали при появлении генерала. Вследствие этой акции герцог Германт потерпел поражение на выборах президента «Жокейского клуба».

8. «Возьмите, он ваш»: Reinach, I, 2.

9. «Если оправдать Дрейфуса, то Мерсье должен уйти в отставку»: Paléologue, 44.

10. Напомнил одному очевидцу персонажа из «Божественной комедии» Данте: *ibid.*, 198—99.

11. Фон Бюлов, «в Европе все решают три великие державы и месье Тардьё»: Radziwill, 298.

12. Слухи о подкупе де Роде: Radziwill, *Letters*, 106.

13. Золя о «постыдном заболевании»: *l'Aurore*, May 13, 1902, цит. Boussel, 216.

14. Эрнест Жюде и Клемансо: Daudet, 43.

15. Карьера Артура Мейера, обращенного еврея: Radziwill, 297—307.

16. Рошфор и письмо кайзера Дрейфусу: Blum, 78—80; Boussel, 157—59. История о письме кайзера появилась в «Этрансижан»: *l'Intransigeant*, Dec. 13, 1897.

17. Генерал Буадеффе и принцесса Матильда Бонапарт: Radziwill, *Letters*, 133—35. Княгиня Радзивилл рассказала эту историю кайзеру, на что самодержец ответил: «Хорошо, что такой человек возглавляет генеральный штаб у французов... и я могу лишь пожелать, чтобы они оставили его на этом посту».

18. «Синдикат», антисемитские идеи правых наиболее основательно отразил Доде: Daudet, 11—17; их высмеял Анатолий Франс в главе 9 романа «Господин Бержере». *Dépêche de Toulouse* от 24 ноября 1897 года подтвердила существование «Синдиката Д» и его фонда в размере 10 000 000 франков: Boussel, 138. Другие свидетельства: *Libre Parole l'Intransigeant, Jour, Patrie, Eclair, Echo de Paris* (с датами Рейнаха — Reinach, III, 20), а также “Le Syndicat”, *l'Aurore*, Dec. 1, 1892, Zola, 13—19.

19. «Процесс умирания великой, древней, космополитической, феодальной и крестьянской Европы», граф Гарри Кесслер: Masur, 297.

20. «Антисемитские сентенции Дрюмона»: July 27, Aug. 4, 1896, *Letters*, 110, 116.

21. «Тайные сговоры и злые умыслы»: Herzog, 30.
22. Герцогиня д'Юзес: *ibid.*, 31.
23. «Они замучили нас своими евреями»: Goldberg, 216.
24. Социалистическая газета о памфлете Лазара: Zevaès, v. 141, 21.
25. Шерер-Кестнер превзошел «самого герцога Сен-Симона»: Reinach, II, 618, n. 1.
26. Эстергази, «руки разбойника» и внешность «вероломного цыгана или дикого, настороженного зверя»: Radziwill, 326—27; Benda, 181.
27. Шерер-Кестнер, гугенот-аскет XVI века: Rolland, 290.
28. В Люксембургском саду... толпы возбужденных людей: Клемансо в речи в 1908 году в связи с открытием статуи-памятника Шерера-Кестнера.
29. Клемансо о Клоде Моне: J. Hampden Jackson, *Clemenceau and the Third Republic*, New York, 1962, 81.
30. «Правы только художники...»: Martet, 286.
31. Клемансо об Эстергази, иезуитах, справедливости: Boussel, 143; Reinach, III, 265. О высочайшей степени общественного внимания к делу Дрейфуса свидетельствует хотя бы пятитомное издание избранных статей Клемансо: *L'Iniquité* (162 статьи из *l'Aurore* и *La Justice* вплоть до июля 1898 года); *Vers la Réparation*, 1899 (135 статей из *l'Aurore*, July-Dec., 1898); *Des Juges*, 1901 (40 статей из *l'Aurore*, Apr. – May, 1899); *Injustice Militaire*, 1902 (78 статей из *l'Aurore*, Aug. – Dec., 1899); *La Honte*, 1903 (65 статей из *La Dépêche de Toulouse*, Sept., 1899 – Dec., 1900).
32. «Генералы поражений» *et seq.*: Reinach, III, 258.
33. Антон Радзивилл любил говорить по-английски с российским братом: Spring-Rice (Chap. 3), I, 184.
34. Граф Витте, «Я вижу только одну проблему»: Reinach, II, 542, n. 1.
35. Жюль Ферри, «Организовать человеческое общежитие без Бога и короля»: Goldberg, 39.
36. Леон Буржуа на собрании сторонников единения: Charman, 23.
37. Выступление де Мена в академии: 10 марта 1898 года, *Discours politiques et Parliementaires*.
38. Карьера де Мена: Garric, *passim*; о социализме: *ibid.*, 94.

39. «Верхушка» общества... «ничего не поняла и не желает понять»: Галифе княгине Радзивилл 22 сентября 1899 года, 342.

40. Графиня Анна де Ноай не очень интересовалась гостями, «улыбалась им, когда они приходили, и вздыхала, когда они откланивались, уходя»: Radziwill, 337—38.

41. «Осознание превосходства»: Clermont-Tonnerre, 113.

42. Граф Эмери де Ларошфуко примечателен «затвердевшими почти до состояния окаменелостей аристократическими предрассудками». Так писал Пруст о князе де Германт, прототипом которого был Ларошфуко. В 1000 году они «были бы ничтожествами»: Painter, 189.

43. Герцог д'Юзес, «нас всегда первыми убивали в сражениях»: Painter, 200.

44. Индивиды, принадлежавшие к *gratin*, не отличались хлебосольством: Clermont-Tonnerre, 113.

45. Английский визитер во дворце герцога де Люин в Дампьере: Wyndham (Chap. 1), I, 346, 480.

46. Тьер о внуке Луи Филиппа, графе Парижском: Spender, *Campbell-Bannerman* (Chap. 5), II, 59.

47. Прозвище «Гамельба»: Lonergan, 120—21.

48. «Вся эта шумиха вокруг Дрейфуса разрушает общество»: Proust, *Guermites*, I.

49. «И колосс на грязных ногах остается колоссом»: Flaubert, *Correspondence*, Apr. 18, 1880.

50. «Гнусная свинья», “Merde!”: du Gard, 8.

51. Бьёрнсон Бьёрнстjerne, «оцепенев от изумления и боли»: Reinach, III, 314.

52. «Действие происходит во Франции, зрители – весь мир»: Herzog, 144.

53. Чехов о судилище над Золя: Ernest J. Simmons, *Chekhov: A Biography*, Boston, 1962, 412—13.

54. Злоба и ненависть, «как во время массового смертоубийства»: Paléologue, 131.

55. Английский визитер, «Париж бурлит, жаждет крови»: Hyndman (Chap. 7), 301.

56. Золя, судебный процесс: Paléologue, 131—33; Hyndman, *Clemenceau*, 167—77; Vizetelly, 450—56; *at al.*

57. Лабори, «Интеллект, пламенный темперамент»: Charman, 175.
58. Золя, «Послушайте, послушайте их крики, они ведут себя так, словно им бросили кусок мяса»: Guilleminault, I, 189.
59. Клемансо, «Никто из дрейфусаров не ушел бы отсюда живым»: Hyndman, (Char. 7), 301.
60. Генри Адамс о приговоре Золя: Feb. 26, 1898, *Letters*, 151.
61. Глава академиков Анатоль Франс «встретил нас в домашних шлепанцах, поднявшись из постели с жутким насморком»: из неопубликованного дневника Даниеля Галеви, цит. Delhorbe, 95–96.
62. Леон Доде, он был «одним из нас»: Daudet, 66.
63. Ссора Клода Моне с Дега: Stephen Gwynn, *Claude Monet*, New York, Macmillan, 1934, 92.
64. Почти ослепший, Дега просил читать ему «Либр пароль» каждое утро: Charman, 182; о карьеристах республиканской эры: George Slocombe, *Rebels of Art: Manet to Matisse*, New York, 1939, 158.
65. Дебюсси и Пюви де Шаванн: Painter, 356; Reinach, III, 248, n. 2.
66. «Если я подпишу, – говорил Жоржу Клемансо директор одной школы, – то этот сукин сын Рамбо (министр просвещения) сошлет меня гнить в глушь Бретани»: Клемансо в газете «Опор», *l'Aurore*, Jan. 18, 1898.
67. Эмиль Дюкло, «в лабораториях боялись бы пересматривать доктрины»: Reinach, III, 169.
68. Дега, «Он пишет руками, держа их в моих карманах»: René Gimpel, *Carnets*, Paris, 1963.
69. Гастон Парис, академик-медиевист: Reinach, IV, 150, n. 5; Поль Стапфер, декан факультета словесности в Бордо: Zevaès, v. 141, 202.
70. Процесс идейно-нравственного размежевания затронул и сельскую местность: Barclay, 135.
71. Элитный клуб «Биксио»: Claretie. Все анекдоты из этого источника.
72. Премьера спектакля по пьесе Ромена Роллана «Волки»: Rolland, 291—95.
73. «Нам нужны идеалы, вера, сила»: Адольф Бриссон в газете «Фигаро»: *Figaro*, Mar. 13, 1900.
74. «Однажды мы узнаем, что нам не следует спать дома, поскольку могут напасть антисемитские банды...»: Reinach, IV, 151.

75. Поляризация мнений в салонах: Bertaut, 163—73; Wharton (Chap. 1), 261, 273; Painter, 130, 201, 281; в салоне госпожи Штраус: Bertaut, Painter, 110—16, *Paléologue*; в салоне госпожи Арман: Pouquet, *passim*; Clermont-Tonnerre, I, 4—5, 13; Blum, 98; в салоне госпожи Обернон: *Paléologue*, 114; Suttner (Chap. 5), I, 282—84; в салоне госпожи де Луан: Meyer, *Ce que je peux dire*, 250—53, 287; Castellane, 195.

76. Леметр, «республика излечила меня от республиканских иллюзий»: Giraud, 72.

77. “Que faites vous, Maître, dans cette galère?” («Зачем вы ввязались в это дело?»): Barclay, 142.

78. «Лига патриотов»: Meyer, *Ce que je peux dire*, 253—63; Daudet, 89—90.

79. Вогюэ, «Теперь это гнусное дело погребено навечно...»: *Paléologue*, 151.

80. Прохаживался в коридоре на пару с Анатолем Франсом, декламируя стихи поэтов XVII века: Goldberg, 226.

81. Говорил Жорес громовым голосом «широчайшей амплитуды»: Roland, 298; играл с оппонентом, как «кот с мышью...»: *ibid.*

82. Социалисты о суде над Золя: Jaures' *Oevres*, VI, 197, цит. Goldberg; Reinach, III, 255, IV, 148; Zevaès, v. 141, 97, 199.

83. «Вы не представляете себе, как я измучился»: Goldberg, 220.

84. «Поскольку многим кажется, что мы выступаем против любых форм буржуазного республиканизма...»: из письма от 7 ноября 1898 года в архивах Геда в Амстердаме, цит. Goldberg, 243.

85. Социалистический комитет бдительности: Zevaès, v. 141, 203.

86. Андре Буффе, *chef de cabinet* герцога Орлеанского, телеграфировал претенденту: детали заговора правых сил и его финансирования были преданы гласности на судебном процессе Деруледа: Reinach, IV, 332—42.

87. «Мы накануне новой Парижской коммуны или переворота, затеянного диктатором»: Radziwill, *Letters*, 155.

88. У кавалерийского генерала «душа второго лейтенанта»: André Maurois, *The Miracle of France*, New York, 1948, 404.

89. «Прибежище предателей», *et seq.*: *Paléologue*, 187—90.

90. Дело Дрейфуса и анархисты: Boussel, 170—72; Maitron (Chap. 2), 307—18.

91. Госпожа де Греффюль... написала кайзеру: André Germain, *Les clés de Proust*, 1953, 43. (Я безмерно благодарна за эту информацию Джорджу Д. Пейнтеру, биографу Пруста.)

92. Трансформация у Германтов отмечена Прустом: *Sodome* («Содом и Гоморра», *La Prisonnière* («Пленница»). (Супруги Германт попросили аббата отслужить обедню для Дрейфуса и его семьи, узнав с изумлением, что аббат тоже верит в его невиновность).

93. Разговор офицера с Галифе в вагоне: Claretie, 50.

94. Жорес, «Если вспыхнет война»: Goldberg, 245.

95. Сбор средств на поддержку семьи полковника Анри: Quillard, *passim*.

96. Избрание Эмиля Лубе: Paléologue, 203; «Республика не потонет в моих руках»: Chapman, 254.

97. «Мы выгоним Лубе за неделю»: Goldberg, 247.

98. Фонды Антисемитской лиги: Reinach, IV, 573, п. 4; V, 113, 254, п. 1, свидетельства судебного процесса Деруледа.

99. Газета «Тан», «никакая другая страна»: June 6, 1899.

100. Уильям Джеймс, «один из тех идейно-нравственных кризисов, которые обозначают зарождение нового и отмирание старого», письмо от 7 июня 1899 года: *Letters*, II, 89.

101. Нападение на Лубе в Отёе: *Figaro*, June 5, 1899.

102. Лубе на скачках в Лоншане в ближайшее воскресенье: *Le Temps*, June 12/13, 1899. Анри Леон, вожак националистов и циник в романе «Господин Бержере в Париже», рассказывает, как по его команде хулиганы кричали: “*Dé-mis-sion!* (В отставку!) *Pa-na-ma! Dé-mis-sion! Pa-na-ma!*” «Я отбивал такт, и они выкрикивали слова по слогам. Они делали это с большим вкусом».

103. Аргумент Люсьена Эрра: Charles Andler, *Vie de Lucien Herr*, цит. Goldberg, 254.

104. Социалисты раскололись в отношении правительства: Zevaès, v. 142, 47.

105. Маркиз де Галифе, «серебряная пластина на животе»: Castellane, 99; «внешность главаря разбойников»: Reinach, V, 168—69; об аресте членов клуба: Radziwill, *Letters*, 340; натура «интеллектуальная, отважная, нахальная, презиравшая смерть и любившая жизнь»: Reinach, *loc. cit.*

106. Мильеран, «огромный кот, попавший под ливень»: Suarez (Chap. 8), I, 259.

107. «Неплохо бы этих парней пригласить на обед»: Louis Thomas, *Le Général de Galliffet*, 1910, 247 (цит. Painter).

108. Процесс в Ренне, показания свидетелей: Marcel Prévost, *New York Herald*, Aug. 8/9; Reinach, V; Barrès, 146; Zevaès, v. 142, 53; Benda, 211; *London Times*, *New York Tribune*, Aug. 8/9. Очевидно, расхождения в наблюдениях объясняются высоким накалом эмоций. Согласно «Таймс», волосы Дрейфуса были «белыми», репортеру «Трибьюн» они показались рыжевато-седыми, в «Таймс» его усы были черные как смоль, в «Трибьюн» – абсолютно рыжие.

109. Мнение Дж. А. Хенти: Hyndman, 184.

110. Галифе, «я не выходил из кабинета с семи утра...»: Radziwill, *Letters*, 340.

111. Адвокат Лабори, «имевший всегда вид Геркулеса»: Meyer, *Mes Yeux*, 152.

112. «Я убил Дрейфуса! Я убил Дрейфуса!» Paléologue, 241.

113. Телеграмма королевы Виктории: Reinach, V, 544.

114. Клемансо: *l'Aurore*, Sept. 10, 1899.

115. Графиня Ноай в слезах: Painter, 299.

116. Реакция в мире: *The Times*, Sept. 12, 13, 14, 1899; Barclay, 162.

117. Негодование Грига: Finck, *Grieg* (Chap. 6), 104.

118. «Пикар на посту Мерсье – это поразительно!» – Lonergan, 369.

## **5. Бой барабанов**

Для описания того, что говорилось и происходило в Гааге, я пользовалась депешами делегатов своим правительствам, содержащимися в дипломатической переписке Форин офиса и *Grosse Politik*, дневниковыми записями Эндрю Уайта из его «Автобиографии» и репортажами специального корреспондента газеты «Тан». Эти материалы, готовившиеся на ходу, в горниле событий, казались мне гораздо более живыми, интересными, чем скучные стенографические отчеты, подобранные и отредактированные позже. (Корреспондент «Тан» подписывался анонимным знаком X или XX, что предполагает

возможность журналистской деятельности двух авторов. Запросы в «Монд», преемницы «Тан», и Quai d'Orsay<sup>[154]</sup> не помогли раскрыть анонимность репортера.) Если не имеется иных указаний, то следует считать, что все цитаты основаны на этих источниках; особые ссылки даются только тогда, когда в этом есть необходимость. Вся информация, касающаяся баронессы фон Зутнер, включая письма Нобеля, заимствована из ее «Мемуаров». Цитирование Рузвельта основано на его письмах: *Letters* (Chap. 3).

1. «Царь с оливковой веткой в руке»: *Neue Freie Presse*, цит. *Figaro* (обзор комментариев прессы), Aug. 30, 1898.

2. Он «прозвучал чарующей музыкой по всей земле» и другие цитаты из прессы в этом параграфе: *ibid.*, а также международные обзоры *The Times* и *Le Temps* на тот же день.

3. Поэма Киплинга впервые была напечатана в журнале «Литература» 1 октября 1898 года: *Literature*, Oct. 1, 1898.

4. «Удар мечом по воде»: цит. *Figaro*, Aug. 31, 1898; «наше будущее»: Nowak, 237.

5. Либкнехт: Suttner, II, 198.

6. Годкин, «прекрасный призыв к миру»: “*Evening Post*”, Aug. 29, 1898.

7. Огни о поражении: Mowat, 171.

8. Жюльен Бенда (Chap. 4), 203.

9. Данные о механической энергии мира: W. S. and E. S. Woytinsky, *World Population and Production*, New York, 1953, 930, Table 394.

10. «Мы плывем, не зная, что у нас уже трупы на борту»: цит. Masur (Chap. 4), 237.

11. Речь Солсбери в Гилдхолле: *The Times*, Nov. 10, 1897.

12. Царь и горничные его матери: цит. David Shub, *Lenin*, 72.

13. Письмо царя матери: *Secret Letters of the Last Czar*, ed. E. J. Bing, New York, 1938, 131.

14. Куропаткин, инициирование мирной конференции: White, 96–97; депеша германского посла Радолина канцлеру Гогенлоэ от 13 июля 1899 года: *GP*, XV, No. 4350; Диллон, разговор с Куропаткиным: 275–77.

15. Люди «перестанут изобретать»: цит. White, II, 70.



16. Война... «означает коллективное самоубийство», *et seq.*: Bloch, xxxi, 349, 355–356.

17. Депеша британского посла: сэр Чарльз Скотт – Солсбери 25 августа 1898 года: *Cd.* 9090.

18. «Величайшая чушь»: Warwick, 138.

19. Реакция дипломатии: *GP*, XV, Nos. 4223, 4224, 4236, 4237, 4248, 4249; Foreign Office: Plunkett, Brussels, Jan. 11, 1899; Rumbold, Vienna, Feb. 3, 1899.

20. Кайзер, «Идиот»: *GP*, XV, No. 4233.

21. «Не к моему народу», как у отца, а «к моей армии»: Pinson, 279; «Если прикажет император...»: *ibid.*, 278; «в рейхе есть только один хозяин: *ibid.*; «в моих двадцати пяти армейских корпусах»: цит. Bernadotte Schmitt, *The Coming of The War, 1914*, New York, 1930, I, 29; «древний союзник моего рода»: цит. Chirol, 275.

22. Принц Уэльский, «события могли развиваться совершенно иначе»: цит. White, II, 113–114.

23. Императрица о раздражении кайзера: Bülow, I, 275; замечание графа Эйленбурга: *ibid.*

24. Телеграмма кайзера царю и комментарии: *GP*, XV, Nos. 4222, 4216, 4228, 4231.

25. Муравьев в Берлине говорил графу Эйленбургу: *ibid.*, 4231.

26. Куно Франке о Германии: *German Ideals of Today, Atlantic Monthly*, Dec. 1905.

27. Пангерманское государство и «мы займем территории»: *Encyc. Brit.*, Pan-Germanism.

28. Адмирал Дьюи о манерах немцев: Palmer, 115.

29. Хей, «для немцев было невыносимо»: цит. A. L. P. Dennis – S. F. Bemis, ed., *American Secretaries of State*, IX, 124.

30. «Бараньи головы»: Pinson, 278.

31. «Даже самый смиренный либерал»: Wolff, 310.

32. «Всегда иметь на себе добротный черный сюртук и держать язык за зубами»: цит. Pinson, 286.

33. Граф Бернгард фон Бюлов, «... иногда напоминал слащавого торговца коврами»: Nowak, 226.

34. Разъяснения Гольштейна и поручения Бюлова: *GP*, XV, Nos. 4255, 4217, 4245—6—7.

35. Резолюции общественности: F.O. 83, 1699.

36. Бальфур об исчезновении войны: *ibid.*

37. Вся информация об Уильяме Стеде взята из его биографии, составленной Фредериком Уайтом, за исключением истории о Карле II, заимствованной у Эшера (Esher, I, 229), предупреждения принца Уэльского о «слабости и бесхарактерности» царя (Warwick, 136) и сетований русских министров на «неловкое положение», в которое их ставит Стед (депеша британского посла – Ambassador Sir Charles Scott, Jan. 14, 1899, F.O. 83, 1699).

38. Уильям Эрнест Хенли: «Моя кровь бурлит жаждой битвы»: Rhymes and Rhythms, No. XVI; впервые опубликовано в «Поэмах» в 1898 году.

39. Журналист Генри Невинсон ощутил боевой дух: *Changes and Chances* (Chap. 1), 130.

40. Мэхэн, «плохо, если цивилизованные нации перестанут готовиться к войне...»: цит. Пулестон (Chap. 3), 171.

41. Непокколебимая уверенность в «несомненности определенных данностей»: T. S. Eliot, *The Waste Land*.

42. Поэма Йейтса, из его автобиографии: *The Trembling of the Veil*, 415.

43. «Бостон пис крусейд» – создание «постоянного трибунала XX века»: Davis, 62.

44. Мак-Кинли предлагали назначить уполномоченным ректора Гарвардского университета Элиота: *ibid.*, 68.

45. Кайзер о Мэхэне, «наш злейший и опаснейший враг»: *GP*, XV, n. 4250.

46. Леон Буржуа, «дружелюбный, эlegantный, красноречивый»: Zevaès (Chap. 4), v. 141, 202; «гордился своей черной как смоль бородой»: Suarez (Chap. 8), I, 420.

47. «Отказаться от войны – это значит предать свою страну», генерал Барай, цит. *Figaro*, Aug. 31, 1898.

48. Госпожа Адам, «я за войну»: Suttner, II, 233.

49. «Сотрясать воздух – не самое благодарное занятие»: цит. Davis, 88.

50. О памфлете барона фон Штенгеля, депеша Драммонда в Форин-офис 6 апреля 1899 года; Tate, 230, n. 44.

51. «Никогда не уступать...»: Mowat, 300; «воплощение честности и искренности»: *ibid.*, 295.

52. «Когда Пил выходил из себя...»: Birrell (Chap. 7), 126–127.
53. Джон Фишер, информация в этих параграфах заимствована из его биографии, составленной Бейконом, за исключением последнего высказывания «Я так и поступал» (Fisher, *Records*, 55).
54. Гаага во время конференции, в основном на основе репортажей корреспондентов *Le Temps*, May 10, 20, 24, 25; *Figaro*, May 20; описаний Уайта, Моуата, Зутнер. Автор посетила «Хёйстен-Бос» («Дом в лесу») в 1963 году.
55. «Опечатка наборщика»: цит. Davis, 86.
56. Огюст Бернаерт, «величайший циник королевства»: Neal Ascherson, *The King Incorporated*, London, 1963, 142.
57. Граф Мюнстер, «политическая шушера со всего мира»: *GP*, XV, 4327.
58. Комитет депутатов рейхстага: *The Times*, May 11, 1899.
59. Фишер, «гуманизировать войну!», *et seq.*: Stead, *Review of Reviews*, Feb. 1910, 117.
60. Отель «Курхаус»: *Letters*, I, 142.
61. Сед о Фишере: цит. Bacon, I, 121.
62. Узнал от немецкого военно-морского делегата: *ibid.*, 128, 177.
63. Самый «серьезный и сосредоточенный из всех делегатов»: цит. Taylor (Chap. 3), 99.
64. Фишер об угле нейтральных стран: Bacon, I, 128.
65. Аргумент капитана Зигеля: *GP*, XV, 4274.
66. Сэр Джон Ардаг о пулях «дум-дум»: June 14, F.O. 83, 1695.
67. «Ангел арбитража»: цит. Reinach (Chap. 4), V, 173, n. 2.
68. «Блюстители общественной совести» Hunter (Chap. 8), 30.
69. Барон д'Эстурнель о Жоресе: White, 300.
70. «Смысл всей этой мистификации»: *GP*, XV, 4276.
71. Попытки убедить Германию: White, II, 265–313, меморандум Понсфота от 19 июня, F.O. 83, 1695 и другие депеши – F.O. 83, 1700; *GP*, XV, 4276, 4280, 4284, 4317, 4320, 4349.
72. На полях депеши кайзер с отвращением начеркал: «Я даю согласие на весь этот бред...»: *GP*, XV, 4320.
73. «Старательность»: *Le Temps*, July 27 (редакционная статья).
74. Виновник возникшего затруднения – капитан Мэхэн: Puleston (Chap. 3), 211; White, 338–341.

75. Бог собирается перевернуть страницу в судьбе человечества: Clynes (Chap. 7), 98; нервная дрожь при мысли о смене веков: Radziwill, *Letters* (Chap. 4), Jan. 2, 1900, 237.

76. Телеграмма кайзера Фрицу Круппу, из архива Круппа, цит. William Manchester, «The House of Krupp», *Holiday*, Dec. 1964, 110.

77. Три сотни человек, «прекрасно знавших друг друга»: цит. Kessler (Chap. 8), 121.

78. «Тогда в 1900 году...» — написал Уильям Батлер Йейтс: из предислова к сборнику *Oxford Book of Modern Verse*.

79. Генри Адамс, предчувствие взрыва бомбы: *Education*, 494–495.

80. Всемирная выставка 1900 года: *l'Illustration*, *Le Monde Illustré*, *passim*; *Outlook*, Sept. 8, Nov. 10, 1900, Jan. 5, 1901; *Harper's Monthly*, Sept., 1900; *Blackwood's*, July, 1900; *Nation*, June 28, 1900.

81. «Нам осталось подождать несколько десятилетий...»: Zweig (Chap. 6), 3.

82. Бальфур... хотел попросить капитана Мэхэна заменить лорда Актона на посту королевского профессора истории в Кембридже: Magnus, *Edward VII*, 306.

83. Жюль Жюссеран, французский посол, и генеральный прокурор Филандер Нокс о Рузвельте: Jules Jusserand, *What Me Befell*, Boston, 1934, 241; Sullivan (Chap. 3), II, 438 n.

84. Визит Рузвельта к Элиоту: James, *Eliot* (Chap. 3), II, 159.

85. Рузвельт, «глупейшая теория» Толстого: Spring-Rice, Dec. 21, 1907, VI, 871; «ослабление бойцовского духа»: *ibid.*; «я питаю отвращение к людям вроде (Эдварда Эверетта) Хейла...»: в письме Шпеку фон Штернбергу 16 июля 1907 года, V, 721; порицал общую тенденцию «бесхарактерности»: в письме Уайтло Риду 11 сентября 1905 года, V, 19.

86. Кайзер, «это мой человек!»: Bülow, I, 658.

87. Визит к Рузвельту барона д'Эстурнеля: Suttner, II, 390—91.

88. Хей, «я все устроил...»: Tyler Dennett, *John Hay*, New York, 1933, 346.

89. Предложение Фишера «ископенгагенить» германский флот: Bacon, II, 74–75.

90. «Ах, да, этот чертов рейхстаг!»: Bülow, II, 36–37.

91. Намек царя Вашингтону: Рузвельт Карлу Шурцу, 15 сентября 1905 года, V, 30–31. Письмо Руту от 14 сентября 1905 года, V, 26.

92. Сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман, или К. – Б., «настолько прямодушный, добросердечный»: Lee (Chap. 1), II, 442.

93. К. – Б., «для великой страны разве может быть миссия более благородная, чем возглавить Лигу мира?»: выступление в концертном зале Альберт-Холл 21 декабря 1905 года: Spender, II, 208.

94. Damnable, Domineering, Dictatorial («отвратительные деспоты-диктаторы»): Bacon, I, 207.

95. Извольский, «маниакальная выдумка евреев...»: GP, XXIII, 7879.

96. К. – Б.: «Дума мертва; да здравствует Дума!» – в речи на французском языке, Spender, II, 264.

97. Кайзер надеется, что конференция «все-таки не состоится»: GP, XXIII, 7815. О визитах короля Эдуарда в Германию: *ibid.*, а также 7823, 7825–7826.

98. Германия, «настороженная, агрессивная, воинственная и индустриальная...»: в письме Оскару Штраусу 27 февраля 1906 года, V, 168.

99. «Плаксивые сентиментальности»: в письме Риду от 7 августа 1906 года, V, 348; разговор с графом Глейхеном: Lee, II, 437. Другим гостем, недовольным американскими неудобствами, был граф Витте. На мирной конференции в Портсмуте он говорил, что за все время ему удалось славно поесть только на борту яхты Моргана (Witte, 169).

100. Военно-морской флот «важнее для поддержания мира, чем все миротворческие сообщества»: письмо от 22 сентября 1906 года, V, 421.

101. Эндрю Карнеги согласился подарить дворец мира третейскому трибуналу в Гааге: Hendrick, II, 164.

102. Рут, «неудачи неизбежны на пути к успеху»: Jessup, II, 70.

103. Первый выпуск нового либерального еженедельника «Нейшн»: Mar. 2, 1907.

104. «Боюсь, что на следующей неделе он выступит в поддержку билля о туннеле под Ла-Маншем!»: Lee, II, 476.

105. Сэр Эдуард Грей, обсуждение бюджетных ограничений: Nevins (Chap. 1), 249, 252, 258–259; Hull, 49–50; U.S., Scott, Vol. II; GP, XXIII, 7750, 7869, 7927, 7986.

106. Визит Карнеги к кайзеру: Hendrick, II, 299–318.

107. Мэхэн, «предубежденность общественного мнения»: Puleston (Chap. 3), 270, 280.

108. В Германии на флоте офицеры по привычке поднимали бокалы «за победу»: Usher, 1.

109. На курорте неподалеку от Байрёйта группа немецких студентов и молодых морских офицеров подружились с англичанином: Buchan (Chap. 1), 55.

110. Госсекретарь Рут, «дело идет к войне...»: Jessup, II, 25.

111. Лорд Лансдаун о пенсиях по старости: *The Times*, July 21, 1908.

112. Одиозный маркиз де Совераль: Warwick, *Discretions*, 20; F. Ponsonby, 216 (Chap. 1).

113. «Чертовски хороший парень»: цит. Mowat, 297.

114. Внешность и привычки барона Маршалла: Gardiner, *Pillars* (Chap. 1), 160–168; Barclay (Chap. 4), 281. Его мнение о делегатах, депеша Бюлову 28 июля, 1907, *GP*, XXIII, 7961.

115. Письмо Альфреда Остина в газету «Таймс»: *The Times*, Oct. 17, 1907.

116. Голландский пастор и пацифист Домела Ньивенхёйс: Adam, 655.

117. Речь Эдуарда Фрая и комментарии: Hull, 72–74; White, II, 291.

118. Работа конференции: Scott, I, 110, *et seq.* Депеша барона Маршалла Бюлову: *GP*, XXIII, 7963; наставления Грея по проблеме иммунитета частной собственности: No. 11 в переписке Форин-офиса, Cd., 3857.

119. Рузвельт, «я не слежу за событиями в Гааге»: July 2, 1907, V, 700; испытывает отвращение к той белиберде, которую распространяют профессиональные поборники мира: July 16, 1907, V, 720—21.

120. «Разлагающиеся государства Востока»: M. W. Hazeltine, «The Second Peace Conference», *North American Review*, Nov., 1907.

121. «Какую конференцию мы проводим в Гааге – за мир или за войну?»: цит. Choate, 40.

122. Прогресс, «постепенный, робкий и деликатный»: Choate, 22.

Все биографические факты, цитаты и комментарии немецких критиков и музыковедов о Штраусе, если нет иных ссылок, заимствованы из сочинений Финка. Отдельные ссылки для комментариев и высказываний Роллана, Бичема, Ньюмана, госпожи Малер (Верфель), Шпейера и Стравинского даются только в том случае, если источник не очевиден. По счастливому стечению обстоятельств юбилейные концерты главных оркестров, устроенные в 1964 году в связи со столетием со дня рождения Штрауса, позволили мне прослушать все его основные произведения. Многие программные заметки, не включенные в библиографию в силу их эфемерности, оказали мне добрую услугу.

1. Эпизод битвы заставлял «содрогаться от возбуждения, вскакивать и бессознательно жестикулировать в неистовстве»: Rolland, *Journal*, 125.

2. Музыкальная жизнь Франкфурта: Speyer, 79.

3. Сезоны в Байрёйте: Stravinsky, 60; Beecham, 55; Ekman, 125.

4. В финале «Лесной симфонии» вечерние тени опускаются три раза: Grove, *Dictionary of Music*, «Program Music».

5. «О! Они всего лишь имитаторы...»: цит. Speyer, 143.

6 «Остановите Ганслика»: Werner Wolff, *Anton Bruckner*, New York, 1942, 103.

7. «Так молод, так современен...»: *Current Biography*, 1944, «Strauss».

8. Георг Брандес, «к несомненному ужасу соотечественников»: Brandes, 113.

9. Роден о Ницше: Anne Leslie, *Rodin*, New York, 1937, 200.

10. «В Германии слишком много музыки»: *Souvenirs*, 232—33.

11. Брунгильда на сцене с живой лошадью: Haskell, 156.

12. Художник Филипп Эрнст: *Current Biography*, 1942, “Max Ernst”.

13. Северные и южные немцы: Wylie, 29—38.

14. Макс Либерман о статуях: Frederic William Wile, *Men Around the Kaiser*, Philadelphia, 1913, 168.

15. Счет берлинской хозяйки: Zweig, 113.

16. Полиция, «чрезвычайно грубая и даже жестокая»: Chirol (Chap. 5), 266.

17. Берлинские женщины: Wylie, 192–193.

18. Некоторые немцы, согласно одному докладу, ели семь раз в день: несмотря на фантастичность этого факта, его привел американский посол: James W. Gerard, *My Four Years in Germany*, New York, 1917, 56.

19. Число студентов в университетах Пруссии: Charles Singer, *et al.*, *A History of Technology*, Oxford Univ. Press, 1958, V, 787–788.

20. Цирк «Барнума и Бейли»: Dexter Fellows, *This Way to the Big Show*, New York, 1936, 22; H. L. Watkins, *Barnum and Bailey in the Old World, 1897–1901*, 45. (Я особенно признательна за эти ссылки госпоже Джейнис Шей.)

21. Кайзер на спектаклях Московского художественного театра: Немирович-Данченко. Информация в этом и последующих трех параграфах заимствована из главы «Кайзер и искусства» в книге Стэнли Шоу; присуждение кайзером премии Шиллера Эрнсту фон Вильденбруху: Lowie, 41; о стипендиатах Родса: *Letters of Cecil Spring-Rice*, II, 119; кайзер и «Пер Гюнт»: Finck, *Grieg*, 145–146.

22. «Бисмарк сломал становой хребет нации»: Kohn, 187–188.

23. Разговор Штрауса с кайзером: цит. Del Mar, 280–281.

24. Штраус обручился с фрейлиной де Ана: *ibid.*, 121–122.

25. Фрау Штраус, характер и привычки: Lehmann, chaps. 2, 3.

26. «Дьявольский ор»: Del Mar, 182.

27. Тост на обеде в доме Шпейера: Wood, 216.

28. «*Richard, jetzt gehst componieren!*» («Рихард, иди и займись композицией!»): цит. William Leon Smyser, *The New Book of Modern Composers*, ed. David Ewen, New York, 1961, 396; «Рихард, положи карандаши!»: цит. F. Zweig, *Stefan Zweig*, New York, 1946, 103.

29. «Неронство витает в воздухе!» – *Journal*, Jan. 22, 1898, 118.

30. «Der Arbeitermann» («Рабочий человек»), гимн социалистической партии: Pinson (Chap. 5), 262.

31. Штраус заставлял критиков платить за места в зрительном зале: Huneke, *NYT*, Nov. 24, 1912.

32. Дебюсси, «если люди будут настаивать...»: Thompson, 183.

33. Сибелиус, «проиграй пластинку еще раз», рассказал Уильям Голдинг, цит. Maurice Dolbier, *New York Herald Tribune*, Apr. 21, 1964.

34. Дебюсси о Штраусе: Thompson, 182–183.



35. Штраус о Дебюсси: Caesar Searchinger, «Richard Strauss As I Knew Him», *Saturday Review of Literature*, Oct. 29, 1949.
36. Сарджент и цыгане: Mount (Chap. 1), 217.
37. Томас о Штраусе, «величайший музыкант»: Thomas, 502.
38. «Большое, широкое, просторное и простое, но роскошное там, где надо»: Charles Moore, *The Life and Times of Charles Follen McKim*, Boston, 1929, 85.
39. Дом Тиффани: Werfel, 47–48.
40. «Один день в моей семейной жизни»: Gilman, *Harper's Weekly*, Mar. 9, 1907.
41. «Если всех священных слонов Индии...»: Beecham, *Delius*, 129.
42. Григ Делиусу в 1903 году: *ibid.*, 129.
43. Определенный «недостаток учтивости»: Rolland, 213.
44. «Из тирского пурпура и матового серебра»: Уайльд в письме Франс Форбс Робертсон 23 февраля 1893, *Letters* (Chap. 1), 333.
45. Пьесу осудила газета «Таймс»: цит. *ibid.*, 335 n.
46. Иллюстрации Обри Бердсли: *ibid.*, 344 n. 3.
47. «Я вижу жизнь жестокой и злой»: письмо А. К. Бенсону 29 июня 1896 года, *Henry James: Letters to A. C. Benson*, London, 1930, 35.
48. «Поток нескончаемого секса...»: Horace B. Samuel, *Modernities*, London, 1914, 135.
49. Вифлеемская звезда: Del Mar, 281.
50. Большие шляпы с перьями: Mary Ethel McAuley, *Germany in War Time*, Chicago, 1917, 183; двуспальная кровать: Palmer (Chap. 5), 222; запрещение оперы «Без огня»: Del Mar, 236.
51. Кайзер о «Саломее» и ответ Штрауса: Del Mar, 281.
52. «Саломея» в Нью-Йорке: *Outlook*, Feb. 9, 1907; Gilman, *Harper's Weekly*, Feb. 9, 1907; Aldrich, 172—79.
53. «Саломея» в Лондоне: Beecham, 161, 168–173.
54. Гуго Гофмансталь: Zweig, 46–48; Hamburger, xxvii; Bertaux, 95.
55. «Капуча разума»: Bertaux, 92.
56. Популярная песня: May, 309.
57. Вена терпела «неряшливость в политике, в правительстве, в морали...», Франц Иосиф не прочел ни одной книги и питал неприязнь к музыке: Zweig, 19, 21.

58. Рузвельт об «австрийском джентльмене»: цит. Wharton (Chap. 1), 277.

59. Мэр Вены Карл Лугер: Zweig, 105; May, 311.

60. Гофмансталь заинтересовался тематикой греческой мифологии: Hamburger, xxxii. Для общепринятого заключения о влиянии Фрейда на «Электру» Гофмансталя не имеется свидетельств. Эрнест Джонс, биограф Фрейда, указывает (*Freud*, I, 360; II, 8), что публикация исследования «Толкование сновидений» в ноябре 1899 года не вызвала интереса в интеллектуальных кругах Вены. Хотя у Гофмансталя имелся экземпляр этого сочинения, неизвестно, когда он его получил, и в переписке оно не упоминается и не обсуждается. Hamburger, xxxiii.

61. «На вершину славы»: Dukes, 68.

62. Дело Эйленбурга: Baumont: Wolff (Chap. 5).

63. Смерть графа Хюльзен-Хеслера: Zedlitz-Trutzschler, Robert, Graf von, *Twelve Years at the Imperial German Court*, New York, 1924. Этот эпизод присутствует в каждой биографии кайзера.

64. Стипендиаты Родса: Spring-Rice, II, 119.

65. Профессор Зиммель: Schoeberner, 55–56.

66. Столетие Берлинского университета: *ibid.*, 58.

67. Доход Штрауса в 1908 году: Finck, *Success in Music*, 14.

68. Репетиции «Электры»: Schumann-Heink (Lawton, 322–325). Согласно данной версии, Штраус говорил: «Я все еще не слышу голоса Хейнк», и это предполагает, что крик «громче» адресовался ей. Финк, утверждавший, что историю рассказала ему сама Шуман-Хейнк, предложил свой вариант, который обычно и многократно повторяется. Для меня остается загадкой, почему Штраусу понадобилось заглушить голос певицы. Но не только меня ставили в тупик некоторые действия Штрауса, поэтому я решила сохранить общепринятую версию инцидента.

69. Премьера «Электры»: Arthur Abell, *Musical Courier*, Feb. 17, 1909; Herman Bahr, цит. Rosenfeld, *Discoveries*, 141–142.

70. «Электра» в Лондоне: Finck, 252–253; Beecham, 147; Jefferson, 22; GBS, *The Nation*, Mar. 19, 1910.

71. Разъяснение Штрауса: Lehmann, chap. 2.

72. Графиня де Ноай, «будто что-то очень новое добавилось к сотворению мира на седьмой день»: цит. Haskell, 184.

73. Роден, «классическая скульптура интересовалась логикой человеческого тела, меня же интересует его психология»: Albert E. Elsen, *Rodin*, New York, Museum of Modern Art, 1964.

74. Чувства, «такие же волнующие, как в полете»: Zweig, 196.

75. Об Иде Рубинштейн, Анне Павловой, Тамаре Карсавиной: Haskell, 188.

76. Бакст... вскакивал на стул: Grigoriev, 39.

77. «Шехерезада»: Terry, 41–44.

78. Карсавина, «очень большая доля правдоподобия»: Van Vechten, 81.

79. Первое представление «Жар-птицы»: если нет других указаний, то основной источник информации по этому и другим сочинениям Стравинского для балета – труды самого композитора.

80. Вызывало у всех желание «радоваться жизни»: Leonard Woolf, *Beginning Again*, New York, 1963–1964, 37.

81. Премьера «Фавна»: Nijinsky, 172–174; Cladel, 218–21; *Le Gaulois*, May 30; *Le Temps*, May 31; *Figaro*, May 29–31; *Current Lit.*, Aug. 1912, «The Faun That Has Startled Paris».

82. Инцидент в Вене: Nijinsky, 194–195.

83. Кайзер о «Клеопатре»: Stravinsky, 67.

84. Премьера «Весны священной»: Stravinsky, 72; Nijinsky, 202; *Figaro*, May 31; *Le Temps*, June 3; *Le Gaulois*, June 1, 1913; Van Vechten (q. v.), американец, был тем человеком, на голове которого кулаками отбивали ритмы.

85. Граф Кесслер, «излишняя скрупулезность и точность мешают свободе воображения»: *Lit. Digest*, June 20, 1914.

86. Книга кронпринца: *The Times*, May 1, 1913.

87. *Muss-Preussen*: Ford (Chap. 1), 402–403.

88. «Праздничная песня» Ратенау: *Zukunft*, Oct. 26, 1912, 128–136. Поэма была подписана: «Herwart Raventhal».

89. “*Finis Germaniae*” и «Так держать!» (*Immer feste darauf!*): Wolff (Chap. 5), 341–344. Полное описание событий в Цаберне дают J. Kaestlé, *l’Affaire de Saverne*, Strasbourg, n. d.; Charles D. Hazen, *Alsace-Lorraine Under German Rule*, New York, 1917.

90. Лоренс Гилман в январе отметил ту же самую поразительную двойственность в его творчестве: *North American Review*, Jan. 1914.

91. Двухмесячный сезон в Лондоне в 1914 году: *Annual Register*, Part II, 73.

92. Концертный зал «Друри-Лейн»: Siegfried Sassoon, *The Weald of Youth*, 245.

93. Почетная степень в Оксфорде: *The Times*, June 25, 1914.

## 7. Смена власти

1. Проблема «китайского рабства»: Lyttelton, 320–321; Pope-Hennessy, 69; Wallas, 127; Hearnshaw, 94.

2. Желтая пресса: это выражение уже тогда использовалось в Англии, Lucy Masterman, 216.

3. «Гигантский заказник для выездов аристократии на отдых»: цит. Cecil, I, 167.

4. «Величайшее предательство со времен распятия Христа»: цит. Adams, 123.

5 «Экономист» – нужны были £. s. d.: цит. Adams, 103.

6. Контрактная система в Британской Гвиане. Альфред Литтелтон, выступая в палате общин 21 марта 1904 года, доказал, что контракты Гладстона и Роузбери заключались на более длительный период времени (на пять лет, а не на три года) и на условиях более жестких, чем в Южной Африке (Hansard, IV series, v. 132, 283 ff.).

7. Лишь один водопроводный кран и одна уборная. Описание условий жизни бедноты основано на исследовании Марганиты Ласки: Marghanita Laski, «Domestic Life» (Nowell-Smith).

8. Оглушительные крики тори «Крыса!»: Mackintosh, 222.

9. Бальфур о тарифах: Fitzroy, I, 191, 220; Spender, C. – B., II, 102.

10. Цитирование Гарри Каста: Sir Ronald Storrs, *Memoirs*, 37.

11. «Оставаться при должности до тех пор...»: Young, 232.

12. «В условиях хронической бедности...»: Hobson, 12.

13. Условия жизни рабочих на химическом заводе Шофилда в Глазго: Hughes, 91.

14. На целый день отправляли в кутузку: Gompers (Chap. 8), 29–30.

15. Минимальный стандартный рост рекрута британской армии: Nowell-Smith, 181.

16. Герберт Джордж Уэллс пригрозил: *Autobiography*, 550.
17. Классы «А» и «Б»: Lord Beveridge, *Power and Influence*, 66–67.
18. Уильям Моррис, «постепенно заряжать...»: Hunter (Chap. 8), 97.
19. Беатриса собиралась выйти замуж за Джозефа Чемберлена: Margaret Cole, *Beatrice Webb*, New York, 1946, 21.
20. «Я успокоюсь только тогда...»: цит. Hesketh Pearson, *Shaw*, 68; «класс рабов не может быть освобожден рабами»: Hyndman, 397.
21. Гайндман, разозлившись на весь мир: White (Chap. 5), I, 98.
22. Клемансо, «буржуазный класс»: цит. Hyndman, 300.
23. Разговоры о «фундаментальных принципах и вечных истинах» его только раздражали: Hunter, 120.
24. Кайр Харди: Hughes, *passim*; Brockway, 17–18.
25. «Обожравшиеся животные!» «Настоящих бездельников можно каждый день видеть на Роттен-Роу»: Hunter, 230.
26. «Почти с религиозным фанатизмом»: Clynes, 83, 85.
27. «Имея за собой 80 000 человек, Бёрнс не совершил революцию...»: цит. Webb, 23.
28. Цели Независимой лейбористской партии (НЛП): Hughes, 66–67.
29. «Самые дорогостоящие похороны» и цитирование Гарвина: Hughes, 76.
30. Фабианцы, «не соответствует их идеалам»: Edward Pease, цит. Halévy, V, 263, n. 2.
31. «Несовершенства социального порядка»: Aug. 23, 1902.
32. «Господин Бальфур, вернувшись с обеда...»: парламентский корреспондент газеты «Дейли ньюс»: цит. Hughes, 113.
33. Договоренность Макдональда и Герберта Гладстона: Mendelssohn, 322.
34. Идти «путем Тори»: Hughes, 69.
35. «Ужасная аномалия»: Willoughby de Broke, 249.
36. Джон Бёрнс поздравляет Кэмпбелла-Баннермана: Webb, 325; Бёрнс цитирует Грею натуралиста Уайта: Lucy Masterman, 112.
37. Бальфур и Вейцман: Dugdale, I, chap. 19; Chaim Weizmann, *Trial and Error*, New York, 1949, chap. 8.
38. Бальфур в расстройстве: Newton, *Retrospection*, 146–147.

39. Письма Бальфура о результатах выборов. Письмо Ноуллзу (Knollys), цит. полностью: Lee, II, 449; другие письма: Esher, II, 136; Young, 255.

40. «Честный и прилежный труженик»: Dugdale, II, 49.

41. Роберт Блэтчфорд предсказал: цит. *The Times*, Jan. 19, 1906.

42. «Никогда не сказать ничего умного!»: Marsh, 150.

43. Новые члены парламента: Jenkins, 7.

44. Лишь немногие были одеты без соблюдения условностей: Newton, *Retrospection*, 149; грубые манеры ирландцев: *ibid.*, 99.

45. Кэмпбелл-Баннерман был глух «к историческому очарованию» Бальфура: Birrell, 243.

46. «Основа Англии – торговля»: Gardiner, *Prophets*, 136.

47. «Сходите и принесите кувалду»: Gardiner, *Prophets*, 54.

48. Подавал руку собственной жене, приглашая ее к обеду: Blunt, II, 300.

49. «Ни эголизма, ни зависти, ни тщеславия»: Gardiner, *Pillars*, 122.

50. Черчилль, глубокая привязанность и любовь к состарившейся няне его детства госпоже Эверест: *Roving Commission*, 73. Все последующие цитаты Черчилля, если нет других указаний, – из сочинения Мендельсона.

51. Фредерик Эдвин Смит: Gardiner, *Pillars*, 95—103; *Portraits*, 122—28.

52. Еще одна коллизия, предугаданная лордом Солсбери: Margot Asquith, 157; Н. Н. Asquith, *Fifty Years*, I, 174.

53. Чтобы партия консерваторов «продолжала и у власти, и в оппозиции определять судьбы великой империи»: *The Times*, Jan. 16, 1906.

54. Бальфур... сказал лорду Лансдауну: Newton, *Lansdowne*, 354.

55. «Непременно что-нибудь произойдет»: Sept. 29, 1906, Lee, II, 456.

56. Лорд Керзон, речи, «бесконечно превосходящие выступление ординарного пэра»: Newton, *Retrospection*, 161.

57. Лорд Лорберн: Willoughby de Broke, 260; Curson, *Subjects of the Day*, 228.

58. Лорд Роузбери, «рыбий взгляд»: F. Ponsonby, 382.

59. Черчилль в журнале «Нейшн»: Mar. 9, 1907.

60. Бальфур о древнем основании наследственности: цит. Young, 266.

61. «Крепостные ворота палаты лордов», «пудель господина Бальфура»: эти выражения звучали во время обсуждения законопроекта о лицензировании 24 июня 1907 года.

62. Морли вспомнил, как в 1892 году он предложил Гладстону некоего человека: Esher, II, 303.

63. На совещание в Лансдаун-хаус вызвали сельских пэров или «бэквудсменов»: Willoughby de Broke, 246–247.

64. Черчилль, «пылая праведным гневом»: Lucy Masterman, 114.

65. Виктор Грейсон, неистовый социалист: Brockway, 24–25; Halévy, VI, 105.

66. Предложение кайзера: как спасти Англию: Blunt, II, 210.

67. Король Эдуард о «трудных временах»: цит. Magnus, 417.

68. Одержимость идеей вторжения: I. F. Clark, «The Shape of Wars to Come», *History Today*, Feb. 1965.

69. Генри Джеймс, мои трубы хорошо видны с моря: Jan. 8, 1909, *Letters*, ed. Percy Lubbock, New York, 1920, II, 121.

70. Движение суфражисток: помимо исследований Панкхерста и Фулфорда, сведения об акциях суфражисток можно найти в выпусках *Annual Register* («Ежегодной хроники»). О собрании уважаемых людей в Альберт-Холле: Nevinson, *More Changes*, 321—25; там же: «эти двуногие волчицы!», 306.

71. Пессимистические предчувствия: Masterman, 84, 120, 289; Bryce, 15, 39, 228; Дж. А. Гобсон и Л. Т. Хобхаус: цит. С. Н. Driver, «Political Ideas» (Hearnshaw); о Троттере: *DNB*; цитата: 47; об Уоллесе: Wells, 509, 511; Cole, 222; цитирование: 284–285.

72. Эра либералов... «беспрецедентно сварливая и некомфортная»: *DNB*, Lowther.

73. «Мы все подумали, что папа умрет»: Cooper, 11.

74. Речь в Лаймхаусе лондонского Ист-Энда: July 30, 1909. Свое неудовольствие король выразил в письме лорду Кру, цитируется полностью: Pore-Hennessy, 72–73. Другие комментарии – главным образом из «Ежегодной хроники» (*Annual Register*). Речь Роузбери в Глазго: Crewe, 511–512. Поэма Киплинга впервые появилась в газете «Морнинг пост» 28 июня 1909 года и впоследствии опубликована в сборнике его поэзии: *Definitive Edition*, London, Hodder & Stoughton,

1940. «Глупые и низкопробные» речи и высказывания лендлордов и капиталистов наносят большой вред: цит. Magnus, 431.

75. «Теперь, король, выиграв дерби, отправляйся домой...»: Fitzroy, I, 379.

76. Бальфур и Солсбери о финансовом билле: Dugdale, II, 56; *Annual Register*, 1909, 118.

77. Дебаты в палате лордов о бюджете, *et seq.* Англичане больше всего любят политические кризисы, и литература на тему прохождения бюджетного законопроекта в парламенте настолько обильна, что ее невозможно обойти вниманием или игнорировать. Обсуждение продолжено и в недавней книге о Черчилле, написанной дочерью Асквита Вайолетой Бонем-Картер: Violet Bonham-Carter, *Churchill As I Knew Him*. Эта тема поднимается в каждой биографии или автобиографии сколько-нибудь значительной персоны, во всех политических мемуарах соответствующего периода: Newton, *Lansdowne*; Young, *Balfour*; Spender, *Asquith*; Lee, *Edward VII*; Nicolson, *George V*; Wilson-Fox, *Halsbury*; Pope-Hennessy, *Crewe*; Ronaldshay, *Curzon*; Crewe, *Roseberry*; Willoughby de Broke, *Memoirs*; Roy Jenkins, *Mr. Balfour's Poodle*. Полные отчеты о главных дебатах можно найти в «Таймс» и «Хансарде». Они широко освещались в ежедневных и периодических изданиях. На страницах этой книги ссылками сопровождаются только те утверждения и факты, для которых трудно было бы найти источники.

78. Холдейн об апатии: цит. *Annual Register*, 245.

79. Спикер Лоутер об ирландцах: Ullswater, II, 85; «настырное упрямство и сила», «непосредственный, очевидный и безошибочно узнаваемый характер»: Morley, II, 349–350.

80. «Задира-петух древней бойцовский породы». Из поэмы обожателя, опубликованной в «Морнинг пост», цит. Pope-Hennessy, 123.

81. Песенка из эстрадного представления: Sitwell, *Great Morning*, 57.

82. «Только он способен все поддерживать в должном порядке»: Sackville-West, 307.

83. Стихотворение поэта-лауреата: Austin, II, 292.

84. «Наши славные бакалейщики»: Lucy Masterman, 200 (говорил Ллойд Джордж).



85. Список Асквита: Spender, *Asquith*, I, Appendix.
86. «Мы настроены с беспощадной серьезностью»: *Grooves of Change*, 39.
87. Транспортная забастовка, «это же революция!»: цит. Halévy, VI, 456.
88. Арест Тома Манна: Clynes, 154.
89. Даже жара была «необычайно чудесной»: Sir Edward Grey, *Twenty-Five Years*, London, 1925, I, 238.
90. Званный вечер в доме леди Микелем: Williams, 192–193.
91. «На ваш чертов дворец, если вы не возражаете»: Birkenhead, 175.
92. «Золотой соверен, долг и честь»: Сирил Конноли в обозрении, посвященном Ноуэллу-Смиту: *The Sunday Times*, Oct. 18, 1964.
93. Последний автобус, запряженный лошадьми: Somervell, 28; Nowell-Smith, 122.
94. Лорд Хью Сесил: Churchill, 201; также Churchill, *Amid These Storms*, New York, 1932, 55; Gardiner, *Pillars*, 39.
95. Парламентский сюжет с Хью Сесилом: помимо репортажей прессы, имеются иллюстрации: *Punch*, Aug. 2, 16; *Illus. London News*, July 29.
96. Сессия, впервые в истории «нарушившая нормы поведения»: *The Times*, July 25, 1911.
97. Из шести пэров: Midleton, 275.
98. «Вы забыли парламентский билль»: Christopher Hassall, *Edward Marsh*, London, 1959, 173–174.
99. «Реальная угроза социальной революции», обиженный пэр: Newton, *Retrospection*, 187.
100. Люди, готовые быть «политиками и никем более, а только политиками...»: цит. Young, 315.
101. Высказывание Асквита, речь в Гилдхолле 9 ноября: *Fifty Years*, II, 129—31.
102. Джордж Уиндем, «ледниковый период»: Blunt, II, 339.

## 8. Смерть Жореса

Если нет иных ссылок, все цитаты Жореса – из его биографии, составленной Голдбергом; Дебса – из книги Джинджера; Гомперса – из его автобиографии. Комментарии Гомперса о рабочем движении в Европе – из его исследования «Труд в Европе и Америке» (*Labour in Europe and America*); все цитаты Вандервельде, Де Леона и других социалистов – из их произведений.

1. Публика слушала с благоговейным вниманием: Hunter, 319.
2. Вену... «парализовал страх»: Zweig (Chap. 6), 61; Braunthal, 56.
3. Комментарии о поэме Эдвина Маркема: Sullivan (Chap. 3), II, 236–247.
4. Клемансо о демонстрации в Фурми: Alexandre Zevaès, *Histoire de la 3me République*, Paris, 1926, 342.
5. Тафт о Пульмановской забастовке: *DAB*, Taft.
6. Истинные марксисты обвиняли французских POSSИБИЛИСТОВ в мошенничестве: Joll, 33.
7. «Не мешай революции!» – Bülow (Chap. 5), I, 672. Впоследствии Микель стал консерватором и министром финансов (1890–1900).
8. «Социализм «немыслим без революции»: DeLeon, 192.
9. Аплодисменты Пабло Иглесиасу: Hyndman, 396.
10. Амилькаре Чиприани: Vandervelde, 44.
11. Эссе Хантера о долине Тирано: *Socialists at Work*, 55.
12. «Чертова непритязательность бедноты»: это выражение употреблялось и тогда без указания авторства. Без прилагательного и анонимно оно использовано в фабианском трактате 1884 года под заголовком «Почему так много бедных?» (*Why Are the Many Poor?*), а профессор Гей приписывает его Уильяму Моррису в своей книге о Бернштейне. В немецком варианте *Verdammte Bedürfnislosigkeit* его цитирует Бернард Шоу в предисловии к пьесе «Майор Барбара», не указывая авторства, но предполагая немецкое происхождение. Хотя немецкие исследователи уклоняются от обсуждения этой проблемы, я взяла на себя смелость указать авторство Лассалья на основании подтверждения, полученного в письме Георга Лихтейма.
13. Английский памфлет о лондонском конгрессе в 1896 году: Walter Crane, *Cartoons for the Cause, 1886—1896*, London, 1896.
14. Конгресс в Цюрихе: Vandervelde, 144.

15. Бернард Шоу о Либкнехте: Henderson 220.
16. Кайзер о социалистах: Michael Balfour, *The Kaiser and His Times*, London, 1964, 159.
17. «Господин Артур Бальфур мог произнести в «Лиге подснежника»: Joll, 76.
18. «Всеобщая забастовка – всеобщая глупость»: *ibid.*, 53, n. 2.
19. Первомайская манифестация в Мюнхене: Krupskaya, I, 67.
20. Август Бебель, «теневого кайзера»: Rosenberg, 44.
21. Моммзен о Бебеле: Hunter, 227; «характерный акцент»: *ibid.*, 226; «смертельный враг»: цит. Pinson, 212; «взгляните на этих парней»: Chirol (Chap. 5), 274.
22. Доктор Адлер, Браунталь, Троцкий, Балабанова: Joll, 38; борьба с деспотизмом режима Габсбургов истощала силы и веру: Brauthal, 52.
23. Более «весомые мотивы, чем доктрина»: Hunter, 134.
24. Женщины-социалистки считали его «обаятельным и привлекательным физически»: Balabanoff, 15.
25. «Твердо и решительно»: Vandervelde, 46.
26. «Торквемада в очках»: Nomad, *Rebels* (Chap. 2), 65.
27. «Что мы, социалисты, можем сделать с деградированным человечеством?»: Goldberg, 226.
28. Жорес, бывший профессор философии: Hyndman, 398; и плечи и колени вздрагивали и подгибались под тяжестью обуревавших его идей и мыслей, любил рассказывать об астрономии: Severine, *l'Eglantine*, 7–8; «Жорес думает своей бородой»: Clermont-Tonnerre (Chap. 4), II, 251.
29. Эдуард Вайян о Жоресе: Hunter, 79.
30. «Все глаголы у него в будущем времени»: Roman (Chap. 4), 91.
31. Лондонский конгресс Второго интернационала: Vandervelde, 145.
32. Полковник регулярной армии в чикагском клубе: Ginger, 139.
33. Предписание судей Гросскапа и Уильяма Вуда: Allan Nevins, *Grover Cleveland*, New York, 1932, 618.
34. Рузвельт, «расстрелять»: Pringle (Chap. 3), 164.
35. Золотые часы Теодора, брата Дебса: Coleman, 201.
36. Его карликовая, но грузная фигура... гротескно уродлива: Hillquit, 93.

37. «Задай им перцу, Сэм. Задай им перцу!»: Harvey.
38. «Проблемы среднего класса»: цит. Dulles, 181.
39. «Я рабочий человек»: Hillquit, 95.
40. «Я открыто признаю...»: Braunthal, 91; Gay, 74.
41. Виктор Адлер, это о нем говорили: DeLeon, 37 в письме Бернштейну: Braunthal, 100.
42. «Высокий, тощий и сухопарый», «долой Либкнехта!»: Goldberg, 262.
43. «Дилемма бриджей»: Gay, 232, п. 39.
44. Роза Люксембург: Balabanoff, 22; Vayo, 61.
45. Георг Ледебур о составе партии: Trotsky, 215.
46. Резолюция съезда в Дрездене: Pinson, 215–216.
47. «Рабочий класс заинтересован в *Weltpolitik* без войн»: *ibid.*, 214.
48. Амстердамский конгресс: Vandervelde, 152–162; DeLeon, *passim*.
49. Бебель... возьмет винтовку в руки: Vandervelde, 161.
50. Посол Извольский о Бриане и Вививани: Goldberg, 455.
51. «Зверское массовое убийство»: Clynes, 103.
52. Итальянские крестьяне о русской революции: Balabanoff, 54.
53. Австрийские социалисты, всеобщее избирательное право: Braunthal, 64–68.
54. «Основа Франции – собственность, собственность и еще раз собственность»: цит. Goldberg, 363.
55. Письмо Дебса в декабре 1904 года: Coleman, 227–228.
56. «Примитивные инстинкты»: цит. Dulles, 211.
57. Дебс стоял на грузовике, который «медленно плыл через океан бурлящей людской массы»: Ernest Poole, цит. Ginger, 281.
58. Съезд в Мангейме: Schorske, 56.
59. Выступление в рейхстаге депутата-социалиста Густава Носке: Pinson, 215.
60. Французский социалист Густав Эрве, «на мобилизационные приказы мы должны отвечать восстаниями!»: D. W. Brogan, *France under the Republic*, 429.
61. На любой железнодорожной станции во Франции: M. Auclair, *La Vie de Jean Jaurès*, цит. Goldberg, 381.
62. Там они посетили Хатфилд: Vandervelde, *l'Eglantine*, 38–40.

63. Бенито Муссолини: Desmond, 207.
64. Полиция на аэростатах: *The Times*, Aug. 19, 20, 1907.
65. Инцидент с Гарри Квелчем: Balabanoff, 82; Trotsky, 205.
66. Цитирование Георга фон Фольмара: Pinson, 215–216.
67. Клемансо о Жоресе: *l'Homme Libre*, Aug. 2, 1914.
68. В случае войны рабочие, каким-то образом «разъярившись», восстанут самостоятельно: Braunthal, 106.
69. «Не занимайтесь самообманом»: Desmond, 206.
70. Жорес в Тюбингене: Vandervelde, 167.
71. «Это Ленин...»: цит. Fischer, 58.
72. Ленин и Бебель вели долгие дискуссии: предоставлено автору Луисом Фишером из статьи Ленина: «The International Socialist Congress at Stuttgart», *Works*, 5<sup>th</sup> ed., Moscow, 1961, XVI, 67–74, 514–515.
73. Резолюция конгресса в Штутгарте: Beer, II, 156.
74. Социалистическая газета Вены «Арбайтер цайтунг»: цит. Trotsky, 211.
75. Блэтчфорд и Гайндман, кампания за введение воинской повинности: Halévy (Chap. 1), VI, 395.
76. Кейр Харди обвинял их в предательстве социализма и продолжал верить... – Clynes, 25.
77. В ответном слове, «взволновавшем наши сердца своей искренностью»: *Le Peuple*, цит. Vandervelde, 170.
78. В мире уже насчитывалось восемь миллионов социалистических избирателей: *The Times*, Aug. 31, 1910.
79. В Копенгагене она выразилась в словах Кейра Харди: Cole, 83–84; Hughes, 197–198; Stewart, 302.
80. Англо-бурская война и МФТР: информация предоставлена Голдингом, научным секретарем МФТР в Лондоне: K. A. Golding, Research Secretary, ITF, London.
81. О забастовке МФТР в 1911 году. Предварительные дискуссии в Копенгагене в 1910 году: *The Times*, Aug. 25–29. О последующих событиях – от господина Голдинга.
82. Численность партии росла стремительно, и она представлялась уже столь могущественной... – Braunthal, 46.
83. Когда социалиста Филиппа Шейдемана избирали первым вице-президентом рейхстага... – *The Times*, Feb. 19, Mar. 9, 1912.

84. «Мы – революционеры?» – Trotsky, 213.
85. Жорес говорил с кафедры собора в Базеле об «опасных последствиях»: *Annual Register*, 1912, 367.
86. Речь Жореса: Joll, 155.
87. Обследование французской студенческой жизни в 1913 году: *Les Jeunes Gens d'Aujourd'hui*, цит. Wolff (Chap. 5), 275.
88. «Последние мои к вам слова: доживите до этих лучших дней»: Brockway, 39.
89. «Фортвертс» об австрийском ультиматуме: Vayo, 78.
90. «Мы надеялись на Жореса»: Zweig (Chap. 6), 199.
91. Предложение Жуо: Joll, 162.
92. «Батай синдикалист», орган французских профсоюзов: *ibid.*, 161,
93. Конференция в Брюсселе: Balabanoff, 4, 114–118; Vandervelde, 171; Stewart, 340; Joll, 164.
94. «Только объединив профсоюзы и социалистическое движение»: Fyfe, 136.
95. Жан Лонге, «я похолодел от ужаса»: Goldberg, 467.
96. Канцлер Бетман-Гольвег: Joll, 167.
97. Смерть Жореса: *Humanité, Figaro, Echo de Paris*, Aug.1/2.
98. В Лейпциге испанский студент-социалист... – Vayo, 81.
99. Бернштейн, «золотой мост» для социалистов: Hans Peter Hanssen, *Diary of a Dying Empire*, Indiana Univ. Press, 1955, 15.
100. Кайзер, Дешанель, Леон Жуо: *The Times, Echo de Paris*, Aug. 5.

## **Послесловие**

1. Грэхем Уоллес, предисловие к третьему изданию «Человеческой природы в политике»: *Human Nature in Politics*, 1921.
2. Эмиль Верхарн: Emile Verhaeren, *La Belgique sanglante*, Paris, 1915, Dédicace, страницы не пронумерованы.

## **notes**

## Примечания

**1**

Не принадлежащих к знати.



Около 15,5 градуса по шкале Цельсия. Здесь и далее примечания переводчика, если нет указания на примечание автора.

«Этот детина – английский лорд» (*фр.*).

**4**

В данном контексте – «обязательный атрибут».

«Живи и процветай, Итон!»

**6**

Высшего света ( $\phi p.$ ).

Холодное оружие (*фр.*).

Провожатый, как правило, кто-нибудь из местных парней.

Цвет зеленой нильской воды (*φp.*).



Шелковый муслин (*фр.*).

Конца столетия (*фр.*).

Увеселение вчетвером (*φρ.*).

Recessional – в переводе О. Юрьева. *Р. Киплинг*. Рассказы; Стихотворения. Л.: Художественная литература, 1989.

Имеется в виду Боксерское, или Ихэтуаньское, восстание в Китае против иностранного присутствия (1900 год). Многие участники ихэтуаней, «отрядов гармонии и справедливости», занимались физическими упражнениями, напоминавшими кулачные бои, отсюда и европейское название восстания. Подавлено объединенными усилиями восьми держав, в том числе и России.

«Ан» – без, «архэ» – власть (*греч.*).

Перевод по тексту автора.

Аллегория из романа Джона Беньяна «Путь паломника» (*Pilgrim's Progress*).



It will come, it will come,  
Every bourgeois will have his bomb.

Покушения (*φρ.*).

Oh wild Chicago...  
Lift up your weak and guilty hands  
From out the wreck of states  
And as the crumbling towers fall down,  
Write ALTGELD on your gates!

«Доведение до отчаяния крайней степенью нищеты» (*фр.*).

Состава преступления (*лат.*).

Громкий судебный процесс (*фр.*).

*Рио-де-Оро* – испанская колония на юге Западной Сахары; Девилз-Айленд, Devil's Island или Île du Diable – Остров Дьявола, остров во Французской Гвиане, куда Франция ссылала политических заключенных.

«Испанские инквизиторы» (*фр.*).



*Кармен Сильва* – литературный псевдоним румынской королевы Елизаветы Оттилии Луизы.

Раннее слабоумие (*лат.*).

Бывший министр внутренних дел, в отставке один из самых известных независимых политиков в США.

«Кровавая неделя» – восстание против колониальной войны в Марокко.

Плеве Вячеслав Константинович (Венцлав) убит эсером Е. С. Созоновым.

*Brother-in-law* — очевидно, имеется в виду великий князь Александр, муж сестры Ксении.

Положение обязывает ( $\phi p$ ).

Историческое название Южного Бронкса в Нью-Йорке.



Крайне шовинистские, ультрапатриотические настроения.

Название американских писателей и публицистов, выступавших в начале XX века против злоупотреблений монополий и с разоблачением коррупции в госаппарате США.

В русском переводе «Американское государство».

Конца столетия (*фр.*).

Do what thy manhood bids thee do, from none but self expect  
applause, He noblest lives and noblest dies who makes and keeps his self-  
made laws.

Эти слова приписываются и Рузвельту. Трудно сказать, кому они в действительности принадлежат. (*Примеч. автора.*)

«Так хочет Бог!» – клич христиан во время Первого крестового похода.

Перевод В. Топорова. *Киплинг Р.* Рассказы; Стихотворения.  
Л.: Художественная литература, 1989.



При закрытых дверях.

Красные панталоны (*φρ.*).

«О, какие удалыцы!» (*фр.*).

Разгром ( $\phi p.$ )

Воинская честь, слава, доблесть (*фр.*).

Люди без родины (*фр.*).

Высшего общества (*φρ.*).

Милостивый государь (*фр.*).



Гнусная скотина (*фр.*).

Этот мерзавец ( $\phi p.$ ).

Высшего света ( $\phi p.$ ).

Ипподрома (*φρ.*).

*Германты, Шарль Сван* – персонажи романа-эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

«Ну и скотина, этот генерал!» (*фр.*).

«Смерть! Смерть евреям!» (*фр.*).

Документ найден в мусорной корзине германского военного атташе и послужил первым свидетельством предательства. Это была опись прилагавшихся сведений. (*Примеч. автора*).



Жуткий тип ( $\phi p.$ ).

Единения, сплачивания (*фр.*).

Мистического кирасира (*фр.*).

Последний бурбонский претендент на трон, внук Карла X, взявший себе имя Генрих V и умерший в 1883 году. (*Примеч. автора*).

Певица и актриса кабаре.

«Дерьмо!» (*фр.*).

«Слава жертве “синдиката”!» (*фр.*).

О карьеристах (*фр.*).



Сочинения, содержащие резкую, агрессивную критику.

«Да здоровствует!», «Долой!», «Долой отечество!» (*фр.*).

Великий человек, светило (*фр.*).

Министерства иностранных дел (*фр.*).

Каналъя ( $\phi p.$ ).

Культ «я» (*фр.*).

Его уже повысили в звании. (*Примеч. автора.*)

Франция несмотря ни на что (*фр.*).



Подлые законы ( $\phi p.$ ).

«Адская сумятица» (*φρ.*).

*Truce of God* – в Средние века обычай прекращать враждебные действия в дни, установленные церковью.

«Вальдек напомаженный» (*фр.*).

«Золотая середина» (*фр.*).

«Да здоровствует Коммуна!» (*фр.*).

«Да здравствует Коммуна! Долой фузилёров! Долой убийцу!»  
(*фр.*).

«Рубака-сказитель» (*фр.*).



«Убийца перед вами!» (*фр.*).

Бобриком (*фр.*).

Лицей (*фр.*).

Заметки, карточки (*фр.*).

До предела ( $\phi p.$ ).

When he stands up as pleading, in wavering, manbrute guise,  
When he veils the hate and cunning of his little swinish eyes;  
When he shows as seeking quarter, with paws like hands in  
prayer,  
That is the time of peril – the time of the Truce of the Bear!..

«А как быть с Эльзасом и Лотарингией?» (*фр.*).

«Городу и миру» (*лат.*).



У автора – Иван Блох.

Дословно: «мы не можем», здесь в значении «немощи» (*лат.*).

Оскорбление его (ее) величества (*φρ.*).

*Барнум Финеас Тейлор* – шоумен, основатель американского цирка.

«Жизненный порыв» (*фр.*).

Обсуждению не подлежит (*нем.*).

«Бить быстро и бить сильно, смелей, смелей, всегда смелей!»  
(*фр.*). Перефразированное высказывание Дантона.

«Группа светских пацифистов» (*фр.*).



«Самолюбия» (*фр.*).

Право на существование (*фр.*).

«Мене, Текел, Упарсин» – халдейские слова, начертанные таинственной огненной рукой в палате царя Валтасара. Означают: «исчислен... взвешен... найден очень легким... разделено царство твое». Книга Пророка Даниила, 5:25.

2-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала З. П. Рождественского.

Вождь кочевого марокканского племени Райсули похитил некоего Пердикариса, американского грека, и потребовал за него выкуп. Хотя США не имели юридических оснований для вмешательства (Пердикарис не был гражданином США), президент Теодор Рузвельт и государственный секретарь Хей послали военные корабли к марокканскому побережью и заставили султана Марокко выкупить Пердикариса и уплатить денежную компенсацию США.

Хей умер в июле 1905 года. (*Примеч. автора.*)

Вопрос ставился об ограничении вооружений, а не о разоружении. Однако для удобства использовался более простой и удобный вариант обозначения проблемы одним словом. (*Примеч. автора.*)

«Стройтесь! Стройтесь! Стрелки, в ряды стройтесь!»



Искусство для искусства (*фр.*).

String Quartet in A (Op. 2).

Symphony in D minor (Op. 3).

Живо, скоро, с огоньком.

Скоро, с огоньком.

«Гензель и Гретьель» – опера Энгельберта Хумпердинка, самая популярная детская опера к Новому году и Рождеству; «Тристан и Изольда» – опера Вагнера.

В тексте – В major chord.

«Мой актер» (*нем.*).



Австрийский композитор, основатель додекафонии.

Существуют и другие переводы названия оперы: «Потухший огонь», «Погасшие огни».

Дух времени.

Музыкальная драма Вагнера.

Лотофаги, поедаящие лотосы, мифический народ, живший на острове в Северной Африке: «ищущие забвения», ассоциация с препятствиями в виде удовольствий для путешественников-мореходов.

«Красавчик Карл» (нем.).

Скандалный успех (*фр.*).

«Боже небесный!» (нем.).



«Могучая кучка»: Балакирев М. А., Мусоргский М. П., Бородин А. П., Римский-Корсаков Н.А., Кюи Ц. А.; в эту группу обычно включают и В. В. Стасова, музыкального и художественного критика, давшего это название объединению композиторов.

Имеется в виду 60-летие царствования королевы Виктории.

«Книга пророка Иезекииля, 7: 2, 3, 6.

«Книга пророка Иезекииля», 28: 4–8.

«Германии конец» (*лат.*).

Дословно – «пороссячий хвост», в словарях – косичка.

Фунты, шиллинги, пенсы, то есть мошна, капитал, богатство. Выражение культа денег от латинских слов: *librae* – фунты, *solidi* – шиллинги, *denarii* – пенсы.

Политика невмешательства.



100 кубических футов = 2, 832 кубических метра.

Аллея для верховой езды в Гайд-парке.

Степень бакалавра с отличием первого класса.

Направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму.

Комическая опера Салливана и Гилберта, в которой пародируется британский парламент и в особенности палата лордов.

*«Повесть о медном городе»* – одна из сказок «Тысячи и одной ночи», притча о бренности земной жизни.

*Уолпол Хорас (Гораций)*, 1717–1797 – основатель жанра готического романа, автор «Замка Отранто».

«Стоять насмерть» – *to die in the last ditch*, дословно – «умереть в последней канаве», отсюда – «дичеры».



Французский политический деятель.

Призывы к разделению голосов, то есть к реальному разведению членов палаты по разным лобби. (*Примеч. автора.*)

**140**

Около 38 градусов по Цельсию.

Первый интернационал – Международное товарищество рабочих – основан в Лондоне в 1864 году Марксом и Энгельсом, распущен в 1876 году; Второй интернационал, международное объединение социалистических партий, основан в Париже в 1889 году.

Духа времени (*нем.*)

«Отпустительная молитва».

«Оскорбление величества» (*фр.*).

Политическая организация консерваторов в защиту англиканской церкви и монархии.



«Злодейских законов» (*фр.*).

«Что я знаю?» (*фр.*).

«Международная политика» (нем.).

«Трагическая неделя» (*исп.*). И в исторической литературе она названа не «красной», а «кровоавой неделей».

Забастовка организована анархистами синдикалистской «Рабочей солидарности». У автора – the Labour Federation of Barcelona. Национальная конфедерация труда была создана в 1910 году.

«Новая армия» (*фр.*).

Надпись на большом колоколе собора в Шаффхаузене. Шиллер использовал эпиграфом к «Песне о колоколе», *Das Lied von der Glocke*.

«Война войне!» (*фр.*).



Министерство иностранных дел Франции.